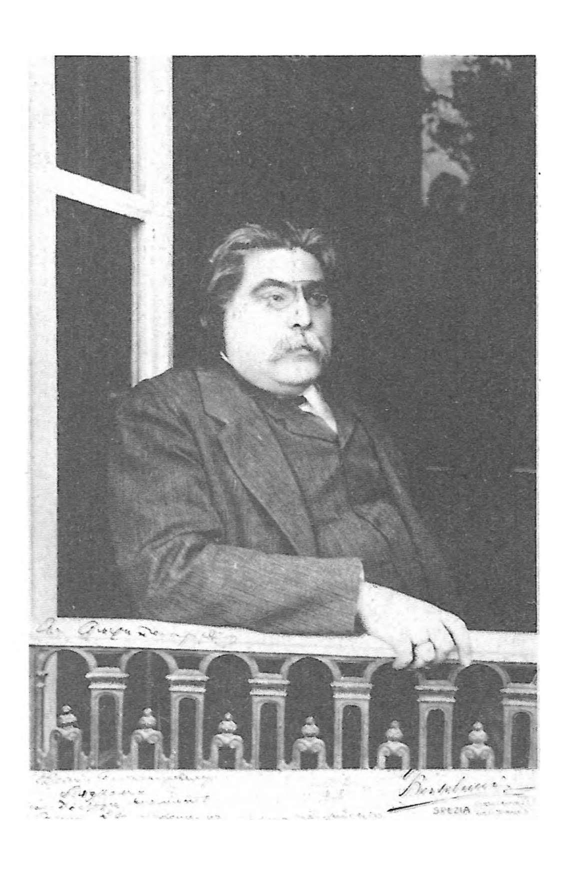


А. В.
АМФИТЕАТРОВ


SPEZIA

ИЗ НАСЛЕДИЯ

А. В.
АМФИТЕАТРОВ

Мертвые боги

ИЗ НАСЛЕДИЯ

А. В.
АМФИТЕАТРОВ

Мертвые
боги

Рассказы
Роман



Москва
«Современник» 1991

ББК 84Р
А63

Составление, вступительная статья
и примечания кандидата филологических наук
Н. Ю. Грякаловой

Амфитеатров А. В.

А63 Мертвые боги: Рассказы. Роман/Вступ. статья и примеч. Н. Ю. Грякаловой.— М.: Современник, 1991.— 542 с., портр.— (Из наследия).

ISBN 5—270—01012—7

Александр Валентинович Амфитеатров (1862—1938) был широко известен до революции, в те годы выходило его 37-томное собрание сочинений. В 1921 году Амфитеатров эмигрировал.

Сборник «Мертвые боги» составили рассказы и роман, написанные в России. Цикл рассказов «Бабы и дамы» — о судьбах женщин, порвавших со своим классом из-за любви. «Измена», «Мертвые боги», «Скиталец» и др.— это обработка тосканских, фламандских, украинских, грузинских легенд и поверий. Роман «Отравленная совесть» — о том, что праведного убийства быть не может, даже если внешне оно оправдано.

Внимание к человеческой личности, виртуозность стиля — все это делает творчество писателя интересным сегодняшнему читателю.

А $\frac{4702010101-008}{М106(03)-91}$ 22—90 **ББК 84Р**

ISBN 5—270—01012—7

«Неуемный русский талант...»

...Я — литератор без выдумки, и каждое действующее лицо мое — ткань, сочетаемая из множества «человеческих документов».

А. В. Амфитеатров

«Кто он? Беллетрист? Критик? Публицист? Хроникер? Репортер? На каждый вопрос приходится отвечать «нет», а на все вместе «да»[1]. Так писала о характере творческого дарования А. В. Амфитеатрова З. Н. Гиппиус, критик из противоположного литературного лагеря.

Действительно, поражает многообразие форм, в которых осуществлялась деятельность Амфитеатрова. Заявив о себе как фельетонист, автор злободневных критических статей, Амфитеатров впоследствии приобрел известность своими многотомными романами, историческими исследованиями, драмами, критическими статьями на темы текущей литературной жизни, мемуарными очерками.

Сегодня творчество Амфитеатрова практически неизвестно широкому читателю. А в первое десятилетие нашего века его имя не сходило со страниц газетной и журнальной периодики, по читательскому спросу в библиотеках Амфитеатров соперничал лишь с Анастасией Вербицкой, столь же прочно забытой читателем.

В чем же своеобразие таланта Амфитеатрова, этого разносторонне одаренного писателя, ныне известного только специалистам-литературоведам?

Александр Валентинович Амфитеатров родился 14 декабря 1862 года в Калуге в семье протоиерея Валентина Николаевича Амфитеатрова, впоследствии настоятеля Архангельского собора в Москве, известного проповедника и автора трудов по ветхозаветной истории. В родословной Амфитеатрова немало имен, стяжавших славу на духовном поприще и внесших вклад в русскую духовную культуру: Филарет — митрополит Киевский, Анто-

---

[1] Крайний Антон (Гиппиус З. Н.). Жизнь и литература//Новая жизнь. 1912. № 11. Стлб. 116.

ний — архиепископ Казанский, Я. К. Амфитеатров — профессор Киевской духовной академии, Е. В. Амфитеатров — профессор Вифанской духовной академии, С. Е. Раич, переводчик Тассо и Ариосто[2]. Со стороны матери Амфитеатров приходился племянником профессору политической экономии Московского университета А. И. Чупрову, которому писатель посвятил свой роман «Восьмидесятники». По словам самого Амфитеатрова, «русскому языку его выучил отец, хороший стилист и знаток изящной литературы»[3].

Амфитеатров окончил юридический факультет Московского университета в 1885 году. Еще студентом будущий литератор сотрудничал в юмористическом журнале «Будильник», где выступал под псевдонимами «Амфи», «Мефистофель из Хамовников», «Spiritus familiaris». Здесь состоялось его знакомство с А. П. Чеховым, о котором Амфитеатров всегда вспоминал с благодарностью и любовью. Первое письмо, полученное им в сибирской ссылке, было от Чехова. Чехову Амфитеатров посвятит мемуарный очерк и рассказ «Сыщик».

Однако сближение с московскими литераторами 80-х годов не помешало Амфитеатрову сделать поначалу неожиданный профессиональный выбор. Обладая незаурядными музыкальными способностями, Амфитеатров решил посвятить себя оперной карьере: был учеником классов пения, затем уехал в Италию для совершенствования вокального мастерства. Амфитеатров два сезона выступал в опере Тифлиса и Казани. Но не музыка стала его судьбой.

С конца 80-х годов он полностью отдается литературной работе. Еще будучи в Италии, Амфитеатров, одновременно с музыкальными занятиями, сотрудничал в газете «Русские ведомости». В тифлисском «Новом обозрении» он печатал фельетоны под псевдонимом «Сюрприз». В 1891 году Амфитеатров возвратился в Москву. С этого времени начинается его работа в газете «Новое время», и фельетоны, подписанные «Old Gentlman», пользуются неизменным читательским успехом.

В 1896 году Амфитеатров перебирается в Петербург, продолжая писать фельетоны для «Нового времени». Этот период Амфитеатров расценивал как «первый фазис» своей литературной деятельности. Поездка в Польшу в 1897 году в качестве корреспондента сильно повлияла на взгляды писателя, поколебала, по его собственным словам, доверие к «охранительству и национализму». В 1899 году, когда он пережил период «мучительного нравственного перелома», Амфитеатров решает создать собственный печатный орган и вместе с В. М. Дорошевичем, знакомым еще по работе в «Будильнике», приступает к изданию газеты «Россия». Однако 14 января 1902 года газета подвергается репрессиям за фельетон Амфитеатрова «Господа Обмановы» —

---

[2] См.: Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Пб., 1904. Т. 6. С. 331.

[3] Там же. С. 334.

острый памфлет на царствующий дом. Автор фельетона был выслан в Минусинск, но в 1903 году Амфитеатров переведен в Вологду высочайшим соизволением, учитывая заслуги отца.

В ссылке он создает цикл очерков «Сибирские этюды», которые современная критика, отмечая бойкость публицистического пера автора и значительность обрисованных им народных характеров, сравнивала с «Сибирскими очерками» Д. Н. Мамина-Сибиряка. Амфитеатров пристально всматривался в новый для него мир, интересовался бытом и нравами местного населения. Накопленный этнографический материал оказался необходим писателю в работе над повестью «Побег Лизы Басовой».

Именно в годы первой ссылки литература стала его жизнью. Амфитеатров писал известному историку литературы С. А. Венгерову: «Я в Вологде, вероятно, осужден сидеть долго. Здесь ближе к центрам, зато с мелочами «надзора» пристают больше, чем в Минусинске. Ну, да, раз работать не мешают, все ничего»[4].

В 1903 году Амфитеатрову было разрешено поселиться под Петербургом, и он, возвратившись из ссылки, сразу же включается в журналистскую деятельность, способствуя успеху газеты «Русь» своими статьями и фельетонами. Однако активность Амфитеатрова быстро пресекается: за статью в защиту студентов Горного института, обвиненных в прояпонских настроениях, Амфитеатров вновь выслан в Вологду. Здесь он продолжает работу над статьей о венгеровском издании сочинений Шекспира, ведет активную переписку с деятелями русской культуры. Примечательно его письмо к Н. А. Римскому-Корсакову. «Перечитывал я сегодня старейшие комедии Островского. Наслаждался и горевал: страшно они дряхлеют, теряется в новом веке понимание их бытовой стороны, поколение 1910—20-х годов будет смотреть на них с таким же любопытством к архаическому, как мы на «Бригадира». Даже в Вологде, откуда я Вам пишу, быт Островского умер и забывается. А в столицах от старого Островского сохраняет драматический интерес только «Гроза», да и то больше как экзаменационная трагедия: для трагического актера «Гамлет», для драматической премьерши — «Катерина». «Бедность не порок» давно превращена в представление для масляничных гуляний, т. е. сдана в архив»[5]. Амфитеатров предлагал Римскому-Корсакову написать оперу по комедии Островского «Бедность не порок»[6].

Во время пребывания Амфитеатрова в ссылке у него окрепла мысль — как у многих художников, лишенных свободы творчества,— о необходимости

---

[4] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (далее — ИРЛИ), ф. 377.

[5] Гос. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 640, оп. 1, № 838, л. 1.

[6] Ответ Н. А. Римского-Корсакова был опубликован: Энергия/Под ред. А. В. Амфитеатрова. СПб., 1914. Вып. 2.

покинуть Россию. 25 июня 1904 года Амфитеатров сообщал своему постоянному корреспонденту С. А. Венгерову: «Дела мои в прежней позиции, все больше и больше убеждаюсь, что мне нечего делать в России, да, кажется, и в «Руси», которая за мое отсутствие сильно мобилизирует охранительные кадры... Какое же влияние при таких условиях могу иметь в газете я, иногородний и псевдонимный? Повторится вечная история: в газете будет нововременская каша, а публика будет говорить — вот как «орган Амфитеатрова» отличается, а Амфитеатрову — хоть локти кусать от бессилья в прекрасном далеке своем... Поэтому более чем когда либо хочется уехать за границу, щоб очи не бачили,— на нейтральную работу»[7].

В 1905 году Амфитеатров получает разрешение выехать за границу. Это была первая эмиграция писателя, в которой он пробыл больше десяти лет. В Париже писатель читает курс истории Древнего Рима в Русской школе социальных наук. В цикле лекций, посвященных роли женщин в общественном движении России, выступает за женщину-избирательницу, женщину — равноправную гражданку. В Париже Амфитеатров предпринимает усилия к организации независимого издания и создает журнал «Красное знамя». Новый орган придерживается «левой» демократической ориентации, хотя писатель всегда подчеркивал свою беспартийность. Цель журнала — борьба с царизмом «в самодержавной его наглости и в конституционных лицемериях». В журнале сотрудничали А. И. Куприн, Д. Я. Айзман, К. Д. Бальмонт, М. Волошин, активную роль играл А. М. Горький, с которым у Амфитеатрова установились товарищеские отношения на долгие годы[8].

После поражения революции 1905 года Амфитеатров много думает о закономерностях общественного развития, о русской эмиграции. Размышления Амфитеатрова о судьбе России были созвучны мыслям многих представителей интеллигенции, разочаровавшихся в революционных возможностях преобразования общества. «О себе могу сказать,— писал он Венгерову,— что никогда не переживал я настроений более печальных и безнадежных. Пять лет назад я веровал в будущую конституцию и грядущие Думы, три года назад перестал верить в Думы, но веровал в бомбы. Сейчас не верю ни в Думы, ни в бомбы,— верю только во время и культурный рост народа, которые возьмут свое, но вряд ли мы успеем увидеть это. В настоящее время уповать не на что. Народ неподвижен, труслив и до изумления лишен чувства собственного достоинства. Интеллигенция бесконечно болтлива, теоретична, малочисленна, лишена опоры в народе, бессильна сама по себе и до безобразия разделена партийно и фракционно. Революция нища, лишена единства и общего плана, полна героизма личности, но сама не знает, как и куда идет и ведет»[9].

---

[7] ИРЛИ, ф. 377,

[8] Многолетняя переписка Горького и Амфитеатрова опубликована в изд.: Литературное наследство. М., 1988. Т. 94.

[9] ИРЛИ, ф. 377.

Растерянность после поражения революции, отсутствие ясных социальных перспектив, разочарование в публицистической деятельности как факторе непосредственного воздействия на общественную жизнь привели к тому, что Амфитеатров на время отходит от публицистики и сосредоточивается в основном на «чистой» беллетристике. По свидетельству сына писателя, В. А. Амфитеатрова-Кудашева, «заграничный период есть время расцвета беллетристической стороны таланта Амфитеатрова»[10].

Как беллетрист, Амфитеатров дебютировал этюдом «Алимовская кровь» (1884), подготовившим появление романа «Людмила Верховская» (впоследствии названный «Отравленная совесть», 1890). В автобиографии писатель отмечал: «Роман обругали, но критика находила, что в авторе «что-то есть»[11]. Сам же автор, чувствуя некоторый сюжетный схематизм и бледность психологических портретов в своей первой вещи, объяснял эти недостатки стремлением к сжатости и видел в «Людмиле Верховской» «не столько роман, сколько детальную программу для романа»[12].

Хотя сам писатель отрицал какие бы то ни было литературные влияния на него в смысле непосредственного воздействия, тем не менее определение «маленький русский Золя», данное Амфитеатрову одним из критиков[13], указывает на то место, которое занимал писатель в ряду литературных явлений своей эпохи. Вступление Амфитеатрова в литературу совпало с периодом знакомства русской читающей публики с творчеством Эмиля Золя. В 70-е годы появление в журнале «Вестник Европы» его очерка «Романисты-натуралисты» было встречено шумным вниманием. Начиная с 1871 года и по 1893 год русский читатель имел возможность познакомиться с циклом его романов «Карьера Ругонов», в котором были творчески реализованы принципы «экспериментального романа». Этот интерес был подкреплен статьей русского золаиста П. Д. Боборыкина «Реальный роман во Франции» (1876). Первые беллетристические опыты Амфитеатрова, появившиеся на этом фоне, давали основание видеть в их авторе единомышленника Золя, литературная теория которого вскоре станет осознанным творческим ориентиром писателя.

Натурализм, заявив о себе как о литературном направлении (в России он явился течением внутри реализма), выдвинул идейно-эстетическую программу, смысл которой — в стремлении к объективному и всестороннему изображению реальности и человеческого характера, понимаемого в неразрывной связи с наследственностью и средой. При этом фантазии художника

[10] Центральный государственный архив литературы и искусства, ф. 34, оп. 2, № 158, л. 1 об.
[11] ИРЛИ, ф. 377.
[12] Там же.
[13] Бюллетень литературы и жизни. 1911. № 4. С. 134.

противопоставлялся пафос сближения искусства с наукой. Философской основой метода натурализма стал позитивизм Огюста Конта, творческие устремления писателей-натуралистов находили обоснование в эстетической теории Ипполита Тэна.

Убежденным сторонником позитивизма выступил Амфитеатров. «Воспитанный в материалистическом мировоззрении,— декларировал он свои убеждения,— позитивист до мозга костей своих, я не только признаю, но и проповедую широчайшую свободу и власть художественных захватов в реалистическом искусстве. Нет рискованных тем, нет рискованных сюжетов»[14]. И действительно, объектом внимания писателя становятся вопросы, широко обсуждавшиеся русской общественной мыслью и публицистикой того времени. Проблема феминизации — в центре «публицистического романа в защиту женского равноправия» «Виктория Павловна»; межсословным бракам, разрушающим принятые социальные установления, посвящена целая серия рассказов, объединенных в сборнике «Бабы и дамы»; проституция как социально-психологическая проблема обсуждается в документально-публицистической книге «Марья Лусьева»; психологические мотивы преступления анализируются в романе «Отравленная совесть» и в целом ряде рассказов.

«Человеческий документ», «частный случай» — необходимая объективная основа беллетристического произведения, считает писатель. В предисловии к сборнику «Случайные рассказы» Амфитеатров писал: «Я назвал их <рассказы> случайными ввиду того, что фабулы большинства их основаны на действительных житейских случаях, с какими мне приходилось встречаться или о каких приходилось слышать в своих скитаниях по белому свету»[15].

«Художественную выдумку» писатель допускает для того, чтобы «придать голому факту беллетристическую обработку, ярче выяснить его окраску, механически связать действие, выделить характеристику»[16].

Показательно, что в основе рассказов сборника «Бабы и дамы» сюжеты, обладателем которых Амфитеатров стал благодаря дружеской анкете. Под впечатлением «частного случая», изложенного в рассказе «Домашние новости», писатель обратился к своим друзьям с просьбой сообщить ему похожие факты, в результате чего и возник этот цикл, основанный на «человеческих документах».

Герой первого романа Амфитеатрова «Отравленная совесть» писатель Сердецкий, высказывая свое творческое кредо, как бы говорит словами самого автора: «Для меня общество лаборатория; новое слово — человеческий документ и только».

Амфитеатрова как писателя — «охотника до странных характеров,

---

[14] Амфитеатров А. В. Против течения. Пг., б. г. С. 12.
[15] Амфитеатров А. В. Случайные рассказы. СПб., 1890. С. 3.
[16] Амфитеатров А. В. Сибирские этюды. СПб., 1904. От автора.

исключительных положений и настроений»[17] — привлекает человек в своих неординарных поступках, в «странных», порой патологических проявлениях («Казнь», «Черт»). При этом Амфитеатров опять-таки настойчиво подчеркивал объективную природу «исключительного». Писателю нет надобности «придумывать»: «стоит только внимательно оглянуться вокруг себя, поискать,— и жизнь не замедлит представить вам такую действительность, что за ее причудами не угнаться фантазии самого изобретательного беллетриста»[18].

Несомненным вкладом Амфитеатрова в литературу было стремление к всестороннему исследованию человека, в особенности его психики в «пограничных ситуациях», анализ роли подсознательного, к которому он обратился.

В соответствии с позитивистской доктриной художественное исследование человеческой личности строилось у Амфитеатрова с опорой на научное — опытное — знание. В рассказах, вошедших в сборники «Психопаты. Правда и вымысел» (М., 1893), «Грезы и тени» (М., 1896), сделаны попытки «научным» методом объяснить медиумические явления, детально описать бред галлюцинирующей личности. У критиков были все основания упрекать Амфитеатрова в увлечении подробностями психопатологических описаний, отчего явно проигрывала художественность. «Мало творчества, зато много дилетантской медицины»,— замечал, в частности, В. Львов-Рогачевский[19]. Однако то, в чем критики усматривали недостатки амфитеатровского письма, сам автор склонен был возводить в достоинство своего метода. Включая в сборник «Грезы и тени» рассказы, жанр которых писатель определил как «фантастический», и объяснив при этом, что «фантастического» в них ровно ничего нет, «это просто попытки иллюстрировать некоторые явления из области психопатологии»[20], Амфитеатров вновь подтверждал свое пристрастие к «исключительным случаям».

Свойственный Амфитеатрову интерес к опытному, позитивному знанию выражался и в том, что в его творчестве получили специфическое наполнение некоторые «модные» жанры — произошла, к примеру, трансформация «оккультного романа». Фантастический роман «Жар-цвет», этюды к которому представлены в настоящем издании («Враг» и «История одного сумасшествия»), явился, по существу, «антиоккультным» и призван был, по мысли автора, развить полемические взгляды относительно «медиумических явлений», к которым писатель относился скептически, и коснуться некоторых вопросов «атомистического мировоззрения», сторонником которого себя счи-

[17] Амфитеатров А. В. Случайные рассказы. С. 3.
[18] Там же. С. 4.
[19] Львов-Рогачевский В. Писатель без выдумки: По поводу романов Александра Амфитеатрова//Львов-Рогачевский. Снова накануне: Сборник критических статей и заметок. М., 1913. С. 117.
[20] Амфитеатров А. В. Грезы и тени. М., 1896. От автора.

тал. Попутно же он хотел познакомить читателя со своими фольклорными находками — «красивыми легендами» о цветке папоротника, распускающемся в Иванову ночь, о вере в одушевление деревьев, в общение с умершими. Освещая «темные и полузабытые верования, пережитки доисторических эпох», писатель преследовал определенную цель: «дать широкую картину нервного и психического недуга, возникшего на их мистической почве»[21]. В романе на примере трагических судеб героев, ставших жертвами своих оккультных увлечений, развенчивалось «серьезное» отношение к мистике. Автор показывал опасность для человека и культуры в целом «мистических игр», ставших популярными в русском обществе конца XIX века.

Интересно отметить, что Амфитеатров часто сопровождал свои романы «списком использованной литературы». В ряду источников, к которым он обращался, работая над романом «Жар-цвет», писатель называл труды Тейлора «Первобытная культура», Тэна «Об уме и познании», Крафт-Эбинга «Судебная психопатология», «Статьи по медиумизму» Бутлерова, исследования по демонологии, спиритизму и другим оккультным наукам.

К проблеме беллетризации научной литературы Амфитеатров подходил очень серьезно, рассматривая ее как задачу пропаганды позитивного знания, тем более что научная мысль того времени давала материал для творчества такого типа и нередко сама служила его образцом. Позитивистский подход к изучению и анализу материала оказал несомненное влияние на писательскую манеру Амфитеатрова. Он сам признавался, что был увлечен Э. Ренаном, автором «Жизни Иисуса» и «Антихриста», и в пору работы над многотомным историко-компилятивным трудом «Зверь из бездны», посвященным Римской империи периода правления Нерона, «бредил Ренаном и «Антихриста» его имел настольною книгою»[22]. Сочинение Амфитеатрова первоначально имело подзаголовок «Культурно-исторические параллели» и подразумевало ассоциации между эпохой декаданса конца XIX — начала XX века и эпохой заката Римской империи.

Предпринимая историко-беллетристические реконструкции прошлых эпох, Амфитеатров высказывал и собственные идеи о смысле истории, общественном прогрессе.

«Прогресс почти не изменяет существа человеческой индивидуальности, но изменяет условия, в которых она проявляется,— всегда к новому и лучшему. Застойные и реакционные, попятные эпохи – только оптические обманы истории»,— утверждал он[23].

Конечно, отмеченные черты «позитивистско-прогрессивного» взгляда

---

[21] Амфитеатров А. В. Жар-цвет: Фантастический роман. СПб., 1910. С. XI.

[22] Амфитеатров А. В. Зверь из бездны//Собр. соч.: Т. 5. СПб., 1911. С. XI.

[23] Там же.

на мир не могли не вызвать неприятие критиков, стоящих на иных, чем Амфитеатров, идейных и художественных позициях. З. Гиппиус, например, сетовала на то, что этот способный, одаренный писатель не пытается подновить свой позитивизм, и отмечала, что миросозерцание его «поражает своей несвоевременностью»[24]. И в этом символистские критики были правы. Амфитеатров не учитывал и не пытался понять той новой художественной ситуации, которая сложилась в конце XIX — начале XX века. Его критические выступления против представителей модернизма были достаточно прямолинейны и малоубедительны, хотя слог его отличался меткостью и остроумием. Он безапелляционно отвергал художественные поиски Андрея Белого, не видел новаторства М. Волошина-критика, философской глубины Л. Андреева.

Он не разделял символистского увлечения «трансцендентностью», и модернистский тезис «быт умер» был ему глубоко чужд. Бытописатель по своей творческой природе, он доказывал «вечность» быта: «Быт не может умереть, покуда существует хоть какая-нибудь форма общества человеческого... Какой символизм и индивидуализм не разводи, но раз хочешь остаться во времени и пространстве, бытовой фон-то написать надо»[25]. А это он делал мастерски! Укорененность в быте, по его мнению,— залог писательского успеха. Характерно в этом смысле свидетельство знатока русского быта Ивана Шмелева. «Он привлек меня,— писал Шмелев об Амфитеатрове,— изображением невыдуманной жизни, которую он видел, которую воспринял от крови предков. Я почувствовал в его книгах близкое мне по духу, но в иных преломлениях, чем знал я раньше,— быт российский, московский, губернский, уездный, купеческий, разночинный»[26]. Как в калейдоскопе, сменяются картины жизни разных слоев русского общества, написанные размашистой кистью щедрого на краски художника.

Известность Амфитеатрову как беллетристу принесли многотомные романы — семейные хроники. В них в наибольшей степени проявился размах писательской натуры Амфитеатрова. Это, по словам литературного критика А. А. Измайлова, «огромное литературное предприятие» под названием «Концы и начала. Хроника 1880—1910 годов» поражает масштабностью замысла: в него вошли романы «Восьмидесятники» (т. 1, 2), «Девятидесятники» (т. 1, 2). «Закат старого века» (т. 1, 2), «Дрогнувшая ночь». В серию «Сумерки божков» должны были войти двенадцать романов (в свет вышли два: «Серебряная фея» и «Крестьянская война»). Эти романы, а также задуманные, но не написанные «Шестидесятники» и «Семидесятники», по мысли Амфитеатрова, должны были составить «картину русской интел-

---

[24] Крайний Антон (Гиппиус З. Н.). Жизнь и литература. Стлб. 118.

[25] Амфитеатров А. В. Против течения. С. 52.

[26] Шмелев И. Русский писатель: Полвека писательского труда А. В. Амфитеатрова//Россия и славянство. 1932. 23 июля.

лигентско-дворянской эволюции и демократизации с николаевских времен по наше»[27]. Как признавался писатель, это единственный беллетристический замысел, который владел им всю его жизнь, все остальное — этюды к той же теме.

Любое беллетристическое повествование под пером Амфитеатрова превращалось в историческое. Этот факт объяснялся писателем особенностями самого времени — ускорением темпа жизни. «Гончаров и даже Тургенев, когда писали роман с действием за десять лет до своего времени, писали его как роман современный, а нам приходится его писать уже как исторический»,— делился он своими наблюдениями в письме к А. А. Измайлову. По-прежнему писатель был верен кругу тем, намеченных и избранных им в начале литературной деятельности. В семейных хрониках Амфитеатров прослеживает судьбу разных семейств, приходящих к упадку. В центре романов — проблемы наследственности, социально-психологической детерминированности поведения личности. Над героями как рок тяготеет наследственность, и это придает их судьбам трагический оттенок. Писателя интересует, как один век переходит в другой, как сменяются поколения одной семьи. Главное для него — показать социально-психологическое «лицо» эпохи. Поэтому так подробно он прописывает фон, потому так много в его романах действующих лиц.

Стремление Амфитеатрова создать обобщающий «образ эпохи», выявить его детерминанты, изобразить предельно широкий фон российской действительности, естественно, не давало возможности писателю углубиться в тонкости психологического анализа. Да он, собственно, и не ставил себе таких целей. Его задача — определить основные тенденции, из которых слагается общественная жизнь отдельного исторического периода. Для этой цели Амфитеатровым и был выбран особый тип «письма», который, как ему казалось, открывал возможность проникновения в невидимые законы философии истории и природы человека.

Надежды писателя на прогрессивное общественное развитие питала вера в те вечные человеческие духовные основания, которые поддерживают историческую преемственность. Лучшие его герои несут в себе заряд высокой духовности («Прокопий»), они одержимы идеей деятельного добра («Мечта»), обладают обостренным чувством собственного достоинства («Кельнерша», «Отравленная совесть»). Именно такие люди не дают погаснуть светочу духовности на трудных путях общественно-исторического прогресса.

Склонность Амфитеатрова к созданию масштабных романных повествований не помешала ему заявить о себе как умелом мастере «малого» жанра — рассказа, анекдота, сказки. Здесь особенно заметно проявился талант Амфи-

[27] Письмо А. В. Амфитеатрова к А. А. Измайлову от 19.5.1911// ИРЛИ, ф. 115, оп. 3, ед. хр. 8, л. 1.

театрова-бытописателя, его чуткость к живому народному слову, владение различными стилевыми манерами. Большое внимание писатель уделял фольклорному творчеству разных народов. Его интересовали корни народных верований и представлений, реликты язычества, сохранившиеся в народном сознании и быту, та архаическая почва, которая и доныне питает литературу. В предисловии к сборнику «Красивые сказки» Амфитеатров писал: «Я не был бы «восьмидесятником», если бы не посвятил несколько лет своей молодости изучению фольклора и сравнительной мифологии... Основы легенд, включенных в этот сборник, слышаны и записаны мною в разных моих скитаниях по белому свету; лишь немногое обработано по книжному материалу. Интересовали меня преимущественно те народные верования и предания, в которых звучат пантеистические и гуманистические ноты»[28].

Творчество Амфитеатрова не оставляло равнодушными его современников. Тому свидетельство — многочисленные отклики и рецензии на его произведения в периодической печати тех лет. Даже такой пристрастный критик, как З. Гиппиус, вынуждена была отметить «несомненную даровитость» писателя, «сочность», «гибкость» его языка. А. А. Измайлов, точный в своих литературных суждениях, ценил Амфитеатрова за его «неизгладимую любовь к русской старине <...> к славянщине, к старым словам, от которых пахнет кипарисом древних икон, ароматом ладана и талым воском»[29] и в чуткости к «старорусскому» сравнивал его с Н. С. Лесковым и С. В. Максимовым. Он же почувствовал то «жизнерадостное эллинство», которым проникнуты многие произведения писателя и которое придает энергию его повествовательной манере.

В 1916 году Амфитеатров возвратился в Россию из Италии, где в начале первой мировой войны был корреспондентом газеты «Русское слово». В Петербурге он вновь в гуще журналистской и общественной жизни, возглавляет публицистический отдел газеты «Русская воля», издававшейся на средства министра внутренних дел А. Д. Протопопова. При газете Амфитеатров организовал республиканский демократический союз «Свободная Россия», объединивший до 500 представителей трудовой интеллигенции; по своей политической программе союз представлял нечто среднее между кадетами и эсерами. В это время Амфитеатров — сотрудник газеты «Петербургский листок», журналов «Нива», «Огонек», редактор сатирического журнала «Бич» антимонархистской направленности. В феврале 1917 года за публикацию в «Русской воле» «Этюдов», содержащих критику в адрес Протопопова, Амфитеатров был выслан в административном порядке в Иркутск. Однако свершившаяся Февральская революция дала ему возможность возвратиться в столицу.

---

[28] Амфитеатров А. В. Красивые сказки. СПб., 1908. С. I—II.
[29] Измайлов А. А. Пестрые знамена. М., 1913. С. 164.

Октябрьскую революцию Амфитеатров не принял и непримиримую позицию по отношению к новой власти сохранил до конца жизни. В газете «Петроградский листок», редактировавшейся Измайловым и занимавшей активную антибольшевистскую позицию, Амфитеатров выступал с сатирическими памфлетами против политики большевиков, ставя им в упрек пренебрежительное отношение к деятелям русской культуры и предупреждая, что при такой политике Россия может остаться без интеллигенции[30]. Особенно непреклонно отнесся Амфитеатров к вновь введенному закону о цензуре: он пришел к выводу, что ему, всю жизнь боровшемуся за независимую свободную печать, немыслим полноценный литературный труд в условиях цензурного давления. «Я дал себе честное слово,— писал он известному оперному певцу И. В. Ершову 14 апреля 1921 года,— что ни одной моей строки не появится в стране, уничтожившей у себя свободу печати»[31]. Амфитеатров был вынужден в тяжелых условиях содержать семью из четырнадцати человек. Его трижды арестовывали. После раскрытия так называемого «Таганцевского заговора»[32] и расстрела 61 человека (в том числе Н. Гумилева) Амфитеатров принял решение покинуть пределы России и 23 августа 1921 года через Финский залив на лодке бежал вместе с семьей за границу. Снова начался эмигрантский период в жизни русского писателя.

После непродолжительного пребывания в Праге Амфитеатров поселился в любимой им Италии. Творчество писателя не претерпевает принципиальных изменений. Он продолжает работу над семейными хрониками («Сестры. Хроника в четырех романах», «Вчерашние предки», заключительная часть хроники «Концы и начала»), переиздает ранее написанное (сборники «На заре и другие рассказы», «Мечта») или же разрабатывает прежние темы (сборник «Зачарованная степь»). О своей жизни в Петрограде в первые годы революции Амфитеатров рассказал в книге очерков «Горестные заметы» (Берлин, 1922), имеющей отчетливую антиреволюционную направленность. Писатель сотрудничал в русской эмигрантской прессе: парижской газете «Возрождение», варшавской «За свободу», рижской «Сегодня». Изменились политические симпатии Амфитеатрова, а с ними и литературные оценки. Самым значительным явлением в послереволюционной беллетристике он называет роман Савинкова-Ропшина «Конь вороной», а в публицистике — статьи Арцыбашева в газете «За свободу». Можно вспомнить, что в былые времена эти писатели были объектом резких критических выступлений Амфитеатрова.

---

[30] См.: Амфитеатров А. В. Две смерти//Петроградский листок. 1918. 15 марта.

[31] Гос. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 275, оп. 1, № 39, л. 9.

[32] См. новые материалы: Новый мир. 1989. № 4.

В первые же годы эмиграции Амфитеатров окончательно отходит от публицистики. В письме к известному литератору Д. А. Лутохину от 27 декабря 1923 года Амфитеатров сетовал: «Да, цензуры бесчисленно много... Это одна из главных причин, почему я совершенно расстался с публицистикой. Правая ли, левая ли ложь одинаково жалки и тошны»[33].

Вопрос о возвращении на родину никогда не вставал перед Амфитеатровым, и в этом он был необычайно последователен. В том же письме к Д. А. Лутохину он утверждал: «...если в эмиграции останется только десять человек, я буду в их числе; два человека — одним из них буду я; один человек — это буду я».

Не являясь активным участником литературного процесса русского зарубежья, Амфитеатров тем не менее следит за творчеством своих соотечественников. Со свойственным ему стремлением к исследованию главных тенденций общественной жизни он предпринимает попытку анализа различных течений в эмигрантской литературе. Его лекция «Литература в изгнании», прочитанная в Миланском филологическом обществе и изданная отдельной брошюрой в Белграде в 1929 году, представляет собой одну из первых попыток классификации и анализа идейных и художественных тенденций, наметившихся в литературе русской эмиграции.

Отход от журналистики и публицистики не означал отказа от литературной деятельности. Амфитеатров с новым интересом обращается к русской устной и письменной традиции художественного слова. Он предпринимает опыт переложения повестей XVII века о Соломонии Бесноватой, Савве Грудцыне, сказания о Петре и Февронии, а также языческих славянских верований, пользуясь трудами А. Н. Афанасьева, В. И. Даля, С. В. Максимова. Этот материал он объединил в сборнике «Одержимая Русь. Демонические повести XVII века» (Берлин, 1929). (Возможно, название сборника бессознательно проецировалось на недавние события, произошедшие в России.) Амфитеатров, как и прежде, ориентируется на «человеческий документ», именно так расценивая историю об одержимой Соломонии, записанную устюжским церковником со слов самой Соломонии и ее отца. Соломония для него — тип религиозно и демономанически помешанной. Он предпринимает попытку исследования института юродивых на Руси, считая его частью традиционного бытового уклада.

Вдали от Родины Амфитеатров отметил полувековой юбилей своей писательской деятельности. В юбилейной статье И. С. Шмелев проникновенно сказал о многосторонности дарования Амфитеатрова, широте его русской писательской и человеческой натуры, о его любви к живому русскому слову и его страстном писательском взгляде, пристально и жадно всматривающемся в бытие. «Он и романист, и публицист, и историк, и драматург, и

[33] ИРЛИ, ф. 592, № 68.

лингвист, и этнограф, и историк искусства и литературы, нашей и мировой,— он энциклопедист-писатель, он русский писатель широкого размаха, большой писатель, неуемный русский талант — характер, тратящийся порой без меры».

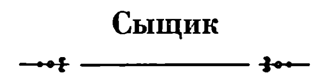
Амфитеатров умер в Италии в Леванто 26 февраля 1938 года.

Отзывчивость на животрепещущие вопросы современности, внимание к человеческой личности в разных ее проявлениях, меткость слова, виртуозность стиля — вот те черты творческой индивидуальности Амфитеатрова, которые делают его прозу привлекательной для сегодняшнего читателя.

Н. ГРЯКАЛОВА

РАССКАЗЫ

Сыщик



Посвящается
Антону Павловичу Чехову

Вечером в сочельник, когда сумерки уже надвигались, но желанная звезда еще не зажглась на горизонте, ко мне пришел гость. Звали его Андреем Ивановичем Петровым. Он служил в моей конторе объявлений. Это был чудной человек. Когда, бывало, он — неподвижный и задумчивый — стоит в своей любимой позе, прислонившись спиною к стене и сложив руки на груди, мне всякий раз так и вспомнится статуя командора: этакая громадная, словно из камня вытесанная, могучая фигура. Думаешь: вот тронется с места этот гигант,— то-то стук пойдет от его ножищ, непременно он что-нибудь толкнет, опрокинет, сломает. На самом же деле Андрей Иванович обладал настолько осторожною походкой, что, кажется, мышь делает больше шума, пробегая по полу. Ловок он был поразительно: я никогда не видал, чтоб он уронил что-нибудь. Когда мы бывали вместе в театре или на гулянье, то он пробирался в толпе, как вьюн, и в то время, как мне приходилось раз десять сказать и самому выслушать: «виноват», Андрей Иванович ухитрялся пройти, не толкнув никого и сам не получив ни одного толчка. Однажды у нас в конторе задебоширил клиент — «Геркулес» из местного цирка. Он пришел пьяный, обиделся на меня за что-то и начал кричать. С гостем, который вяжет узлом кочерги и носит на плечах пирамиды из пяти человек, шутки плохи. Я уже думал послать за полицией; вдруг Андрей Иванович подошел к буяну, спокойно взял его за шиворот, качнул вправо, качнул влево, поворотил к двери,

и оторопевший от неожиданности силач кубарем вылетел из конторы. Я не верил своим глазам, а Андрей Иванович как ни в чем не бывало возвратился к своим занятиям.

— Как же, батюшка, вы не сказали мне, что вы такой богатырь?— воскликнул я.

— Что ж хвастаться-то?— спокойно ответил Петров.

Андрей Иванович поступил ко мне по рекомендации одного из моих ближайших приятелей. Меня очень интересовало прошлое моего конторщика, но на этот счет он был крайне скрытен: на прямые вопросы давал уклончивые ответы, а при косвенных намеках вилял речью, как Талейран и Меттерних, вместе взятые. Я обратился с расспросами к приятелю, рекомендовавшему мне Петрова. Тот сердито поморщился.

— Охота тебе лезть не в свое дело?! Андрей Иванович хорошо тебе служит?

— Лучше не надо.

— Так чего ж тебе еще?

— Но послушай, братец, согласись сам: что за странная таинственность? Может быть, на нем... того... в некотором роде пятно?

— А хоть бы и пятно? Что, тебе легче станет, если ты узнаешь? Только получишь предубеждение против хорошего, преданного малого.

— По крайней мере, скажи вот что. Он рекомендован мне тобою, а ты ведь у нас либерал большой руки... Он — храни Бог!— не социалист?

Мой приятель оглушительно захохотал.

— Ой, пощади! уморил! убил!— кричал он, захлебываясь от смеха,— Андрей Иванович — социалист! Попал же ты пальцем в небо!

Любопытство мое было напряжено в высшей степени, и наконец я не выдержал — прямо и резко потребовал у Петрова объяснений, указывая, что держать у себя на службе «таинственных незнакомцев» крайне неудобно и боязно. Андрей Иванович поднял на меня свои серые глаза,— замечательно холодный и пристальный взгляд был у этого человека,— и спокойно сказал:

— Я не скрываю своего прошлого, а только не люблю говорить о нем без нужды, так как весьма многим мое прежнее звание не по вкусу, и я часто имел из-за этого большие неприятности. Но, раз вы требуете, так извольте: я был сыщи-

ком... А затем — если вам это не нравится — можете меня уволить; претендовать на вас я, конечно, не в праве...

Разумеется, я не отпустил от себя хорошего и деятельного служащего, но... вот тебе и социалист!

* * *

Мы поздоровались с Петровым, уселись вместе на подоконник и стали бесцельно глядеть в декабрьские сумерки. Звездочка зажглась. Ударили ко всенощной. Петров перекрестился. Раньше я не замечал за ним особенной набожности, а потому немного удивился. Он заметил:

— Вам, Ипполит Яковлевич, странно, что я перекрестился? Оно, знаете, точно: к религии я не очень привержен,— жизнь-то тебя треплет-треплет, за куском-то гонишься-гонишься... поневоле озвереешь душой! А всё иной раз очувствуешься и Бога вспомнишь... особенно вот — благовест... Эх, если бы вы знали, как он выручил меня из беды десять лет тому назад! Хотите, расскажу?

— Пожалуйста!

— Извольте слушать. В 187* году я был причислен к м-скому полицейскому составу. Заведовал нами полковник Z. Я был у него на отличном замечании, и мне поручались только крупные и трудные поимки. Появился в М. один громила. Звали его Федором, а по острожной кличке — Чеченцем, так как хоть Федор чечни и в глаза не видывал, а был самым настоящим православным туляком, но вид имел строгий, нрав дерзкий и горячий и был необыкновенно быстр на руку. В М. он работал не один, а с компанией таких же молодцов, как он сам, и работал чисто: нынче взлом здесь, завтра грабеж там... ужас что творилось! Убивать, однако, не убивали. Мало-помалу вся честная компания была перехватана; остался гулять на свободе один лишь Федор. Полковник поручил его мне.

У меня, должен вам сказать, была такая сыскная манера: первым делом — не выпустить преступника из города. Состав у нас был большой — следить за городскими окраинами, значит, ничего не стоило. Вторым делом — я принимался допекать знакомых преступника, и так, бывало, надоем им обысками, что, оберегаючи свою шкуру, они родному брату отказали бы в пристанище, если бы я его разыскивал. А одно какое-нибудь теплое местечко возьму, да и оставлю как будто вне подозрений. Преступник сунется туда-сюда — везде ему от-

каз, нет приюта; придет в мое намеченное местечко — «милости просим! прячься, сколько хочешь! здесь тебя и не думали искать!» А я и — тут как тут с городовыми.

Вот таким-то именно способом гонял я Федора по городу из квартала в квартал и затравил его вконец. Ловок он был прятаться, но мы его так прижали, что даже любовница отказала ему в убежище, и с отчаяния он совсем одурел — показался днем на улице. Разумеется, до первого перекрестка не дошел, как Фролов, мой сподручный агент, сцапал его за шиворот. Но Чеченец не сробел, хватил Фролова закладкой по темени и — поминай как звали! Словно сквозь землю провалился. Случилось это как раз в самый сочельник, утром. Хоть Федька и пропал без вести, но я понимал, что из квартала, где вся эта история произошла, он никак не мог уйти: уж очень хорошо мы его оцепили. Значит, думаю, птица в клетке. Куда ж бы это она запряталась? Пораскинув умом, решил, что некуда Чеченцу деваться, кроме как — к Евгении: жила по близости одна такая старуха, имела собственный домишко, давала деньги в рост и торговала всяким старьем; не отказывалась купить и краденое. У нас она была в сильном подозрении, но улик на нее не имелось, а «не пойман — не вор». Обыскали мы домишко и двор Евгении и ничего не нашли: однако мое убеждение не поколебалось,— так вот и говорит мне тайный голос: «Здесь Чеченец! здесь». Хорошо-с. Хоть обыск и не дал ничего определенного, однако я оставил самых надежных из своих молодцов исподволь следить за торговкиным двором, а сам пошел в участок. Часу в шестом прибегает за мною Фролов.

— Андрей Иванович! штука! Помните караулку у Евгеньиных ворот?

— Ну?

— Старуха говорила, будто там никто не живет, что она и развалившаяся, и такая-сякая...

— Да ведь и правда, что развалюга. Мы ее осматривали. Где там спрятаться человеку?

— А вот подите же: я не я, если там сейчас не вспыхнул огонек... словно кто-нибудь спичку зажег...

— Ты не врешь?

— Чего мне врать?! Я тихим манером приставил к воротам Сидорова с Поликарповым, а сам побег донести вам.

Я повторил обыск. В караулке никого не было, но — уж и не знаю, как вам это объяснить... как-то пахло живым

человеком! Здесь Федька, непременно здесь... а где? четыре стены да печка — вот вам и вся караулка. В сверчка, что ли, оборотился он, разбойник? И вдруг вспала мне на ум одна мысль...

Я оставил Фролова с людьми в караулке, а сам обошел вокруг ее и вижу: позади караулки — помойка, между помойкой и соседским брант-мауэром валяются две доски. Меня взяло сомнение: зачем тут быть доскам? Приподнял одну, а под нею — яма. Эге!.. Пощупал ногой — глубоко. Так и есть: из-под караулки устроен лаз. Недаром про Евгению болтают, будто у ней находит приют всякое жулье.

Опустился в яму, ощупываю,— велика ли, где ход в караулку,— вдруг земля подо мной осыпалась, и я полетел вниз.

Встал на ноги и вижу — погреб. На полу стоит жестяная лампочка, возле нее разостлано рядно, а на этом рядне сидит на корточках человек и целит в меня из двухствольного ружья. Да чего там целить, когда между нами едва сажень расстояния и ружье чуть не упирается мне в грудь! В кармане у меня был револьвер — отличный самовзвод. Но сунуть руку в карман — это момент, направить дуло на разбойника — другой, а у него уж и прицел сделан, и курки взведены, остается только палить при первом моем движении. Думаю: закричать разве? Ну, хорошо, закричу я; а он сейчас же и ухлопает меня, да, взяв мой револьвер, получит в свое распоряжение еще шесть выстрелов: на всю мою команду хватит!.. Словом, как ни верть, все в черепочке смерть! Шабаш! умирать надо!

Все это, Ипполит Яковлевич, я обдумал до того быстро, что и сам не пойму, как такая орава мыслей поместилась у меня в голове зараз. Как только я увидел, что спасения нет, мне даже досадно стало, до злости горько: чего же еще Федька ломается, тянет время? Зачем не стреляет? А всего-то — понятное дело — много-много секунды две-три промелькнуло с тех пор, что я провалился в подкоп.

Чеченец молчит — я молчу. Ни молиться, ни просить, ни хоть обругать его, каналью, перед смертью — ни на что нет охоты. Так, одно только в уме: «Сейчас он меня пришибет! пришибет! пришибет!»

И вдруг, в это самое мгновение, что-то загудело над нами... Колокол!— стало быть, началась всенощная. У меня рука сама поднялась на крестное знаменье...

Смотрю на Чеченца, а у него вдруг как задрожат руки... Другой удар... третий... Я глазам не верю: побелел Федька, как полотно, губы трясутся, на глазах слезы...

— Христос,— шепчет,— Христос родился!— да с этим словом как швырнет ружье на пол!..

— Вяжи!— говорит.

А у меня револьвер, будто сам собою, очутился в руке, и Федька стал совсем в моей власти...

Андрей Иванович замолчал и задумался.

* * *

— Что ж? вы, конечно, арестовали его?— поинтересовался я.

Андрей Иванович встрепенулся и, как мне показалось, взглянул на меня с некоторым негодованием.

— Ну, уж, Ипполит Яковлевич,— сказал он недовольным голосом,— каков я ни есть человек, а вы слишком низко понимаете обо мне... Как же так?! помилуйте!.. Человек мог меня пристрелить и помилосердовал, а я ему сейчас же и руки за лопатки?! Что греха таить! Было у меня такое первое намерение, чтобы броситься на Федьку, повалить и позвать своих молодцов. Но вижу — стоит он и крестится, а слезы так и бегут по щекам; бормочет:

— Христос родился... а мы-то, мы-то что делаем!.. Господи! в такой праздник чуть не убил человека!..

Что-то стиснуло мне сердце. Себя не помню, показываю Чеченцу на его лаз и шепчу:

— Уходи, пока цел! Сзади караулки цепь не расставлена...

Он было широко открыл глаза, шагнул ко мне, а я рукою машу, все показываю ему на лаз. Как бросился он из погреба, только я его и видел.

Вышел я на свет Божий, зову Фролова:

— Смотри-ка,— говорю,— какова яма?

Он так и обомлел; шепчет мне:

— Непременно тут, под караулкой, есть подполье. Это Федькина нора...

— А ну! зови наших! Посмотрим!

Спустились мы в погреб уже вчетвером, нашли ружье, лампу, рядно... Только Федьки не было!

— Эх! — говорю, — ребята! Видно, не наше счастье! Была здесь птица, да улетела!

Тем временем подоспел участковый. Составили протокол. Евгению арестовали. Уж не помню, чем кончилось ее дело...

— А что сталось с Федькой? — спросил я.

— Не могу вам сказать... — задумчиво ответил Петров, разводя руками. — В М. он больше не показывался... Слыхал я, что на Макарьевской ярмарке в тот же год нашли какого-то мертвого оборванца, похожего на Федьку с лица, с перерезанным горлом. Но он ли это был или другой, и от кого он погиб, ничего не знаю; я в это время уже собирался оставить службу и мало ею интересовался... Да — наверное, он: ихний брат всегда этак кончает!



Деревенский гипнотизм

I

Лето 188* года я провел на Оке, в имении Хомутовке, в гостях у приятеля-помещика. Звали его Василием Пантелеичем Мерезовым. Он был много старше меня годами и опытом. Когда-то предполагал иметь порядочное состояние. Но половина последнего погибла, потому что Мерезов не занимался хозяйством, а другая половина — потому что Мерезов стал заниматься хозяйством.

— Милый Саша,— говорил он мне, когда я умру, на чертай над моей могилою: «Здесь покоится прах дворянина Мерезова, погибшего жертвою многопольной системы и усовершенствованного молочного хозяйства; он вышел невредим из лап парижских кокоток, но пал под бременем агрономических улучшений. О нем плачет Россия и фирма «Работник», напрасно ожидающая уплаты за молотилку, веялку, три плуга латкинские и один Сакка. Прохожий! если ты кредитор, почти вздохом прах его и разорви свой исполнительный лист: описывать у Мерезова нечего».

Не имея средств жить в Москве, Мерезов безвыездно сидел в своем углу, спасенном для него от общего разгрома милейшим старичком-родственником, который с тем и купил на аукционе дом и клочок земли, чтобы предоставить их в пожизненное пользование Василию Пантелеичу. Угол был поистине медвежий. Я нашел Мерезова сильно одичалым и в хронически удрученном настроении какого-то мрачного шутовства.

— Как же ты, Василий Пантелеич, поживаешь? Что поделываешь?

— Обыкновенно, голубчик, что делают на дне колодца: захлебываюсь.

— Скучно?

— Гм... то-то и скверно, что не скучно.

Мерезов значительно посмотрел на меня и продолжал, приложив палец к носу:

— Царь Навуходоносор не скучал в своей жизни ровно семь лет. Однако в эти семь лет он был не царем на престоле, но, в качестве убойной скотины, пасся на подножном корму.

Перестреляли мы с Василием Пантелеичем сотни две куликов, выудили сотню окуней. Да! здесь не скука — хуже: одурь.

— Давай, Вася, выпишем хоть «Русские ведомости».

— Зачем?

— Будем следить за Европой.

— Вона! это — из Хомутовки-то?!

— Когда я уезжал из Москвы, Бисмарк ладил тройственный союз. Интересно, осуществится или нет?

— А тебе не все равно... в Хомутовке?!

Дом у Мерезова был огромный: мы терялись в нем как в пустыне. Обветшал он страшно. Полы тряслись и стонали под ногами; мыши, крысы; с потолков сыпалась штукатурка, обои облохматились, у половины дверей не хватало замков и скобок,— кем скраденных — Мерезов не доискивался.

— Весьма может быть,— объяснял он,— что мои министры в одну из безденежных полос, чтобы меня же накормить обедом.

Министрами Мерезов звал стряпку Федору, горничную Анюту и кучера Савку,— он же егерь, рассыльный, камердинер... чего хочешь, того просишь: молодец на все руки. Кроме их трех, при доме проживал, неизвестно по какому праву и на каком положении, «государственный совет»: две увечные старухи и три старика. Один величал себя садовником, хотя у Мерезова не было сада, другой — скотником, хотя из трех мерезовских коров ни одна не подпускала его к своему вымени, третий — сторожем, хотя,— говорил Мерезов:

— Кроме добродетели, и в рубище почтенной, у нас сторожить нечего!..

Все три старца хорошо помнили, как через Хомутовку

везли в Москву из Таганрога тело императора Александра Павловича. Старухи были еще любопытнее. Хромая Ульяна уверяла, будто она выкормила и вынянчила Мерезова, который, однако, отлично помнил, что няньку его звали Василисою, а кормилицы у него не было вовсе. Лизавета, неизлечимо скрюченная мышечным ревматизмом, не приписывала себе никаких чинов, но просто заявляла:

— Не околевать же мне, больному человеку, под забором: не пес я.

— Желал бы я знать,— недоумевал Мерезов,— чем кормится эта босая команда? Я не даю им ни денег, ни пайка. Враны с небеси хлебов им не носят. Тем не менее старики не мрут, скрипят и даже, по-видимому, сыты, потому что не бегут со двора, и намедни скотник Антип выражался весьма презрительно о дармоедах, которые побираются под окном... Кстати: есть у тебя рубль? Дай мне, потому что по двору шествует Федора, и я предчувствую, что у нее опять черви съели говядину.

Министры Мерезова вели себя конституционно до отчаяния. Порою мы почти недоумевали: кто у кого служит — они у нас или мы у них? Барина любили, были ему преданы, но в грош не ставили его приказаний, вольничали, фамильярничали. Мерезов примирялся с этою распущенностью очень хладнокровно:

— Делать выговоры Савке бесполезно, ибо он по натуре коммунар, а по привычкам бродяга. Вступать в прения с Федорою еще бесполезнее, ибо она — Дионисий, тиран сиракузский. Анютка же имеет слабость мнить себя подругою моей холостой жизни, и я не смею поражать ее чувствительное сердце жестокими словами. Тем более что на каждое мое слово у нее двадцать своих, и потом она ходит по трое суток с физиономией надутою, как воздушный шар.

Анютка страдала манией уборки комнат: она с утра до вечера топотала по дому босыми ногами, носясь, как ураган, с веником и мокрою тряпкою,— и все-таки всюду оставалось грязно и сорно.

— Ut desint vires, tamen est laudanta voluntas![1] — одобрял Мерезов.

---

[1] Пусть не хватает сил, но желание все же похвально *(лат.)*.

Я решительно не мог взять в толк его любовного приключения с этою девицею, правда, статною и, должно быть, до оспы недурною с лица, но теперь рябою, как решето. На высказанное мною однажды недоумение Мерезов возразил довольно мрачно:

— Ты пьешь водку?

— Прежде не пил: здесь у тебя научился.

— Ага! А между тем теперь лето. Запереть бы тебя в Хомутовке на зиму, когда сугробы нарастают вровень с окнами и волки приходят к воротам петь Лазаря... понял бы и не такое!

Несчастием Анюткиной жизни были юбки, обладавшие волшебным свойством сползать с бедер своей злополучной владелицы как раз в самые ответственные моменты ее служебной деятельности. Подает Анютка обед,— предательница-юбка уже расстегнулась и лезет вниз. Анютка взволнованно дергает локтями, в тщетном старании привести в порядок свои одежды. Котелок со щами катится по полу. Мерезов оптимистически замечает:

— Хорошо, что у меня описали столовый сервиз, и это не фаянсовая ваза.

Кухнею деспотически управляла стряпка Федора, из солдатских вдов,— «мирской человек», румяная баба, еще молодая, но чудовищной толстоты; Мерезов звал ее «вторым спутником земли в своей собственной атмосфере». От Федоры на пять шагов пыхало жаром кухонной печи. Когда в духе,— хохотуха и скромница, под сердитую руку — брёх. Почти каждое утро она делала нашествие к нашему чайному столу и звонко орала:

— Пожалуйте денег!

— Федора,— морщился Мерезов,— когда приедет доктор, я попрошу освидетельствовать тебя, не переодетый ли ты протодьякон.

Федора фыркала и вылетала бомбою за дверь, чтобы отхохотаться на свободе, но, по возвращении, настаивала:

— Денег пожалуйте. Говядины ни синь-пороха.

— Но еще нет недели, как Савка привез из города полтора пуда?

— А льду он привез ли?— азартно прикрикивала Федора.— Гляньте в погреб: одна вода. Говорила по зиме, чтобы поправить крышу,— не послухали. Нешто у нас — как у людей? А теперича, что покупай убоину, что нет,— одна ко-

рысть: червей кормить. Благодарите Бога, что Галактион привез нонче тушу с ярмонки из Спасского, не то насиделись бы голодом до городского базара. Пожалуйте денег.

— Спроси у Анютки. На днях я субсидировал ее пятью рублями.

— Когда это было? — отзывалась Анютка, — под Вознесеньев день, а у нас завтра Троица. Да сами же, опомнясь, взяли у меня рупь семь гривен — продули доктору в стуколку.

— Анюта, ты меня убиваешь, хотя точная отчетность твоей кассы достойна уважения. Остается одно — совершить заем у дружественной державы. Саша, раскошеливайся.

Если у меня не было денег, Мерезов трагически восклицал:

— Министры! убирайтесь к черту! Государство — банкрут. Кормите вашего повелителя плодами собственной изобретательности.

Тогда Федора поднимала на ноги всех домочадцев: «государственный совет» in corpore[1] ползал в Оке, выдирая из береговых подмоин тощих раков; Анютка металась по двору, в крапиве, пытая сонных наседок, не снесла ли которая яйца, на наше счастье; сама Федора копала в огороде какие-то сомнительные корни и травы или, с подойником на плече, летела в стадо; а Савка являлся ко мне с ружьем и ягдташем.

— Гуляем, что ль, Лексан Лентиныч? Приказывает Федора, чтобы беспременно раздобыть ей к обеду болотного быка.

Калеб сира Эдгарда Равенсвуда вряд ли равнялся Савке в находчивости, когда ему предстояла задача напитать как-нибудь и безденежных господ и себя. Однажды, в такую тощую пору, приводит он к обеду гостя, великовозрастного гимназиста из недальней усадьбы. У Мерезова вытянулось лицо: чем мы накормим этакого парнищу? Я набросился на Савку:

— Ты с ума спятил?!

— Очень даже в уме, Лексан Лентиныч. Потому, шагал я по болоту три часа, не вышагал ни бекаса, — вот оно, ружье: неразряженное. А навстречу — этот долгоногий, полон ягдташ. А мне намедни сказывал ихний кучер: очень, говорит, желательно нашему барчуку свести компанию с вашими господами. Я сию минуту картуз долой: ах, говорю,

[1] В полном составе *(лат.)*.

сударь! а я было правил к вам в усадьбу: Василь Пантелеич и Лексан Лентиныч приказывали беспременно звать вас к обеду. Он — на большом удовольствии — и высыпал мне, в презент, всю свою сумку полностью. Мне того и надо. Я — дичь в ягдташ да к Федоре.

Мерезов был мастер на карточные фокусы. Савка это знал. Заночевал у нас молодой гуртовщик, проезжий в губернию. Перед ужином уселись играть в рамс. Савка нет-нет заглянет в двери и все делает мне знаки. Я вышел:

— Что надо?

Савка зашептал:

— Вы скажите барину, чтобы того... не робел...

Он показал рукою, как делают вольты.

— Парень слепыш и ослица двукопытая: ничего не заметит. А денег с него грести можно сколько угодно.

Когда я крепко обругал Савку за его проекты, он не понял — за что? Он своим господам желает добра, и ему же достается!

Мерезов определял этого хитроумца то цитатою из «Сорочинской ярмарки»: «на лице его читались способности великие, но которым на земле одна награда — виселица», то некрасовскими стишками:

Гитарист и соблазнитель
Деревенских дур,
Он же тайный похититель
Индюков и кур.

— Ты бы, Савка, хоть с нами делился,— зубоскалил Мерезов.— Знаешь, Саша: этот ферт заполонил всех баб на деревне.

— Уж и всех!— самодовольно огрызался Савка,— куда мне их столько, добра такого?

— Глаза у тебя завидущие.

— Ничего не завидущие: я отобрал себе только какие с лица получше, а рябых — всех, как есть, вам оставил.

— Хвастунишка ты, Савка.

— Быль молодцу не в укор, Василь Пантелеич.

— Забыл, видно, как проучила тебя Галактионова Левантина? Представь, Александр: девка, обидевшись Савкиным ухаживаньем, пожаловалась братьям, а те залучили нашего Дон-Жуана к себе во двор, сняли с него одежду да и прогнали

его через всю деревню до самой усадьбы вожжами по голому телу.

— Нашли кого поминать — Левантину! — равнодушно возражал Савка. — Левантина — разве девка? Идол; прямо сказать, статуй, стоерос бесчувственный. Пока ее из дуба обтесали, десять топоров сломано.

— Слыхал ли ты, Савка, про лисицу и зеленый виноград?

— Слыхивал. Насчет винограду кому-нибудь ровно бы надо погодить дразниться. К Левантине примазывались иные и почище нас, одначе и им пиковый антирес указан.

— Молчи, животное!

Из соседей-дворян Мерезов ни с кем не знался.

— Что за радость, — объяснял он, — смотреть на оскуделую голь? Кругом на сто верст ни одного порядочного землевладельца. Нищие с кокардами. Мне надоела и своя нищета — до чужой ли?

— Неужели не найдется интересных живых людей?

— То есть образованных, что ли? Вероятно, есть. Да мне-то что в них? Я сам образованный.

— Все же... общение мыслей, интересов...

— Это у нищих-то?! — Мерезов качал головою: — У нищих, друг, не общение, но разобщение интересов, потому что у каждого смотрит из глаз свой голод, каждый зарится на кусок соседа. А у образованных и совестливых прибавь к этому еще тяжелую подозрительность: ах, не заметил бы гость, сохрани Боже, что мы не принцы, но санкюлоты, что мы щеголяем не в парче, но в ситцевых лохмотьях... Тоска!.. Притом того гляди — женят. Невест в уезде несть числа, и за каждою приданого — частый гребень, да веник, да алтын денег, было бы с чем в баню сходить. Есть хорошенькие. В здешней скуке — долго ли до греха? Я человек чувственный, слабый. И не заметишь, как Исаия возликует.

— Но почему бы тебе, в самом деле, не жениться?

— На ком? на образованной нищей — с попурри из «Цыганского барона», с платьями по модам из «Нивы», с восторгами к господину Бурже в русском переводе, с мигренью, истериками, с еженедельными поездками в город к докторишкам и аптекаришкам? Покорнейше благодарю. Уж лучше, если приспичит жениться, я впрямь осчастливлю своею рукою и сердцем Галактионову Левантину, Анютку, Федору, любую девку с Хомутовки.

— Такая будет тебя бить,— засмеялся я.

— А я ее. По крайней мере, обоюдное удовольствие: род домашнего спорта. Образованная же нищая меня тоже побьет,— у нас в околотке все благородные супруги дерутся между собою,— а я не посмею побить ее. Ибо я воспитан в рыцарских преданиях, а она предполагается дамою, и всякое семейное безобразие извиняется ей по праву деликатной натуры, нежного воспитания, возвышенной души и расстроенных нервов. С Левантиною я хоть буду уверен, что, после какой угодно драки, мне все-таки сварят щи и что мои дети родятся без английской болезни. Ты только вообрази, какая пошлость — английская болезнь в русском захолустном ребенке! Очень может быть, что Левантина года через два после брака завопит, что я — распостылый и загубил ее, молоду; но она не будет требовать от меня, с ножом у горла, отдельного вида на жительство, а получив таковой, не потащит мою фамилию на подмостки столичного кафешантана. Тем не менее будем надеяться, что и сия брачная чаша,— то есть в образе Левантины,— меня минет!

Родитель этой Левантины — Галактион Комолый — держал в руках всю Хомутовку, посредничая между местными кустарями-токарями и губернскими скупщиками. В околотке звали его «купцом». Мы с Мерезовым часто ходили к Галактиону пить чай: он это любил — похвастать перед господами своей новою избою, с чистою горницею, под обоями, с царскими портретами по стенам и огромным киотом, полным темных ликов в серебряных венчиках, в красном углу. И самовар у Галактиона был господский — пузырем, красной меди, и чай — с цветочками, и ром — из губернии, а не от Федулки Пихры. Сам Галактион был еще кулаком-патриархом, на деревенский лад, но сыновья его,— их было четверо,— уже тянули к городу во всем: в платье, разговоре, в подборе компании, в манерах и взглядах. Деревню презирали, в мужике видели батрака, повинного работать в ихней кабале до конца дней своих, и глубоко огорчались, что старик Галактион, по старине, не хотел торговать ни землею,— грех, потому что Божья, ни водкою,— грех, потому что сатанинская. Все — словно ястреба: сухие, жилистые, востроносые, лица худые, скуластые, с красным подтенком, глаза серые, пристальные, быстрые. Силачи — на подбор. Старший, Виктор, играючись, взваливал на спину десятипудовый куль муки — и несет, бывало, через всю деревню к нам в усадьбу... добрых три четверти вер-

сты по косогору! Воображаю, как сладко пришлось Савке, когда эти парни приняли его в четыре вожжи. Молодых Комолых на деревне побаивались.

— Строгие ребята!— говорили о них.

Имена Галактионова потомства были — по крестьянству — удивительно громкие: Виктор, Валериан, Аврелий, Евгений, а дочери — Валентина, Маргарита и Юлия.

— Что это, Галактион Игнатьевич, вздумалось тебе накрестить их так чудно?— спросил я как-то. Он отвечал с досадою:

— Кабы я? Мисайловский поп начудачил. Опосля Вихторки, как родила старуха Левантину, я было молил его: назови, батя, девку по бабушке, Лепестиньей. А он — не в добрый час — как затопает на меня: «Господи!— говорит.— Ты один видишь, сколь я от ихнего невежества страдаю... Даже и называться-то по-людски не хотят! Не Лепестинья, дурак!— такого имени и в святцах нет, язычник ты этакий!— но Епистимия, мученица, память же ее празднуется новембрия в шестый день, а канун кануна Михайлова дня... рассуди же, говорит, сам: как я возьму на душу такой грех — нарещи дочери твоей имя, которого ты, по сероте своей, и выговорить путем не умеешь?..» И назвал девку Левантиной: это, говорит, имя благородное, означает «сильная духом», и во всех книгах о том пропись прописана. Ну — что ж? Мне с попом не спорить: у попа книга. Левантина так Левантина! Оно — ничего: имя ситцевое, для девки живет...

Впоследствии я познакомился и сдружился с мисайловским батюшкою — отцом Аркадием Дилигентовым. Он оказался превосходнейшим человеком и действительно чудаком, единственным в своем роде. Кончая семинарию, он увлекся театром и чуть было не ушел в актеры. Родители пришли в ужас и поклонились владыке — поскорее дать молодому человеку место и невесту.

— Да ведь он первым кончил,— изумился владыко,— ему бы в академию...

Но, узнав, какая блажь влезла в голову Дилигентова, внял — и положил резолюцию:

— Ничем нелепствовать, послужи-ка честному алтарю.

Поп из Аркадия вышел хороший — смирный и бескорыстный, но со «слабостью». Мужики его хвалили: «просвещенный поп». В свободные от «слабости» промежутки о. Ар-

кадий по целым дням лежал у пруда, с удочкою, уткнув нос в книгу. Читал он массу — и все помнил, точно фотографировал в мозгу. Подвыпив, чудесно играл на скрипке старинные полонезы Огинского. Расстроив себя до слез их меланхолическими звуками, Аркадий усаживался на крыльце своего домика и взывал на все село:

Из-за Гекубы!!!
Что ему Гекуба?
Что он Гекубе?!

Эти декламационные экстазы дали непочтительной пастве повод прозвать самого о. Аркадия — Якубою.

Чем питался Якуба, оставалось загадкою, не легче способов прокормления нашего хомутовского «государственного совета». В хозяйстве он был лентяй, в пастырстве бессребреник. К счастью, он был вдов и бездетен. Бог знает, как и когда этот беззаботный человек успел, однако, обучить грамоте почти все Мисайлово. Как, бывало, заметишь парня или девку посмышленее,— так и знай, что из Мисайловки,— выученики о. Аркадия. Служил «просвещенный поп» трогательно, часто в слезах. Меня изумляла его память: он знал наизусть все драмы Шекспира, все трагедии Шиллера, всего Пушкина, свободно цитируя стихов по триста подряд. Поэтическая начитанность развила в нем несколько комическую слабость к красивому звуку; скитаясь по околотку, я убедился, что о. Аркадий облагородил имена не в одной семье Галактиона: в каждом доме — Лидии, Клавдии, Зинаиды, Зои, Антонины... нашлась даже Цецилия, из которой — увы!— деревенское неведение выкроило-таки довольно конфузное уменьшительное...

Галактион держал дочерей строго. Мать не спускала с них глаз ни в поле на работе, ни в гулянку на улице. Девка во дворе под навесом доит корову, а материнский глаз следит за нею из окна, не зубоскалит ли она через плетень с парнями... Впрочем, девушки и сами были не из приветных: чванные славою богатых невест, надутые, недотроги. Левантину, которая считалась в семье и на деревне красавицею, Савка недаром обзывал бесчувственным стоеросом. Лишь в замоскворецких купеческих теремах да между левантинками Босфора встречал я потом женщин, настолько полных тупой, животно-скучной надменности, самодовольства и самообожания. Диво, что зародилась такая в крестьянстве, хоть и в кулаче-

ской семье, лезущей в купцы и на купеческий лад настроенной.

— Чуден вид Левантины,— декламировал Мерезов,— в воскресное утро, когда, пышная, она несет себя на мисайловский базар, подобно драгоценному и хрупкому сосуду.

Прослыть красавицей Левантина могла лишь в невзыскательной приокской деревне. Так — рослая, белотелая, раскормленная девка, с желтою косою до пояса и бледными глазами «по ложке» на круглом лице. Но было-таки что-то влекущее в этой сытой двуногой телке: молодежь по ней убивалась, Савка из-за нее допустил отодрать себя вожжами... Зато женщины ненавидели Левантину. Каждый раз, что мы пили чай у Галактиона,— а что грех таить? охота поглазеть на Левантину была главною приманкою этих чаепитий,— на другой день Анютка топотала пятками и швыряла дверьми особенно громко, мела полы особенно пыльно и сорно, юбки отказывались ей повиноваться с учащенною бесцеремонностью, а наплаканные глаза окружались красною опухолью.

На Петров день Хомутовка здорово гуляла. Мы с Мерезовым ехали в беговых дрожках, на утичий перелет, сквозь совершенно пьяную деревню. К нам привязался Артем Крысин, бобыль с Подшиваловских выселков, версты за две от нас. Вино повергло этого парня в весьма горделивый припадок.

— Великий я человек!— голосил он,— первый по уезду! И бабы меня любят! Ваши благородия! честь имею поздравить, каков я человек! Пожалуйте на двадцатку,— вот я каков человек!

Улица в Хомутовке сыпучая, косогор. Дрожки вязли, наш мерин ступал шагом. Крысин — длинный и тощий, с маленькою головкою, точно скворечницею на шесту,— бежал рядом с дрожками.

— Пожалуйте на двадцаточку,— трещал он, мигая желтыми глазами так проворно, что казалось, будто они прыгают по его бесцветному лицу.— Господа премудры: могут понимать Крысина. А мужик дурак. Мужик водит к Крысину овцу — червя сводить. Крысин слово знает. Мы под Плевною, за генералом Ганецким, в землянках животами болели. Сорок товарищев померло, а я — вот он. Потому положил на себя такой урок, чтобы не помирать. Я слово знаю. Отчего, опять говори, меня бабы предпочитают? Теперича, скажем, полюбилась Крысину отецкая дочь: наша будет и на гостинцы не потратимся. Я слово знаю. Ваши превосходительства!

извольте приказать Крысину, какую девку в Хомутовке он добывать должен?

— Вон — попробуй: добудь эту!— расхохотался Мерезов. Мы ехали как раз мимо Галактионовой избы. Нарядная Левантина сидела у ворот с Маргаритою, Юлькою и тремя подружками.

Крысин воззрился:

— Которую?— толстую-то? белоглазую?

И вдруг, нелепо раскинув руки, ринулся к девушкам неверным, пьяным бегом, вопя:

— А-х! кого ж девки любят? кого красные голубят? Артемия Крысина... и со чады его!

Девушки с хохотом и визгом пустились наутек. Крысин споткнулся, упал на живот и не смог подняться. Он долго что-то бормотал, поминая Левантину, которая между тем, стоя в калитке, не удостаивала поверженного пьяницу даже взглядом. Она лущила подсолнухи, доставая их из передника, розового, как рукава ее рубахи, как ее волосы и шея, в румяных лучах вечерней зари... Мерезов инда языком щелкнул:

— Экий кусок — девка!

Мол — женись, мол — женись,
А то лучше отвяжись!

запел я ему из «Вражьей силы». Каюсь: по тогдашней юности лет моих, я наблюдал флирт, которым мой друг преследовал Левантину, не без тайной зависти и довольно ехидно утешался полною безуспешностью его ухаживанья.

Когда к нам в усадьбу наехал наш частый гость и неизменный обыгрыватель, земский врач, Галактионова старуха привела Левантину попросить средствица: девка мается гнеткою.

— Ты красавица, видно, студено напилась на сенокосе?— спросил доктор.— В сенокос у меня все такие больные. Хватит, сгоряча, потная, родниковой водицы,— и готова.

— Не...— протянула Левантина.— Я воды не пила. Кваску точно хлебнула намедни, как дометывали копны. Одначе теплый был, квасок-от...

— Ну, верно, квас у тебя нехороший.

— Не: наш, на погребу, дюжо удался... Я чужой пила... Артемка подшиваловский у соседей в помочи работал: увидал, что мы с Маргаритой запарились, угостил из бурака. Маргарита попробовала, ей не по вкусу пришлось, выплюнула.

А мне больно пить хотелось,— одолела полбурака. Точно, что кислый, ровно бы с мутью.

Доктор дал Левантине опийной настойки, велел пить мяту, и девушка быстро оправилась.

Выхожу одним утром к чаю — на великий спор.

— Вообрази,— встретил меня Мерезов,— министры уверяют, будто notre belle et toujours charmante Levantine[1] болела — passons le mot![2] — пузом неспроста.

— Знамо, неспроста,— горячо подхватила Федора,— с чего ей болеть, кабы не лихой человек? Все пьют квас в поле, и Левантина сколько разов пила, а ничего, не болела! Девка — печь: от кваса ли ей подеется? Нет, ты, Василь Пантелеич, не спорь: тут не без наговора. Мы тоже на миру живем — не глухие: слыхали от людей, что Артем на Левантину намерялся... Да и мудреное ли дело? Нешто ему, коновальской совести, первую девку портить?

— Стало быть, он у вас колдун?— спросил я.

— Колдун не колдун, а знает.

— Что знает?

— Уж это ты его спроси: я с ним вместе не ворожила.

— Так-то,— вступилась Анютка,— он третьим летом обвел дьячиху в Мисайловке. Тоже спервоначала заболела, а потом, глядь, и скрутилась... Срамота! Средь бела дня к нему бегала.

— Дьячок-то Артемке в ноги кланялся,— гласила Федора,— помилосердствуй, Артем Филипыч, отпусти бабу на волю, развяжи от греха. Три рубля слущил с него Артемка в ту пору, чтобы снять свою порчу с дьячихи: вот оно как было крепко завязано.

Я заметил:

— Если бы дьячок проучил хорошенько и жену, и Артема, дело, пожалуй, обошлось бы и без трех рублей.

— Ишь, тебя не спросили — сами не догадались!— огрызнулась Федора.— Ты спроси дьячиху, чего не приняло ее белое тело. Муж ее в кадку сажал да в кадке по всей Мисайловке катал: вот как она мало учена! Убил бы, пес, бабу, кабы отец Аркадий не заступился.

Мерезов обратился ко мне:

— Ты скучал, что в деревне мало романического элемен-

---

[1] Наша прекрасная и всегда очаровательная Левантина *(фр.)*.

[2] Прошу прощения за выражение! *(фр.)*

та. Бог посылает тебе на шапку Демона, который сводит червя с овец, и Тамару, которую катают по селу в кадке. И как тебе нравится таксирование супружеской верности в три рубля... в целых три рубля? Федора говорит о них с благоговением.

Вскоре все бабы на Хомутовке шептались, что «Артем намеряется», и предупреждали о том самоё Левантину. Но «стоерос бесчувственный» и тут не изменил природной гордыне и, на слова доброжелательниц, только презрительно отплевывался.

А затем произошло вот что.

Старший Галактионов сын Виктор ставил на Оке вершу; возвратясь к ужину, он рассказал, что рыбаки из Введенского, ближней деревни, крепко побили Артемку Крысина.

— Вишь ты, подглядели они, как он правил на Оке свою ворожбу. Разделся в лозняке, будто купаться, взял краюху хлеба и трет себя краюхою по голому телу, а сам причитает. Введенцам это не показалось. Зазвали они Артемку в кабак,— стаканчик, другой, стали выспрашивать: видели мы, Артемий Филипыч, твои чудеса; скажи, сделай милость, зачем ты уродуешь такое над собой? А он, с пьяных глаз, и хвастни: я, говорит, стану тот хлеб в квасу мочить, а квасом девок поить, и которая выпьет, та будет любить меня пуще отца-матери. Тут введенцы и приложили к нему руки: диво, как он, пырткий нехристь, цел ушел.

Пока Виктор говорил, вся сидевшая за ужином семья уставилась на Левантину, пораженная одною и тою же жуткою мыслью. Все сразу поверили, что Левантина испорчена, и она сама поверила. Она сидела белая, как плат, с бессмысленными глазами. Потом бросила ложку, схватилась за грудь, порывисто встала из-за стола, опять села и опять встала.

— Я... квас-то... пила,— прохрипела она, и с нею сделались корчи. Целую ночь она билась в истерическом припадке, не унимаясь ни от воды с уголька и громовой стрелки, ни от раствора четверговой соли, ни даже от свяченой вербы, которою, в усердии, сильно исхлестали плечи, спину и живот больной.

II

Поутру мы, оповещенные молвою, зашли к Галактиону взглянуть на порченую. Старик встретил нас очень встрево-

женный; рябоватое лицо его было красно, потно и пестро от постоянного утирания рукавом. Левантина, успокоившаяся лишь засветло, проснулась незадолго до нашего прихода и сидела еще в сонной одури. Остальная семья, кроме старухи-матери, была в поле.

— Что с тобою, Валентина?

Она подняла глаза.

— Ничего-с...

— Как ничего? А припадок? Да ты погоди, не хнычь!.. Болит у тебя что?

Она потерла рукою около сердца.

— Тут сосет... и ровно бы подкатывает.

Очевидно, Левантину душил globe hysterique[1].

— Вот и верь наружности!— заметил Мерезов,— кто бы мог думать, что ты нервная.

— Чего-с?

— Пуглива очень.

— Как не пужаться, батюшка?— застонала старуха-мать, пустив обильные потоки слез по морщинистым щекам,— экое, злодей, горе навел на девку... срам в люди выйти.

— Полно врать, Анна Матвеевна,— перебил Мерезов.— Никто ничего на нее не наводил; эта болезнь самая обыкновенная, называется истерией. Если вы все, а в особенности ты сама, Валентина, не будете уверять себя в глупостях, так она пройдет без всяких лекарств.

Старуха слушала и качала головою, с откровенным недоверием. Галактионов поддакивал:

— Так-с... вот оно что-с...

Но уже по конфузливой суетливости, с какою он обдергивал на себе рубаху, я видел, что он поддакивает только из вежливости, не верит ни в одно слово Мерезова, и барин, по его мнению, говорит великие глупости. Левантина сидела в отупении, точно речь шла не о ней. Я сбегал в усадьбу за гофманскими каплями. Левантина проглотила лекарство с неохотою: зачем, мол? все равно не поможет...

— Прошло?

— Нет, сосет.

А у самой глаза все больше и больше выцветают под серым налетом суеверного ужаса. Так мы ее и оставили, в предчувствии нового припадка и в молчаливой, но твердой вере

---

[1] Здесь: припадок удушья *(фр.)*.

в свою порчу. Повстречали Виктора: едет зверь зверем на сенном возу. Скатился на землю.

— Что, господа, слыхали наши дела хорошие? Я, Василь Пантелеич, теперь в одной надежде — переломать подлецу Артему ноги колом.

— А я, Виктор Галактионыч, посоветую тебе — не горячись. Изуродовать человека и попасть за это в острог недолго. Я было думал, что ты, как парень грамотный, бывалый, не веришь пустякам. Но уж если и ты поддаешься этой дури, постарайся покончить дело миром, без насилия. Если ты считаешь Артема способным посадить болезнь в женщину, то он должен уметь и снять ее обратно. Поговори с ним.

— Барин хороший! как я буду с ним говорить, коли у меня сердце кипит? Я было уже искал его сегодня... с колом-то... Догадлив, треклятый: ударился в лес, будто за дровами... Да нет, брат, шалишь! у нас не отбегаешься! найдем! Девок портить... это что же такое?

— Ну, если ты не можешь спокойно перетолковать с ним, давай, я поговорю.

— Благодарствуйте,— подумав, сказал Виктор.— Известно: вас он лучше послушает. А ваша, Василь Пантелеич, правда: хоть мы много обижены, худой мир лучше доброй ссоры. Если ему, собаке, надо сорвать с нас денег, вы, барин, обещайте, не скупитесь: тятенька для Левантины не пожалеет...

— Хорошо... Хотя — вместо денег, не пообещать ли ему лучше урядника?

— Урядником ли, за деньги ли — только, чтобы он нашу девку освободил. А не то — не быть ему, смердюку, живу. Так и скажите. Я, брат, шутков-то не очень уважаю.

— Ишь какой Валентин своей собственной Маргариты!— засмеялся Мерезов, провожая Виктора глазами.— Ты посмотри, как он сидит на возу: даже в спине чувствуется угроза. Конечно, я говорил очень благоразумно, но, сказать откровенно, было бы превесело стравить его с Артемкою.

— Черт знает что лезет тебе в голову, Василий Пантелеич! Убийства захотелось!

Мерезов покраснел.

— И представь: совершенно искренно,— проворчал он.— Вот оно, одичание-то. У людей горе, а ты пуще всего боишься, чтобы оно не разошлось пустяками и не пропал для тебя трагический анекдот.

Мы отправили Савку на поиски Артема. Пришел Галак-

тион: Левантине опять было нехорошо. Он просил у Мерезова лошади — доехать девке с матерью до Мисайловки.

— Хочешь свести к фельдшеру? Хорошее дело.

— Я так полагаю: не лучше ли к батюшке?— замялся Галактион.

— Покажи и фельдшеру, и батюшке; в один конец коня-то гонять. Но как же Левантине ехать вдвоем со старухою? Твоя Матвеевна — тоже сосуд скудельный; я думаю, сама не помнит, когда была здорова. Если с больною случится в дороге припадок, она и помочь не сумеет.

— Что поделаешь, Василь Пантелеич! Горячая пора: больше посылать некого. Сено свозим. Все: и люди, и лошади — в лугах. У меня своих четыре коня, а вот пришел кучиться твоей милости насчет меренка. Жарынья парит... не дай Бог скорого дождика: сгноит весь сенокос. Вот и поспешаем, как в котле кипим. И то горе, сударь, что Левантина занедужала: две руки вон из поля... как других-то отнимешь от работы?

— Саша,— сказал Мерезов,— мы давно не были у отца Аркадия. Не проехаться ли за компанию?

Я не имел ничего против. На прощанье Мерезов долго внушал Галактиону, чтобы он присматривал за Виктором и не допустил сына до какой-нибудь мстительной дикости.

— Слушаю, батюшка,— печально согласился старик.

До Мисайловки считалось верст восемь. Больную с матерью усадили в телегу на сено. Мерезов правил. Я сел на облучок. Едва телега тронулась, Левантина почти тотчас же задремала. Я следил за нею. Она, заметно, грезила. Мало-помалу ее сонное и при сомкнутых глазах грубоватое лицо оживилось улыбкою — чувственною и самодовольною. Губы раскрылись, на щеках разыгрался тяжелый румянец. Сон забирал ее глубже и глубже. Она начала бормотать. Мерезов оглянулся и головой тряхнул: очень уж привлекательною показалась ему Левантина с этим новым для нее страстным выражением в лице, с таинственным лепетом на губах... Вдруг она вскрикнула, взметнулась и — сразу все лицо и шея в поту, как в бусах,— села в телеге, дико озираясь мутными глазами.

— Привиделось что-нибудь страшное?— спросил я.

Она прошептала:

— Не...

Но потом, утирая лицо передником, прибавила:

— Так... мерезжит...

— Что мерезжит?— не понял я.

— Нечто... маячит...

— Коротко и неясно!— проворчал Мерезов, постегивая кнутом меренка.

— Ты не бойся: это от дурноты,— утешил я Левантину.

Она молчала.

— Под ложечкой все томит?

— Томит.

Мы огибали хомутовский крестьянский лес. Левантина шепталась с матерью, вероятно рассказывая ей свой сон, и, должно быть, очень страшный, потому что худое лицо Матвеевны вытянулось выражением мертвого ужаса; она охала и крестилась. Глядя на встревоженную мать, Левантина распустила губы и захныкала без слез, но с ревом, словно блажной ребенок. Она завывала до самой Мисайловки, но, въезжая в околицу, сразу оборвала свою волчью музыку и утерла кулаком сухие глаза.

Мы издалека заслышали широкий разлив скрипичных звуков. О. Аркадий встретил нас уже слегка в настроении Гекубы.

— Откуда вы, эфира жители?— завопил он и не хотел ничего слушать о деле, пока не угостил нас водкою и таранью. Мы объяснили, зачем приехали. О. Аркадий слушал на ходу, бегая по своему маленькому зальцу из угла в угол, широко вея полами парусинного полукафтанья и рыжею бородищею, которую он сам называл «небесною метлою». Потом стал в позицию, таинственно сощурил зеленоватые глазки и зачитал:

Но слушай: в родине моей
Среди пустынных рыбарей
Наука дивная таится.
Под кровом вечной тишины,
Среди лесов, в глуши далекой
Живут седые колдуны;
К предметам мудрости высокой
Все мысли их устремлены;
Все слышит голос их ужасный,
Что было и что будет вновь,
И грозной воле их подвластны
И гроб, и самая любовь.
И я, любви искатель жадный,
Решился в грусти безотрадной
Наину чарами привлечь
И в гордом сердце девы хладной
Любовь волшебствами зажечь.

Он окинул нас торжествующим взглядом, щелкнул языком и подбоченился.

— Каково прочитано, ребята?

— Отлично, батя: хоть бы Александру Павловичу Ленскому.

— Ага! меня Николай Карлович Милославский, Василий Васильевич Самойлов, Иван Васильевич Самарин, Николай Хрисанфович Рыбаков слушали и одобряли... А я сижу, как пень, в Мисайловке, и ко мне возят отчитывать порченых девок! Я царь, я раб, я червь, я бог! Слушайте, братцы!

Он схватил скрипку и запилил по струнам с диким воодушевлением. Мерезов нахмурился:

— Ты, Александр, недавно попрекнул меня, что я ничего не читаю,— заговорил он.— Вон — ответ тебе, полюбуйся: хорош наш Гекуба?

— Чтение-то при чем?

— При том, что я глупостей не чтец, а умная животворная книга порождает волнения, опасные для нашего брата, слабохарактерного человека, заброшенного на дно колодца... Помнишь, как у Щедрина меринос захирел и издох оттого, что увидел во сне вольного барана? Мы, брат, тут тоже мериносы в своем роде. Прозябаем и так и сяк, пока спит мысль, пока чужая далекая жизнь не видна и не завидна. А чуть растормошил себя — и окружат тебя насмешливые и укоризненные призраки, и... и сам не заметишь, как либо сопьешься, либо удавишься.

Мерезов спохватился, что говорит с чрезмерным волнением, и перешел в свой равнодушно насмешливый тон.

— А мне жизнь дорога, и водка здешняя не нравится. Поэтому — черт с ним, с вольным бараном! Пускай его Гекуба видит... Хочешь, я покажу тебе, откуда его «слабость»? Вот он лежит, корень-то зла.

Мерезов кивнул на толстую книгу, забытую на подоконнике. «Шопенгауэр. Мир как воля и представление»,— прочитал я на корешке.

— Это ты верно!— торжественно возгласил о. Аркадий, опуская скрипку.— С него началось, с Шопенгауэра. Ибо он меня сперва огорчил, а потом вознес.

— Всякий раз запивает, когда проглотит книгу себе по сердцу,— объяснил Мерезов.

Аркадий мотнул своею сверкающей бородою:

— Верно! Потому что тогда дух мой жаждет парить,

а мысль расшириться,— горизонт же мой низок и узок, и вмещаться под него, без этого напитка, весьма огорчительно.

— Хорошо парение духом — к выпивке!

— Врешь, киник! подтасовываешь! Я не парю к выпивке, но выпиваю, скорбя, что парить бессилен.

— Ну, не пари, семинария несчастная! кому надо?

— Мне надо, ибо я не самоотчаянный киник и не эгоист, подобно тебе, погрязший в животном самосохранении, но любопытный и доброжелательный человеколюбивец, алчущий знания и надежд... «Духа не унижайте!»,— сказал апостол.

— Пришибет тебя кондрашка — вот тебе и будет знание,— с досадою сказал Мерезов.

— Эк чем испугал!— равнодушно сказал Аркадий, набивая рот таранью.

— Смерть, стало быть, не страшна?

— Чего ее бояться? Я не троглодит, мню себя бессмертным быти. У Бога, брат, все на счету. Блажен раб, его же обрящет бдяща. Позовет Он мою грешную душу,— вот он я, Господи, весь, каков есть... со всем моим удовольствием.

— В таком-то неглиже, пожалуй, и неудобно явиться,— поддразнил Мерезов.

О. Аркадий невозмутимо отразил насмешку:

— Уж это — Его воля: каким позовет, таким и предстану. Грех мой со мною и вера моя, упование жизни моей, при мне. А Он, брат, благой — не нам чета, людишкам зложелательным, насмешливым и брезгунам... Он вникнет и разберет...

— Ты и мужикам это внушаешь?

Аркадий мотнул головою:

— И мужикам.

— То-то твоя Мисайловка вовсе с пути спилась!

Аркадий не смутился:

— Да ведь и ты вовсе с пути спился, а тебе я никогда ничего не внушал.

Мерезов не нашелся что ответить.

Я напомнил о Левантине и Матвеевне, ожидавших на крыльце. Мерезов поднялся с места:

— В самом деле, пойдем-ка, поп.

Я остался в комнате, убоясь солнечного пекла. На полочке под образами я заметил черную книжку, календарь-поминанье никольского издания. От нечего делать я стал просматривать длинный список друзей, сродников и излюб-

ленных прихожан, записанных о. Аркадием за здравие и за упокой.

Мерезов возвратился: бабы пожелали говорить с о. Аркадием наедине.

— Что ты нашел?— спросил он, заметив улыбку на моем лице.

— Взгляни.

Под 7 апреля отец Аркадий записал: «Упокой, Господи, душу раба Твоего болярина Георгия (он же Гордей) из англиканских иноисповеданцев». Под 27 января был помянут болярин Александр, от супостата неправедно убиенный. Иноверец-англичанин Василий предназначался к поминовению во все дни.

Мерезов расхохотался.

— Экий чудище! Ведь это он поминает своих любимцев лорда Байрона, Пушкина и Шекспира. Совсем дитя этот поп! даже трогателен. Батька!— обратился он к входящему Аркадию,— что ты чудишь? Вздумал молиться за упокой шекспировской души!

— Коли я его люблю?!— пробормотал Аркадий, опускаясь на стул.

— Смотри: дойдет до благочинного — будет тебе ужо «иноверец Василий»!

Аркадий махнул рукою:

— Доходило... Сосед донес... Знаешь, емельяновский Вениамин, что в воротничках ходит и таксу за требы завел...

— Что же?

— Ничего. Благочинный вызвал в город. «Правда ли, говорит, будто вы молитесь за упокой иностранного писателя Вильямса Шекспира, именуя его иноверцем Василием?» — «Сущая правда, ваше высокоблагословение».— «Зачем же это?» — «Затем, что ежели я, любя сего писателя и желая ему небесного царствия, не помяну его, кто же другой догадается его помянуть? Молитва же и Шекспиру нужна, как всякому покойнику... Ну, благочинный — он у нас академик — принял мой резон... опять же каноническими правилами оно не запрещено... отпустил меня с миром. А Вениаминке — нос.

Мы возвратились в Хомутовку вдвоем с Мерезовым, без Галактионовых баб, потому что о. Аркадий приказал Левантине остаться до другого дня, на обедню и молебен об исцелении болящей. Ехали мы довольно мрачно. От жары и вина

у Василья Пантелеича разболелась голова и разгулялись нервы.

— Проклятая судьба!— твердил он,— проклятое безденежье! Не угодно ли медленно издыхать в безвинной ссылке, в медвежьем углу, где еще привораживают девок и сентиментальный поп записывает в поминанье Василия Шекспира!

— Кто тебя держит здесь? Поезжай в Москву, возьми службу.

— На пятьдесят целковых в месяц? Спасибо.

— А тебе — чтобы прямо в рот летели жареные рябчики?

— Так воспитан — не перевоспитываться стать на тридцать третьем году. Разве определиться учителем хороших манер к коммерции советнику из бывых свиней? Говорят, недурно платят и хорошо обращаются: даже метрдотелем не зовут. Но ведь я все-таки Мерезов. Одного моего предка царь Петр повесил за ребро, другого Борис Годунов за шею, а третьего царь Иван посадил на кол. Как же мне, после кола, ребра и шеи, в прихлебатели к бывой свинье-то? Еще эти висельники-предки начнут сниться по ночам... А пятьдесят рублей в Москве — одна игра ума, на голодный желудок. Здесь я, по крайней мере, сыт и — каков ни на есть — барин, а не пролетарий.

Артем поджидал нас. От перепуга, со злости, с недавних ли введенских побоев, он был желт, как пупавка.

— Изволили спрашивать?— хрипло спросил он, отвесив поклон и прыгая глазами то на меня, то на Мерезова.

— Изволили. Что ты, братец, наделал? А?

Артем воодушевился.

— Барин! ваше высокоблагородие! Сами судите — вы господин, разум имеете, наукам обучались — статочное ли дело взводят на меня наши сиволапы? Кабы я знал бабий приворот, нешто бы я был Артемка-бобыль? Ступай бы прямо в губернию да полони самую богатейшую купчиху, со всем мужниным сундуком. Эка невидаль их Левантина,—глаза его блеснули враскос,— стану я из-за нее, белоглазой, губить душу, вязаться с нечистым! А Вихтарь Глахтионыч, между прочим, обещает меня извести... Господи! где же правда-то? Правда-то где, я говорю, Василь Пантелеич?

— Погоди, не трещи. Значит, ты не колдовал над Валентиною?

— Василь Пантелеич? Мудрый вы господин, наукам обу-

чались: какое колдовство есть-живет на свете? Я — за генералом Ганецким — прошел наскрозь всее Турещину; одначе и там видел колдунов не гораздо много, а больше ни одного. А они тут, идолы, в лесу сидя, до колдунов додумались. Коновал я хороший — это точно. Лечу лошадей, коров, знаю такую молитву против овец, чтобы сгонять с них червя. А больше — хоть присягу принять — ничего мне не ведомо.

— Я, братец, и сам, без тебя, знаю, что колдунов не бывает на свете. Но видишь ли: кто, по суеверию своему, верит в колдовство и думает, что он околдован , тому может сделаться нехорошо, без всяких снадобий и наговоров, от одного воображения. Так, по моему мнению, заболела Валентина. У тебя скверная слава, что ты привораживаешь женщин... квасом, что ли, каким-то...

— Лопни глаза мои, напраслина, Василь Пантелеич.

— А помнишь, на Троицу ты сам похвалялся над этим?

Артем досадливо передернул плечами:

— Запамятовал, ваше высокоблагородие. Хмелен был. Мало ли что у пьяного язык болтает — голова не знает. Кабацкая хмелина сильна: захочет — головою о тын ударит.

— А за что побили тебя введенские мужики?

— Опять глупость ихняя, ваше высокоблагородие. У мужика с наших выселков — Мокеем зовут — захромал конь: насекся в болоте на остролист. Я мастерил коню пластырь, а введенские дуроломы выдумали, будто я готовлю питье для девок. Необразованность!

— Объяснение правдоподобно,— заметил мне Мерезов по-французски.— Однако он что-то лжет.

Мне тоже сдавалось, что Артем, хотя издевается над колдовством, сам верит в него глубоко — и только заигрывает вольнодумством с неверами-господами.

— Что меня произвели в колдуны, тут, ваше высокоблагородие, я должен сказать спасибо мисайловской дьячихе, с нее пошло... что она, выходит, была со мною в грехе. Но я тому ничем не причинен: она сама повесилась мне на шею. Не дубьем же было отбиваться от нее — не монах я. Народ видит, что баба дурит не путем, и загалдел: колдун Артемка, приколдовал дьячиху. А чего было колдовать? Вы, ваше высокоблагородие, видали ли дьячка-то? Мразь несуразная! От этакого мужа сбежишь и к водяному деду, не то что к Артемке... Насчет же колдуна я на народ не обижался; потому полагал так: пусть лаются, от слова не станется, а по

коновальской части мне от этой славы, будто я колдун, даже большой фарт — верят крепче... Да вот и наконовалил себе беду!

— Надо ее поправлять, Артем. Девка болеет оттого, что убеждена, будто ты ее околдовал. Значит, ты должен расколдовать ее, то есть выгнать из нее это убеждение. А сделать это очень просто. Завтра я приглашу сюда Галактиона, Виктора, самоё Валентину. Ты при них поцелуешь икону, что не имел, не имеешь и не будешь иметь злого умысла на Валентину и желаешь ей впредь доброго здоровья. Согласен?

Артем переминался с ноги на ногу — угрюмый, сутулый — и молчал, не поднимая глаз.

— Увольте, ваше высокоблагородие,— глухо пробормотал он наконец.

— Не хочешь? почему?

— Так... неподходящее дело...

— Странно, Артем, очень странно. Ты понимаешь ли, что своим отказом ты подтверждаешь подозрение Галактионовой семьи?

— Точно так-с.

— Ты подвергаешь себя большой ответственности и опасности.

Артем сделал плаксивое лицо.

— Я, ваше высокоблагородие, коли что, побегу к уряднику жалиться.

— А урядник, когда узнает, из-за какого дела Галактионовы ребята злобятся на тебя, отправит тебя к судебному следователю.

— Стало быть, погибать надо?— горько усмехнулся Артем.— Не в бессудной стороне живем, барин.

— Разумеется. Только мне сдается, что лучше бы тебе с Комолыми честью, без суда. Ты так опорочен, что на суде тебе придется плохо. Я не неволю тебя, поступай, как знаешь, но мое дело предупредить.

Долго длилось молчание.

— Нет, не могу я этого!— решительно воскликнул Артем.— Обидно очень.

— Твоя печаль.

— Хоть вы-то, Василь Пантелеич, не отступайтесь от меня, дайте сколько-нибудь защиты!

— Ну, брат, извини: я тебе указываю средство помочь делу, ты не согласен. Больше я ничего не могу придумать,

чем тебя выручить. Будь что будет. Я умываю руки.

— Так-с...

Артем повесил голову.

— Больше я не надобен вашему высокоблагородию?

— Нет. Ступай.

Он шагнул к двери, почесал затылок и опять вернулся.

— Вот что, барин. Икону целовать я не стану. Дело не стоит того, чтобы беспокоить угодников. А — просто — скажите вы Вихтарю Глахтионычу, что — пес, мол, с ихней девкой!— я о ней и думать забуду, какая она. И он бы тоже свои дурачества оставил — насчет то есть дубья. Ну, и дары бы они мне прислали: должен же я за свой срам профит иметь; за многим не гонюсь, но чтобы честь честью.

На том покончили. Наши министры, узнав, что Артем обещал оставить Левантину в покое, решили хором:

— Врет.

— Время волочит,— объяснила Анютка,— либо выпить хочется: надумал сорвать с Комолых мало что на кабак.

— Не таковский парень,— трубила Федора,— чтобы отступаться от своего. Тоже непутные-то, которых он держит на послушании, не очень любят, коли хозяин заставляет их работать понапрасну,— сперва испорти, а потом поправь.

Савка поддерживал:

— Да и девка больно зазнобила его. Энта — как поджидал он вас — разговорились мы по душам. Так у него, чуть помянешь Левантину, глаза светятся, ровно у волка. Плевать, говорит, я хотел на Вихтаря! Уволоку девку из-под носа у Комолых: моя будет. Не то что бить меня,— сами придут ко мне кланяться в ноги, чтобы взял Левантину замуж, снял срам с семьи. А дубье, говорит, нам не диво: не на одних девок — и на дубье бывают заговоры. Иной бы, говорит, и не встал после введенского бойла, а я — хоть пощупай — жив человек.

Однако Комолые поверили Артему. Анна Матвеевна послала ему кушак, шапку и рубль денег. Левантина успокоилась; истерики ее прекратились, как только она освободилась из-под гнета суеверного страха. Дары Артем, как предсказала Анютка, немедленно пропил у Федулы Пихры.

— Что мало носил?— посмеялся кабатчик.

— Наносимся и других, почище,— хвастливо возразил Артем.— Теперь, брат, Комолые сидят у меня в кулаке: чего хочу, того прошу.

— Ты же, сказывают, снял наговор с девки?

— Ничего не скидывал, и невозможно его снять, потому — слово мое прибито крепко-накрепко... прямо сказать, прогвозжено. Так — даю девке прохладу: пущай отдохнет, пока ко мне с уважением. Опять же и господа с усадьбы просили: Артемий Филиппович! сильный ты человек! пожалей, не позорь Комолых!.. Я что же? Я, брат, добер: коли ко мне с уважением, я ничего, прощаю. Но ежели, заместо уважения, гордыбачат, сейчас произведу все действо назад. Вихторка у меня еще попляшет!

Эти пьяные похвальбишки дошли до Левантины: целительный эффект нашего вмешательства был убит ими наповал; девушка снова загипнотизировала себя страхом порчи.

Не прошло недели, как до нас дошли слухи, будто Левантина «ходит по ночам» и намедни совсем было ушла из избы, да, на счастье, проснулся Виктор и поймал сестру уже в сенях, когда она шарила дверную щеколду, чтобы выбраться на крыльцо. Окликнутая братом, Левантина закричала, упала и сильно расшиблась лицом о порог. Семья всполошилась. Левантина произвела на всех странное впечатление: она осматривалась, точно со сна, и, по-видимому, сама не понимала, как, когда и зачем она забрела в сени. На вопросы молчит — и лишь с усилием припоминает, что с нею было. Потом стала было нескладно вывираться, будто на улице больно опасно лаяли собаки, и она, тревожась за овец, шла проведать, нет ли какого лиха. За эту ложь — во всю ночь хоть бы одна дворняжка тявкнула — Галактион и Виктор сильно избили Левантину. Они предположили, что вся история с порчею, стоившая им стольких волнений, была надувательством и просто Левантина сама слюбилась с Артемкою и, столковавшись с ним, теперь бежала к нему на свидание.

— К Артемке шла, подлая? Сказывай!

Под братним кулаком Левантина упала на колени и простонала:

— Взмануло...

Разъяренный Галактион сшиб дочь на пол и истоптал ногами. Он убил бы ее до смерти, если бы Матвеевна не бросилась между озверелыми мужчинами и их жертвою:

— Что вы делаете, Ироды? за что увечите девку? Посмотрите на нее: нешто она в себе властная?

Левантина, голося, ползала у ног матери:

— Мамынька-голубонька! кабы я своею волею! Так вот весь день-деньской и тянет, и сосет. И во сне видится... манит, зовет: поди да поди!.. Стыдовая моя головушка! Убейте меня лучше, братцы родные, чем отдавать на этакое надругание! Не уйти мне, видно, от своей судьбы: достанется моя девичья краса постылому...

Если в этот раз у Виктора и Галактиона остались еще некоторые сомнения относительно искренности и болезненного состояния Левантины, то следующая ночь убедила их вполне, что девка в себе не вольна. Она разбудила семью глухими стонами. Зажгли огонь и увидали в окне не Левантину, но лишь половину Левантины: она высунулась до пояса во двор, но застряла в окне бедрами и, придавленная подъемною рамою, не могла двинуться ни взад, ни вперед. Виктор и Маргарита забежали со двора, чтобы протолкнуть Левантину назад в избу — и, заглянув в ее лицо, ярко озаренное месячным светом, ахнули: глаза Левантины были закрыты. Она продиралась сквозь окно и тянулась вперед руками — в глубоком сне, и, лишь когда Виктор громко окликнул ее, она, как в прошедшую ночь, жалобно закричала и не упала только потому, что не могла упасть. При пробуждении сердце у нее билось, как перепел в сетке, и все ее грузное тело ходило ходенем от частого и тяжелого дыхания...

Я, наслышавшись этих чудес, звал было Мерезова полюбоваться Левантиною «в фазисе сомнамбулизма», но он махнул рукою:

— Будет, повозились — и довольно... Там, брат, начинает сильно пахнуть уголовщиной... Того гляди влопаемся свидетелями в скверную историю.

Действительно, Виктор ходил с нехорошими, зловещими глазами, Галактион — тоже, и оба были как-то неестественно спокойны. Мы слышали, что они побывали с жалобою на Артемку в волости и в стану и были жестоко осмеяны за невежество просвещенным волостным писарем и еще более просвещенным письмоводителем станового... Артем поднял голову и, пользуясь паническим ужасом к нему Анны Матвеевны, шантажировал старуху грабительски. Левантина — исхудавшая, подурневшая, полубезумная — ждала каждой ночи как казни.

— Ништо, дочка,— шептала ей старуха,— ноне уснешь. Я таки ему, подлецу, снесла полтинничек в клубке ниток:

обещал два дни не мучить... Только мужикам не сказывай: ругать станут, что деньги бросаю.

Однажды я стоял с Виктором, и он рассказывал мне, как они с отцом были в стану.

— «Дураки вы, дураки, а еще умные люди!— сказал нам письмоводитель,— это не порча, а липносиз... Супротив же липносизу законов еще не написано, да и суд ему не верует, потому дело темное, внове». Так мы и пошли назад с липносизом!

В это время Артем прошел мимо нас с нахальною усмешкою. На лице Виктора хоть бы одна черточка дрогнула; он даже не взглянул на своего врага. Для такого гордого и гневного человека это было странное поведение. Очевидно, Виктор что-то удумал — и крепко... Я заметил, что вся Хомутовка смотрит на Комолых с тем же боязливым предчувствием скорой и неизбежной беды над этим домом, как и Мерезов; от них заметно сторонились.

А между тем нервная атмосфера, внесенная в семью болезнью Левантины, оказывала свое действие на впечатлительную и суеверную среду: припадки Левантины отразились, хотя в слабейшей степени, на Маргарите и Юльке...

Днями тремя позже того, как завыкликала Юлька, введенские рыбаки, ведя невод под Кувшинным Яром, выволокли из Оки свежий труп Артема Крысина. Полчерепа было снесено.

Виктора арестовали и выпустили: он, как все Комолые, доказал свое alibi в ночь смерти Крысина. Не имея других подозрений, следствие признало Артема жертвою несчастного случая. Кроме разбитой головы, тело не носило боевых знаков. А голову Артем, очевидно, разбил о сваю, близ которой был найден. Кувшинный Яр такое местечко, что сорваться с него в Оку немудрено даже трезвому и днем,— только зазевайся; а в последний раз Артемку видели сильно навеселе, и уже в глубокие сумерки. Он собирался идти домой, на Подшиваловские выселки, и именно береговою тропой. Федул Пихра даже предупреждал его, что тропа на Кувшинном Яру, пожалуй, неладна, так как днем была сильная гроза и размочила глину,— не случилось бы оползня.

Все эти подробности писали мне уже в Москву Мерезов и о. Аркадий. Последний прибавлял: «А все-таки она вертится! как сказал судьям своим премудрый и неправедно обвиненный философ и астроном Галилей. Артемий не утонул, но

утоплен,— и, разумеется, никем другим, как Виктором Комолым. Такова общая молва, и мое личное убеждение. Но утоплен не самовольно, а с тайного разрешения хомутовского мира, которому Комолые поклонились о суде, когда не нашли его в других местах. Они указали старикам, что Артемий — враг не только их семьи, но и общественный; что теперь он позорит и разоряет их двор, а потом разлакомится и начнет шастать, как коровья чума, по всей деревне. Мир принял резоны Комолых, выдал им Артема головою и покрыл убийство, как не Викторов, но мирской грех. Любопытно, хотя и неистово, что, трое суток спустя по предании земле Артемкина праха, найден был на могиле осиновый кол, вколоченный столь глубоко, что, не могши его извлечь, должны мы были лишь подрубить древко сего знамени невежества вровень с землею. И кто же оказался виновником оного святотатства? Дурачок мой, псаломщик Евдоким, возмечтавший, что покойник, как колдун, будет вставать из могилы, дабы мучить его и жену его, находившуюся когда-то с Артемом в непозволительных отношениях. Таково-то жестоки наши нравы».

Из кратких записок Мерезова и из пространных философствований отца Аркадия я последовательно узнавал, что Галактион женил Виктора, Левантину выдал замуж за писаря — того самого, который отрицал старинную порчу в пользу модного «липносиза»,— и чрез это забрал еще большую силу в округе; что Савка с ноября — солдат; что рябую Анютку, о Святках, в два дня убрал дифтерит и что Мерезов, сверх всякого ожидания, был очень поражен ее смертью: струсил, заскучал и с той самой поры частенько запивает. Потом письма стали приходить реже, и наконец деревня вовсе замолкла. Год спустя, зимою, проезжая в Киев, я не поленился сделать двести верст крюка, чтобы проведать Василия Пантелеича. Увы! он встретил меня хмельной и проводил хмельной; опух, обрюзг и... поглупел. Прежний мрачный юмор его оставил; шуточки выходили плоские, натянутые, либо тошнотворно сальные. Вместо Анютки и Савки, по хозяйству тормошились какие-то грязные и ленивые сморчки. «Государственный совет» частью вымер, частью вовсе обессилел — и валялся, в голодном полузабытьи, по плохо топленным печкам и лежанкам, ожидая, скоро ли Господь пошлет смертного ангела по их стариковские души и избавит их от собачьего житья.

Зато Федора потолстела чуть не вдвое, рядилась, жила

уже не в людской, а в комнатах, имела вид гордый и повелительный, кричала на прислугу. Разве слепой не заметил бы, что она полная хозяйка в доме и Мерезов попал под ее тяжеловесный башмак. Я прожил в Хомутовке два дня.

— Заезжай как-нибудь еще,— угрюмо проводил меня Мерезов.— На подножный корм... попаси Навуходоносора...

Но нам не суждено было свидеться снова. Осенью следующего года о. Аркадий телеграфировал мне, что Василий Пантелеич застрелился, оставив в объяснение своего самоубийства всего три слова: «Сыт по горло».

Тать в нощи



(Давний случай)

Сельцо Мартыновщину, Овечью Топь тож, совсем замела и схоронила под сугробами двухсуточная метель. Она свирепствует в морозном просторе новогодней ночи, переполняя угрюмую муть между небом и землею порывистыми перелетами снежных вихрей.

Облака снежной, колючей, точно толченое стекло, пыли мечутся в неутомимой суетне, то взвиваясь, то приседая, то худея, то тучнея, то крутящимся столбом, то прямо напролом прущею невесть куда и откуда тучей.

Овечьетопский помещик Антип Егорович Савросеев провел, по милости метели, взаперти целых три дня и успел за это время заскучать до унылого бешенства, какое, по-настоящему, во всю свою сласть, только захолустным людям и знакомо. На Рождестве он уговорился кое с кем из соседей, чтобы Новый год встречать у него в усадьбе. Метель эти праздничные планы разрушила, и теперь Савросеев, почти с ужасом предвкушая возможность провести в одиночестве новогоднюю ночь — да еще такую жуткую, мутную, с визгом и ревом непогоды!— не без волнения ожидает, не едут ли к нему хоть ближайшие закадычные друзья — помещик Аристов из ближнего села Алешки и тамошний же батюшка о. Викторин.

И Аристов, и о. Викторин такие же одинокие бобыли, как Савросеев: один — старый холостяк, другой — бездетный вдовец. Все трое — люди с достатком, не обремененные заня-

тиями, неглупые, веселые, не дураки выпить и перекинуться в картишки.

Савросеев, назло своим пятидесяти годам, брюшку и лысине, еще и немалый Дон-Жуан. Мужики уже не раз сулили барину за последнее его качество хорошую встрепку, но он неисправим. При старых крепостных порядках Савросеев непременно завел бы сераль у себя в доме... теперь он под башмаком у своей экономки Фаины.

— Не приедут... как Бог свят, не приедут,— бормочет Антип Егорович, расхаживая по просторным покоям своего жилья, прислушиваясь к вою бури и ежеминутно поглядывая на часы.— Вона: уж девятый... Прохор! Про-о-хор!

Но Прохор не отзывался. Барин уже замучил его, посылая на крыльцо смотреть, какова погода, не перестало ли мести. Савросеев,— нечего делать!— натягивает на плечи обиходный волчий тулуп и, ворча, сам выходит на крыльцо.

Ночь и плачет, и рычит, и поет, и смеется, и лешим воет, и колокольчиком заливается...

«Эка чертов шабаш»,— подумал Савросеев, плюнул и пошел в комнаты, с досадой ворча под усы:— Нечего и ждать... в такой сумбур никто не поедет... Во те и с Новым годом, с новым счастьем!

* * *

А гости все-таки ехали. Как ни протестовал о. Викторин, человек солидный и рассудительный, против путешествия в метель, как ни молил аристовский кучер Феофил своего барина помилосердствовать, старый кутила настоял на своем и даже прицелил к компании еще заезжего в Алешки акцизного. О. Викторин, едва влез в кибитку, сейчас же зарылся в сено и, согретый тяжелой меховой рясой, крепко заснул; акцизный и Аристов, сидя за кожаным фартуком, курили, изредка перекидываясь короткими фразами. Вой вьюги, звон бубенцов, уханье кибитки на раскатах и последовательные нырки ее из сугроба в сугроб скоро надоели обоим.

— От Алешек до Мартыновщины,— сказал акцизный,— по хорошей путине меньше часа езды; мы выехали в шесть, а вот уже восемь без пяти, но еще, кажется, не близко... Феофил! где мы?— спросил он, открывая фартук. Кучер повернул к барину голову, повязанную сверх шапки платком, и прокричал что-то.

— А? У Никитских кустов, ты говоришь?

— Надо полагать, что у них самых...

— Надо полагать! — недовольно заворчал акцизный, — ты, братец, наверное знай, без «надо полагать». Этак — с вашими авоськой и небоськой — пропадешь здесь... в метель долго ли потерять дорогу?

— Тпру... — раздалось с козел.

— Что там, Феофил?

— Наворотило, вашескородие!..

Конские морды уперлись в громадный снежный бугор, Феофил слез с козел и, кряхтя, стал щупать кнутом дорогу.

— В объезд, что ли, Феофил? — спросил Аристов.

Кучер долго молчал. Потом влез на козлы и взял вожжи.

— Слева объедем, — сказал он.

Кони тронулись шагом. Кибитку сильно тряхнуло, кузов застонал и глубоко опустился в снег.

— Куда ты заехал, мошенник? куда? — закричал Аристов.

— А почем я знаю? — равнодушно возразил Феофил.

— А! каков? «Почем знаю?!» какой же ты, бестия, кучер после этого.

— Кучер! нешто кучеру с попущеньем естества равняться возможно? Говорил: не надо ехать, пути нет, — так не послушали, а я чем виноват? я человек подневольный...

— Поговори, поговори у меня! завтра же расчет получишь!

— Вся ваша воля!..

— До завтра-то нас еще, может быть, и на свете не будет, — проворчал акцизный.

— Типун бы вам на язык! каркает же человек Бог знает что, да еще в такую минуту! — сердито прикрикнул Аристов и стал будить о. Викторина: — Батя, а батя! полно вам, вставайте!

— А? что? приехали?.. — забормотал священник.

— Приехали! как же! в сугробе сидим... да проснитесь же вы!

О. Викторин поднял голову, осмотрелся.

— Ну, а я-то что же тут поделаю? — развел руками он, фаталистически глядя в серую даль, пожал плечами, крепче завернулся в рясу и опять лег.

— Эка флегма ходячая! Сказал бы я тебе теплое словцо, не будь ты духовным лицом...

— Замерзнем!— со слезами в голосе пролепетал акцизный.

— Как есть!— невозмутимо отозвался с козел Феофил.

— Нет... у меня ряса теплая...— глухо прозвучало со дна кибитки.

Феофил три раза ходил искать дорогу и возвращался ни с чем. Аристов пил водку из дорожной фляжки и ругался, акцизный уныло молчал, о. Викторин храпел.

Так прошло минут десять. Вдруг со стороны долетели слабые, звенящие звуки... Кони подняли головы.

— Колокольчик,— живо сказал Феофил, зашевелив вожжами.— И кибитка, слышно, ухает... Но, милые! вывози на устреток!

— А может, они тоже плутают, как и мы?..

— Все с людьми веселее.

Аристовский и дальний колокольчик стали перекликаться, словно аукаясь. Неизвестные ездоки тоже искали мартыновщинских гостей, но чужой колокольчик звучал ровнее, быстрее, увереннее: очевидно, незнакомцы ехали по твердой полосе. Свистом, гиканьем, перекликами путники помогали звонкам и наконец нашли друг друга, съехались.

— Кто такие?— раздался зычный окрик из чужой кибитки.

— А вы кто?

— Мы Сидорюки, мещане.

— Из города?

— В Мартыновщину,— не расслышав вопроса, дали ответ чужаки.

— Вот и мы туда же... попутчики, значит.

— Чудесное дело!

— Путь-то у вас есть ли?

— Есть. Езжайте за нами. До Мартыновщины четырех верст не осталось — дорога гладкая.

— Вот и выбрались!— засмеялся Аристов, хлопая озябшими руками в шерстяных варежках,— а вы уж и заныли! баба!— попрекнул он акцизного.

— И все-таки глупо, что мы поехали.

— Э! снявши голову, по волосам не плачут. Да и что мы потеряли? Дома сидели бы, скучали, дулись в шашки, нарезались бы рябиновки, а она у меня прескверная. У Антипа же повар отличный, вишневка изумительная, сам он сыграет нам на гитаре, а Фаинку... вы его Фаинку видали?

— Знаю. Тумба.

— А вам в курской деревне Венеру Медицейскую подай? Эх вы, баловники!.. Фаинку плясать заставим: мастер баба на это. Что ж? не интересно, скажете?

— Вот кабы мы замерзли или волки нас съели, был бы вам интерес!

— Если бы да кабы росли во рту грибы! Слушать тошно. Что за молодежь нынче стала! кисляй на кисляе!

— Что ж вы ругаетесь?

— Я не про вас, а так вообще, факт констатирую. Возьмите меня или Савросеева: чем не молодцы? Крепыши!.. Страха не страшусь, смерти не боюсь!.. а мне за пятьдесят. В ваши годы я в прорубях купался, а о метелишках и волчишках и разговаривать бы постыдился.

— Я, признаться, о волках так только, к слову сказал. Я другого потрухивал. Говорят, Беглец по околотку бродит.

— Вот еще, куда его черт понесет в такую вьюгу? Он хоть и каторжник, а все небось свою шкуру жалеет.

— Какие это Сидорюки с нами едут?— круто повернул разговор акцизный.— Я что-то не помню...

— Скупщики. У меня с ними дел не бывает, а слыхал про них; ездят по мужикам, по средним помещикам, маклачат. Хорошие люди, ничего, хвалят их. Да! так о Беглеце-то. Нечего сказать: наградил наш Антип Егорович округу этим сокровищем! сослужил службу!

— Право, даже странно: такое воплощенное добродушие, как Савросеев, и вдруг — довести человека до разбоя!

— Что ж делать, батенька? Тут любовь на сцене, а «любовь — она жестокая для сердец»,— сказал какой-то писатель. Вы вот Фаинку тумбой величаете, и, точно, кроме пляски и жиру за ней заслуг не имеется, а Антип из-за нее наделал пошлостей и подлостей, а Матюшка Беглец пошел из-за нее на каторгу.

— Он, говорят, был ее женихом?

— Нет, так женихались. Я даже полагаю, что и любить-то его она не любила. Любящая крестьянская девушка без крайней нужды своего парня не бросит и в экономки к старому холостяку не пойдет. А Фаина не из бедной семьи. Сам Беглец тогда на стену лез: отняли, опутали девчонку!.. А чего там отняли, опутали? Просто: «не искал он, не страдал он,— серебром лишь побряцал он» — и готово! Возмечтала о себе,

захотелось быть барыней,— ну, значит, и баста: «в дом мой смело и свободно хозяйкой полною войди!».

— Чего вы сегодня в стихи пустились?

— Нельзя иначе: предмет такой... Хорошо-с... Совершился этот роман или, вернее сказать, первый том романа. Беглец ходит на деревне, как чумной, ругается, пьянствует, а Антип заперся в усадьбе со своей Еленой Прекрасной и тоже по адресу Беглеца немалую злобу пускает. Ибо, во-первых, боится, как бы Матюшка спьяну да со зла не пустил ему красного петуха, а во-вторых, ревнует свое золото, Фаиночку эту необыкновенную, к прежнему возлюбленному до умоисступления. Вдруг, мол, Фаина найдет, что у меня и нос красен, и белки с жилками, и под глазами мешки, как у Абдул-Азиса, плюнет на меня да — к старому дружку?.. А Беглец, скажу вам, малый хоть куда: цыганская этакая рожа, взгляд прямой, бойкий, плечища, грудища, силища!.. Думал, думал Савросеев, да и надумался перетолковать с овечьетопскими мироедами. Вот что, говорит, старички, давно вы подбираетесь к моим заливным лужкам, а денег у вас нет; так я, радея вашей бедности, куда ни шло, подарю вам лужки. Но и вы меня потешьте: как хотите, а упраздните Матюшку из Мартыновщицы. Старичков наших — мир этот прелестный — вы знаете: образовались! Матюшку, кстати, все они и сами недолюбливали: дерзкий малый был!— и принялись его допекать. А он что ни день, то больше дурит. Пришел както раз домой пьянее вина, стал бушевать. Дядя — его унимать, а он из этого дяди сгоряча только что котлет не наделал. Дядя — в волость. Вызывают Матюшку. «Ставь ведро!» — «Облопаетесь!» — «А? облопаемся? драть!» — «Не дамся!..» Пошла свалка, и... Матюшку угораздило как-то вырвать у волостного старшины ровно половину бороды... Сидя в холодной, Матюшка надумался, что дело его скверно, выломал решетку и бежал, на прощанье с Мартыновщиной подпалив свою собственную избу: полдеревни тогда выхватило пожаром. Недели через две преступника поймали в соседнем уезде, свезли в острог, судили и отправили в каторгу по чистому «виновен». Лет пять о нем не было ни слуха ни духа, а теперь он, «из дальних странствий возвратясь», опять объявился в наших краях уже не просто Матюшкой, а Матюшкой Беглецом...

— На месте Савросеева я не мог бы спать спокойно,— заметил акцизный, зевая.

— Беглец в Мартыновщину не пойдет, если ему жизнь дорога,— возразил Аристов,— мартыновщиновцы помнят его красного петуха и пришибут его как собаку, только покажись он поблизости: с конокрадами и поджигателями у мира расправа короткая.

— Так-то так... А все-таки знаете... На грех мастера нет: подкрадется, как тать в нощи, да и того...

— Эх, не так страшен черт, как его малюют! Да, кроме того, и вообще, вряд ли Беглецу долго гулять. Вся полиция на ногах, травят его, как волка, совсем загнали: вот уже с месяц, как ничего не слышно про его подвиги...

— Жесток он, говорят, режет...

— Да, не церемонится...

— Эге! слышите?

В переборе между двумя взвизгами метели в тылу у путников звякнул еще колокольчик,— яркого серебряного звона, с тем характерным, немножко гнусавым плачем, какой услышишь, лишь едучи на очень лихой тройке с очень лихим ямщиком...

— Кусковы, надо полагать,— отозвался акцизный,— больше с той стороны некому.

— Кусковы! где им... у них одры, им за нашими кониками не угнаться, особливо в такую кутерьму...

— А не Кусковы — так уж не знаю, кому и быть... добрых коней по дворянству сейчас в околотке больше ни у кого не осталось. Надо полагать, кабатчик какой опозднился, тоже к Новому году домой спешит...

Задняя тройка догоняла. Слышно было уже, как фыркали, прибавляя бегу, кони и пели полозья... И вдруг — ух! Ни Аристов, ни акцизный ахнуть не успели, как кибитка их завалилась набок, сшибленная ударом перегнавшей их задней кибитки. А кони опять провалились выше колена в снег.

— Черти!— ругался Аристов, барахтаясь под свалившимся на него акцизным и неистово топча коленами сонного Викторина, который — спросонья не в силах разобрать, в чем дело,— только испуганно мычал и бормотал...

Тройку Сидорюков проезжие тоже зацепили, но Сидорюки отделались счастливее — их не свалило. Они поворотили коней и выправили сбитых с пути компаньонов.

— Какие это идолы? какие подлецы?— кричал Аристов на всю степь с пеной у рта.

— Да мы окликали их, а им ништо! — говорил Сидорюк, — хохочут и гонят!..

— Ни люди, ни черти, прости Господи мое согрешение, — уныло ворчал Феофил, тщетно бродя вокруг кибитки в поисках за потерянным кнутом.

Всем стало как-то не по себе среди этой мутной ночи, таинственной, дикой и чудесной, после встречи с кем-то — не разберешь, с кем именно, но с грубым, сильным, нахальным...

— А это уж не...— начал было акцизный и осекся.

«А это уж не Беглец ли», — хотел он сказать, но вовремя догадался, что пугать сейчас народ не годится.

Вскоре из снежной мглы на путников тускло глянуло издалека что-то вроде красного глаза; это было итальянское окно мезонина в барском доме Мартыновщины.

Собаки глухо лаяли во дворах, чуя приближающиеся тройки.

* * *

Ужин кончился, на столе остались только вино, пиво и наливка. Застольники сдерживались, пока о. Викторин был между ними, но батюшка скоро ослабел, ушел в кабинет хозяина и заснул на диване; с его уходом новогодний пир быстро превратился в оргию. Аристов бренчал что-то на расстроенных дедовских клавикордах, Савросеев как попало щипал струны гитары и сиплым голосом выводил «Барыню», скупщик Сидорюк — испитой рыжий мещанин с робкими манерами и растерянным выражением лица, плясал с экономкой Фаиной «русскую». Акцизный, сильно «на взводе», был в восторге и совершенно разошелся: топал ногами, крутил, точно конь, головой, щелкал пальцами, гикал...

— А вы ехать не хотели! — поминутно попрекал его Аристов.

— Ах, не поминайте, пожалуйста... глупости... — отмахивался акцизный, влюбленно вглядываясь на Фаину — большую пышную женщину, в шелковом платье, с грубоватым и не особенно красивым, но задорным лицом.

Меньшой брат Сидорюка, широкоплечий гигант, спал за столом, опустив могучую голову на тарелку с ореховой скорлупой. Неподалеку от него сидел попутчик, взятый

Сидорюками из города, чужак, васильсурский мещанин, приехавший в курскую глушь разыскивать родных — крепкий мужчина с простоватым лицом; ему было лет за сорок: русая голова и рыжая борода уже сильно серебрились. Он был не пьян и смотрел на подгулявшую компанию робко и конфузливо.

— Онисим... или как тебя там? Вукол... Карп... черт — дьявол!— кричал Савросеев.— Что ты, братец, совой сидишь? пей!

— Пью-с, Антип Егорович; не извольте беспокоиться, много довольны вашей лаской...— поспешно возражал мещанин, застенчиво срываясь с места.

— Сиди, сиди!..— благосклонно увещевал Савросеев,— я, брат, не гнушаюсь, я со всеми как с ровней. Ты меня в первый раз видишь, так не знаешь моих привычек, а вот Сидорюк подтвердит. Сидорюк! горд я?

— Ни в жизнь!— отвечал Сидорюк, яростно выделывая па.

— Жги-жги-жги!.. плавай!— командовал Фаине Аристов.

— Пре-е-лестно! бе-е-сподобно! фея... фея!— коснеющим языком бормотал умиленный акцизный.

Через полчаса он был пьян до галлюцинаций. Внезапно вытаращил глаза и стал неверною рукою в воздухе совать по направлению к окну.

— Ро... рожа... посмотрите: там... такая рожа,— лепетал он, указывая на прорез ставни...

Но его уже никто не слушал.

* * *

Сонная тишь. Кто из гостей был в состоянии добраться до отведенных на ночлег комнат, покоятся на постелях, васильсурский мещанин лег трупом на самом поле битвы с Бахусом. Савросеев не спит: когда он пьет много вина, то долго не засыпает; он лежит навзничь в постели, тупо смотрит на пламя ночника, слушает шорох мышей за обоями, треск запечного сверчка, стон болтов и скрип ставен под напором метели. Слушает — и чудится ему, что в доме у него завелось что-то чужое, неладное... какие-то подозрительные скрипы, взвизги и шорохи, не то мебель двигают, не то болт в ставне вынимают... ходит кто-то быстрой и легкой походкой, словно домовой танцует по половицам...

— Фаина! Фаина!— воскрикивает он.

А в ответ — в столовой вздох, бормотанье, падение чего-то тяжелого.

— Да что ж это за чертовщина, наконец?

Савросеев садится на постели и долго ищет туфли. Из щели под дверью на него тянет, как со двора, морозным ветром, пламя ночника мигает, дрожит и делает страшные тени на обоях...

Дверь спальни тихо приотворилась, и на пороге выросла богатырская фигура васильсурского мещанина.

— Что тебе, Вукол? Чего не спишь?

Но Вукол делает шаг вперед. Странная улыбка расплывается у него на лице... Савросееву делается жутко: черты смирного мещанина кажутся ему не такими добрыми и глупыми, как недавно — в столовой.

И... что ж это? Не сон ли? Вукол отстраняется от двери, равнодушно прислонившись к косяку, а в полумраке из-за него выдвигается кто-то другой, весь в снегу и инее, с сосульками на усах и бороде. На Антипа Егоровича точно плывет по воздуху давно знакомое ненавистное цыганское лицо, красивое, грозное, злобно-насмешливое.

— С Новым годом, с новым здоровьем, барин!— слышит Савросеев глумливый привет. Слышит, хочет понять — и не понимает...

— Что, сударь? Не ушел от Матюши? Достал я тебя?..

Савросеев молчит и трясется. Ни силы защищаться, ни голоса звать на помощь: слишком неожиданно явилась к нему смерть. А что это — смерть, неминучая и беспощадная, старику ясно по каждой черточке в холодном и спокойном лице разбойника, по острому блеску его цыганских глаз, по жестокой улыбке, играющей на его губах, по той кошачьей небрежности, с какою Матюшка облокотился на спинку дубовой кровати и в упор рассматривал свою жертву,— так близко, что Антип Егорович чувствует его дыхание на своем лице... Савросеев хочет перекреститься, но к рукам у него как будто приросли десятипудовые гири, и, против воли неподвижный, он мутно и бессмысленно, словно приведенное на убой животное, глядит в пространство, издавая искривленными губами беззвучный и бессвязный лепет... С лица Матюшки сбежала улыбка, губы его побелели и задрожали, он стал как будто и выше ростом, и шире в плечах.

— Ну, Антип Егорович, господин Савросеев,— медленно

сказал он, тяжело и глубоко дыша,— первым делом теперича подай мне свои ключики, а вторым делом — стану я с тобой, злодеем, про обиду мою разговаривать. С любушкой твоей мы уже поговорили... Довольна... Вукол! бери его! приступай!..

* * *

Утром, когда Аристов поднял от подушки тяжелую голову, яркий свет ударил ему в глаза. Метели как не бывало, за окном далеко кругом лежала необозримая снежная равнина, сплошь розовая в лучах раннего солнца. Розовый свет на белых обоях мезонина, розовые узоры на обледеневших окнах. Избушки курились, и дым прямым столбом тянуло к безоблачному небу. Безветрие и холод. В доме мертвая тишь.

Аристов сунул ноги в туфли и спустился из мезонина во второй этаж, где была спальня Савросеева. Резким холодом потянуло ему навстречу из столовой, где вчера совершалась попойка. Он вошел и обомлел перед вывороченным окном, у которого ночная метель успела набросать громадный, в уровень с подоконником, сугроб.

— Разбой!— заорал он не своим голосом и переполошил весь дом.

Вошли в спальню Савросеева. Помещик лежал поперек кровати навзничь, касаясь пола запрокинутой, почти что напрочь отрезанной головой... Выражение мертвого лица было ужасно. Видно было, что над стариком долго и мучительно потешались, прежде чем покончили мстительную игру!.. Бросились искать Фаину и нашли — под тем сугробом, что намела за ночь в открытое окно вьюга.

Чьею работою было это преступление, всем было ясно, но — как оно совершилось? Напрасно переглядывались все, в ужасе и недоумении... И куда пропали убийцы? Розовая степь кругом лежала мирная, улыбающаяся, безответная.

С дикою ночною метелью прокралась смерть в Мартыновщину и с дикою ночною метелью умчалась из нее. Умчалась и все следы за собой, как помелом, замела...

Прокопий

I

Жил-был в стародавние времена некий человек, по имени Прокопий.

Жил он в новгородской земле — в лесной глуши, на краю обширного болота. От леса к болоту падал невысокий глинистый яр; в яру Прокопий вырыл пещеру и укрылся в ней на подвиг.

Прошло десять лет, и во все десять лет Прокопий не видал человеческого лица. Людей на Руси было в то время не много, а лес окружал отшельника великий. Болотная топь была непроходима от ранней весны до поздней осени, зимою же хотя и можно бы перебежать на лыжах замерзшую трясину, да было некому — и незачем.

Тяжелы были зимы в лесу. Зверье донимало отшельника. Морозными ночами в яру и над яром выли тысячи голодных голосов, иногда таких ужасных и унылых, что Прокопий слушал и крестился, недоумевая: отощалые ли волки это стонут, или злобятся и неистовствуют нечистые духи дремучего леса, выживая из матери-пустыни его, смиренного служителя Вышнего Бога. Каждый вечер, чуть падали сумерки, Прокопий спешил задвинуть дверцу своей землянки тяжелыми засовами да еще приваливал к ней огромные камни и дубовые чурбаны. Потому что не раз, в то время как он, стоя на правиле, коленопреклоненный, в власянице и веригах,

читал покаянный канон Андрея Критского, за стенами землянки фыркал, рычал и царапался в дверь матерый медведь. И Прокопий со вздохом оставлял четки, поднимался с рассыпанных перед аналоем мелких голышей, на которые, читая молитвы, становился он голыми коленами, и брал в руки топор или дубину.

Бес искушал Прокопия: пугал его воплем, дикими видениями, представлялся ему то змеем, то эфиопом. Не раз пустынник слышал, как леший хохотал и плескал руками над яром; не раз и видал, как он — головою вровень с высокими дубами — бродил по своему зеленому царству. Когда туман вставал от болота и расползался по лесу, серебримый луною, из-под его прозрачной дымки улыбались пустыннику и сверкали на него изумрудными очами русалки — бледные девы с молочным телом, зелеными волосами и томным взором изумрудных очей. Однажды бес явился к Прокопию, у самой землянки его, в самом пагубном своем виде — во образе красивой молодицы. Дьяволица притворялась, будто она вне себя от страха, стонала и плакала: грибов, вишь ты, вышла она искать с утра, да потеряла дорогу, леший ее обошел, куда идти не знает,— всюду лесище.

Но Прокопий прозрел дьявольское искушение,— перекрестился и ударом наотмашь столкнул бесовскую прелестницу с вершины яра в болото, где нечистый и утоп, застонав, как человек в беде смертной.

Еще больше, чем призраками и видениями, смущал Прокопия бес суетными мыслями. Иной раз отшельника начинало тянуть в мир. Воображение разгоралось огнем, и вот вставало в памяти Прокопия шумное новгородское вече, Волхов, Святая София, тысячи народа, брань, звон оружия, распаленные задором лица, гул набата, трупы, брошенные с высоких мостов в никогда не замерзающие волховские волны. Вставало в памяти и море, покрытое кораблями; пестрые вымпелы, пузатые паруса, кладовки, полные кадками с жемчугом, кипами парчи и аксамита. Припоминались буйные ушкуйничьи набеги молодых лет: Поволжье в пламени, кровь озером, вино рекою, пленные толстоногие мордовки и чувашенки в расшитых красною шерстью рубахах, невольничьи базары в басурманском Низовье... Память дразнила и соблазняла, душа тосковала, возмущалась, злобствовала, бунтовалась, воля слабела. Сомнения нападали. До того одолевал хитрый бес, что иногда Прокопий даже думал: «А что

если молодица эта, которую я в трясину утопил, была не сатана, а и впрямь — живая молодица?»

И от мысли этой нападал на него страх такой, что даже до трясения тела. Но подвижник знал, как надо бороться с опасными отголосками мирской суеты. Если стояло летнее время, он уходил в болото и отдавал свою плоть на съедение комарам и мошкам до тех пор, пока не умолкал голос плоти. Зимою же он открывал дверь своей кельи, ложился голым телом в сугроб, подставлял спину метели и морозу.

Летом Прокопий собирал грибы и ягоды и, подобно векше, делал на зиму запасы орехов, желудей, сушеной кислицы. Хлеба он не имел и давно уже забыл вкус мяса. Не раз приходилось ему спорить с медведем за соты диких пчел. Воду Прокопий брал из болота. Вода была стоячая, ржавела в летние жары, и Прокопий болел от ее употребления. Зимою он утолял жажду талым снегом.

Как-то раз Прокопию случилось найти в лесу большое городище: широкий майдан, с валом, буграми, ямами. Посмотрел пустынник на майдан, на деревья, которые его заростили, и подумал: «Дубы в два обхвата, каждому сто, двести лет... а ведь вот — когда-то здесь жили люди!.. Теперь же даже памяти не осталось, кто они были, откуда пришли, что с ними сталось,— и люди думают, что этот лес — вековечный и что никогда не было в его дебрях человеческой ноги. Так пройдет когда-нибудь и Великий Новгород, и слава о нем тоже исчезнет из мира, лес оденет его развалины, земля их прикроет и затянет зеленым дерном. И вот на его кладбище, как и здесь, звери пустыни будут встречаться с дикими кошками и лешие будут перекликаться один с другим; будет отдыхать ночное привидение, гнездиться летучий змей с детенышами, коршуны повьют гнезда... Придет на это запустение человек и тоже будет удивляться: что это за остатки такие? какого они народа, какого забытого стародавнего века?»

Подумал тоже Прокопий: «Там, где жили люди, должна быть хорошая вода».

И, сделав щуп из орешника, стал пытать землю: воды не нашел, зато открыл клад — великую кучу золота и серебра в кожаном мехе. Нашел и оставил лежать в земле, потому что, считая золото и всякое богатство грехом и злом, не хотел к нему даже прикоснуться.

II

Зимним ранним утром Прокопий вышел из кельи, посмотрел на снег, испещренный следами зверей, и стал на молитву... Утро стояло ясное, морозное; с высоты яра далеко было видно по гладкому, как скатерть, болоту. И вот в его белой и блестящей, как серебро, дали показалась черная точка — стала расти и выросла в громадного человека, охотника, с луком и колчаном. Прямо на Прокопия бежал он на узорчатых лыжах...

Встретились они — и изумились оба до того, что как бы онемели: Прокопий удивился, что видит человека в глуши, куда десять лет никто не заглядывал, кроме медведей и леших, охотник изумился странному виду одичалого отшельника, его волосам и бороде, рубищу и веригам.

— Не бес ли ты? — спросил Прокопий.

— Нет,— говорит охотник и перекрестился.

— Если не бес, так кто же ты и зачем пожаловал в мою пустыньку?

Говорит охотник:

— Зовут меня Мстиславом. Я князь на Торопце. А ныне призвала меня Святая София в Новгород чинить суд и расправу и оборонять ее от врагов... А попал я в твою пустыньку тем случаем, что вышел на звериный лов, промышляя сохатого, был в немалой кручине, задумался, да, за печалью и мыслями, и потерял тропу... Обступил меня бор и обошел леший; целые сутки блуждал я по чащам, пока не вышел к поляне и издали не зазрил тебя. Пропасть бы мне в лесу без покаяния, кабы не Божья милость да не теплый кожух...

Прокопий накормил, обогрел, успокоил князя, а когда тот поотдохнул, указал ему путь-дорогу, как выйти из леса. Говорил князь по пути:

— Хорошо тебе в пустыне, старче! Живешь ты в труде и молитве, со спокойной душой; Бог над тобою, ты под Богом — вот и весь твой ответ! Ни мир к тебе, ни ты к миру! А мы в миру как в котле кипим... Куда уж до святой жизни — хоть бы греха-то поменьше! Тянут нас суетные дела и заботы на адское дно, как гири, привязанные к ногам! И на том свете похвалы нам не будет, и на сем радость не великая!..

Прокопий ему на это сказал:

— Разве ты такой грешный человек?

— Не знаю,— возразил князь,— очень ли я грешный

человек, а вот что я огорченный человек, это я знаю.

— Чем же ты огорчен?

— Тем, что я взял за себя Великий Новгород — тягу страшную, а силы мои слабы, и боюсь я, что не совладеть мне, не управить Святую Софию...

— Ты человек не старый, сильный и бодрый,— заметил Прокопий,— грех тебе унывать...

— Когда мне приходится бороться с силою человеческой, я и не унываю,— смиренно ответствовал князь,— выйди-ка, святой отец, из леса да послушай: по всей Руси идет слава, как я, во славу Святой Софии, разгромил суздальцев... А теперь забрался к нам враг без костей и мяса,— ничего с ним не поделаешь.

— Какой же это враг?

— Голод. По всей новгородской земле недород. Хлеба нету; была война,— людишки поистратили животы; а после войны, известное дело, ребят родится много... матери по селам воймя воют: сами сидят не евши, груди повысохли,— чем ребят кормить?..

— Это за грехи,— сказал Прокопий.

— Известно, за грехи, да все жаль...

— Терпеть надо.

— И это верно ты говоришь, а жаль... И мне, князю, горше всех: болеет мой народушко, пухнет, мрет, а гляди на эту напасть сложа руки! Я князь не богатый,— последнюю сорочку рад снять с себя и отдать своим огнищанам, но на сорочку много не искупишь и весь край не накормишь, а опричь сорочки что есть у меня? Я всю жизнь езжу по русской земле из края в край, из города в город, куда зовут меня, для суда и порядка... где уж было мне собирать казну? Сколько мог, поддержал новгородцев своим зажитком, только он в ихнюю беду канул как капля воды на пожар... а на большее нету моей силы...

В таких разговорах прошли они дремучий лес. На опушке Прокопий благословил князя и расстался с ним. Князь побежал на лыжах к людям, к жилью, а пустынник поплелся обратно в свою одинокую келью, в глушь, к зверям и злым духам пустыни...

III

Прокопий был человек бывалый. В миру он много видел и пережил вместе с Господином Великим Новгородом: междоусобья, войны, моровую язву, несколько голодовок,— в те времена они были часты на Руси. Рассказал ему князь Мстислав про голодную беду, и вот застонало у него сердце от воспоминаний, и душа его стала неспокойна и не способна к тихой мысли, бесстрастию и молитве. Огляделся Прокопий в своей келье: бедно, убого, а все у него есть,— и грибы сушеные, и мед, и орехи,— с голоду нельзя пропасть! А там, за лесною опушкою, пропадают: князь говорит — болеет народушко, пухнет, помирает...

Раздумался Прокопий; все пуще и пуще — точно сумерками — окружали его сердобольные мысли печалью за новгородцев, и вскоре ему сделалось и стыдно, и нестерпимо сидеть в глуши, не разделяя участи своих погибающих земляков, не стараясь помочь им хоть добрым словом, коли нечем больше.

Подумал Прокопий: нечем больше, и вдруг память его прояснилась, и он вспомнил о кладе, который нашел он по весне на лесном городище.

Обрадовался Прокопий, достал из земли сокровище, наполнил золотом дорожную торбу и ушел из леса — искать в Новгороде князя Мстислава Торопецкого, чтобы заодно с ним порадеть родной земле в ее несчастье.

Князь Мстислав очень изумился, когда увидал перед собою Прокопия, растрогался его даром и поклонился ему до земли.

— Что я могу сделать для тебя в отплату за это?

— Ничего мне не надо. Прощай! — сказал Прокопий и хотел уйти, но Мстислав удержал его.

— Ты, святой человек, достоин великой чести, и худо будет мне, если я тебе не воздам ее перед всеми новгородскими людьми... Завтра, после обеден, я велю созвонить вече и буду кланяться тебе на твоем добре!

Прокопий возразил:

— Завтра великий праздник — Рождество Христа Спаса... Ему и кланяйся, а не мне, рабу, смердящему грехами. И молю тебя — пусть никто не узнает вовеки, зачем я был у тебя и что тебе передал. Тайно пришел я в Новгород, тайно и уйду из него. Ты мирской человек и лучше меня употребишь это золото, покупая хлеб у иноземных купцов и наделяя им голодных,

а я в пустыне буду молиться за тебя, как могу и верую...

Князь сказал:

— Отче, ты не хочешь остаться с нами?

— Не могу. Отвык я от мира: дико и жутко мне в нем. И я людям страшен, и мне люди страшны.

— Останься, по крайней мере, до завтра, чтобы встретить с нами великий праздник. Как проживешь ты такой день без божественной службы?

Прокопий омрачился и сказал:

— Знай, князь, что я великий грешник, и на мне лежит эпитимья... недостоин я стоять ниже́ на паперти Святой Софии.

И сколько ни останавливал его князь Мстислав, ушел. Когда он выходил из Новгорода, уже падали сумерки и гул колоколов возвещал во все концы города славу рождающегося Христа.

Прошло довольно времени, прежде чем Прокопий, оставя за собой новгородские предместья, добрел до первого, после них, людского поселка — тихой придорожной деревушки. Прокопий устал и прозяб. Ночь лежала черная, как сажа: небо — без луны, с одними звездами, холодное и угрюмое. Прокопий не жалел, что глядя на ночь ушел из Новгорода от княжеской ласки, но невольно думал, что если не найдет себе скорого ночлега, то ночь грозит ему большой бедой, а пожалуй, и смертью: и мороз, и волк, и лютый человек страшнее и сильней в ночную пору, чем при свете дня. Деревушка спала. Ни блестки света не было в затянутых бычачьим пузырем отдушинах, заменявших черным избам окна. Прокопий стучался в избы, но напрасно.

— Конный или пеший? — спрашивали его неприветливые хозяева.

— Пеший.

— Как же случилось, что ты в такой день опоздпился в дороге? — недоверчиво возражали ему,— должно быть, не с добром ты пришел к нам... ступай — постучись к соседям, а мы тебе не отворим.

Соседи спрашивали Прокопия:

— Что ты дашь нам, если мы пустим тебя на ночлег?

— У меня нет ничего, кроме рубища, что на мне надето.

— Значит, ты бродяга и нищий. Проходи. Мы сами нищие... нас и без тебя довольно в избе!

В других избах Прокопий не добился и такого ответа: хозяева спали крепким сном и не слыхали стука и молений бесприютного путника. Высмотрев у одной избы высокое крыльцо с навесом, Прокопий решил переночевать под его ступеньками, чтобы хоть сколько-нибудь оградить себя от ночной стужи. Но под крыльцом, на соломе, спала громадная овчарка с щенятами. Она грозно зарычала на незваного гостя и, напав на Прокопия, лаяла на него, рвала его рубище, кусала его икры до тех пор, пока не прогнала его далеко от деревушки, в мрак и холод святочной ночи. Большая Медведица с семью яркими, точно прозрачными звездами своими указала Прокопию, что еще много часов будет царить над землею холодная, неприветная тьма и далеко, далеко до света. А мороз крепчал. Ветер, тихий до полуночи, вырос и переменил направление: задул с севера.

— Пропаду! — решил Прокопий,— да будет воля Божия!

И он лег на стог, закрыл глаза и стал читать себе отходную...

IV

Когда Прокопий открыл глаза, небо, недавно еще такое темное и угрюмое, было полно блеска. На севере пылало огненное пятно, и, как лучи от солнца, бежали от него к зениту белые, красные, зеленые столбы. Небо, казалось, трепетало от их быстрого бега, гнулось под их бесконечными переливами. Лучи менялись в них, набегая друг на друга, как волны в море, такие же спешие, зыбкие, непостоянные. Хотелось думать, что там, где совершается это явление, небо так же грохочет и стонет под световым буруном, как воет и ревет море, когда разгуляются в нем под ветром седые волны...

«Сполохи играют!» — подумал Прокопий, но в то время, как он посмотрел на небесное диво, ему почудилось, будто весь этот свет стал ближе к нему, будто столбы пламени, вращаясь, летят долу, с высоты зенита, как громадные огненные птицы,— и вот они уже близко, и уже слепят его своим сиянием, и ему тепло от них... жарко даже...

И то уже не столбы и не огненные птицы: то врата — дивные врата, каких нету ни в Киеве, ни в Новгородской Святой Софии. Некие светоносные мужи стоят во вратах и манят к себе Прокопия ласковыми очами, и кто-то, на незримых крылах, несет его к ним.

А там, за вратами, в пучине розовых лучей стоит Некто — не великий, не малый, но все наполняющий собою: солнце сияет над Его головой, звезды горят в Его очах, месяц плывет под Его стопами, и весь Он, таинственный,— любовь, жизнь и свет.

Все вокруг Него гремело хвалою, тьмы тем лиц, тьмы тем крыл купались в розовой пучине, тьмы тем голосов вопияли:

— Слава Тебе, показавшему нам свет!

И с воплем этим слился радостный вопль души, быстро полетевший к небу из тела, что — жалкое, темное, окоченелое — лежало и стыло на снегу у большой новгородской дороги...



Наполеондер

(Солдатская легенда о старой гвардии)

Давно, не давно, а деды наши запомнят,— захотел Господь Бог покарать людей за нечестие. И стал Он думать, как и чем их покарать, и держал о том совет со ангелы и архангелы.

Говорит Господу Богу архангел Михаил:

— Тряхни-ка их, Господи, трусом.

Отвечал Господь Бог:

— Это дело пробованное. Кое время мы Содом-Гомору растрясли, а человеки от того умнее не стали: Содом-то Гомора теперь, почитай что, по всем городам пошла.

Говорит Гавриил-архангел:

— А ежели глад?

Отвечал Господь Бог:

— Младенцев бессловесных жалостно,— за что младенцы погибать будут? Опять же и скотина кормов решиться должна, а ведь неповинная она, скотинка-то.

— Потопом их потопи! — Рафаил советует.

— Никак невозможно,— Господь Бог в ответ,— потому что, первым делом, сам я клялся людям, что потопа больше не будет, а радугу в уверение давал. А второе дело — грешник теперь, шельма, хитрый пошел: на пароход сядет, через потоп уплывет.

Смутились тут архангелы, приуныли, стали думать-гадать, головы ломать, каким злом-бедою можно грешный народ образумить и в совесть привести. Но как с испокон веку только на добро Господу Богу служивши, о всяком зле земном позабыли, то и ничего придумать не могли.

В эту самую минуту выходит вперед Иван-ангел, из простых, нашего русского звания, которого Господь Бог поставил мужицкие души ведать. Преклоняется с учтивостью и докладывает:

— Господи! Там вас Шайтан-чумичка спрашивает. В рай не дерзает, потому от него дух нехорош,— так в сенях дожидается.

Обрадовался Господь Бог:

— Позвать сюда Шайтана-чумичку. Этот плут мне весьма известный. Очень он сейчас ко времени. Кто-кто, а уж эта бестия придумает.

Вошел Шайтан-чумичка: рожа черная, опойковая,— из-под полушубка хвост торчит, голос сипкий.

— Коли прикажете,— сказывает,— я всю вашу беду — руками разведу.

— Разведи, братец,— оставлен не будешь.

— Дозвольте,— говорит,— чтобы нашествие иноплеменников.

Господь Бог ручкою на него махнул:

— Только-то от тебя и будет? А еще умный!

— Позвольте,— Шайтан ему насупротив,— в чем же, однако, мое отсутствие ума?

— А в том, что советуешь наказывать людей войною, когда они только того и ищут, как бы подраться между собою, народ на народ, и за это-то самое я их теперь и казнить хочу.

— Это,— отвечает Шайтан-чумичка,— потому они войн ищут, что еще настоящего воителя не видали, а как пошлете вы им настоящего воителя — они хвосты весьма поприжмут,— взмолятся к вам: помилуй и спаси от мужа кровей и Ареда.

Удивился Господь Бог.

— Как,— спрашивает,— братец, не видали воителей? И Ирод-царь воевал, Александр-царь дивии народы покорял, Иван-царь Казань разорил, и Мамай-царь нестовый с ордою приходил, и Петра-царь, и Анико-воин... какого же им еще воителя-богатыря нужно?

Шайтан-чумичка говорит:

— Нужен Наполеондер.

— Наполеондер? Откуда взял? Какой такой?

— А такой,— говорит Шайтан,— мужиченко — не то чтобы больно мудрящий, только оченно нравом лютой.

Господь Бог — к архангелу Гавриилу:

— Почитай в книге живота: где у нас записан Наполеондер?

Читал-читал архангел, ничего не вычитал.

— Никакого Наполеондера в книге живота нету. Все врет Шайтан-чумичка. Нигде у нас не записан.

А Шайтан-чумичка — вразрез:

— Ничего нет удивительного, что Наполеондер у вас в книге живота не записан. Потому в книгу живота тех пишут, которые от отца-матери родились и пупок имеют, а у Наполеондера ни отца, ни матери не было, и пупка у него нет. Так что это довольно даже удивительно, и можно показывать его за деньги.

Очень изумился Господь Бог:

— Как же он, твой Наполеондер, в таком разе на свет произошел?

Шайтан отвечает:

— А так и произошел, что свил я его себе на забаву куклою из песку морского. А ты, Господи, в те поры личико свое святое умывал, да не остерегся, водицею брызнул,— прямо с небеси Наполеондеру в мурло попал: он оттого и стал человеком и ожил[1]. И обитает он теперича не близко, не далеко — на Буян-острову, посередь окиян-моря. Земли на том острову верста без сажени, и живет по ней Наполеондер, морских гусей сторожит. За гусями ходит, а сам не ест, не пьет, не спит, не курит — одно в мыслях держит — как бы ему весь свет покорить.

Подумал Господь Бог, приказал:

— Веди его ко мне.

Доставил Шайтан Наполеондера в рай. Посмотрел на него Господь Бог: видит — человек военный, со светлою пуговицей.

— Слышал я,— спрашивает,— что ты, Наполеондер, весь свет завоевать хочешь?

Наполеондер отвечает:

— Точно так. Оченно как хочу.

— А думал ли ты, Наполеондер, о том, что когда воевать будешь, то много народа побьешь, реки крови прольешь?

— Это,— говорит Наполеондер,— мне, Господи, все

[1] Таков миф о сотворении человека у чувашей, черемисов, мордвы и всех обруселых поволжских и заволжских инородцев. *(Прим. автора.)*

единственно. Потому — мне главное дело, чтобы весь свет покорить.

— И не жаль тебе, Наполеондер, будет убитых, раненых, сожженных, разоренных, голодающих?

— Никак нет,— говорит Наполеондер,— чего жаль? Я это не люблю, чтобы жалеть. Как себя помню, никого не жалел и вперед не стану.

Обернулся тогда Господь ко ангелам и сказал:

— Господа ангелы! Парень этот к делу весьма подходящий.

А — к Наполеондеру:

— Прав был Шайтан-чумичка: достоин ты быть казнью гнева моего. Потому что воитель безжалостный хуже труса, глада, мора и потопа. Ступай на землю, Наполеондер,— отдаю тебе весь свет, тобою весь свет наказую.

Наполеондер говорит:

— Мне бы только войско да счастье, а уж я рад стараться.

А Господь и положил на него заклятие:

— Будет тебе и войско, будет и счастье,— непобедим ты будешь в боях. Но — памятуй: покуда ты безжалостен и лют сердцем,— до тех пор тебе и победы. А как только возжалеешь ты крови человеческой, своих ли, чужих ли, тут тебе и предел положен. Сейчас тебя враги твои одолеют, полонят, в кандалы забьют и пошлют тебя, Наполеондера, назад на Буян-остров гусей пасти. Понял?

— Так точно,— говорит Наполеондер.— Понял. Слушаю. Не буду жалеть.

Стали спрашивать Бога ангелы и архангелы:

— Господи, для чего ты Наполеондеру такое страшное заклятье положил? Ведь этак-то, не жалеючи, он всех людей на земле переколотит, не оставит и на семена.

— Молчите! — отвечал Господь,— не долго навоюет. Храбер больно: ни людей не бойся, ни себя самого. Думает от жалости уберечься, а не знает того, что жалость в сердце человеческом всего сильнее, и нет человека, который бы ее в себе хоть крошечку не имел.

Архангелы говорят:

— Да ведь он песочный.

А Господь им наперекорку:

— А что он от живой воды моей дух получил, это вы ни во что почитаете?

Набрал Наполеондер несметное войско, дванадесять язык,

и пошел воевать. Немца повоевал, турку повоевал, шведа, поляка — так и косит: где ни пройдет — гладко. И уговор помнит крепко: жалости — ни к кому. Головы рубит, села жжет, баб насилует, младенцев копытами коней топчет. Разорил-погубил все басурманские царства — все не сыт: пошел на крещеный край, на святую Русь.

На Руси тогда был царь Александр Благословенный, что теперь в Петербурге-городе на Александровской колонне стоит и крестом благословляет,— оттого Благословенный и имя ему. Как напер на него Наполеондер с дванадесять язык, увидал Благословенный, что всей Расее конец приходит, и стал спрашивать своих генералов-фельдмаршалов:

— Господа генералы-фельдмаршалы! Что я с Наполеондером могу возражать? Потому что он несносно напирает.

Генералы-фельдмаршалы отвечают:

— Ничего мы, ваше величество, с Наполеондером возражать не можем, потому что ему от Бога дано слово.

— Какое слово?

— А такое: Бонапартий.

— Почему же оное слово, господа генералы-фельдмаршалы, столь ужасно, и что оно обозначает?

— Ужасно оно тем, что как, скажем, видит он в сражении, что неприятель очень храбрый, и его сила не берет, и все евонное воинство костьми ложится — сейчас он этим самым словом — Бонапартием — себя и проклянет. А едва проклянет, тотчас все солдатики, которые когда ему служили и живот свой на полях брани за него оставили, приходят с того света. И ведет он их на неприятеля снова, как живых, и никто не в силах устоять пред ними: потому что — рать волшебная, нездешняя. Означает же слово Бонапартий — шестьсот шестьдесят шесть, число звериное.

Опечалился Александр Благословенный. Однако, подумавши, сказал:

— Господа генералы-фельдмаршалы! Мы, русские, народ чрезвычайно какой храбрый! Со всеми мы народами воевали — ни супротив кого себя в грязь лицом не ударили. Коли привел теперь Бог с упокойниками воевать — Его святая воля: постоим и супротив упокойников.

И повел он войско-армию на Куликово поле и стал ждать здесь Наполеондера. А Наполеондер-злодей шлет ему посла с бумагою:

— Покорись, Александр Благословенный, я тебя за то, не в пример прочим, пожалую!

Но Александр Благословенный, как был государь гордый и амбицию свою соблюдал, с послом Наполеондеровым говорить не стал, а взял тое самую бумагу, что посол привез, нарисовал на ней кукиш да Наполеондеру в отместку и отослал.

— Этого не хочешь ли?

И дрались они, рубились на Куликовом поле, и, долго ли, коротко ли, начали наши Наполеондера одолевать. Поприрубили, попристреляли всех его генералов-фельдмаршалов, на самого наседают:

— Конец тебе, изверг Наполеондер! Сдавайся! — кри чат.

А он, Наполеондер, на коне, как сыч, сидит, буркалами ворочает да ухмыляется:

— Погоди, говорит, не торопись. Скоро сказка сказывается, дело творится мешкотно.

И крикнул свое вещее слово:

— Бонапартий! Шестьсот шестьдесят шесть, число звериное!

Потряслась земля, загудело славное Куликово поле. Глянули наши, да — все и руки врозь: со всех-то краев поля — грозные полки идут, штыки на солнце горят,— знамена рваные над шапками страшными, мохнатыми треплются,— идут, трах-тах, трах-тах, шаг отбивают,— молча идут, а рожи у всех, как пупавка, желтые, а глаз-то подо лбом и в помине нет...

Ужаснулся Александр, Благословенный царь. Ужаснулись его генералы-фельдмаршалы. Ужаснулась вся российская сила-армия. И дрогнули они, не выдержали покойницкой силы, пустились бежать куда глаза глядят. А вор Наполеондер, на коню сидя, за бока держится, хохочет-заливается:

— Что,— кричит,— не по зубам вам мои старички пришлись? То-то! Это не с мальчишками в бабки играть. Ну-ка, господа честные упокойнички! Я никогда никого не жалел, так и вы врагов моих не жалейте; задайте им по-свойскому.

Покойники говорят:

— Покуда так, мы твои слуги довечные.

Бежали наши с Куликова поля на Полтав-поле, с Полтав-поля на славный тихий Дон, с тихого Дона на Бородино-поле,

под самоё Москву-матушку. И — как до какого поля добегут — сейчас к Наполеондеру лицом обернутся и идут на него врукопашь. Так что сам Наполеондер, на что злодей, очень ими восхищался.

— Помилуй Бог, какой храбрый русский солдат! В чужих краях я таких не видывал.

Но при всей большой нашей храбрости никак мы с Наполеондером возражать не могли,— потому на слово его слова не знали. Во всех сражениях бьем его, гоним, вот-вот на аркан зацепим, в полон возьмем,— ан тут-то он, плут-идол беспутный, и спохватится. Крикнет-гикнет Бонапартия: упокойнички и лезут из могилок во всей амуниции, зубом скрипят, начальство взором едят — где прошли, трава не растет, камень лопается. И так наши напугались этой силы нечистой, что уже и воевать с нею не могли. Как только заслышат проклятого Бонапартия, как завидят мохнатые шапки да желтые рожи, все ружья побросают, бегут в леса прятаться.

— Как хошь,— говорят,— Александр Благословенный, а под упокойника мы не согласны.

Александр же Благословенный плакался:

— Братцы, повременим бежать! Понатужимся еще чуточку. Не все же ему, собаке, над нами кружиться. Положен же ему последний предел от Господа. Ноне его, завтра его, а там, даст Бог, и наша авоська вывезет.

И поехал он ко старцам-схимникам, в пещеры киевские, на острова валаамские — митрополитам-архимандритам в ножки кланялся:

— Молитесь, святые отцы, чтобы перестал на нас гнев Господень, потому что нету нашей силы-мочи отстоять вас от Наполеондера.

И молились старцы-схимники, митрополиты-архимандриты со слезами и коленопреклонением, так что на лобиках синяки набили, а на коленках мозоли выросли. И молился со слезами весь народ русский, от царя до последнего нищего. И заступницу Скорбящих, Божью Мать Смоленскую, в слезах, подняли и понесли на славное Бородино-поле — и вопили:

— Пресвятая Богородица! Ты еси упование и живот! Заступи и скоро помилуй!

И у самой свет Пресвятой Богородицы из-под серебряной ризы, из-под жемчужного подниза, по темному лику — слезы

закапали. Весь народ Божий, вся сила-армия видела, как святая икона плакала,— и ужасно это было всем, и умильно.

Внял Господь Бог русскому воплю и молитве пресвятой Богородицы, Смоленской Божьей Матери, и вскричал ко ангелам и архангелам:

— Миновал час гнева моего. Довольно претерпели человеки за грехи свои и все в сквернах своих предо Мною покаялись. Довольно Наполеондеру народ губить,— пора узнать и милосердие. Кто из вас, слуги мои, на землю сойдет, кто примет труд велик — умягчить сердце воительское?

Вызвался Иван-ангел:

— Я пойду.

А Наполеондер на ту пору большую победу одержал. Едет он по бранному полю на борзом коне, копытами конскими мертвецов давит,— и никого ему не жаль, одну думу в голове держит: «С Расеей порешу, на китайского царя и бел арапа пойду,— тогда уж как есть до остатка весь свет покорю!»

Только слышит он, вдруг зовет его некто:

— Наполеондер, а Наполеондер!

Оглянулся Наполеондер: ан поблизости, на пригорке, под кусточком, русский солдатик лежит — раненый — и рукою ему машет. Удивился Наполеондер: что русскому солдатику от него надобно. Поворотил коня, подъехал.

— Чего тебе?

— Ничего мне,— солдатик отвечает,— от тебя не надобно, только одно слово спросить. Скажи мне, пожалуйста, за что ты меня убил?

Еще большие удивился Наполеондер: сколько лет он воевал, сколько людей убил-ранил, а никто его никогда ни о чем таком не спрашивал. А и солдатик-то не мудрый: молоденький, белобрысенький,— видать, что новобранчик, из деревни, от сошки взят.

— Как за что, братец? — говорит Наполеондер.— Не мог я тебя не убить. Присяга твоя такая, чтобы убиту быть.

— Я, Наполеондер, присягу знаю и убиты быть не супротивничаю. Но ты-то за что меня убил?

— Как же мне тебя не убить, коли ты мне неприятель — сиречь враг: воевать со мною на Бородино-поле вышел.

— Окрестись, Наполеондер, какой я могу быть тебе враг? Никаких промеж нас с тобой спора-ссоры никогда не было. Покуда ты в нашу землю не пришел да в солдаты меня не забрили,— я о тебе отродясь не слыхивал. А ты меня, кто я

есмь человек, и по сейчас не знаешь. И все-таки ты меня убил. И сколько других таких же убил.

— Убил,— говорит Наполеондер,— потому что мне надо весь свет покорить.

— А мне-то что до этого, что надо тебе свет покорить? Покоряй, коли охота есть,— я в том тебе не препятствую. Но меня-то за что ты убил? Нешто от того, что ты меня убил, свету тебе прибавилось? Нешто он мой, свет-то? А ты меня убил! Нерассудительный ты, Наполеондер, братец. И неужели думаешь ты чрез то, что народ бьешь и увечишь, в самом деле свет покорить.

— Очень даже думаю.

Улыбнулся солдатик.

— Совсем ты глупый, Наполеондер. Жаль мне тебя. Разве весь свет покорить можно?

— Все царства завоюю, все народы в цепи закую, один на всей земле царем буду.

Покачал головою солдатик.

— А Бога завоюешь?

Смутился Наполеондер:

— Нет, Божья воля над всеми нами, все мы в Божьей деснице живем.

— Так что же и пользы тебе весь свет завоевать? Все он, значит, не твой будет, а Божий. И покуда Бог тебя терпит, потуда только ты и цел.

— Это я и без тебя знаю.

— А коли знаешь, зачем же ты с Богом не считаешься? Разве дозволил Он человеку неповинную кровь лить? За что ты меня убил?

Нахмурился Наполеондер.

— Ты, брат, мне этих слов не говори. Я таких ханжей слыхивал. Напрасно. Не проведешь. Я жалеть не умею.

— Ой ли? — спрашивает солдат.— Смотри: много ты форсу на себя напускаешь. Без жалости человеку, врешь, прожить нельзя! Что жалость, что душа — все едино. Душа-то есть у тебя аль нету?

— Известно, есть. Нельзя без души.

— Ну вот видишь: душу имеешь, в Бога веришь,— как же тебе жалости не узнать? Узнаешь. И я так даже думаю, что вот и сейчас ты стоишь надо мною — только вида показать не хочешь, а про себя, в душе, смерть как меня жалеешь: за что ты меня убил?

Рассвирепел Наполеондер:

— А, такой-сякой, типун тебе на язык! Вот я тебе покажу, как тебя жалею.

Вынул пистолет и прострелил раненому голову. Обернулся к своим упокойникам, говорит:

— Видели?

— Видели. Покуда так, мы твои слуги довечные.

Поехал Наполеондер дальше по бранному полю...

Ночь прошла — сидит Наполеондер в шатре золоченом, один-одинешенек, и больно ему не по себе. И что ему сердце грызет — сам понять не может. Который год воюет, а — впервой это дело: никогда такой жути на душе не было. А назавтра утром — бой ему начинать, последний, самый страшный бой с Александром, Благословленным царем, на Бородине-поле.

«Эх,— думает Наполеондер,— покажу я себя завтра, каков я есть молодец. Православную силу-армию кое копьем приколю, кое конем стопчу, Александра-царя в полон возьму, весь русский люд убью-расшибу».

Но на ухо ему — кто-то опять будто:

— А за что?

Потряс головою Наполеондер:

— Знаю, чья штука. Опять солдат давешний. Ладно! Не поддамся ему. За что? За что? Эка — пристал. Почем я знаю, за что? Кабы знал, за что,— так, может быть, и не воевал бы.

В постелю лег. Едва заведет глаза под лоб — стоит перед Наполеондером вчерашний солдат. Молоденький, кволенький, волосы русые, а усы еще не выросли — только белым пухом губа обозначилась. Лоб бледный, губы синие, глаза голубые меркнут... а на виске дырка черная, куда евонная — Наполеондера — пуля прошла...

— За что ты меня убил?

Ворочался-ворочался в постели Наполеондер. Видит: плохо дело,— нет, не избыть ему солдата. И сам на себя дивуется:

— Что за оказия? Сколько миллионов всякого войска перебил,— всегда в мыслях свободен был,— тут вдруг один какой-то паршивый солдат, а какую мне завязку в голове делает.

Встал — и нестерпимо ему в золоченом шатре. Вышел на вольный воздух, сел на коня и поехал к тому пригорку, где он досадного солдата из собственных рук пристрелил.

«Слыхал я,— думает Наполеондер,— что — коли мертвец

мерещится — надо ему засыпать глаза землею: тогда отстанет».

Едет. Месяц светит. Тела мертвые грудами лежат. Синий свет по ним бродит. Едет Наполеондер, тлен смотрит, тлен нюхает.

— Все это — я побил!

И дивно! кажется ему, будто все они, побитые, на одно лицо — русые да безусые, молодые, голубоглазые — и смотрят все на него жалостно и ласково, как тот солдат смотрел, и шевелят бескровными губами и лепечут укор беззлобный:

— За что?

Стеснилось у Наполеондера воительское сердце. Не имел он духа доехать до пригорка, где тот солдат лежал, повернул коня, поехал к шатру... И — что ни покойник на пути — снова слышит он:

— За что?

И уже не стало у него азарта-прыти, как прежде, пускать коня — скакать по мертвым ратникам, но объезжал он каждого упокойника, на поле брани живот свой честно положившего, с доброю учтивостью, а на иного взглянет да еще и перекрестится:

— Эх, мол, этому жить бы да жить... Молодец-то какой бравый! А я его убил. За что?

И сам не заметил воитель Наполеондер, как растопилось и умилилось его сердце и возжалел он убитых врагов,— а вместе с тем заклятье его отошло от него, и стал он такой же, как все люди.

А назавтра бой.

Выехал Наполеондер на Бородино-поле к ратям своим, туча тучею — все семьдесят сестер-лихорадок его треплют. Посмотрели на него генералы-фельдмаршалы — ужаснулись:

— Ты бы, Наполеондер, водки, что ли, выпил. На тебе лица нет.

Как двинулись русские на Бородине-поле супротив наполеондеровской орды, она — сразу и врассыпную пошла. Стали генералы-фельдмаршалы Наполеондеру советовать:

— Плохо дело, Наполеондер: больно сердито бьются сегодня русские. Говори свое слово. Зови упокойников.

Начал Наполеондер кричать Бонапартия, шестьсот шестьдесят шесть, число звериное. Однако, сколько ни кричал, только галок вспугал, а упокойники на зов не пришли — не откликнулись. И остался Наполеондер посередь Боро-

дина-поля как перст один, потому что все генералы-фельдмаршалы бежали от него, как от чумового. И сидел он на коне один, и орал один, а покуда орал — откуда ни возьмись, встал пред ним вчерашний убитый солдат...

— Не надсажай себя, Наполеондер: никто не придет. Потому что возжалел ты вчера меня и побитых братьев моих,— и, за жалость твою, не послушают тебя упокойники: вся твоя сила над ними отошла от тебя.

Заплакал тогда Наполеондер:

— Погубил ты меня, солдатище несчастный!

Но солдатик — а был это не солдатик, но Иван-ангел — отвечал:

— Не погубил я тебя, но спас. Потому что, если бы продолжал ты свой путь беспощадный, безжалостный — не было бы тебе прощения ни в сей жизни, ни в будущей. Теперь же Господь дает тебе срок покаяния: на сем свете тебя казнит, но на том — коли грехи замолишь — помилует.

И стал невидим.

А на Наполеондера наскочили наши донские казачки, сняли его с коня, отвели к Александру Благословенному. Кто говорит: Наполеондера убить-расстрелять; кто говорит: Наполеондера в Сибирь сослать. Но Александру Благословенному укротил Господь сердце милостью. Не позволил он Наполеондера убить-расстрелять, не позволил в Сибирь сослать, а велел посадить его в железную клетку и возить-показывать по ярмаркам. И возили Наполеондера по ярмаркам тридцать лет и три года, покуда не состарился. А как состарился, отослали его на Буян-остров — гусей пасти.

Скиталец

Я уже верст пять прошел в сторону от Военно-Грузинской дороги, легко подымаясь вверх по течению Чубурике, незначительного притока Арагвы. Это прелестная речонка: вода в ней светлая, как хрусталь, очень холодная и мчится по ущелью с головокружительной быстротой; белая пена кусками оседает на громадных камнях, порогами низводящих русло к устью: на этих порогах Чубурике ревет, словно каждая капля ее несет в себе чью-то глубоко возмущенную и громко негодующую душу. Войдешь в воду — едва можно устоять на дне: ледяная струя так и валит с ног.

Продираясь сквозь прибрежные орешники, я набрел на узкую тропинку: она змейкой вилась вверх по правой стене ущелья Чубурике; я пошел по ней и вскоре очутился на каменистой проезжей дороге, когда-то недурной, теперь совершенно заброшенной, местами разрушенной дождевыми потоками, закиданной камнями мелких обвалов и оползней. Я брел по этому мертвому пути с полчаса, не встретив ни живой души, не имея у кого спросить: садарис кза?.. (куда дорога?). Наконец с досадой решил остановиться и улегся на отдых под тень какого-то куста, наклонившего ко мне кисти совсем еще зеленых, узких и мелких ягод. На этом месте застал меня человек, весьма странно одетый по здешним местам. На Военно-Грузинской дороге, при фургоне, еще куда ни шло встретить такую фигуру, но в горах уже совсем

необыкновенно. Высокие сапоги, штаны в голенища, какая-то желтая куртка вроде кителя, парусинный картуз, ранец за плечами. Фигура поклонилась:

— Русские будете?..

— Да, русский.

— Присесть к вам позволите?

— Пожалуйста.

Фигура расположилась рядом со мной. По рыжей бороде, носу картошкой и ласковым голубым глазам, а главное, по певучему «аканью» в речи я сразу узнал в пришельце своего брата москвича.

— Откуда и куда идете? — спросил я.

— Издалека, господин... Про Каракуль слыхали?

— Позвольте, это... в Семиречинской области?..

— Теперь он Пржевальском называется, с той поры, как Николая Михайловича Пржевальского там похоронили...

— Да ведь это ужасная даль. Каким же способом вы путешествовали оттуда?

— По образу пешего хождения, а потом до Узун-Ада по чугунке. Через Аму-Дарью чугунка идет. Чудная речка! Инженеры ее мостом прикроют,— вот какой мостище вытянут, не хуже Сызранского на Волге... видали? — а она возьмет да песками и перекатит выше... Инженеры ее опять мостом хлоп, а она от них опять в сторону верть!.. Потом в Баку на пароходе. От Тифлиса опять пешком...

— Что же вы делали в Каракуле?

— Как вам сказать?.. Я туда так пошел, без надобности... На Арале был, оттуда недалече... Поклонился могилке Николая Михайловича, да и ушел.

— Вы знали его, что ли?

— Пржевальского-то? Знал малость. В Питере, когда он собирался в последнюю экспедицию, я просился к нему... Не взял. Богатырь был мужчина, большого характера господин... Не взял он меня больше потому, что я к вину привержен: так не пью, а по временам на меня запой находит... бесчувственно пью, ни к какому делу тогда не пригоден. А то сам говорил: «Кабы не твоя слабость, я, Сергей Иванович, с тобой не расстался бы,— ишь у тебя лапы какие: медведя задушишь, да и ходок». Точно что в экспедиции я ему пользу мог оказать. А странствие, господин, я возлюбил сызмалу... Я из мещан. Тятенька мой и посейчас имеет питейный под Подольском. Так я мальчишкой — щенком белогубым —

убегу, бывало, на ближнее село, Дубровинцами называется. Место чудеснейшее: гора, река Пахра, лес столетний: лягу на обрыве, да так и лежу весь день, смотрю, как кругом прекрасно, и такая-то мне тоска: в даль меня так и тянет, так и тянет! Немало меня тятенька порол, а охоты не выбил... Я что вам, господин, скажу! — засмеялся Сергей Иванович,— я от невесты убёг!

— Как так?

— Очень просто. Сговорили меня с девушкой, хотя крестьянскою, но хорошего двора, с зажитком. И я ей полюбился, и она мне тоже ничего показалась. После Петровок собирались свадьбу играть. Только на неделе пред Петровым днем и зайди к ним странник — пробирался от соловецких угодников к киевским чудотворцам... Как порассказал он мне про свою путину — батюшки! что со мной сделалось!.. Лег спать... не могу: пред глазами золотые маковки, река большая, синяя... Жив быть не хочу — хочу Киев видеть! Что ж бы вы думали, господин? До утра я проворочался с боку на бок, глаза не сомкнул, а как свет показался, я с этим самым странником взял да и ушел, никому не сказавшись... С тех пор и началось мое бродяжничество... Из Киева-то меня домой этапным порядком... беспаспортного. Батька со стены вожжи снял, учил-учил, инда со спины вся шкура слезла... Спрашиваю: «А что моя Варька?» — «Как же,— говорит,— станет она тебя, беспутного, дожидаться! за лавочника пошла». Что же! не судьба, значит,— давай ей Бог счастья!

— А не мало, надо полагать, вы видали на своем веку?

— Привел-таки Господь. Здесь, на Кавказе, я всякую тропку знаю. По всем аулам у меня приятели. Еще здесь не так, а вот как Гудаур[1] перемахну, пойду Хевским ущельем, в Гудашаури[2] заверну, на Сионе[3] остановлюсь,— там меня Боже мой как любят! Чудной народ! бедны — аж смотреть жалко, земля, кроме ячменя, ничего не родит, лета нет, за дровами в Капкой[4] за шестьдесят верст с одной арбой ездят... Это вы рассудите только, господин: шестьдесят верст — день, назад — другой, скотина мореная, у самого брюхо от голодухи подтянуло, потому, кроме чурека, он другой пи-

[1] Перевал через Большой Кавказский хребет на полпути из Тифлиса во Владикавказ. *(Прим. автора.)*

[2] и [3] Селения в Хевском ущелье. Сион, с церковью XI века, построено царицей Тамарой, считается селением священным. *(Прим. автора.)*

[4] Владикавказ. *(Прим. автора.)*

щи по неделям не видит, а дровишек привезет охапку, на четыре топки, больше не осилить карманом за один покуп. Скудный народ! А добрый! — придешь к какому из ихнего брата — рад: чурек положит, мацони[1] поставит, вина раздобудет, пожалуй, и барана заколет... душу заложит, а угостит!.. Я, как в Сионе к Михо — охотник, кунак мой — заверну, так и говорю: уговор, Михо,— вино твое, баран мой... Что их разорять! помилуйте!.. Довольно их беки душат: жирные черти, из духана не выходят...

— Куда же вы теперь пробираетесь?

— На Яик хочу пройти. Аккурат к осенним ловлям там буду...

— Вы бывали там раньше?

— Бывал. Хороший народ. Насчет табаку только строги, а то ничего, не гнушаются нашим братом... Другие старообрядцы есть такие, что компанию с тобой водить водят, но все-таки за стол с тобой не сядут, а коли сядут, так свою посуду поставят: когда же я жил у казака, на Урале, то мы из одного стаканчика водку пили. Но курева не любил; чуть увидит, что курю, не то что в горнице, а хоть во дворе, на заваленке,— сейчас заругается. «Ты, говорит, Москва, чем небо коптить, шел бы лучше в горницу, да мы бы с тобой по черпушке выпили, благословясь»...

— Я думаю, в ваших странствиях вы имели немало приключений?

— То есть как это?

— Ну... например, нападали на вас разбойники, дикие звери?

— Мало... Злодей на меня с оглядкой лезть должен, вид у меня, как сами изволите заметить, сурьезный. Однако бывало. Давно, лет пятнадцать тому назад, верстах в двадцати пяти от Капкая, заарканили меня ингуши. Обобрали. Денег на мне нашли двадцать пять копеек. Рассердились. «Сказывай, что ты за человек!» Говорю им по-татарски: «Известно какой. У вас Бог, у меня Бог, все мы Его дети».— «Мы тебя не отпустим: на тебе сапоги хорошие... у тебя в городе деньги есть! посылай в город за деньгами — жив будешь, а не то — горло резать будем».— «Денег у меня нет,— говорю я,— а горло резать ваша воля...» Однако резать меня они не захоте-

---

[1] Чурек — хлебная или ячменная лепешка, мацони — кислое молоко. *(Прим. автора.)*

ли, а выдумали такую штуку: разложили навзничь, один сел на грудь, другой на ноги, а третий настругал тонких колышков, да и ну шашкой забивать их мне под ногти... Боль, скажу вам, нестерпимая — однако я молчал... три пальца мне разбойники испортили на левой ноге!

— Как же вы избавились?

— Из ихних один вступился... жалко, что ли, ему стало меня; молодой такой мальчишка!.. Уж если, говорит, этот человек муку терпит и про деньги молчит, должно быть, и впрямь их у него нет!.. Отпустим его... он хороший человек, по-нашему умеет, про Бога говорит. Долго спорили, однако отпустили. «Только,— говорят,— смотри, начальству на нас не доказывай».— «А что мне доказывать? Ступайте с Богом!» Сели на конь, гикнули и уехали; сапогов, однако, не отдали. Я колышки из-под ногтей повыдергал, пролежал ночку в кустах, чтобы нога отошла, да потихоньку на другой день поплелся дальше: в Екатеринодар мне было нужно...

— И вы не жаловались?

— Зачем же-с? Ведь их бы все равно не поймали, а если б и поймали, лучше разве стало бы мне от того, что их в тюрьму посадили? Большого вреда ведь они мне не нанесли, отца с матерью не лишили. Надо рассуждение и жалость иметь: эти горцы народ необразованный, воздух любят... иной на воле богатырь богатырем, а взаперти его через две недели и не узнаешь: муха крылом перешибет! Тюрьма ест ихнего брата. Я в Ставрополе арестантика одного навещал, татарина — кунак мой, хороший человек — так, по глупости попал: конокрада убил, да чем бы его, как водится, в балку куда-нибудь, в степь стащить, сам пошел и объявился по начальству. Так верите ли: на глазах моих истаял... Сидит желтый, худой — одни глаза. «Скучно,— говорит,— кунак, горы не видать, солнца нет»... А подковы ломал!..

— Ну, а звери?

— От зверя меня Господь хранил Своим промыслом даже до чрезвычайности. Я в Ферганской области джуль-барса вот так, как вас, видел... Сытый, что ли, был,— прошел мимо меня в камыши через дорогу и не поглядел, не то что не тронул.

— Джуль-барс — это тигр?

— Точно так, большой зверь-с. Мне со страстей он показался с доброго быка. А ступает тихо, словно кошка... Кисточки на ушах.

— Как кисточки?

— Так, торчат вверх беловатые пучочки волос. Мне эти кисточки очень запомнились. Когда он, джуль-барс, вышел предо мной на дорогу из балки, я обомлел. Смотрю на него и не о том помышляю, что сейчас он начнет меня свежевать, а думаю: «Ишь уши-то... с кисточками!» Право-с! Такая глупость. Испугался, известно,— одурел.

— Скажите, пожалуйста, чем же вы живете?

— Да ведь я не все же без дела хожу. Вы не смотрите, что я праздный человек: я людям собой не скучаю... На Кубани в косцы нанимаюсь, на Урале на промысел становлюсь, в прошлом годе нанялся в Волыни у поляка лес валить, однако не стерпел, ушел.

— Что так?

— Вы, господин, смеяться станете: жалко сделалось! Лесище там... Господи! таких я до того и не видывал! Стволины — во: прямо в мачту теши! Макушки выше облака ходячего. На небе солнце, полдень, в поле жара, а низом по лесу идешь — что твои сумерки, и прохладно. Жалко стало: плачет дерево под топором — так руки сами и опускаются... Да, впрочем, я нигде подолгу не засиживаюсь. Водка меня губит, господин!

Сергей Иванович вздохнул.

— Вот, покуда идешь, все равно: хоть бы ее и не было, проклятой!.. А сел на место — глядь, недели через две и засосало. Ну, конечно, сразу не поддаюсь: мучусь, зверем гляжу, кабак за версту обхожу... а выпил, и пошла писать недели на две, пока наг и бос не останусь. Очувствуюсь, и сейчас же станет мне противно, как это я себя осрамил и характера не выдержал... тут я поскорее в дорогу ударюсь, потому что, если останусь, непременно со стыда опять запью! Прежде я все по святым местам ходил, просил угодников избавить меня от пьяного беса, да не помогло, по грехам моим...

Сергей Иванович встал еще с более глубоким вздохом.

— Однако прощайте, господин. Мне надо до вечера в Койшауры дошагать. И то я с пути свернул; тут в горах есть деревушка, сопели по-ихнему, а имя ей Чквени,— заходил туда проведать приятеля... Пять лет не видал, хороший грузин!.. А в Койшаурах другой приятель ждет — тоже прекрасный человек! Прощенья просим. Благодарствуйте за компанию!

Скиталец скрылся за поворотом ущелья, а я смотрел ему вслед и думал:

Каких только людей не родит русская почва и в какие углы не забрасывает и не прививает их! Не любит сидеть на месте русский человек; все-то тянет его от своего места, от насиженного, теплого гнезда в неведомый край, под чужое небо, к чужим людям, в чужедальнюю сторонку... И хоть бы добра ждал от нее, а то ведь сам же поет в песне:

Чужедальняя сторона —
Полынь горькая трава!

Мы создали исключительно русский тип «Ивана, не помнящего родства», секты «бегунов» и «шатунов»; страницы истории нашей пестрят ушкуйники, низовая вольница, казачество; народное творчество наше страстно тоскует с царевичем Иосафом по «прекрасной матери-пустыни», а величайшие русские поэты провели полжизни — кто на чужбине, кто, в буквальном смысле, «бродя за кибиткой кочевой». Вот уж подлинно: «Скитальцы и странники мы в сей жизни!»

Об одном ущелье и грузинской ундине

В полуверсте от Пасанаура, по направлению к Млетам, слева от Военно-Грузинской дороги, над старым кладбищем, между могилами которого мирно пасутся табунные матки с их резвыми сосунками,— видно узкое ущелье. Оно смотрит издали очень красивым, и мне давно хотелось посетить его. Собрался и пошел.

Погода стояла неважная: над горами висела сплошная серая фата, впрочем довольно тонкая,— солнце просвечивало на ней явственным белым кругом без лучей, и в двух-трех местах виднелись пятна бледного, синего неба. Оторванные от облаков куски низко спустившихся паров пестрили горные скаты, ходя по ним, словно гигантские белые овцы по зеленому пастбищу.

У входа в ущелье я нагнал молодого грузина, направлявшегося туда же. Малый — оборванец на диво и уморительно некрасив собой: откуда только взялись в Грузии эти эскимосские нос и губы? Тем не менее лицо добродушное; взгляд честный и веселый. Видно, что смирный как овца и всем довольный паренек. Поздоровались и разговорились. По-русски он знает немногим больше, чем я по-грузински, т. е. дюжину-другую ходячих фраз, сотню именительных падежей существительных, прилагательных и два указательные местоимения. Однако понимаем друг друга отлично: в ход идут и мимика, и даже пластика. Узнаю, что парня зовут

Майко, что он служит работником у духанщика[1] в Пасанауре и послан на гору «бык смотрел». Бык целую неделю скитается в лесу на свободе, нагуливая жир на подножном корму: нынче хозяин надумал его бить и послал работника словить разъевшегося зверя.

— Как же вы оставляете скот в лесу без присмотра? — изумился я.

— Зачем нет?

— Украсть могут.

— Ара!..[2] У нас скот никогда не воруют.

— Ну, зверь съест, волк или медведь.

Курьезное лицо Майко съеживается от смеха, как будто я сказал Бог знает какую нелепость.

— Ха-ха-ха! Датви[3] будет бык «съел был»! Ха-ха-ха! Бык сильный. У него рога.

В самом деле, как мне говорили многие хозяева, горные медведи никогда не нападают на крупную скотину, и страдает от них преимущественно баранта.

Внутренность ущелья оказалась тесною ложбиной не очень сильного, но чистого и прозрачного ручья.

— Раквиян цкаро?.. (Как зовется ручей?..)

Майко не знает. Безымянный ручей в дожди, должно быть, большой буян: вокруг его ложа наворочены весьма основательные каменные громады. Мое внимание привлекли древесные стволы, во множестве валяющиеся по ущелью и в большинстве совсем обтесанные, готовые в дело.

— Зачем они здесь лежат?

— Воды ждут. Вода с горы придет, дерево вниз пойдет.

Ручей мало-помалу принимает вид жидковатых каскадов: ущелье поднимается мелкими уступами аршина по два в вышину. Осенявшие до сих пор ручей ольха и орешник отступают здесь от берегов, и вода льется тонкими нитками живого серебра по голым серым камням. Майко прыгает по скалам, словно серна,— даже смотреть завидно! Я карабкаюсь за ним. Но вот мы оба становимся в тупик: ложе ручья превратилось в крутую лестницу; ступени ее высоки, влажны и покаты; схватишься рукой, чтобы притянуться на мускулах,— пальцы скользят, всползешь наконец как-нибудь,

---

[1] Кабатчик, хозяин постоялого двора тоже. *(Прим. автора.)*
[2] Нет. *(Прим. автора.)*
[3] Медведь. *(Прим. автора.)*

станешь,— нога не держится на гладком, косо срезанном камне; тычешь, тычешь палкой вокруг себя, пока не установишь равновесия. Берега — коридор с совершенно отвесными стенами; саженях в двух над нашими головами качаются десятки кустов белого болиголова, лепестки обветренных цветов сыплются на нас как снег... В десять минут мы берем приступом пять таких уступов, и я собираюсь уже посягнуть на шестой, но... с треском, грохотом и плеском взбудораженного ручья лечу или, лучше сказать, стремительно ползу на животе вниз. Падение так быстро, что я не успеваю даже испугаться,— на языке и в уме у меня вертится лишь недоумелое: «Батюшки!.. батюшки!.. батюшки!!!..» Прокатившись сажен пять, попадаю ногами на твердую почву и останавливаюсь. Вверху опять треск, грохот и плеск, и пред самым моим носом появляются две подошвы бандулей: Майко скатился следом за мной. Выбираемся из ручья — мокрые, как водяные крысы. У меня блуза в клочках, тело — чуть не сплошной синяк; из левой руки хлещет кровь: до кости разрезал острым камнем палец; всюду царапины, ссадины, порезы... Майко меня утешает:

— Левый рука разрезал — ничего. Без правый рука не хорош — левый можно!

Вот еще оптимиста Бог послал в товарищи!.. Сам оптимист усердно полощет рот водой и плюет кровью: он ухитрился так ловко удариться о какой-то камень, что разбил себе губы и вышиб зуб.

— Нехороший был, порченый! — резонирует он.

Смотрю: зубы у него — как жемчуг, ровные, белые, без щербинки... откуда тут быть порченому зубу?!

— Почему же ты знаешь, что зуб был дурной?

— Если бы был хороший, не сломался бы...

Довольно своеобразная логика! Решительно, случай свел меня с каким-то грузинским Панглоссом: «Все к лучшему в этом лучшем из миров!»

Падение вторично привело нас к началу лестницы, одолеть ступени которой стоило нам такого труда. Починив кое-как свои раны, продолжаем путь.

Кусты опять придвинулись к ручью и купают в нем свои длинные ветви. Между ними, куда ни взглянешь, лег ковер мягкой зелени и разнообразных цветов. Эта картина открывается так неожиданно, что с невольным недоумением оборачиваешься назад: как же это? — сейчас еще вокруг ничего не

было, кроме угрюмых камней да бледно-зеленого моха, а тут, всего двумя саженями выше, такая богатая растительность? Все здесь сочно, жирно, крепко, массивно. Лопух — так уж лопух, словно его Собакевич садил. Белая, как снег, павилика,— какая-то особенная, без обычных розовых жилок и чуть не в кофейную чашку величиной,— опутала громадные, дикие подсолнечники и мешает с их теплым ароматом свой миндальный запах. Особенно много белых колокольчиков, похожих на лилии, с какими рисуют архангела Гавриила на образах Благовещения, и каких-то крохотных розеток, формой вроде земляничного цвета, кучками сидящих на высоких гибких стеблях.

По этому благоуханному ковру мы пробираемся на вершину горы и проникаем в дремучий, чуть не девственный лес.

Шум Арагвы, давно уже потерявшийся из нашего слуха (мы отстаем от нее версты на четыре с лишком), вдруг становится снова слышен с полною силой и ясностью, как будто река саженях в двух — не больше. Такое странное эхо я наблюдал раньше только в некоторых итальянских соборах, где оно — дело рук человеческих: вы стоите около исповедальни и ничего не слышите, что там говорится и делается, а в другую исповедальню, саженях в пятнадцати расстояния, доносится из первой слабейший шепот ясным говором. Патеры обходили этим фокусом, заимствованным у Дионисия Сиракузского, закон ненарушаемости тайн исповеди; природа передразнила их штуку в грандиозных размерах. Таких мест, говорят, много в горах. Во время своего пешего странствия из Владикавказа в Тифлис я слышал от духанщика в Млетах следующую сказку насчет этого случайного эхо. Некогда в горах жил злой див, питавшийся человеческим мясом. Однажды он напал на детей некоего добродетельного осетина, мальчика и девочку. Дети бросились от дива в большую горную реку и были ею милостиво приняты. Но див не хотел уступить добычи и вырастил на пути реки громадную гору; река повернула в сторону,— див опять перегородил ее горой. Долго длилась борьба реки с дивом; убегая от врага, река в своих поворотах нарыла множество балок и ущелий и наконец приведенная в отчаяние неутомимостью дива, ушла в земные недра, куда див не посмел за нею последовать. Ее подземное течение и производит необъяснимый водный шум, какой часто ни с того ни с сего слышится в горах, хотя по-

близости нет реки. В основе этой легенды, вероятно, лежит иносказательное предание о каком-нибудь геологическом перевороте.

У меня сильно кружилась голова от потери крови, но принявший нас в свои зеленые объятия лес был так хорош, что я забыл и про ушибы, и про больную руку. Деревья кудрявые, большие, белоствольные — иное не в обхват человеку. Корни прочно впились в землю, змеями проползая между камнями и крепко обвивая их своею надежною сеткой. Могучая, здоровая чаща! Заметно, что дерево не болеет на этой заоблачной высоте; гладкие, словно лощеные, стволы нескольких поверженных гигантов — прямое противопоказание всяким недугам; свалил их топор или ураган, а не преждевременная дряхлость и не жучки-паразиты.

Майко долго кричал и аукал по лесу, пока бык ответил ему протяжным мычанием. Мы нашли животное в дальних кустах, версты за полторы от ущелья. Бык был небольшой, черный, бока — как бочонок, рога прямые, острые, глазами он косил достаточно свирепо, чтобы дать понять, что действительно в игре с ним любому медведю неминуемо придется зарычать: «Пас». Жалко мне стало этого предназначенного к убою богатыря, уже освоившегося с лесною волей.

Обратно в долину мы спустились без всяких приключений.

Дома меня ждал хромой Датико.

— Ра-гинда, кацо[1],— ругался он, увидав мою руку,— чего ты хочешь? руку испортил,— всего себя потеряешь, коли будешь ходить в гору без старого Датико... Ну что я теперь буду с тобой делать? Хотел вести тебя смотреть, где бывает весной туровье пастбище... да с больною рукой ты туда не взберешься!

Пораскинув умом, мы решили отправиться ловить форелей в великолепном горном ручье, по ту сторону Черной речки, разрезающей своими мутными волнами пополам Гудамакарское ущелье. Но уж видно, для меня выдался несчастный день! Напрасно бродили мы битых два часа по устью могучего источника, с размаха бросавшего кипучий жемчуг своих вспененных вод в агатовую реку, напрасно прыгали с камня на камень над ревущими каскадами, напрасно боролись — далеко не без труда — с дикою силой их

[1] Собственно говоря — «чего ты хочешь?». Грузины пускают в ход это восклицание и к делу и не к делу. *(Прим. автора.)*

буйного стремления и шарили лопатами по неглубокому дну, пытая добычу под скользкими булыжниками. Мы ничего не поймали и наконец, усталые, раздосадованные, уселись отдыхать в тени прилепившегося к берегу потока орешника.

— Сильная эта Черная речка, очень сильная...— говорил Датико,— гляди, как она глотает ручей: только вошел он в ее воды, — и его уже нет. А ручей полноводный и могучий. В Пасанауре она сливается с Белою Арагвой. Та еще гремучее и сильнее, и все-таки Черная речка сдается ей только после долгой борьбы: даже на версту, а то и на две ниже слияния ты различишь еще, где идет вода из Черной, где из Белой речки, так что Арагва бежит на две полосы: с левого берега — вода черная, с правого — белая... Арагва — речка веселая, резвая, что малый ребенок, и вода в ней святая, от многих болезней помогает, если в ней купаться; оттого она и не принимает в себя Черную речку,— что ей за охота мешаться с проклятыми волнами?

Я навострил уши, предчувствуя, что теперь Датико не обойдется, по своему обыкновению, без какой-нибудь побасенки,— и точно, приличная случаю легенда не замедлила воспоследовать.

Давным-давно, задолго до того, как в горы пришли русские, в глубине Гудамакарского ущелья стоял аул. В этом ауле жил старый грузин — одинокий, с приемышем-девочкой, найденною им в лесу. Кто ее, двухмесячную, бросил там,— грузин, сколько ни искал, не допытался. Девочка выросла красавицей и умницей. К ней стали свататься женихи. Между ними было много хороших женихов и добрых молодцев, но девушка не хотела замуж, а старик, любивший свою воспитанницу, не понуждал ее. Девушка, когда бывала свободна от домашних хлопот, любила уходить в горы — к шумному светлому ручью, падавшему в ущелье с большой высоты из широкой горной расщелины. Там проводила она целые часы, бросая в воду камешки и распевая песни. Однажды она пришла с ручья испуганная и бледная и рассказала, что ей явился горный дух и хотел увлечь ее в пещеру, откуда начинается источник, но ей удалось убежать на девять сажен от берега ручья, а дальше дух идти не посмел и со смехом бросился в воду, где и растаял. Прошло несколько времени. Девушка забыла о случившемся с нею приключении и как-то раз, когда подруги пригласили ее идти за водой к источнику, охотно взяла свой кувшин и присоединилась к ним. Но едва,

шутя и смеясь, красавицы приблизились к ручью, как из воды вышел громадного роста человек с кудрявою седою головой и зеленою бородой по пояс. Он взял воспитанницу старого грузина на руки, на глазах растерявшихся подруг, понес ее вверх по течению ручья и скрылся за скалами...

Старый грузин не мог утешиться в потере своей любимицы, приемной дочки, и все плакал. Минуло несколько лет. Одним вечером в саклю грузина пришел незнакомый мальчик, красавец собой, назвал старика дедом и рассказал ему, что дочь его жива, помнит о нем, жалеет об его горе и, чтобы отереть его слезы, посылает ему в утешение сына, рожденного ею в заоблачной пещере — дворце горного духа. Мальчик поселился у грузина и стал его радостью и отрадой. Он вынимал рыб из воды голыми руками, сваливал быка ударом кулака, привел из леса на аркане медведя и барса. Чем больше он рос, тем становился красивее, а когда пел в долине свои охотничьи песни, то голос его был слышен высоко в горах. Девушки ближних и дальних селений только о нем и думали, а в родном ауле его полюбила красавица-вдова — великая чародейка. Сколько ни старалась она, однако не могла заставить сурового юношу платить ей взаимностью и, в гневе, решилась отомстить. Она подстерегла юношу — когда тот возвращался с охоты, неся на плече убитого тура, — у слияния таинственного источника с большою и светлою рекой и произнесла заклятие. Юноша почувствовал, что силы его оставили, уронил тура на землю, упал и умер, но перед смертью сам успел сказать против колдуньи такие волшебные слова, что берег, где она стояла, обрушился в реку. Тем временем вода в источнике закипела, и над его устьем показалась белая женщина, в которой сбежавшиеся селяне узнали давно пропадающую дочь старого грузина. Простирая руки к утопающей колдунье, она воскликнула:

— Ты, жившая на земле, а теперь плывущая по воде! Ты знаешь всякие травы и чары, и я не могу казнить тебя смертью за убийство моего любимого сына. Но клянусь ручьем моим! — ты никогда не увидишь больше дневного света: сквозь волны этой реки к тебе не проникнет ни солнечный луч, ни лунный, ни звездный.

Она исчезла: чародейка погрузилась на дно, а воды поглотившей ее реки вдруг почернели, как будто приняли в себя темную ночь.

С тех пор так и живет злая колдунья, изнывая во мраке и

холоде подводных стремнин, а светлую и чистую прежде реку люди зовут Черною речкой.

Вот что рассказал мне хромой охотник Датико, когда в жаркий полдень мы сидели с ним под орешником у быстрого горного ручья. Солнце, давно уже рассеявшее своим огненным взором утреннюю хмурую мглу, играло по воде, сквозь листья, веселым лучом. Ручей шумел — и его белая пена и просвечивающая сквозь прозрачные струйки длинная, колеблемая течением тина казались исседа-зеленою бородою горного духа, о котором только что говорил старый охотник...

Летавица

Синяя ночь...

Такие ночи только в Украйне и бывают. Небо — точно оно живое и дышит — тихо трепещет от мерцания звезд, под ними важно плывет огромный золотой месяц, с его круглого лица падает в бездну ночи поток молочного света, и вся воздушная пропасть как будто насквозь пропиталась жидким серебром.

Наплыла синяя ночь на старую Корсунь[1], нежит ее, лелеет и клонит ко сну. Корсунский замок, что еще Понятовских помнит, купает свои высокие башни в свете луны, а зубчатую браму[2] — в прохладе туманов, и его белые стены позеленели под месяцем, все равно как и мазаные мелом хатки — там за шумною Росью, на церковной горе.

Спят хатки, спит замок, спит дремучая дубрава — сад вокруг него,— хмурое, неподвижное море кудрявых деревьев. Остроголовые тополя стоят — как монахи на молитве — черные, строгие, величавые. Одна Рось не спит — плачет и грохочет седою волной по каменным порогам.

---

[1] Корсунь — имение графов Лопухиных в Киевской губернии, когда-то принадлежавшее Понятовским. Корсунь играла важную роль в истории Малороссии. По дикому местоположению на скалистых берегах Роси, Корсунь — едва ли не самое красивое местечко Киевской губернии. *(Прим. автора.)*

[2] Ворота. *(Прим. автора.)*

Мало ль простора на Украйне? Широко разлеглись ее зеленые степи, есть где разгуляться реке. И хорошо текут они, реки, степями: тихие, прозрачные, рыбные; бархатное дно, шелковые берега!.. Одна буйная Рось поссорилась с матерью-степью и ушла от нее в чертово гнездище — в каменные кручи и красные, точно казацкой кровью мытые, скалы: и откуда только выплыли они по-над украинскою ширью и гладью? Живет Рось в гнездище и жизни своей не рада: давит ее каменный берег, поперек горла становятся ей пороги, и она грызет их и точит волнами, как острыми зубами, а сама ревет от тоски и боли, словно девка, у которой жениха взяли в солдаты. И так — до тех пор, пока не осилит она гнездища, не вырвется из каторжной муки и не разольется, пониже Корсуни, гладким и быстрым потоком.

Рада Рось воле и простору: бодро бежит между казацкими могилами и сторожевыми курганами, что насыпали на степи в незапамятные времена неведомые люди, и шепчется с ними, зелеными, про старые и новые дни — про татарщину, про старого Хмеля, как он, батько казацкий, побил в Корсуни вражьих ляхов, про полковника Золотаренку, что спит в Корсунском храме, сраженный не простою — серебряной пулей, потому что был он характерник[1], и не могли достать его ляхи ни свинцом, ни железом; про Железняка и его колиев... про москалей и новый мирный век...

Шепчет Рось... Слушают ее могилы; качаются в ней изумрудными пятнами небесные звезды; дрожат по волнам красным отблеском костры на прибрежных заливных баштанах[2].

Старый баштанник Охрим тоже слушает Рось. Стар он... Господи Боже, как стар! Когда француз приходил на Москву, Охрим уже жениться думал, да на место того угодил под красную шапку. Как-то раз приезжал в Корсунь один панок из москалей, разговорился с дедом про стародавние были и насчитал Охриму все сто семь годов. А ничего еще — держится старик, крепкий дидусь! Мясо, конечно, Охриму уже не по зубам, и ходит он — попирается на клюку, спина дугой, но годов на десяток еще хватит места душе в теле!.. Только вот сон съела старость у деда. По целым ночам он зевает, охает и ворочается в своем курене. Скучно ему и боязно. Из-

---

[1] Колдун. *(Прим. автора.)*

[2] Огородах, бахчах. *(Прим. автора.)*

вестное дело: ночью, во тьме, по земле ходит враг и сеет тоску, смуту и страхи. Обвеет деда предутренним ветерком, заря выглянет из-за дальних могил, выкрасит господский палец в розовую краску и, что дивчина в новом монисте, залюбуется собою в Роси,— разве-разве тогда сморит Охрима короткая дрема.

Нынче деду повеселее, чем всегда. Правнук ночует у него на баштане — Марко, славный хлопец. Прибежал с Корсуни к деду за кавунами[1], да и опозднился,— не заметил за мовой и байками[2], как упали сумерки. Не идти же мальцу одному темною степью, где, коли верить людям, то и дело вспыхивают на могилах разными огнями свечи над скрытыми кладами, да еще Бог весть кто и лежит в этих могилах! Может быть, такие злодеи и характерники, что и земля-то их не принимает и выбрасывает каждую ночь из своих недр бродить по свету жадными упырями... Оставил дед хлопца у себя и рад: любит старый Марку! Сказки ему рассказывать, кормить его кавунами, дынями, семечками, огурцами с медом до тех пор, аж потом хлопца хоть веди к корсунскому фельдшеру; майстровать Марке дудки, луки и самострелы — самое охочее для деда Охрима дело.

Тихо. Выползли старый и малый из куреня, развели костер, постелили рядно и лежат — дид под свитой, хлопец под кожухом. Охрим задумался, в огонь глядит, ворошит уголья клюшкой, а Марко лежит на спине, ручонки под голову, широко открыл карие очи и ищет в глубоком небе: где та зирочка[3], что ему счастье ворожит? Много их, много хо́дит вокруг месяца, и все ласковые, все улыбаются и быстро-быстро мигают... А иная возьмет, сорвется с места, да и перекатится на другое: только никак невозможно уследить, откуда она сорвалась и куда покатилась...

— Диду!

— А що, хлопче?

— Для чего зирки падают?

— Хиба ж упала?

— Много упало. Для чего?

— Осень скоро, Марко, для того и падают. Святые ангелы

---

[1] Арбузами. *(Прим. автора.)*

[2] За разговором и россказнями. *(Прим. автора.)*

[3] Звездочка. *(Прим. автора.)*

Божии лампады гасят. Осенние-то ночи пойдут мутные да черные, холодные да зябкие.

— Нынче тоже зябко, диду.

— А ты кожух на себя покрепче тяни: угреешься. Хочешь, кулеш сварю? поешь — тепло станет.

— Я сыт, дидуню!..

Старик замолчал и, подняв голову, тоже уставил взор в осыпанную зелеными искрами синеву.

— Звезды падают... ге! — задумчиво сказал он,— а кто знает, что оно такое? Разное говорят люди — чи брешут, чи ни... Один скажет, что это ангел летит со свечой, чтобы зажечь новую душеньку в христианстве. Другой — что коли звезда упала, то, значит, Бог прибрал кого-нибудь с грешной земли в свой светлый рай. Разное говорят... Ты, хлопче, не смотри много на звезды — нехорошо. Еще покойный батько — пером земля над ним! — учил меня: когда увидишь, Охрим, что звезда падает, крестись и — очи в землю! Бо бачь[1], хлопче: и звезда от звезды разнствует... да!.. это, голубь мой, в Писании значится. Какую звезду и впрямь ангел Божий зажигает на радость и на пользу людям, а другая — хоть и светит ярко — только кажет звездой, на самом же деле и не звезда совсем, а так... проклятая летавица.

— Что, диду?

— Летавица, голубь, летавица.

— А что оно такое?

— Да... не к ночи сказать, не то чтобы вовсе нечисть, а недалеко от того...

— С рогами?

— Ни, хлопче! — протянул дед,— с рогами бесы... А о летавице мне москаль один говорил — тому лет уже полсотни, когда царь Микола замирял венгерца...

— Это которые с мышеловками?

— Так, так, хлопче!.. с мышеловками и всяким коробьём. Как мы их замирили, тут они с коробьём и пошли... Так вот и говорил мне москаль о летавице: есть такие звезды, что живут на них проклятые души. Заскучает проклятая душа, захочет на землю — она и покатит с неба свою звезду, скинется дивчиной или парубком и бродит в народе, по злому нраву своему, сея грех между добрыми людьми. То и есть летавица.

[1] Потому что, видишь ли. *(Прим. автора.)*

— Диду, как же то может быть, чтобы на звездах жили проклятые души?

— А подивись на месяц, хлопче: що бачишь?

— Не знаю, диду.

— Каин Авеля на вилы подымает, Марко. Брат брата убил. Вот Господь и посадил его, бисову виру, на месяц, чтобы люди видели его во веки веков и ужасались такого злодейства. И ты поверти разумом, Марко: если Каину можно жить на месяце, отчего летавицам на звездах не жить? Тому и на Литве[1] тоже веруют. Знаешь лопацонов — белые колпаки, что приходят к нам работать на заводы? Так когда мы стояли в ихней земле, то и у них я про летавицу много слыхивал... все жалкое такое да сумное...

Дед примолк... Еще звездочка побежала по небу, оставляя за собой белый, быстро тающий след.

— Ишь какая красавица полетела,— сказал Охрим.— Кому-то навстречу, где-то упадет, кого-то погубит? Вот, хлопче, сказывают люди, что жил в старые годы на Волыни паробок, звали его Дайнас. Веселый был и работящий. С зарей выедет с плугом новь поднимать — поет. Полдень, жарко, как в пекле, другие плугари еле плетутся по пашне, согнулись, как столетние деды, а Дайнасу хоть бы что. Идет прямой, как осокорь, утирает лицо рукавом и песни поет... Голос у него, хлопче, был звонкий да сильный, аж солнышку были слышны его песни... Вечером другие плугари с великой устали норовят как бы поскорее — на сено да под кожух, а Дайнас танцует с дивчатами и поет им думки про чумаков, да про пана Швачку, да про молодицю, що качура[2] за копейку продала...

«Добрый ты паробок, Дайнас! — говорят ему люди,— пора бы тебе и жениться...»

«Ге!— смеется Дайнас,— моя суженая еще в колыци[3] лежит!..»

«Что же ты загордился? Чем тебе наши дивчаты не хороши?»

«Как не хороши! Хороши, только не по сердцу».

---

[1] Поверье о летавице распространено у малороссов, литовцев и карпатских славян. *(Прим. автора.)*

[2] Селезня. *(Прим. автора.)*

[3] Колыбели. *(Прим. автора.)*

«А кто же тебе, козаче, по сердцу?»

«Задумался Дайнас — ничего не сказал... Грустно ему стало, и что впрямь — который он год живет на свете, всем друг и товарищ, со всеми дивчатами тоже как брат родной, а нет между ними ни одной, что пришлась бы ему по душе так крепко, что не грешно с нею и под венец стать, и закон принять, и век вековать. Лег он под тополем — вот, к примеру сказать, как ты сейчас лежишь, хлопче,— и затянул сумную песню. Далеко пошла она по свету и взвилась до самых звездочек, что в ту пору по вечернему часу уже высыпали пастись в небе, как стадо белых ярок. Поет Дайнас — слушают звезды, и чудится Дайнасу, словно одна звезда, самая светлая и большая на всем небе, стала ближе к нему, растет, растет, да вдруг как сверкнет!.. и — пропала: только след от нее засветился на небе. А вместо звезды стоит пред Дайнасом дивчина такой красоты, что и не видано на этом свете: очи большие, синие, как вот это небо над нами, хлопче, и блестят, как звезды; была она простоволосая, а волосы... ге! то были волосы!— чистое золото! так ручьем и катились с головы до пят, так и горели под месяцем. И вся она сияла и сверкала, как самый дорогой самоцветный камень, и была такая белая, бледная и нежная, что показалось Дайнасу, будто она вся светится.

«Кто ты?» — спросил Дайнас.

«Чи не бачишь! дивчина... своей матери дочь!» — сказала она, и тихий голос ее прозвенел по степи, как колокольчик на графской упряжке.

«А для чего сюда пожаловала?»

«Твоих песен послушать. Пой, Дайнас, пой поскорее, да позвончее! Я из дома не на долгий срок отпросилась, дом мой и далеко и высоко...»

Запел Дайнас — слушает девица, улыбается, а у Дайнаса от ее улыбки сердце прыгает. Кончил Дайнас песню и сказал:

«Вот, дивчино! люди на селе смеются надо мной, что я не хочу жениться, а как было жениться, когда никого не было по сердцу? Теперь же смотрю я на тебя, и думается мне, что краше тебя уж не найти мне никого на свете. И если бы ты пошла за меня — не было бы счастливей меня человека. Часу нет, как я тебя зазнал, а вот все готов тебе отдать, только будь моею женой. Мабуть, то чары, но мне все равно, потому что очень ты мне люба! И если твой батька не согласится

отпустить тебя в чужое село, я, даром что богатый хозяин, пойду к вам приймаком...[1]»

Дивчина усмехнулась и ответила:

«У тебя хороший голос, Дайнас, и ты знаешь много песен. Если ты к этому еще так же хорошо танцуешь, как поешь,— я пойду за тебя замуж. Я — веселая, и ты будешь как раз по моему нраву!»

И запела она сама песню.

Не слыхивал Дайнас таких песен: тяжелая, долгая, смутная, она, точно на медленном огне, припекала его душу, и он сам не знал, что с ним творится,— так от этой песни переполнилось его сердце печалью и жалостью. Казалось ему, что его дивчина хоть и хвалится, что веселая, а нет ее несчастнее никого на свете... Поет девка, а тополь над нею чубом кивает, что зажурившийся казак, а звезды мигают — подумаешь, стряхивают слезы с ресниц. Совсем зажурился Дайнас... но, едва он повесил чубатую голову на грудь, дивчина запела другую песню, да такую живую, быструю, веселую и громкую, что у Дайнаса в ушах зазвенело и душа привскочила, как с переляку[2]. Летела та песня — быстрая, как птица, неудержимая и буйная, как вода, прорвавшая запруду, горячая и жгучая, точно раскаленное железо в домне; летела и била Дайнаса по слуху и сердцу, как ковали колотят молотами по наковальне. Видел и слышал Дайнас: вся сонная степь стала оживать на голос дивчины. Светляки засветили в траве и сделались большие и яркие, как звезды, трава без ветра качалась, как пьяная, и гудела, как народ на сходе; ни одной тучи не было на небе, и зирочки перебегали на нем с места на место, словно хлопцы, когда играют в пятнашки; старый тополь над головой чаровницы весь дрожал и топорщил свои длинные ветви, как будто напруживал всю их силу, чтобы выдрать из черной земли свои корни-змеи и пуститься в пляс, следом за Дайнасом и дивчиной, а они-то давно уже кружились по степи, так что — гоп-гоп! — земля стонала от топота Дайнасовых подковок.

Крикнул петух на селе. Ярче прежнего засияла дивчина, и бачь, Дайнасе! она уже не по степи пляшет, а поднялась на локоть над травой и реет крылатым мотыльком — сейчас, сейчас улетит!

---

[1] Примак — зять, взятый из бедной семьи в дом богатого тестя. *(Прим. автора.)*

[2] С перепуга. *(Прим. автора.)*

«Летит?! — закричал Дайнас,— куда? стой! я тебя не пущу!»

И прыгнул, как рысь, ухватился за одежду дивчины и повис так.

«Пусти меня, человек! — рвется дивчина,— меня дома ждут, мое время пришло, моя очередь всходить...»

«Не пущу,— кричит Дайнас,— ты обещала выйти за меня замуж!»

«Эй, пусти, Дайнас! худо будет! не своя воля зовет меня».

Но паробок кошкой вцепился в дивчину, летает вместе с нею по-над степью, точно ястреб с белою чайкой.

«Я тебя с собою унесу!» — грозит дивчина.

«Неси, того только и хочу!» — говорит Дайнас.

«Дурень! Ты не знаешь, кто я и где живу: ведь я — Денница-летавица.

«Мне все равно!»

«Пропадешь ты, как осенняя трава!»

«Нехай так! Что за важность пропасть, если я без тебя и жить-то не хочу? Неси меня, куда хочешь, а я тебя не выпущу!»

Во второй раз пропели петухи на селе. Как крикнет летавица, как рванется — и разом, точно турман, взмыла в позеленевшее от рассвета небо и засияла звездою, высоко-высоко... Вон, хлопче, и посейчас она, синеокая, мерцает там, над белыми облаками, об утреннюю пору... А Дайнас, что взвился было с нею, оторвался от ее одежды и ударился, как мешок, оземь — верст, може, за тысячу от своего села.

Ударился, а жив остался, даром что полетел из-под самых облаков. Встал на ноги — и боли не чует. Ах, казаче! лететь бы тебе снова следом за нею, за красавицей звездою-летавицей, кабы только крылья были!.. Ге! да они есть!.. Рванулся Дайнас в воздух — есть крылья! Малые, правда, но ведь и сам-то Дайнас стал невеличек — точь-в-точь как жаворонок, ранняя пташка, что поутру степь будит. Слышишь, хлопче, как заливаются? Скоро солнце выглянет.

«Воротись! воротись! воротись!» — кричал Дайнас, когда поднимался кругами к своей желанной звезде, что его зачаровала и погубила: из человека сделала птицей,— и совсем было уже добрался он до нее, но заря протекла между ними красною рекой, и звезда утонула в ней и стала невидимкой. И напрасно Дайнас с той поры и до нашего века от утренней зари до вечерней мечется по поднебесью, хлопочет-ищет

звезду-летавицу — не найти ее: не дано! Только когда, усталый, упадает он на поле в свое гнездо под колосьями, выплывает та звезда на небо и, пока спит Дайнас, сияет ярко; когда же он проснется, увидит ее и полетит к ней — загораживается от него румяною зарей и тает в ней, как воск в пламени... Так-то, хлопче!.. Эге! Да ты спишь, хлопче?

И точно: убаюканный рассказом, Марко давно спал крепким сном, не чувствуя ни утренней прохлады, ни того, как алое зарево, наполнившее собою небо, степь, Рось. Корсунь и баштан, сделало и его, и деда из смуглых хохлов медно-красными индейцами; не слыша даже, как десятки жаворонков-Дайнасов щебетали в розовой пучине неба, высоко-высоко кружа в нем на вечных поисках прекрасной обманщицы — звезды-летавицы.



Черт

Курьерский поезд мчал меня из Вены в Россию. Я взял путь на Краков, Львов и Волочиск. Сверх обыкновения, пассажиров ехало немного. Я оставался в купе один до самого Прэрау, где северная дорога императора Франца-Иосифа сходится с линией на Прагу. В Прэрау ко мне подсел попутчик; лица его я не мог хорошо разглядеть,— в вагоне стемнело, а когда в потолке купе вспыхнул белый полушар электрического фонаря, спутник мой уже вытянулся во всю свою длину на свободном диване и громко храпел, укрытый с головою куньею шубкою. По шубке этой я решил, что мой дорожный компаньон — поляк из Галиции; немцы и чехи таких не носят. В Прэрау «поляка» провожала целая свита молодых людей, весьма почтительно обнаживших головы, когда поезд тронулся. Значит, особа не простая.

Под Краковом незнакомец проснулся и минут пять зевал так громко и широко, что я начал было серьезно опасаться за целость его челюстей. А тут еще навернулся в память старинный стишок на зеваку:

Во время оно
Кит проглотил Иону;
Не ты ль, Никита,
Проглотил кита?

Чтобы скрыть невольную улыбку, я прильнул лицом к окну и внимательно вглядывался в предрассветные сумерки, пока не привел себя в достаточно серьезное настроение. Обо-

рачиваюсь наконец,— попутчик мой сидит, опершись по-кавалерийски, руками на колена, и любопытно смотрит на меня яркими глазами. Необычайная острота его взгляда поразила меня. Незнакомцу было на вид лет сорок пять, пожалуй, даже с лишком; лицо — очень измятое жизнью, некрасивое и малосимпатичное, но запечатленное умом необыкновенным. В толпе вы заметили бы и выделили это лицо из десятков тысяч: настолько характерны были выпуклости лба у висков и крепкий хищный рот с выдавшимися вперед челюстями. Незнакомец улыбнулся: ни у кого ни раньше, ни позже не видал я более зубатого рта — совсем волчья пасть, полная острыми резцами и клыками. Да и весь-то мой попутчик, когда оскалился в улыбку, походил на лобастого матерого волка, как изображен он Густавом Дорэ в иллюстрациях к сказкам Перро, когда облизывается на Красную Шапочку. За Краковом мы разговорились.

— Гдзе пан едзе, проше пана? — начал ликантропический спутник, учтиво наклоняя голову. Голос его был довольно мягок, но с хрипотцой, а манера говорить престранная: он точно лаял.

— В Киев.

Попутчик тотчас же перешел с польского языка на русский, или, вернее сказать, на русинское наречие. Когда я не понимал или он сам затруднялся найти подходящее к разговору слово, он переходил то на польский, то на немецкий язык.

— Вы галичанин? — спросил я.

— Н-нет... я живу в Германии... но Галиция — моя родина, по крайней мере нравственная... мой любимый край...

Он опять оскалился, словно хотел проглотить свою излюбленную Галицию, и, замяв разговор о себе, принялся выспрашивать меня очень быстро и очень тонко, с манерою ловкого и наблюдательного интервьюера, кто я такой, чем занимаюсь, выгодно ли литературное «ремесло» (он так и выразился) в России, какие газеты у нас в ходу, кого из иностранных писателей больше переводят и кто из литературной молодежи входит в моду. С старою русскою литературою, кончая Тургеневым, он был знаком в совершенстве. О Чехове знал, хотя и не читал его. Об Альбове, Баранцевиче, Станюковиче, Потапенке, Мамине-Сибиряке и не слыхивал. От писателей разговор незаметно перескочил к литературным веяниям, к декадентам и символистам, а через них и к общему

мистическому настроению последней четверти XIX века, который, наскучив тьмами низких истин, бросил в нас возвышающие обманы бредней теософических, спиритических, сатанических, родил Блаватскую и Пеладана, выдвинул вперед Данте Росетти и прерафаэлитов и воцарил над сливками парижского и лондонского общества — здесь буддийского ламу, там — Вельзевула средневековых шабашей, тут — бичующего себя четками трапписта... В России тогда эти веяния были еще внове, чуть зарождались, на Западе же фантастическая эпидемия свирепствовала уже широко и настойчиво.

— Наклонность современного общества к необыкновенному,— сказал незнакомец, нагибаясь ко мне и светя мне прямо в глаза своими глазами-огоньками (при этом меня обдало тонкими английскими духами),— наклонность к необыкновенному смущает многих. Друзья государственного прогресса, работники практической цивилизации видят в европейской эпидемии супернатурализма зловещий призрак реакции, поворота чуть не к средним векам. Я, конечно, не решусь оспаривать реакционного характера всех этих учений и увлечений. Папство и полицейское государство всегда ехали на чёрте и на чуде, как на своих боевых конях. Но я не придаю современному супернатурализму серьезного влиятельного значения. Двести лет реалистического мышления нельзя заслонить ни козлиным хвостом сатаны с брокенского шабаша «в первый раз по возобновлении», ни медными божками с Тибета. Просто мы немножко пересолили с реалистическою рассудочною последовательностью, устали, засохли, и так как человек, даже самый прозаический, всегда эстетик по натуре — ему захотелось наконец сверхъестественного дивертисмента... В наше время массы и личности, их составляющие, сделались удивительно похожими друг на друга. Прежде как-то было, что масса — одно, личность — другое, а теперь они одно и то же. Я говорю про их психологию. И вот, сколько я ни наблюдал отдельные экземпляры увлечения сверхъестественным, ни разу я не видал такого увлечения в чистом виде, без скептической примеси: два века реалистической дисциплины сказываются, как видите! И в общем, человек — пока не сошел с ума — гораздо легче разуверяется в необыкновенном, чем решается ему поверить... У меня близ Черновиц есть приятель — помещик, который, под особо фантастическим настроением вообразил себя своего рода Пиг-

малионом и готов был клясться, что его любит мраморная статуя... описывал даже свои свидания с нею... и статуя эта была вовсе не невинная и добродушная Галатея, но вампир какой-то... он весь иссох во время этой дикой иллюзорной любви, стал кашлять кровью... И что же? Год тому назад встречаю его в Берлине: здоров, как бык, женат на толстейшей немке, спорит о табачной монополии и ругает все необыкновенное, как прусский фельдфебель... Ха-ха-ха!..

— На эту тему есть, помнится, красивый рассказ у Захер-Мазоха,— заметил я.

Мой собеседник внимательно взглянул на меня.

— Может быть... не помню... А у вас читают Захер-Мазоха?

— Очень любят. И его, и Эмиля Францоза.

— Кто вам больше нравится?

— Разумеется, Захер-Мазох.

Незнакомец одобрительно закивал головою:

— И мне тоже. У вас есть вкус. И мне тоже...

Он задумался.

— Скажите,— возобновил он разговор,— не замечали вы, что у каждой необыкновенной истории есть непременно два оборота, как у медали? Так — трагедия, так — водевиль. Так — величаво, так — глупо и пошло. Впрочем,— улыбнулся он,— иначе и быть не может: таков и сам отец всей сверхъестественной лжи — дьявол: то Сатана Байрона и Мильтона, то смешной чертик уличного Петрушки... Вы любите истории с чертями?

— Как вам сказать? Равнодушен к ним.

— Я расскажу вам случай, где черт играл весьма трагическую роль и вел себя чертовски, хоть и горько поплатился за это...

Место действия здесь — на невысоких галицийских холмах, между которыми несет нас поезд.

Время — лет сорок, много пятьдесят тому назад. Я мог бы представить вам живых свидетелей происшествия.

Недалеко от Коломыи есть фольварк Цехинец. В ту пору он принадлежал пану... ну, положим, хоть Висловскому, помещику не из самых крупных, но с хорошим достатком и большим весом в округе. Жил и правил хозяйством Висловский по-старинному — настоящим польским патриархом-феодалом, но человек был добрый, с хлопами ладил и даже роковой 1840 год, когда столько галицийских панов погибло

под ножами и в пожарах народного восстания, Висловскому не отозвался лихом. Память его и до сих пор в почете и между поляками, и между русскими. Висловский давно уже вдовел. Жил он в своем фольварке вдвоем с дочерью Стефою — шестнадцатилетнею красавицей, пышною и дикою, как лесной шиповник. Панну Стефу только что посватали за молодого графа, скажем, к примеру, Стембровского, в горы, верст за двести от Цехинца.

В один прекрасный полдень, знойный и мглистый, какие часто томят галичан в июле, когда курятся болота и выгорают подземными пожарами леса,— Вавжинец[1] Клюга, сын дьячка из униатского поселка, под самым Цехинцем, отправился в сад пана Висловского за очень привычным ему, но не совсем похвальным делом — красть яблоки.

Этот Вавжинец был оригинальный мальчишка — из поэтических уродцев, каких так любят описывать...— рассказчик усмехнулся, останавливая на мне со странною веселостью свои блестящие глаза,— так любят описывать помянутые вами сейчас Захер-Мазох и Францоз...

Природа наградила Вавжинца личиком ангела и телом дьяволенка, укоротив ему левую ногу против правой: хромота повлекла за собою кривобокость, и мальчик вырос горбуном. Как все уродцы, если они не злы и не идиоты, он отличался редкою музыкальностью и был большой мечтатель — охотник считать звезды и улетать мыслями за тридевять земель в тридесятое царство. Что касается его умственных способностей... их размер, я думаю, достаточно определен уже тою подробностью, что ему было восемнадцать лет, а он лазил по чужим садам воровать яблоки с тем, чтобы ввечеру проигрывать их ребятишкам в бабки.

Вавжинец благополучно перебрался через каменную ограду сада пана Висловского — с полным пренебрежением к битому стеклу на ее гребешке: на подошвах, коленках и ладонях у него была верблюжья кожа. Он облюбовал два дерева и раздумывал, за какое приняться раньше, когда его окликнул голос «с неба»:

— Вот это хорошо! Пан Вавжинец Клюга изволит красть господские яблоки. Не заболела бы за то у мосьпана потылица.

У Вавжинца душа раздвоилась и ушла в пятки. Он закрыл глаза, чтобы не видеть, по крайней мере, света в ту

[1] Лаврентий. *(Прим. автора.)*

страшную минуту, как садовник схватит его за шиворот и поволочет пред грозные очи самого пана Висловского; а а там расправа короткая: лозаны, да какие! Но шиворот оставался свободным, садовник не появлялся, все было тихо и... Вавжинец струсил еще больше. Он был готов думать, что голос раздался и впрямь с неба,— именно тот голос, о котором рассказывал ребятам в школе ксендз Игнац, будто он предостерегает людей, когда они замыслят дурное дело, о Всевидящем Оке. Вавжинец со страха накинул себе на голову мешок, в два прыжка очутился у стены и перемахнул бы через нее, если бы его не остановил смех — тоже с неба, но чересчур задорный, чтобы быть небесным. Он взглянул по направлению смеха и мигом успокоился: его дразнила с ветвей старой, густолиственной груши панна Стефа.

Панны Стефы Вавжинец ничуть не боялся, потому что она была девушка-озорница, скорее способная помочь ему ограбить отцовский сад, чем выдать вора. В глухом Цехинце она росла, как трава, свободная, своевластная и буйная. Вавжинец, в ранние детские годы, игрывал с нею, и она колотила его, как всех своих сверстников. Однажды, на рожденье, он принес в подарок одиннадцатилетней Стефе пару перепелов. Девочка спутала пташкам ножки, потом выколола булавкою глаза и смеялась, глядя, как слепые птички скачут наобум, бессильные найти друг друга.

— А ты таки трусишка,— сказала панна Стефа, когда вдоволь насмеялась над Вавжинцем.

— Я было думал, что идет старый Януш,— оправдывался юный воришка.— А вы, панночка, дай вам Бог здоровья, что там делается на груше?

— Учусь летать,— серьезно ответила панна Стефа.

Вавжинец разинул рот:

— Гм... вот она какая штука!.. а зачем бы я летал на вашем месте?

— Мне завидно твоей матери. Она, сказывают, каждую субботу летает верхом на помеле на шабаш...

Ничем нельзя было больнее уколоть Вавжинца, как назвать мать его ведьмою. А она действительно знахарила и слыла хорошею лекаркою на весь околоток. Кумушки давно породнили бабу Эльжбету с сатаною, и самое уродство Вавжинца,— странное на их взгляд, потому что и Эльжбета славилась в свое время писаною красавицею, и муж ее, дьячок Базыль, был молодец мужчина,— приписывали тихомолком бесов-

скому вмешательству в семейный союз Клюги. Вавжинец сам немножко верил, что мать его не без греха по колдовской части; он утешал себя только тем, что она если и ведьма, то добрая — не как другие, и только лечит людей и скот, но никого не портит, не завязывает заломов на ржи, не выдаивает молока из чужих коров, не крадет ни росы с лугов, ни младенцев из беременных женщин. Он ничего не ответил на насмешку панны Стефы, насупился и глядел в землю.

— Правда, что ты чертов сын? — продолжала безжалостная девушка, наслаждаясь смущением юноши.

— Бог знает что вы говорите, панночка,— с досадой отозвался Вавжинец.— Ну, как я могу быть чертовым сыном, когда я крещеный? Вот и крест на шее.

— Это ничего не значит. Хоть ты и крещеный, а отец у тебя все-таки не Базыль, а черт... И когда тебя крестили, он рассердился и так толкнул попа под руку, что тот уронил тебя на костельный пол. Оттого у тебя и ноги хромые, и горб на спине, и весь ты такой урод.

У Вавжинца стояли слезы в глазах.

— Уж лучше я уйду, чем слышать этакое,— сказал он, забрасывая мешок за спину.— Разве я виноват, что родился калекою? За что тут издеваться? Прощайте, панна Стефа, счастливо вам оставаться — на вашей груше.

— Куда же ты бежишь? а яблоки, которые ты пришел воровать?

— Пускай их пекельные бесы воруют!

— И отец твой с ними?!

Совсем обозленный Вавжинец бросился к стене, но панна Стефа громко крикнула ему:

— Ни с места, дрянь! Стой, когда велят. Не то я сейчас закричу: ловите вора... Распишут тебе спину...— Она смягчила голос:— Больно некстати обидчив, пане Вавжинец Клюга. Экая важность, что я пошутила и назвала тебя чертовым сыном, а мать твою ведьмою. Да хоть бы и в самом деле ведьма... гм!.. может быть, я и сама ведьма.

— И хвост у вас есть? — язвительно спросил Вавжинец, уже несколько примиренный с барышнею, но все-таки мстя этим вопросом за свою обиду. Панна Стефа хладнокровно возразила:

— Нет. Да я еще молода. Авось вырастет.— Она захохотала, прибавив: — Ну как же не ведьма? Вот видишь, летать учусь.

— И скоро вы, панна Стефа, полетите?

— А вот как ты отцепишь меня от груши, так я и полечу.

И, видя, что Вавжинец опять разинул рот, продолжала с сердитым взором и густым румянцем на щеках:

— Дурак! Слушаешь, развесив уши, мои небылицы, а не догадаешься, зачем я сижу на груше, точно кукушка, альбо бес, закоханный в вербу[1]. Меня пришпилило суком за платье, и я не могу двинуться, потому что боюсь располосовать целое полотнище. И занесла же меня нелегкая на дерево в новом платье, только что из Львова... Помоги мне сойти.

Вавжинец вскарабкался на грушу и освободил новую Андромеду, так комически прикованную к сухому суку. Вдобавок к неловкости своего положения, Андромеда была нагружена несколькими десятками спелых грушек-малгужаток и не смела отнять руки от фартука, чтобы не рассыпать плодов. Но, соскакивая на землю, панна Стефа поскользнулась и едва не упала; груши дождем посыпались на траву. Стефа подумала, что это шутки Вавжинца, и вспыхнула:

— Вот тебе за это! — крикнула она и ударила горбуна по лицу.

Вавжинец и не думал уронить барышню. Получив ни за что ни про что пощечину, он остолбенел, потом рассвирепел...

— Драться? Ладно же! Коли так, ешьте ваши груши! ешьте ваши груши!

И он пустился скакать по рассыпанным плодам, втаптывая их в землю. Теперь он действительно походил на дьяволенка.

Панна Стефа была рослая, могучая девушка, с розовым лицом и с голубыми глазами, странно мутными под поволокою. Но, опомнившись от первого изумления, она раскраснелась, как кумач, поволока сплыла с ее глаз, и они засверкали, как звезды.

— Ах, гаман! лайдак! поплатишься ты мне за это! — крикнула она.

Вавжинец очень хорошо помнил, по детским годам, тяжесть рук панны Стефы. Поэтому, когда она кинулась на него, он, не рассуждая, бросился наутек. Стефа мчалась за ним, стараясь отрезать ему перебег к стене. Тогда он повернул в глубь сада. Она долго не могла настичь Вавжинца и порою нагибалась, чтобы схватить с земли палое яблоко или кусок кирпича, и швыряла их в спину горбуна... Раза три она попала метко, и Вавжинец вскрикивал от боли. Это рас-

[1] Местная пословица. *(Прим. автора.)*

смешило панну Стефу, и ярость ее унялась; теперь она гналась за Вавжинцем, толкаемая уже не столько жаждою отплатить за дерзость, сколько увлечением самой погони, разгулявшимся инстинктом борьбы.

Панна Стефа бегала быстрее Вавжинца, но он был босиком, а она — в тяжелых башмаках. Долго кружили они по саду. Наконец Вавжинцу удалось проюркнуть к стене. Он думал перемахнуть ее одним скачком, но сорвался, и в то же мгновение панна Стефа набежала на него и схватила его за плечи... Теперь они стояли лицом к лицу, задыхающиеся, красные, потные, сердито нахмуренные.

— Пустите меня: я не дам себя бить! — прошептал Вавжинец, глядя прямо в глаза барышни.

— Увидим,— тоже шепотом сказала панна Стефа и замахнулась.

Он перехватил ее руку, и между ними, одинаково сильными, завязалась немая борьба, как между двумя злыми зверятами. Панна Стефа подставила Вавжинцу ногу, он повалился, но, вместе с собою, уронил и ее. Они покатились по траве, грудь к груди и глаза к глазам. Озлобление у обоих прошло. Оба казались друг другу странными, и странною самая борьба, так непонятно приятная в мутном зное этого полдня, напитанного ароматами сырой земли, травы и созревших плодов...

Прошло три дня. Вавжинец ходил совсем шальной. До сих пор детский ум его внезапно просветился; он чувствовал себя взрослым и несчастным. С тех пор как панна Стефа вырвалась из его объятий и, закрыв лицо руками, убежала в густой вишенник, жизнь горбуна потеряла всякий смысл: он не понимал себя и боялся людей. Боялся пана Висловского, боялся графа Стембровского, боялся и самой панны Стефы, которая, он был уверен, так оскорблена, что непременно погубит его... Три дня, с утра до вечера, он чувствовал себя то в петле, то под плетьми, то пан Висловский, привязав к дереву — к той самой проклятой груше,— расстреливал его из ружья мелкою бекасинною дробью, то грабя Стембровский привязывал его к конскому хвосту, между тем как Стефа хлопает в ладони и злобно хохочет. И всех казней ему казалось еще мало для себя.

Однако в фольварке все было спокойно... Мало-помалу успокоился и Вавжинец. Происшедшее начало воображаться ему сном, таким страшным и опасным, что лучше бы о нем забыть.

Но однажды, когда он, устав полоть гряды, спал у себя на огороде, его разбудила метко брошенная ему в голову картофелина. Оглянувшись, он увидал над плетнем розовое лицо Стефы, с такими же ярко-звездистыми глазами, как тогда, в саду...

— Здравствуй,— сказала она.

Он молчал. Сердце его заколотилось, сделалось трудно дышать, и он забоялся, что умрет на месте.

— Что же ты не приходишь больше в сад? — спросила Стефа.

Он опять не ответил и только, не отрываясь, глядел на нее, точно кролик на гремучую змею.

Стефа позвала:

— Поди сюда.

Когда Вавжинец приблизился, она, быстро осмотревшись, положила ему на плечи свои белые руки и прильнула к его губам медлительным и крепким поцелуем. У Вавжинца пошла кругом голова, мир повернулся вверх дном перед глазами, и он потерял память, давно ли тянется и опьяняет его этот поцелуй. И вдруг он охнул от острой жгучей боли... Стефа оторвала свои губы от его глубоко укушенных губ; струя крови бежала по его подбородку, две, три алые капли остались на ее губах. Она смотрела на Вавжинца торжествующим взглядом — властным и жестоким: она видела, что он покорен ею, сломан, растоптан, что он раб ее на всю жизнь. Она сняла руки с его плеч, перешла от плетня через тропинку к чужому плетню, соседскому, и, не глядя более на Вавжинца, ощипывала бело-розовую павилику... И опять между ними не было сказано ни одного слова. Наконец она сухо приказала:

— Ты проводишь меня в Цехинец.

С этого вечера жизнь Вавжинца и Стефы полетела вихрем в чаду потайных свиданий; роман их не мог тянуться долго: в сентябре ожидали графа Стембровского, который облаживал свои кредитные делишки с жидами в Вене, и, вслед за его приездом, должна была состояться свадьба Стефы. Ни Стефа, ни Вавжинец не думали о том, чтобы противодействовать этой свадьбе: как для всего Цехинца, так и для них она была делом роковым и неизменимым, для всех желательным и решенным бесповоротно. Abgemacht[1], как говорят немцы.

[1] Решено *(нем.)*.

— Когда ты выйдешь за графа, я утоплюсь,— спокойно говорил Вавжинец.

Стефа презрительно пожимала плечами:

— Ну вот еще!..

— Ты не веришь?

— Нет, верю... только это будет глупо.

— Почему глупо?

— Не стоит.

— Ты думаешь?

— Я думаю, что я не стала бы топиться, если бы ты женился,— с какой же стати топиться тебе, когда я выйду замуж?

Под угрозою короткого срока они наполняли свою любовь всем разнообразием, какое способно породить это чувство, всем счастьем и всеми муками страсти. Между ними происходили ужасные ссоры, кончавшиеся безумными объятиями,— насмешки, брань и драка, которые разменивались на поцелуи.

— За что ты меня полюбила? — спрашивал Вавжинец.

Стефа презрительно отвечала:

— За то, что дурак, а дуракам счастье.

— Я вовсе не дурак,— обиделся Вавжинец.

Стефа смерила его долгим, любопытным взглядом.

— Не дурак?.. Тем хуже для тебя...

— Ну нет: мне больше нравится быть умным.

— Чем ты будешь умнее, тем больнее будет тебе, когда я тебя брошу. Желай лучше вовсе одуреть, пока я еще с тобою и могу помочь тебе... потерять разум.

Но в другой раз она сама сказала ему, лежа на его коленях своею прекрасною головою:

— Я люблю тебя за то, что я красавица, а ты зверь. За то, что ты нищий горбун, за то, что ты ходишь босиком, за то, что ты груб со мною, как хлоп со своею хлопкою,— я люблю тебя за то, что тебя не за что любить. А еще я люблю тебя за то, что, если бы мой отец подозревал, что я с тобой здесь, на этом сеновале, он запер бы двери сюда вот тем тяжелым замком и своею рукою зажег бы сарай со всех четырех углов. И вот бы когда, вот бы когда ты узнал, как я умею любить и целовать... Ты не пожалел бы жизни и умер бы счастливый...

Глаза ее дико блестели:

— Я люблю тебя за то, что унижаю себя, отдаваясь тебе, за то, что мы обкрадываем моего жениха, которого я заранее ненавижу,— зачем он на мне женится, и мне прочитают в ко-

стеле, что я должна его бояться... Как я буду смеяться его чванству и важности, когда буду вспоминать тебя... Ха-ха-ха! то-то рога торчат у ясновельможного пана графа под его короною. У твоего отца — черта — не длиннее! Я люблю тебя за то, что я сумасшедшая, и часто сама не знаю, чего больше хочу — целовать тебя или зарезать... чтобы текла кровь... много-много крови... И... ах, зачем ты в самом деле не чертов сын? Тогда я любила бы тебя еще больше...

Стембровский приехал. Перед свадьбою — на последнем свидании с Вавжинцем — Стефа сухо и холодно приказала ему раз навсегда выкинуть ее из памяти, никогда не попадаться ей на глаза и в особенности — Боже сохрани,— когда-либо хоть намеком обмолвиться о прошлых их отношениях.

— Я достану тебя везде, всегда,— говорила она, стиснув свои острые белые зубы,— и ты знаешь меня, знаешь и то, что я всегда добуду себе людей, которые за одну мою улыбку с радостью пойдут на эшафот... Я прикажу содрать с тебя с живого кожу — и сдерут.

Вавжинец — синий, как мертвец,— почти не слыхал ее угроз. Он бессмысленно повторял:

— Не беспокойтесь, панна Стефа... я знаю свое место... я знаю свое место...

Когда панну Стефу обвенчали и борзые кони уносили молодых Стембровских из Цехинца в их далекий замок, Вавжинец замешался в толпу челяди, собравшейся во дворе фольварка. В воротах лошади чего-то испугались, и вышла сумятица, давка, и один человек попал под колеса. Этот человек был Вавжинец. Графиня Стефа сидела в карете бледная, как полотно, но даже не взглянула на раненого, когда его, бесчувственного, с разбитою головою и переломанными руками, проносили мимо.

Говорят, что битая посуда и гнилая верба живет два века. Как ни тяжело был изранен Вавжинец, он выжил: лекаркамать его выходила... А затем он пропал из Цехинца — и след его простыл.

Молодая графиня жила с мужем согласно. Семь месяцев спустя после свадьбы она оступилась и упала с невысокой лестницы как раз вовремя, чтобы вслед за тем преждевременно разрешиться от бремени мальчиком,— с заметно искривленным позвоночным хребтом. Доктора сказали, что ребенок жизнеспособен, но обещает быть хромым и горбатым. Граф был очень огорчен, графиня — равнодушна. Новорож-

денного назвали Феликсом и пририсовали новый кружок к родословному древу: граф Феликс-Алоиз Стембровский, anno domini[1] 185... Затем в палаце графа совершились чудеса.

В один весьма скверный апрельский вечер, холодный и дождливый, в детской, где спал маленький граф, надо было затопить камин. Пламя весело разгорелось и собрало к себе весь женский штат, приставленный к надежде рода Стембровских: няньку, мамку и двух поднянек-девчонок. Камин отпылал... тлели одни красные уголья, медленно покрываясь белою золою. Прислуга болтала... Вдруг одна из поднянек завизжала нечеловеческим голосом и — вытаращенными глазами и трясущимся пальцем — указала на камин: из трубы медленно спускались чьи-то безобразные, синие ноги... Ноги эти безбоязненно ступили на угли, и — на глазах онемевшего от ужаса женского собрания — из камина вылез черт.

Не обращая внимания на баб, черт проковылял к колыбели графчика.

— Это мое! — сказал он осиплым голосом, взял спеленатого ребенка в торбу, висевшую у него на шее, и исчез в трубе: как пришел, так и ушел.

Мамка повалилась в обморок; нянька впала в истерику; из девчонок одна забилась в угол за шкафом и, будучи не в силах сказать хоть слово, тряслась всем телом, не попадая зубом на зуб; другая, наоборот, металась по детской с отчаянным бестолковым криком... Прошло не менее четверти часа прежде, чем добились от них, в чем дело. Графа-отца, как нарочно, не было дома. Что касается графини, она казалась скорее разгневанною, чем изумленною... Прислуга смотрела на нее с ужасом и за спиною госпожи открещивалась: уродство графчика, появление черта и его властное «это мое» были приведены суеверною дворнею в систему — и графиня Стефания, в общем мнении — равно и крестьян, и панов-соседей,— превратилась в злобную ведьму... о ней пошли те же сплетни, что о бабе Эльжбете, матери горемычного Вавжинца...

Нечего говорить, что исчезнувшего в объятиях черта графчика принялись разыскивать, как только опомнились от возбуждения первой суматохи... Напрасно — дьявол не оставил по себе ни одного следа.

Приехал граф-отец. Он далеко не был вольнодумцем, ве-

---

[1] От рождества Христова *(лат.)*.

рил в черта, как истинный католик,— однако верил отвлеченно, то есть что есть где-то он, анафема, на свете — с хвостом, рогами и копытами — и пакостит исподтишка добрым людям, но чтобы черт, in persona[1], мог явиться в замок его, графа Стембровского, и утащить его собственного графского ребенка,— этому он решительно не поверил. Не поверил и тому, что жена его ведьма, и прикрикнул на добродушного старика-ксендза, когда тот вздумал было советовать ему — попытать, твердо ли ясновельможная пани привержена к христианской вере.

— Бог знает что вы мелете, отец! Не у вас ли она исповедуется каждую неделю? И не вы ли сами допускали ее до святых тайн? Коли она ведьма, так и вы колдун... Нет, нет, тут какие-то шашни! и я выведу их на свежую воду!..

Он сделал жене резкую сцену. Но голубые глаза Стефы совсем помутились и оглупели под поволокою, когда граф накинулся на нее с требованием объяснений. Недоумело слушая вопли и ругательства супруга, она только пожимала плечами да повторяла:

— Я-то здесь при чем? Я-то что могу знать?

Граф почувствовал, что он смешон, и оставил графиню в покое...

Кто хорошо ищет, в конце концов свое находит. Граф напал на след «черта»: кое-кто из хлопов встретили в ночь, как пропал графчик Феликс, на большой дороге уродливую фигурку с ношею под армяком... Сведя несколько таких показаний вместе, граф определил направление, куда удалился черт, и энергично взялся за розыск...

Рассказывать, как он искал черта, я вам не буду: долго, да и не в том суть, как он искал,— важно, что нашел. Нашел при избушке на курьих ножках, одиноко брошенной среди забытого смолокуренного майдана, каких многое множество в галицийских лесах, тогда почти девственных.

Граф был один — с ружьем и собакою. Чутье пса и вывело его к лесной хижине, где поселился черт. Сквозь ветви граф отлично разглядел нечистого своим охотничьим глазом: то был горбунчик, с запачканною рожею; он в прихромку скакал перед избушкою, напевая:

Лыковые лапотки,
Суконные покромочки...

---

[1] Собственной персоной *(лат.)*.

Он держал на руках и тетешкал ребенка. Граф признал шелковое одеяло своего сына. Взяв ружье на прицел, он двинулся на черта... Черт все еще пел свои:

Лыковые лапотки,
Суконные покромочки...

но, заслышав шорох ветвей, обернулся... и увидел графа. Он страшно выпучил глаза. Секунды две-три враги молча смотрели друг на друга, словно удивляясь один другому. Потом черт положил ребенка на траву и, подняв с земли ружье, тоже прицелился... Тогда граф выстрелил. Черт повалился на траву: пуля хлопнула его прямо в сердце. Граф подошел к убитому; черты трупа показались ему знакомыми.

— Где я видел этого мерзавца? и чем его обидел, что он вздумал красть моего сына? — ломал он себе голову, пока, на звук его рога, не сошлись рассыпанные по лесу егеря.

— Да это горбун Вавжинец Клюга, из-под Цехинца! — воскликнул один из егерей, бывший с графом на его свадьбе в фольварке пана Висловского...

В самом деле, это был он...

Граф взял найденного Феликса на руки, хотел его поцеловать, но... вдруг страшно побледнел и, передав мальчика ближнему егерю, приказал с отвращением:

— Возьми его, неси домой! У меня руки не тверды... после этого!

Он указал на труп.

Всю дорогу, пока добрели до замка, у графа тряслась нижняя челюсть и ходили судорогою руки. Он вспомнил Вавжинца, вспомнил, как уродец ни с того ни с сего бросился под колеса его свадебной кареты, прикинул в уме преждевременное рождение Феликса, сравнил искривленное тельце ребенка с трупом убитого горбуна и понял необъяснимую охоту черта стащить младенца-графчика... В замке он прежде всего снял со стены тяжелую казацкую нагайку и, не сказав никому ни одного слова, прошел к графине. Получасом позже он вышел из ее спальни, багровый, шатаясь... сорванным голосом приказал закладывать лошадей и ускакал в город к судье заявить о совершенном им убийстве Вавжинца...

Графиню нашли в спальне едва живою. Графская ногайка превратила тело ее в сплошной синяк; губы были расплющены в лепешку, левый глаз мотался мертвым студнем на щеке... Оскорбленный муж оказался в расправе своей настоящим та-

тарином. Обвинять ли его за жестокость? Не знаю. Кто поручится, что, при подобных обстоятельствах, мы с вами не поступили бы так же или даже еще хуже? По суду граф был оправдан, как убийца невольный,— признали, что он застрелил Вавжинца по необходимости, чтобы самому не погибнуть от разбойника, убитого с оружием в руках. Эпизод похищения чертом графского ребенка замяли, во избежание громкого скандала: теперь он был уже слишком объясним и прозрачен. Немедленно, по оправдании своем, граф развелся с Стефою, взяв на себя вину и обещаясь платить графине крупную ежегодную пенсию, с тем чтобы Стефа убиралась из Галиции навсегда и куда хочет, только подальше. Она переселилась в русскую Польшу, в Варшаву и, говорят, пустилась там во все тяжкие.

Вот вам самая сверхъестественная история из действительной жизни, какую я знаю. И... не правда ли, что, несмотря на трагический конец, она все-таки похожа на водевиль с переодеванием?

— А что сталось с Феликсом?

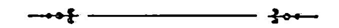
— Право, не знаю... кажется, умер — и хорошо сделал. Нынешнего графа Стембровского зовут не Феликсом, но Альфредом...

Поезд приближался к Львову. Попутчик мой ехал на Черновцы, и ему надо было ждать во Львове Personen-Zug[1] на свою линию... Любезно простясь со мною последним оскалом своих волчьих зубов, незнакомец не успел вылезти из купе, как уже попал в объятия каких-то молодых людей... и удалился, сопровождаемый ими, как король свитою. Кондуктор и железнодорожное начальство смотрели на эту встречу с почтительным любопытством...

— Кто это такой? — спросил я нашего обер-кондуктора.

Он даже глаза на меня вытаращил.

— Как, сударь? Вы ехали в одном купе — и не познакомились? Это — знаменитый писатель Леопольд Захер-Мазох...



[1] Пассажирский поезд *(нем.)*

Казнь

I

Вечером 17 сентября 187* года судебный следователь города У., Валериан Антонович Лаврухин, был в гостях у своего ближайшего соседа, доктора Арсеньева, справлявшего именины своей племянницы, Веры Михайловны. Молодая жена Лаврухина, Евгения Николаевна, чувствуя себя не совсем хорошо, осталась дома. В десять часов она приняла бромистого кали и легла в постель, приказав горничной наведаться в спальню часам к двенадцати и — в случае, если б Евгения Николаевна уже заснула,— потушить лампу. До назначенного срока горничная сидела в людской, играя в карты с кухаркой и дворником; кроме их троих, барыни да спавшего на кухонной печи вестового, в доме никого не было. В полночь горничная отправилась взглянуть на больную. К своему ужасу, она увидела окно спальни раскрытым настежь, а пол испещрен чьими-то темными следами. Бросились к барыне — и нашли ее всю в крови и уже холодною. Поднялся шум, явилась полиция.

Следствие по этому делу дало такие результаты:

Лаврухина была зарезана тремя безусловно смертельными ударами колющего орудия в горло, живот и левый пах. Ссадин, царапин и боевых знаков на теле не оказалось, а спокойное выражение лица умершей и положение трупа давали основание думать, что убийца подкрался к своей жертве во время сна и поразил ее внезапно. Из ушей покойной

были вынуты серьги, с пальцев сняты кольца, с ночного столика пропал драгоценный складень — благословение матери Евгении Николаевны.

Спальня помещалась во втором этаже и выходила своим единственным широким — венецианским — окном в сад; от окна спускалась вниз железная пожарная лестница. Ее ступени и подоконник были в нескольких местах запачканы кровью. У окна не было задвижки; только утром в день убийства в него вставили новое стекло, вместо разбитого накануне самим барином. От лестницы следы, такие же, как в комнате убийства, вели к забору, отделявшему лаврухинский сад от обширного пустыря, круто спускавшегося к реке Тве. Здесь следы исчезали.

В убийстве был заподозрен стекольщик Вавила Тимофеев — горький пьяница, истый бич города, полный бездомник. Против него говорили весьма веские улики. В одной из клумб лаврухинского цветника нашлась отлично отточенная окровавленная стамеска; своими размерами она пришлась как раз по ранам Евгении Николаевны. Стамеска принадлежала Вавиле. Утром, пред убийством, Вавила вставлял стекло в окно спальни и сильно побранился с Лаврухиной из-за платы. Вечером его видели, мертвецки пьяного, бродящим по пустырю, вдоль садового забора. Наконец, в дополнение всего, Вавила в ночь на 18 сентября скрылся из У. Неделю спустя его арестовали в соседнем уезде, по доносу трактирщика, которому он предложил в залог похищенные вещи. Сапоги Вавилы аккуратно подошли к следам убийцы.

Несмотря на столь очевидную виновность, преступник упорно запирался и рассказывал в свое оправдание, будто он действительно 17 сентября был сильно выпивши и не помнит, где заснул; на другой день очнулся на берегу по ту сторону Твы, рядом с собой нашел свои сапоги, а у себя за пазухой драгоценные вещи; очень испугался, что его за такую находку засудят, и бросился в бега. Кто подложил ему вещи и как он попал на другой берег Твы — ему неизвестно. Понятно, что суд не удовлетворился таким нелепым лганьем, и Вавила пошел на каторгу.

Смерть горячо любимой жены едва не убила Лаврухина; он потерял рассудок и, помещенный в лечебницу душевнобольных, провел около года в самой мрачной меланхолии. Потом он поправился, пришел в память, оставил больницу, начал гулять, бывать в обществе, ходить в гости, и особенно ча-

сто к Арсеньевым. В У. заговорили, что Лаврухин женится на Вере Арсеньевой, и скоро слухи оправдались.

Молодые супруги зажили отлично. Замечали только, что Лаврухин как будто опять начал хандрить, находится в большом подчинении своей жены и, пожалуй, даже побаивается ее. Так прошел еще год.

Память смерти Евгении Николаевны, как уже сказано, совпадала со днем ангела Веры Михайловны. 17 сентября у Лаврухина было много гостей. Хозяин весь вечер казался очень не в духе и довольно неудачно притворялся веселым. Вера Михайловна делала приготовления по хозяйству и наконец пригласила гостей закусить. За ужином она обратилась к мужу с каким-то вопросом, и тогда произошло нечто неожиданное и ужасное. Едва несчастная женщина произнесла «Валя!» — Лаврухин, как тигр, вскочил с места с пеной у рта и, с ножом в руке, которым только что резал ростбиф, бросился на жену. Безумного схватили, но уж слишком поздно: Вера Михайловна упала на пол бездыханною...

— Что вы сделали, несчастный?! — в отчаянии спросил убийцу Арсеньев.

— Теперь она не будет больше сводить меня с ума! — отвечал Лаврухин и лишился чувства. Через три недели он умер в больнице, ни разу не приходя в себя: буйные припадки следовали один за другим. По смерти Лаврухина, между его бумагами, были найдены записки, где он рассказал странную историю своей жизни. Вот что он писал.

II

Я получил назначение в У. семь лет тому назад. Тогда я только что женился на Евгении Николаевне Рогаткиной. Моя первая жена была, как все помнят, маленьким совершенством: хороша собой, добра, как ангел, не глупа, прекрасно воспитана и с порядочным состоянием. Она меня обожала; мне казалось, что и я ее люблю. Вскоре моя страсть остыла, но мне было совестно показать охлаждение женщине, достойной вечного и непрерывного поклонения, и я стал играть роль нежного супруга, каким, еще недавно, был на самом деле. Порою мне удавалось заигрываться до того, что я сам себя обманывал и снова верил в действительность уже не существующей любви. Но гораздо чаще ложь моих отношений к жене

уязвляла меня горьким стыдом; тем не менее показать себя в настоящем свете у меня никогда не хватало духа, и целые четыре года я громоздил пред Евгенией обман на обман в словах, чувствах, поступках. Стыд своей трусости тяжело отзывался на мне, и из человека, полного жизненных сил и более или менее довольного судьбою, я сделался мрачным, унылым брюзгой. Презирая себя за слабоволие, я все надеялся, что авось как-нибудь, если уж я сам безвластен над собою, так хоть счастливый случай переменит и направит мой скучный быт по новому руслу.

В это время к доктору Арсеньеву приехала на житье его племянница Вера Михайловна — отслужившая срок пепиньерка одного из провинциальных институтов. Эта оригинальная девушка, не особенно красивая, с холодными руками и тусклым взором, произвела на меня весьма смутное впечатление. Я сразу ощутил тоскливое предчувствие, что она не пройдет бесследной тенью в моей жизни, в душе моей шевельнулась безотчетная боязнь ее, и, несмотря на то, меня все-таки потянуло к ней. Покойной жене моей Вера Михайловна была глубоко антипатична. Ее мертвенная бледность, ее странный взгляд, ее холодные руки почти пугали Евгению. А когда однажды обе женщины разговорились наедине, то Вера, оставив обычную молчаливость, высказала столько цинизма в своих убеждениях, столько сухого бессердечия и безверия, что Евгения совсем растерялась и искренно пожалела об институте, где Арсеньева была надзирательницей. Я лично, справясь с первым впечатлением, заинтересовался Верою, как новым лицом, как умною и развитою — совсем не похожею на барышень уездного городишка,— девушкой. Потом я начал находить, что она далеко не дурна собою и очень изящна, и кончил тем, что влюбился в нее. Не знаю, угадывала ли Вера мои чувства,— в ее загадочных глазах никогда нельзя было ничего прочитать. Она не кокетничала со мною, но и не избегала меня. Я, стыдясь своего увлечения, никогда не говорил с ней о любви.

Однажды, в июле, жены не было дома. Я лежал в своем кабинете на кушетке, закинув руки за голову, и думал о скуке своей жизни и о Вере. Легкий шорох в гостиной заставил меня подняться, и, отворив дверь, я увидал ту, о которой только что мечтал.

— Вы обещали мне,— сказала Вера своим ровным, тихим голосом,— вы обещали мне позволить разобраться в старых

портретах: их у вас, вы говорили, много валяется где-то. У меня выдалось свободное время — вот я и пришла.

Портреты были сложены на чердаке, и мы с Верой взобрались туда. День был жаркий и знойный, под раскаленной крышей было душно. Вера внимательно вглядывалась в пыльные полотна, по-видимому совсем не замечая волнения, овладевшего мною, едва мы остались вдвоем. А оно все росло, росло... и вдруг безумное влечение к этой женщине, как пламя, охватило всего меня — и я овладел ею насильно.

Когда затем Вера взглянула в мои глаза, я задрожал. Я увидел белое, как полотно, лицо, синие искривленные губы, широкие черные глаза с нестерпимым враждебным блеском. Ни стыда, ни страха, ни отчаяния — одна злоба, и даже не гневная, но холодная, свирепая злоба легла на ее черты. Мне стало страшно. Вера приблизилась ко мне и, не отрывая от меня своего ненавистного взора, сказала внятным и грозным шепотом:

— Теперь ты женишься на мне, или... ты пропал!

Потом отвернулась и спокойно начала спускаться по лестнице. Когда я — опомнившись — собрался последовать за нею, она уже оставила мой дом.

III

Раньше я был неискренним, но честным человеком, и первое преступление легло тяжелым камнем мне на душу. Я не смел поднять глаз на жену, стыдился видеть себя в зеркале. Позор сознания, что я — представитель правосудия, счастливый семьянин, развитой человек — оказался способным на гнусный зверский поступок, заедал мое существование, и позор был тем более велик, что меня сильнее чем когда-либо тянуло к Вере. Единственным возможным оправданием была для меня упорная мысль: должно быть, я действительно горячо люблю, если не мог справиться со своею страстью... Грозное лицо, дикие слова Веры стояли в моей памяти, и мучительное любопытство, какого мужчина не может не чувствовать к женщине, заставившей бояться ее, влекло меня посмотреть на странную девушку и разгадать ее. Странное дело! Я не помню — я не умею вспомнить, была ли она девушкою, когда я ее там — на чердаке — взял... И тогда не мог вспомнить. Иногда мне казалось — да, иногда — нет, но

стыдно, мучительно стыдно было одинаково всегда. Стыдно и страстно.

Мы увиделись, и судьба моя была решена. Я стал рабом Веры и весь ушел в идею: обладать ею на всю жизнь, назвать ее своею женою.

Между мною и Верою стояла Евгения.

В один темный вечер, когда в беседку арсеньевского сада — приют наших свиданий — теплый южный ветер дышал благоуханиями цветника, когда с черного неба смотрели на нас большие звезды,— я, задыхаясь от страсти, между двумя поцелуями, ответил любовнице согласием на страшный приказ убить жену.

С тех пор я жил словно в полусне, будто пьяный. Мой подавленный ум сроднился с идеей необходимости убить. Не понимаю, как я удержался от простого, грубого нападения на жену, как мог зародиться и вызреть в моей голове дьявольски тонкий план, которым я отправил на каторгу невинного человека, сам оставшись вне всяких подозрений! Я действовал как бы под внушением... О, Боже мой! если б я мог забыть эти безумные ночи в арсеньевском саду, робкий свет сквозь шумящую листву тополей, бледное женское лицо с сверкающими глазами, цепкие руки на моих плечах и тихий ровный голос, нашептывающий мне кровные слова!

В ночь на 17 сентября я хотел освежить свою душную спальню, встал с постели, попробовал отворить окно, и вдруг — будто нечаянным движением локтя — выбил стекло в раме. Утром жена проснулась с легким хрипотцом и уже заранее решила, что не пойдет на вечер к Арсеньевым. Пришел стекольщик Вавила и поправил раму. Он запросил лишнее, и жена с ним побранилась.

— Избавь меня от шума! — с досадою сказал я,— заплати ему, сколько он просит!

Евгения повиновалась, но, отдавая деньги, не утерпела, чтобы не обозвать Вавилу мошенником и вором. Стекольщик ушел ворча и очень недовольный.

Вавила был давно указан мне Верою, как человек пригодный, чтобы свалить на него подозрение. Помимо своей отвратительной репутации, он был драгоценен для меня еще вот чем: каждый вечер он напивался до бесчувствия и принимался буянить в своем доме; дело обыкновенно кончалось тем, что жена Вавилы сзывала соседей и выталкивала мужа из хаты на улицу, после чего стекольщик, покричав и по-

ругавшись малую толику, отправлялся спать всегда в одно и то же место — на пустырь под забором нашего сада.

Оставив жену дома, я посоветовал ей лечь в постель. Я был совершенно спокоен, хотя знал, что вернусь домой лишь затем, чтобы убить Евгению. Видите ли, у меня чересчур много совестливости, но я не знаю, не вовсе ли умерла во мне совесть; я из тех, кто лжет, притворяется, насилует свою натуру, лишь бы не нанести постороннему человеку явного, хотя бы маленького нравственного укола, чтобы потом не слышать упреков за это,— но, во имя своего личного спокойствия или удовлетворения господствующей страсти, легко решается на тайное преступление над ближайшим другом. Я нервен. Сызмальства я боялся одиночества, потемок, крови. Годы и судебная практика закалили меня, но и ожесточили. Я присмотрелся ко всяким страхам и научился дешево ценить человеческую жизнь — слабую искру, погасающую от первой несчастной случайности. В самом преступлении я боялся одного: что застану Евгению еще не спящей и тогда не посмею напасть на нее. Евгения должна была умереть, не ведая, что я негодяй, продолжая верить в меня, как при жизни: один взгляд разочарования в ее честных глазах — и моя рука не поднялась бы на нее, я почувствовал бы себя ее рабом.

IV

Я кончил робер за почетным столом и передал место мировому судье Сабурову, а сам присоединился к кружку молодежи. В комнатах было жарко; темный осенний вечер заманчиво глядел из сада в окно. Вера предложила гостям прогуляться немного. Сад у Арсеньевых громадный, тенистый и темный. Я шел сзади всей компании, под руку с Верой; она весело болтала со мной и еще одним молодым человеком, нотариусом Динашевым. Он остался без пары и шел рядом. Так мы добрались до крайней аллеи сада, протянутой вдоль берега Твы; здесь, у купальни, качался на волнах маленький ялик — забава Веры. Я почувствовал легкий толчок... сердце мое забилось: Вера дала мне сигнал действовать. Я нарочно споткнулся.

— Какой вы неловкий, Валериан Антонович! — досадливо заметила Вера,— с вами невозможно идти... M-r Динашев! дайте мне вашу руку!

Я понемногу отстал. Вот они повернули внутрь сада, к цветнику, и исчезли за кустами. Я быстро сел в ялик и оттолкнул его от купальни. Преступление началось. Теперь у меня не было ни сомнения, ни боязни. Лишь бы скорее! скорее! скорее!.. В два взмаха вёсел я достиг своего пустыря. Было очень темно, но я не сделал и десяти шагов, как наткнулся на храпевшего Вавилу. Пьяница спал как убитый. Я снял с него сапоги, переобулся и разделся, оставив на себе одну фуфайку. Затем поднял бесчувственного Вавилу за плечи и перетащил его в ялик, где и оставил вместе со своею одеждой. Проникнуть незаметно в свой дом мне ничего не стоило: вспомните пожарную лестницу и отвинченную задвижку венецианского окна.

Евгения приняла на ночь бромистый кали — я сам советовал ей это. На ее здоровую, непривычную к лекарствам натуру бром подействовал сильно; отворяя окно, я немного нашумел, но Евгения и не пошевельнулась. Тогда я подкрался к кровати... Я недаром изучал когда-то судебную медицину и присутствовал при десятках вскрытий: Евгения умерла моментально, без мучений; от сна она прямо перешла в объятия смерти. Я стоял над ее телом, пока не убедился, что она мертва. Потом я забрал ценные вещи с ночного столика, снял с покойницы серьги и кольца и вылез обратно в окно. Орудие убийства — стамеску — я по дороге бросил в цветник.

Следствие напрасно сочло эту стамеску собственностью Вавилы: я получил ее — блестящую и наточенную, как бритва,— за два часа перед тем из рук Веры, а где достала ее Вера — не знаю. Вавилу я перевез на другой берег Твы,— рассказ его на суде совершенно правдив. Проходя по арсеньевскому саду, я зажег спичку и посмотрел на часы. Все мое отсутствие продолжалось сорок минут. Я направился в кабинет Арсеньева, к винтерам; зеркало в передней показало мне, что я, несмотря на спех и темноту, оделся как следует.

— Нагулялись? — спросил меня хозяин.

— Да,— ответил я беззаботно,— сыро, знаете... Молодежи хорошо рисковать, а у меня ревматизм.

Сабуров вышел из игры, и я сел за него. Играл я отлично, не хуже, чем всегда, а между тем делал ходы совсем машинально. Скоро ли откроется? Скоро ли прибегут из дома с известием об убийстве?.. Вошла Вера. На ее вопросительный взгляд я чуть кивнул головой. Она равнодушно отвернулась. Почему-то меня покоробило ее хладнокровие; я рас-

сердился, и вдруг во мне что-то словно сорвалось с места, всколыхнулось и задрожало; мои колени невольно застучали одно о другое, а карты заплясали в руках. Могучим напряжением воли я сдержал этот нервный припадок — тогда он принял другую форму. Истерическое удушье шаром поднялось от диафрагмы к горлу, и я, едва дыша, чувствовал, что если не проглочу этого шара, то он меня задушит, а чтобы проглотить его, я непременно должен сперва заплакать...

Наконец зашумела соседняя комната, двери наполнились бледными лицами в искажениях страха и любопытства,— убийство обнаружилось. Опрометью добежав домой, я упал на тело своей жертвы в непритворном обмороке.

V

Рассказывать свою жизнь в лечебнице я не буду. Я не жалел Евгении и не страдал муками совести: я не верю в бессмертие, а раз его нет,— так чего же стоит жизнь, что ужасного в ее потере? И самоубийство не страшно и убийство не жестокое дело, не преступление. Свои больничные дни я проводил лежа на кровати и устремив глаза на медный отдушник печки. Меня занимало, как, под моим пристальным наблюдением, он мало-помалу расплывался в большое светлое пятно, и на фоне его я видел разные странные фигуры, лица знакомых, а чаще всего Веру. Сторожа утверждали, будто я часто разговаривал сам с собою, но я не замечал этого. Вообще, не решусь сказать, был ли я вполне нормальным умственно в то время. Скорее нет: уж слишком апатично жилось мне и думалось в лечебнице. Сколько помню, я тогда с удовольствием сосредоточивался лишь на двух мыслях — что мне надо притворяться сумасшедшим и что скоро женюсь на Вере. Арсеньевы изредка навещали меня.

Наконец, я выздоровел. Женился.

Тут-то и ждало меня возмездие. В день свадьбы я был сильно взволнован; у меня как-то особенно болела голова — боль, вроде мигрени, шла от затылка двумя ветвями к вискам — и все летали мушки перед глазами. Помню так же, что в тот день я несколько раз ошибался в распознавании цветов, хотя раньше никогда не страдал дальтонизмом. Под венцом я, совсем больной и расстроенный, едва крепился, чтобы выдержать церемонию до конца прилично, с достоинством. Свя-

щенник предложил нам поцеловаться. Я взглянул на Веру — и кровь застыла в моих жилах, голова закружилась, я чуть не закричал от испуга, едва устоял на ногах: из-под венчального вуаля на меня смотрело не Верочкино лицо — предо мной стояла Евгения! Она выглядела здоровой, румяной, кроткой, веселой, как при жизни: она улыбалась... И это лицо я должен был поцеловать! Я сознавал, что брежу, галлюцинирую, но — какая страшная галлюцинация! Призвав на помощь всю силу духа, я быстро дотронулся до своего левого глаза,— давление на сетчатку — лучшее средство прогнать обманы зрения: видение исчезло. Я снова узнал Веру; она смотрела на меня с выражением изумления и беспокойства: так изменился я в лице!

Когда я рассказал Вере, что случилось со мной, она расхохоталась. Эта женщина никогда ничего не боится, ничем не волнуется и над всем смеется! Прошло несколько дней; мне стало лучше, голова меньше болела, настроение было спокойнее. Вдруг, в один вечер, когда мы с Верой сели за ужин, галлюцинация повторилась с прежней отвратительной и беспощадной ясностью. Я оттолкнул тарелку и встал из-за стола, задрожав, как лист. Вера догадалась.

— Тебе опять причудилось? — спросила она со своим обычным сухим смехом, но и слова ее, и глумливый тон, вместо того чтобы ободрить, привели меня в еще больший страх: я слышал голос Веры, а продолжал видеть Евгению. Так длилось несколько секунд.

С того вечера приговор моей жалкой участи был определен. Галлюцинация посещала меня все чаще и чаще; Вера по нескольку раз на день превращалась для меня в Евгению. Просыпаясь ночью, я то и дело узнавал рядом с собой, на подушке, голову своей погибшей жертвы, не выносил этого зрелища и будил Веру, а она злилась, что я не даю ей спать, и ругала меня сумасшедшим. Ни хлоралгидрат, ни морфий не помогали мне. Я принужден был бояться присутствия своей жены; заслышав ее шаги, я всякий раз с невольной дрожью думал: «А вдруг она сейчас войдет, и снова повторится проклятое видение?» — и мои опасения почти всегда оправдывались. Я стал дичиться Веры, запираться от нее, но ведь мы — муж и жена, у нас не проходит часа без невольной встречи, а встречаться так жутко, так нестерпимо!.. Расстаться бы, разлучиться совсем — так воли нет: я люблю Веру, да и не пустит она меня от себя! И кто мне поручится,

что в другом месте, другая женщина не сделается для меня предметом такой же, а может быть и еще худшей, галлюцинации? Мозг мой поражен и не способен на правильные отправления,— я слишком много видел чужого безумия, чтобы притворяться теперь, будто не сознаю своего. И если оставить Веру, за что же тогда погибла Евгения? Я человеческую жизнь отдал за право владеть ею и скорей погибну, чем уступлю взятую с бою, омытую кровью добычу!..

Но как утомили и ожесточили мой бедный ум эта жизнь под вечным страхом, эта постоянная пытка зрения, эти бесконечные сомнения! Что делать, как быть, как жить дальше! Я преступен, я злодей, но казнь моя выше меры, и я проклинаю мстительный призрак моего воображения! Когда он является ко мне, я ненавижу его и, вопреки своему страху, готов броситься на него и истерзать его образ, как он сам терзает мою душу, и только убеждение, что я болен, что меня пугает ложная мечта, что под оболочкой призрака скрыта моя любимая Вера,— только это убеждение, еще присущее моей отуманенной мысли, сдерживает меня, и я в бессильной злобе кусаю себе руки, но молчу и терплю. Но что, если все это так и продолжится? Если мой ум еще больше ослабнет под тяжестью ежедневных грозных впечатлений? Если последнее спасительное убеждение погаснет? Мне страшно... Я не хочу...

А голова все болит и болит, день ото дня всё сильнее, резче, назойливее, и черные мысли стучатся в нее громко, самоуверенно, как полновластные хозяева. И откуда взялись они — мои злые мысли? Неужели они — голос совести, пробудившейся от долгой спячки? Если — да, почему же я один изнемогаю под бременем ее проклятия? Отчего Вера спокойно спит, сладко ест и пьет, а я сам не свой мыкаюсь по свету, как Каин, отвергнутый Богом? А ведь она больше виновата, чем я: она была злою волей моего преступления, я — только орудием...

Жена идет. Я слышу шелест ее платья. Вот в моем настольном зеркале отразилась ее фигура... Опять Евгения! опять!..

Боже мой! да когда же и чем кончится этот ужас?!

Катакомбы

Этому около двадцати лет. В жаркий сентябрьский полдень две англичанки, родные сестры, спустились в сырой каменный погреб — начало знаменитых катакомб св. Каллиста. Проводник-монах за ними следовал. Сестры посещали катакомбы ежедневно уже с месяц времени. Они были художницы-акварелистки и, с разрешения аббата де-Росси, копировали фрески и надписи, еще не перенесенные усердием археологов в Кирхнеров музей христианских древностей.

Монахи привыкли к сестрам, и, когда убедились, что они не заражены обычными пороками англо-саксонского племени, т. е. не воруют античных лампочек, не отбивают углов от саркофагов, не обламывают фигурок с барельефов, не расписываются тушью или синим карандашом на фресках,— они перестали следить за барышнями.

Работали сестры в ближних галереях, куда еще проникали смутными отсветами дневные лучи. Следовательно, англичанкам не представлялось опасности заблудиться в лабиринте подземных ходов, соединяющих три этажа катакомб. Они обязались монахам честным словом, что не будут заходить далеко в глубь подземелий и заглядывать под своды, еще не реставрированные и не укрепленные. Надо знать, что подземная паутина катакомб исследована не более как на одну треть своей площади, а доступна для туристов вряд ли и в сотой своей доле.

Сегодня англичанки слова своего не сдержали. Третьего дня они завтракали в артистическом ресторане Корадетти, и знакомые художники рассказали им об удивительных открытиях, сделанных русским археологом-живописцем Рейманом в катакомбах св. Присцилы. Рассказ задел самолюбие сестер. Им не удалось еще найти в катакомбах ничего нового, оригинального: все — давным-давно известные пастыри, с агнцем на плечах, рыбы, пальмы, иногда кит, изрыгающий Иону,— обыденные мотивы христианского искусства первых веков. Сестры решили попробовать счастья и, обманув бдительность монахов, проникнуть в катакомбы за дозволенные им границы. Они приглядывались два дня к запретным, полуразрушенным и заставленным козлами ходам, что примыкали к главным галереям, и — как взяли бы лотерейный билет — наудачу наметили из них один во втором этаже, недалеко от могилы св. Цецилии. Понимай, святой Цецилии монахов св. Каллиста, потому что в катакомбах св. Себастиана показывают другой гроб св. Цецилии, и между иноками обоих монастырей идет давняя распря из-за сомнения — где же в самом деле была похоронена святая покровительница музыки — под сенью св. Каллиста или св. Себастиана? Англичанки понимали, что они рискуют заплутаться, и застраховали себя на случай такой беды старинным средством царевны Ариадны — клубком снурков. Они прикрепили снурок у лаза в новую галерею и разматывали клубок по мере того, как удалялись в глубь катакомб. Они имели при себе два фонарика-рефлектора вроде полицейского oeuil de boeuf — вещь, необходимую для исследователя тайн, похороненных в непроглядном мраке тысячелетних склепов. Фонарики эти сестры и раньше приносили в катакомбы, чтобы их сильным, сосредоточенным светом озарять по частям фрески, которые копировали. Так как температура катакомб всегда обратна температуре надземной: зимою в них душно, а летом прохватывает холодом, то англичанки позаботились захватить с собою пледы. Твердо надеясь на снурок, сестры шли одна следом за другою, бодро и самоуверенно. Ход был довольно широк, но не представлял ничего интересного: стены были ободраны дочиста так же, как и в главных галереях, в знакомые извилины которых выводила иногда англичанок избранная ими дорога. Тогда они ныряли в первый ближний лаз — из запретных, какой представлялся их глазам,— и так уходили все дальше и дальше. Наконец, по тесноте лаза,

по высоким завалам на полу, по низко осунувшимся сводам сестры убедились, что они вышли из круга исследованных катакомб и проникли в область, куда до них — весьма, может быть, в течение пятнадцати веков — не ступала человеческая нога. В стенах стали попадаться плиты — правда, без надписей и рисунков, но целые, свежие, точно сейчас вытесанные: таких нет в исследованных катакомбах,— все давным-давно вынесены и занумерованы в каталогах музеев Кирхнера и Латеранского. Сестер невольно объял священный трепет. Древность глядела им в лицо из зияющих провалов, манила и звала к себе.

В гордости, что они, две слабые женщины, сумели пробраться во мраке могильного царства до порога новых вероятных открытий, они обменялись веселыми взглядами и крепким рукопожатием.

— Ты не устала, Кэт?

— Ничуть. Я готова идти вперед хоть целый день. А ты, Мэг?

— Тоже.

— Мы можем идти, пока не истощится наша путеводная нить.

— Что клубок?

— Размотан едва наполовину.

Сестры присели на груду осыпавшейся земли. Стая мышей брызнула от них врозь, скрываясь в щели стенных гробниц.

— Позавтракаем.

Мэг вынула из сумки сандвичи... Кэт наблюдала убегающих мышей.

— Интересно, чем питаются здесь эти зверьки? — изумлялась она.

— Вероятно, они делают отсюда экскурсии наверх...

— Однако заметь: вблизи входа в катакомбы мыши не водятся. Они начали встречаться нам только в этом лазу.

— Зачем же мышам ютиться у входов, сделанных человеческими руками, когда у них тысячи своих норок и лазеек?

Двинулись дальше.

— Странно, Кэт, что здесь так сухо. Раньше было много сырее.

Кэт осветила стенку прохода — грубую, шероховатую.

— Это потому, что мы в туннеле, высеченном в целой скале. Смотри: голый камень.

— Какого страшного труда это стоило!

— Работали рабские руки...

— А не руки христиан?

— Не думаю. Это — прямо рубка в скале. Проделать подобный туннель без пороха и динамита можно разве лет в десять, при условии, что рабочие смены трудятся беспрерывно, одна за другою, и день и ночь. Первым христианам, среди преследований, некогда было предпринимать такие сложные работы, да и не к чему: если им нужны были новые ходы, в их власти было выбрать более мягкую и спорую к рытью породу. Вообще доказано, что христиане не рыли новых катакомб, но лишь приспособляли к своим нуждам старые каменоломни...

— Так что мы в доисторической шахте?

— Всего вероятнее. Смотри: здесь уже и могил нет.

— Тогда стоит ли продолжать путь?

— Отчего нет? Может быть, этот коридор соединяет катакомбы св. Каллиста с какими-нибудь другими? Или он приведет нас к другому выходу на свет.

— Пожалуй. Здесь гораздо больше кислорода, чем можно бы ожидать по расстоянию от входа. Ведь мы прошли уже не менее двух километров.

— О! гораздо больше! и по каким еще извилинам и зигзагам.

— Между тем дышать здесь совсем не трудно, и лампочки светят ярко, без синего огонька. Я предлагаю: дойдем до конца этого коридора и, если он не откроет нам ничего замечательного, возвратимся назад. А завтра повторим экскурсию; наш снурок покажет нам дорогу, и мы сделаем ее гораздо скорее, чем сегодня,— следовательно, будем иметь время пройти дальше.

— А много еще у нас клубка?

— Много. Он какой-то неистощимый.

— Allora avanti, sorella![1]

Голоса и смех англичанок гулко раздавались в мертвой тишине подземелья, и легкие шаги их отзывались под сводами топотом богатырских ног.

Мэг сказала:

— Будь мы суеверны, могли бы подумать, что вместе с нами шагает целая рота привидений.

— Да, это местечко, вообще, не для слабонервных.

---

[1] Тогда вперед, сестра! *(ит.)*

— Ты замечаешь, я была права — коридор привел нас в другие катакомбы; мы опять на кладбище, и в земле, а не в камне.

— Обитатели этих могил, вероятно, очень удивлены нашим визитом.

— И конечно, удивлены не особенно приятно: я думаю, товарищи из первых галерей порассказали им, как туристы и археологи ограбили их гробницы.

Минут пять спустя Кэт кликнула сестру голосом, полным удивления и испуга:

— Мэг! с клубком творится что-то странное.

— Ну?

— Да он ничуть не уменьшается.

— А снурок?

— Перестал разматываться.

— Вот неприятность! Надо немедленно идти назад.

— А что?

— Это значит снурок где-нибудь, на угле, при повороте из коридора в коридор, перетерся. Хорошо, что ты заметила вовремя. Иначе мы могли протащить снурок бесполезным хвостом еще километра полтора и затем даже вовсе потерять своего путеводителя.

Сестры повернули обратно. Отмерили они шагов тысячу, на добрую четверть часа ходьбы, но оборванного конца снурка их яркие фонари сестрам не показали. Путницы смущенно переглянулись.

Кэт сказала:

— Должно быть, я не сразу заметила, что снурок оборвался и действительно, как ты говоришь, протащила его некоторое время хвостом. Надо найти другой конец снурка. Я помню, что, прежде чем войти в этот коридор, мы шли широкою галерееюи повернули сюда с левой руки; значит, чтобы искать снурок, теперь надо будет идти направо.

Девушки нисколько не трусили. Им казалось, что они хорошо помнят дорогу и, в крайнем случае, обойдутся и без снурка. Но для верности следовало поискать его. Искали долго, но не нашли. Очевидно, снурок оборвался уж очень давно. Положение становилось серьезно. Недавние улыбки сбежали с уст девушек, брови сдвинулись... Сестры вышли на площадку — неправильный пятиугольник. Каждая грань его зияла черным отверстием, и все пять дверей были похожи одна на другую, все представлялись сестрам равно знакомыми.

— Как будто мы шли через эту,— нерешительно сказала Кэт, повертывая направо. Мэг, не отвечая, послушно зашагала за нею. Она вовсе не была уверена, что Кэт ведет настоящею дверью, какою надо, но и сама не знала, которая из пяти настоящая. Про себя она уже не сомневалась, что они заблудились, но не хотела выдать свою тревогу, чтобы не лишить сестру душевной бодрости. Она пробовала даже шутить над своим приключением, но остроты ее звучали натянуто и не встречали ответа. Кэт оробела. Сестры скрывали одна от другой охвативший их страх. Новая площадка и новые ходы в стенах: точно пасти, алчущие поглотить неосторожных пришелиц...

— Нет, это не то!— с отчаянием воскликнула Мэг.

— Не то!

Кэт, совсем растерянная, опустила фонарь.

— Мы Бог знает куда зашли... Мы здесь никогда не были! Это совсем новая площадка!

— Ты права.

— Вернемся, попробуем счастья через другую дверь.

— А ты уверена, что теперь угадаешь правильно?

— Нет, но... попробуем!

— Попробуем... Ведь это — единственное, что нам остается делать,— согласилась Мэг с искусственным спокойствием.

Опять бесконечные извилины узких ходов, примыкающих к обманчивым платформам. Мрак, в котором движутся двумя пятнами тусклого красного тумана огненные круги рефлекторов... Тишина, среди которой вслед за шагами девушек топают шаги эхо, и опять сестрам кажется, что рядом с ними выступает вот-вот готовое явиться привидение. Но теперь им уже не смешно от этого представления — теперь мороз бежит по их коже, когда они вслушиваются в таинственные шаги.

Им страшно остановиться хоть на минутку — от мысли, что они знают, кто этот невидимый ходок. Имя ему — смерть... голодная смерть, испокон веков царящая здесь, на подземных каменных кладбищах. Они проникли в ее чертог и навсегда останутся в нем, жизнью заплатив за свое безрассудство.

— У меня ноги подкашиваются: я не в силах идти более,— простонала Кэт, опускаясь на пол.

— Отдохни, но недолго,— угрюмо возразила Мэг.— У нас мало света в запасе.

— Загаси свой фонарь,— сказала она после нескольких минут молчания.

— Зачем?

— С нас довольно и моего. А твой мы засветим, когда в моем выгорит свеча.

— Боже мой, неужели ты думаешь, что мы еще долго не выберемся из этих норок?

— Ах, почем я знаю?

— Это ужасно, это ужасно! — шептала Кэт.

Мэг повелительно прикрикнула:

— Не трусь, не распускайся! Струсим — пропадем.

— Не сердись!— умоляющим голосом возразила Кэт,— можно ли ссориться в такие минуты?

— Вот что,— предложила Мэг, успокаивая сестру ласковым рукопожатием,— давай кричать! Как знать? Быть может, мы уже кружим около посещаемых галерей, и нас услышат...

Голоса у сестер были громкие, легкие, могучие, и они подняли целую бурю звуков под низкими сводами подземелья.

Кричали, пока не осипли. Замолкли последние перекаты эхо... Опять — мертвая тишь... слышно, как стучат смятенные сердца девушек... Никого! ничего!.. Похоронены заживо.

— Мне пить хочется,— прошептала Кэт.

— Напейся: там в сумке есть бутылка аполлинарис... но... будь экономна.

— Я только один глоток...

— Что же теперь? Идти дальше?— предложила Мэг.

— Конечно.

— Куда?

— Не знаю.

— Все равно! — лишь бы не сидеть на месте. Здесь мы ничего не высидим. Никто не догадается искать нас...

Кэт ломала руки.

— Хоть бы кому-нибудь рассказали мы о своем намерении! Нас хватились бы, снарядили бы поиски, а теперь...

Мэг энергично остановила ее жалобы:

— Идем, авось Бог поможет нам выбраться.

— Идем! Движение отнимает страх.

— Боже мой! Боже мой!

Мэг взглянула на часы и ахнула, не веря глазам:

— Знаешь ли, сколько уже времени мы в катакомбах!

— Ах, кажется, целую вечность.

— Я говорю не о «кажется», а сколько на самом деле...

— Ну?

— Шесть часов и двадцать три минуты.

— Значит, теперь уже вечер?

— Да. Если и найдем выход, то придется ночевать у дверей; катакомбы заперты, и монахи не услышат наших криков — их кельи далеко.

— Ах, я готова ночевать хоть в саркофаге, лишь бы знать, что мы у выхода.

Опять ходьба до изнеможения, двойной топот шагов, безвестные могилы в стенах, камень под ногами, камень над головою,— холодный, мертвый, безответный. Ходы вьются, как змеи, то вверх, то вниз, то влево, то направо и все грознее и грознее опутывают и сжимают англичанок своими роковыми звеньями.

— Не могу я дальше идти... не могу!

Кэт облилась слезами, бессильно прислонясь спиною к холодной стене.

— Да и некуда,— с холодным ожесточением согласилась Мэг. Она села рядом с сестрою у ее ног.— Нечего обманывать себя и утешать: мы погибли. Это — паутина. Мы задохнемся в ней, как две мухи.

— Не говори таких ужасных слов, Мэг! Мы не должны, не можем умереть... Господи! и как только пришла нам в голову проклятая мысль — пуститься в эту несчастную экскурсию!

— Ты же предложила, Кэт.

— А ты старшая, ты сильнее меня, умнее... Тебе следовало остановить меня, отговорить... А ты вместо того... Ах, Мэг! Мэг!

— Что спорить, кто виноват!— сурово возразила Мэг.— Обе виноваты. Поздно спорить, когда мы умираем.

— Голодная смерть... Господи!.. Мэг! я не хочу умирать так страшно...

— Об этом тебя не спросят, дитя. Умрешь, как Бог послал.

— Бог послал?! да за что же? за что? чем мы оскорбили Его? Чем я оскорбила? Ведь мне же всего-то, всего двадцать лет — и умирать?! А-а-а-ах! Мэг! Мэг! Мэг! спаси меня! не отдавай! я не хочу умирать, не стану умирать...

Она рыдала, выкрикивая бессмыслицу, как малый ребенок. Мэг молчала и только гладила ее по голове: больше ей нечего было сделать в утешение обезумевшей сестры.

— Может быть,— шептала Кэт, притихнув,— мы оскорбили Бога тем, что пришли сюда. Может быть, люди, спящие во всех этих гробах,— святые, и Он наказывает нас за то, что мы потревожили их смертный сон? Ведь они — мученики, они умерли за Него...

— Оставь эти мысли!— строго приказала Мэг.— Ты христианка. Наш Бог — Бог живых, а не Бог мертвых,

— Бог живых, Бог живых! помилуй нас, помоги нам,— бессознательно лепетала Кэт...

* * *

Часы летели...

Далеко-далеко от места, где остались было сестры, в подземной тьме чиркнула восковая спичка, и вслед за тем засветился рефлектор. Это Мэг проснулась... Она опустила фонарь: огненный круг озарил чье-то старое-старое лицо с закрытыми впалыми глазами, склоненное к ее коленам.

— Спит,— пробормотала она и опять загасила свет. Из-за фонаря у нее шли недавно долгие и гневные пререкания с сестрою.

Вынужденная экономить свет, она настаивала, чтобы свеча горела, только пока опи будут на ходу, а отдыхать можно и в потемках. Кэт не хотела и слышать, чтобы расстаться с огнем.

— Я сойду с ума,— кричала она.— Когда погаснет этот огонек, погаснет и мой разум.

— Дитя,— уговаривала ее сестра,— пойми же, что именно ради того мы и должны как можно дольше сберегать наш огонь... Пока у нас есть свеча и вода, мы можем бороться, надеяться... А во тьме — все будет кончено... в несколько часов!..

Кэт убеждалась, позволяла погасить свечу но, едва мрак окружал ее, начинала метаться и кричать...

— Я не хочу! я не могу! мои мысли мешаются. Дай мне видеть свет, или я разобью себе голову о камни. Эта тьма — живая,— лепетала она, вся трепещущая, прижимаясь к сестре,— в ней что-то ходит, летает... оно съест нас, уничтожит, милая Мэг...

— Полно, полно,— сдерживая рыдания, успокаивала ее сестра.— Ну, можно ли так теряться, Кэт?

— Я слышу шаги, слышу шепот...— галлюцинировала

девушка,— оно надвигается на нас, Мэг... оно над нами... я чувствую его холодные лапы, его мертвое дыхание...

— Чье дыхание? кто «оно»? о чем ты говоришь?— терзалась Мэг.

— Оно... привидение, что шагало за нами от самого входа... Ты помнишь? — мы слышали шаги и смеялись, а оно шло, все шло...

— Кэт, опомнись! Не позволяй себе бредить! Иначе воображение окружит тебя такими страхами, что ты не в силах будешь справиться с ними и в самом деле сойдешь с ума.

Но Кэт твердила ясно и убежденно:

— Это оно оборвало снурок и завело нас сюда, чтобы выпить нашу кровь и съесть наше тело.

Мэг зажала уши и гневно кричала:

— Стыдно! ты — христианка, образованная девушка, а тебе мерещатся какие-то вампиры, точно мужичке.

— Ах, в этом царстве мертвых всему поверишь! — с отчаянием возражала Кэт.

— Здесь никого нет, кроме нас! слышишь ты? Никого, никого!

— Да,— упорствовала младшая сестра,— никого, пока светит рефлектор. Должно быть, оно боится света. Но когда ты гасишь огонь, оно приближается, и я начинаю умирать: мне душно, мой мозг леденеет... Бежим отсюда, Мэг, бежим!

В беспорядочном бегстве от овладевшего Кэт панического ужаса сестры метались под сводами своей огромной гробницы. как летучие мыши. Они бросались наудачу в первые попавшиеся ходы лабиринта, пробегая по ним километр за километром, пока не сваливало их на землю изнеможение или не упирались они в глухую стену. Или же — оглупевшие, потеряв энергию и волю,— они прилеплялись к камням какой-нибудь могилы и сидели без мыслей и без надежд, подавленные усталостью тела и духа до состояния, когда и к самой смерти человек безразличен, потому что ему кажется,— все равно: он уже заживо умер!

Закрыть рефлектор Мэг удалось, только когда Кэт задремала. Вслед за нею сонное оцепенение охватило почти мгновенно и старшую сестру. Теперь, проснувшись, Мэг чувствовала сильный голод, и все тело болело, будто избитое палками. Который-то час? Хронометр показал Мэг странную цифру. Она с недоверием поднесла часы к уху: нет, они шли правильно, маятник тикал четко и мерно. Одиннадцать!

Но одиннадцать было и когда мы засыпали?! Что же это? Неужели мы проспали подряд двенадцать часов? Сандвичей оставалось еще штучки три-четыре. Мэг отломила кусочек хлеба и ела его крошка за крошкою, стараясь протянуть время и обмануть голод этою призрачною едою... Ей пришло в голову: «Через час все наши сойдутся завтракать у Корадетти — Смит, Риццони, Сведомские, будут поминать нас, удивляться, что нас нет. Быть может, Корадетти сейчас как раз над нашею головою... ведь катакомбы тянутся под целым Римом, и Бог знает как далеко и в какую сторону мы зашли. Смит ухаживает за Кэт и непременно предложит brindisi[1] в ее честь. А она, бедная, задыхается в агонии голодной смерти — на сорок футов в земле под его ногами...»

Кэт проснулась.

— Долго я спала? — был ее первый вопрос.

Мэг не решилась напугать ее ответом, что они в катакомбах уже целые сутки.

— Минут сорок,— солгала она.

— И ничуть не отдохнула, все-таки... Голова болит, колена дрожат, спину ломит... А ты что делала?

— Мне не хотелось спать, я стерегла тебя.

— Я есть хочу,— сказала Кэт после некоторого молчания робко и жалобно.— Можно?

Сердце Мэг сжалось:

— Деточка моя, конечно, можно.

Она дала сестре сандвич. Та съела и попросила еще. По обстоятельствам, это была непозволительная расточительность, но Мэг не могла отказать. Она думала: «Часом раньше, часом позже — не один ли конец? А ведь это последнее баловство, какое я могу оказать Кэт, последняя моя услуга ей...

Часы летели.

Последний сандвич разделен и съеден. Последняя капля воды выпита. Последняя искра света погасла. Мрак и смерть! Клекот агонии в двух пересохших горлах да изредка слабый безумный стон:

— Мне двадцать лет... Только двадцать лет!..

Работник Николо Бартоломе, нанятый на поденщину чистить сад Монте-Пинчио, только что взялся за метлу, чтобы

---

[1] Тост *(ит.)*

утреннею порою, пока сад закрыт для публики, убрать осенние листья, облетевшие за ночь с деревьев на дорожки любимого гулянья римлян.

Он курил и пел:

Addio, Roma,
Bella citta —
La-ra-li-le-ra.
Bella citta![1]

И вдруг замолк: ему почудился стон.

— Diavolo![2] откуда это?

Стон повторился.

— Уж не придушили ли здесь кого-нибудь ночью? — подумал Николо.— Или может быть, сохрани Бог, самоубийца! Римляне любят-таки кончать с собою на Монте-Пинчио.

Он обшарил кусты, прислушиваясь к стону, и наконец остановился в глубочайшем изумлении: стонала — теперь он различал это совершенно определенно — груда прелого листа, которую, вот уже около недели, сметал он стогом к решетке старой водопроводной отдушины. Груда не только стонала, но трепетала,— что-то рвалось из нее на волю, точно цыпленок из яйца.

— Sangue di Gristo![3] — воскликнул Николо,— воры зарезали человека и бросили его в мою кучу. Если этот бедняга задохнется, меня отправят в тюрьму на всю жизнь.

Он разбросал листья метлою до самой решетки, взглянул и уронил метлу, чувствуя, что волосы поднимают колпак на его лохматой голове.

— Befana![4] — мелькнуло в его суеверном умишке. Из недр земли, сквозь решетку, глядело на него страшилище: костлявая ведьма, в седых космах, с лицом такого же земляного цвета, как и листья, его облепившие, вся в ссадинах, царапинах, синяках, с глазами, пылавшими как два угля, по сторонам носа, похожего на заостроенное копье. Ведьма совала сквозь решетку тощие руки — точно цыплячьи лапки —

[1] Прощай, Рим,//Прекрасный город!//Ла-ра-ли-ле-ра.//Прекрасный город! *(ит.)*

[2] Черт! *(ит.)*

[3] Христова кровь! *(ит.)*

[4] Здесь: ведьма! *(ит.)*

и, делая Николо знаки, неясно мычала синим ртом... Возле нее ворочался какой-то живой мешок, потерявший, под слоем земли и листьев, всякое человеческое подобие.

— Befana!.. Vade retro, Satanas![1]

Но страшилище овладело наконец своею речью. Николо услыхал:

— Salvate noi, amico... siamo due ingleze... tre giorni senza pane... morriamo da fame[2].

Это была Мэг.

* * *

Кто посещал купанья Ривьеры и Тосканского побережья, наверное, встречал либо в Нерви, либо в Санта-Маргарите, либо в Виареджио двух пожилых англичанок, очень схожих между собою. С лица обе совсем не дряхлы, но у обеих волосы седы, как лунь, у обеих головы трясутся, точно у восьмидесятилетних. С младшею разговаривать бесполезно. Она помнит только, что ее зовут Кэт, что у нее есть сестра Мэг, которая очень добра к ней, и что, когда солнце уходит спать в море, надо зажигать как можно больше свечей, потому что в потемках живут свирепые привидения, готовые высосать у человека кровь и съесть его тело.

— Это было со мною, синьор,— все было, когда мы сидели там, под землею,— уверяет безумная.— Оно не успело сожрать меня, потому что Мэг боролась за меня — она очень храбрая, моя сестра Мэг! Но оно выпило мою кровь, и теперь я — никуда не годная старуха. А между тем мне только двадцать лет, синьор... всего двадцать лет.

Этот унылый припев неизменно вторит ее болтовне, как звон похоронного колокола:

— Мне двадцать лет... всего лишь двадцать лет!

И двадцать лет эти идут ей вот уже двадцатый год. Но от Мэг турист может узнать все подробности их заключения в подземельях св. Каллиста. Как Бог помог им спастись, она не отдает себе отчета. Счастливый выход к отдушине на Monte-Pincio достался ей — именно вроде неожиданно вы-

---

[1] Ведьма! *(ит.)* Отойди, сатана! *(лат.)*

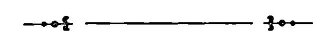
[2] Спасите нас, друг... мы две англичанки... трое суток без хлеба... умираем от голода *(ит.)*

хваченного, удачного билета лото, одного выигрышного на сто тысяч аллегри.

— Голод, жажда и тьма совершенно обессилили нас. Кэт лежала у моих ног без чувств и без движения, не в силах даже стонать и плакать. Я, в припадке последнего отчаяния, то молилась, то богохульствовала, то каялась в своих грехах, то проклинала... Протяну руку к Кэт — вот ее изменившиеся, заостренные черты; чувствую, что она умирает, что она — вот-вот сейчас умрет. Знаю, что и сама умру вслед за нею. Но своя смерть меня пугала меньше, чем мысль, что Кэт умрет раньше меня, на моих руках... Меня объяли ужас и тоска, каких не только вы не можете вообразить вчуже, но даже я не имею сил вспомнить отчетливо. Думаю: сяду подальше от Кэт... Мне будет не так жаль ее, не так жутко. Поцеловала ее — она и не почувствовала — и отошла, ощупью, держась за стенку. Вдруг чувствую: рука стала влажная. Родник? Боже мой! да ведь это жизнь! Это спасение! С водою человек выдерживает недели голода... Освежилась сама, нашла Кэт, притащила ее к воде, освежила... Тогда я стала рассуждать: нет, это не родник. Будь родник, вода текла бы по полу, а тут стена влажная лишь на высоте моей руки, а снизу совершенно сухая. Следовательно, это не она испускает воду, а вода оседает на ней; стена потеет... Это — атмосферная влага. Значит, сюда есть приток свободного воздуха. Откуда? Конечно, сверху,— иначе почему бы роса отлагалась только на верхней части стены?.. И мне пало на мысль попытать последнего счастья: пойти вверх, придерживаясь влажной стены... Кэт не могла идти; я обвязала ее вокруг талии платком и тащила за собою волоком... Много ли мы шли, сколько времени,— не могу сказать... Знаю только, что, когда на одном повороте вечная тьма, в какую мы были погружены, вдруг будто дрогнула и перешла в серый сумрак, я едва не выпустила из рук своих Кэт: и от внезапного волнения радости, и оттого, что переход этот ослепил меня,— настолько показался мне ярким... А затем мы увязли в рыхлой массе прелого листа и по ней скорее докатились, чем дошли до решетки, за которою открыл нас Николо Бартоломе.

Монте-Пинчио и катакомбы св. Каллиста отстоят друг от друга километров на десять. Сестры провели в земле трое суток: сколько километров сделали они по извилистым ходам катакомб, конечно, мудрено сосчитать даже предположитель-

но. Но чтобы пройти от св. Каллиста к спасительной отдушине на Монте-Пинчо — им пришлось пересечь по подземному диаметру весь Вечный город, спускаясь ниже ложа Тибра... Таковы подземелья древнего Рима — таково-то шутить с ними!



Мертвые боги

(Тосканская легенда)

На небе стояла хвостатая звезда. Кровавый блеск ее огромного ядра спорил со светом луны, и набожные люди, с трепетом встречая ее еженочное появление, ждали от нее больших бед христианскому миру. Когда комета в урочный час медленно поднималась над горизонтом, влача за собой длинным хвостом круглый столб красного тумана, в ее мощном движении было нечто сверхъестественно грозное. Казалось, будто в синий простор Божьего мира ползет из первобытного мрака свирепый царь его, огненный дракон Апокалипсиса, готовый пожрать месяц и звезды и раздавить землю обломками небесного свода. Комета смущала воображение не только людей, но и животных. Сторожевые псы выли по целым ночам, с тоскливым испугом вглядываясь в нависший над землею пламенный меч и словно пытая: правду ли говорят их хозяева о чудном явлении? точно ли оно — предвестник близкой кончины мира? Светопреставления ждала вся Европа. Булла папы и эдикты королей приглашали верующих к молитве, посту и покаянию, ибо наступающий год, последний в первом тысячелетии по Рождестве Христовом должен был, по предположению астрологов, быть и последним годом земли и тверди: годом, когда явится предсказанный апостолом ангел и, став одною стопою на суше, другою на море, поклянется Живущим вовеки, что времени уже не будет.

Без числа ходили слухи о чудесах и знамениях. В Кремоне видели, на закате, в облаках двух огненных воинов, по виду сарацинов, в бою между собою. В Нанте овца растерзала волка. Жители Авиньона в течение трех часов слышали великий воздушный шум — ярые голоса невидимых ратей и звон оружия. В самом Риме прекрасная принцесса Джеронима Альдобранди, скончавшаяся от изнурительной лихорадки, очнулась к радости родных, на третий день от смертного сна, встала из гроба и пошла, славя Бога, слушать мессу, заказанную за ее упокой. К страхам вымышленным присоединялись страхи действительные. Землетрясение неутомимою волною перекатывалось по трем полуостровам Средиземного моря, чума бродила по Ломбардии и Провансу, норманы неистовствовали на западе, мусульмане напирали на Европу с востока и юга. На северо-востоке нарождались славянские государства, еще неведомые, но слышно, что могучие, страшные, грозные. От Атлантического океана до Волги все бродило, как в мехе с молодым вином. Что-то зрело в воздухе, и народам, удрученным переживанием этого брожения, думалось, что зреет недоброе. Для людей, суеверных и утомленных тяжелыми временами, весть о светопреставлении была сигналом потерять голову и превратиться в пораженное паникой стадо.

Одни готовили себя к переходу в лучший мир молитвами, вступали в монастыри, бежали в пустыни, горные пещеры и в аскетических трудах, под власяницами, ждали судной трубы архангела. Другие, хотя уверенные в непременном разрушении вселенной, все-таки находили нужным зачем-то составить духовные завещания. Третьи, наконец, впадали в свирепое отчаяние и убивали остаток жизни на пьянство, разврат, преступления. Никогда еще Европа не молилась и не грешила с большим усердием. Боязнь ожидаемого переворота была так велика, что многие предпочитали кончить жизнь самоубийством, лишь бы не быть свидетелями наступающих ужасов Божьего гнева. Равнодушных было очень мало, неверующих презирали и ненавидели. За сомнение в состоявшемся уже пришествии антихриста побивали камнями. Фанатики клятвенно уверяли, будто антихрист не только народился, но и воцарился и сидит на римском престоле под видом папы — безбожника, ученого-чернокнижника Герберта-Сильвестра.

В такое-то время случилось на диком горном пустыре,

недалеко от города Пизы, странное происшествие, записанное в монастырских мемориалах под названием: «Дивные и пречудные приключения Николая Флореаса, уроженца славного города Камайоре, оружейных дел мастера и некогда доброго христианина».

Николай Флореас был молод и красив собою. Оружейное ремесло закалило его силы, развило ловкость; частое общение с людьми благородного происхождения усвоило Флореасу привычки, вид и обращение его знатных заказчиков и покупателей. Женщины говорили, что нет в Камайоре мужчины, более достойного любви, чем Николай Флореас, даже и между рыцарями герцогского двора. Если бы Флореас жил во Флоренции, Пизе или Сьенне, он, по талантам своим, наверное сделался бы одним из народных вождей, каких так много создавали гражданские междоусобия средневековой Италии. Они выходили из низших общественных слоев, как Сфорца и Медичи, чтобы потом лет на пятьсот протянуть свою родословную, полную блистательных имен и громких подвигов. Но Николай Флореас был обывателем Камайоре, глухого горного городка, где горожане жили мирно, не делясь на политические партии. Сверх того, он был человек скромный, хотя решительный и способный. Как большинство оружейников, он знал грамоту. Он сочинял сонеты и играл на лютне.

В один летний день Николай Флореас окончил кольчатую броню, заказанную ему начальником наемников пизанской цитадели, длинноусым норманом Гвальтье. Взвалив свою ношу на осла, мастер, в сопровождении двух вооруженных подмастерьев, направился из Камайоре горами в Пизу. Летняя ночь застала Флореаса в дороге. Она упала сразу, черная и глухая; на аспидном небе зажглись громадные звезды и огненный столп кометы. Напрасно было бы в то дикое, разбойничье время трубить ночью у ворот какого-либо города или замка. Ответом пришельцу свистнула бы туча стрел. Средневековое гостеприимство кончалось с закатом солнца. Пришелец был другом, когда приходил при солнечном сиянии, и врагом после того, как замыкались рогатки и поднимались мосты со рвов, наполненных водою. Флореас и его спутники заночевали на перепутье, у костра, разложенного у ног каменной Мадонны. Боясь ночного нападения, путники решили спать по очереди. Двое, по жребию, спали с оружием в руках, а один бодрствовал на страже. Первый жребий не спать

выпал самому Флореасу. Прислонясь к обломку скалы, он беспечно наблюдал медленный ток светил по небесным кругам. Пламя костра играло красными лучами. Развьюченный осел бродил, не отходя далеко от стана, на подножном корму. Флореас слушал звуки горной ночи. Им овладело трогательное настроение, в какое повергает всех впечатлительных людей торжественная тишь спящей пустыни.

Но вот внезапно среди величественного безмолвия раздался странный звук. Словно кто-нибудь коротко взял аккорд на церковном органе,— взял и бросил. Звук рванулся в воздух и сейчас же заглох. Точно кто-то зарыдал было, но, устыдившись своей слабости, задавил рыдание. Николай Флореас осмотрелся. Он не понимал ни что это за звук, ни откуда он прилетел. Так как звук не повторялся, Флореас решил, что, вероятно, он задремал, и, в дреме, обманутые чувства создали этот загадочный аккорд из обычных звуков ночи. Но когда он, совсем успокоенный, опять прилег к костру, звук снова задрожал в воздухе и — уже яснее и более продолжительно, чем в первый раз: как будто сразу запело несколько арф под перстами искусных менестрелей. Флореас вскочил в волнении. Он знал, что поблизости нет ни одного значительного селения, откуда мог бы примчаться таинственный звук. Трудно было предположить, чтобы по соседству ночевал путевой караван какого-либо синьора со свитою и челядью, среди которой могли случиться игрецы на арфе. Ночлег Флореаса был расположен на высоте холма: окрестности были видны на далекое пространство, но хоть бы где-нибудь костру оружейника ответил другой костер. Флореас с легкой дрожью подумал единственное, что ему оставалось подумать: что он слышал звуки нездешнего мира. Как человек набожный и мужественный, он не потерялся, а разбудил своих спутников и рассказал, что с ним было. Они не поверили.

— Просто ты спал, мастер, и тебе показалось это во сне,— сказали они.

Но звук снова налетел из безвестной дали, как волна, и так же быстро, как волна о песок, разбился и растаял в воздухе.

— Это скалы поют,— в испуге сказал один подмастерье.

— Или дьявол справляет свою свадьбу,— крестясь, прибавил второй.

— Друзья мои,— сказал Флореас,— все это может быть; но я не буду спокоен до тех пор, пока не узнаю, откуда эти

звуки и зачем они. Поэтому пойдем в ту сторону, откуда они звенят.

Но подмастерья наотрез отказались.

— Если нам судьба попасть в когти дьявола,— говорили они,— то успеем еще попасть после смерти, а зачем будем лезть к нему живьем?

— Тогда я пойду один,— сказал Флореас, потому что мое желание узнать тайну сильнее меня, и я не могу быть спокоен, пока ее не разрешу. Ждите же на этом месте моего возвращения, а я пойду, куда зовет меня музыка.

Подмастерья пришли в ужас и умоляли Флореаса не подвергать себя опасностям ночного пути невесть куда и зачем, но он остался непреклонным. Тогда они пытались удержать его силой. Но Николай Флореас обнажил кинжал и грозил поразить первого, кто осмелится до него коснуться. Подмастерья в страхе отступили; он же воспользовался их замешательством, чтобы исчезнуть в темноте ночи.

Флореас долго блуждал во мраке по пустым равнинам и неглубоким оврагам. На небо взбежали тучи. И комета и звезды изменили Флореасу. Он шел, сам не зная куда идет: на север, на запад или на юг, так что если бы он и хотел вернуться к своим подмастерьям, то уже не мог бы. При том всякий раз, как только мысль о возвращении приходила в голову Флореаса, таинственный аккорд, непостижимо увлекший его во тьму пустыни, снова звучал — и с такою силою страсти и страдания, как будто все хрустальное небо разрушалось, со звоном рассыпая осколки на грудь матери-земли. Наконец Флореас заметил вдали мерцание красной точки — далекого костра или окна в хижине.

«Я пойду на этот свет,— подумал Флореас,— я достаточно сделал, чтобы удовлетворить своему желанию; но тайна упорно не дается мне в руки, и я не в силах бороться с невозможным — должен возвратиться. Если это мои спутники, тем лучше; если нет, то авось эти люди не откажут мне в ночлеге и укажут дорогу в Пизу...»

Он шел на огонь до тех пор, пока нога его не оступилась с ровной почвы в провал. Путник едва успел откинуться назад, чтобы не сорваться в глубь пропасти. Он уселся на краю обрыва, едва не втянувшего его в свои недра, и стал ждать рассвета. Глядя пред собой, Флореас заметил, что огонек, на который он шел, как будто растет силою пламени... дробится на многие светящиеся точки... Флореас не мог дать себе

отчета, что это за огни. Не может быть, чтобы Пиза! Но если нет — куда же он попал? Видно было, что под ним в глубокой котловине лежит большой город... Выступили из мрака очертания горных вершин; восток побелел; огромная голубая звезда проплыла на горизонте и растаяла в потоке румяного света. Три широких белых луча, разбегаясь, как спицы колеса, высоко брызнули из гор в простор неба... Птицы пустыни тысячами голосов приветствовали утро; пестрые ящерицы проворно скользили по серым камням, в радостной жажде солнечного тепла.

Внизу, в долине, еще клубился туман. Но так как теперь Флореас знал, что под его белым покровом спит какое-то жилье, то решил спуститься. Он увидел тропинку-лестницу, вырубленную в скале... Давно никто не ходил по ней: растреснутые, иззубренные временем ступеньки поросли репейником и мареною; длинные ужи, шипя, уползали из-под ног Флореаса; он раздавил своим кованым сапогом не одну семью скорпионов.

Солнце встало над горами; туман растаял. Флореас одиноко стоял среди желтой песчаной лощины, сдавленной зелеными горами, и удивлялся: не только города — ни одной хижины не было поблизости... Ветер уныло качал высокие сорные травы... Песок блестел под солнцем... Серело ложе широкой, но совершенно высохшей от летнего зноя реки... Вот и все.

В досаде разочарования бродил Флореас по лощине. Он чувствовал себя страшно усталым: о возвращении нечего было и думать. Из шнурка, стягивавшего сборки его кафтана, он сделал пращу и, набрав гладких голышей, убил ими с дюжину мелких пташек пустыни. Обед его был обеспечен. Надо было найти воды. Она журчала неподалеку. Флореас пошел на звук... Ручей тек обильною волною из-под низко нависших ореховых кустов. Флореасу показалось странным слишком правильное ложе потока. Нагнувшись к воде, он увидал, что когда-то ручей был заключен в мраморные плиты: желтоватый гладкий камень еще проглядывал кое-где сквозь густой мох, темным бархатом облепивший дно и стенки источника. Раздвигая цепкие ветви орешника, Флореас пошел вверх по течению и скоро добрался до обширной лесной поляны. На ней в беспорядке громоздились серые громадные камни. Флореас узнавал ступени, обломки карнизов; толстая колонна с отбитою капителью лежала поперек дороги... Посреди по-

ляны возвышалась груда камней в полроста человеческого, похожая на очаг и на надгробный памятник. Осколки мраморного щебня валялись кругом. Ручей тек прямо из-под этой груды, которая, как и его русло, была когда-то обделана в мрамор. Еще виднелись кое-где следы обшивки, испещренной бурыми буквами, давно разрушенной и утратившей смысл надписи. Флореас прочитал.

Оружейник оглядел местность и подумал, что расположиться для обеда здесь, на поляне, между зелеными стенами узкого ущелья, приятнее, чем в песчаной пустыне, только что им оставленной. Он устроил костер на древнем памятнике-очаге и, нанизав убитых птиц на гибкий прут, изжарил их над огнем. Синий дым весело поднялся к небу зыбким столбом. Голодный Флореас наскоро съел свой скудный обед, запил водой из ручья... Его сморило сном.

Флореас проснулся впотьмах, поздним вечером. Ему очень не хотелось вставать с земли, но он сделал над собою усилие... И вместе с тем как он поднимал свою еще отягченную сном голову, он видел, как поднимается из праха поверженная колонна. Он бросился к ней,— на ней не оставалось ни мхов, ни ракушек, ни плесени: блестящий и гладкий столб красного порфира, гордо увенчанный беломраморным узором капители. Фролеас осязал воскресшую колонну, чувствовал ее холод... Десятки таких же колонн с глухим рокотом выходили из-под земли, слагаясь в длинные портики. Дымный и грязный очаг превратился в великолепный жертвенник. Костер Флореаса разгорелся на нем с такою силою, что розовое пламя, казалось, лизало своими острыми языками темное небо, и зарево играло на далеких скалах. Цветочные гирлянды змеями взвивались, неведомо откуда, прицеплялись к колоннам и, чуть качаемые ветром, тепло и мягко обвевали Флореаса благоуханиями.

Молодой человек понял, что стоит у разгадки тайны, в которую вовлекли его прошлою ночью неведомые звуки. А они, как нарочно, снова задрожали в воздухе, но уже не рыдающие, как вчера, а весело торжествующие. Ущелье сверкало тысячами огней, гудело праздничным гулом тысячеголовой толпы. И голоса и огни близились к храму. Пред изумленным Флореасом медленно проходили важные седобородые мужи в длинных белых одеждах, украшенные дубовыми венками, и становились рядом налево от пылающего жертвенника, а направо сбирались резвою толпою прекрасные полуобнажен-

ные девы. Их тела были как молоко. Флореасу казалось, что они светятся и прозрачны, как туман, летающий в лунную ночь над водами Арно. Каждая потрясала дротиком или луком; у иных за плечами висели колчаны, полные стрел; многие — сверх коротких, едва закрывших колена, туник — были покрыты пестрыми шкурами зверей, неизвестных Флореасу. Нем и недвижим стоял оружейник в широком промежутке между рядами таинственных мужей и дев... Он начинал думать, что попал на шабаш бесов, но никогда не предположил бы он, что бесы могли быть так величавы и прекрасны.

Новые огни, новые голоса наполняли храм. Девять жен чудной красоты поднимались по мраморной лестнице, сплетаясь хороводом вокруг мощного юноши, который сиял, как солнце, и блеск, исходивший от его лица, затмевал блеск лампад храма. В руках юноши сверкала золотая лира, и со струн ее летели те самые звуки, что приманили Флореаса. И мужи в белых одеждах, и вооруженные девы упали в прах пред лицом юноши. Остался на ногах только Флореас, но его как будто никто не замечал в странном сборище, хотя стоял он ближе всех к жертвенному огню. Юноша гордо стал пред жертвенником и, радостно простирая руки к огню, воскликнул голосом, подобным удару грома:

— Проснись, сестра! Твое царство возвратилось.

Радостно зазвенели золотые струны его лиры, и он запел гимн, от которого потряслись скалы, зашатались деревья и ущелье и, как испуганные очи, замигали звезды на небе. Он пел, а вокруг него с криком неслись в пляске его прекрасные спутницы. Мужи в белых одеждах и вооруженные девы подхватили гимн. Схватившись за руки, они оплели жертвенник целым рядом хороводов. У Флореаса кружилась голова от мелькания пляски, звенело в ушах от пения, вопля и грома лиры. Он позабыл все молитвы, какие знал, рука его не хотела подняться для крестного знамения.

— Проснись, сестра! — звал юноша.

— Встань, царица! проснись, богиня! — вторила толпа. Вооруженные девы выхватили из колчанов стрелы и проводили ими глубокие борозды на своих белоснежных челах. Кровь струями текла по их ланитам, они собирали ее в горсть и бросали капли в жертвенный огонь.

Пламя раздвоилось, как широко распахнувшийся полог, над жертвенником встало облако белого пара. Когда же оно

поредело и тусклым свитком уплыло из храма к дальним горам, на жертвеннике, между двух стен огня, осталась женщина, мертвенно-бледная, с закрытыми глазами. Она была одета в такую же короткую тунику, как и все девы храма, так же имела лук в руках и колчан за плечами, но была прекраснее всех. Строгим холодом веяло от ее неподвижного лица. Мольбы, крики, песни и пляски росли, как буря на море. Пламя сверкало, напрягая свою мощь, чтобы согреть и разбудить мертвую красавицу. Синие жилки, точно по мрамору, побежали под ее тонкою кожей; грудь дрогнула; губы покраснели и зашевелились... и —с глубоким вздохом, будто сбросив с плеч тяжесть надгробного памятника,— она пробудилась от сна. Оглушительный вопль приветствовал ее... Все упали ниц; даже юноша с золотою лирою склонил свою прекрасную голову. Огонь на жертвеннике угас сам собою, а над челом красавицы вспыхнул яркий полумесяц. Он рос и заострял свои рога, и в свете его купалось тело богини, точно в расплавленном серебре. Она водила по толпе огромными черными глазами, мрачными, как сама ночь, под бархатным пухом длинных ресниц. Взгляд ее встретился с взглядом Флореаса, и оружейник почувствовал, что она смотрит ему прямо в душу и что не преклониться пред нею и не обожать ее может разве лишь тот, у кого вовсе не гнутся колена, у кого в сердце не осталось ни искры тепла, а в жилах — ни капли крови. Кто-то дал ему в руки стрелу, и он, в восторженном упоении, сделал то же, что раньше делали все вокруг: глубоко изранил ее острием свой лоб и, когда заструилась кровь, собрал капли в горсть и бросил к ногам богини с громким воплем:

— Радуйся, царица!

И, в ответ его воплю, среди внезапной тишины, раздался мощный голос, глухо и торжественно вещавший медлительную речь:

— Здравствуй, мой светлый бог и брат, царь лиры и солнца! Здравствуйте, мои верные спутницы и слуги! Здравствуй и ты, чужой юноша, будь желанным гостем между нами. Семь веков прошло, как закатилось солнце богов, и я, владычица ночей, умерла, покинутая людьми, нашедшими себе новых богов в новой вере. Здесь был мой храм — здесь моя могила. Вымерли мои слуги, прахом рассыпались мои алтари, сорными травами заросли мои храмы, мои кумиры стали забавой людей чужой веры. Жертвенный огонь не возгорался на моей

могиле, я не обоняла сладкого дыма всесожжений. Не могут боги жить без жертв; бесжертвенный бог засыпает сном смерти. Я спала в земле, как спят человеческие трупы, как спите все вы, мои спутницы и слуги; я — мертвая богиня побежденной веры, царица призраков и мертвецов! Юноша разбудил меня. Он пришел на таинственный зов, он оживил мой храм и согрел огнем мой жертвенник. Клянусь отцом моим, спящим на вершине Олимпа,— велик его подвиг и велика будет его награда. Николай Флореас! хочешь ли ты забыть мир живых и здесь в пустыне стать полубогом среди забытых богов? Хочешь ли ты свободно коротать с нами веселье и торжественные ночи и в вихрях носиться над землею, от льдин великого моря блаженных Гипербореев к слонам и черным пигмеям лесистой Африки? Хочешь ли ты назвать своим братом бога звуков и света? Скажи: хочу! — отрекись от своего мира, и я отдам тебе свою любовь, которой не знал еще никто из богов и смертных.

И небо и земля молчали, и ветер не дышал, когда Флореас тихо ответил:

— Хочу. Я твой раб, и жизнь моя принадлежит тебе.

Пламенем вспыхнули очи богини, радостно дрогнули ее ноздри, громкий крик, похожий на охотничий призыв, вырвался из ее груди. Она сошла с жертвенника и, прямая и трепещущая, как стрела, только что сорвавшаяся с тетивы, приблизилась к Флореасу. Теплые уста с дыханием, пропитанным ароматом животворящей амброзии, коснулись его губ; теплая рука обвила его шею и закрыла ему глаза. Флореас слышал, как богиня отделила его от земли... как они медленно и плавно поднялись в воздух, сырой и прохладный... С шумом, песнями и смехом взвилась за ними вся толпа, наполнявшая храм, ее движение рождало в воздухе волны, как в море... Богиня сняла руку с глаз Флореаса; он увидал себя на страшной высоте; огни храма меркли глубоко внизу. Закрыв глаза, он почти без чувств склонился на плечо богини, пропитанное светом осенявшего ее полумесяца... Как сквозь сон, слышал он охотничьи крики и свист вихря, помчавшего воздушный поезд в безвестную даль. Волосы богини, подхваченные ветром, хлестали его по лицу.

— Не бойся! — слышал ее голос Флореас,— не бойся, супруг мой. Тот, кого я держу в своих объятьях, не должен ничего бояться. Он сильнее природы, она его слуга...

Они мчались над широкими реками в плоских берегах, над

темными городами с стрелкообразными колокольнями, над тихо шепчущими маисовыми полями, изрезанными сетью мутных каналов, над болотами, окутанными в густую пелену опасных туманов,— направляясь на далекий север, к неприступной стене суровых Альпов. Снежная метель захватила воздушный поезд, потащила его по узким ущельям к сверкающим льдинам глетчера и долго крутила охоту богини по снежным полям. Стадо серн пронеслось так далеко, что Флореасу оно показалось стадом каких-то рогатых мышей. Но богиня бросила стрелу, и стадо рухнуло в внезапно открывшуюся пред ним бездну.

— Галло — э! добыча! добыча! — закричала богиня. И хохотом и воплями отвечала ей дикая охота. Гремели рога, выли псы, звенела арфа прекрасного светлого бога.

Они спускались к тихим озерам, чтобы поражать проворных выдр, когда они выныривали из-под воды, держа в зубах карпа или щуку. Богиня опрокидывала постройки умных бобров и, когда зверьки темными пятнами ускользали в разные стороны, сыпала в них убийственные стрелы. Потянулись лесистые равнины Германии. Лиственное море шумело и волновалось от веяния волшебного полета. Ноги Флореаса скользили по вершинам столетних дубов. Мохнатые зубры, ветворогие лоси, лани с кроткими глазами, привлеченные блеском полумесяца на челе великой охотницы, выбегали на лесные прогалины и метались, оглашая ночную тишь мычанием и блеянием. Им отвечали в кустарниках голодные волки, испуганные медведи жалобно рыкали в глубоких берлогах. Но стрелы богини падали, как дождь, и, когда поезд дикой охоты улетал, рев и вой животных сменялся зловещею тишиною кладбища. Запах крови поднимался от леса. Богиня жадно впивала его, раздувая ноздри, привычная к жертвенным ароматам. Глаза ее сверкали, как у тигрицы, впускающей когти в оленя. Она казалась двуногим зверем, но зверем сверхъестественным, в котором соединялись и самое возвышенное, и самое ужасное существа животного мира: зверь — самый хищный и самый красивый, самый кровожадный и самый величественный, самый жестокий и самый обаятельный. Пред нею надо было трепетать, но нельзя было не восторгаться ею и не поработиться ей всей душой. Под обаянием ее взгляда Флореас кричал так же, как она, вместе с нею рассыпал смертоносные стрелы, с тем же наслаждением впивал одуряющий запах потоков крови, обозна-

чавших страшный путь дикой охоты по северным лесам.

Они мчались над Рейном, великою рекою чудес. Флореас видел, как в его волнах сверкали золотые клады, хранимые лебедиными девами, слышал, как грохотали водопады, как в медных замках храпели их глупые властелины, свирепые великаны. Из щелей в береговых скалах выползали рудокопы-гномы и дивились дикой охоте, задирая головы до тех пор, пока красные шапочки сваливались с макушек. Ушей Флореаса коснулся грозный шум морского прибоя. Морские валы рвались в устье, побеждая силу течения реки-великана. На сотни миль кругом кипело седыми валами Северное море — угрюмое, холодное, с бурою водою под белесоватым небом, море-враг, море-чудовище. Восток бледнел, звезды меркли и уходили за водную равнину.

— Домой! домой! — звала богиня. Голос ее звучал резко и печально, как голос ночной птицы, зачуявшей близость утра. У Флореаса заняло дыхание от усиленной быстроты полета. В промежутках головокружения он едва успел заметить, как длинною вереницею вились за поездом тени убитых зверей. Но чем больше белел восток, тем бледнее становились эти тени: то один, то другой призрак из свиты богини исчезал, сливаясь с утренними облаками. Тише раздавались охотничьи крики и хохот, замолк звон золотой лиры, потускнел венчавший богиню полумесяц. И только она сама оставалась неизменно прекрасною и сильною. Так же мощно, но еще нежнее и доверчивее прежнего, обнимала ее рука плечи Флореаса; то огнем восторженного возбуждения, то туманом неги покрывались ее обращенные к нему глаза... Они опустились в таинственный храм, откуда несколько часов тому назад унес их поезд дикой охоты. Флореас остался один с богинею — пред ее опустелым жертвенником-могилой. Беспокойным взором обвела она окрестные вершины: в сизых облаках уже дрожали золото и румянец близкой зари... И Флореас в последний раз услыхал голос богини:

— Мой день кончен... теперь — любовь и сон. Когда весь мир спит, встаем и царствуем мы, старые, побежденные боги, и умираем, когда живете вы... Мой день кончен... теперь — любовь и сон. Приди же ко мне и будь моим господином!..

Солнце роняло на землю отвесные лучи полудня. Флореас в задумчивом оцепенении сидел среди безобразных груд разрушенного храма. Он не разбирал, что было с ним ночью: сон ли, ясный, как действительность, или действительность, по-

хожая на сон. Да и не хотел разбирать. Он понимал одно: что судьба его решена, что никогда уже не оторваться ему от этого пустынного места, одарившего его такими страшными и очаровательными тайнами... Если даже это были только грезы, то стоило забыть для них весь мир и жить в них одних. Только бы снова мчаться сквозь сумрак ночи в вихре дикой охоты, припав головою к плечу богини, и на рассвете снова замирать в ее объятьях, сном, полным видений любви и смерти.

Так, полный сладких воспоминаний, в близком предчувствии бурных наслаждений новой ночи, сидел он и не замечал медленно текущего жаркого дня, уставив неподвижный взор на остатки жертвенника, где явилась вчера богиня.

И загадочные буквы, растерянные по обломкам разрушенной надписи, теперь открывали ему свой ясный смысл,— радостный смысл верного обетования:

Hic jacet Diana Dea
Inter mortuos viva
Inter vivos mortua.

«Здесь покоится богиня Диана, живая между мертвыми, мертвая между живыми».

Подмастерья Флореаса, добравшись до Пизы, рассказали, как таинственно пропал их хозяин. Не только Камайоре, но и все соседние городки приняли участие в поисках за без вести исчезнувшим оружейником, но их труд был напрасен. Тогда судьи доброго города Камайоре решили, что Флореас и не думал пропадать, а просто его убили подмастерья и зарыли где-нибудь в пустыне. Бедняков бросили в подземную темницу с тем, чтобы, если Флореас не явится в годовой срок со дня своего исчезновения, повесить подозреваемых убийц на каменной виселице у городских ворот. К счастью для невинных, незадолго до конца этого срока синьор Авеллано да Виареджио, гоняясь за диким вепрем, попал, вместе со всею своею свитой, в ту же трущобу, что поглотила молодую жизнь Николая Флореаса. Пробиваясь сквозь бурелом, кустарники и скалы, охотники наткнулись на одичалого человека в рубище, обросшего волосами, с когтями дикого зверя. Он бросился от людей, как от чумы; однако его догнали и схватили. Напрасно рычал он, боролся и кусался, напрасно хватался за каждый камень, за каждое дерево, когда понял, что его хотят увлечь из пустыни. Дикаря привезли

в Виареджио, насильно остригли и вымыли, и знакомые с ужасом узнали в нем Николая Флореаса.

Приор нагорной обители босоногих капуцинов в Камайоре дал приют несчастному оружейнику в тюремной келье, приставив к нему двух дюжих служек. Но в первую же ночь стражи-караульщики убежали от кельи, перепуганные бурным вихрем и странными голосами. Неведомо откуда налетели они в монастырскую тишь и, то рыдая, то смеясь, звали к себе Флореаса. А он между тем безумно бился в своей келье, как птица в клетке, и отвечал на призывы незримых друзей такими воплями, как будто с него с живого сдирали кожу. В следующую ночь сам приор был свидетелем этого чуда, против которого оказались бессильными заклинательные молитвы и святая вода. Тогда стало ясно, что Флореас чародей, и решено было, пока не наделал он беды и соблазна христианскому миру, сжечь его, во славу Божию, по законам страны и церковному уставу, огнем на торговой площади доброго города Камайоре, в праздник Святой Троицы, после обедни. До самого праздника Святой Троицы жил Флореас в монастыре, ночью буйствуя и пугая братию дьявольским наваждением, а днем тихий, кроткий и молчаливый. Он снова выучился понимать человеческую речь и изредка обменивался словами со своими стражами. Когда ему объявили его участь, он равнодушно выслушал приговор и даже улыбнулся: такова была его вера в могущество помогавшего ему беса. Разум его не всегда был затемнен, и монастырскому врачу, кроткому брату Эджицио из Фиэзоле, удалось выпытать у грешника, как вступил он в союз с обольстившим его бесом. Каковой рассказ Фра Эджицио и записал смиренномудро в монастырский мемориал на страх и поучение всем добрым христианам о коварных кознях и обольщениях неустанного отца всякого греха и лжи, вечно зло делающего сатаны. Совершив откровенное признание, колдун Флореас стал хиреть и чахнуть и умер в канун дня Святой Троицы, назначенного ему милосердием властей, дабы он мог очистить огненною смертью тяжкий грех союза с адом, взятый им на свою погибшую душу. Но дьявол, коварный враг всякого доброго начинания, не допустил своей жертвы до спасительного костра и задушил Флореаса в ночи. Так что поутру стражи, пришедшие за колдуном, нашли в келье только холодный труп его, который, по благому рассуждению приора и городских судей, был возложен на костре пред очами вполне

благочестивых граждан города Камайоре. Когда же тело колдуна обратилось в пепел, внезапно, при тихой погоде и солнечном дне, налетел жестокий вихрь и, разметав костер, умчался в горы, к ужасу всех присутствующих господ, дам и всякого звания народа, которые не усомнились, что в оном вихре незримо прилетал за душою покойного Флореаса погубивший его своими обольщениями дьявол.

Измена

(Сицилийская легенда)

Еще солнце и земля не родились, а Измена жила уже на свете.

Дымною струей ползла она во мраке хаоса, скрываясь от Духа, когда Он благотворным ураганом носился над буйным смешением стихий.

Дух мыслил, и мысль Его становилась мирами.

Огонь пробивал жаркими языками воду. Вода боролась с огнем. Из паров рождались каменные громады. Облитые реками расплавленных металлов, рушились они в неведомые бездны и, таинственно повиснув в безвоздушном просторе, покорно ждали — когда творческое слово обратит их в яркие светила.

«И был свет».

Первый день озарил небо небес: первозданный престол Творца и тьмы тем ангелов, смиренно склоненных пред ним.

А внизу, в неизмеримых глубинах, трепетала и таяла побежденная тьма, волновалось и пенилось огненное море. Подобно островам, чернели в нем мертвые, еще не зажженные, солнца; как огромные киты, плавали вокруг них остовы будущих планет.

Величественный дух стоял на земной скале, любуясь, как пламенные волны разбивались у ног его снопами искр и брызгами лавы.

Этот дух был любимым созданием Творца, ближайшим отражением Его света. Когда Творец воззвал его из ничтожества, он заблистал, как тысяча солнц, и Создатель, довольный плодом своей мысли, сказал:

— Живи и будь вторым по мне во вселенной!

Дух был могуч, свободен и счастлив. На его глазах зиждились миры. Он был лучшим работником, вернейшим исполнителем и помощником воли Творца. Величие Владыки внушало ему благоговейный трепет, а собственная сила и власть — радостное довольство.

Творец повелел духу лететь на землю и вещим словом превратить голые скалы и черные пропасти в лучший из миров.

Дух спустился на планету,— и величие открывшейся очам его огненной бездны очаровало его. Недвижно стоял он, испытывая взорами пестрые переливы паров и пламени, слушая грохот незримых молотов, вылетавший из огненной хляби.

Ревя и качаясь, поднялся над пучиною темно-багровый вал. Как язык в колокол, ударился он о кручу горы, где стоял могучий дух, и рассыпался грудою угля и пепла. Тонкая струя смрадного дыма потянулась снизу вверх, сквозь трещины гранита, подползла к стопам духа и лизнула его колена.

Дух затрепетал, внезапно исполнившись неведомых доселе чувств и мыслей. Он точно впервые увидал и мир, и Бога, и самого себя. И все нашел он мрачным и враждебным, а свою долю — презренною и безрадостною. Гордые мечты охватили его. Он не мог понять, что с ним делается, но ясно чувствовал, как любовь и благодарное самодовольство навеки уходят из его сердца, как, на место их, громко стучатся властолюбивая зависть и гневная ненависть.

Он был так смущен, что позабыл вверенное ему вещее слово. Когда быстрые крылья унесли его в небо небес, печальная планета оставалась такою же нагою и скудною, огненное море так же бешено клокотало вокруг нее, как прежде. А на вершине горы, покинутой омраченным духом, легла тяжелая серая туча, и в ней, свернувшись, как змея, спала и ждала новой жертвы Измена.

И снова прилетел на землю могучий дух, и другой дух — такой же прекрасный и блистательный — был с ним. Обнявшись, сидели они на камне, и первый шептал:

— Азраил! брат мой! друг мой! товарищ! Вверяю тебе мою тайну, вверяю тебе мою судьбу. Знай: я устал быть слугою,

когда могу быть господином. Я наделен могуществом без границ. Неужели оно дано мне лишь для того, чтобы я рабски творил чужую волю, когда в уме моем так много своих мыслей и желаний? Сила не может быть обречена на жизнь себе наперекор. Гордость и могущество — родные братья. Я проклинаю свой жребий, я презираю себя, когда вспоминаю, что я — безвольное ничто: орудие и только орудие! — такое же, как вот эти пламенные волны и каменные глыбы, из которых мы, служебные духи, извлекаем, сами не зная зачем, звезды, планеты и луны. Мы бессмертны, но меня приводит в ужас мое бессмертие... вечность безответной покорности и бессознательного труда! Если так сильно страдаю я — любимец Творца, больше всех жителей неба посвященный в Его тайны,— что же должны чувствовать вы, безгласные духи низших ступеней? Азраил! я решил сбросить с плеч тяготящее нас иго. Будем братьями! заменим свободным союзом дружбы невольный союз подчинения. Нас много. Повелитель — один. Он могуч, но разве Он не распределил между нами большую часть своего могущества? Тысячи братьев обещают мне помощь. Будь же и ты, друг Азраил, моим союзником в брани и победе! И — клянусь этим огненным морем,— когда я стану главою вселенной, ты получишь в обладание отдельный мир, где будешь царем и богом.

Слова изменника тронули Азраила. Он воскликнул:

— Ты прав, Сатана. Пора нам трудиться на самих себя и самим пожинать плоды и славу своих подвигов. Я твой и буду помогать тебе всею властью, которою неосторожно наделил меня Повелитель.

Сатана обнял друга и, сверкая одеждами, сотканными из молний, улетел с земли. Азраил же, глядя вслед ему, думал:

«Ты очень силен, Сатана; твои крылья покрывают полмира. Но Творец сильнее тебя: Он наполняет мир. Твои замыслы — вздор. Ты погибнешь со всеми своими соумышленниками. Не пойду за тобою, сколько бы миров ты мне ни сулил. И я честолюбив, но знаю свои силы. Сатане мало быть вторым в мире, с меня же — в избытке довольно. Что, если я припаду к ступеням трона Творца и расскажу Ему о происках, быть может успевших укрыться от Его всеведения? Не отдаст ли Он мне, в награду за услугу, всю власть и милость, которыми обречен Сатана?..»

Грозною тучею падал с небес предводитель мятежных духов — черный, как уголь, от опаливших его громов. Он падал

вниз головой, и пылающие волосы его висели, качаемые вихрем, как хвост заблудившейся в небе кометы. Он падал — и смотрел в небо. Мрачно пробегая взором ряды торжествующих ангелов, он еще грозил, еще проклинал. И вот в этих светлых рядах он увидел Азраила: того, кому, как другу и товарищу, поведал он свою тайну; кто лицемерно славословил его замысел, отдавал в его распоряжение свою власть и волю, и... предал его,— вместе с сонмами увлеченных Сатаною и теперь, как он, проклятых духов!

Увидал — и уже не отводил взора. Через тысячи тысяч миль почувствовал Азраил этот взор на лице своем. Его щеки поблекли и выцвели, сожженные презрением обманутого друга. Тщетно хотел он бежать: крылья бессильно, как подшибленные, висели за его спиной. Он старался отвратить лицо и не мог, оцепененный проклятием, которое, без слов, посылали ему полумертвые очи погибшего духа. Все ниже и ниже падал Сатана — и, чем глубже он падал, тем грознее становился его страшный взгляд и тем бледнее становился его предатель. И только когда Сатана, умалившись, как ласточка, исчез в слое надземных облаков, Азраил осмелился поднять свое лицо, белое, как эти облака. И румянец никогда уже не возвратился на его ланиты...

Сатана упал на ту самую гору, где настигла его первая отрава Измены. Как труп, лежал он на горе, изнывая от боли, злобы, тоски и страха одиночества. Тогда пришла к нему Измена и поклонилась ему, говоря:

— Радуйся, сын мой и господин! встань, обопрись на мою руку и — будь князем мира сего! Земля даст тебе все, в чем отказало небо.

Воспламененный коварными словами, падший ангел воспрянул с новой дерзостью в уме, с новыми гордыми мечтами, снова готовый строить хитрые ковы новой борьбы. Он воскликнул:

— Пусть же эта планета будет моей столицей, эта гора — моим дворцом. Отсюда — в пламени и громе — буду я править вселенной.

Он топнул. Огненная пропасть открылась под его ногами и поглотила его.

В той горе живет он и поныне среди послушных ему духов. Когда на земле появились люди, они назвали гору Этною. Далеко на все четыре стороны света виден великолепный дворец злого духа, одетый, как малахитом, зеленью сочных

виноградников, венчанный серебряною кровлею вечно снежных вершин. Днем, как черное знамя, веет над Этною дымное облако; ночью — небо рдеет заревом огней на подземных пиршествах Сатаны.

Азраилу же Творец, Который читает мысли людей и ангелов как раскрытую книгу, сказал:

— Ты был Мне верен, но — не от чистого сердца. Ты открыл Мне злой умысел Сатаны не по долгу и любви ко Мне, но ради выгоды. Ты изменил Сатане, как Сатана — Мне. Им Измена вошла в мир, а тобою продолжилась. Я должен наградить тебя, но награда твоя да будет тебе и наказанием. Ты жаждал могущества Сатаны. Я дам тебе страшную власть, но она будет ужасом и для тебя самого. Ты останешься ангелом, но мир будет ненавидеть тебя, как злого духа. Твои речи пробудили Мой первый гнев,— будь же отныне и до века носителем и орудием моего гнева! Ты последуешь за Сатаной и разделишь с ним власть над землею. Он понес на землю грех и преступление, ты понесешь наказание за грех: смерть! Пусть каждый, кто увидит твой бледный от стыда и страха образ, знает, что земной век его кончен, и спешит примириться со Мною — своей вечной совестью... Лети на землю, серп Моей жатвы! Лети в мир, ангел смерти!

Стрелки в Тоскане

В Духов День тосканские горцы, сменив свои обычные овчины на народные суконные и бархатные куртки, лихо заломив набекрень украшенные яркими лентами колпаки сияя серьгами, кольцами, цепочками и булавками с фальши выми камнями, спускаются с своих высот к городу Пистойе, где какой-то в Бозе почивающий подеста установил лет триста тому назад в этот день праздник стрелков. Что год, то хороших стрелков все меньше, и вот уж несколько лет, как ни один молодец не попал в самую трудную цель и не взял первого приза. Цель эта такая: на высокий шест прикреплен вертящийся шарик, а самый шест вделан в ступицу колеса, тоже вращающегося, но в обратную шарику сторону. И шарик, и шест, и колесо выкрашены в желтый мутный цвет и в пятидесяти шагах едва видны человеку с плохим зрением; а кто видит хорошо, у того в глазах рябит от мелькания шарика, и все выстрелы по нем пропадают даром.

В последний раз шарик был сбит в 1882 году знаменитым стрелком Витторио Каварра, так трагически кончившим в тот же день свою старую жизнь.

Витторио был человеком минувшего века; теперь таких уже мало. Он умер семидесяти лет. В юности он занимался контрабандой на Ливорнском побережье и чуть не каждый день имел стычки с таможенными — в одной ему прострелили плечо, в другой сломали ногу, а в третьей чуть не забили

насмерть прикладами, скрутили полуживого по рукам и ногам и отвезли в тюрьму. Суд отправил Витторио на галеры,— это было милостью, потому что сперва его хотели повесить. С галер он бежал, пробрался в Америку и совсем там обжился, как вдруг началось гарибальдийское движение, и Каварра потянуло на далекую родину. Он дрался в знаменитой «тысяче». Объединение Италии и правление Виктора-Эммануила доставили старику возможность спокойно дожить свой век в родном селении — в разбросанной горной деревушке, растерявшей свои белые домики на скате крутой, сверху донизу покрытой зеленью скалы.

Хижина Витторио — как скворечник — торчала всех выше. Хозяин почти всегда сидел на ее пороге, грея на солнце свои старые кости и глазея в полную голубым горным туманом даль. Когда бывало необлачно, он прекрасно видел со своей вышки горы Каррары, а купол флорентийского собора темнел у его ног, рукой подать. Гостей старик не любил, разговорчивых соседей тоже. Пройдет мимо односельчанин, Витторио кивнет головой и опять уставится в даль своими орлиными глазами, как угли сверкающими из-под седых бровей. Покажется вдали капеллан или сакристьян. Витторио лукаво ухмыльнется в щетинистые усы, приосанится и — будто не видит, кто идет,— примется насвистывать гарибальдийский марш. Капеллан страх как не любил за это Каварра и даже в проповедях звал его чадом антихриста, сосудом дьявольским, вместилищем всякой скверны. Но прихожане плохо верили своему пастырю: как же Витторио мог быть сосудом дьявольским, когда на шляпе у него была нацеплена чуть ли не целая дюжина образков, на груди зашита ладанка с молитвой от злых духов, а с левой руки он никогда не снимал амулета с мощами?.. Единственным спутником одинокой жизни старика был его племянник Изидоро Бальфи, сын сестры Витторио,— она была тосканка, но вышла замуж за чужака-ломбардца, да так и умерла на берегах По, среди маисовых полей, от тамошнего бича — пелагры[1]. Витторио, когда получил амнистию и поселился на родине, узнав, что зять его Бальфи в жестокой бедности, хотел ему помочь, да уже поздно: вскоре бедняга отправился за женой,

[1] Пелагра — местная ломбардская болезнь, происходящая от дурного питания, преимущественно же от употребления в пищу испорченного маиса. *(Прим. автора.)*

а сироту Изидоро Витторию взял себе. Мальчик вырос молодцом на славу: красивый, статный, ловкий. Фактор-еврей из Флоренции, что рыщет по тосканским захолустьям, выискивая натурщиц и натурщиков для приезжих художников, соблазнял его ехать с собой, предлагал по червонцу за сеанс, но гордый юноша едва не убил еврея,— так ему обидно показалось это предложение. Вспыльчив он был страшно, а разъяренный — лез в драку, как бык. А так как он и силой не уступал быку, то с Изидоро шутить не любили. Чуть, бывало, он после фиаски молодого chianti[1] опустит глаза в землю и побледнеет,— все от него врассыпную, потому что это значило, что Изидоро считает себя обиженным и начнет сейчас крушить всякого, кто попадет под руку. Его любили, потому и берегли, а не то давно бы ему гнить в окружной тюрьме. Витторио души не чаял в племяннике.

— Моя кровь! точь-в-точь таким и я был молодой! — говорил он.

— А вот, дядя Витторио,— сплетничали ему,— рассказывают, будто ваш Изидоро с пятью такими же сорвиголовами пронесли на прошлой неделе во Флоренцию каждый по двадцати кило табаку...

— Неправда! — обижался старик.— Изидоро нес сорок!

— Тем хуже, дядя!

— Э! у правительства денег много... Не станет беднее от того, что в догану (таможню) попадет сотней лир меньше, а молодым людям надо позабавиться и достать денег на удовольствия.

Лесничий смежного с деревушкой имения графа Кавальканти, самого важного нобиля Тосканы, ненавидел Изидоро и ставил ему на счет каждую дикую козу, исчезнувшую из лесов его светлости, каждый капкан, каждый силок, найденный в чаще, но уличить молодого браконьера не мог — юноша был хитер и ловок, как дикарь, притом дружил с объездчиками, и те держали его руку. Не самому же лесничему было ловить этого богатыря: вернуться без греха с охоты на него было трудно,— живым Изидоро не сдался бы; пришлось бы либо ему всадить пулю в лоб, либо от него получить. А последнее было возможнее, так как, за исключением своего дяди, понаметавшегося в этом искусстве в саваннах Южной Америки, Изидоро, бесспорно, был лучшим стрелком околотка.

[1] Кьянти *(ит.)*, сорт вина.

Он уже взял несколько призов на празднике Духова Дня в Пистойе, но на вертящийся шарик еще не посягал и первой награды не брал. Она всегда доставалась самому Витторио. В 1882 году Изидоро решился попробовать счастья и на первый приз.

— Смотри, сынок! — толковал дядя племяннику,— не осрамись. Человек из рода Каварра не должен браться за цель, если не уверен в успехе. Мы — триста лет лучшие стрелки Тосканы. Я десятилетним мальчиком бил ласточек на лету. Ты должен поддержать репутацию нашего рода, и я надеюсь, что поддержишь! Глаз у тебя верный, рука твердая... что же касается оружия...

Витторио открыл старый платяной шкаф и вынул из него превосходный штуцер, хотя и не новой системы.

— Вот, возьми это, Изидоро. Такого оружия нет ни у кого из тех, кто придет на праздник. Но помни, мальчик: если ты дашь из него промах, я тебе не прощу такой обиды. Это ружье подарено мне самим великим Джузеппе, когда мы встретились с ним в Америке. Честью тебе клянусь: я никогда не промахнулся, стреляя из него,— никогда его не обидел. У меня орденов нет,— это ружье мой орден. Его обидишь — меня обидишь!

— Ладно, дядя, не беспокойся!— сказал Изидоро, пожал старику руку и с благоговением поцеловал драгоценное ружье.

Несколько дней практики, и, пристрелявшись, он овладел великолепным подарком Гарибальди не хуже самого Витторио.

В День Св. Духа дядя и племянник проснулись спозаранок, до петухов, надели коричневые бархатные куртки и голубые шелковые пояса, прицепили к шляпам по два тонких орлиных пера, Изидоро вскинул штуцер на плечо, и пошли в Пистойю, вниз по извилистой горной тропинке, залитой розовым светом утренней зари.

— Эге, дядя Витторио! — кричали старику встречные знакомые,— вы на праздник? А что же вы сегодня без ружья?

— Я нынче стрелять не буду. Баста! Моя пора прошла, надо дать дорогу молодым. Вот племянника веду...

— Изидоро? О, он у нас молодец! Bravo ragazzo![1]

После мессы синдако открыл праздник, и выстрелы загре-

[1] Славный малый! *(ит.)*

мели. От привязанных к шестам петухов только клочья полетели; голуби, заготовленные для садки, не успевали взлетать, как уже падали мертвыми; синдако швырял в воздух голубиные и вороньи яйца, а два удалые фьезолинца[1] почти без промаха били их на лету. Изидоро тоже отличился: на большом куске полотна, натянутом на раму, он пулями наметил правильный круг и пересек его диаметр. Наконец дошло дело и до шарика. Фьезолинцы — оба спасовали, Микеле Сбольджи, флорентиец, тоже, два стрелка из Сьенны промахнулись один за другим, при громком смехе толпы. Наконец прицелился Изидоро. Он был серьезен и бледен, а глаза так и сверкали.

Грянул выстрел,— пуля пошла гулять в пространстве, а шарик крутился как ни в чем не бывало. Изидора даже шеста не зацепил, что удалось его предшественнику Сбольджи. Смех публики озлил Изидоро. Он повел вокруг себя свирепым взором и гневно кинул на земь свой гарибальдийский штуцер.

— Дрянное ружьишко! — завопил он.

— Ты лжешь, щенок! — громовым голосом ответил ему из толпы старый Витторио и, растолкав локтями соседей, в два прыжка очутился возле племянника. Губы его дрожали, глаза сыпали молнии, усы встопорщились,— он был страшен. Подняв с земли свое так жестоко оскорбленное ружье, он быстро зарядил штуцер, приложился и выстрелил, почти не целя: шарика — как не бывало.

Толпа разразилась неистовыми рукоплесканиями и криками восторга. Старика потащили было под руки к судейской трибуне за призом, но он вырвался.

— Отдайте ему! — презрительно указал он на уничтоженного племянника и, вскинув штуцер на плечи, скрылся в толпе. Но Изидоро тоже отказался от приза.

Мрачный и гневный возвращался Витторио домой узким горным ущельем, поросшим буками и молодым дубом. До деревушки оставалось не больше мили, когда старик заметил шагах во ста впереди себя какую-то тень, юркнувшую за толстый ствол старого орешника. Вслед за тем его окликнули:

— Дядя!

— Что надо?— сурово отозвался старик.

Изидоро вышел на тропинку и загородил дорогу Витторио.

---

[1] Fiesole — городок близ Флоренции. *(Прим. автора.)*

В руках у него было ружье — какое-то новое, незнакомое Витторио.

— Вы меня очень оскорбили, дядя! — начал Изидоро после некоторого молчания.

— А ты меня еще больше... Лучше бы тебе не родиться на свет, чем так опозориться!..

Изидоро прервал его:

— Оставим это, дядя! Я, может быть, хуже вас стреляю, но обид прощать не умею и привык за них расплачиваться.

— Это хорошо,— спокойно одобрил Витторио,— я сам такой. Откуда у тебя это ружье?

— Я украл его у Сбольджи, когда он пошел с товарищами в трактир выпить за свою победу,— ведь второй-то приз присудили ему.

— Украл, чтоб убить меня, не так ли?

— Да, дядя. Нам теперь нельзя жить вдвоем на свете.

— Гм... Отчего же ты не выстрелил в меня, когда спрятался за орешником?

— Мне показалось нечестным, если я нападу на вас врасплох.

— Это хорошо! — опять одобрил старик.

— Спасибо на слове, дядя... Теперь я вас предупредил, дядя! Берегитесь!

— Берегись и ты, Изидоро!

Оба взяли ружья на прицел, и оба их спустили.

— Изидоро!

— Что, дядя?

- Я думаю, что пред таким делом нам не мешало бы помолиться.

— Я уже молился, дядя, пред статуей Мадонны на фонтане у железнодорожного моста... Но вы молитесь, я мешать не буду.

Витторио стал на колени, прочитал Pater noster и Credo поцеловал образки на своей шляпе и поднялся.

— Я кончил, Изидоро.

— Как вам угодно, дядя.

Изидоро отступил за свой орешник. Витторио укрылся за пнем разбитого молнией дуба. Воцарилась мертвая тишина, только дятел стукал носом в дубовую кору над самою головою Витторио да иволга аукала где-то в стороне. Зеленый зимородок сел на тропинку, повертел любопытною головкой с черными глазками и упорхнул.

Опять молчание. Опять стукотня дятла и крик иволги. Но вот у букового дерева расплылось серое пороховое облако, и лес затрещал отголосками выстрела. Изидоро, держа ружье над головой, бросился к упавшему дяде и с ужасом отступил: Витторио был безоружен... Штуцер его валялся, отброшенный по крайней мере на пятнадцать шагов...

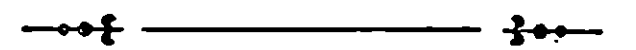
— Дядя! что вы сделали?..— вскричал молодой человек, склоняясь на пробитую его пулей грудь старика.

Витторио открыл глаза.

— Ничего, мой мальчик...— прошептал он, задыхаясь и захлебываясь кровью,— ничего... Что же делать! Я не в силах был стрелять в тебя, а жить после того, как ты хотел меня убить, было бы для меня... несколько тяжело...

Изидоро зарыдал, ломая руки.

— Не плачь, мальчик... Я тебе прощаю...— шептал раненый,— только ты все-таки ошибся: надо было взять на дюйм левее, тогда ты кончил бы сразу, а теперь... теперь я еще часа два промучусь...



Чертово гумно

Пятьсот лет тому назад Фландрия сильно страдала от неурожаев. Недород 1390-го года оказался тем ужаснее, что, едва приблизилась к концу скудная жатва,— хлынули с ужасающею силою сентябрьские дожди и не дали убрать снопов в скирды. Хлеб сгнивал на поле. Народ был в ужасе и смертельном горе. Ждали голода и повальных болезней.

Одному крестьянину, по имени Петру Маржерену, пришлось особенно плохо. Всего полгода, как он женился; молодуха его была беременна по четвертому месяцу. Жатва у него удалась и так, и сяк; но некуда было собрать ее. Рассчитывая на ясное «бабье лето», Петр не успел управиться с постройкою гумна до осенних ливней, и теперь хлеб его мок и пропадал под открытым небом. Петр видел пред собою полное разорение, невозможность уплатить господину подати и аренду, необходимость влезть в долги и тяжкую кабалу у какого-либо кулака-соседа. Будь он холост — пожалуй, и не сробел бы пред несчастьем: одна голова не бедна, а и бедна, так одна! Но мысли о горькой участи жены и будущего ребенка сводили его с ума.

— Чем видеть и терпеть этакое горе, лучше умереть! — решил он и ушел в лес, захватив с собою прочную веревку. Пока он выбирал сучок, на котором повеситься,— подходит к нему рыцарь, богато одетый, и спрашивает:

— Эй, мужик! как пройти в замок Котелэ? Проводи меня через лес,— получишь дублон за услугу.

Петр подумал, что удавиться он еще успеет, а дублон — штука недурная, пригодится его вдове с сироткою. К тому же в осанке и пронзительном голосе рыцаря было что-то, не допускавшее возражений.

— Слушаю, ваше сиятельство, рад служить вашей чести,— сказал Петр и повел рыцаря глухою тропою.

— Зачем у тебя веревка? — спросил рыцарь, когда они вошли в лесную чащу. Петр промолчал.

— Уж не удавиться ли ты выдумал, дурак? Что-то рожа у тебя пасмурна и глаза — точно ты поцеловался со смертию... Беда, что ли, стряслась над тобою?

Видя, что рыцарь человек участливый, Петр ободрился и откровенно рассказал свое горе.

— Стало быть,— возразил рыцарь,— вся беда в том, что ты не выстроил гумна?

— Строят его теперь поденщики — да кой в нем прок? Когда они его достроят, только лишний долг — им за работу — ляжет мне на шею. Что я буду убирать в него? Навоз — вместо хлеба. Нет, я пропал, пропал, если Бог не пошлет мне во спасение чуда.

— Чудес на свете не бывает,— холодно сказал рыцарь,— но бывают добрые люди, которые не прочь иной раз помочь ближнему в нужде... Пожалуй, я, так и быть, ссужу тебе сто луидоров, пришлю своих рабочих достроить твое гумно и наполню его отборным зерном... чудо, что за зерно, продашь его на рынке не дешевле семи экю за четверть.

Петр, ошеломленный великодушным предложением, дико воззрился на рыцаря. Лицо последнего было далеко не из приятных: не будь оно оживлено огромными черными глазами, ярко сверкавшими в глубоких впадинах,— рыцарь смахивал бы на гнилого мертвеца. Но в эту минуту благодетель показался признательному Петру красавцем из красавцев.

— Ах, ваше сиятельство!— вскричал мужик вне себя от радости, упав в ноги рыцарю.— Вы возвращаете мне жизнь... Но — на каких же условиях получу я эту ссуду?

— Разумеется, не даром, дурак. Мы заключим с тобою правильный контракт. Я обязуюсь доставить тебе все, что обещал, сегодня же ночью, до первых петухов; а ты с своей стороны через год... ну, да все равно, скажем, хоть через два

года... обязан переселиться на мои земли и стать моим вассалом.

— А ваши земли далеко отсюда?

— И часа ходьбы не будет.

— Само собою разумеется, что вы дадите мне там помещение не хуже моего теперешнего?

Рыцарь странно взглянул на Петра и расхохотался.

— О, да,— произнес он сквозь смех,— конечно, я не оставлю тебя без жилья... ты получишь помещение... очень, очень теплое помещение!

— И жену мою и ребенка я тоже могу взять с собою?

Веселость рыцаря усилилась. Он хватался за бока и едва не падал от смеха.

— Пожалуйста, бери! не стесняйся!.. Хо-хо-хо! бери и жену, и ребенка... Ха-ха-ха! Если хочешь, мы даже поставим их также в контракт. Но — хи-хи-хи! — честь не позволяет мне пользоваться твоим жалким положением и закрепощать твою семью за ту же цену. Хе-хе-хе! Куда ни шло, я накину тебе еще сто луи за жену, да пятьдесят за ребенка.

— Тогда — по рукам! дело в шляпе! — воскликнул Петр Маржерен,— двести пятьдесят желтых кругляков и гумно, полное зерном, право, стоят того, чтобы переселиться в другую деревню. Идем на село — подписать бумагу у нотариуса.

— Есть мне когда ходить по нотариусам! — надменно возразил рыцарь,— вот у меня есть при себе перо и пергамент. А что касается чернил... нет ли у тебя в карманах ножа? Разрежь слегка себе левую руку,— кровь тоже прекрасно пишет, не хуже самых лучших чернил.

— И то правда! — согласился Маржерен, и тут же, на пеньке у лесного распутья, написали они договор со всеми статьями.

— Вот как хорошо, что ты умеешь грамоте,— заметил рыцарь, язвительно улыбаясь, когда Маржерен подмахнул договор.

— Еще бы, ваша честь! — возразил крестьянин,— во всей деревне я один знаю подписать свое имя и фамилию, а остальные — по безграмотству — ставят на бумагах святой крест...

— Довольно болтать пустяки,— внезапно нахмурясь, прервал рыцарь.— Получи свое золото, подай сюда контракт. Прощай и помни свое обязательство.

— А как же вы найдете путь в Котелэ? — остановил было

его Маржерен. Но рыцарь нетерпеливо махнул ему рукою:

— Ступай домой! От этого распутья дорога мне хорошо знакома.

— Да благословит вас...— начал Петр, но — рыцаря уже не было на тропинке: он как будто растаял в воздухе. . .

Возвратясь на село, Маржерен спохватился, что он не спросил имени своего благодетеля. А договор-то он, как водится, подписал, не читая: не проверять же ему было такого знатного господина!

— А впрочем, я знаю, кто это — утешал он себя,— это сын графа de Villers-Outréaux, из Esnes... как слышно, граф любит нас, бедняков, и много помогает крестьянам; к тому же рыцарь говорил, что до земель его нет и часу ходьбы, а графские земли сходятся с нашими — межа с межою.

Тем временем — на гумне уже кипела работа. Чуть смерклось, графские рабочие пришли и взялись за труд. Неслыханно спорилось дело в их руках. Пока одни ставили сруб, тесали столбы и бревна, другие формовали кирпичи, а третьим стоило руку положить на сырой кирпич, чтобы он окреп и высох. Не развели они костра, не зажгли ни одного факела, а между тем красное зарево — невесть откуда — мерцало над ними. Странно это было, но беззвучность, с которою свершалась стройка, была еще страннее. Сто пятьдесят каменщиков, плотников, носильщиков прислал рыцарь,— и хоть бы кто из них слово проронил! На кладбище в полночь — и то не тише, чем было в этой рабочей толпе. Без стука бил молот, не шипела пила,— ни треска дерева, ни тяжелого дыханья усталых людей...

Посмотрел-посмотрел крестьянин на таинственных батраков — и неизъяснимый ужас охватил его; мороз бежал по телу от их молчаливой работы. Не осмелясь ни слова им сказать, вошел он в свою усадебку. Там царил тот же непонятный ужас. Жена Петра тряслась и плакала. Домашний скот метался в хлеву. Кошка жалась к хозяйке и старалась спрятаться под ее платье. Собаки выли, точно чуя покойника. Куры клохтали и суетились, как угорелые, и не думая спать, хотя уже давным-давно пора бы им быть на насесте.

Больше других животных струсил огромный петух — любимец хозяйки. Как будто удирая от незримой погони, он с размаху взлетел на колена своей госпожи и перепугал ее до полусмерти. Она вскрикнула, перекрестилась, схватила пету-

ха за крылья и швырнула в сторону, а тот — от боли — заорал во все горло.

И в то же мгновение страшный удар подземного грома потряс окрестность; и таинственные работники исчезли — как канули в воду.

А наутро односельчане только руками разводили, дивясь на гумно — мало что выстроенное в одну ночь, но еще битком набитое снопами. Маржерен понял теперь, с каким рыцарем он имел дело,— и благословлял петуха, не давшего ночным батракам кончить их дивную работу. Потому что поступать в вассалы к Сатане ни самому Петру, ни жене его не было ни малейшей охоты, даром что хитрец сулил им в аду теплое помещение.

Черти не успели доделать только конька на кровле. Но когда Петр хотел докончить их стройку, то едва положил он первый кирпич — как незримая сила спустила его кубарем с крыши на земь. Та же история повторилась и с другими смельчаками. Так и не удалось достроить гумна: рассерженный черт — потеряв свою власть по договору,— в отместку, не позволил никому прикоснуться к своему созданию. Но разбогатевший мужик о том не очень плакал: и на недостроенном гумне он собирал урожаи лучше, чем другие в достроенных. А петухи в той деревне — с тех пор — поют по ночам много раньше, чем во всем остальном свете: как раз в тот самый миг, когда ударились в бегство каменщики Сатаны[1].

---

[1] Легенда эта имеет сходство с легендами о недостроенных башнях Кельнского собора; о знаменитом Stock im Eisen в Вене и о соборе св. Олафа (Швеция). *(Прим. автора.)*

Домашние новости

I

Гражданин Северо-Американских Соединенных Штатов Александр Николаевич Чилюк лежал на диване и сам себе не верил: неужели он опять в России, в захолустной деревушке своего отца, в том самом доме, откуда, двенадцать лет тому назад, ушел в свое всесветное бродяжничество?

Да... И даже ничего не изменилось с тех пор в этой тихой обители. Те же темные, поблекнувшие обои, те же кожаные диваны, те же портреты генералов и архиереев по стенам... все старое: точно и не уезжал... Недостает только, чтобы по дому раздавались быстрые тяжелые шаги и резкий бранчивый голос матери Чилюка, умершей в его отсутствие... Чилюк поморщился; ему припомнилось, как здесь, в этой комнате, где теперь наслаждается он послеобеденным отдыхом, разыгралась, двенадцать лет тому назад, горькая, тяжелая сцена.

Мать его ненавидела; а уж если мать ненавидит свое дитя, то ненависть бывает ужасна и беспощадна. У Чилюка мороз по коже пробежал при воспоминании о детстве — голодном, холодном, полном слез и бесчеловечных наказаний. Другой бы ребенок не вынес, но он унаследовал, точно назло матери, ее богатырское сложение и вырос молодцом. И головой его Бог не обидел. Шесть классов гимназии прошел он в первом разряде, а тут и попутал грех. Чилюк переслал во время extemporale[1] записку слабому товарищу. Вспыльчивый

[1] Импровизация *(лат.)*

педагог обмолвился... назвал Чилюка мерзавцем, а Чилюк ответил пощечиной... Выгнали с волчьим паспортом, и хорошо еще, что только тем кончилось дело. Мог угодить в тюрьму... в солдаты...

— Поздравляю, Александр Николаевич, с повышением. Теперь вам уже и до арестантских рот недалеко.

И Чилюку стало немножко жутко, когда он воскресил в памяти мать — тучную пожилую женщину, с желтым лицом, искаженным от гнева на ненавистного сына. Щеки у нее тряслись, и глаза остановились, как у одержимой столбняком, когда она говорила эти злые, не материнские слова. Но тогда Чилюк не сробел, сам по-волчьи сверкнул на мать своими, похожими на ее, глазами и так же злобно и презрительно ответил ей:

— Сами не попадите туда раньше меня!

Отец, при этой фразе, испуганно зажал уши и выбежал из комнаты.

Александр Николаевич улыбнулся: отец ничуть не изменился за двенадцать лет. Все тот же сырой, рыхлый мужчина с кислым, никогда не выглядевшим молодо, но зато и не стареющим, бабьим лицом. По-прежнему женолюбив, слаб и не может жить без опеки. Александру Николаевичу очень не понравилась, по первому взгляду, особа, заменившая в доме его мать,— эта Александра Кузьминишна... или как там ее? Словом, «мой лучший друг», по рекомендации отца. У нее фигура крупичатой уездной поповны, а лицо старой девы — нос башмаком и злые серые глаза буравчиком; если она рассердится, они, вероятно, станут зелеными. Такие глаза бывают только у скверных людей. Отец, по-видимому, у нее в полном подчинении: что ни вздумает сказать, сперва взглянет на Александру Кузьминишну, точно спросить позволения. Влюблен, как кот, и под башмаком,— ясное дело. Каково-то уживается с избранницей его сердца сестра Катя?

Александр Николаевич, по крайней мере, в десятый раз с утра пожалел, что не застал Катю дома.

— Угораздило же ее так некстати уехать к какой-то подруге, да еще в Саратовскую губернию, да еще на целый месяц! Этак и не увидишь ее, пожалуй... Через месяц я за тридевять земель буду. А хотелось бы повидать...

Когда, против воли порешив с гимназией, Александр Николаевич с отчаяния бросился в заманчивую, полную тревог и переворотов жизнь авантюриста и уехал доброволь-

цем к Черняеву, Катя одна искренно плакала о нем. Мать и проститься не захотела с ним, отец благословил как-то наскоро и смущенно, словно втайне рад был, что отделался от «мерзавца» сына, с которым решительно не знал, что делать дальше. Кате тогда было двенадцать лет; теперь она — уже двадцатичетырехлетняя девушка и, вероятно, красавица: девочкой она обещала много. Но Александр Николаевич не мог вообразить ее взрослою. Он вспомнил ее белое и румяное личико с большими черными глазами, ясными, чистыми и правдивыми, и у него потеплело на душе. Это личико часто грезилось ему, как последний обломок немногих приятных воспоминаний о родине, и в грозные ночи на алексинацких редутах, и когда он стоял вольным матросом на вахте парохода, уносившего его из Марселя в Соединенные Штаты, и в бараке, где он, вместе с десятками товарищей-землекопов на линии Тихоокеанской железной дороги, лежал в жестоких припадках малярии. Сколько он видел, испытал, пережил и перечувствовал в эти двенадцать лет! Чем только не был он в Америке! Землекоп, разносчик газет, посыльный, мелкий бакалейщик, матрос, дрогист, распорядитель общества похоронных процессий, адвокат, коммивояжер и, наконец,— для того, чтобы увенчать эту лестницу состояний,— сперва приказчик, а потом счастливый компаньон крупной мануфактуры, для которой он с чисто российской сметкой, почти нечаянно, изобрел приспособление, дорого оцененное на рынке...

Дверь скрипнула.

— Саша, можно к тебе?

На пороге стоял отец Чилюка — Николай Евсеевич.

— Разумеется, папенька!

Старик вошел, тщательно запер дверь и опустил медный язычок на замочную скважину. Александр Николаевич наблюдал родителя не без изумления.

— Что это, папенька? К чему такие предосторожности?

Старый Чилюк сделал многозначительную гримасу и подсел к сыну.

— Видишь ли, друг мой,— пожевав губами, начал он очень тихим голосом,— ты меня извини, пожалуйста, что я потревожил твой сон...

— Да я не спал.

— Тем лучше... Но мне надо говорить с тобой об очень важном деле и... и секретно: главное, чтоб она не слыхала!

— Кто она? Александра Кузьминишна, что ли? А вы, добрейший папа, как я замечаю, имеете к ней немалый решпект.

Николай Евсеевич покраснел.

— Но... как же иначе? Она — не кто-нибудь, а девушка хорошей фамилии, с образованием, и при том... гм!.. при том... хоть это — не совсем-то ловкое признание сыну со стороны отца, но ты, как человек бывалый, наблюдательный, не мог сам не заметить, что она мне очень дорога!

— Не мог не заметить: вы правы. Что же дальше?

— Саша!— трагически воскликнул Чилюк после некоторого молчания,— признайся: очень ты меня презираешь?

— Вас? За что? До ваших сердечных дел мне нет дела. Я — отрезанный ломоть, отделен от вас и морями, и горами, и реками. На таком почтенном расстоянии мы можем существовать, ничуть не нуждаясь в мнении друг друга.

— Как человек, как посторонний человек, Саша!— продолжал Николай Евсеевич,— я знаю, что потерял право видеть в тебе члена семьи... Но как человек!

Сын пожал плечами.

— Что ж? Вам только пятьдесят лет, и вы не святой. Если ваш роман не приносит никому зла, никто не станет судить вас строго. Меня же прошу уволить от ответа. Какой я вам судья? Я только что приехал, ни к чему не пригляделся. Может быть, дама вашего сердца — ангел, а может быть, дьявол; может быть, ее присутствием создается рай в доме, а может быть, ад. Как она уживается с Катей? Вот вам — судья настоящий, по праву, компетентный, с основаниями и доказательствами. К Кате и обратитесь. А мне что! Так-то, папа!

Александр Николаевич засмеялся, но старик не развеселился, а, напротив, сидел как в воду опущенный.

— Я должен тебе признаться,— пробормотал он, запинаясь и багровея,— что... это, конечно, очень странно... но Катя не живет у меня больше.

Александр Николаевич внимательно взглянул в смущенное лицо отца.

— То есть?

— Она ушла от нас.

— Как ушла? куда?

— Совсем ушла. Не поладила с Александрой Кузьминишной и не захотела оставаться с нею под одной крышей... так, потихоньку, и ушла. Ты знаешь Теплую слободу —

тут близко, под городом? Там ее кормилица Федосья живет... кружевница — помнишь? У Федосьи и поселилась...

Александр Николаевич вскочил с дивана.

— Это бред какой-то!— вскричал он,— неужели вы это серьезно? Да у вас в доме — эпидемия, что ли? То сын сбежал в Сербию, то дочь куда-то к черту на куличики. И потом: я помню Катю смирной, кроткой девочкой. Я думаю, надо было неистово оскорбить ее, чтобы она решилась на такую штуку!

— Александра Кузьминишна действительно была резка с нею...

— А у вас не хватило характера вступиться за дочь?— презрительно заметил Александр Николаевич.

— Ты напрасно так думаешь, Саша! Я, конечно, не смею хвалиться: я далеко не богатырь воли, но все-таки помню свои обязанности и... и не дал бы Кати в обиду. Но Катя была сама в этом случае словно сумасшедшая. Она возненавидела Александру Кузьминишну, едва та вошла в дом. Надо тебе сказать, что пред смертью твоей покойницы-матери Катя была с ней очень хороша, совсем не так, как раньше. Ты помнишь, что у Глаши был ужасный, тяжелый характер... Ревновала ли Катя к памяти Глаши, просто ли чувствовала антипатию к Александре Кузьминишне, но сцены следовали за сценами. Я был мучеником между двумя этими женщинами, клянусь тебе...

— Охотно верю. Дальше.

— Ну, в одно прекрасное утро они поссорились сильнее обыкновенного — и Катя исчезла, оставив мне самую резкую записку, какую только можно вообразить.

— Гм!

— Ты не веришь? Напрасно! Взгляни!

«Папа,— прочитал Александр Николаевич,— мне тяжело в вашем доме так, что больше терпеть я не в силах. Я буду жить одна у добрых людей. Там, по крайней мере, меня обижать никто не посмеет. Мне ничего не надо, никаких денег, но не требуйте меня домой. Выгнать Александру Кузьминишну вы не решитесь, а жить вместе с этой подлой женщиной я не стану, лучше умру. Не сердитесь на меня за это, а я не сержусь. Ваша Катя».

— Позвольте, папа: в этой записке нет ни одного знака препинания, мерзкий почерк, «вместе» через два «есть» написано, не «посмеит» вместо не «посмеет»... Неужели это Катя писала?

— Друг мой, ты знаешь, как туга она была на науку, а в последние годы она книги в руки не брала.

— Но все-таки... Кстати: вы ее где учили?

— Домашним воспитанием...

Александр Николаевич досадливо махнул рукой.

— То-то она пишет как прачка!.. Но что она может делать там, у этой Федосьи? Ну, я помню ее — отличная женщина, но не станет же она держать Катю на хлебах даром. Вы говорите, Катя денег не взяла?

— Ни копейки, и все, что я ни посылал, возвращала.

— А звать ее назад вы пробовали?

— Да, но она резко отклонила мои просьбы, а потом и...

— И Александра Кузьминишна запретила. Эх!.. Необразованная, воспитанная белоручкой — на что годится она там?!

— Ах, Саша!— Николай Евсеевич прослезился,— мне передавали, будто она ужасно опустилась, стала совсем comme une paysanne[1]; одевается по-ихнему, так же работает, как они...

— Ну, это еще — куда ни шло! я сам целых шесть лет состоял хуже чем в пейзанах, пока не выбился в люди...

— Но, Саша! прибавляют, будто она очень дурно ведет себя, что она забыла всякий стыд и женственность...

— Катя?!

— Да, cher... Et l'on dit enfin, что у ней есть... un amant...[2] А? каково это слышать?!

— Продолжайте,— наморщив лоб, мрачно сказал сын.

— Другие говорят, что их не один, а много... Чего же тебе еще? Я все сказал...

— Действительно, вполне достаточно.

— Позволь! Куда же ты?— вскрикнул Николай Евсеевич, видя, что сын взялся за шляпу.

— В Теплую слободу, разумеется. Надо мне взглянуть на Катю. Что ей сказать от вас?

— Я... я не знаю... так неожиданно... я совсем не затем говорил...— залепетал старый Чилюк.

— Не могу же я оставить свою родную сестру черт знает в каком положении!

---

[1] Как крестьянка *(фр.)*.

[2] Дорогой... И говорят, наконец... любовник *(фр.)*.

— Да, черт знает в каком... Как это странно, однако: вообрази, я считал тебя демократом!..

— К чему вы это?— изумился Александр Николаевич на недоумелую улыбку отца.

— Нет, так...

— Хотите вы, чтобы я вернул ее к вам?

Старик замялся.

— Друг мой! знаешь ли... по-моему, это неудобно... Конечно, я — как отец... но она так компрометировала мое имя, и потом... потом, если правда, что говорят об ее поведении, то как хочешь, держать ее в доме совсем неприлично... смеяться будут.

— А теперь над вами не смеются разве? Я думаю, хохочут по всей губернии!

— Увы! увы! Ты совершенно прав, мой друг... и вот поэтому-то я имею к тебе большую просьбу... очень большую... Уговори ты Катю уехать!

– Куда?

– Да чем дальше, тем лучше; чтобы забыли про нее в здешних местах. Согласись, что я в ужасном положении: вечно под боком живой упрек, и всякий этот упрек видит... и наконец, чем я виноват, если она убежала?!

— Я вот что сделаю,— задумчиво выговорил Александр Николаевич,— я предложу ей уехать со мною.

— В Америку?!— обрадовался Николай Евсеевич.

— Зачем в Америку?! Я могу ее устроить в Петербурге, у моих друзей... Денег я предложу ей от себя, потому что от вас, как я замечаю, она, пожалуй, и не возьмет.

— Не возьмет! ни за что не возьмет! она гордая... Ах, Саша! если бы ты это устроил, я бы тебе, хоть ты и сын мне, в ножки поклонился!— прочувствованным тоном говорил Николай Евсеевич, пожимая руки сына,— ты и ее, несчастную, спасешь...

— И вам руки развяжу?

— Да, освободишь мою совесть... Саша, скажи: очень ты меня сейчас презираешь?

Александр Николаевич отвернулся. Ему было жаль отца...

— Эх, папа!..— выразительно вырвалось у него.

Он махнул рукой, взял шляпу и вышел.

II

«Все-таки спасибо матери,— думал Александр Николаевич, идя узким проселком между двух волнующихся морей желтой ржи,— спасибо, что она родила меня похожим на нее, а не на отца. Распущенность, бесхарактерность, барство... это черт знает что такое! особенно если долго их не видишь и поотвыкнешь... Право, если подумать, что при другой, более нежной маменьке и из меня, пожалуй, развилось бы что-нибудь этакое расплывчатое,— можно извинить покойнице все ее порки, затрещины и колотушки».

Александр Николаевич шел пешком, потому что не хотел брать в Теплую слободу вместе с повозкою и кучера, чтобы не сделать, в его лице, всю отцовскую прислугу свидетелями свидания — не совсем-то ловкого, как он ожидал. Короткую дорогу до Теплой слободы он отлично помнил: в детстве ему часто случалось бегать в этот бойкий пригород поглазеть на воскресный базар, на девичьи хороводы и подвыпивших мужиков. Теплая слобода была местом шумным и людным,— на шоссейном тракте, с постоялыми дворами, трактиром, панскими лавками, кузницами. Народ здесь жил богатый, больше мастеровой и торговый, работящий и трезвый... по крайней мере, не слишком пьяный: полслободы было заселено староверами-беспоповцами какой-то мелкой и пьющей секты. Ковачи, бабы-кружевницы и огороды Теплой слободы далеко славились.

Стук кузнечных молотов встретил Александра Николаевича далеко за слободской околицей. В черте селения он стал почти нестерпимым для ушей. Слободская улица открывалась целым рядом ковален, дымных и грязных, где кузнецы двигались, черные, как черти в аду.

— Бог в помощь!— сказал Александр Николаевич дюжему мастеру, возившемуся с топором на ветхой покрыше лошадиного станка,— здравствуйте!

— Здравствуйте и вы!— ответил мастер, не отрываясь от работы.

— А где здесь, почтенный, живет Федосья Ивановна?..

— Которая Федосья Ивановна? три их у нас... старостиха — раз, лавочница — два, а третья — тетка Федосья, кружевница...

— Ее-то мне и надо.

— А зачем вам тетку Федосью?— возразил мастер, роняя

к ногам Чилюка длинные щепки, летевшие из-под быстрого топора.

Чилюк усмехнулся:

— Милый, ведь тебя не теткой Федосьей зовут? с чего же я тебе буду рассказывать, что мне надо?

Мастер воткнул топор в покрышу и по столбу спустился наземь.

— Нет, я ведь почему спросил,— добродушно извинился он,— еще здравствуйте... почему спросил? Федосья Ивановна-то родная тетка мне выходит... вон оно что... Я у нее заместо сына сызмалу принят...

Александр Николаевич, живя с джон-булями и янки, заразился от них любовью к физической силе, свойственною западным народам гораздо в большей степени, чем нам, русским. Чилюк и сам был крепыш, точно из меди отлитый, но таких богатырей, как стоявший перед ним мастер, он и не видывал. Лицо мастера было запачкано сажей, только большие голубые глаза весело и ясно улыбались на этой темной маске. Рукава рубахи мастер засучил и обнажил такие мускулы, что Чилюку даже весело стало.

— Здоров же ты, брат!— сказал он богатырю.

— Что мне делается!— ответил тот, широко и добро улыбаясь,— а тетки-то нету. Вы за кружевом, верно?

Александр Николаевич нашел, что ему подсказано хорошее incognito...

— Да, за кружевом.

— Нету ее. В город ушла плетеное продавать. Нынче в городе базар,— четверток на дворе... Да вы — ничего, пройдите. Коли заказать надо, так и Катерина Николаевна принять может... жилица у нас...— пояснил он,— и, что готового есть, покажет. Я вам мальчонку дам, он проводит...

Двор кружевницы, однако, был затворен. На калитке висел замок. Мальчонка перевалился через плетень и предложил Чилюку последовать его примеру. Чилюк исполнил это гимнастическое упражнение с ловкостью, заслужившей полное одобрение черномазого вожатого.

— Добре сигаешь, барин...— сказал он,— ты посиди часок на крылечке, а я за Катериной побегу... на огородах она...

Федосьина усадебка была из самых исправных в Теплой слободе, а Теплая слобода — из самых исправных великорусских пригородов. Во дворе чувствовалось то, что крестьяне называют полной чашей. Чилюк видел и понимал это относи-

тельное невзыскательное довольство, но, с отвычки от русской деревни, ему все-таки казалось, что кругом и бедно, и грязно...

«Впрочем, я и не в таких мурьях живал,— не без самодовольства подумал он.— Дивны дела Твои, Господи!.. Вот уж не подумал бы я месяц тому назад, что переплываю океан затем, чтобы сидеть теперь между плетней, смотреть на сорный двор с курами и этим бравым петухом... ишь орет... какой красный черт!— в ожидании таинственной сестрицы, не то барышни, не то мужички, которая — еще Бог знает кем окажется и как примет мое появление...»

Загремел замок. Скрипнула калитка. Во двор вошла высокая девушка. У Чилюка задрожало сердце и судорога подошла к горлу.

— Здравствуйте. Вам кружевов? Не осудите на жданье... клубнику брала... сходит она у нас...— говорила девушка высоким звонким голосом, приближаясь к Чилюку и на ходу вытирая руки о передник. Александр Николаевич встал ей навстречу.

— Вы Катя Чилюк?— спросил он несколько сдержанным голосом и, не дожидаясь ответа, продолжал:— А я Александр Чилюк... ваш брат... из-за границы.

Катя выпустила из рук передник; на лице ее отразилось больше смущения, чем радости... Она застенчиво сказала:

— Братец Саша!

Она, видимо, не знала, как поступить при такой неожиданной встрече. Александр Николаевич, обнял ее и поцеловал. Он с любопытством всматривался в нее, напрасно стараясь найти в чертах стоявшей пред ним крестьянки черты Кати, так памятной и дорогой его воображению.

— Не смотрите, братец,— конфузливо смеясь, сказала Катя,— я с огорода, чучелом... ведь нынче будни... Войдите в хату. Я самовар вам поставлю и приберусь, пока вскипит.

В хате было чисто и просторно,— сразу видать, что жилье семьи с достатком и не слишком людной. Пол не дальше как в последний праздник мытый, печь свежевыбеленная, бревенчатые стены не черные, а только бурые: значит, есть смотрение за домом; ни паутины, ни тараканов. Катя исчезла за перегородку, разделявшую хату пополам от печи до двери, и после недолгих сборов вышла к брату принаряженною, в кумаче и бусах.

— Теперь хоть на человека похожа...— сказа́ла она.

Александр Николаевич похвалил ее красоту и наряд, вгляделся в нее и подивился. Совсем не видно «барышни» в Кате,— словно она и родилась в этой избе, и век здесь прожила, а не два только года. Красавица — да! но красавица дикая, деревенская,— «с румянцем сизым на щеках», как пел некогда Фет,— большая, статная и с таким могучим мускульным развитием молодого здорового тела, что при каждом движении платье трещит и врозь лезет на груди и в плечах. Лицо — под золотистым загаром, слегка огрубевшее от ветра и солнца. Силы и здоровья здесь больше, чем красоты, или вернее сказать, в них-то здесь и красота.

Разговор между братом и сестрой не клеился. Оба искали удобного случая, чтобы заговорить, как и почему они, после долгой разлуки, встретились при таких необыкновенных обстоятельствах, и Чилюку хотелось, чтобы начала речь об этом Катя, а Катя — чтобы начал Чилюк.

— Да...— решился наконец перейти к делу Александр Николаевич,— много воды утекло... перемен в нашей семье и не сосчитать... О себе я уже не говорю; моя история старая. Но ты вот... признаюсь, никак я не ожидал тебя встретить здесь.

— Братец!— перебила его Катя и на минуту глянула совсем прежнею Катей; черные глубокие глаза ее широко открылись и заискрились; лицо стало откровенным и доверчивым.— Вы не судите меня строго... право же, мочи моей не стало, братец... я ведь долго терпела...

— Я не про то говорю, Катя,— сказал Александр Николаевич,— я очень хорошо понимаю, что положение твое могло быть невыносимым, что надо было уйти. Меня удивляет, зачем ты сюда ушла?

Катя не ответила; она сидела у обеденного стола, потупившись, и молча перебирала складки фартука.

— Послушай,— заговорил брат, после короткого молчания,— ты извини меня... я, может быть, мешаюсь не в свое дело. Ведь мы свои только по имени, по крови... я тебя оставил малюткой, без меня ты выросла, имеешь право считать меня чужим. Но у меня об одной лишь тебе — маленькой девочке — осталась хорошая память от всего нашего дома. Я тебе очень за это благодарен, право. Ты мне как бы связью с родиною была. Так ты меня другом своим считай, а не бойся. Если тебе неприятно, ты можешь не отвечать; но поверь,— я спрашиваю тебя только потому, что хочу тебе

хорошего и желал бы устроить твою жизнь как тебе будет угодно и как только могу я лучше, поэтому ты будь со мною откровенна.

Катя подняла свои доверчивые глаза.

— Да я не скрываюсь, братец...— сказала она,— я потому вам ничего не ответила, что, боюсь, не сумею вам объяснить... Ведь я дурочка — не дурочка, а около того... Меня маменька аспидной доской — ребром за углом — по голове много била... Сама про себя я много думаю и, что скажут мне, соображаю, как следует... а вот говорить — смерть моя... Тоже памяти нет... Верите ли? чему меня учили, все я забыла. Писать стану — буквы путаю... Ну... да вот видите!

Она подняла руку ко лбу, на котором мелкими каплями выступила легкая испарина; лицо ее несколько побледнело,— большого напряжения стоила ей долгая, складно обдуманная речь. Александр Николаевич наблюдал ее с удивлением и жалостью.

— Гм... вот что...— задумчиво протянул он.— Это для меня новость, об этом отец мне не говорил... Говорил, что у тебя не было способностей — и только...

— Особенно ничего и нет; мне даже и доктор один сказал, что я в своем уме весь век доживу; а вот именно, что способностей у меня никаких...

— Ну, хорошо. После об этом. Вернемся к старому. Вот вижу я тебя в этой избе, в этом наряде; руки у тебя рабочие... Заметно, что ты не даром здесь живешь и от труда не бегаешь. Не подумай, что я тебя укоряю этим. Я сам прошел рабочую школу, какой — прямо скажу — тебе не испытать. Не то что русскому мужику — русскому каторжнику легче, чем нашему брату, вольному рабочему, пока он проложит себе дорогу и выйдет из грязи в князи, как вышел я. Следовательно, говорить с тобою как товарищ я имею право. Хорошо. Ручной труд я уважаю столько же, как и умственный. Но в России люди нашего класса берутся за него только в крайней необходимости, чтоб уйти от него при первой возможности, как и я вот теперь постарался уйти. А тебе не было неизбежной надобности выбирать его, да еще в такой форме: у нас есть родные; наверно, ты имеешь знакомых, даже друзей; тебе было бы легко найти себе какое-нибудь место — гувернанткой, компаньонкой, чтицей, продавщицей в магазин, наконец... А ты ни к кому не обратилась,— ушла сюда, к Федосье. Отчего?

— Да все оттого же, братец.

— Способностей нет?

— Да.

Александр Николаевич пожал плечами.

— Видите ли, братец,— с расстановкой продолжала Катя, и опять мелкие росинки выступили у нее над бровями,— я из дома давно задумала уйти: как только эта Сашка у нас проявилась...— с нескрываемой ненавистью выговорила она противное ей имя, необыкновенно живо напомнив Чилюку его грозную мать.— Вот тогда я и передумала обо всем, что вы говорите. Магазинов у нас в городе нет, так о продавщице только не думала. Стала я пытать себя, гожусь ли куда: в гувернантки ли, в учительши ль... в акушерки очень хотелось... Нет — словно каменная у меня голова: ничего-то к ней не пристает, ничего-то в ней не держится. Что сегодня выучу, завтра... какое там, завтра!— через полчаса забуду. Все слова улетают, один только туман остается. Тут мне доктор этот подвернулся. Ни на что, говорит, вы не найдетесь; у вас не все дома. Вы и здравомыслящая, и все; но у вас способности к учебе отшиблены... Оно и впрямь: как не отшибить?— все тем же ровным голосом заметила она, взяла руку брата и положила её на свою голову,— чувствуете, какой шрам?.. У меня тут даже плешка, с семитку, пожалуй, а то и больше; волосами зачесываю; хорошо, что густые — не видать... Так, говорит доктор, и знайте, что дальше не лучше, а хуже будет... насчет памяти то есть. Ну, тогда я себя и порешила. Скажите, братец, ведь стыдно человеку без всякого дела жить на даровом хлебе?

— Стыдно, Катя...

— Да еще когда этот хлеб так дорого, таких обид стоит, что поперек горла становится... Я и пустилась своего хлеба искать. Головой не могу найти,— думаю, руками найду...

— Извини, Катя,— поспешно перебил ее брат,— ты Толстого не начиталась ли?

— Нет... Какой Толстой?— спросила Катя с откровенным недоумением.

— Писатель. Он почти то же говорит, что и ты. Только он вовсе умственный труд отметает... всех зовет к ручному.

— Нет, я бы учительшей либо акушеркой больше хотела быть, чем — как теперь,— вдумчиво молвила Катя.— Хорошо, у кого в уме светло... Но как я ничего не могу, то, стало быть, и состоять мне при ручном деле. Заходила я иной раз к

маме Федосье,— ведь она кормила меня, помните, братец?— нравилось мне, как она живет, кружевничает... работа хорошая, тонкая... Мама Федосья была ко мне добра... Я выплакала ей свою беду, что у папаши я жить не могу, а идти некуда. Либо я зарежу Сашку, либо дом сожгу, либо сама утоплюсь... Мама Федосья мне и говорит: нет, ты, Катя, не режь ее и сама не топись, а, как станет тебе невтерпеж, приди ко мне; я тебе что-нибудь присоветую...

— Подожди, Катя,— перебил ее опять Александр Николаевич,— эта Александра Кузьминишна мне самому показалась противна... но с чего, собственно, началось у тебя такое озлобление?

Катя всплеснула руками.

— Братец! да как же иначе? Ведь она — как у нас проявилась? Когда мамашу разбил паралич и отнялись у нее ноги,— она меня ни на шаг от себя не отпускала; по хозяйству хлопотать было некому; вот и взяли в дом эту проклятую... Мамаша с места двинуться не может: а она — бесстыдная! в ее же доме... Нет, братец, вы со мной про это не говорите, а то я тут сбиваюсь...— сказала она с потемневшим лицом; но вдруг сама близко наклонилась к Александру Николаевичу:

— Братец, а ведь она мамашу удушила!..

Чилюк невольно отшатнулся. Мурашки пробежали у него по спине.

— Что ты, Катя... Бог с тобою...

— Удушила, братец! Доктора говорят, будто мамаша померла от второго удара... А отчего же этот удар приключился как раз в ту ночь, когда я у мамаши в спальне не спала?.. Прокралась, подлая, в спальню, да подушкой и задушила. Вы моему слову верьте. У меня есть в сердце такое, что меня никогда не обманет. Мамаша хоть и без ног, а еще бы десять лет прожила: она была крепкая...

— Бредишь ты, Катя...

— Все вот так говорят, все!— с горечью возразила Катя,— и папаша, и даже мама Федосья, на что уже всякому моему слову верит. А я врать не умею... Вы слушайте: я в маменькиной комнате, когда покойницу на стол убирали, Сашкину подвязку нашла и спрятала... Тогда у меня и подозрения никакого не было. После — много после — папаша как-то раз говорит мне, чтоб я его простила, если он женится на Александре Кузьминишне. Тут мне в виски так и стукнуло, так

все мне и просветлело, и, как мне дело представилось, так я все и выложила папаше. Он рассердился, затопал на меня ногами и прогнал с глаз долой; а вскорости прилетает ко мне сама Сашка,— лица на ней нет... И давай на меня кричать: как я смею клеветать на нее. А я вынула из ящика подвязку и спрашиваю: это — что?.. Она вся побелела, прыг ко мне, выхватила подвязку из рук да в карман ее... Я к ней бросилась, а она... ох, братец!..

Катя, бледная, как мертвец, опять пригнулась к брату, почти уронив голову ему на плечо.

— Она меня по щеке два раза ударила!— глухо прошептала она.

Чилюк ничего не сказал, но так ударил кулаком по столу, что доски затрещали и вздрогнула посуда на надстольных полках. Он встал и медленно прошелся по избе. Потом наклонился к сестре и поцеловал ее в голову. Катя почувствовала слезу, упавшую на ее волосы, и покраснела; взор ее засверкал благодарным восторгом и слезами...

Кое-как справившись с волнением, она продолжала:

— Я тогда обезумела... к пруду бросилась... да на самом берегу вспомнила маму Федосью: не топись, а приходи, посоветуйся... Так, в чем была, и прибежала к ней, и выплакалась... «Утро вечера мудренее»,— говорит мама. Напоила меня малиной, уложила спать, а Максима — племянник ее, кузнец,— послала в нашу усадьбу сказать, чтобы не беспокоились, что барышня-де у нее отдыхает. Поутру рано, с зорькою, будит меня мама Федосья: «Вставай, Катюша, обряжай вот эту одежу,— платье мне простенькое припасла,— да пойдем-ка мы с тобой к Пафнутию в Боровск, помолимся! Авось в мозгах-то у тебя просветлеет,— увидим, как тебе дальше быть...» Целую неделю до Боровска шли, там три дня пробыли... Назрело у меня в душе — пойти к маме Федосье в жилички... Дальше — как сами видите.

Катя умолкла.

— Катя!— сказал Александр Николаевич, крепко взволнованный,— ты молодец... только этому конец положить надо. Что себя мучить? Я тебя увезу отсюда...

Катя, не глядя на брата, покачала головой.

— Ты не хочешь?.. значит, довольна?..

— Довольна, братец, я здесь при деле. Привыкла.

— Дело будет и в другом месте, и привыкнешь к другому месту.

— Что, братец,— как слышно? войны не будет?— не отвечая, спросила Катя.

— Нет, кажется... а что?

— Я бы в милосердные сестры пошла... А так, просто — куда мне ехать, братец? зачем?

— Я тебя устрою в Петербург к хорошим людям...

— Что же я у них делать буду?

— Что понравится, что знаешь...

— А я же ничего не знаю... а что умею, тому здесь место, а в Петербурге ни к чему... Даром я хлеба есть не хочу... дурочкой между людей жить тоже не согласна... У меня гордость есть. Нет, братец,— вы только не обижайтесь, родной!— оставьте меня, как нашли, не ворошите... И мне придется привыкать к новым людям, и новым людям ко мне; полюбимся ли друг другу, еще бабушка надвое сказала,— а здесь уже дело верное. И я люблю, и меня любят...

В уме Александра Николаевича мелькнула быстрая мысль...

— Позволь, Катя,— остановил он ее,— я вижу, что ты честная девушка, и тебя не следовало бы об этом спрашивать, но отец намекал мне о каких-то дурных слухах...

— Я знаю, что на усадьбе про меня говорят,— спокойно сказала Катя, глядя прямо в глаза Александру Николаевичу,— что у меня любовник есть. Вы не верьте. Лгут. Никакого у меня любовника нет. Чудные! коли на меня плохо надеются, хоть мамушке бы поверовали: она у нас строгая, святая,— все знают... Вот,— она улыбнулась, застыдилась и покраснела,— замуж я, может быть, точно пойду...

— За кого же? за здешнего?

— Да... за Максима, матушкина племянника...

— Ты его любишь?

Катя задумалась.

— Люблю...— не совсем смело начала она и потом гораздо решительней договорила:— Очень уж хороший он человек, мало таких на свете, и меня крепко любит...

— Совсем, значит, свяжешь себя с Теплой слободой?

— Совсем... что же? Я ведь с нею расставаться и так не собираюсь,— сказала Катя и вдруг неожиданно прибавила:— Он меня из воды вытащил... случилось тут... тонула я один раз...

— Как же случилось?

— Так... Вы не думайте, что я нарочно... просто, на плоту

мыла белье, да и сорвалась. Плавать я хорошо умею, да меня под плот затянуло. Другие девушки закричали; Максим подоспел, бухнул в воду и вытащил... После того мы с ним и поладили, чтобы повенчаться.

— Конечно, дай тебе Бог счастья, но... Скажи, пока ты жила у отца, ты ни разу не собиралась замуж идти?

— Нет... Маменька последние годы больная была,— как мне от нее было уйти? А женихи тогда были. Александра Кузьминишна тоже подыскивала мне женихов,— сбыть меня ей хотелось; да как же можно за нелюбимого человека замуж идти?.. зачем?..

— А никто не нравился?

Катя промолчала.

— Не уживаются по нашей глуши хорошие люди из нашего сословия,— сказала она потом,— скучно им тут, к большим городам их тянет... за пьяницу, либо бездельника, либо слабодушника, хоть бы и полюбился на грех, какая радость выйти? Был один,— тихо сказала она,— доктор... хороший человек... шибко мне нравился, и я ему... Только я этому доктору сама сказала: вы меня оставьте! я не для вас... Я вам не пара...

— Почему же, Катя?

— Умный он был, очень образованный. Все говорили, что ему в столице большая дорога будет, когда он земский срок отслужит. Ну... на что ему такая жена, как я? Неуч, беспамятная... Всюду бы я его осрамила, всякие бы пути ему завязала. Сокол в небо рвется, а я ему — путы на ножки... что хорошего? И Бог весть, надолго ли бы его любви хватило?.. Кандалы, хоть из золота их слей, милы не будут... Да и любовь ли еще была? Глушь ведь у нас... скука... а я не урод собой... к тому же видел он, что меня крепко обижают... вот и пожалел... Подумала я так-то ночку, другую, поплакала — и отказала...

— Тяжело тебе было!— участливо отозвался Александр Николаевич.

— Не-хо-ро-шо,— раздумчиво протянула Катя,— что же? не все мед пить, напьешься и водицы... Прошло уже, забылось... Он теперь в Петербурге... Жениться стал — письмо прислал... хорошее письмо... только лучше бы его не писать было! А то что такое? Точно благодарит: спасибо, что меня не погубила...

Катя засмеялась, и звонкий звук смеха свидетельствовал,

что неудачный роман не оставил в ее душе никакой горечи...

— Ах, Катя, Катя! — улыбаясь, говорил Александр Николаевич,— видал я чудных людей, а таких, как ты, не случалось... Так не поедешь со мной?

— Нет, братец... простите... не поеду. От добра добра не ищут.

— Как хочешь, дитя мое, неволить я тебя не буду. Насильного счастья не бывает. Я довольно пожил на свободе, чтобы не знать этого... Но я богат. Позволь мне помочь тебе. Вы...— он окинул глазами убранство хаты,— не слишком-то здесь роскошничаете...

— Вы денег хотите мне дать?— спросила Катя.

— Если позволишь...

— Денег мне дайте, если богаты. Мы оттого и свадьбу не играем, что надо новую хату ставить, а денег у нас не богато... Я вам скажу, братец, правду, что мама Феодосья стала на старости к беспоповцам клонить, и они ее очень почитают. Ну, а нам с Максимом что же ее тяготить? В одной хате две веры нехорошо... ссориться станем...

— Да, возьми, сколько хочешь. Ты у меня одна,— мне не жалко.

— Чай, женитесь, братец!

— Женюсь ли, нет ли, это еще вилами на воде писано... А ведь твоего Максима я уже видел! — весело воскликнул Чилюк, глядя в окно,— право, видел: он станок починял... Ведь это он идет по двору?

Когда молодой кузнец показался на пороге хаты, в ней сразу стало как будто тесно. Думалось — шевельнется этот богатырь, и либо плечом стену высадит, либо головой потолок проломит. Вымытое лицо, чистые руки и мокрые волосы показывали, что, по дороге из кузницы, он забежал на пруд искупаться. Александру Николаевичу богатырь показался почти красавцем, со своим румяным лицом, рыжеватой бородой и веселыми голубыми глазами, которыми он с великим недоумением уставился на Катю: это, мол, что за гость у вашей милости? Зачем?

— Максим, это мой брат, Александр Николаевич, из-за границы приехал,— улыбаясь, сказала Катя,— не забыл меня, спасибо ему, пришел навестить...

Улыбка Кати отразилась на лице кузнеца так светло, быстро и широко, что, казалось, он весь засветился: и глаза как будто стали ярче, и румянец алее, и борода рыжее. Он низко

поклонился и несмело протянул руку Чилюку. Руки были пожаты крепко, приветствия сказаны горячо, но затем наступило неловкое молчание. Александр Николаевич с досадою чувствовал, что, при всей своей опытности, при всем своем навыке к обращению с самыми разнообразными людьми, он не находит тона, которого надо держаться. Они смотрели друг на друга, как люди разных миров — с любопытством, но без участия, и с некоторой боязнью. Всем троим было неловко. Побормотав несколько вялых фраз, шаблонных и бесцветных, о своей радости за сестру, о своей уверенности, что выбор ее пал на хорошего человека, Чилюк резко оборвал речь, встал и начал прощаться. Максим, слушавший Александра Николаевича с каким-то конфузливым испугом в глазах, был, видимо, рад, когда Чилюк замолчал. Катя не удерживала брата.

— Я приду в город проводить вас,— сказала она, любовно глядя в глаза Александру Николаевичу; и он по взгляду ее понял, что она отлично чувствует, как неловко ему между нею и Максимом, но извиняет ему это и не сердится.— В усадьбу мне нельзя, а в город приду. Вы дайте мне знать, когда будете уезжать.

— Завтра вечером я уеду.

— Скоро так?— грустно отозвалась Катя.

— Эх,— искренним вздохом вырвалось у Александра Николаевича,— что мне тут делать, Катя? У вас здесь, на Теплой слободе,— все свое, новое; там, на усадьбе,— тоже свое, хоть и старое... И здесь, и там я лишний, чужой человек; от старого отвык, к новому не привык; старое, Катечка, мне противно, новое — непонятно. А времени разбираться нету. Жизнь у меня в деле: как вода в котле, ключом кипит. Прощай, друг Катя! Шел я тебе помочь, а отчасти, каюсь, и поругать тебя, но крепко ты мне полюбилась. И жаль мне тебя оставлять здесь, и думается мне, что ты хорошо себя понимаешь и устроишь свою судьбу лучше, чем устроил бы я. Оставайся и живи, как знаешь. Пусть тебя другие, как хотят, судят, я же тебе не судья. Вижу, что ты честная девушка и ничего бесчестного не то что сделать, даже подумать не в состоянии... Тем хуже для тех, кто будет тебя порочить! А плохо тебе придется — напиши: чем могу — словом ли, деньгами ли, всегда выручу... А завтра приходи в город, я тебе кое-что хорошее скажу...

Максим и Катя проводили Александра Николаевича

далеко за околицу. Оглядываясь, он долго видел их стоящими на придорожном бугре, над золотым потопом ржи.

Когда пред Чилюком поднялись из-за кудрявой рощи красные кровли отцовской усадьбы, ему стало не по себе. Он не поверил тому, что Катя говорила о смерти матери, но провести ночь под одной крышей с Александрой Кузьминишной, после этого рассказа, показалось ему невыносимо гадким... Едва ступив на крыльцо дома, он уже распорядился, чтоб ему готовили лошадей в город. Николай Евсеевич по лицу сына угадал, на чьей он стороне, и сконфуженно развел руками... Александр Николаевич коротко передал ему подробности своего свидания с Катей, свое намерение помочь ей деньгами и заключил:

— А от вас, папа, прошу одного: оставьте вы ее совсем в покое, не мешайте ей быть счастливой. Мы с вами слишком мало сделали для нее, чтоб иметь право на вмешательство в ее жизнь...

— Воля твоя... я этого не понимаю,— бормотал старик,— ты сочти, сколько жертв она приносит: выйти из сословия, выйти из семьи, из своего общества... и для чего же? Для благосостояния, комфорта, покоя? Нет, для добровольной каторжной работы, для удовольствия перебиваться с хлеба на квас, в хате... Черт знает какие люди на свет родиться стали!.. И... извини меня: ты мне еще чуднее Кати. Ее странность я могу объяснить хоть тем, что ее мать била по темени аспидной доской. Но ты — сильный, неглупый, образованный человек — и вдруг вторишь этой безумной. Ради чего? Что ты находишь в ней отрадного?

— Видите ли, папа,— перебил Александр Николаевич,— семья, в которой житья нет, общество, членом которого имеешь право быть, но не имеешь возможности, и сословие, значения которого не понимаешь,— вовсе не такие драгоценности, чтоб от них не отказался человек, когда его чутьем потянет к счастью за пределами этих перегородок. Катю потянуло — она и ушла. Вы говорите о покое... Покой хорош только как отдых, его знают только те, кто устает. Люди не работающие знают не покой, но оцепенение. И живой душе в мире оцепенения жутко. Вырвется она за его границы и уйдет, куда попало — все равно, на счастье или на несчастье, лишь бы и то, и другое было свое: добытое своею волею, своими руками, своей головой. Ведь только это-то и называется жить. Я знаю это, потому что на себе испытал. И не

пробуйте понимать чужого счастья — не поймете. Я сам Катиного счастья не понимаю, и мне ее как-то жалко, а между тем я видел ее искренно счастливою. Оставьте ее!.. Кроме вреда, мы с вами ничего ей не принесем... Она не наша — своя! Пусть же эта чудачка и счастлива будет по-своему.

Побег Лизы Басовой

I

Храповицкий мещанин Тимофей Курлянков стоял на коленях в глубине «котла», выветренного в пластовой шиферной скале над Енисеем, и чинил рыболовную сеть. Он был очень не в духе. Сегодня утром нежданно-негаданно пожаловала к нему из города на одинокую заимку жена его Ульяна, баба еще молодая, но пьяная и гулящая. Тимофей, человек степенный и работящий, ее терпеть не мог. Жили они давным-давно врозь: Ульяна — в городе по местам у «навозных», Тимофей — приказчиком-сторожем на глухой заимке, брошенной настоящим хозяином, красноярским купцом, чуть не в полную собственность Тимофея. Купец, великий фантазер и запивоха, весьма уважал Тимофея за честность и еще больше за то, что, «однако, курносый, как Сократ». Прежде чем спиться, купец успел поучиться в красноярской гимназии, а может быть, именно там-то и спился, как весьма многие сибирские юноши. Визиты Ульяны к мужу на заимку всегда означали одно и то же: что бабу бросил очередной любовник, а она с досады и горя запьянствовала, потеряла место, безобразничала недели две по улицам и валялась хмельная у всех кабаков славного города Храповицка, пока наконец, пропившись дотла, не вспомнила о существовании где-то в глуши, за сорок пять верст, своего законного супруга. Сегодня Ульяна пришла в довольно приличном виде, то есть имела на себе юбку и башмаки. Два года назад, в последнее свидание суп-

ругов, она явилась очам изумленного Тимофея почти Евою: всю одежду заменял ей рогожный куль, который она носила как поп ризу. А на дворе потрескивали уже сентябрьские морозы. Другая бы замерзла либо простудилась насмерть. Но этой железной, да и к тому же насквозь проспиртованной бабище все было сполгоря: хоть бы лишний раз чихнула! При встрече муж и жена, после кратких и весьма ласковых приветствий, быстро переходили к пререканиям, от пререканий — к драке. Побеждал в продолжительном бою в конце концов, разумеется, Тимофей,— все-таки мужчина!— но не без труда и урона, потому что Ульяна была не по-женски сильна и в драке зверела, так что надо было ее связывать. Вся обычная последовательность супружеского свидания повторилась и сегодня утром, о чем выразительно свидетельствовали царапины на лице Тимофея и подбитый глаз. Тимофей продержал жену связанною больше трех часов, покуда она утомилась ругаться, заснула, выспалась и, проснувшись, взмолилась о помиловании. Тимофей явил великодушие и развязал Ульяну, за что в благодарность та немедленно плюнула ему в глаза. Драка имела все данные возобновиться, но Тимофей, как опытный стратег, сообразил, что, покуда связанная Ульяна спала и отдыхала, он три часа работал во дворе, не покладая рук, и, следовательно, со свежими силами врага ему, утомленному, не сладить. И, осторожный, как Куропаткин, он благородно ретировался к сетям своим на Енисей, оставив за торжествующею Ульяною поле сражения и фортецию заимки.

Ульяна воспользовалась своею победою прежде всего за тем, чтобы разыскать имевшуюся в хате бутылку спирту, которую и осушила по-сибирски — чайною чашкой. Алкоголь умягчил ее бранное сердце и расположил мириться с мужем. К тому же на заимке ни души не было, и пьяной бабе стало скучно. Одним словом, каковы бы ни были намерения Ульяны, мирные или воинственные, но Тимофей, около обеденного часа, увидал из своего «котла», что жена взбирается к нему в убежище крутою тропинкою по обрыву над Енисеем. Ульяна едва держалась на ногах, качалась, шаталась, падала на четвереньки, ползла. Тимофей пришел в ужас: он знал, что тропа узкая, неверная, осыпчатая, по ней и трезвому-то пройти не шутка. И не успел он крикнуть Ульяне, чтобы та остереглась, как несчастная баба и в самом деле оступилась и полетела, перекувыркнувшись в воздухе, вниз,

а за нею грянул целый обвал слоистой выветренной породы.

Тимофей, едва помня себя от ужаса, бросился на помощь к жене. Она лежала близ самого Енисея, на гальке, полузасыпанная, неподвижная. Пока мужик добрался к ней через сыпучую дыру, которую сделал в тропинке обвал, прошло довольно времени. Бледная синева лица, оскал зубов и лужа крови вокруг холодеющего тела выразительно сказали Тимофею, что он овдовел.

Тимофею нисколько не жаль было Ульяны, но он был потрясен внезапностью катастрофы и, кроме того, струсил. Не покойницы струсил, но — что засудят. Мужик он был неглупый и сразу смекнул, что в несчастный случай тут начальство плохо поверит. О скверных отношениях Тимофея с женою было известно далеко в околотке. Заглянул Тимофей в лужицу, наплесканную Енисеем между галькою: вода показала ему курносое лицо, исковерканное смущением и страхом, а что хуже всего, избитое и исцарапанное так усердно, что не у всякого настоящего убийцы бывает. Худо!

Одна надежда, что никто не видал. Кругом пустыня. До ближайшего жилья — села Прощи — семь верст. Спустить Ульяну, хорошенько загрузив крупною галькою, в Енисей, и концы в воду. Но тут Тимофей сообразил, что Ульяна прошла ряд сел, в которых ее знали. Значит, известно, что она находится у мужа. Значит, не сегодня завтра узнается, что Ульяна пропала с заимки невесть куда. Значит, явится спрос к Тимофею: куда девал жену? А Енисей — река сумасшедшая: не груженое он грузит, а груженое разгружает. Каких камней ни наверти на покойницу, это похороны неверные,— течение очень может развязать труп и выбросить его где-нибудь на мель, в протоке.

Покуда Тимофей горевал и раздумывал, к заимке, со стороны ближнего села, подходил человек. Был он богатырского роста, в грубом пиджаке домотканого сукна, штаны засучены в высокие сапоги. Из-под московского картуза глядели глаза орлиные — суровые, смелые и зоркие. Сивые усы, сивая борода. Звали этого человека... впрочем, все равно, как его звали, а кличка ему в округе была Потап. Был он старый политический ссыльный — бомбист, отбывший долгую каторгу и поселение и потом брошенный под гласный надзор в степное село. Жил на Проще много лет, омужичился, стал хозяином и, как часто бывает с поднадзорными властного ума и характера, если они попадают в очень глухое

захолустье, сделался человеком, необходимым для крестьянства,— своего рода моральным начальством, которое иной раз повлиятельнее начальства коронного.

Тимофей зазрил Потапа издали на буграх. Сперва испугался, потом обрадовался. Потап был как раз человек, подходящий Тимофею для помощи и совета. Что Потап поверит ему и не подумает, будто он убил Ульяну, Тимофей не сомневался.

Потап поверил. Положение трупа, характер ушибов и ран на теле Ульяны убедили старика, что Тимофей говорит правду. Сомнения и страхи Тимофея он тоже понял очень хорошо. Без вины разорят и засудят.

— Прежде всего «это» надо зарыть.

Подняли мужчины мертвую Ульяну и перенесли ее на заимку, во двор. Там Потап приказал Тимофею разметать огромную кучу назема и на расчищенном месте рыть яму. Делалось так затем, что под наземом земля талая, рыхлая, и легче, скорее берет ее заступ. Ведь по Енисею и летом, уже на аршин вглубь, почва промерзлая, что камень, хоть разбивай ее ломом и руби топором. А стояло не лето уже, ранняя осень: дни бежали к Покрову. Работали часа два. К вечеру тело Ульяны навсегда исчезло от глаз мира сего в глубокой яме, плотно засыпанной песком. Поверх песка мужчины снова навалили бугор назема.

— Теперь,— сказал Потап,— сядем да померекаем, как избывать беду твою дальше. Я так полагаю, Тимофей, что оставаться на заимке тебе никак нельзя.

— Страшно, Потап Ильич,— сознался Тимофей.— Хотя баба была самая лядащая и никакой вины моей в ее смерти нету, а все же...

— Разумеется. Кому приятно жить одному в пустыне и труп под ногами чувствовать? Но, помимо того опасно, что родня, знакомцы, начальство вскоре хватятся твоей Ульяны, начнут ее искать. А перед следствием и допросом,— я тебя знаю,— ты спасуешь... ну, и готов черту баран: ни за что ни про что Сахалина хватишь... Надо тебе уехать, друг любезный. Уезжай.

— Я бы с радостью, Потап Ильич, только боязно: не подать бы на себя еще большего подозрения? Скажут люди: что за диковина? Пришла к Тимофею жена и как в воду канула, а сам Тимофей ускакал невесть куда, будто оглашенный? Это не иначе, что он ее извел да бежал...

— Да,— спокойно возразил Потап,— ты совершенно прав. Бежать одному, без жены, я тебе не посоветую: прямая улика,— накроют. Но тебе следует не одному бежать, а именно вдвоем с женою.

— То есть как же это с женою, Потап Ильич?

— Так, с женою, с Ульяною.

— Позвольте, Потап Ильич? Мне невдомек. Ослышался я, что ли, или плохо вас понял? А зарывали-то мы с вами сейчас кого же?

— Ульяну зарывали.

— Ну?

— Чудак! Ульяну зарыли, а паспорт от нее небось цел остался? Нешто не знаешь, что на Руси человек состоит из души, тела и паспорта? Теперь — покуда не станет известно, что Ульяны твоей больше нет на свете,— которой женщине ты дашь паспорт Ульяны, та и будет Ульяною... Понял?

— Однако понял,— протяжно сказал Тимофей.

— Покуда ты назем ворочал, я твое дело обмозговал. Слушай: тебе совсем не «бежать» надо, а просто уехать, открыто уехать, у всех на вести, ну, в Красноярск, что ли, скажись, будто за покупками... И дам я тебе в попутчицы одну женщину... то есть девушку... Она из наших, политических, только в политику-то совсем не по характеру своему попала, а больше как кур во щи... Тоскует здесь ужасно, а сослана на пять лет. Человек хороший, но воли большой в себе не имеет, страдать и терпеть неохоча, да и не понимает хорошо-то, за что терпит. Вообще лишняя она здесь. Я давно уже порешил устроить ей побег при первой же возможности. И если ты согласишься, то счастливее случая найти нельзя. По приметам она с Ульяною сходится. Ты ее знаешь: это — Лиза Басова. Моложе покойницы немножко, да это пустяки, сойдет. Вся твоя обязанность, стало быть, сводится к тому, что ты увезешь ее из наших мест, как будто бы свою жену, и доставишь, куда мы тебе назначим. А затем, пожалуй, хоть и домой возвращайся, на заимку. Скажешь людям, что жена поступила служить к господам, на место, в Красноярске или Томске. Можно, пожалуй, и паспорт ее там прописать. А то просто жалуйся, что, мол, запила, бросила меня в губернии... Все знают, какая шалая и непостоянная была твоя Ульяна. И если ты все это исполнишь, то не только спасешь себя от всякой опасности, но еще и доброе дело сделаешь и заработаешь рублей пятьдесят, даже сто. У Лизы есть ма-

ленькие деньжонки, да и я согласен помочь. И заранее говорю тебе: этой твоей услуги я, пока буду жить, тебе не забуду.

Тимофей очень задумался. План Потапа казался ему прост и ясен. Если и было что трудное к выполнению, то разве вначале: как провезти Лизу Басову под именем Ульяны по тем деревням и селам, где Ульяну знают в лицо? Но, сообразив расстояние и свои знакомства, Тимофей высчитал, что последний пункт по тракту, опасный ему в этом отношении, находится верстах в 50— станок Кошмино: у Ульяны была выдадена туда замуж старшая сестра. Дальше Кошмина Ульяна никогда не бывала. На доброй паре сытых сибирских степных коньков Тимофей рассчитывал сделать этот перегон в ночное время, выехать с вечера, покормить коней «на степу», в дороге, и так приноровить, чтобы к свету очутиться уже далеко за Кошминым.

— Если опозднимся, ободняет, то дам крюку по степи, объеду Кошмино сторонóю... Ничего! можно! Вот только, Потап Ильич, не было бы за вашей барышнею погони от начальства?

— За три дня я тебе ручаюсь, что не будет. А может быть, и четыре, и все пять дней, даже неделя пройдет, покуда ее хватятся... Это-то нам устроить всего легче. И сами целы будем, и добрых людей не подведем. А за пять ден вы будете уже верстах в пятистах, если не больше. Да раз всем будет известно, что ты уехал со своею женою, какое же у кого может быть на тебя подозрение.

В таких соображениях и переговорах провели они — Потап с Тимофеем — целую ночь, а наутро окончательно ударили по рукам, решились и принялись действовать.

Побегу Лизы Басовой было назначено быть трое суток спустя. За это время Тимофей нарочно то и дело показывался на Проще всем, в том числе и помощнику станового, говорил о своей скорой поездке в Красноярск, будто хозяин-купец вызывает к себе по торговому делу, рассказывал, что жена к нему возвратилась, и жаловался, что никакого терпения с нею не станет,— так безобразно пьет и буянит.

— Одное оставить невозможно: боюсь, заимку сожжет; мне перед отъездом хлопот, забот выше головы, а отлучиться от дома не смею. Спасибо Потапу, что заходит присмотреть. Только в то время я и свободен.

— Ты бы ее, однако, полечил?— советовали ему.

— И то в Красноярск с собою везу,— лекарь там, сказывают, чудотворный проявился, хорошо пользует от запоя травами. Хотя большой надежды не имею, однако авось! Этакая обуза и убыток, а нечего делать, везу. Да и все равно: как ее, проклятую, одное дома оставить? Она заимку сожжет. Вона — смотрите, как мне рожу-то обработала!

Некоторые любопытные кумушки сунулись было на заимку посмотреть, как пьет и безобразит Тимофеева молодуха, но наткнулись там на сумрачную и грозную фигуру Потапа, который вытурил их без церемонии:

— Нечего, нечего хвосты трепать, о чужом сраме любопытствовать. Когда вытрезвим Ульяну, тогда милости прошу, а представлений делать из пьяного человека не позволю: стыдно вам, тетки.

Потапа боялись,— кумушки ушли, не солоно хлебав, а легенда о беспросыпном запое Ульяны еще более окрепла, выросла и покатилась от хаты к хате.

Что касается Лизы Басовой, ее побег был обставлен очень просто. В назначенный день она обратилась к помощнику станового с просьбой об отлучке на три дня в соседнее село, верст за восемнадцать, к знакомой попадье. Отлучки эти разрешались ей уже не раз,— у полиции Басова была на счету «смирной» и выигрывала тем маленькие поблажки. Да и вообще ссылка в сибирском селе только скучна ужасно, и для людей, не имеющих своих средств, голодна; в рассуждении же общего «прижима», она, пожалуй, легче городской: начальства меньше, и калибром оно мельче. Помощник станового совершенно спокойно разрешил Басовой навестить попадью, а Басова, тоже совершенно спокойно, отойдя версты две за поскотину, спустилась в балку, где ждал ее Потап с платьем, которое должно было превратить Лизу в Ульяну. Платье Лизы Потап зарыл тут же в балке и камнем завалил. Падали сумерки, когда, окружив село по степи, они вдвоем спустились к Тимофеевой заимке. А полчаса спустя затарахтела по тракту кибитка, унося двоих путников. Проехать пришлось через все село, почти двухверстную Прощу,— на том настоял Потап. Слыша грохот колес, глядели люди в окна и говорили:

— Хурлянков в губернию покатил: жену от пьянства лечить... Ишь, шельма, до чего себя довела: даже сидеть в кибитке не может... колодою лежит... Ай-ай-ай! Однако и бабы же пошли ноне.

Помощник станового тоже смотрел в окно и тоже жалел Тимофея и ругательски ругал его пьяницу-жену.

Лиза Басова кончила свою ссылку!

II

Лиза Басова, так романически бежавшая из ссылки в селе Проще,— прав был Потап,— попала в революцию действительно «как кур во щи»,— совсем нечаянно и, пожалуй что, почти не ко двору. Была она москвичка (не городская — из уезда), происходила из духовного звания, училась в московском Филаретовском училище, курса не кончила, по неприятностям с начальницею, и семнадцати лет поступила продавщицею в игрушечный магазин. В качестве сироты жила у тетеньки, которая весьма строго наблюдала за ее нравственностью, но обращалась с нею как с прислугою. Да и приходилось в самом деле помогать прислуге. Тетенька держала на Бронной студенческие меблированные комнаты с столовкою, пансионеры к ней валили валом, потому что дама была довольно добросовестная: кормила дешево и почти съедобно. Со студенчеством весело,— Лиза своею полуприслужническою ролью не тяготилась. Дело у тетеньки процветало и росло, а сама тетенька старела и болела. Лизе пришлось бросить магазин и превратиться в экономку меблированных комнат. Окруженная студентами, она ловила от них коекакие «идеи времени», но, правду сказать, была слишком неразвита, чтобы сознательно усвоить, а развиваться было некогда: с утра до вечера кипела в хозяйстве, как в котле. Из себя девушка была не то чтобы уж очень красивая, но — пресимпатичной миловидности, рослая, статная, дышащая здоровьем и силою. Темпераментом природа наградила ее холодным, к влюбчивости не расположенным, а для дружбы и товарищества весьма приспособленным. Поэтому студенчество очень уважало и любило Лизу Басову, несмотря на ее простоту и почти темноту, и даже ревниво берегло ее от чересчур предприимчивых развивателей. Таким образом, досуществовала Лиза Басова до двадцать второго года жизни, не выйдя замуж и не имев романа,— просто «добрым товарищем» и «хорошею девкою». С своей стороны она почти суеверно обожала студенчество, как некую высшую силу, инстинктивно, именно только за то уже, что оно студенчест-

во, и не понимала, но глубоко уважала на веру решительно всякую «революцию», потому что огромное большинство студенчества, у нее квартирующего и столующегося, было революционно. Она знала кое-что по слуху — например, что у одних — «пролетарии всех стран, соединяйтесь», а у других — «в борьбе обретешь ты право свое». Какая разница между теми и другими, это оставалось выше понимания Лизы, но она одинаково сочувствовала тем и другим, трепетала за тех и других, вместе с теми и другими ненавидела полицию, опасалась и подозревала шпионов и, в случае надобности, очень могла за тех и других собою пожертвовать. Ну, и случай представился. Был обыск в меблированных комнатах, искали шрифт — и ничего не нашли. Присутствуя при обыске, за хозяйку, Лиза Басова заметила скромный тючок, до которого полицейское внимание еще не достигло. Она хорошо знала, что тючок — с только что отпечатанными прокламациями более чем энергического призыва. Тогда Лиза Басова тючок очень ловко скрыла и вынесла в прачечную. Жандармы удалились с пустыми руками, забрав на всякий случай двух обысканных студентов. Но назавтра они возвратились уже за Лизой Басовой: номерная горничная подметила ее проделку и нашла выгодным донести. В тюрьме Басова вела себя опять-таки не героинею какою-нибудь, но с достоинством, «хорошею девкою»: никому ни словом не повредила, ни в чем не обмолвилась, а, не надеясь на свою изворотливость, больше отмалчивалась: знать не знаю, ведать не ведаю. Арестованные студенты, искренно жалея Лизу, усердно и постоянно заявляли на допросах, что Басова в их деле — ни при чем, человек не партийный и ровно ничего революционного они ей не открывали и не доверяли. Мудрое начальство и само видело с ясностью, что треплет совсем непричастного человека, но — за молчанку, в которой «упорствовала» Басова,— на всякий случай — швырнуло ее в порядке административной ссылки в Восточную Сибирь, на Енисей, в Прощу.

Потап немножко слукавил, когда уверял Тимофея, что ему хочется сбыть Басову из Прощи только потому лишь, что девушка очень тоскует.

Что Лиза умирала в Проще от тоски по России — это правда, но кто же не тоскует в административной ссылке? А бегут, однако, весьма редкие. Больше того, еще недавно было время, когда подобные побеги, тем более от определен-

ного срока, считались в ссыльной среде почти неприличными и вредными, потому что отзывались на остающихся товарищах лишением льгот по свободному жительству и разными мстительными притеснениями «по закону». Я испытал это на самом себе. В Минусинске я очень дружил с местными татарами. Они два раза предлагали мне выкрасть меня и переправить, через Саяны, в Китай.

— Только скажи — сам не услышишь, как очутишься в Сойотии.

Соблазн был огромный, а риска почти никакого. Но посоветовался я с одним милым человеком, другом всех политических, и отказался.

— Потому что,— говорит,— пять лет ссылки не такой уж безнадежный срок, чтобы его не вытерпеть. Тем более что средства у вас есть, живете сыто. А если вы сбежите, то местные власти получат еще небывалую нахлобучку от верхнего начальства: вы ведь человек нашумевший и на особом положении. И нахлобучка эта целиком выместится на остальных политических, из них здесь тогда последнюю кровь выпьют.

Таким образом, если срочный ссыльный бежит, то обыкновенно не для личного благополучия, а вытребованный «делом». Дело было дано и Лизе Басовой. Оно висело у нее на шее, вместе с крестом и образками (это уж на случай обыска, для полного грима «мещанки Ульяны Курлянковой»), зашитое в ладанку, в виде бумажки, мелко исписанной цифровым шифром. Бумажку Лиза должна была передать товарищу в маленьком уездном городе Пермской губернии. С товарищем этим она была незнакома, и что в бумажке значилось, было ей неизвестно. Посыл свой Потапу давно хотелось отправить, но не имелось подходящего гонца. В Лизе Басовой он угадал одну из тех пассивно-решительных женских натур, которые созданы для революционной дисциплины, с нерассуждающею исполнительностью, способною доходить до самопожертвований почти баснословных. В конце семидесятых годов был случай, что подобная «рядовая» революции, командированная Желябовым из Петербурга в Москву, по приезде — ночью в гостинице — была застигнута преждевременными родами, на восьмом месяце беременности. Она имела геройство выдержать ужаснейшие боли, даже не пикнув, так что и ближайшие соседи ничего не слыхали и не подозревали. Ребенок родился мертвый. Женщина уничтожи-

ла трупик в печке, прибрала и вычистила свой номер, а поутру как ни в чем не бывало поехала шнырять по поручению, бесконечно трясясь по ужасным мостовым и конкам. Исполнила, что велено, и в тот же день отбыла обратно в Петербург. И только тут уже, окончив миссию и дав по ней отчет, свалилась, полумертвая, и выдержала долгую, тяжкую болезнь.

Тимофей Курлянков и Лиза Басова находились в пути уже седьмой день. Так как они передвигались не перекладными, а собственною Тимофеевой парочкой, то отдалялись от Прощи гораздо медленнее, чем могли бы, но Тимофей почитал, что так вернее. Вопросами о возможности погони, ареста и неприятных встреч беглецы волновались только в первый день, который — покуда не смерклось — Лиза сплошь пролежала в кибитке ничком, притворяясь спящей или пьяною. Но вот переехали за Енисей, очутились в другом округе, степь переменила название,— беглецы приободрились: сзади выиграно большое расстояние, впереди — никакой опасности, значит, поезжай, не поторапливай, понапрасну коней не мучь! Тем не менее к седьмому дню странствия кони сильно сморились и обили копыта. Тимофей решил выменять их на первом же базаре, который будет по пути, хотя бы и с малою приплатою, на свежую животину. В России мена конем, продажа или покупка лошади для крестьянина — жизненный вопрос первой важности, а в степной Сибири конь — это своего рода живой денежный знак, четвероногая, ходячая, если не из рук в руки, то со двора во двор, оборотная монета. На третий день Тимофей оставил красноярский тракт и свернул на запад, взяв новую степную дорогу — «на Расею».

Ехать день за днем, осеннею степью, уставленною могильниками исчезнувших народов, которых и имена-то история забыла,— невеселое занятие. Встречников путники имели вряд ли двух или трех, считая от станка к станку, на расстоянии тридцати и более верст, а то и совсем никого. Лиза от скуки старалась как можно больше спать и засыпалась до одурения. Проснется: пара коней трусит мелкою рысцой, бубенцы звенят, будто медные собачки лают, мерно и жалобно; серое небо, серая степь и — каменные круги могильников на горизонте... Стоило просыпаться! Только и развлечения, что паромы через могучие степные реки, самовар да заедки на станках у «дру́жков» и ночлеги в неопрятных из-

бах, с любопытными хозяйками, дымящими керосиновыми лампочками и угарными печами...

Тимофеем Лиза была очень довольна. Потап не ошибся, поручив ему девушку. Мужик оказался вежливый, «знающий свое место», услужливый, не наянливый. Был от природы неглуп и за сорок пять лет жизни повидал и узнал немало любопытного, как всякий работящий и торговый сибирский человек. Долгое путешествие на лошадях вдвоем, мужчины и женщины,— дело фамильярное, особенно в условиях, если они должны слыть за мужа и жену и выдерживать эти роли пред чужими людьми. Развивается невольное общение, устанавливается известная короткость, упраздняются или сокращаются разные мелкие физиологические секреты и условные лжи быта. Таким сближением недолго злоупотребить, не мудрено в нем зазнаться мужчине, особенно когда он сознает, что женщина — вся в его руках и кругом от него зависит. Но Лиза не могла нахвалиться скромностью и почтительностью своего фиктивного супруга. С самого начала пути было решено между ними,— во избежание обмолвок пред посторонними,— говорить друг другу «ты» даже и наедине, и совершенно позабыть, что Лиза — Елизавета Прокофьевна, а не Ульяна Дмитриевна. На станках, ночлегах и при дорожных встречах Лиза играла свою нетрудную роль молодой городской мещанки очень удовлетворительно. Пьяницею ей уже не надо было притворяться, как скоро они покинули круг «своих мест».

— Эх, сударыня!— с искренностью говорил ей Тимофей.— Кабы Ульяна хоть мало была на тебя похожа, то не радовался бы я теперь тому, что она в землю легла.

На ночлегах он очень искусно и деликатно покидал «жену» свою в хате с хозяйскими бабами, а сам удалялся спать в кибитку, отговариваясь, будто не любит спать в тепле. Осень, на его счастье, стояла погожая и еще без морозов.

К концу недели дорога изрядно изломала и коней и путников. Чувствуя себя в совершенной безопасности, они решили передохнуть день-другой, чтобы ехать дальше со свежими силами и на свежих вымененных конях. Впереди было огромное торговое село, Дагна. Въехав в него, как раз на самый Покров, путешественники застали и базарный день, и престольный праздник.

Кому не известно, что «батюшка Покров» — всероссийская годовая эра крестьянских свадеб? Но мало кому «в Рос-

сии» известно, что такое сибирская крестьянская свадьба в хлебных округах подсаянских и подалтайских благодатных степей. Вернее, впрочем, сказать надо,— чем была там крестьянская свадьба — и была еще очень недавно, лет десять тому назад, к какой именно давности и относится странствие Лизы Басовой. В настоящее время обеднение коснулось и этих молочных рек с кисельными берегами — Минусинского, Абаканского, Кузнецкого края. Неурожай, переселенчество, земельные ограничения заставили пооскудевших чалдонов укротить размах старинного веселья. И все же, даже и теперь, в хлебные годы, это — былинный пир на весь мир, продолжающийся не менее недели, с воистину гомерическим разгулом, с непросыпными попойками. Плохая крестьянская свадьба в Кузнецком округе обходится в 400 руб., средняя — в 1000 руб., порядочная — в 1400 руб., богатая, о которой потом целый год молва гулом идет по степям,— до 4000 руб.! И, собственно, свадебные, прямые расходы составляют не более 10—20% этих сумм: остальное пропивается. На каждого гостя своего — поезжанина — хозяин отпускает не менее 1 1/2 бутылки водки в день, на каждую гостью — не менее 1/2 бутылки, не считая «прочего». Разорительность свадебного обычая и пьяная утомительность его настолько велики, что даже чалдоны-толстосумы кряхтят под этой тяжестью, да и народ совсем дуреет от гулянки. Один сельский богатей под Красноярском думал выдать дочь замуж после Покрова. Вдруг является к нему депутация односельчан.

— Батюшка, Иннокентий Фомич, не будет ли твоей к нам милости — отложить свадебку на зимний мясоед?

— А вам что?

— Да, кроме твоей, три свадьбы у нас на селе...

— Ну?

— Не выдержим, однако,— сопьемся.

Там, где предвидится ряд богатых свадеб, хозяева уговариваются об их сроках и очереди, чтобы не совпадали. Это создает, на срок мясоеда, своего рода заколдованный свадебный круг, попав в который не легко выкрутиться. Сибиряки вообще мало стесняются расстоянием: сделать сотню, другую, третью на лошадях — у них и путешествием не почитается,— деловая или увеселительная поездка. На богатые и многообещающие свадьбы гости приглашаются и сами приезжают иногда из-за пятисот, даже из-за тысячи верст. Присутствие

таких редких и издалека гостей, конечно, затягивает срок и усиливает напряжение свадебного разгула. Приедет человек кутнуть на одной свадьбе, а гуляет на трех, четырех и больше. Есть любители кружить по свадьбам, которые в том и проводят осенний и зимний мясоеды, что катаются от села к селу, со свадьбы на свадьбу на телегах или санях, обвешанных цветными платками, и пьянствуют изо дня в день на чужой счет. Но есть и несчастные, которые порабощаются той же участи совсем не по своему доброму желанию, а потому что они — почетные гости, уважаемые люди, и отпроситься или бежать от кошмарных пиров этих — для них значит жестоко оскорбить хозяев и нажить себе злопамятных врагов на всю жизнь. И, наконец, весьма многие сибиряки, вполне искренно ругавшие и проклинавшие безобразие свадебного обычая, признавались мне, однако, что есть в его пьяном, длительном вихре своеобразная затягивающая сила — создается в целой группе людей то, что на юридическом языке называется «привычкою к праздной и порочной жизни», будто какой-то стихийный и массовый запой. Декадент назвал бы это «оргиазмом», а я думаю, что дело тут просто в хроническом алкогольном отравлении.

Едва въехали в село Дагну, Тимофей был окликнут рослым мужиком, нарядным, как купец, и здорово выпившим. Сперва путники струсили было, но, вглядевшись, Тимофей признал в мужике мелкого золотопромышленника Миронова, с которым вместе «старательствовал» когда-то за Байкалом. Тому прошло уже лет пятнадцать, с тех пор товарищи не видались и вестей друг о друге не имели. Ульяны Миронов не видывал и, что была или есть такая на свете, не знавал. Следовательно, опасности от него Лизе не предвиделось. Обрадовался старому товарищу Миронов, настоял, чтобы заезжали к нему во двор, и — как ты хошь, что ты хошь, однако ты у меня погости.

Напрасно Тимофей и Лиза настаивали и отговаривались, что нельзя — очень спешат, и далеко еще им путь держать: на самый Барнаул. Миронов только кланялся в пояс да повторял умиленным басом:

— Не обессудь! Уважь! Погости... Уж так мы тебе рады, так тебе рады... Господи! Я тебя, может быть, сколько годов в мертвых почитал?! Однако вдруг вижу: едет... И — супружница с ним... Ах ты! Ах ты!.. Не обессудь! Уважь! Погости!

— Душою бы рады, Василий Мироныч, но поспешаем в Барнаул...

— Что тебе в Барнауле делать? Барнаул так Барнаулом и останется, с места не уйдет. У меня погости! Ты, друг, посмотри, как живу... чаша полная!.. царю завидно!.. Господи! Небось дружками были, камратами звались, из одного котла кашу ели, из одной бутылки спирт глотали... Чтобы все вместе, значит, и на земле и под землею... И вдруг, однако, вижу: едет... И супружницу с собою везет,— эдакую добыл кралю писаную... Ах ты! Ах ты!.. Как же нам с тобою, по всему этому случаю, однако, теперь не выпить! Тимофей Степанович! Ульяна Митревна! Уважь! Погости!

Он кланялся сам, заставлял кланяться жену, детей, работницу, работника.

— Что же, Ульяна Митревна?— нерешительно обратился Тимофей к «жене».— Ведь мы все равно хотели на день-другой себе роздых дать... Так лучше, может, и впрямь погостить у Василия Мироновича, ничем у чужих людей?

Лиза помолчала, подумала. Она чувствовала себя страшно усталою с дороги. Все кости болели.

— Хорошо, я согласна. Ваши гости, Василий Миронович, только уж — заранее уговор, хозяюшко милый: больше трех ден вы нас у себя не задерживайте.

— Ульяна Митревна! Сударыня ты моя!— возопил Миронов.— О чем твои ко мне слова? Напрасные твои ко мне слова! Да ты только проживи у нас три дня-то,— так ты и Барнаул свой, и все на свете забудешь, с нами не расстанешься... Вот какие мы люди, сударыня моя!.. Опять же теперь свадьба у нас наладилась: однако племянницу из своего дома выдаю за хорошего молодца: купец-парень!— в Плющу, село, за нами будет сорок верст... слыхали аль нет? Как же мне, сударыня, теперь возможно отпустить тебя, хотя бы и в Барнаул? Ты у меня на свадьбе первый человек будешь... Уважь! Погости! Не обессудь!..

Таким-то манером попали наши путники в сибирский свадебный смерч. И начал он их с того дня шатать и мотать — от Василия Миронова к Мирону Васильеву, из Дагны в Плющу, из Плющи в Дагну. И благодаря тому, что вся Дагна видела, как высоко чтит и ценит Тимофея Курлянкова и супругу его, Ульяну Митревну, Василий Миронов, первый на Дагне, а пожалуй что и по всей прилегающей округе, человек,— только и слышали теперь путники со всех сторон, что:

— Не обессудь! Уважь! Погости...

Или — как в Сибири хозяйская формула предлагает:

— Поелозьте, поелозьте,
Милы гости!

На что порядочный гость должен, по этикету, отвечать с учтивостью:

— То и знаем,
Надвигаем,
То и знаем,
Надвигаем,
Наелостились!..

Прошло три дня. Прошла неделя. Прошло десять дней. Прошло две недели. Тимофей и Лиза были, правда, уже не в Дагне и даже не в Плюще, а в какой-то Опустоши, но Опустошь, как две капли воды, походила и на Дагну и на Плющу, и был с ними тот же Мирон Васильев, и был тот же Василий Миронов, и шло кругом все то же — одно на одно, вино на вино.

Как в Дагне, Плюще — потом в чем-то еще — потом в Опустоши, Тимофей и Лиза, по почину Василия Миронова, всюду оказывались самыми почетными гостями. Их больше всех и чуть не первыми после родителей потчевали, усерднее всех угощали и отводили им лучшую свободную каморку для ночевки. В разыгрывании супружеской комедии прибавился новый, неприятный и щекотливый момент. Но Тимофей опять-таки показал себя молодцом и настоящим рыцарем. Он каждый вечер очень ловко умел задержаться и заговориться с кем-либо, в момент отхода ко сну, чтобы дать «жене» время свободно раздеться и улечься в постель под одеяло. А сам затем, проникая в «супружескую» камору, целомудренно тушил ночник и свертывался калачиком, не раздеваясь, на каком-нибудь сундуке, лежанке, либо просто на полу, сунув под себя армяк, а под голову шапку. Поутру он столь же скромно и деликатно удалялся, якобы «до ветра»,— чтобы освободить Лизе срок спокойно одеться и привести себя в дневной порядок. Но потом, выждав достаточно времени, непременно возвращался, и тогда уже он Лизу настойчиво просил удалиться из каморы. Как-то раз, забыв что-то, она — только что вышла — сейчас же возвратилась и застала Тимофея валяющимся с усердным и делови-

тым видом, точно он обязанность исполняет, на ее, едва покинутой, постели.

— Что ты, Тимофей Степанович? Ты еще спать намерен?— изумилась Лиза: было уже около шести часов утра, и все село встало на ноги.

— Не... я, однако, так...

Тимофей сконфузился.

— Зачем же?

Тимофей сконфузился еще больше:

— Для людей...

Лиза поняла: Тимофей старался придать их «супружескому» ложу «естественный» вид, будто на нем спали два тела, а не одно...

— Ты меня, Ульяна Митревна, извини, пожалуйста,— виновато оправдывался Тимофей,— однако, понимаешь, я ведь не дурное что мыслю, а для тебя же стараюсь... Как мы, значит, супругами считаемся... пред людьми. Этому, хоть всю Сибирь обойди, никто не поверит, чтобы муж с женой врозь спали... Ну, и того... оберегаю, значит, твою честь и свою амбицию... Стараюсь так для тебя устроить, чтобы все к лучшему... для надлежащего вида. А то засмеют... тебя за распутную, меня за дурака почитать станут... Да и подозрения опасаюсь... Ты не обижайся: однако ничего...

Лиза вспыхнула, но обижаться было не на что: наоборот, скорее она могла лишь быть и действительно была тронута такою заботливою предупредительностью «супруга». Вообще — и в оседлом состоянии, как в кочевом,— учтивый, сообразительный и трезвый Тимофей менее всего затруднял ей супружескую комедию. Гораздо щекотливее для Лизы была свадебная среда, в которой они, с раннего утра до поздней ночи, обращались.

III

Некогда Ганнибал зазимовал в Капуе и — твердят все учебники истории для младшего и среднего возраста — тем самым погубил весь свой итальянский поход, ибо в изнеженной среде капуанского обывательства суровые карфагенские воины изленились и, с позволения сказать, обабились. Нечто вроде капуанского упадка энергии переживали и прощенские беглецы — Тимофей Курлянков и Лиза Басова —

в свадебном вихре, крутившем их по Дагнам, Плющам и Опустошам. Долго напряженные нервы не выдержали. Заговорила потребность реакции. Сказалась огромная усталость физическая и нравственная, жажда сна, отдыха, покоя, животного прозябания. Только очутившись в полной безопасности, истомленный и потрясенный необычными впечатлениями и сверхсильными напряжениями энергии, организм оценивал самочувствием, как много он пережил и утратил в короткий срок, и настойчиво просил восстановить свою потерю. Каждое утро свое Лиза начинала угрызениями совести, что пора ехать дальше, но с тайною в глубине души надеждою: авось что-нибудь помешает,— и еще день, два будут длиться и сон в тепле, на мягкой постели, и люди кругом, и чистая пища, а не серая степь, серое небо, могильники, звяканье бубенцов и дорога, дорога — холодная сибирская дорога без конца. Когда человек сам не прочь встретить помеху к своей цели, помехи находятся очень легко и принимаются очень покорно.

— Ну что за беда, в конце концов?— рассуждала Лиза.— Бегство мое уже совершившийся факт, а в этом,— думала она о своей ладанке на груди с зашитою запискою,— Потап не связал меня никаким сроком. Еще даже неизвестно, найду ли я в Nске этого товарища... Быть может, его давно перевели...

Что касается Тимофея, лишь бы Лиза не торопила, а он готов был плавать в свадебной атмосфере, как рыба в воде. Было тепло, сытно, почетно, работать не приходилось, деньги лежали в кошеле целые, непочатые: гуляй — не хочу на чужой счет,— чего еще желать? куда гнать? Над ними не каплет! Не каждый год выпадает человеку этакая нечаянная благодать! Уж куда ни шло, пробесимся мясоед, а дорогу оставим на филипповский пост.

Тимофею заметно хотелось тянуть путешествие. Сперва было условлено, что он проводит Лизу только до Барнаула, а там сдаст ее знакомому Потапа, полуинтеллигентному купцу-сочувственнику, который уже позаботится переправить беглянку дальше на Каинск или на Курган, куда в то время дошла железная дорога. Но в пути беглецы услышали наверное, что Потапова купца-сочувственника в Барнауле нет — уехал в Петербург и вряд ли будет назад даже к новому году. Это известие совершенно изменило и планы и маршрут путников. Им уже не для чего стало уклоняться так далеко на запад.

Тимофей предлагал теперь просто подняться на север к таежной полосе и затем катить в Россию, как все добрые люди в то время ездили, прямиком — по большому Иркутскому тракту. Новая путина предстояла тоже огромнейшая, но все же короче прежде намеченной дуги — верст на 600. Чтобы осуществить ее легче и с меньшею потерею времени, следовало подождать, покуда кончится осенняя распутица и станут реки. А то ведь известное дело, что в Сибири, когда морозов нет, путешественник не столько дорогою едет, сколько выжидает паромов.

Лень двинуться из уюта в степь сделала новый проект этот очень соблазнительным и для Лизы.

— Хорошо, Тимофей, я согласна. Мне безразлично, каким трактом ехать и куда именно выехать — лишь бы к России ближе. Но мне за тебя совестно: ты, таким образом, очень отдаляешься от Храповицка, тебе трудно будет возвращаться.

— А я, Ульяна Митревна, в Храповицк-от, может быть, еще и не возвращусь.

— Как? А заимка твоя?

— За заимкою Потап Ильич покуда присмотрит, а потом хозяину письмо пошлю, он другого приказчика поставит. Бог с нею. Мне о заимке и вспоминать противно после того случая. Не жилец я больше на заимке. Я человек чувствительный. Там теперь вся земля покойницею пропитана. Как я по ней ходить буду? Подошвы сожжет.

— Где же ты, в таком случае, намерен поселиться и чем займешься?

— А где? Доставлю тебя до Расеи и сам в Расее останусь. Деньжонки у меня есть, руки — не хвалясь скажу тебе — золотые: к какому делу меня ни приткни, к промышленному ли, к торговому ли — нигде не ударю в грязь лицом. В Сибири пожито, попробуем счастья, как в Расее люди живут. Ты не смотри, что я курносый: я счастливый. Опять же, однако, и тверезый — смею себя аттестовать: без рассудка не пью, знаю свою дозу...

— Ну, давай тебе Бог! — шутила Лиза. — Осядешь у нас в России, пожалуй, опять женишься — на российской?

Тимофей отвечал ей не сразу, помолчав, и с каким-то странным взглядом:

— Нет, жениться мне больше никак нельзя.

— Но ведь ты же вдовый?

— Я вдовый, да паспорт-то у меня женатый. Это правду

говорил Потап Ильич, что русский человек состоит из души, тела и паспорта. И паспорт-от, пожалуй, точно оказывается действительнее всего прочего. Теперь, скажем, Ульянино тело в земле гниет, душа в горних витает, либо бесы ее по мытарствам водят, а паспорт жив. Сама знаешь, кто теперь, по паспорту, Ульяною-то оказывается... И, стало быть, выходит теперича так, что в теле и душе я с Ульяною смертью разведен и венец наш кончился, а на паспорте — нет, дудки, женат! И теперь я на всю жизнь свою осужден к тому, чтобы — ежели в рассуждении бабьего случая — пребывать в беззаконии, а насчет чтобы честным браком — однако, нет! Какого попа ни проси, всякий тебя с крыльца прогонит: с ума сошел, свет? двоеженцем желаешь быть? Хоть и на духу признайся насчет Ульяны — все одно: самый жадный поп — даже и для модели — венчать не станет. Потому что таинство таинством, а паспорт паспортом. Пред Богом оно, конечно, таинство главнее, ну а в людях паспорт покажи... Да! Умно я себя устроил! Могу сказать!

Лизе было очень неловко слушать это рассуждение, тем более что она находила его справедливым. Конечно, паспортная женатость Тимофея «на всю жизнь» обусловлена, главным образом, тем обстоятельством, что он не решился объявить смерть Ульяны. Это его вина. Но она, Лиза Басова, воспользовалась странным юридическим положением Тимофея, и часть вины как будто перелагается на нее, самозванку, злоупотребляющую документом о женатости уже неженатого человека, пользующуюся формальным правом, которое в действительности погасло. Чтобы скрыть невольное смущение, девушка отшучивалась:

— Ничего, Тимофей, Бог милостив! У тебя рука счастливая. Умерла настоящая Ульяна, теперь я в Ульянах слыву, по паспорту. А в России найдешь себе новую Ульяну, чтобы была уже и по паспорту и по сердцу...

Тимофей покраснел всем своим курносым лицом.

— Нет, уж спасибо, покорно благодарю. Конечно, мне до стариков еще далеко: пятого десятка не переломил, силу в себе чувствую, человек грешный. Без бабы не проживу. Но чтобы опять комедь эту ломать, насчет паспорта,— нет, не согласен, оставьте! Если Бог пошлет согласную сожительницу, почему не взять? Но в Ульяны ее производить... нет! довольно!

— Что же, тебе имя надоело?— насмешливо спросила

Лиза, даже уколотая немножко почти задорною горячностью Тимофея.

Он объяснил, не смутившись:

— Не надоело, но что мне в нем приятного? О первой своей Ульяне я и думать-то ненавижу: ведьма была, одного теперь в жизни своей боюсь, не вздумала бы по ночам сниться. А вторая Ульяна — ты то есть,— чего лучше не надо, да не свой человек, чужой кус... Я к тебе со всем моим глубоким уважением и никогда тебя не забуду; но ничего в тебе к удовольствию своему я иметь не могу. Что лестного? От людей-то прячешься, прячешься, хитришь, мудришь, чтобы не заметили, что мы с тобою не в совете живем... Ты нашего сибирского глума не вкушала. У Сибири язык — бритва. Как начнут издеваться, каждый человек сбеситься может, ежели имеет свою амбицию. Уж и без того меня травят мужики, что я пред тобою больно шибко робею, выходит, будто покорствую под жениным башмаком... Я имею свой характер, могу вытерпеть всякую насмешку, но истинно тебе, Ульяна Митревна, говорю: бывают насмешки непереносные. Нехотя озвереешь, среди зверей зверем себя выкажешь. Ты, Ульяна Митревна, уж снисходи ко мне,— пожалей маленько, если при людях, в таком разе, нагрублю тебе, не взыщи: не я грублю, амбиция грубит... потому что — по нашим понятиям — самый ничтожный тот человек, которым баба командует!

Неловкое положение Тимофея, в качестве «супруга», среди мужчин Лиза понимала тем лучше, что самой ей, в качестве «супруги», приходилось не веселее от бабьих стай, которые теперь окружали ее сорочьим стрекотом с раннего утра до позднего вечера. По части нравственности у сибирячек скверная репутация, но вряд ли вполне заслуженная. По крайней мере, сколько знавал я сибирское крестьянство и мещанство, бабы в них и на язык довольно сдержанны, и делом распутничают только там, где много «навозных»: своего рода «экзогамическая проституция» во вкусе и тоне древних жриц Астарты[1]. Пресловутый сибирский разврат — достояние безобразных слоев коммерческой и промысловой буржуазии, с случайными состояниями, с случайными банкротствами, «сегодня — на возу, завтра — под возом»,— шик

[1] См. в моих «Сибирских этюдах», изд. 2-е, очерк «Гальтиморы» *(Прим. автора.)*

«Наполеонов тайги» и связанных с ними соответственных Жозефин. В крестьянстве сибирском я ничего подобного не наблюдал. Напротив, не надо забывать, что южные сибирские степи — классический край крестьянского гражданского брака, очень прочно и честно соблюдаемого по простой силе обычая, без всяких принудительных уз. Если в сибирских женщинах что и коробит нравственное чувство, то не половая распущенность и безалаберность, а, наоборот, холодная способность оценить свое тело, как товар в спросе, и поставить на городской рынок совершенно точно обусловленным предложением. Известна поговорка о Сибири: «Птицы без пения, цветы без запаха, женщины без сердца». Да и то все это, по преимуществу, в полосах, развращенных «навозным элементом».

Но бывают в году сезоны, когда сибирская баба «дуреет». Это — масленица и свадебные мясоеды. Я говорил уже о пьянстве, которым сопровождаются сибирские свадьбы. Но и помимо пьянства — это какой-то хаос распущенности в слове, жесте и деле. Большинство сибирских свадебных песен, острот и прибауток совершенно неповторимы в печати, между тем поют, острят и лясы точат, по преимуществу, женщины. В Минусинском уезде до сих пор уцелела старинная свадебная пляска «Козел», с такою выразительною мимикой, что канкан, кэк-уок и матчиш, сравнительно с ее первобытным цинизмом, не более как шведская гимнастика для детей среднего возраста. В Кузнецком округе посейчас молодую — для показания «честности» — выводят к пирующим гостям в одной рубахе. Высокоторжественная демонстрация эта сопровождается грохотом в тазы и котлы, пляскою в присядку, воплем, гиканьем и пением своеобразного хорала, что ли, под названием «Беда». Эту «Беду» начал было мне диктовать один минусинский обыватель, но, произнеся четыре стиха, сконфузился и отказался продолжать.

— Нет, знаете, черт ее побери! Однако совестно. Когда ее на свадьбе, пьяный, орешь,— как будто и ничего, а у трезвого язык не поворачивается...

Словом, кто хочет вообразить себе настроение «хорошей и почестной» сибирской свадьбы, тому надо возвратиться из XX века в XVII и XVI— к Олеарию, Петру Петрею, Корбу. Разница одна: все то, в чем на Москве обличали эти старинные иностранцы родовитое боярство, в Сибири стало пороками богатого «чалдонского» крестьянства. А то — тождество

«настроений» полнейшее. Включительно до знаменитой сцены Олеария: «Когда мужья спьяна попадали на пол, жены сели на них и продолжали пьянствовать, пока не упились донельзя». Включительно до пьяной путаницы, кто чья жена, кто чей муж, до так называемой «кумовщины». Ревнивый муж злобится на жену, замеченную им в амурах с каким-то молодцом на свадебной пирушке у родственников. Обыкновенно в Сибири на этот счет — строго: все за мужа и против неверной жены. Но тут только пожимают плечами:

— Дурак Блажных! Кто же тиранит бабу за свадебный грех? Известно, что бабы на свадьбах — сумасшедшие. Это ихнее время. Царствуют, подлые!

Когда Лиза впервые очутилась среди хмельных, полухмельных и похмельных баб-поезжанок, она прямо струсила: ей показалось, что она в доме сумасшедших,— таких словечек она наслушалась, такие невозможные вопросы ей задавались. Оскорбляться она не имела права, потому что видела, что обращаются к ней таким образом не со зла, а, напротив, с полным радушием, как к ровне, которой добра желают. Узнали, что «Ульяна Митревна» замужем седьмой год, а детей нет, и наперерыв осыпали ее супружескими советами и наставлениями — хоть провалиться от них сквозь землю в ту же пору! Застыдилась, растерялась,— дружным хором подымают насмех: «Седьмой год баба замужем, а краснеет, как молодуха! Ишь, городская модница! Не разревись, поди, со стыдобы». И вправду, несколько раз атмосфера пряных слов и мыслей доводила Лизу до слез. Советовалась Лиза с Тимофеем, как ей вести себя, чтобы не было себе зазорно и баб не обидеть. Но тот только руками развел:

— Бабы, Ульяна Митревна!.. Время свадебное... Пьяные они... Ты отмалчивайся...

Так и решила Лиза: напустить на себя глупый вид и ровно ничего не понимать,— пусть лучше круглою дурою считают, но оставят в покое. Подействовало, отвязались. К великому своему удовольствию, Лиза вскоре удостоилась слышать собственными ушами такую себе аттестацию:

— Красивая жена у Тимофея, а уж куда не умна. Ни она слова сказать, ни она компанию разделить: сидит, как сова, да глазищами хлопает! Скука с нею скученская! А еще городская!

— Ее, миленькие, кажись, и муж-то не любит?..

— А за что любить? Разума в голове нет, детей не рожает... напрасно на свете живет,— только небо коптит.

Свадебных пирушек Лиза окончательно не выдержала. При первой же демонстрации молодой с аккомпанементом «Беды», ею овладел панический ужас. К счастью, Тимофей был близ «жены». Он заметил, что Лиза белая, как мертвец,— еще минута, и упадет в обморок... Он выхватил «жену» из толпы, увел, будто «сомлела». Так как сомлели уже многие женщины, то никто не обратил внимания. Лизе же это приключение стоило сильного — первого в жизни — истерического припадка. Тимофей хорошо понял, что потрясло Лизу, и задумался, как избавить ее от подобных зрелищ. Уговорились «сомлевать» на каждом пиру и как можно раньше. Как только пирование начинало переходить в оргию, Лиза симулировала обморок. Тимофей подхватывал ее и уводил, извиняясь, что «баба ослабела». Репутацию Лизы эти обмороки окончательно уронили: мало что «полудурье», да еще и больная! Тимофея же все жалели, что — польстился на красоту! навязал себе на шею сокровище!.. В каморке Лиза спокойно укладывалась спать, а Тимофей возвращался на пирушку. Так было и в Дагне, и в Плюще. Так устроилось и в Опустоши.

Лиза спала уже часа полтора, когда ее разбудило внезапно наполнившее каморку громыханье и бормотанье. В испуге она открывает глаза, приподнимается, садится на кровати и — в мерцании ночника — видит наклоняющегося к ней Тимофея, но — какого Тимофея! От смирного, вежливого «Сократа» не осталось и следа: лицо пылает огнем, нос — как вишня, голубые глаза остекленели и налились кровью, борода всклокочена, как войлок, дыхание — будто пожар в кабаке. Тимофей был совершенно пьян! Стоя перед изумленною, испуганною Лизою, он качался на ногах, как трость, ветром колеблемая, цеплялся за кровать, за подушку, за самое Лизу и лопотал полумертвым языком:

— Жена... супруга... сударыня... желаю, чтобы, значит, все по закону... Уль? а Уль? Ульяша... а?

Лизу обуял страшный гнев. Не долго думая, она ударила Тимофея кулаком в переносицу с такою силою, что бедняга, будучи совсем слаб на ногах, рухнул навзничь и остался на полу в сидячем положении, крепко стукнув затылком о сундук.

— А, б..., паскуда, ворона сибирская! — возопил он.— Так-то? А в полицию хочешь?

Лиза обмерла.

Но Тимофея уже охватило сном. Он положил голову на тот самый сундук, о который едва не раздробил себе затылка, и захрапел.

Дверь приотворилась. В каморку заглянуло морщинистое лицо старухи-бабки, матери домохозяина. Она слышала крик и грохот упавшего тела и растревожилась.

— Что тут у вас, молодка? Захмелел, видно, сожитель-то твой?

У взволнованной Лизы едва достало силы найти подходящий ответ.

— Напился, свинья, и безобразничает!.. На ногах не стоит, а туда же командовать желает, драться полез!.. Прекрасно как: валяется на полу, как собака!.. Глаза бы мои его, постылого, не видали!

И завыла.

Она рассчитывала, что старуха, удовлетворив свое любопытство, уйдет. Не тут-то было. Бабка, в качестве человека стародавнего, в ответ на Лизино вытье, разразилась предлинным увещанием, что «реветь, мол, тебе не о чем,— видно, слезы дешевы и глаза на мокром месте; муж у тебя, молодка, человек прекраснейший, а ежели выпил лишнее, то с кем греха не бывает? И какие, право ну, недотроги стали ноне молодые бабы! Ты на меня гляди: я смолоду от сожителя своего только тем не бита, чего в дому поднять нельзя, а сорок лет прожили вместе, развода не просили, детей подняли, внучат дождались. Чем голосить без толку, ты лучше сожителя пожалей: пьяный, что хворый. Нешто можно так, чтобы больной человек собакою на полу валялся? Ты его обряди, ты его уложи. Какая же ты жена, если к мужу жалости не имеешь?».

И пошла, и пошла.

Лиза убедилась, что от сибирской патриархальной матроны ей не отвязаться иначе, как войдя в смиренную роль покорной жены-сиделки. При помощи бабки она взгромоздила бесчувственного Тимофея на кровать, сняла с него сапоги, а сама осталась доночевывать до солнца, сидя без сна на сундуке. Непривычный к пьянству Тимофей действительно сделался ночью ужасно болен. Лизе пришлось возиться с ним, как с малым ребенком. Отравленный

алкоголем, Тимофей горел, охал, стонал, метался, рвало его. Словом, ночка выпала такая веселая, что и настоящей жене много надо иметь любви к мужу, чтобы безропотно выдержать подобное испытание, а каково же было терпеть ни за что ни про что от совсем постороннего человека жене по паспорту?

Назавтра, когда Тимофей проспался, между «супругами» произошло жесткое объяснение. Тимофей был смущен до дна души, чувствовал себя глубоко виноватым, просил прощения чуть не со слезами, божился и зарекался, что больше напиваться не будет. Верить было можно, потому что — Лиза знала — в обычных условиях жизни спутник ее действительно был — по сибирским понятиям — человеком редкой трезвости. Но свадебные оргии и не таких людей выворачивают с лица наизнанку. После этой истории Лиза уже только о том и думала, как бы вырваться из засосавшей их вакхической обстановки, и ничего не могла сделать: их перекатывало, как шары какие-нибудь, из села к селу, с одного свадебного пира на другой, от тысячника к тысячнику. И всюду было одно и то же: разливанное море водки и пива, галдеж, песни, непристойная пляска свах, «Беда», «Козел». И — когда все перепьются, нагорланят, наскверносповят и напляшутся до изнеможения — мертвый сон до следующего утра, опять открываемого полубутылкою водки на похмелье. А чтобы переутомленный гость не мог убежать от тягостного хлебосольства, каждый хозяин спешил первым долгом обезлошадить поезжан: выпряженные из повозок кони угонялись табуном в степь — копытить корм.

Тимофей держал данное слово и вел себя прекрасно, хотя Лиза втайне уже не так доверяла ему и немножко побаивалась его с той пьяной ночи. Роль фиктивной «жены», разыгрываемая в грубых условиях степной фамильярности, надоела и опротивела ей до тошноты. Нельзя притворно фамильярничать без того, чтобы на отношениях не остался осадок настоящей фамильярности. Лиза так привыкла быть Ульяною по целым дням, что только ночь возвращала ей самое себя, Лизу Басову, с ее сознанием, мыслями, чувствами,— возвращала на короткий предсонный промежуток. А с утра — чуть ступила за порог своей «супружеской» каморки — опять позабудь, что ты Лиза, влезай в кожу Ульяны Митревны.

Свадебная волна незаметно увлекла «супругов» от намеченного ими пути в сторону верст на полтораста. Это еще

не так много. В Минусинске я знал не крестьянина даже, а полицейского чиновника, который поехал на свадьбу за шесть верст от города, а очутился затем, сам не зная как, за восемьсот верст, в Кузнецком округе, у совсем незнакомых мужиков. Но тем не менее, когда беглецы подочли свой уклон от маршрута, Лиза пришла в ужас, да и Тимофей почесал в затылке. Решили дальше ни к кому ни за что не ехать и, по возможности, немедленно удирать.

Но тут произошло нечто непредвиденное и нелепое, что опрокинуло все их расчеты и планы.

IV

Свадьбе, на которой они теперь гостили, шел уже третий день. Невеста взята была с ближней, верстах в десяти, заимки, и поезжане проводили время в том, что напьются у свекра, едут пить к тестю, напьются у тестя, едут пить к свекру. Где темный вечер пристигнет, там и ночлег. В одном из таких переездов застал их внезапно ударивший крепкий мороз. Лиза, не очень тепло одетая, страшно перезябла, приехала к месту совсем синяя, и голоса нет — только стучит зубами. Струсила, не схватить бы горячку. Стали отпаивать ее горячим чаем, принудили выпить большую рюмку знаменитой сибирской наливки из облепихи. Лиза ожила, простуды ее как не бывало.

Раньше Лиза никогда не брала в рот крепких напитков, разве пригубливала для приличия. Облепиха покорила ее быстро. Вообще это ужасна-ягода, для непривычного человека настоящий дурман — тем более в спирту. Сперва опьянение облепихою дает очень короткий период веселых возбуждений, потом чувственный или буйный бред и наконец долгий мертвый сон: хоть ножами разойми человека — не услышит. На другой день — даже у крепких питухов — жестокая головная боль.

Одуренная облепихою, Лиза, сама не помнит как, очутилась в постели. Потянулась вереница тяжелых, диких, постыдных кошмаров. Ранним утром Лиза очнулась, как от электрического толчка. Еще не раскрывая глаз, она почувствовала, что она не одна в постели. Открыла глаза и на ситцевой подушке увидела, рядом с своею головою, курносое лицо, с широко разинутым ртом в густой курчавой бороде. Перина

испятнана кровью. Холодея от ужаса, Лиза убедилась, что из фиктивной жены Тимофея Курлянкова она сделалась фактическою... А голову как железными обручами ломит, и в глазах прыгают снопами зеленые искры.

Тимофей проснулся и помертвел от пристально уставленного на него страшного взгляда Лизы:

— Уля... что ты? Бог с тобою, что ты? Уля... Улинька...

— То со мною, что убью тебя, подлеца!.. Мало тебя убить!— вырвался хриплый стон из груди Лизы.

Но Тимофей вдруг облился гневным румянцем и подступил к «жене» резко, смело, почти гневно:

— То есть за что же это, однако, ты убивать меня желаешь, Ульяна Митревна? Вся твоя воля, но это с твоей стороны не по чести. Что было, то было; однако никакой вины моей против тебя нету. Я, однако, не варнак какой-нибудь, не в лесу силком тебя взял. Сама пожелала.

— Что?!

— То, что хоть чужих людей спроси: мало ли ты с вечера чудесила? То смирная, воды не замутишь, от каждого стыдного слова огнем вспыхиваешь, а тут разгулялась — не унять. Волосы распустила! Платье с себя рвать начала! Весь народ смеху дался. Я тебя от срама силком увел, спать уложил. А что не ушел от тебя, как обыкновенно, ты же не отпустила... Что же я, каменный, что ли?.. Оно, конечно, ты вчера не вовсе в себе была, да ведь и я облепихи этой проклятой, грешным делом, глотнул изрядно. Пьян не был, этого нет: я тебе обещал, что напиваться больше не буду, и слово мое крепко. А в голове пошумливало... мысли веселые пошли... владание ослабло... Кабы я вовсе трезвый был, может быть, и остерегся бы. А во хмелю бес сильнее человека... Кто своему счастью враг?.. Ты слушай меня, Ульяна Митревна,— уговаривал он,— ты не кручинься, сердца своего напрасно не береди. Стыдиться тебе ни перед кем не приходится: что мы с тобою не муж и жена, это мы одни знаем. А для прочих мы в законе. Паспорт-от вот он. По паспорту ты — моя законная супруга. И как мы с тобой живем, никто нам в том не указ. Пред людьми ни на мне, ни на тебе никакого греха нет. Что мы вдвоем знаем, то при нас двоих и останется, а по паспорту ты — моя законная жена...

— Дьявол в твоем паспорте сидит!— отвечала рыдающая Лиза.— Будь он проклят, твой паспорт! Поработил ты меня им! Что от меня теперь осталось? Сперва твой паспорт имя мое

съел, теперь тело погубил... Куда я теперь годна? Как я покажусь родне и друзьям?

— Ты не кричи... усмири себя... не кричи... Обнаружишься,— твердил побледневший, с трясущимися холодными руками, Тимофей.

— Все равно мне теперь! Кого мне беречься? Чего бояться? Хуже, чем ты поступил со мною, мне ни от кого быть не может... Все равно!

— Да мне-то не все равно!— почти зарыдал Тимофей.— Матушка! Ульяна Митревна! Ведь, если ты теперь себя обнаружишь, следствие начнется... никакие свидетели мне не помогут, никакой присяге суд веры не даст... Убивцем меня сделают! На Сахалин мне идти! За что? Матушка! Ульяна Митревна! Себя погубишь, меня погубишь... Усмири себя! Пожалей!

Он стал на колени и ползал, целуя подол ее рубахи.

— Уйди,— хрипела она,— уйди, тварь!.. Видеть тебя не могу... Убью я тебя! Уйди...

Она повалилась ничком на постель. Тимофей вышел. Несмотря на все свое самообладание, на этот раз он оплошал — на нем лица не было, так что хозяева переполошились.

— Что? Храни Бог, не захворала ли сама-то?

Тимофей сделал страшное усилие и отвечал с натянутою усмешкою.

— Не то что захворала, а блажит с похмелья... Приступа к бабе нет!

— То-то, слышим, шумите в каморе...

— На том простите...

— О, нешто к тому? Дело житейское.

Домохозяин, пятидесятилетний сивый чалдон, хитро подмигнул Тимофею веселыми глазами:

— Маленько поучил, однако, благоверную-то?

«Поучил звонарь протопопа, как же!» — со злостью подумал про себя Тимофей. Но вслух произнес с важностью:

— Не без того...

— Ты вожжу возьми,— рекомендовал чалдон.— Я всегда вожжою. Баба вожжу любит, потому что вожжа — вещь крепкая.

Лиза пролежала до самого полдня, как пласт, уткнувшись лицом в подушку, ни разу не переменив положения. Тимофей заглядывал к ней время от времени, но думал, что она спит, и оставлял ее в покое. Наконец решился окликнуть...

Лиза взглянула на него потухшими усталыми глазами...

— Тимофей Степанович,— сказала она тихим глухим голосом,— я тебя прошу... только увези ты меня отсюда сегодня же...

— Как сегодня, Ульяна Митревна?— забормотал изумленный Тимофей.— Кони в степи, шубы у тебя нету — надо шубу купить: холода пали, никак не управиться нам сегодня... Да и хозяевам обидно...

— Видеть я их не могу! Видеть не могу!— скрипела зубами Лиза и мотала головой.— Пойми: противно мне место это, бежать я хочу от него!.. Позорно мне здесь! Страшно!.. Не могу!

Но не уехали они ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Из лошадей одна хромала, шубу продажную нашли, но пришлось ее перешивать. Желая угодить тоскующей Лизе, Тимофей старался искренно и налаживал отъезд усердно, сколько ни пеняли ему за то радушные хозяева. На четвертый день Тимофей вошел к Лизе мрачный, как туча, и с досады даже шапку бросил оземь.

— Что еще?

— А то, что по Чулыму[1] сало пошло: парома больше нет, почту сегодня кое-как на лодках перевезли, а завтра уже не берутся, до самого ледостава теперь конного пути не будет...

Лиза бледная сидела, стиснув зубы, уставя глаза в одну точку. Потом тихо-тихо и зло, нехорошо засмеялась:

— Везет же мне, Тимофей Степанович!

— Да, уж... точно... что и говорить!— вырвалось у того невольное согласие.

— Сама природа пути загораживает. Я уже не верю, что мы когда-нибудь вырвемся отсюда. Судьба! Если бы я была суеверна, то подумала бы, что это Ульяна твоя мстит мне, зачем я имя ее украла, не выпускает меня из Сибири проклятой...

— Ой, не поминай ты ее... не к добру...

— Долго ли ждать ледостава?

— Ден десять... Если морозы будут... Раньше лед не сдержит...

Лиза засмеялась еще горше и злее.

— Ты не убивайся, Ульяна Митревна,— попробовал утешить Тимофей,— зато теперь в тайгу подымемся, по снегу

[1] Приток Оби *(Прим. автора.)*

поедем, на санях... Не увидишь, как дорогу скоротаем... На Спиридона-солнцеворота[1], слово тебе даю, уже будешь в России.

— А мне теперь все равно!— тихо возразила Лиза.— Раньше, позже... все равно!

Тимофей глядел на нее с изумлением. Она продолжала:

— Ты еще не знаешь, какая беда со мною случилась... Я ладанку свою потеряла!.. Где — не знаю... Все углы, все щели осмотрела: нету! Уже на тебя думала: не ты ли снял?

— Зачем мне?— оскорбился Тимофей.

— То-то знаю, что незачем... Крест, образки целы все до единого, а ладанка оторвалась, пропала... я второй день ищу. Нету! Судьба!

— Авось найдется, хозяевам надо сказать...

— Нет, не найдется,— упрямо возразила Лиза.— Это судьба.

— Мощи там у тебя были, что ли, какие?

— Да, мощи... перст угодника Потапия!..— горько усмехнулась Лиза.

По имени Потапа Тимофей догадался, что тут совсем не то, и деликатно умолк. Но в то же время взял про себя некоторое решение... Вдвоем с Лизою они еще раз обшарили каморку, сени, углы, сорные кучи, отхожие места.

— Не иначе как черт украл!— говорил Тимофей.

Лиза холодно и злобно повторила:

— Судьба!

Эта потеря добила молодую женщину.

Ее охватила какая-то суеверная, болезненная апатия, выражавшаяся полным бездействием, упадком сил и страхом людей. Буквально по целым дням Лиза лежала в каморке на постели, бессмысленно глядя на стену, молчала и даже не думала; считала спиленные сучки в бревнах, пятна, разводы. Если к ней входили, спешила притвориться спящею. Если вызывали ее Тимофей или хозяева, выходила полусонная, дикая, зевающая, старалась сесть особняком, выбирала угол потемнее, молчала, как рыба, была людям тяжела и себе неприятна.

— У Тимофеевой хозяйки в голове не все дома!— давно уже говорили по селу, многозначительно указывая на лоб.

Чулым стал. Санный путь открылся. Известие, что можно

---

[1] 12 декабря. *(Прим. автора.)*

ехать, Лиза приняла равнодушно, точно оно ее не касалось. Машинально собрала пожитки, машинально распростилась с хозяевами. Только перед самым отъездом еще раз обыскала до нитки, до самой маленькой щели, свое помещение. Ничего не нашла...

— Судьба!

Печально и мрачно было путешествие на север. Двигались медленно, потому что — то метель, то оттепель, здесь река не стала, там ее распустило. Засиживались на станках по суткам и больше. Ехали то на колесах, то на полозу. В первые три дня Лиза с Тимофеем не сказала ни слова. Сидела в кибитке прямая, как истукан, и, почти не моргая, глядела в белую степную даль. Каждая встречная повозка пугала Лизу. На станках Тимофею приходилось долго уговаривать ее и наконец чуть не силою тащить, чтобы не оставалась в кибитке на морозе, но шла бы в тепло, к людям.

День был серый, снежный, с кисейными сетками густо летающих, тяжелых белых мух. Дорога шла в гору. Впереди чернели таежные холмы. Лиза сидела в кибитке. Тимофей, чтобы облегчить труд коням, шагал рядом с санями, понукая, посвистывая, припрягаясь к оглобле, когда подъем крутел...

— Тимофей!— внезапно раздался глухой голос Лизы.

— Ась?— обрадовался Тимофей, что наконец-то заговорила.

— Куда мы едем?

— Не знаю, как станок называется. К ночи, люди сказывают, в Мариинском будем.

— А дальше куда?

— Куда приказывала...

Тимофей назвал город Пермской губернии, намеченный для Лизы Потапом.

Кони взяли гору. Тимофей дал им вздохнуть, потом сел в кибитку и погнал шибкою рысью. Бубенцы звонко заплакали жалобным смехом.

— Тимофей!

— Что, Ульяна Митревна?

— Мне нечего делать в N-ске, Тимофей... Явку я потеряла... время потеряла, всю себя потеряла... Судьба!..

— Перестань уж ты убиваться, Ульяна Митревна! Кое время себе мучишь занапрасно... Брось!.. Кабы польза была, а то сама знаешь, что непоправимое... брось!.. Тише вы, уносные!

Кони пошли шагом.

— Если в N-ск не желаешь, прикажи, куда? Я сказал, что доставлю, и доставлю. Хоть в самое Москву!

— В Москву? К тетке? На Бронную?— вскрикнула Лиза.— Ни за что! Никогда!

— Не желаешь к своим, значит?

— Нет у меня больше своих... Стыд один есть! Как я своим в глаза глядеть буду? Умру от стыда... Страх какой!.. Не надо, Тимофей... не надо!

— Положим, что полиция признает тебя там, на Москве-то,— подумав, согласился Тимофей.

Лиза молчала. Разговор возобновился только на следующий день, уже далеко за Мариинском.

— Я не только своих боюсь, Тимофей, мне и чужие-то страшны,— говорила Лиза.— Если бы можно было найти нору какую-нибудь, забилась бы в нее, да так и не выглядывала бы... или вот ехать бы всю жизнь, как мы теперь едем, чтобы пристанища не иметь, чтобы никто не мог привязаться с расспросом, кто ты, откуда, зачем... Не могу я! Умирать жалко, а вся жизнь моя сломалась... Не могу я на жизнь оглядываться! Не могу, чтобы меня прошлое окликало... Знакомым голосом!.. Заново надо жить... Не могу!..

— Да что же мне с тобой делать? Куда мне тебя девать?— лепетал смущенный Тимофей: он тоже начинал подозревать, что Лиза сходит с ума. Угрызения совести мучили его. И не только за «грех» против Лизы, а и еще кое за что. Дело в том, что ладанку-то он нашел в тот самый день, когда Лиза рассказала ему о своей потере. Она провалилась между двумя рассохшимися половицами в подклеть и лежала — одноцветная с ними, доступная только сибирским рысьим глазам. Тимофей знал уже, что в ладанке таится политический секрет, и, значит, она — штука опасная.

«Однажды потеряла и в другой раз не убережет,— думал он о Лизе.— А кто знает, чего тут Потап наколдовал? Сохрани Бог: попала бы в чужие руки? За клочок бумажки люди в рудники уходят...»

И, не долго мешкая, он отправил роковую ладанку в топившуюся печь.

«Ей же лучше, о ней же стараюсь,— мысленно оправдывал он себя перед Лизою.— Что потеряла, погорюет и перестанет, а свою петлю на своей шее возить — не расчет...»

— Куда?— в задумчивой тоске отозвалась Лиза на беспо-

койные вопросы спутника.— Почем я знаю?.. Если бы такую глушь найти, чтобы никогда никого из прежних знакомых не встретить...

— А жить чем станешь?

— Работать могу... В люди служить готова идти... мастерскую открою... прачечную... булочную... я все умею...

— Деньги нужны.

– У меня есть четыреста рублей.

— О?— сказал Тимофей и хлестнул лошадей. Промчавшись с версту, он раскурил трубку, затянулся, выпустил дым и серьезно обратился к Лизе:— На эти деньги, еже приложить к ним маленький капиталец, можно и торговишку начать в небольшом городе или селе хорошем...

* * *

Фабричный врач В-ский, административно высланный из подмосковного посада на север за «литературу» и «неуместные собеседования» с рабочими, только что прибыл в Т., уездный город N-ской губернии. Он уже выдержал обычный искус в полицейском управлении, с подписками, чтением закона о ссыльных, с наставлениями власти предержащей о местном «режиме», и теперь искал себе квартиру.

— Трудное это у нас дело, ваше благородие, квартиру найти,— говорил В-скому, шагая по т-ским непролазным грязям, великодушно навязавшийся ему в качестве чичероне полицейский солдат.— Вы, в столице обитая, привыкли жить чисто, а у нас обыватель, прямо надо сказать, свинья. В хлеву живет, в навозе дрыхнет. Разве попробовать на слободке?

— Я города не знаю. Где хотите. Мне — лишь бы клопы не обижали.

— Без клопа, ваше благородие, прямо говорю, не найти. Такой город. Даже в присутствии клоп преизбытствует. По зерцалу ползают, окаянные. Где без клопа? Не найти!

В-ский — чистюля щепетильнейший — тяжко вздохнул, уныло размышляя:

«Уж лучше бы меня опустили прямо в девятый круг Дантова ада!»

Но мирмидон вдруг круто повернул:

— Есть! Пойдемте на Соборную горку, ваше благородие. Попытаем счастья у лавочника.

— Неужели без клопов?

— Не должны бы еще развестись, подлые: новый дом лавочник поставил. Только что перебрались хозяева-то, до осени проживали в старом, при магазине. Богатеют прытко у нас черти-лавочники, ваше благородие. Хоть бы этого взять: всего четвертый год, как он проявился в нашем городе, а уж экую домину построил... Здесь, пожалуйте, ваше благородие...

— А вы разве не войдете?

Воин сконфузился:

— Не обожает этого здешний, чтобы наш брат к нему жаловал. «Ты, приказывает, ко мне в лавку приходи, я тебя, чем хочешь, ублаготворю, а на дом ко мне без надобности не шляйся. Не люблю!» Ничего, мы не обижаемся. Человек обходительный. А что нравный, все они, сибиряки, свободного духа наперлись. Сибирский он, ваше благородие, из тамошних мещан... Вы извольте идти, ваше благородие, я у калитки подожду.

Две минуты спустя В-ский стоял в довольно чистеньком зальце, как обыкновенно бывают мелкокупеческие зальцы в северных уездных городах: с геранью, канарейкою, часами, которые кричат кукушкою, с портретами царя и царицы, с большими образами и лампадкою под низким белым потолком. По крашеному полу тянулась суровая домотканая дорожка, а по дорожке ходили два четвероногих: толстый серый кот и здоровый лупоглазый ребенок.

— Что? Приезжий? Квартиру ищет? Какая же у нас квартира? Нет у нас квартиры. Зачем пускала? — слышал В-ский сердитый женский шепот за перегородкою: хозяйка бранила работницу, открывшую В-скому двери. — Да уж хорошо, хорошо... что с тебя взять, если дура?.. Иду сейчас... поди, самого позови...

— Простите, пожалуйста, я, кажется, совершенно напрасно вас побеспокоил... — начал было В-ский навстречу входящей женщине, но поднял на нее глаза и осекся, разиня рот...

Перед ним — в замасленной, белой с розовыми цветочками, ситцевой блузе и с годовалым ребенком на руках — стояла молодая особа лет 28. В рослой плотной фигуре ее, в расплывшихся красивых чертах румяного лица, в русых волнах пышных волос, в серых вопросительных глазах, внимательно на него глядевших, В-скому мелькнуло что-то знакомое, далекое, давнее...

— Басова! Лиза! это вы же! вы! — вскричал он наконец, потирая обе руки. — Какими судьбами? Как я вам рад! Вот неожиданность...

С лица женщины сбежал румянец, и руки ее, державшие ребенка, задрожали.

— Ой, как вы меня испугали, господин!.. — произнесла она белыми губами, притворно и осторожно улыбаясь. — Что вы? Я вас не знаю... Обознаться изволили...

И в ту же минуту, вывернувшись из боковой двери, застегивая на ходу пиджак, перед В-ским явился — уже лысоватый спереди — мужчина, с лицом курносого Сократа, в окладистой курчавой бороде. У него тревожно бегали глаза, но рот улыбался.

— Поди к себе, Ульяна Митревна, поди к себе... Феня плачет, — быстро сказал он женщине. И — сейчас же к В-скому: — Очень приятно познакомиться. Тимофей Степанович Курлянков, домовладелец здешний, ха-ха-ха, коммерсант. Квартирку изволите искать? Крайне сожалею, однако нет у нас квартирки... нет... нет-с... Это вас дурак полицейский привел? Несообразная публика-с! Видят — новый дом и воображают... Какие квартирки! Нам с супругою едва повернуться... Трое детей-с!

— Это вашу супругу я имел удовольствие сейчас здесь видеть?

— Да-с. Супруга-с. Законная моя жена-с. Ульяна Митревна Курлянкова. Да-с.

— Ваша супруга имеет поразительное сходство с одною моею хорошею знакомою.

— Бывает-с. Бывает-с. Чего не бывает на свете?

— Может быть, близкая родственница? Мою знакомую звали — Елизавета Прокофьевна Басова.

— Басова? Не слыхал-с. Басова? Нет, такой родни у нас нету-с. Курлянковы, Хворовы, Черных, а Басовых — нет, не имеем. Да вы где их изволили знать?..

— В Москве... студентом еще...

— В Москве не только родни, знакомых не имеем. Еще не бывали мы даже в Москве. Супруга моя, как и я, из Сибири происходит-с. Сибиряки-с. Соленые уши, — ха-ха-ха! Я — Курлянков, а она, по отцу, Черных. Да-с. Очень сожалею, что не могу услужить квартиркою... очень...

— Извините за беспокойство.

— Помилуйте... за честь понимаю... Покорнейше прошу... Не оступитесь... Пожалуйста...

— Поладили, ваше благородие?— вопросил В-ского ожидавший мирмидон.

— Нет, брат... не отдают...— раздумчиво отвечал тот, весь в мыслях о только что пережитой встрече.

— Так я и знал, что не отдадут. Характерные сибиряки. Что же? завтра еще поищем. Теперича свести вас, что ли, на постоялый двор?

— Веди на постоялый двор.

В грязной комнатке постоялого двора В-ский лежал на облупленном клеенчатом диване и думал: «Двойников на свете не бывает. Если я видел не Лизу Басову, то ее оборотня».

В дверь постучали.

— Можно-с?

— Пожалуйста...

Пробежали часы... При колыхающем пламени свечи В-ский жал на прощание руку человеку в окладистой курчавой бородке, с лицом лысого Сократа, а тот ему объяснял:

— Истинно говорю вам: в селе сем подгородном вам не в пример лучше будет устроиться, чем в городе. Домик тот, который я вам рекомендую, у попа-с,— чудеснейший. Поблизости, несомненно, найдете многих товарищей ваших. А о разрешении выбрать местожительство не заботьтесь: только заявите желание, чтобы обитать на селе — исправник у меня, по долгам своим, во где сидит: давну — запищит... Но уж, пожалуйста!.. Как благородного человека, вас прошу: позабудьте! И супруга просит... Неудобно это, чтобы нам с вами в одном городе... Сделайте милость! Не тревожьте! Я ежели и деньгами что... могу-с!.. Потому что женщина-с... нервы у них... Трое малых детей... сама тяжелая... Убедительнейше вас прошу: гораздо лучше вам будет на селе, чем в нашем городе. Какой это город? Одно предисловие... Смехота-с!..

Кельнерша

I

Сидим мы с знакомым немцем, профессором русского университета в ученой командировке, в некотором константинопольском кафешантане. Скука страшная; безголосые певицы, сиплые «дизёзки», дамский оркестр aus Wien[1], кто в лес, кто по дрова. В Константинополе по вечерам туристу некуда деваться: день очень интересен — по крайней мере, для охотника до старины, византийщины и азиатчины, а ночью, если вы избалованы удовольствиями, лучше спите — все равно ничего не найдете путного.

Молодая, рослая кельнерша поставила перед нами по рюмке коньяку, повернулась и ушла.

— Посмотрите, какая прелестная фигура,— указал я компаньону, вдогонку ей.

Кельнерша остановилась и обратила к нам улыбающееся лицо.

— Благодарю вас за комплимент,— услыхал я насмешливый ответ на чистейшем русском языке.

— Вот тебе раз! Соотечественница?!!

— Как видите.

— Так присаживайтесь к нам, пожалуйста, разделите компанию.

Кельнерша согласилась. Это была очень красивая женщи-

[1] Из Вены *(нем.)*.

на, лет двадцати пяти — шести, не старше, с настоящим великорусским лицом, круглым и розовым; карие глаза смотрят бойко и весело, а главное — умно; сочный рот улыбается, русых волос хватит на три хороших косы... прелесть что за создание!

— Ну-с, господа,— начала она, укладывая на стол холеные белые руки,— во-первых, требуйте чего-нибудь порядочного, подороже, чтобы я имела право как можно дольше просидеть с вами; я давно не встречала русских и рада поболтать.

Спросили шампанского.

— Во-вторых,— продолжала молодая женщина, разливая вино по стаканам,— говорите, кто вы такие? Я терпеть не могу сидеть с незнакомыми людьми и только для вас, как соотечественников, делаю исключение.

Мы назвали свои имена,

— Вам не сродни писатель Амфитеатров?— спросила она меня.

— Это я сам, но — откуда вы знаете мое имя?

Оказалось, что кельнерша выписывает большую петербургскую газету, где я в то время преимущественно работал.

— Вы не удивляйтесь, что я трачу свой заработок на журналы,— улыбалась она.— Хоть я и оторвалась от России, а скучно без родного слова. Я ведь истая русачка... очень русская, как говорит тут у нас в оркестре одна еврейка.

— А можно узнать ваше имя?

— Наталья Николаевна Голицына.

— Ой, какое громкое!— пошутил я.

— Да, это мое несчастье. Помните — как в «Подростке» Достоевского: «Ваше имя?» — «Долгорукий».— «Князь Долгорукий?..» — «Нет, просто Долгорукий». Вот и я просто Голицына.

Час от часу не легче! Выписывает русские газеты, толкует о Достоевском... что за феникс такой?

— Вашу фамилию, г. А., я запомнила, главным образом, вот почему. Вы как-то раз напечатали рассказ на такой сюжет. Молодая девушка-дворянка, которой опостылели домашние притеснения от любовницы ее отца, бесхарактерного и дрянного человечишки, убежала из дому и поселилась в деревне у своей кормилицы... Вернувшийся из Америки брат застает сестру совсем опростелой; она даже собирается замуж за крестьянина... Так я передаю?

— Да, была у меня такая повестушка, и остается лишь удивляться, как вы ее запомнили?

— Скажите: это вымышленная история или из действительной жизни?

— Развитие сюжета, конечно, вымысел; но основа — действительное происшествие.

— Так

Она тяжело вздохнула.

— Вы хорошо сделали, что оставили свою героиню в тот момент, когда она только собирается выйти замуж за крестьянина... Потому что — если бы вы продолжили свою повесть,— вам вряд ли удалось бы выдержать тот сочувственный тон, каким вы все это рассказывали.

— Вы полагаете?

— Да, потому что я знаю это по опыту. И если вы спросите меня: «Как дошла ты до жизни такой?» — как угораздило меня, женщину из порядочного общества, не без образования, недурную собой, попасть кельнершей в константинопольский кафешантан — я вам отвечу: всему виною мое наизаконнейшее супружество с Василием Павловичем Голицыным, крестьянином... вам все равно, какой губернии, уезда, волости и села. Положим, что «Горелова, Неелова, Неурожайки то ж»! В супружество это меня толкнули черт и идея. А из супружества — после двухлетней каторги... слышите ли? к а т о р г и — вырвали необходимость и добрые люди.

Моя девичья фамилия — Сарай-Бермятова. Как видите, «во мне кипела кровь татар». Однако, должно быть, кипела очень давно. Я помню родословное дерево в кабинете моего отца; оно было преогромное — корни крылись где-то за Дмитрием Донским или Иваном Калитою. Мой отец-покойник — не тем будет помянут — проел на своем веку несколько состояний и, чтобы поправить дела, женился на купеческой вдове, очень красивой, нельзя сказать, чтобы умной, но довольно богатой: тысяч на двести — триста капитала. Единственный плод этого брака — ваша покорнейшая...

Матери я не помню: мне было три или четыре года, когда она умерла. Отца помню отлично: изящный такой, седоватый джентльмен с постоянно французскою речью и манерами маркиза. Говорят, смолоду был красавец и великий победитель сердец. Сорок лет он прожил на свете баловнем судьбы и превосходнейших наследств: все прямо в рот ле-

тели жареные голуби. «Птичка Божия не знала ни заботы, ни труда». Под старость он вдруг вообразил себя дельцом... Выбрали его директором банка... Как шли в банке дела, не знаю, но в один прескверный день была назначена экстренная ревизия. Папаша в это утро встал очень веселый. За кофе он как ни в чем не бывало шутил со мной и моей гувернанткою — весьма хорошенькою офранцуженной полькой; как я потом узнала, этой барыньке не хватало только развода с первым мужем, чтобы сделаться моей мачехой. Пришел из банка рассыльный — сказать папаше, что его ждут.

— Сейчас, сейчас, сейча-а-ас,— пропел папаша на мотив шансоньетки,— я готова, готова, готова... но тсс! об этом ни слова... молчи!

Встал из-за стола, поцеловав меня в голову, пожал руку гувернантке, прошел, что-то насвистывая, в свой кабинет и... пустил себе пулю в висок! Недели три шумели газеты о его рыцарском расчете с собою: вот, мол, как умирают Сарай-Бермятовы — порядочные люди, без страха и упрека — римляне XIX века! Не знаю: может быть, это и впрямь очень красиво быть самоубийцей à la romaine[1]... только римляне, кажется, не растрачивали предварительно чужих денег и не делали нищими своих дочерей.

Осталась я одна-одинешенька: мне шел уже восемнадцатый год. Моя гувернантка, оплакав своего покойного благодетеля, осушила глазки и поступила экономкою pour tout faere[2] к одному местному тузу. На прощание она дала мне дружеский совет — последовать ее примеру, если к тому представится выгодный случай.

— У вас ничего нет, вы ничего не знаете, избалованы, не готовы к жизни; вы погубите свою молодость в бесполезной борьбе с нуждою... А между тем молодость и красота — капитал. Ma petit chérie[3] помните, что люди бывают молоды только раз в жизни. Хватайте счастье таким, каким оно вас найдет.

Порядочное таки дрянцо была эта госпожа!

Я ее не послушала, а вместо того собрала свои пожитки, сколотила кое-какие деньжонки и махнула в Питер — учиться. Чему — я, когда ехала, еще сама не знала. Призванья у меня не было; все равно — чему, лишь бы потом самой

[1] По-римски *(фр.)*.
[2] На все *(фр.)*.
[3] Моя милочка! *(фр.)*.

зарабатывать хлеб. Приехала: тпру! без диплома никуда не пускают. Сунулась я экзаменоваться на домашнюю учительницу: провалилась! хорошо, значит, учили дома. Пришлось готовиться сызнова.

Жилось ужасно бедно и чрезвычайно весело. Номерная жизнь и кухмистерская свели меня с множеством таких же, как и я,— чающих движения научных источников... Сложился живой кружок, подвижной и разнообразный; люди менялись в нем, как стеклышки в калейдоскопе. Перевидала я молодежь всяких окрасок: и нигилистов pur sang[1], и социалистов по Марксу, и неосоциалистов, и народников, и почвенников, и толстовцев — и во все эти окраски, разумеется, и сама понемножку отливала цветом, в каждую — своевременно. Я — настоящая русская по натуре: в какую среду ни попаду, сейчас же попаду в тон, заражусь ее взглядами, вкусами, манерами. Один ученый человек доказывал мне, будто это — великое качество русских, будто, благодаря ему, они стали лучшими из колонизаторов. Лермонтов похвалил за него Максима Максимовича, а Гончаров — русских матросов в Японии. Может быть, они и правы, судить не смею; только это качество, как мне кажется, носит в себе задатки большой бесхарактерности, отсутствия самостоятельной мысли и самостоятельных убеждений. Я ни на одном языке не встречала пословицы равносильной «с волками жить — по-волчьи выть»; это — принцип русской податливости и уступчивости.

Совсем было приготовилась я к экзамену — вдруг в одной кружке наткнулась на проповедь опрощения.

Проповедовал человек весьма интересный; я вам его не назову, но вы, вероятно, о нем слышали.

В одном из его имений, в глубокой провинциальной глуши, уже образовалась маленькая колония опростелых... Он предложил и мне поехать туда и там отведать трудовой жизни — покупая самоудовлетворение пóтом, болью в пояснице и мозолями на руках. Я согласилась. Экзамены — к черту, и помчалась.

Жизни моей в колонии рассказывать не стану. Скажу только, что и здесь я, как кошка, упавшая из окна, сразу стала на четыре лапы: освоилась, вошла в колею. Всего нас было человек десять; из них три женщины. Опростелых коло-

[1] Чистокровных *(фр.)*.

нистов противники ругают — кто лицемерами, кто бездельниками, кто шутами гороховыми. Я этого не скажу. Были в нашей колонии люди неискренние, дурные, актеры, тартюфы, но были и славные ребята: честные, убежденные, с глубокою верою в правду своего учения и целесообразность своих действий. И этих было большинство. Крестьяне немножко трунили над нами, считали нас как бы юродивыми, а как рабочую силу — презирали, но, в общем, относились скорее дружелюбно, чем враждебно. С гордостью могу сказать, что я много способствовала этому дружелюбию. Мужики презирали колонистов и колонисток, главным образом, за слабосилие. Намерения-то у всех были самые усердные, да не хватало мускульной силы и выносливости, чтобы их оправдать. Худенькая, истощенная, голодная, беременная крестьянская баба легко кончала в полчаса работы, над которыми бились по два, измаивались до полного изнеможения наши, здоровенные на взгляд, мужчины... Между ними были настоящие силачи, а не выдерживали — надрывались.

— Господи! — сокрушался наш общий любимец Сереженька Z, — я вытягиваю на силомере двенадцать пудов, поднимаю карету за заднее колесо, а пройду полосу с сохою — и никуда не годен. А эти тщедушные мужичонки — как ни в чем не бывали!..

Мое воловье здоровье и выносливость пришлись в этом случае очень кстати. По деревне так и говорили:

— Все господа с усадьбы не стоят на работе медного гроша, а из Натальи Николаевны будет прок.

Действительно, работа у меня спорилась легко и весело; в поле я не только не отставала от деревенских девок, а еще и обгоняла их. Ничто так не сближает, как общность работы. Впоследствии я убедилась, что опроститься, т. е. стать крестьянкою вполне, переработать свою натуру на мужицкий лад, применить себя целиком к мужицкой среде — дело вряд ли возможное. Но омужичиться — схватить внешность, ухватки, речь, даже, на время, пошиб мысли — очень легко; это совершается совсем незаметно, особенно если Бог наделил вас хамелеоновскою подражательностью, про которую я вам говорила.

II

Месяца не прошло, а я омужичилась — во всем, начиная с наружности: коричневый загар, «румянец сизый на щеках» — все эти прелести простонародной красоты получались налицо. У меня набралось полное село подруг и приятельниц... Я обучилась так же, как они, орать пронзительнейшим голосом песни — истинно волчьи песни — и отпускать шуточки, от которых прежде у меня завяли бы уши. Никого из нашей колонии крестьяне не приглашали на помочь, как этого нам страстно ни хотелось: ведь это было бы с их стороны признанием нашей рабочей равноправности, равносильно блистательно выдержанному экзамену трудовой зрелости. Не тут-то было.

— Ну их, господ... одно баловство: только портят либо других задерживают,— говорили несокрушимые пейзаны и управлялись в поле одни. Для меня делали исключение — и даже в своем роде почетное: как началась страда, меня не только звали нарасхват, но и ставили в первые серпы... Первое время было страшно трудно: «Ноет спинушка, руки болят» — едва разогнешься потом. Так тело изболит — хоть плачь! Но самолюбие заставляло меня владеть собою: помилуйте! как же! такой почет,— мы гонимся за мужиками, а они нас знать не хотят, и только одну меня считают своею... и вдруг, я покажу им, что я этого не стою, что я такая же слабосильная, слабовольная и неумелая дрянь, как все?! Да еще оглядишься: больные, беременные — все в поле, все гнут спину и не жалуются... Так мне-то как же уставать и жаловаться? Даже, бывало, станет совестно за свою силу и здоровье, когда сравнишь себя с другими. Перетерпела я несколько дней усталости непомерной, до слез доходящей, а потом и обошлась; стало все легче, легче. Вообще, мое мнение таково: нет физической работы, с которою нельзя свыкнуться — нужно только упорство и постепенность упражнения. Не надорвешься сгоряча по первому началу, тогда одолеешь труд, втянешься в него и даже его полюбишь.

— Наталья уважит, не выдаст,— хвалили меня в деревне.

Да-с, из Натальи Николаевны я была пожалована в Натальи, Наташи и даже Наташки... Какое упоение! Я уверена, что за такую честь три наших колонистки отдали бы по году жизни; но — увы! одна из них была чахоточная, другая истеричка, третья хоть и здоровая, но... говорила иной раз удивительные для опростелой фразы.

— Ах, дорогая Наталья Николаевна, я так боюсь, что, когда приедет NN (наш хозяин-покровитель), он останется мною недоволен. Я далека от народа, ужасно далека. Но что же мне делать? Намерения у меня самые добрые, но от них так пахнет...

— От намерений?!

— Ах, вы привязываетесь к словам! От мужиков.

Или:

— Вот вы не побоялись загореть, и это вам даже идет... А я? Ведь это ужас подумать: на что я буду похожа, при загаре, с моими белыми волосами?

Однажды же она разрешилась искреннейшим и, поистине, великолепным афоризмом:

— Если бы NN разрешил мне пудру и... хоть цветочный одеколон, я думаю, что мое опрощение пошло бы гораздо лучше...

— Вы, Лида, напишите об этом Толстому: спросите — может быть, и позволяется,— посоветовала я на смех.

Она подняла на меня свои наивные, круглые глаза.

— А что? ведь это идея!

Писала она Толстому о пудре и одеколоне или нет — не знаю. В колонии она пробыла недолго: очаровала местного земского врача и вышла замуж, утратив вместе с тем и всякое тяготение к опрощению... Впоследствии она откровенно говорила:

— Если бы я не была влюблена в NN, как кошка, разумеется, не пошла бы в эту несносную мужицкую кабалу. Я думала, что мое геройство ему понравится, а он и внимания не обратил.

В самом деле, NN, как истый фанатик, был совершенно равнодушен к женщинам; это доходило в нем до наивности; сам весь отдавшись одной идее, он не понимал и в других иных стремлений, желаний и слабостей.

Опишу вам и других моих товарок. Одна — чахоточная девушка из купеческого звания — пришла в колонию потому, что «все равно, где ни ждать смерти». Ей было лет под тридцать. Это было существо молчаливое, кроткое, спокойное и с огромной силой воли. Она имела решимость отказать любимому жениху по тому соображению, что, веря в наследственность своей болезни, не считала себя вправе иметь потомство. В колонию она поступила, как другие поступают в монастырь.

Она приехала к нам глядя на осень и, протянув кое-как зиму, умерла с первыми вешними водами.

Другая — совсем молоденькая — была из типа «талантливых неудачниц»: плохая копия с Марии Башкирцевой. Очень хорошенький, черноглазый, вертлявый чертенок с оливковым лицом, лихорадочными глазами в столовую ложку величиной, беспорядочной насмешливой и капризной речью, смешными ужимками и двумя непременными истериками в день... Готовилась в актрисы, дебютировала, провалилась... сперва хватила нашатырю на гривенник, а потом — когда ее выходили — сама не зная зачем, попала к нам. Были у нас гостьи, временные и приходящие. Помню одну вдову-купчиху из Москвы: красивую, могучую женщину с спокойною речью и степенными манерами; ей у нас не понравилось, она ушла «на волю» после недели житья в колонии и очень звала с собою и меня, и оливковую Катю.

— Вам замуж надо,— говорила она,— эй, смотрите: плохо будет. Раскаетесь, да поздно. Вам головы не сносить: скверно кончите.

Помню одну польку из Киева. Что эту к нам занесло — решительно не понимаю. Она повертелась у нас дня два — в полном недоумении: что мы за люди? куда это она попала? Наконец, надо полагать, решила, что мы дураки, и не только жить с нами, но и думать-то о нас не стоит.

— О, душко, як же у вас тенксно,— сказала она мне вечером во вторник, а утром в среду я узнала, что нашей гостьи уже и след простыл.

Колония очень гордилась моею приспособленностью к крестьянскому быту. NN писал мне восторженные письма: он видел во мне как бы воплощение своей идеи, доказательство, что она не миф, не бред, что привить культурную натуру к почве и ручному труду вовсе не такая тяжелая задача, как думают... До какой степени все это меня разжигало и пришпоривало, вы и вообразить не можете. Я не шутя возомнила себя в некотором роде звеном, должным связать в одно целое великую цепь между барином и мужиком.

В эту-то пору и выплыл на свет вопрос о Василии Павловиче Голицыне и моем с ним законном браке.

Васька Голицын был круглый бобыль: двор у него кое-какой был, но во дворе ни кошки, ни плошки, а только мальчонка лет семи от первой жены, которую Василий похоронил

года три назад. От земли он отбился, а жил — чем Бог пошлет: мастачил на все руки — и кузнец, и столяр, и слесарь, и медник, и лудильщик. Способностями природа не обидела, но в отместку наградила необузданною ленью, страстью к выпивке и стремлением к трактирной культуре, к «спинжаку», как окрестил это Глеб Успенский. Он презирал серое мужичье, водился с волостным писарем и сельским учителем — весьма франтоватым и недалеким по уму юношей из купчиков, бегающих от воинской повинности. Тогда это еще практиковалось. К нам он заходил — «для образованного общества». Мужчины Ваську не долюбливали.

— Это культуртрегер кабацкого пошиба,— горячился Сереженька,— жилетка, гармоника, дутые сапоги, сладкая водка, «барышня, дозвольте разделить компанию»... вот это что! Дайте ему деньги — он сейчас либо кабак откроет, либо станет торговать землей. В нем кулак сидит, зерно кулаческое.

Мы, женщины, отнеслись к Василию с большею терпимостью. Во-первых, с ним было нескучно, а когда он старался быть любезным, то оказывался совсем комиком: точно медведь пытается протанцевать качучу. Во-вторых, он выглядел все же почище и более отесанным, чем серая масса, окружавшая нас; да — что греха таить?— и некоторые из наших колонистов, в своем благом усердии уподобиться мужику, пересаливали в неряшестве и доходили до немалого свинства. Иногда это сильно надоедало, утомляло, раздражало, казалось актерством, рисовкою: люди кокетничали нечистоплотностью, как другие кокетничают «красой ногтей». Из себя Василий был молодец: большой, широкоплечий парень; зубы — как сахар, всегда оскаленные улыбкою. Наши мужчины находили эту улыбку фальшивою и неприятною.

— Он — каналья, ваш Васька Голицын,— уверяли они (мы находили особенное удовольствие дразнить товарищей, выхваляя Василья),— он себе на уме. Балагурит, а в уме считает да прикидывает. Вы посмотрите, какие у него глаза — холодные, жесткие, наглые; сам смеется, а глаза и не улыбнутся.

Как-то раз на жнивье одна из подружек, полуднуя, говорит мне:

— Что Васька Голицын к вам все ходит?

— Да, бывает.

— Гм... это он для тебя ходит!..

— Вона что выдумала.

— Ничего не выдумала: сам намедни в трактире похвалялся — переложил лишнее за белую шею и развел разговоры...

Помолчали.

— Ты, Наташа, будь с ним осторожнее. Он — парень, что говорить, ладный, но свинья. Через него не одна девушка плакала...

— Ну, я не таковская, не заплачу. С чем подойдет, с тем и отойдет...

Деревенское ухаживанье не было для меня новостью; молодежь, освоившись с моим обществом, не делала большой разницы между мною и своими девушками. Знала я и медвежьи ласки — бух ладонью со всего размаха в спину: верх любезности! Умела и отвечать на них кулаком и — когда переведешь дух, занявшийся от тяжелого удара — градом любезной ругани,— не для обиды, а по душе... Но серьезно за мною никто не ухаживал, помнили все-таки, что я им не пара.

III

Мне было двадцать лет. Я была сильна и здорова, красива, полна жизни. Мир, куда бросила меня судьба, мне не был противен... Раздумавшись над словами моей подруги, я убедилась, что и Василий мне не противен... даже, пожалуй, нравится... Я написала NN письмо, спрашивая совета — как думает он, идти ли мне замуж за крестьянина, если представится к тому случай? Ответ получила самый восторженный: вы, мол, завершите этим подвигом блистательно начатое дело и т. д. и т. д.

В один весьма жаркий полдень Василий Голицын подкараулил меня на огородах и, без всяких предварительных объяснений, набросился на меня с самыми решительными объятиями; мне понадобилась вся моя сила, чтобы от него отвязаться.

— Баловаться не смей,— приказала я ему,— а садись, да поговорим. Если я тебе пришлась по нраву, то и ты мне не противен. О дуростях и думать оставь, но коли хочешь сватать — сватай: пойду за тебя.

— А деньги какие-нибудь есть за тобою?— спросил он,

почесывая затылок, с весьма озабоченным видом.— Потому — люба ты мне очень, но только без денег мне никак нельзя жениться; прямо тебе скажу: изба врозь лезет, в долгу, как в шелку, да ведь ты же еще и балованная,— будет тяжко.

Я ему указала, сколько у меня денег, т. е. во что я могу обратить все, что имею. Вышло, как мы посчитали, около шестисот рублей... Василий просиял.

— Тогда и говорить нечего; этакой другой невесты, хоть весь свет обойди, не найти. По рукам, стало быть, и шабаш! На Покрова будем справлять свадьбу.

Расцеловались и объявились женихом и невестой. В колонии известие о моем предстоящем браке было принято довольно двусмысленно. Мужчины продолжали толковать, что Васька Голицын не мужик и что если уж я непременно хочу проявить на своем примере торжество идеи, то должна бы выбрать в мужья крестьянина, крепко сидящего на земле, настоящего Микулу Селяниновича. Чахоточная Агния все вздыхала и качала головой,— очень уж ей жаль было меня. Катя, по обыкновению, разрыдалась до истерики. Лидочка вытаращила на меня свои круглые глаза:

— Но ведь он пьяница, ma chére!![1]

Одним из непременных условий брака я поставила Василию, что он бросит пить,— если не вовсе, то хоть пить допьяна. Он обещал, клялся, божился, целовал, икону снимал.

Наличными деньгами у меня было рублей двести. Сто из них я отдала Василью на поправку избы, сто истратила на себя.

Время жениховства летело быстро, и не скажу, чтобы неприятно. Я всегда была искательницей сильных ощущений, а какое же ощущение может быть сильнее игры со зверем? А Василий был именно зверски влюблен в меня. Когда я выбегала на свидание с ним,— право, иной раз становилось жутко. Сказывался в нем медведь, готовый растерзать, задушить. Раза три или четыре мне приходилось серьезно прибегать к кулаку, чтобы унимать его увлечения... Это ему даже нравилось.

— Эка девка!.. Эка зверь-девка!— восклицал он и в знак удовольствия хлопал себя картузом по коленам.

Была я в него влюблена? Не знаю. Глядя по тому, что называть влюбленностью. В огонь и воду за своего жениха я

---

[1] Моя дорогая!! *(фр.)*

не пошла бы и героем романа, хотя бы даже и сермяжного, его не воображала. Но, повторяю, играть с ним, как со зверем, было очень интересно и увлекательно. Его чувственная страстность льстила мне, заражала меня до такой степени, что временами мне становилось скучно без этого флирта á la russe[1], и я с самой живою радостью встречала своего жениха, когда наступал час свиданья. Кровь играла, а ведь — говорю же вам: «Во мне кипела кровь татар». Во всяком случае, думаю, что в то время никакие увещания, никакие советы, никакие запреты не удержали бы меня от этого брака.

И вот я — жена, баба. Сначала все, казалось, шло хорошо. Очень много труда, хлопот, но их я не боялась. Очень много грубых и наивных ласк: от них я шалела. Вот когда я действительно была влюблена в моего Ваську! Работа да ласки, ласки да работа,— так и слагалась жизнь. Но уже с первого дня я заметила, что мой муж вовсе не смотрит на меня, как на женщину; что я самка: вещь приятная, потому что она красива, покорна, доставляет много удобства, рабочей выгоды и домашнего наслаждения; но в то же время — вещь, которая не имеет ни самостоятельной воли, ни мнения, которая должна жить так, как ей муж приказывает, и не поднимать своего голоса, если не спрашивают; когда же милостиво спросят, поднять робко, просительно, совещательно — не больше. Василий никогда не спрашивал моих советов. Он все делал сам и показывал мне уже сделанным; он взял мои деньги — и открыл на них в селе лавочку, меня же усадил в ней торговать, как я ни спорила против того, что он отрывался от земли.

— Глупая,— убеждал он,— что в земле хорошего? Земля — грязь, а торговля дело чистое.

Не знаю, прав ли был Сереженька, когда уверял, будто из Василия должен выработаться кулак. Думаю, что нет. Слишком широкая, разгульная натура была у моего супруга — сбивать деньгу было не в его характере. Торговля наша шла хорошо, но он, ради одного бахвальства, иной раз пускал ребром последний грош: поил приятелей, зазывал и принимал ночевать проезжающих купцов — с единственною целью похвастаться, какая у него нарядная изба и красивая жена «из барышень». Мои возражения он пускал мимо ушей,

---

[1] По-русски *(фр.)*.

смеялся, не давал мне спорить, всякий серьезный разговор переводил в медвежьи ласки, на которые я, к сожалению, была слишком уступчива. Потом начал скучать моим вмешательством, не раз обрывал меня, иной раз даже при чужих, угрюмо замечая:

— Ну, поговорила, и будет... У бабы волос долог, да ум короток.

Или еще что-нибудь в том же милом роде.

Он довольно долго держал свое слово: не пил. Но как-то раз его прорвало... Пошел в гости к учителю и вернулся пьяней вина. Это было месяцев пять спустя после нашей свадьбы. Я уже спала. Он разбудил, начал извиняться и нежничать. Я была в страшном негодовании и оттолкнула его.

— Поди прочь! Ты мне крест целовал, что не будешь пить, и присяги не сдержал. Ты скот. От тебя кабаком несет...

Тогда с... Он в эту минуту держал в руке только что снятый сапог и, не сказав ни слова в ответ на мою нотацию, пустил мне этот сапог в лицо. А затем на меня посыпался град ударов. Я не успевала ни защищаться, ни кричать; меня молча били, я молча принимала побои. А когда я опомнилась, все было кончено: я уже боялась своего мужа, я была покорена.

Один умный человек сказал: дикая лошадь покоряется объездчику вовсе не потому, что он сильнее или умнее; она только сознает в нем волю более упрямую и злую, чем ее собственная. Она инстинктивно чувствует, что — безопасный от ее копыт и зубов — он будет ее тиранить до тех пор, пока она не сознает его превосходства и своего рабства.

Со мною происходило то же самое. Лежа под кулаками, я сознавала лишь одно: если я сейчас закричу, стану бороться, он забьет меня насмерть... И если бы вы видели Василия, вы согласились бы, что он способен был вколотить жену в гроб, но — не позволит ей торжествовать над собою.

Поутру вид моего, покрытого синяками, лица нимало его не сконфузил.

— Помни, Наташка,— пригрозил он,— я горячий! мне теперь жаль, что так вышло, а сама виновата. И всегда так будет, коли ты станешь нос подымать, оказывать надо мной свою волю. Знай сверчок свой шесток. Бабье дело — у печки.

Нравственного состояния своего после этой ужасной ночи я не могу описать. Стыдно себя, стыдно соседей,— сожалеют, охают, а за спиною показывают пальцами, хохочут: что, мол,

барышня, отведала мужниных кулаков? И сознание полной безвыходности положения. Ведь, по общему мнению, Василий имел право распорядиться так: ведь он муж... Вся деревня скажет это в один голос. Всех баб мужья бьют — чем я святее других, что мой не будет меня колотить? Он владелец, а я вещь, собака, ничтожество. Меня незачем любить, меня нельзя уважать, мною можно только распоряжаться. Мне — с позволения вашего сказать — «набьют морду», а потом прикажут обниматься, и — утирай слезы, обнимайся... Где же моя волюшка? воля-то где? Какой злой дух ослепил мне глаза, позволил мне охотою идти на каторгу?

Хотела бежать. Но куда? У меня ни гроша за душой, прежние знакомые от меня отказались, из колонии муж всегда меня вытребует. Там сами-то живут — дрожат: будем ли целы? Полиция, как Аргус стоглазый, за ними следит. Где же им защитить меня? Чтобы уйти в Петербург, в Москву — нужен паспорт; да и оттуда ведь можно выписать беглую жену по этапу... Куда ни кинь, всюду клин. И все-таки я думаю, что убежала бы. Но... я была беременна. Как же — думалось — бежать от отца своего ребенка? Да и совестно: бежать, не выдержав первого же испытания... Зачем же, в таком случае, было идти замуж с такими громкими словами, такими красивыми приготовлениями и проектами.

Рассказывать вам мою дальнейшую жизнь в супружестве было бы неинтересно: слишком однообразно. Скажу одно: к концу года я ненавидела Василия так, как, я думаю, редкой женщине случалось ненавидеть мужчину; ненавидела тем злее, что приходилось ненавидеть молча. Каждое неосторожное слово вызывало ссору и драку. Василий чувствовал мою ненависть в самой моей бессловесной покорности; он раздражался этим чувством, старался, чтобы я высказалась, задирал меня и, когда добивался своего, приходил в страшный гнев... ну, и бил, конечно.

Родился сын. Это нас примирило было, сблизило. Что касается Василия, он прямо-таки снова влюбился в меня: так он был счастлив этим ребенком. И... черт нас, женщин, разберет! Представьте, что и я разнежилась, опять повисла к нему на шею, и мы пережили второй медовый месяц. Было же у меня, значит, какое-то серьезное чувство к нему, скоту!.. Но тут примешалось новое осложнение. Он сознавал, что очень много виноват против меня, и боялся, что я его грехов не прощу, не забуду и уже больше любить его не могу. Конечно, ничего

подобного он не говорил, но я это чувствовала — в особенности по новой радости, какую подарила мне судьба: Василий стал слепо ревновать меня ко всем мужчинам. Я должна была просить колонистов, чтобы они перестали навещать меня, потому что каждое посещение давало повод к страшным сценам.

— Надоело мужичкой быть? опять в барыни захотелось? — кричал Василий, как бешеный, — и уж тут надо было либо виснуть на шею: «Миленький, мол, золотой! да Бог с тобою! что ты! что ты! я тебя люблю, люблю... променяю ли я тебя, сокола моего, на кого-нибудь?!» — либо, если уж слишком кипело в душе и не под силу было лицемерить, хоть молчать... молчать, как рыба, потому что он сам себя не помнил: пена у рта, налитые кровью глаза — и что попало в руки: полено — так полено, безмен — так безмен.

Стоило мне поговорить дольше, чем ему нравилось, с кем-либо из деревенских парней или молодых мужиков — он начинал сцену по другой логике.

— Если ты, барышня, не побрезгала выйти за меня, Ваську Голицына, так не постыдишься повеситься на шею и Петру, Сидору, Карпу и Ивану.

Словом, я жила под вечным страхом, что не сегодня завтра мне проломят череп; по той или другой логике, но проломят неизбежно.

Между тем я готовилась быть матерью во второй раз... На самом переломе моей беременности Васька, как нарочно, запил, и сцены повторялись по нескольку раз на день. Из колонии давно уже звали меня бежать, предлагали доставить мне если не отдельный вид, то заграничный паспорт. И вот однажды, когда мой муж, утомленный водкою и гневом, храпел на печи, а я подбирала с пола волосы, выдранные из моей косы, я решила, что мне ждать лучшего нельзя. Моя жизнь вылилась в общий тип жизни деревенской бабы: тяжкий, гнетущий труд с утра до ночи, нежности, оскорбительные ласки, вперемежку с побоями, каждый день синяки и каждый год ребенок. Надо было спасаться, пока была возможность.

Я совершенно хладнокровно взяла из зыбки ребенка, накинула на себя тулуп и вышла из избы в колонию... Два часа спустя я уже мчалась — спрятанная под сеном, на дне саней, — в город к железнодорожной станции, а назавтра была в Москве у верных и добрых людей. Муж искал меня со всей энергией, на какую он был способен, когда хотел. Но найти

было трудно: чужой паспорт дал мне возможность убраться за границу.

Мои здешние похождения коротки и неинтересны. Я очутилась в Вене, с ребенком на руках и чуть не накануне вторых родов. Маленьких деньжонок, какими снабдили меня в России, хватило, чтобы не умереть с голода в это тяжелое время. Мне советовали пробраться в Швейцарию, слушать лекции в Берне или Цюрихе... Но когда мне было учиться, если приходилось кормить себя и двух ребят? Надо было зарабатывать хлеб. Как? Чем? В отчаяние приходила: расставаться с ребятами не хотелось, а с ними никто не берет, конечно, ни в бонны, ни в няньки, ни в горничные. Скрепя сердце отдала детей в деревню, в Штирии, крестьянке-кормилице, а сама поступила горничною в отель des étrangers[1]. Доходы были плохие: дети все съедали. А тут еще, как на грех, поссорилась с управляющим, лишилась места, осталась только что не на улице. Трудно было, ужасно трудно. Лезут какие-то маклеришки с скверными предложениями... Попробовала, не гожусь ли я в певицы, дебютировала в каком-то кафе-концерте в качестве la belle russe[2]... то-то провал был! Ни таланта, ни голоса, ни задора... Оставалось одно: либо — продаваться, либо — в статистки пантомимы, за крону в вечер,— то есть опять-таки продаваться, так как на крону в сутки и кота не накормишь, не то что взрослую женщину, да еще с двумя детьми за плечами... Тут мне подвернулась — проездом из Константинополя — содержательница здешнего кафешантана. Она француженка и отличная женщина: не смейтесь — очень нравственная... на свой образец, разумеется...

— Милая,— говорит,— вы красивы, молоды, производите впечатление на мужчин, можете привлекать публику. Не хотите ли распоряжаться у меня в заведении буфетом? Вам, конечно, придется иметь дело с самым разнообразным народом, с обществом смешанным, не всегда приличным, но... слова к вам прилипать не будут, поступков же дурных ни я, ни кто другой от вас не потребуют. А доходы будут: в два-три года можно сколотить деньжонки.

Я подумала, решила, что всякий черт не так страшен, как его малюют, и согласилась. И вот второй год я здесь. Хозяйка

---

[1] Для иностранцев *(фр.)*.
[2] Русской красавицы *(фр.)*.

была совершенно права: много дурных мыслей, скверных жестов, сомнительных слов, фамильярности, но факты зависят не от публики, а от нас самих. Я их не хочу, и их нет. Меня здесь любят. Мои «бакшиши» вдвое, втрое больше, чем дают другим... У меня уже есть тысяча франков, отложенных в «Credit Lyonnais». Наколочу другую-третью, и тогда видно будет, что надо делать...

Курортный муж

Поццуоли изнывало в истоме полуденного зноя.

Я лежал в тени нависшего над морем утеса, положив под голову, вместо подушки, толстую кипу русских газет, только что полученных с почты.

От Неаполитанского залива веяло ароматом моря, отдыхавшего после вчерашней бури. Кто знает море, вспомнит этот запах, поймет меня и позавидует мне.

С берега веяло лимоном и розами.

От газет под головою — уголовщиною, крахами банков, юбилеями и бракоразводными делами.

Баюкала тень утеса, баюкало море, баюкали ароматы.

Глаза слипались, в голове бродила коварная мысль:

— А не развернуть ли мне «Новое время» или «Новости» да, принакрывшись ими, вместо простыни, не задать ли хорошего храповицкого?

Между мною и миром легла туманная сетка. Я уже не видал ни Искии, ни Капри. Зато на горизонте очень ясно, хотя неожиданно, определились два Везувия, и я никак не мог разобрать ни откуда взялся Везувий № 2, ни который из двух Везувиев настоящий.

Еще минута, и... Нирвана! «Покойся, милый прах, до радостного утра!»

Вдруг мне предстал незнакомец.

По первому же взгляду я признал соотечественника: и

какого! Соотечественника с головы до пят, до конца ногтей, до корня волос. От драгоценнейшей, но измятой и запачканной фетровой шляпы, приобретенной, по меньшей мере, у Брюно, до незавязанного шнурка на желтом башмаке, до истрепанной шелковой тряпки, вместо галстука, на шее. От прорехи под мышками пиджака, сшитого, несомненно, у Тедески, до три дня не бритой физиономии и потных желтых косиц, уныло прилипших к вискам.

Он кротко уставил на меня молочно-голубые очи, полные телячьего смирения и глубокой покорности судьбе, фыркнул раза три добродушнейшим носом, стиля картошки и цвета спелого баклажана, и сказал, отдуваясь:

— Если не ошибаюсь, компатриот?

И, на утвердительный ответ мой, продолжал:

— Не обессудьте, что я к вам присяду. Жарко. Солнце это... горки. Одно слово, Италия, черт бы ее побрал. Вы, конечно, удивлены, что я ругаю Италию? De gustibus, сударь мой, non disputandum est[1]. Вы, может быть, художник или, Боже избави, поэт? Тогда вам и книги в руки по части «Авзонии прекрасной». Но я, батюшка, статский советник, кавалер и домовладелец, а кроме того, откровенный человек. И, как таковой, говорю еще раз с полною искренностью:

Черт бы ее побрал. Страна порядочная, comme il faut[2], не имеет права иметь так много синего моря, столько солнца, столько гор... в особенности гор. Коли нужна тебе живописная возвышенность для декорации — воздвигни парголовский Парнас, Воробьевы горы... что-нибудь этакое, чтобы мило, благородно и неутомительно. А то — эвона каких дылд наворотили! А вы изволите видеть: я мужчина сырой комплек ции. И, наконец, у меня катар желудка, одышка, приливы к голове. Шея короткая, а дело известное:

Те, у которых шея коротка,
И жить должны на свете покороче!

Кондрашка ходит за мною по пятам незримым спутником. Куда я, туда и он-с!

Вы, конечно, недоумеваете: откуда и зачем столь благополучный россиянин, как ваш покорнейший слуга, очутился здесь, под демоническою скалою, с которой только бы орать какому-нибудь Тартакову или Яковлеву:

---

[1] О вкусах не спорят *(лат.)*.
[2] Как полагается *(фр.)*.

Проклятый мир!
Презренный мир!
Несчастный, ненавистный мне мир!

Я разделяю ваше недоумение. Я тоже не знаю, зачем здесь. Зовите меня вандалом, я это имя заслужил, но какую-нибудь московскую Плющиху, какие-нибудь питерские Пески я предпочитал, предпочитаю и по гроб жизни своей предпочитать намерен вашей голубой средиземной волне, вашему Везувию, похожему на солдата, который спьяна никак не раскурит свою трубку, вашим прославленным лиловым островам в дымке синего тумана.

Зачем же я здесь?

Затем, милостивый государь, что я — муж.

Слова «муж» имеет во множественном числе две формы: «мужи» и «мужья».

Первые суть мужи славы. Вторые — мужья своих жен.

Участь первых — Капитолий. Вторых — башмак.

Первым ставят памятники. Вторым ставят рога.

Первых венчает история. Вторых — священники.

Первыми гордится человечество. Вторыми помыкают даже горничные их собственных жен.

К первым обращаются в звательном падеже: «О, доблестные мужи!»

Ко вторым: «Э-эх, господа мужья!»

О первых вещают миру Тациты, Несторы, Нибуры, Костомаровы. О вторых — Казановы, Арман-Сильвестры, Боккаччио, Поль де Кок и пр. и пр.

Я муж, милостивый государь!— и, конечно, если вы меня размножите, из меня выйдут не мужи, но мужья.

Sapienti sat![1]

Мужья бывают разных пород. Я, с позволения вашего сказать, муж курортный.

Муж вечно прополаскиваемого тела и промываемых костей. Муж существа, пропитанного углекислотою всех европейских минеральных источников и солями всех европейских морей. Моя супруга — самая чистоплотная женщина под луною. Она вымыта не только за самое себя, но, я полагаю, и за нисходящих потомков наших, до седьмого колена включительно. И теперь купается здесь в Bagnoli уже в честь линии восходящей — за дедушку, прадедушку и т. д. вплоть

[1] Для понимающего достаточно! *(лат.)*

до корня нашего родословного дерева. Так сказать, за здравие мы уже откупались и теперь полощемся за упокой. Нашими купаньями можно, на зло невежливой пословице, отмыть добела черного кобеля, человека черной сотни превратить в дворянина белой кости, негра — в альбиноса, темную личность в светлого деятеля.

Супруга влачит меня из Петербурга в Старую Руссу, из Руссы в Ялту, из Ялты в Франценсбад, из Франценсбада в Виареджио, из Виареджио на Платен-Зее, с Платен-Зее в Либаву, из Либавы в Меран, из Мерана в Биарриц, из Биаррица в Кисловодск, из Кисловодска в Остэнде, из Остэнде в Сорренто, из Сорренто к черту на куличики, а что касается моей скромной особы, то, может быть, и на Волково кладбище. Что же? Путешествие не хуже других. Когда вы узнаете мою горемычную жизнь, вы согласитесь, что у меня нет резонов от него отказываться.

Прежде чем стать мужем женщины, я был человеком.

Теперь друзья нашего дома стараются доказать мне, будто я переходная ступень от гориллы к минотавру. Иногда, ощупывая на лбу своем многочисленные зачатки рогов, я сам почти готов сомневаться: не сродни ли я любезному сыну беспутной Пазифаи? Но нет! нет!! нет!!! Homo sum et nihil humani a me alienum esse puto![1]

Когда-то я «воспитывался» и, в некотором роде, не лишен даров образованности. Могу потолковать об Ювенале и в конце письма поставить vale[2]. Батька у меня был строгий и философ. Бывало, сечет меня и приговаривает:

«Ангел Коля! Помни, что главенствующий принцип жизни есть долг».

«Что такое долг, папаша?» — спрашивал я сквозь слезы.

Странная вещь, почтеннейший! Я, с пятилетнего возраста, имею совершенно ясное и определенное понятие о том, что такое долги, но о долге — и умирая, вероятно, не буду в состоянии сказать, что это, собственно, за штука.

Но папаша, как ритор великий, за словом в карман не лазил.

«Долг, душа моя,— объяснял он,— заключается в том, чтобы, по возможности, сокращать свой аппетит к эгоистическим приятностям жизни и альтруистически подставлять

---

[1] Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо! *(лат.)*
[2] Будь здоров *(лат.)*.

свою голову под все шишки, кои свалит на тебя, бедного Макара, древо житейского познания добра и зла. Приятности суть сюрпризы жизни, ее капризы, спектакли не в счет абонемента: неприятности — необходимость, постоянное начало, самый абонемент. Поэтому первых не ищи и не ожидай, а вторые принимай как должное. Если в рот твой летит нежданно-негаданно жареный рябчик, не зазнавайся, потому что более чем вероятно, что завтра же чья-нибудь, тоже нежданная, негаданная, рука вырвет из зубов твоих жареного рябчика, не случайного, но заработанного тобою в поте лица своего и по праву тебе принадлежащего. Ибо старинный стишок гласит:

Кто надеется на радости,
Тот дождется всякой гадости!..»

Шопенгауэр в своем роде был покойник, царство ему небесное!

По мотивам пессимистической логики, папаша, когда я скрадывал из шкафа один пряник, отпускал мне десять розог. Резон: пряников в жизни мало, а розог много.

Так, с детства, закалялся я в принципе покорности судьбе и учился лобызать руки, наказующие мя.

Так вырабатываются характеры!!!

Я не буду рассказывать вам свои ученические годы. Полз в гимназии на троечках, в университете на четверочках. Ни шатко, ни валко, ни на сторону. У вас есть сын? Конечно, вы желаете ему блестящей карьеры, громкого имени, славы, треска, блеска, житейского фейерверка вовсю? Тогда зарубите себе на носу: сохрани Бог, если мальчишка начнет приносить в балльнике тройки и четверки! Пусть лучше носит единицы и нули!

Из единичников — либо пан, либо пропал!— выходят или великие оболтусы, либо большие таланты, не умевшие примирить свою оригинальность со школьною дидактикою. Единичник, если он не идиот по природе, свое отдурит, перебесится и станет человеком, и старая быль — «молодцу не в укор».

Разумеется, лучше всего, если сын ваш будет пятерочником. Из пятерочников выходят впоследствии молодые люди, приятные во всех отношениях — с мозгами трезвыми, спокойными, ясными, хотя обыкновенно немножко коротенькими, притупленными усердною зубрежкою. Они преуспевают на

служебных поприщах и тешат родительские сердца благонравием: si jeune et si bien décoré!!![1]

Но троечник, четверочник — на весь век не человек. Ни рыба, ни мясо. Ни крупных успехов, ни серьезных огорчений... все — «золотою серединкою»! Хорошо еще, коли ты Молчалин: «Молчалины блаженствуют на свете!» А вдруг — Обломов? Ведь это, сударь вы мой, тра-а-агедия!

И в трагедии этой я барахтаюсь пятьдесят годов! Как изволил остроумно выразиться господин Гейне,— раненный насмерть, представляю умирающего гладиатора.

Я богат, я человек со служебным весом, с общественным положением. От меня зависит многое для многих. Тем не менее никто никогда ни в чем не только не сообразовался с моею волею, но даже не интересовался: как, мол, по сему предмету думает Николай Иванович? Я же всегда только и делал, что сообразовался со всеми и с каждым, до пресловутой «собачки дворника» включительно. И это без всякой настоятельной, внешней надобности,— просто по мягкости и вежливости натуры, по робости, не взглянули бы на тебя косым оком, по потребности быть ласковым теленком, о котором пословица врет, будто он двух маток сосет. Неправда! По горькому опыту знаю, что наоборот,— ласкового теленка обсасывает всякий, кому не лень.

Никто никогда не имел права мною командовать,— и все командовали. Я же всю жизнь свою кланялся и лебезил там, где имел право приказывать. Я четверть часа собираюсь с духом, прежде чем сказать лакею:

«Филипп, будьте так добры, почистите щеточкой мое пальтецо, оно три дня в грязи».

А Филипп величественно снисходит ко мне:

«Что ж? Можно! Вот ужо чаю напьюсь — вычищу».

Дома я под игом прислуги, в магазинах под игом авторитета commis[2], в трактире подавлен величием метрдотеля и т. д. Всегда, как помню себя, я носил, ношу и, надо полагать, до конца своих дней буду носить тесные сапоги, хотя у меня, милостивый государь, весьма страдальческие мозоли. Белье — не по мерке и синее, как это море, на берегу которого мы с вами имеем удовольствие сидеть. Шляпы либо покрывали меня, с ушами, до плеч, как царь-колокол, либо

---

[1] Такой молодой и такой заслуженный!!! *(фр.)*

[2] Продавца *(фр.)*.

едва держались на макушке. Я платил за цепочку накладного золота как за настоящую. Банщик Илья в воронинских банях двадцать лет подряд упорно моет меня казанским мылом, хотя знает, что меня тошнит от его запаха, хотя я двести раз просил его: мой меня глицериновым! Я ел пережаренные бифштексы, а рыбу — обязательно недоваренную. Пил красное вино холодным, как лед, а шампанское теплым, как грудной чай. Половые, приказчики, кондуктора, все народы, созданные на потребу и на услужение рода человеческого, словно вступили против меня в безмолвную всеевропейскую стачку:

«Этого баловать нечего: ему что ни подсунь, все сойдет Он у нас таковский!»

Горничная, по первому звонку моей жены, летит, точно ужаленная тарантулом. А на мои вопли лишь раздраженно откликается из девичьей:

«Некогда мне, барин! глажу барынины кружева. Не разорваться мне! Подождите — авось над вами не каплет».

Жду... О! я много жду! я всегда жду!

Я проклят, как Каин. У меня на лбу клеймо, гласящее: вот фалалей! Вот человек, провиденциально предназначенный без рассуждений заплатить своим ближним деньги, сколько с него спросят, и безропотно принимать всякую дрянь, что ему дадут. И всякий норовит у меня стяжать и, стяжав, мне же нагрубить.

Язык у меня глупый и застенчивый. Он прилипает к гортани именно в те роковые минуты, когда, защищая благополучие своего владельца, ему следовало бы звучать твёрдо и настойчиво: «Нет! нет! нет!»

Моя супруга — родом из тех разбитных и пышных девиц, которых в летние месяцы зовут «царицами дачного сезона». В звании этом она состояла уже десятый год. Очаровательности ее истекала земская давность. Пора была выйти замуж, выйти во что бы то ни стало — хоть за Мефистофеля, если не подвертывается Фауст. Надо было очень спешить: уже многие скептики начинали исподтишка величать царицу дачного сезона менее изящным, зато более подходящим прозвищем: «холмогорской грацией». Она сообразила: «Еще год, и я останусь при одних гимназистах!»

Horreur! Horreur! Horreur![1]

---

[1] Ужас! Ужас! Ужас! *(фр.)*

Когда барышня ужасается своим девичеством, в воздухе пахнет брачной мобилизацией. Фалалеи! пожалуйте к отбыванию свадебной повинности!

Не думайте о нас плохо: у нас, как и у порядочных людей, тоже было объяснение в любви. Что касается меня лично, то, правду сказать,— «народ безмолвствовал». Но она, моя Евгения Семеновна, говорила много. Она открыла мне следующие новости: что я ее люблю, что она не хочет делать меня несчастным и потому согласна ответить моим чувствам и что, следовательно, нам остается только жениться.

Пока она, выбалтывая все это, висела на моей шее, я недоумевал: «Откуда она взяла, что я ее люблю, когда я, наоборот, всегда ее терпеть не мог? Я идеалист, мечтатель, подобно всем фалалеям моей комплекции. Я не выношу женщин, похожих на монумент Екатерины Великой. Мне бы женщину-мечту: Офелию, Гретхен, Теклу или Лауру у клавесина какую-нибудь. А тут — прошу покорно!— «холмогорская грация»: фигура купеческой дочки, бюст кормилицы, румяное лицо с победоносно амурным выражением, точно у кафешантанной примадонны. Я люблю женщин скромных, наивных, а Евгения Семеновна — обер-кокетка, даже уже выходящая из моды, флёртистка из флёртисток, и целуется по темным углам с студентами-первокурсниками».

Все это следовало сказать ей резко и решительно.

Но что же? вместо того — хоть зарежьте меня, я до сих пор не понимаю, как это меня угораздило!— я внезапно простонал самым сантиментальным и ублаженным голосом:

— Что я слышу? Может ли быть? Боже мой! благодарю тебя! за что, за что мне такое счастье?

Мамаша, папаша... образ... Дети мои, будьте счастливы!.. Исаия ликуй!.. башмак, башмак, башмак!

Был один момент, когда я мог отвоевать себе супружескую автономию, мог стать «главою». Но, конечно, я его упустил. Не нам, фалалеям, уловлять моменты!

Это было в вагоне. Курьерский поезд уносил нас в свадебное путешествие.

— Друг мой,— рыдая, призналась мне Евгения,— я боюсь, что ты будешь на меня в некоторой претензии... у вас, у мужчин, столько глупых предрассудков. Видишь ли... присяжный поверенный Эсаулов... у него были такие красивые усы... Ну, и... ах, я несчастная!

Она ждала, что я ее, по меньшей мере, изобью. Но я сидел истуканом, глупо улыбался и бормотал:

— Гм... конечно, нехорошо... но что же делать, если усы? Бывает! Даже хуже случается... и без усов! Пожалуйста, мой ангел, не нервничай, успокойся... Я не в претензии... Это ничего, совершенно ничего!

С этого момента она меня презирает. И поделом! не извиняйся, когда следовало прибить. Но презрение презрением, а что всего хуже, она запомнила, что для меня «это ничего, это совершенно ничего». И помнит пятнадцатый год, и неукоснительно применяет теорию к практике.

О, священная тень незабвенного Менелая! прими меня в свои родственные объятия! Каких измен я не вынес, каких адюльтеров не терпел? «Фатиница, Фатиница, Фатиница! чего не претерпела ты?!» Да-с, милостивый государь! Пред вами не мужчина, не человек, а именно какая-то Фатиница в штанах... Елизавета Воробей — баба, которую приписал Чичикову Собакевич в проданные мертвые души, под псевдонимом мужика — вот кто я!

«Все промелькнули перед нами, все побывали тут!» Тенора. Опереточные кривляки. Драматические верзилы: Анафемовы-Распротоканальевы, Громовы-Молниеносновы, Лидины-Тарарабумбиевы. Был жокей, этот хоть ел мало,— о весе беспокоился. Зато геркулес из цирка... я без ужаса вспомнить не могу, что за всепоглощающая пасть была у этого изверга рода человеческого. Серия велосипедистов. Серия атлетов-любителей. Серия конькобежцев. Контрабасист из оперного оркестра. Baigneur[1] в Трувиле. Старший метрдотель в венском отеле. Проводники-черкесы на Бештау, татары на Ай-Петри, тореадоры в Севилье, прогорелые «дуки» во Флоренции... О! Евгения Семеновна хорошо знает этнографию, и у нее престранная манера ее изучать!

Подросли дети. Молодое росло, старое старилось. Я — как видите. Евгения Семеновна тоже уже не царица дачного сезона и даже не «холмогорская грация», а просто «дама, приятная во многих отношениях», так называемого бальзаковского возраста, когда день жизни прошел, вечер не наступил, а утешения сердца дамское требует, и бес стучит в ребро.

Поэтому мы сейчас в периоде гувернеров и репетиторов.

---

[1] Купальщик *(фр.)*.

Фемистокл Алкивиадович Альфонсопуло... нравится вам это имя?

О, что это за невежда и проходимец! Но у него нос более греческий, чем даже Анабазис Ксенофонта, и глаза маслинами, какие не едали ни Гомер, ни Скараманга. По мнению Евгении Семеновны, этого совершенно достаточно, чтобы успешно воспитывать ребенка в самом строгом классическом направлении.

Наш первенец Феденька ежесубботно приносит в балльнике двойки, сидит в каждом классе по два года, под вечным сомнением: смилосердуется над ним благопопечительное начальство, переведет «так и быть» в следующий класс или выгонит на все четыре стороны, с волчьим паспортом — за тихие успехи и громкое поведение. Напрасно я молю:

— Евгения! перемени репетитора: он ничего не смыслит. Мы не имеем права губить ребенка.

— Ничего не смыслит? Фемистокл Алкивиадович? Да вы с ума сошли! Неблагодарный! Фемистокл Алкивиадович всего себя кладет на алтарь вашей семьи, а вы недовольны, вы критикуете, вы смеете протестовать?! Не Фемистокла Алкивиадовича вина, что у Феди свинцовые мозги! Ваш сын! весь в папашу — радуйтесь. Отказать Фемистоклу Алкивиадовичу?! Придет же человеку в голову такая нелепость!.. Ах да! понимаю, впрочем! понимаю! Вы, по обыкновению, ревнуете? Ха-ха-ха! скажите, какой Отелло нашелся... Ха-ха-ха! Туда же! Он ревнует! Ха-ха-ха!

Я ревную ее?! Я!.. Да я рад хоть сейчас лететь от нее с капитаном Андрэ к Северному полюсу, а если нелегкая или попутный ветер занесет наш воздушный шар на Луну — тем лучше! Капитан, валяй на Луну! Чем я рискую? От Луны ничего мне не станется! Мы с ней братья по оружию! Она — тоже двурогая!..

Я ревную?! Я, готовый, когда угодно, уступить ее бесданно и беспошлинно афганскому эмиру в гарем, дагомейскому королю в амазонки,— всякому, решительно всякому, кто согласится навязать себе на шею сей камень осельний и ввергнуться с ним вместе в пучину житейского моря?!

Но никто и никогда не возьмет ее у меня, и я никогда никуда от нее не убегу. А если убегу, она догонит меня даже в аду, чтобы водворить меня в черту моей оседлости: под башмак. Ибо без «мужа-мальчика, мужа-слуги» столь курортно-романтическая дама обойтись не может. Я, в некотором роде,

Жан Вальжан супружества. Я прикован к Евгении Семеновне, как каторжник к тачке,— с тою разницею, что каторжник все же влачит свою тачку, куда он хочет, а я влачусь, куда моя тачка катится.

Я уже доложил вам, что сейчас мы купаемся в Bagnoli, к великой потехе всяких праздношатающихся итальяшек и французишек.

— Messieurs! au nom de pipe!— voyez, voyez donc![1]

А «cette baleine[2]» тем временем уверена, что она мало-мало не Венера, выходящая из морской пены. Послушать ее — волос дыбом станет. В нее влюблен весь Неаполь. Мессалина пред нею — девчонка и щенок. Клеопатра годится разве в горничные. Нинон де Ланкло — много-много в компаньонки. Этот из-за нее чуть не впал в чахотку, тот разошелся с семьею, этот хотел броситься под поезд... Словом, как поется в цыганской песне:

Один утопился,
Другой удавился,
А третьего черти взяли,
Чтоб не волочился.

И все-то врет, все-то обманывает самое себя... и только себя, потому что обмануть людей — уже трудно: не по силам, не в состоянии. Какая потребность у женщин быть грешницами! Когда им изменяет возможность действительного греха, они хоть наклеплют на себя, хоть нагрешат платонически, воображением!

Разумеется, у Евгении сотня платьев и две дюжины купальных костюмов. На платья я не в претензии: Бог с ними! Платья — фатальная кара супружества. Мужчина осужден мучиться жениными платьями, как женщина — родами. Это — долг платежом красен. Одно за другое, suum cuique[3]. Но костюмы... эти ужасные костюмы, по фасону, изобретенному m-me Евою, когда, после грехопадения, она сконфузилась своей наготы и «оделась» при помощи виноградного листа!.. Стоит мне взглянуть на купальный костюм моей супруги, чтобы ощутить припадок водобоязни, прийти в унылое, молчаливое бешенство. Если я укушу кого-нибудь в такую минуту — везите на бактериологическую станцию

[1] Здесь: Господа! черт подери!— смотрите, смотрите же! *(фр.)*
[2] Здесь: эта моржиха *(фр.)*.
[3] Каждому свое *(лат.)*.

для пастеровской прививки. Евгения как ни в чем не бывало примеривает свои Евины пояса пред зеркалом, вертится, точно собирается на бал, а не в соленую воду, и я же обязан восторгаться: ах, как идет! А чему идти и к чему идти? Впрочем, я знал барышню, которая находила, что ей очень *к лицу* ее *ботинки*.

— Недурно... очень недурно...— любуется Евгения.— Правда, недурно, Николай?

О, как хотелось бы мне ответить:

— Нет, очень скверно.

Тебе за сорок лет. Ты мать троих детей уже на возрасте. Ты жена порядочного человека. Нам стыдно за тебя. Тебе неприлично выставлять свое тело, облепленное лоскутом мокрой материи, напоказ насмешливой публике скучающего курорта, которой только бы найти, над чем скалить зубы. Ты воображаешь, что можешь кому-нибудь нравиться? Lasciate ogni speranze![1]

Ты стара, толста, расплылась. Тебе пора прятаться, а не выставляться. Твой костюм — глухой мешок, а не декольте!

Ты общее посмешище. Смеются над твоим телом, над щегольством, приличным разве девочке восемнадцати лет, над запоздалым куртизанством, над Фемистоклом Алкивиадовичем, которого таскаешь ты с собою по Европе, как наглядную вывеску своих амурных упражнений, надо мною, твоим мужем, слишком бессильным и слабовольным, чтобы прекратить твои благоглупости и безобразия.

Хотелось бы...

Но на хотенье есть терпенье! Amica veritas, sed magis amicus Plato[2], а Plato это я сам. Я ненавижу сцены, крик, истерики, обмороки. Так лучше помолчать. Своя рубашка к телу ближе. И разве что на смертном одре меня прорвет, что называется,— и я выскажусь. Да и то — лучше смолчать! Не стоит. Она неуязвима! Она не знает никаких истин, вся жизнь ее — возвышающий обман. Как я ни обругаю ее, она мне все равно не поверит. Есть рожон, против него же не попреши: это самообольщение тщеславной женщины. Евгения Семеновна твердо убеждена, что я влюблен в нее без памяти и нахожу ее, с полною искренностью, такою же обольстительною, как представляется она самой себе.

[1] Оставь надежду! *(итал.)*
[2] Платон мне друг, но истина дороже *(лат.)*.

Я выскажусь и умру, а она будет, в трауре, хвастаться приятельницам:

— Вы даже вообразить не в состоянии, mesdames, как был влюблен в меня покойный Николай Иванович. Прожили мы с ним пятнадцать лет; кажется, порядочный срок, можно бы поостыть... Но для него все как будто продолжался медовый месяц. Просто африканская страсть какая-то. Верите ли? За четверть часа до смерти он сделал мне сцену ревности... такую сцену! такую сцену! просто страшно вспомнить, как он меня ругал!

Она клевещет, а я в гробу — и никакой апелляции!

И мало, что я, по ее милости, прожил дураком свой век,— она сделает меня дураком в вечности, дураком в памяти потомства! Она введет в заблуждение историю и вклеит меня в оперетку!

О, Менелай и Пентефрий! Я чувствую, что на том свете мне уже уготовано место в вашей небольшой, но честной компании. Мы заключим дружественный союз угнетенных рогоносцев и, при свете пекельного огня, будем играть в винт, по маленькой, разумеется, и с болваном!..

Последние слова незнакомец произнес столь громко и патетически, что я даже усомнился — он ли их выкрикнул или прорычала средиземная волна, дробясь о берег. Тем более что, протирая глаза, я не нашел никакого незнакомца... Утопился ли он, расточился ли в воздухе — предоставляю выбирать догадливости читателя, кому что больше нравится. Вернее всего, в действительности вроде не было никакого незнакомца, а была лишь сонная полуденная греза, навеянная мне неосторожно положенною под голову подушкою из газет с бракоразводными процессами.

Питерские контрабандистки

Из всех городов российской империи Петербург — наиусерднейших по то́ргу с Парижем произведениями моды, подлежащими высокой таможенной пошлине. Из всех городов Российской империи Петербург — наиуспешнейший по контрабанде парижскими и, вообще, европейскими модами. Петербургские магазины завалены товаром парижских модных мастерских, никогда не виданным глазами, никогда не ощупанным руками таможенных досмотрщиков, хотя доехал этот товар к месту своей продажи отнюдь не в выдолбленных осях экипажей, не под шинами колес, не в двудонных сундуках и двубоких чемоданах,— вообще, без всяких плутовских ухищрений старого чичиковского времени. Нет, его не прятали, везли в открытую, без всякой опаски, даже представляли на таможенный досмотр.

Кто же и как провозит эту дорогую и изящную контрабанду?

Нечаянный ответ на вопрос я получил от одной бессознательной преступницы по этой части, очень молоденькой и хорошенькой русской дамы из более чем «порядочного» общества.

— В последнюю свою поездку за границу,— смеясь, говорила она,— я вела себя немножко неумно. Истратила гору денег. Накупила всяких пустячков в Берлине, в Вене, в Италии, а все главное и необходимо нужное оставляла ку-

пить, конечно, в Париже. Прибавьте, что не удержалась — заглянула в Монте-Карло — и... комментарии излишни. В Париже,. как водится, влюбилась в магазины, увлеклась. Носили ко мне пакеты, носили; платила я по счетам, платила... В один печальный день подсчитываю свои финансы и с ужасом убеждаюсь, что зарвалась: кредит в банке истощен, в номере у меня — целый Монблан ненужных, но безумно дорогих вещей, а в кармане сто двадцать франков. Приходится телеграфировать мужу, чтобы выручал, и ужасно перед ним совестно. Мы далеко не богачи, дела наши в настоящее время очень неблестящи,— у кого, впрочем, они хороши?— денег мне муж, и без того уже, выслал чересчур щедро, гораздо больше, чем я имела право тратить,— в последней телеграмме просил быть экономною, покупать осторожно. Нет, как ни повернуть дело,— нельзя беспокоить мужа: позор и стыд. Думаю про себя: не найду ли в Париже кого-нибудь из петербургских друзей? Нет, как нарочно,— ни души: конец сезона, все разъехались. Такое отчаяние. И вдруг — нечаянно, негаданно — спасена! Прямо с неба слетел ангел-избавитель, и все устроилось в двадцать четыре часа... Угадайте: как?

— Вероятно, вы продали часть вещей?

— Как бы не так. Разве я затем их покупала, чтобы потом продавать? Могла ли я с ними расстаться? Я в них просто влюблена была...

— Заложили свои bijoux?[1] Кредитовались в отеле?

— Как можно? Что вы? С моим-то положением? С моей фамилией?

— Тогда, простите, отказываюсь понимать.

— И ни за что вам не догадаться, если не расскажу сама. А между тем ларчик открывается очень просто, и все уладилось так мило, учтиво и приятно, что вы не в состоянии и вообразить. Мы, бедные, грешные русские дамы, способны хранить свои маленькие секреты от кого угодно, только не от француженки-горничной или модистки. Вот и разговорилась я однажды с прелестною барышнею, которую один крупный магазин прислал ко мне, как примерщицу, а в разговоре выложила ей свое горе. Она выслушала, улыбнулась и отвечает:

---

[1] Украшения. *(фр.)*

— Это очень частая история, и в ней нет решительно ничего трагического.

— Ах, вы не знаете моего мужа...

— Вашему мужу незачем и знать о вашем безденежье. Вы можете прекрасно заработать эти деньги сами, здесь, в Париже.

— Я, mademoiselle? Бог с вами! Я выросла баловницею... Я не имею даже понятия, как и что можно работать для денег...

— Modame, неужели я осмелилась бы предложить вам какую-нибудь грубую работу? Слава Богу, я умею различать людей и вижу, с кем имею дело...

Тут у меня явилось новое сомнение. Женщина я молодая, собою, говорят, недурна, путешествую одна, без компаньонки,— не принимает ли меня эта госпожа за искательницу приключений, не собирается ли предложить мне... Вы понимаете?

— О, очень понимаю!

— Но — нет, не то. При одном намеке на мои сомнения, она так и вскипела... «За кого madame меня считает? Разве неизвестно, какой фирмы я представительница? Разве честь дома позволила бы моим патронам терпеть на своей службе особу, способную на подобные предложения...» Даже отпаивать водою ее пришлось и извиняться потом: так расходилась... Ну, а как и чем она меня спасет, все-таки не сказала... «Положитесь, говорит, на меня: вам не придется сделать ничего неловкого, даже неприятного,— просто, можно сказать, ничего от вас не потребуют, совсем, совсем ничего!»

— За ничего, Люси, денег не дают. Поставят какие-нибудь обязательства.

— Никогда. Уверяю вас: не вас обяжут — вы обяжете. Да так, что если бы вы и в Петербурге оказались не при деньгах, то можете хоть совсем не платить. Вот, значит, какую услугу вы в состоянии шутя оказать.

Отвечаю:

— Не платить я не могу и не хочу, потому что принимать подарки от неизвестных людей не в моих правилах. Но если дело сводится к тому, чтобы услуга шла за услугу, тем лучше, с тем более легкою совестью я займу деньги...

Назавтра утром подают мне карточку какой-то m-me Durand. Имя ровно ничего не говорит: во Франции Дюранов и Ламбертов чуть не больше, чем у нас Ивановых. Прини-

маю. Входит дама лет сорока пяти, буржуазка, очень приличная, одета просто и элегантно, заметно, что туалет стоит больших денег.

— Мне сообщили, что вы в маленьком затруднении. Не позволите ли мне вам помочь? Сколько вам надо?

— Думаю, что обойдусь двумя тысячами франков.

— Пожалуйста, не стесняйтесь... Если надо больше...

— Нет, я разочла, что обойдусь.

— Прекрасно. Я могу ссудить вам эту сумму.

— А условия?

M-me Durand пожала плечами.

— Какие же условия между двумя порядочными женщинами? Я не процентщица. Когда будут деньги, пришлете мне долг. Вот и все.

Прямо благодетельная фея какая-то!

— А вот,— продолжает,— об одолжении небольшом я буду просить вас очень усердно...

— Все, что могу... Вы так меня выручили... Я не знаю, как вас благодарить...

— Дело пустое: я только попрошу вас взять с собою в ваш багаж ящик, который я посылаю в Петербург.

— С удовольствием, если только в нем не будет трупа, разрезанного на части. А то с полицией выйдут хлопоты, и, главное, я боюсь покойников.

Смеется:

— О, нет! Я только хочу просить вас — передать подарки моей племяннице. Моя сестра живет в Петербурге — у нее большая модная мастерская,— и вот теперь она выдает дочь замуж. Это свадебные дары.

— Прекрасно. Большой ящик?

— Довольно большой, но багажные по тарифу я, конечно, беру на свой счет.

— Да я не к тому. А может быть, вы посылаете много вещей? Тем более — если к свадьбе, то, значит, дорогие...

— Да, есть ценности.

— В таком случае, простите, но я могу принять их от вас только по описи... Мало ли что может случиться в пути и какие потом возникнут недоразумения?

— Конечно. Вы правы и благоразумны. Очень хорошо. Будет сделана опись.

— А кому я должна отдать ящик в Петербурге?

— О, не беспокойтесь об этом! К вам явится мой брат или

племянник. Отдайте тому, кто предъявит вам рекомендацию от меня.

— Тогда все в порядке. Привозите ваши сокровища.

Привезла сундук. Действительно, целая башня. Как открыли мы его, я так и ахнула. Глаза разбежались. Вещи ослепительные. И чего, чего там только не было. С ума можно сойти: такие прелести. Никогда ничего не видала богаче и лучше. Поахала я над сундуком, повздыхала — приступили к делу. Отсчитала m-me Durand мне две тысячи франков, взяла с меня расписку в них, под описью сундука мы обе вместе тоже подписались — откланивается. А меня любопытство мучит.

— Простите, но я страшно заинтригована: что побуждает вас кредитовать меня, незнакомую вам женщину, на таких льготных условиях, да еще доверять мне этот ценный сундук? Ведь в нем, по меньшей мере, тысяч на сорок франков дорогого товара.

M-me Durand, на это в ответ, спрашивает меня с искренностью:

— Ведь вы действительно г-жа N?

— Самолично.

— Ваш муж занимает в Петербурге такой-то пост?

— Да.

— В прошлом году вы ездили за границу и возвращались на родину тоже с большим багажом?

— Ваша правда.

— И пограничная таможня не осматривала ваших сундуков?

— Нет, осматривала, но очень поверхностно: только поотпирали замки да подняли крышки. А внимательно, как у других дам, моих вещей никогда не осматривают.

— О, конечно! Вот, видите ли,— нам все это прекрасно известно. И потому-то я решилась поручить вам этот сундук, что, среди ваших вещей, его осматривать не станут и, следовательно, родные мои получат вещи без пошлины. А пошлину им пришлось бы заплатить в размере гораздо большем двух тысяч франков, которыми вы желаете у меня кредитоваться.

В Петербурге ко мне явился тоже как-то утром очень учтивый и порядочный на вид француз — по типу commis из очень хорошего торгового дома. Он рекомендовался мне

племянником m-me Durand, показал доверенность от нее и принял сундук по описи... Больше я его не видала.

Зато из вещей, бывших в сундуке, стала видеть очень много потом в сезоне — то на одной нашей mondaine, то на другой...

Спрашиваю Лили Беззубову:

— Где вы купили этот валансьен? В Париже, конечно? Здесь у нас нельзя найти такого.

— Нет, представьте,— именно здесь, в Петербурге.

Называет адрес и шепчет:

— Только не выдавать. Это я вам — по дружбе. Мне самой продали под страшным секретом. Говорят, что контрабанда.

А я отлично узнаю, что это тот самый, который, по поручению m-me Дюран, приехал из Парижа в знаменитом сундуке. Следовательно, не посылала она никаким родственникам подарков, а все вещи были просто-напросто для торговли и отчаянно контрабандные. И мне вдруг стало стыдно и страшно:

— Как же это так? Ведь я, кажется, нечаянно попала в контрабандистки?

И так меня мучила эта мысль: ах, что, если узнают? ах, что тогда со мною сделают?— что я не выдержала, во всем призналась мужу. Он ужасно рассердился, бранил меня, клялся, что сам, собственноручно, напишет письмо главному таможенному начальнику, чтобы тот отдал приказание впредь осматривать мои вещи как можно строже, напугал меня, расстроил, пригрозил, что больше не пустит меня одну за границу...

Сижу и плачу. Приезжает мой друг, Фофочка Лейст. Вы ее знаете.

— Что с вами?

У меня от нее тайн нет. Рассказала.

Она подняла свой маленький нос, посмотрела на меня с видом неизмеримого превосходства, точно она на вершине пирамиды, а я на дне глубокого колодца, и сказала, картавя:

— Милая, какое вы еще дитя.

— Да! Дитя! И вы были бы дитя, если бы муж вам сделал такую сцену.

— Все мужья делают сцены.

— Сцены сценам рознь. Если сцена из пустяков и я права — пусть. Это даже приятно. Но когда сознаешь себя виноватою...

— А зачем же вы сознаете себя виноватою? Вы не сознавайте! Это не надо!

— Как не надо? Говорю вам: муж совершенно прав...

— О, нет, муж никогда не может и не должен быть совершенно правым.

— Но поймите, ведь я действительно попала в очень некрасивую историю и провезла через границу дорогую контрабанду.

Фофочка опять:

— Дитя! Нет, вы дитя!..

Я рассердилась наконец:

— Дитя! Дитя! Легко говорить: дитя — а посмотрела бы я вас на своем месте. Дитя! Дитя! А почему я «дитя»?

А Фофочка ничуть не смущаясь:

— Потому что — с кем же из нас, бедных путешественниц, того же не бывало? Но только дети имеют наивность говорить вслух о своих маленьких секретах...

* * *

Лет семь тому назад я жил в центре Петербурга, в огромном доме, на четвертом этаже. Окна моего кабинета приходились как раз к внутреннему углу квадратного корпуса, так что, живя в одном катете каменного прямого угла, я, в каких-нибудь двух саженях, по гипотенузе, имел перед собою ближайшее окно другого катета, и часто, волею-неволею, становился свидетелем протекавшей за ним жизни. Хозяйка окна была дама пожилая, восточного типа, со следами былой красоты. Часто мелькали за окном, по-домашнему одетые, барышни, довольно красивые, тоже полувосточного неопределенного типа. Мужчин за окном я не видал ни разу. Зато дам — множество и, к изумлению моему, часто очень мне знакомых. Посещали таинственную квартиру актрисы, иногда даже знаменитые; проносились бледные профили тех львиц, которых «Листок» и «Газета» поминают «оазар», описывая балы, концерты, рауты; бывали и обыкновенные смертные, нарядные, сытые буржуазки.

Грешный человек, сперва я думал, что передо мною — тайная квартира для свиданий. Но, во-первых, повторяю: за окном никогда не видно было ни одной мужской фигуры; во-вторых, однажды я заметил у окна, в живом разговоре с хозяйской квартиры, супругу моего соседа и приятеля —

даму пожилую, прекраснейшую и добродетельнейшую, которой, как жены Цезаря, не должно было и не могло касаться подозрение.

Встречаю вскоре потом почтеннейшую Анфису Гавриловну на лестнице: подъезд у нас был общий. Говорю:

— А я вас видел на днях вот где и вот как...

Милая дама залилась румянцем, да — как расхохочется:

— Да ну? Что вы? Вот так попалась я. Вы смотрите: мужу не расскажите. Он мне задаст.

— Вот как? Однако! Ой-ой! Анфиса Гавриловна! Что-то неладно...

— Что уж хорошего?— вздыхает она,— но знаете: баба я слабая... соблазн так силен... Согрешила на старости лет, окаянная...

— Анфиса Гавриловна!!!

— Да полно вам... Не то, что вы думаете... И, вообще, ничего особенного... А только ваша братия, мужчины, не очень-то долюбливают хозяйку этой квартиры.

— За что?

— Говорят, будто много мы, бабы, ей денег носим.

Я смиренно повторил:

— За что?

— А уж это не ваше дело. Много будете знать — скоро состаритесь.

В другой раз, много позже, приезжаю к приятелю, чиновному литератору — как зван был — завтракать. Хозяина еще нет дома, не приходил со службы. Хозяйка встретила меня какая-то растерянная, с заметным смущением, сунула мне в руки газету и, извиняясь, что сейчас, сейчас вернется меня занимать, скрылась куда-то внутрь квартиры. Из соседней комнаты долго доносилось ко мне оживленное шушуканье двух женских голосов. Но вот в передней задребезжал резкий хозяйский звонок. Шушуканье оборвалось, и — сию же минуту — мимо меня, во весь дух, опрометью, бурею, помчалась по направлению к кухне, на черный выход, с узлом под мышкою, хозяйка знакомого мне окна. А жена моего приятеля, проходя мимо меня навстречу мужу, сделала мне такой выразительный знак молчания, что я поспешил принять самое невинное выражение, на какое только способно лицо мое: «Никого видом не видал, слыхом не слыхал...»

Жена моего приятеля — хорошая дама, совестливая. Не любит и боится, чтобы о ней не только говорили, но даже дума-

ли дурно. Поэтому, возымев со мною общую тайну, она возымела и настоятельную потребность оправдаться, «чтобы вы не вообразили чего-нибудь худого».

— Поверьте мне: эта дама очень милая, она не занимается ничем дурным. Но я не смею принимать ее явно, потому что Петр ее терпеть не может. Ее все мужья ненавидят.

— Но кто же она, наконец?

— Фамилии не знаю. Никогда не знала. Да, кажется, и никто не знает. У нее нет фамилии.

— Батюшки, да это Расплюев какой-то в юбке! Ведь только почтеннейший Иван Антонович пытался уверить квартального надзирателя, что — «я без фамилии, у меня нет фамилии»...

— Да нет же! Какой Расплюев? Очень скромная, честная... Ну... ее все знают... Вероятно, приходилось слыхать... Это — Дина-контрабандистка...

— Ах вот в чем дело... Слыхал, слыхал... Своего рода знаменитость.

— Что делать, мой добрый друг? — трагикомически вздохнула собеседница, — мы получаем так мало, а одеваться прилично в Петербурге так дорого. Если бы не Дина-благодетельница, мы, жены чиновников среднего оклада, все были бы одеты как чумички.

— Но, в таком случае, за что же ненавидят ее мужья? Им бы, наоборот, следовало чтить ее и любить, — адрес бы ей благодарственный, что ли...

— И, конечно, следовало бы. Но разве с вами, мужчинами, можно сговориться по-человечески? Вы сотканы из предубеждений. Мой супруг, на что добр и мягок, а при одном имени Дины просто тигром каким-то становится. Послушать его, так и краденое-то она нам продает, и записки-то любовные из дома в дом переносит, и в уголовщину-то нас когда-нибудь запутает, и шантажа-то мы не оберемся...

— Я, не зная вашей Дины, не решусь быть столь мрачным пророком, однако, по-видимому, — личность действительно темная и большого доверия не заслуживает.

— Ах, Боже мой! Как будто я рада знать ее? Я была бы очень счастлива никогда не видать ее, не пускать к себе на порог и позабыть об ее существовании. Пусть мой Петенька отпустит мне сто рублей в месяц на туалеты, и я изменяю Дине навеки: все буду закупать в магазинах. Но ведь ему это не под силу — тогда о чем же и толковать? У Дины я имею

за тридцать, за сорок рублей вещи, за которые в Гостином надо отдать сто, полтораста, а уж про Морскую я не решаюсь и мечтать...

— А вы не находите, что сто рублей в месяц на туалет — это немножко чересчур широкая роскошь, при пятитысячном годовом доходе?

— Очень нахожу,— серьезно возразила она,— но что же делать? Моды растут в цене с года в год. А Петербург — точно с ума сошел, с года на год надо одеваться все роскошнее, все дороже. Дешевле, чем я вам сказала, трудно одеться не только хорошо,— где уж нам!— но просто хоть сколько-нибудь прилично, по нынешним диким требованиям. А то хоть не выезжай вовсе, сиди дома: хуже других не радость быть... Да и супруг первый же начнет воркотню: «Что это ты, матушка? На что похожа? Всякую женственность утратила, даже собою заняться лень, одеться хорошо не умеешь. Клеопатра Львовна, Нонна Сергеевна — словно картинки, а ты, рядом с ними, допотопная какая-то, точно горничная в старом платье, подаренном барынею... Еще люди дурно подумают,— станут говорить, что я скуп, мало выдаю тебе на туалеты...» Так вот и понимайте: надо, чтобы и одета была по последней картинке и чтобы за грош пятаков наменять... Голь на выдумки хитра: умудряемся кой-как, при помощи Дины. А вы, господа, видя, что она вечно при нас вертится, да деньги мы ей платим, да в долгу мы у нее все, как в шелку, воображаете, будто она наша грабительница и соблазнительница, женский Мефистофель какой-то... И уж если бы вы знали, сколько неприятностей переносит она от вашего брата! И — каких! Подумать страшно.

— Неужели даже до «бокса»?— пошутил я, все держа в памяти бесфамильного, как Дина, Ивана Антоновича Расплюева.

Но дама пресерьезно мне возразила:

— А вы думаете, нет? Очень просто!...

* * *

Случай вскоре доставил мне знакомство с Диной-контрабандисткою и вместе с тем убедил меня, что действительно не легка ее жизнь от нашего брата, мужчины. Как-то раз, поздно ночью, возвращаясь из театра, я заметил у ворот нашего дома беспомощно ковыляющую женскую фиругу: не то

больная, не то очень пьяная... судя по поступи с наклоном не в «правую-левую», а все вперед, к земле,— скорее больная. Я прибавил шагу и догнал: Дина-контрабандистка!.. Но — в каком виде! Волосы сбились на лоб, лицо, при свете фонаря, белое, как плат, щека вздутая, под глазом не то синяк, не то царапина: именно уж — Расплюев в юбке после трепки...

— Виноват,— решился я сам заговорить с нею,— вы, кажется, нездоровы. Не помочь ли вам?

Она взглянула на меня с диким видом, потом, узнав меня, закивала головою и зашептала:

— Ах, пожалуйста, будьте так добры... Мне очень трудно идти... Я упала, разбилась... Дворника звонить не хочется... Люди грубые, я в таком безобразии... Бог знает что могут подумать...

Я помог Дине подняться на лестницу, в четвертый этаж. Должно быть, нога у нее была очень ушиблена, потому что она, бедняга, даже зубами скрипела, переступая со ступеньки на ступеньку. На звонок наш выбежали Динины барышни и, увидав хозяйку дома своего в столь беспомощном состоянии, конечно, пришли в ужас. Поднялся крик, визг, охи, ахи. Дина же, едва ввалилась в переднюю, беспомощно опустилась на стул под зеркалом и взвыла истошным голосом:

— Динку били! Ой-ой-ой! Динку били — ой, как били!— воскликнула она, не стесняясь моим присутствием и, по-видимому, даже позабыв, что я, чужой человек, стою в дверях.

Стон и рыдания барышень удвоились. Я поторопился уйти и, спускаясь по лестнице, позвонил мимоходом к знакомому доктору:

— Зайдите в квартиру № 11, там хозяйка больна.

Он засмеялся.

— Опять избили небось?

— А разве уже бывало?

— Это, на моей практике, уже в четвертый раз.

— Так что вы в некотором роде, выходит, состоите при этой квартире постоянным побойным врачом?

— Да... Что-то вроде чего-то...

Дней пять спустя Дина явилась благодарить меня. Она слегка прихрамывала, но синяк под глазом был тщательно затерт белилами и пудрою. Разговорились. Дина оказалась крещеною еврейкою, но столь удивительно обрусевшею, что если бы не восточный облик, то и не догадаться об ее семитическом происхождении: так чист был ее акцент, так истинно

русски обороты речи. Она говорила, как типичная петербургская мещанка или мелкая торговка. При всей странности ее промысла и образа жизни, Дине нельзя было отказать в симпатичности и даже в привлекательности: глаза умные, мягкие очертания рта говорят о доброте и кротком, податливом характере. Смолоду, должно быть, была совсем красавица.

История ее увечий оказалась такова. Некий бравый экс-вивер, некогда изгнанный товарищами из полка за чересчур постоянное счастье в штоссе и макао, застал Дину с товаром у своей содержанки.

— Черт его нанес. Мы думали — он в театре, оттуда в клуб поедет. Ан — тут как тут, словно домовой или зловредный привидений...

Сперва экс-вивер Дину ругательски обругал, потом стал гнать из квартиры.

— Позвольте,— говорит Дина,— что же вы мне кулаки под нос суете? Я сама уйду... Только дайте мне собрать мои вещи...

— Нет тут никаких твоих вещей!..

— А это вот?

— Мое благоприобретенное!

— А если берете, то заплатите деньги...

— Вон!

— Как — вон? Мой товар... мои деньги...

— Твой товар? Товар твой? А вот я отправлю тебя в полицию вместе с твоим товаром, там посмотрят — какой у тебя товар.

— Помилуйте,— возражает Дина,— как вы можете такое говорить? Кажется, я служу барыне не в первый раз, достаточно она переносила моих вещей.

А она, клиентка-то моя любезная, слыша эти слова, чем бы меня поддержать, вдруг вся всполошилась и, покрасневши, говорит:

— Нет, уж пожалуйста! Это зачем же? Вы на меня, сделайте одолжение, ничего не взводите. Никаких товаров я у вас до сегодня никогда не брала и вас в глаза не знаю, не видала — кто вы такая, ведать не ведаю...

— Позвольте,— говорю,— сударыня милая! Коль скоро вы меня не знаете, то каким же способом — объясните — очутилась я у вас в ночное время на квартире?

— А это вас спросить надо...

А горничная ейная,— красивая такая, здоровая девка, шельма на вид — сразу понимай: из той же компании,— тем временем мимо нас шнырит да шнырит... Я гляжу: чего она шнырит?— глядь, а узла-то моего уже нет... Мигнуть не успела, как она, горничная то есть, его в спальню спроворила. Тут я поняла: «Угодники, у них подстроено! Сговорились, подлецы, все трое меня в ловушку поймать!. Попала я на добрых плутов! Ну, дело бывалое: стало быть, пропадай все, унести бы только ноги».

А тот знай орет:

— Вон! Вон! Вон!

— Да иду, батюшка, иду. Что вы надсажаетесь? Сама минуты не останусь в вашем вертепе.

— Вон! В полицию!

И — между прочим — обращается к горничной, к шельме своей:

— Маша, идите за дворником...

Тут я не стерпела. Очень уж обидно показалось. Как? Меня же обдули, как липку, да меня же к дворникам в лапы?

— Нечего, говорю, меня дворниками пугать: сама ушла,— не впервой грабеж-то терпеть. Возьмите себе кровные мои денежки на могилу, крест да саван. Не господа вы, а шувалики,— говорю. Воры, мазура несчастная,— говорю.

Сама, как услыхала мою аттестацию, взвизгнула, да в обморок, на диван. Горничная — ученая каналья — из спальни выбегает, кричит:

— Ах, какие несносные оскорбления! Беспременно эту негодяйку надо в участок отправить. Я свидетельница.

Но барину, как он ни лют, в участок вести меня неохота.

— Мы, говорит, и без участка обойдемся, своим судом. Маша, приведите барыню в чувство — стакан холодной воды барыне. А эту голубушку я провожу по-свойски...

Да — кулачищем меня в подглазье раз, два, три... Кулачище огромнейший, пудовик... Света невзвидела... Слышу: повернул, в шею толкает через все комнаты, злодей, за плечи ухватил сзаду — одною рукою ведет, а другою кулачищем по затылку наяривает... Довел до черной лестницы, да — как вдарит!.. Так я с поворота на поворот, из этажа в этаж, до самого двора и докувыркалась.

— Черт знает что такое!— возмутился я.— Жаловались вы на этого господина?

Дина потупилась.

— Нет. Как же я могу жаловаться? Пойдут суды, полиция... Мне, знаете, оно — дело неподходящее. Да. И еще от прежних покупок за ней должишко был, рублей до двухсот. Теперь, конечно, тоже пиши пропало...

— Разве у вас нет на нее документа?

— Нет.

— Как же вы так?

Дина улыбалась:

— А на что документ? Что он мне, поможет? Документы хороши, когда в торговле все чисто, а мое дело особое, деликатное. Оно все на взаимном доверии живет. Которая дама доверие к себе внушает, зачем мне с нее документ брать? Сама заплатит, когда деньгами раздобудется, без документа. И прибавит еще, хорошее вознаграждение подарит за долгое подождание. А у которой характер подлый, обманный, и никакой совести в ней нет, той я и с документом ничего не поверю. Потому что много ли я остаюсь, при всем моей документе, «галантированная»? Которая несовершеннолетняя, которой муж долги не платит, которая под чужой фамилией живет, до которой ежели долг по закону получать, то и рукою ее не достанешь. Бывает и так, господин, что иной задолжалой сама лучше, какой она хочет, документ рада выдать, только — отвяжись, не губи, не стращай... Была у меня одна: муж видное место имеет. Задолжала она мне до двух тысяч рублей. Намекаю: «Анна Прохоровна, нельзя ли получить деньжонок?..» — «Ах, Дина, я без гроша. Да разве ты мне не веришь? Беспокоишься? Ты не бойся. Ну, хочешь?— я тебе вексель выдам...» Была дура, согласилась: «Пожалуйте хоть вексель». Проходит срок. Не платит. Переписали. Опять не платит. Опять переписали. И так-то раз пять или шесть. А мне не векселя нужны, у самой денег нет ни копейки для оборота. Афера тут у меня одна сорвалась да кое-кому нужно было сунуть барашка в бумажке, колесца смазать... Говорю: «Как, Анна Прохоровна, хотите, а пожалуйте денежки, а то я документ протестую и до суда пойду...» Принялась она меня тут тоже срамить, ругать: и воровка-то я, и контрабандистка-то, и в тюрьму-то меня, и в Сибирь... Однако я выдержала характер, настояла на своем. Уж не знаю, из каких сумм-доходов она извернулась, но заплатила... А дней этак шесть, семь спустя вбегает ко мне знакомый сыщик...

— Динка,— говорит,— ты того: остерегайся. Коли что плохо лежит, припрячь. На тебя у-у-ух какой доносище был, и велено за тобою следить в оба... В большое тебя подозрение одна барыня поставила...

— Кто такая, голубчик? Разузнай — хорошо заплачу.

— Такая-то...

Смекаю: Анны Прохоровны этой самой троюродная сестра... Вон оно, откуда ветер-то дует... Нет уж, ну их к дьяволу, документщиц этих... Тогда на две тысячи векселишко заплатила — да и то бумажонками какими-то завалящими, рублей полтораста потеряла я на одном промене — а торговли испортила на десять тысяч...

— Мудреная у вас коммерция, Дина!

— Что ж? Какое кому дело дано, что кто умеет оправдать.

— И часто вас надувают в платежах таким образом?

— Да считайте, что из десяти клиентов три не платят.

— Однако! И все-таки выгодно торговать?

Дина уклончиво улыбнулась:

— Живу.

— Имеются у вас конкурентки? Много таких промышленниц в Петербурге?

— Да, есть... Порядочно много... Эльза Чухонка, Берта Егоровна, мадам Юдифь, Ольга Кривая...

— И все имеют свою булку с маслом?

— Не жалуются. Я-то, конечно, не чета им, в первый номер иду, в большие дома вхожа, репутацию имею. Но некоторые — вот мадам Юдифь, например,— даже больше меня зарабатывают. Ну, только это потому, что их коммерция нечистая, приторговывают...

— То есть?

— Мой товар модный и галантерейный, а они и от живого товара не прочь. Свидания устраивают, сводничают. Юдифь — та прямо эту специальность имеет. Конечно, дело выгодно. Как не выгодно? Но это — кому в охоту, и совести если нет. Я вот не могу. Доходно, а руки не поднимаются. Видно, дурна ли я, хороша ли, а совести, кому она от рождения дана, не изживешь... Вон Ольга Кривая и краденое покупает, с воришками знается... Еще выгоднее. Стыдно, не умею... Помилуйте! У меня племянницы взрослые, с образованием девушки. Очень хорошие, честные, порядочные... Даю вам благородное слово...

Дина задумалась...

— Вообще, хотелось бы кончить все это. Пора. Двадцать лет бьюсь, как пан Марек мычется по пеклу. Шутка сказать: мне пятьдесят лет, я старуха, мне бы внучат качать, чтобы бабушкою меня звали, а вот она — жизнь-то моя, покой мой...— Дина выразительно поднесла руку к замалеванному синяку:— Только и заслужила.

— Да, завидовать нечему...

— А если бы вы знали, сколько других беспокойств! Дина даже рукою махнула.— Всякий-то норовит отщипнуть у тебя кусок себе; со всяким-то делись, от всякого-то бойся доноса. Получишь дорогой, фартовый товар — думаешь: вот наживу сто на сто. Куда там!.. Не тут-то было! Как начнут рвать направо, налево подлипалы всякие — благодари Бога, если останется в твою пользу двадцать процентов: остальное — так вот все, само, в руках твоих зримо и растает... Не будь у меня племянниц бедных, давно бы бросила. Племянницам хочется хорошее приданое дать... Вот нет ли у вас женишка?— засмеялась она.

Я ответил ей в тон:

— Как не быть? У вас товар, у нас купец. Охотников взять красивую невесту с деньгами в Петербурге сколько угодно. По многу ли сулите?

— Да уж куда ни шло, по большой красненькой на каждую расшибусь.

— По десяти тысяч? Ого!

— А для хорошего человека, если с ручательством, что верный — не обидчик, пить не станет и девку не заведет, можно и прибавить...

— Дина, да ведь у вас их с руками оторвут: по нынешним временам, ваши племянницы — клад...

— Да уж я, что касательно домашнего интереса, люблю так, чтобы все было по-хорошему... Да... Награжу всех, выдам, устрою — и забастую. Мне, старухе, много не надо. Сохраню себе малый кусок. Авось буду сыта.

— По монастырям, поди, станете ездить? Грехи замаливать?

Дина сжала губы:

— Не очень-то я, знаете... Не охотница... Нет, просто на покой хочу... Ну, буду у племянниц гостить, от одной к другой ездить... Ничего, они у меня добрые, любят меня, не поскучают...

* * *

Дина — контрабандистка настоящая. Но огромный спрос на всякого рода запретный товар породил в Петербурге особые промыслы контрабанды мнимой, притворной: таков уж наш цивилизованный век, что даже контрабанда — и та стала жертвою фальсификации.

Обедая у иных петербуржцев, вы часто замечаете на столе бутылки со странными ярлыками, непохожими на этикеты обычно ходовых фирм. Содержимое бутылок иногда оказывается никуда не годным месивом, а то вдруг случайно выпадает — нектар. В последнем случае вы, конечно, интересуетесь:

— Где вы достаете такую прелесть?

Хозяева улыбаются таинственно:

— Это секрет.

В настоящее время — уже секрет полишинеля, потому что он неоднократно обнаружен, уличен, выведен на свежую воду и даже, кажется, побывал под судом.

К вам является неопределенное существо женского пола, полудама, полубаба.

— Что вам?

Существо оглядывается с видом заговорщицы.

— Дельце к вам... В особенную поговорить хотелось бы...

— Лиза, выйдите... Ну-с?

— Наслышаны мы, что у вас бывает много гостей.

— Случается... Так что же?

— Стало быть, вина у вас много идет... В магазинах берете? Дорого оно в магазинах-то. Да и нехорошее. Чистого вина нонче днем с огнем не найдешь в магазинах. Либо надо платить бешеные деньги...

— Совершенно верно. Дальше?

— Хочу вам предложить, не пожелаете ли, чтобы я вам поставляла вина? Самых высших сортов, за чистоту и качество ручаюсь,— если не понравится, хоть и денег не платите.

— А как дороги?

— По рублю бутылка огулом.

— Какие марки?

Баба-дама называет очень высокие заграничные вина: шамбертен, мутон-ротшильд...

— Ну, голубушка,— рекомендуете вы ей,— проваливайте, откуда пришли, и благодарите Бога, что я не зову полицию. По рублю за бутылку продавать мутон-ротшильд в состоянии только вор: очевидно, вина ваши краденые.

Баба-дама, ничуть не смутясь, возражает:

— Никак нет. Как можно, чтобы краденые! Мы только что без патента торгуем, а на каждую партию, которую будем доставлять, мы в полном своем праве.

— Как же так? Откуда вам достаются дорогие вина дешевле, чем они продаются на месте?

— А это вина, которые остаются из погребного отпуска на придворные обеды. Которые бутылки не поступают на столы, то экономия уже не возвращается обратно в погреба, но остается в подарок прислуге. Официанты делят вино между собою, а я у них скупаю и перепродаю. Вот-с и весь секрет, какое наше винцо выходит. И, стало быть, ничего в нем запретного нет, и совсем незачем вам беспокоить полицию.

— Если так...

Вы заинтересованы.

— Хорошо. Принесите на пробу несколько бутылок.

Вино действительно превосходное.

— Благодетельница, волоките еще.

— С удовольствием. Но только извините, могу доставить лишь большою партией. Бутылок этак в двести, не меньше.

— Ой, куда мне?

— Сударь, сами изволите рассуждать: по рублю за бутылку беру. По мелочам продавать — не стоит и мараться. На извозчиков, почитай, столько же проездишь, да на машину, ведь мы петергофские. А у вас винцо разойдется. Чего в доме не выпьют, с великою радостью разберут знакомые.

— И то правда. Хорошо. Доставьте двести бутылок.

Двести бутылок принесены. Они совершенно той же формы и с теми же этикетами, что пробные. Деньги заплачены. Продавщица исчезла. Вы хвалитесь приятелю:

— Вот попотчую тебя винцом. Слово даю: такого ты еще и не пробовал.

Приятель пьет и делает страшную гримасу.

— Бррр... Уж именно, что еще не пробовал!.. Кто тебя наградил этою бурдою?

Пьете. Ужас, что такое: и сусло, и уксус, и сивуха.

— Должно быть, испорченная бутылка, плохая пробка... Откроем другую.

Напрасно. Можете откупоривать вторую, третью, пятую, десятую, сотую! все будет — скандал, фуксин, жженый сахар, слегка заправленные плохим лафитом или кагором для запаха. Месиво, гнуснейшее и на вкус, и весьма мрачное желудочными последствиями. По крайней мере, один небезызвестный журналист, рискнув, по ненасытности утробы своей, опорожнить бутылку такого «вина», едва не отдал Богу душу.

Ясно, конечно, что вино это никогда не видало не только дворцовых погребов, но даже обыкновенных купеческих подвалов.

Мошенничество это рассчитано на, так сказать, «психологию молвы». Легенда об остающихся после придворных парадных обедов драгоценных винах действительно существует в Петербурге, и, кажется, вина действительно дарятся прислуге, и та действительно продает их в свою пользу, но... конечно, не по рублю за бутылку и не в частные руки, а крупным виноторговческим фирмам, дающим очень хорошие цены и являющимся постоянными, многолетними, систематическими покупателями. Они приобретают товар, а вы легенду о товаре и карикатуру на товар.

— Ну, а первое-то вино?

Кусок сала, положенный в мышеловку, чтобы заманить мышь. Три-четыре бутылки хорошего вина приобретаются промышленницею рублей за двенадцать. Остальные расходы производства: рублей на пять бурды для наполнения бутылок да около восьми копеек с бутылки за посуду со всею укупоркою. Следовательно, рублей за двадцать пять приготовляется вся, приобретаемая вами, партия. Вы платите двести рублей. Барыш — сто семьдесят пять. Кажется, недурно?

— Но, — скажет читатель, — принимая вино, вы можете попробовать его вторично?

А на сей случай, в корзине или подвешенные под юбками продавщицы, имеются в запасе две-три бутылки хорошего вина, которые и будут ловко подсунуты вам, как вторичная проба. Вы платите такой хороший процент, что продавщице не жаль угостить вас на прощанье винцом порядочным. А затем для нее главное — поскорее выбраться из вашей квартиры и, по возможности, не повстречаться потом с вами на улице. А впрочем, если повстречается, то — что за беда?

— Какую ты мне бурду продала, чертова кукла?

— Окреститесь, батюшка! Никогда я вам ничего не продавала, впервой вас в глаза вижу... А за чертову куклу ответите... Не в бессудной стране живем... Господа прохожие! Господин городовой! Будьте добры прислушаться!

На заре

Дарья Ивановна Кирибеева не спит, хотя уже далеко за полночь, и в открытые окна давно дышит прохладой и сыростью предрассветный ветерок, свежими, бодрящими струями наплывая в темную, душную ночь с большой горной реки, с шумом и грохотом держащей через город свой путь к морю. Господствующие над городом горы чуть видны во мраке, но на востоке их линия выступает яснее, и небо над нею подернуто мутными, белесоватыми полосами, предвестниками близкой зари, так хорошо знакомыми Дарье Ивановне. Она уже забыла, когда спала ночи. Уложив с вечера детей в постели и сама прикорнув возле них, она дремлет час-другой — чутко вздрагивая от малейшего шороха в доме, постоянно готовая открыть глаза. Едва сон становится крепче, Дарью Ивановну начинает душить кошмар,— она просыпается под впечатлением какого-нибудь страшного видения, в холодном поту, с усиленно бьющимся от испуга сердцем, и уже не в состоянии вторично сомкнуть ресницы. Она встает с постели, уходит из детской, зажигает в гостиной свечи и до зари бродит, как привидение, по своей маленькой квартире, волоча за собой концы длинной, накинутой на голые плечи шали и шлепая надетыми на босую ногу туфлями без задков... Подойдет к фотографиям, развешанным в гостиной, над диваном, пересмотрит в тысячный раз их знакомые лица; развернет по-

павшуюся под руки книгу, прочтет три строки, зевнет и бросит; усядется писать письма, начнет «милостивый государь» или «многоуважаемая», задумается и оставит перо; заглянет в буфет, машинально возьмет и съест что-нибудь оставшееся от ужина; найдет карты — пасьянс раскладывает... Скучно, нет мочи ни спать, ни работать, ни развлечь себя; лицо горит; в голове пустота — вместо мыслей какая-то стукотня в виски, досадная, утомительная, бестолковая. Ночь надоедает страшно, уличный мрак, глядясь в окна, пугает воображение, вгоняет в тоску. Дарья Ивановна ждет не дождется, пока над черным силуэтом далекого крутого холма не покажется сперва слабо мерцающее сияние, а потом не выступит громадная светло-зеленая звезда: это Венера; вышла она — значит, скоро и утро.

К бессоннице Дарьи Ивановны домашние относятся довольно невнимательно: привыкли,— история тянется пятый год. Прежде ее жалели, беспокоились о ней, теперь перестали. Что ж? ведь она, в сущности, всем здоровая женщина, полная, крепкая, от бессонницы не изводится и не худеет, деньденьской шьет, учит младших детишек, распоряжается по хозяйству и, на взгляд, не особенно устает к вечеру. Правда, цвет лица у нее в последнее время стал каким-то бурым, землистым, и уж слишком много морщинок побежало от глаз к вискам и на щеки; но, с другой стороны, нельзя же век цвести розою. Дарье Ивановне тридцать шесть лет, у нее семеро ребят!.. Все в доме, кому надо рано вставать, поручают будить их Дарье Ивановне. В шесть часов она стучит в дверь каморки, где спит ее старший сын, восьмиклассник гимназист:

— Сережа! вставай!

Через полчаса Сережа приходит в столовую, умытый, одетый, но заспанный, зевая во весь рот.

— Ты, мамаша, опять не спала?— всегда спрашивает он с равнодушным удивлением, так только — для приличия, ради соблюдения формы.

— Нет... Когда же я сплю?

— Черт знает что такое!.. Ты бы хоть к доктору сходила, что ли...

— Не помогают мне доктора... Вон хлоралгидрат глотаю,— никакой пользы... Не опиум же принимать!

— Все-таки следует посоветоваться. Нельзя же так: ты посмотри, какие у тебя глаза.

Глаза у Дарьи Ивановны по утрам действительно бывают очень нехороши, и она не любит видеть себя в зеркале после бессонницы. Не потому, чтоб она находила себя некрасивой: об этом она, пять лет вдова, стареющаяся, увядшая женщина, трудящаяся мать разоренного семейства, не имеет ни охоты, ни времени думать. Но ей всякий раз кажется, будто в стекле отражается не ее лицо, а чье-то чужое, странное, нервное, с затаенным раздражением в каждой черточке и с чем-то тупым и неприятным в расширенных зрачках усталых глаз. Дарье Ивановне представляется в такие минуты, что она похожа на сумасшедшую,— помешательста же она боится больше всего на свете с тех пор, как оно предсказано ей одним знаменитым медиком.

Глядя на светлеющий восток, Дарья Ивановна вспомнила, что младшие дочки — семилетняя Соня и шестилетняя Лиза — умоляли ее вечером поднять их на заре. Зачем бишь? Да!.. Русачка-няня уверила девочек, будто завтра солнышко весну-красну встречает и с радости играет на восходе разными цветами. Детям захотелось посмотреть, как это бывает. Дарья Ивановна усмехнулась. Она сама когда-то, живучи на своем глухом черниговском хуторе, из года в год собиралась наблюдать эту сказочную игру солнца и всякий раз просыпала зарю. Но однажды — уже не ребенком, а восемнадцатилетней красивой девушкой — она встала вовремя, на рассвете: в ставни ее спальни сильно постучали, и, преодолев сон, она наскоро оделась, как попало, и выбежала на крыльцо, дрожа от утреннего холода и вся горя счастливым, молодым румянцем. На крыльце ее ожидал молодой сосед, техник с ближнего рафинадного завода. Он был в кожаной морской куртке и высоких сапогах; с его картуза стекали дождевые капли.

— Эка погодка-то!..— встретил он Дарью Ивановну.— И дождь, и снег... и черт, и дьявол! Небо серое — хоть солдатам на шинели его перекроить... Солнышко нынче надуло нас с вами основательно.

— Ничего!— весело ответила Дарья Ивановна, садясь на перила крыльца,— тучи еще могут разойтись.

— Блажен, кто верует. А я думал, что вы, услыхав, что дождь барабанит по крыше, и встать не захотите.

— Вот хорошо!.. Как же это, если я дала вам слово вчера вечером? Я никогда не лгу... Ну, пока солнце не показалось, извольте говорить что-нибудь, развлекайте меня, занимайте!

— Хорошо-с. Только... Вот мы с вами сейчас одни — так я воспользуюсь случаем и лучше, чем переливать из пустого в порожнее, скажу вам серьезное слово. Вы, Даня, знаете, что я вас люблю?

Дарья Ивановна испуганно взглянула на него, потом потупилась:

— Знаю,— робко сказала она наконец.

— А... а замуж за меня пойдете?

— Пойду,— послышался тихий ответ, после еще длиннейшей паузы.

Молодой человек радостно вскрикнул, схватил девушку в объятия, поднял на свою широкую грудь и начал целовать. У нее дух захватило, ей было и стыдно, и хорошо, а счастья так много нахлынуло в душу, что оно и улыбкой засияло на покрасневшем, как мак, лице, и слезами излилось из умиленных глаз. Началась та быстрая и живая болтовня — такая глупая и пустая для постороннего уха, такая многозначительная для самих влюбленных,— на которую способны только очень молодые люди с сильным, свежим, искренним и откровенным чувством. Дождь перестал. Но тучи по-прежнему висели на небе, хотя кое-где между переливами их темно-серого фона проступили румяные пятна — отблески пылавшей под облачным покровом невидимки-зари.

— Вот и напрасно ты говорил, что солнце не будет играть!— говорила Дарья Ивановна своему жениху.— Видишь, какая прелесть? видишь? Я такого чудного утра не запомню! Посмотри, что делается на небе: вон там, на облаке словно красный зверь какой-нибудь протянул лапы, там совсем Аравия вышла, будто ее с карты сняли... Ах, как хорошо! красиво! весело!

Жених любовался ею.

— Это, Даня, не солнце играет...— улыбаясь, заметил он.— Это, фантазерка ты моя, в нас с тобой разгулялась молодая жизнь, любовь, наше счастье: оттого так и хорошо, и красиво, и весело.

Но она зажала ему рот рукою.

— Неправда! Солнце, солнце, солнце!..— со смехом твердила она.

Дарья Ивановна вздохнула... Как, однако, давно это было и как много воды утекло с того счастливого утра! Словно весь мир переменился: другой край, другие люди кругом, другие обстоятельства переживаются... И она совсем другая...

Дарья Ивановна равнодушно посмотрела на свою увядшую грудь, на потемневшие плечи: где та Даня, хорошенькая, свежая, беззаботная, которую за смех и песни все знакомые звали «попрыгуньей-стрекозой»?..

> Оглянуться не успела,
> Как зима катит в глаза!—

с горькой улыбкой подумала Дарья Ивановна. Ах, как резко и рано изменила ей жизнь и обратила ее в нуль! Ни молодости, ни здоровья, ни денег... Любовь была,— муж уже вот пять лет лежит в могиле там, возле белой церкви, на высокой длинной горе, похожей на тушу допотопного чудовища, которому поручено охранять своей богатырскою мощью сокровища расположенного у ног его города. С того-то времени и начались для Дарьи Ивановны эти бессонные ночи, эта жизнь ночного привидения; тогда-то и появился у нее загадочный притупленный взгляд, полный угрозою близкого безумия. А ведь странно, когда муж умер, Дарья Ивановна не казалась слишком пораженною,— довольно спокойно распоряжалась похоронами, почти не плакала и не то чтобы сдерживалась,— нет, просто не хотела плакать; только голова у нее все время некрасиво тряслась, и отчего-то холодно ей было, несмотря на жаркую пору; и ее сильно смущало и раздражало, что она не в силах ни согреться, ни остановить этого непроизвольного дрожания головы. Впоследствии Дарья Ивановна не слишком часто вспоминала покойного мужа так, чтобы сосредоточить на его памяти все свои мысли; но ей не раз казалось, что со времени его смерти она чуть ли не совсем потеряла способность внимательно думать, подолгу останавливаться на одном и том же предмете и очень плохо запоминает текущую жизнь. Все по-видимому идет в порядке. Дарья Ивановна — и мать образцовая, и хозяйка отличная, и женщина честная; семья ее растет, развивается, кругом ключом кипит детский юный быт; но ей как-то безынтересно все это: она и обязанности свои выполняет, и в семейных радостях и волнениях участвует поверхностно, по привычке, машинально и потому лишь, что так надо,— втайне ко всему равнодушная, почти холодная.

— Мертвая среди живых!..— сказала про себя Дарья Ивановна, покачала головой и, слабо махнув рукой, села на подоконник. Утро вставало великолепное. Небо позеленело, светлое и прозрачное, как аквамарин. За хребтом высокой

восточной горы, откуда надо было ждать солнца, висело сизое облако, и на его поле ярко обозначились пять расходящихся толстых полос белого света — точно спицы колес в повозке Гелиоса, готового помчать в мировое пространство своих огнедышащих коней. Разбуженные светом, мелкие тучки сорвались с уступов, дававших им ночной приют, и, то румяные, то золотые, быстро поплыли вразброд над долиною, где еще царили длинные черные тени, властно покрывая сонный город и мутную, строптивую реку. Но вот косой луч ударил откуда-то в высокую жестяную крышу большой церкви, разбился на ней в миллионы искр и, гигантским зайчиком перепрыгнув через широкую, обсаженную деревьями улицу, заиграл на окнах противоположных зданий. За этим лучом, как за первым солдатом, ворвавшимся в неприятельскую крепость, посыпались в город другие лучи, улицы переполнились блеском выкатившегося на гору солнца и стали просыпаться, под веселый птичий крик.

Дарья Ивановна смотрела на сияющее утро, дышала его воздухом, но как будто не видала его, не замечала, что творится в природе. Ей было не до утра и не до торжествующего солнца: мысль ее ушла в далекое прошлое и утонула в нем...

За дверью послышался топот детских ножек, и в комнату вбежали Соня и Лиза — босые, в одних рубашонках, с нерасчесанными головками. Они протирали кулачками слипающиеся глаза.

— Что ж это, мамочка?!— чуть не плача, лепетали они,— мы проспали... Зачем же ты не разбудила нас смотреть, как солнышко играет? Мы так тебя просили... Какая ты недобрая!

Дарья Ивановна посмотрела на них с недоумением, словно тоже спросонья:

— Ах, да... солнышко!— тихо сказала она с жалкой улыбкой,— оно не играло сегодня, дети... Да, кажется, и никогда уж больше не будет играть!

И, не слушая детской жалобной воркотни, понуро и медленно побрела в кухню сказать кухарке, чтобы та поскорее ставила самовар.

Мечта

Житейская сказка

(Посвящ. графу Льву Николаевичу Толстому)

Конка медленно двигалась в гору по захолустной окраинной улице. Мы с приятелем, художником Краснецовым, ехали в Богородское убивать наступающий летний вечер. Вдруг Краснецов воззрился и поспешно снял цилиндр.

— Смотри-ка, смотри! — сказал он, показывая глазами на бедно одетую, простую женщину, которую обгонял вагон.

Двое малюток, мальчик и девочка, лет четырех-пяти, держались за ее платье; на левой руке она несла грудного ребенка, а правою придерживала переброшенный за спину узел. Заметно было, что она опять на сносях.

— Кто это? — спросил я несколько изумленный знакомством Краснецова.

Краснецов отвечал мне слегка взволнованным голосом:

— Это — Мечта.

— Мечта?.. какая Мечта?

— Моя Мечта... за которую я получил в Мюнхене премию... Я ее лепил с этой женщины...

Я обернулся, чтобы разглядеть Мечту. Этим барельефом Краснецов лет двадцать тому назад положил начало своей славе. Я хорошо знал и любил прелестную головку «Мечты». Решительно ничто не напомнило мне ее черт в желтолицей, худощавой бабе, которая понуро плелась позади нас со своею детворой, согбенная под узлом, тяжело раска-

чивая животом. На мой недоумелый взгляд Краснецов ответил горькою улыбкой:

— Что, брат, непохожа?

— Да уж так-то непохожа... И потом: значит, легенда о твоей «Мечте» — действительно только легенда?

— А что она гласит?

— Будто ты вылепил «Мечту» с какой-то московской красавицы, умницы и богачки баснословной...

— Ну да: с Софии Артамоновны Следловской. Это она и есть.

— Эта?!

Я опять обернулся, но конка, взяв подъемом, пошла быстрее, и баба с узлом осталась далеко назади... Краснецов задумчиво говорил:

— Помню зал дворянского собрания, мраморный, белый, блестящий... люстры огромные и отражаются в колоннах... бездна света... толпа... Рябов с оркестром на красной эстраде... Целый вихрь звуков и красок: это — вальс... И она промчалась мимо меня; ее головка почти лежала на плече какого-то офицера, и я — помню — благодарил его мысленно за то, что его темный мундир дал такой хороший фон ее профилю... На ней было платье цвета чайной розы, брильянты... Оживленная такая, глаза — как искорки, румянец... А в ту пору Тургенев только что выпустил «Стихотворения в прозе...» Помнишь: «Стой! Какою я теперь тебя вижу — останься навсегда в моей памяти!.. Стой! И дай мне быть участником твоего бессмертия, урони в душу мою отблеск твоей вечности»! Тут, брат, я и задумал мою «Мечту»... а потом и сделал... Да: «Стой!.. останься навсегда»! А она, вместо того, вон как... Ах-ах-ах!..

В 1880 году Софье Артамоновне Следловской минуло восемнадцать лет. Ее только что вывезли в свет, и она заблестела в нем яркою звездочкой. Красавица собой, умненькая, образованная, веселая, как птичка, она обратила на себя внимание «всей Москвы».

Тут Краснецов слепил с Сони свою «Мечту» — и сам прославился Сонею, и Соню прославил: за нею так и осталась в обществе кличка «Мечты».

Потом «Мечта» исчезла с столичного горизонта: в глухой самарской или тамбовской деревушке у нее была бабушка,

эта бабушка смертельно заболела. Следловские ждали от нее наследства, а бабушка терпеть не могла всех Следловских, кроме внучки Сони. Следловские и отправили внучку Соню ухаживать за больною старухой и ее завещанием.

Бабушка умерла, и Соня возвратилась в Москву. Денег Следловские никаких не получили, потому что старуха завещала все свое состояние на благотворительные дела. Между прочим, получили крупные пожертвования один столичный и два провинциальных университета.

Ходил слух, будто Соня Следловская сама уговорила бабушку разорвать первое завещание, составленное в ее пользу, и заменить его тем, которое теперь осуществилось. Следловские были этим значительно обездолены, а на Соню в обществе стали смотреть как на юродивую.

Она действительно вернулась из деревни, сильно изменившись. Хороша она была по-прежнему, но былое оживление с нее сошло; она стала серьезна и задумчива; улыбалась не часто, смеяться же не смеялась никогда; ласковые синие глаза приобрели особый взгляд — важный и проницательный взгляд внутрь себя.

— Два года тому назад,— сказал ей Краснецов,— я хотел лепить с вас «Птичку Божию»; как она «гласу Бога внемлет и поет себе, поет»... Вы украли у меня модель!.. Но я вам отомщу тем, что слеплю с вас «Святую Екатерину, встречающую небесного Жениха...»

— Разве что небесного...— возразила Софья Артамоновна,— земного у меня не будет.

К весне старик Следловский расхворался, в два, три дня его свернуло: умер. Привели в порядок дела: актив оказался мизерный, а пассив — внушительный. К счастью, покойник выбрал душеприказчиком человека ловкого и преданного: он разобрался в наследстве,— по крайней мере, банкротство вышло хотя полное, но глухое, без скандала, и Соне остался небольшой капитал, тысяч в двадцать пять.

Но месяц-другой спустя после того, как все это устроилось,— пришли слухи о новых чудачествах Софьи Артамоновны: она обратила в деньги все свои вещи, даже платья и книги, и платила мелкие долги покойного отца... Из капитала уцелела едва пятая часть. Душеприказчик пришел в ужас и отнял у Сони остальные пять тысяч, кроме расходных. Затем Соня очутилась в глухой провинции, на хуторе у своей дальней родственницы,— небогатой старушки,

весьма кроткой сердцем и весьма недалекой умом, из которого она, как сама рекомендовалась, уже выживала «по вдовьему своему положению». Душеприказчик Следловского поместил Сонины деньги в какое-то дело и выплачивал ей каждый месяц сорок рублей. Жить бы можно, но Соня навязала себе на шею нужды и болезни всей деревенской округи. Здесь учила, там лечила, утешала; обучилась хозяйничать — править всякую черную работу...

— При такой любви к бедным людям,— сказал ей местный священник,— вам бы следовало пойти в учительницы или фельдшерицы.

— К сожалению, батюшка, эти места все наперечет.

— Вы можете иметь протекцию: вам не откажут.

— Вы меня не поняли, я не в том смысле... Я хотела сказать, что мне пришлось бы заслонить такое место от кого-нибудь из нуждающихся более меня. У меня есть сытный кусок хлеба, а обыкновенно таких мест ищут люди, только что не умирающие от голода...

В околотке о Соне заговорили. Крестьянство видело в ней чуть не подвижницу. Становой сперва недоумевал было. Но годом позже, когда кто-то из местных охранителей намекнул, что поступки г-жи Следловской неспроста и не мешало бы полицейской власти иметь за нею глазок-смотрок, становой даже окрысился:

— А вот у нас неподалеку Пафнутий Боровский покоится. Вы бы уж заодно и к нему в раку слазили с обыском...

И лишь Соня — одна — была собою недовольна. Краснецов встретил ее на тульском вокзале: она ехала в Москву за покупками.

— Меня поразило грустное выражение ее глаз, недоумевающих, точно ждущих. Я высказал ей удивление к ее подвигу, о котором уже слышал раньше. Она покачала головою:

— Не то, все не то... разве это подвиг!

— Как же иначе-то?

Она задумалась.

— Подвиг — это если кто возьмет на себя ради других великое страдание. А мне легко. Я наслаждаюсь.

— Ну, Софья Артамоновна, это уж аскетизм...

— Я не об аскетических подвигах говорю. Страдания в миру много больше, чем в пустыне... На полу валяется;

стоит только нагнуться и подобрать... И вот на это-то надо много мужества. У меня не хватает... Вы читали «Юлиана Милостивого»?

— Знаю.

— Вот...

На хуторе она прожила около двух лет и к концу второго года совсем замолчала: одолели думы и деятельность. Ее плотно сложенные губы, неулыбающееся лицо, остановчивый, задумчивый взгляд смущали домашних: видно было, что Соня мучительною борьбою перерабатывает в себе какую-то новую мысль или затею. Однажды она уехала в Тулу к знакомым и загостилась у них на целые две недели. На хуторе начали уже тревожиться, как вдруг пришло письмо, и не из Тулы, а из Орла; Соня просила у тетки прощения, что обманула ее, и извещала, что вышла замуж. Просила также не искать ее и о ней не беспокоиться, потому что «ни брак мой, ни муж мой вам не могут быть по сердцу»... Подписала письмо: «Софья Тырина». Тревогу и недоумение тетки легко себе представить. Наведя справки у душеприказчика, она узнала только, что Соня действительно вышла замуж и вытребовала у него из своего капитала тысячу рублей, которые он и переслал ей в Орел. Остальные же четыре тысячи он, по распоряжению ее, внес — частью в университет, частью передал одному московскому священнику, известному своей благотворительной деятельностью среди чернорабочей столичной бедноты. Послушался он приказа Софьи Артамоновны потому, что в ее письме к нему были такие фразы: «Знаю, что, жалея меня и боясь моего неблагоразумия, вы, пожалуй, не захотите исполнить моего желания; поэтому особенно прошу вас не смущаться: благодаря моему браку, я в своих личных средствах более не нуждаюсь»... Какой именно Тырин женился на Софье Артамоновне, душеприказчик не знал; но есть Тырины — крупные кукольных дел мастера; вероятно, из них...

Между тем, когда известие о свадьбе Сони огласилось, в околотке заговорили чудное. А именно: будто Соня вышла замуж не за кого другого, как за Прошку Тырина, вдового медника, лядащего пьяничку из пригородной рабочей слободки, той самой, с которой, говорят, Глеб Иванович Успенский написал Растеряеву улицу.

Вот как это случилось.

Как-то раз, посещая на слободе больную старуху, Соня

услыхала отчаянные детские крики: два голоса вопили, точно с ребят заживо драли кожу.

— Что это? — с испугом спросила она.

— А это Прохор-медник опять наказывает своих девчонок.

— За что же он их наказывает?

— Есть просят, а дать нечего, — пропился, разбойник, до нагого тела... Ну, слушать-то и невтерпеж... сердце не камень... родитель тоже...

— Часто он их так?

— А день-деньской... Покуль в питейном, потуль и молчат...

— Пьет?

— Первый на это Ирод.

— Нищие?

— И креста на шее не осталось...

Соня зашла в хатенку медника и ахнула, — где и как могут жить люди. Такого убожества ей еще не случалось видеть. Девочки — одной шесть, другой пять лет — были хорошенькие, несмотря на истощение, их съедавшее, и на грязь, облегавшую их личики, тельца и лохмотья. Сам Прошка — маленький и тощий человек в немецком платье, составленном из заплат, — был бледен пьяною, серо-зеленою бледностью человека, которому водка заменяет хлеб; его избитое лицо, со шрамом над бровью, его коричневые недружелюбные глазки, полные трусливой наглости...

— Ты видел его, что так подробно описываешь, — перебил я Краснецова, — или это ради пущей трагичности?

— Видал, брат; если хочешь, и тебе покажу, порадуйся, — угрюмо проворчал художник.

Все это безобразие Соню не испугало. Она сделала Прошке выговор, а он стал оправдываться, и таково уже было обаяние этой любвеобильной девичьей души, что, неожиданно для самого себя, Прошка в первый раз вдумался, откуда берется его пьянство, и заговорил с Софьей Артамоновной горячо и искренно...

— Никакой подмоги-с! — выкликал он, — окончательно! А между тем они в два рта-с пить-есть хотят, и в омут их никак невозможно, потому — душу имею и — опять же — в Сибирь! Работы не имею... Господин урядник самовар чинить в город повезли, а мне говорят: ты, пьяница, еще в кабак снесешь, пропьешь, хотя я и начальство. И так надо прав-

ду сказать, что они в своем праве: пропью-с. Потому, сударыня, не сообразишь. Что нонче, что завтра — одна судьба. Я сам-третёй теперича живу; я и в работу, я и в пропой, а тут еще идолята... С горя пьешь, с горя бьешь... Было времечко: не хуже людей жили, сударыня, пока хозяйка не померла да этих одров мне оставила. Без бабы — как без рук, потому — разорваться мне не предвидимо никакой возможности...

Выспросив Прошку, Софья Артамоновна сделала заключение: чтобы выбиться из семейного безобразия, ему надо вторично жениться, а чтобы выбраться из нужды — начать свое рукомесло сызнова и лучше всего на новом месте, потому что в своей стороне он был уж чересчур скверно ославлен. Прошка пьяница, Прошка вор, Прошке поверить — двух дней не прожить...

Софья Артамоновна стала искать ему невесту. Напрасный труд!

Больше всего надеялась Софья Артамоновна на Марину, скотницу своей тетки, девку уже — на крестьянский взгляд — не молодую, то есть за двадцать лет, но честную, доброй души и ражую работницу. Марина обожала Софью Артамоновну и верила ей, как иконе. Однако выйти за Прошку Тырина она наотрез отказалась.

— Да и вряд ли вы такую дуру найдете, барышня,— откровенно сказала она.

— Почему?— строго спросила Соня.

— Да помилуйте... у нас невест немного... на каждую добрый жених найдется. За вдовца с детьми редкую отдадут — и за хорошего-то... А за такое стерво... Обидно даже. И пьяница, и вор, и бабник... ни одной пакости не обижает — все в себя принял...

— Он такой от несчастья, а хорошая жена несчастье с него снимет.

— А как он ее до той поры в гроб вколотит? Первую вколотил же...

— Ты не забывай: три души человеческие спасти надо. Девчонок пожалеть следует. Ведь они пропадут. Такой, как сейчас, он и себя, и их загубит. А мы, кто видел и не помог, ответ за это дадим...

Марина уж с досадою перебила:

— Да что вы, барышня, все о чужих душах?.. Ту душу

спаси, другую спаси... а мою-то, стало быть, вы уже ни во что ставите?

— Твоя душа тем и спасется, что ты спасешь три чужие души.

— Какое уж тут спасенье, коли каторга?..— И, рассердясь, отрезала вдобавок:— Хорошо вам о душе, как вы барышня, и вас это дело не касающее. А будь вы нашего звания, к примеру, скажем, хоть как я, Маришка, и я стала бы вас сватать за этакую гнусь,— то-то бы вы меня по шеям погнали... даром что сердобольница...

Мысль эта поразила Софью Артамоновну.

«В самом деле,— подумала она,— как же это я убеждаю другую поднять подвиг, который не испытан мною самой».

— Ты права,— сказала она после долгого молчания,— прости меня... это мне в голову не приходило... ты права!

Неудачные сватовства не отбили Софью Артамоновну от мысли спасать ребятишек (их ей было особенно жаль) Прошки и его самого. В эту-то именно пору и встретились мы с нею на тульском вокзале и, разговорившись, дофилософствовались до Юлиана Милостивого и его легенды... Кстати, ты-то ее помнишь?

— Разумеется, помню общие черты... Это латинский апокриф, поэтизированный Флобером и так удивительно переведенный Тургеневым...

— Да. Я, брат, выучил его потом наизусть. Не поскучай, если я повторю тебе отрывок этой легенды... с того места, как Юлиан принял у себя таинственного прокаженного, накормил его последним куском хлеба, напоил последнею кружкой вина и развел для него костер среди своего шалаша... «Прокаженный стал греться. Но, сидя на корточках, он дрожал всем телом, он, видимо, ослабевал, глаза его перестали блестеть, сукровица потекла из ран, и почти угасшим голосом он прошептал: «На твою постель!» Юлиан осторожно помог ему добраться до нее и даже накрыл его парусом своей лодки. Прокаженный стонал. Приподнятые губы выказывали ряд темных зубов; учащенный хрип потрясал его грудь, и при каждом дыхании живот его подводило до спинных позвонков. Затем он закрыл веки. «Точно лед в моих костях! Ложись возле меня!» И Юлиан, отвернув парус, лег на сухие листья рядом с ним бок о бок. Но прокаженный отвернул голову. «Разденься, дабы я почувствовал теплоту твоего тела!» Юлиан снял свою одежду, затем нагой, как

в день своего рождения, снова лег в постель и почувствовал прикосновение кожи прокаженного к бедру своему; она была холоднее змеиной кожи и шероховата, как пила. Юлиан пытался ободрить его, но тот отвечал, задыхаясь: «Ах, я умираю! Приблизься! Отогрей меня не руками, а всем существом твоим!» И когда Юлиан согревал своего страшного гостя «ртом ко рту, грудью к груди», тогда «прокаженный сжал Юлиана в своих объятьях, и глаза его вдруг засветились ярким светом звезды, волосы растянулись, как солнечные лучи, дыхание его ноздрей стало свежей и сладостней благовонья розы... крыша взвилась, звездный свод раскинулся кругом, и Юлиан поднялся в лазурь лицом к лицу с нашим Господом Иисусом Христом, уносившим его в небо».

Отчаявшись найти Тырину невесту, Соня решила изменить своему намерению — не выходить замуж — и предложила ему в жены самое себя.

Надо отдать справедливость Прошке: сколько беспутен он ни был, однако, совсем ошеломленный этим предложением, он выставил Софье Артамоновне на вид все неудобства их союза, какие мог сам сообразить.

— Я все обдумала и готова идти за вас такого, как вы есть. Только обещайте мне, что вы бросите пить, займетесь делом, перестанете мучить детей и учить их худым делам.

Прохор отвечал ей на это с прямотою:

— Что делом своим я займусь, коли меня не будут тянуть за душу долги и найдутся деньги на новое обзаведение, в том готов хоть сейчас снять образ со стены. А в остальном, барышня, не властен присягать. Потому, все, что вы говорили, во мне от водки. А совладаю ли я с водкой, того не знаю. Потому что сейчас не я над нею, подлою, но она надо мною командир.

Софье Артамоновне очень понравилось, что Тырин говорит с нею так искренно, и она тоже сказала ему с полною откровенностью:

— Ну, авось как-нибудь сладимся и уживемся. Сейчас, конечно, вы человек нестоящий, и я иду за вас замуж, коли желаете, не столько для вас самих, сколько для ваших деток. Им мать нужна, Прохор Иванович,— они у вас пропадут без материнского призора и женской руки. Такой мачехи, как я, ручаюсь, им не найти другой; я выращу их девушками честными, такими, что все будут ими любоваться.

— Да-с, девочки... это прекрасно-с... но как же я-то?

какое же промеж нас может быть супружество, ежели вы обо мне самых пропащих мыслей?

— Нет, Прохор Иванович, это вы напрасно так говорите. Если бы я считала вас пропащим, то не пошла бы за вас замуж. Я вас почитаю несчастным: так вас запутала горемычная жизнь, горькая доля, слабая воля, что одному вам не выбраться... Вы в болоте по горло... Я же надеюсь сделать из вас человека, и если дозволит Бог сбыться моим надеждам, то даст нам и привычку друг к другу, и возможное счастье. Я, Прохор Иванович, не ищу многого от жизни; и если сбудется, как я задумала, то ничего другого не пожелаю. А покуда обещаю одно: буду вам женою верною, покорною и терпеливою.

— Софья Артамоновна,— сказал Прохор,— хотя вы не имеете многих капиталов, однако приучены к хорошей жизни, а ведь ежели случится статься такому делу, чтобы нам впасть в супружество, придется вам отведать нашей грязноты и бедноты.

Соня возразила:

— Вы смущаетесь, что я барышня. Не бойтесь. Ведь это только имя, а на самом деле — какая же разница между мною и другими девушками? Я здоровая, сильная, работы не боюсь, управиться по дому — все могу и умею. А что я родилась барышней, с тем и пойду за вас, чтобы вы забыли об этом, как теперь забываю я...

Не думаю, чтобы между людьми и повыше Прошкина уровня было много способных долго выдерживать такой убежденный и настойчивый искус. Что Софья Артамоновна губит себя, конечно, понимал и Прошка. Но совесть у него была малая, а соблазн представлялся огромный. Соня приносила ему тысячу рублей и возможность обхозяиться заново. Заиграли и корыстолюбие, и самолюбие, и чувственность. Соне тогда шел двадцать третий год. Она была в полном расцвете молодости и красоты. Пока она не прочила себя в брак с Прохором, он, разумеется, и не замечал ее красоты, потому что она была — не свой человек, из чужого высшего мира. Но теперь, когда красота сама давалась в руки, у Прохора разгорелись глаза. Недаром же Марина ругала его бабником.

Они обвенчались в Орле, где и поселились, открыв лудильное и паяльное заведение. Года два тому назад я, проездом через Орел, видел старуху-дворничиху, которая при-

сутствовала при свадьбе и даже со своего двора отправила Соню к венцу. Эта благоразумная баба всячески убеждала Соню одуматься, пока не поздно, и не вступать в брак каторжный и бесполезный.

— Прошку я давно знаю,— говорила она.— Человек он спутанный. У него небось и крови-то в теле нет, а одна водка. А водка — водки же и просит. Ничего ты его не поправишь, а все, что ему принесешь, он пропьет; и придется тебе с ним мыкать довечное горе. И сам пропадет, и тебя погубит... вот какой это человек. Озверелый. Благодарности и нежности не разумеет, а изуверства — сколько хочешь. Первая жена у него сама была брех; смертным боем дрались с утра до ночи. Да и то не стерпела — надорвалась: заморил бабу, бесстыжая душа! А тебе — куда же сладить с ним, эзопом? Если уже хочешь непременно принять на себя в супружестве трудовой подвиг, так найди жениха хорошего, трезвого, работящего... а это — что?! Сказано: гнусь — человек, гнусь он и есть...

На уговоры старухи Соня не возражала, но принимала их — «что стене горох», и все твердила, что заплатит за три спасенные души удобствами и баловством (это она-то себя баловала!) своей жизни — цена недорогая; что, главное, ей бы вырастить девочек...

Старуха даже рассердилась:

— Какая тебе, мать, печаль чужих детей качать? Вот уж подлинно — «старица Софья по всему миру сохнет». Сироты, конечно, жалки; хорошо призреть сироту. Да ведь ты не в монастырь идешь, а замуж. Сама учнешь рожать — не до сирот станет. Чужую крышу не кроют, коли своя в дырах...

Соня побледнела и ничего не сказала.

Уговаривала старуха и Прохора:

— Эй, Прошка! не бери греха на душу: загубишь девку понапрасну, а себе не сыщешь ни пользы, ни радости. Неровня она тебе и не пара. Взыщется с тебя за нее.

Но он огрызнулся:

— Пустые ваши слова, тетушка, потому взыскивать с меня окончательно не за что. Я Софью Артамоновну не неволю. Мне и самому боязно, что она затеяла, но — ежели ее такое желание, чем я тому причинен? Она не маленькая, имеет свой разум, может рассудить, за кого идет и на ка-

кую жизнь. А я — дурак я, что ли, что счастье само плывет мне в руки, а я стану отказываться?

— Да какое счастье, глупый ты человек? Не будет тебе с нею счастья, не ужиться грачу с белой лебедью...

— Уж это, тетушка, как Бог даст. Я же вам скажу вот что: моя жизнь теперича такая, что, куда ты меня ни поверни, мне не может быть хуже, чем сейчас, потому — хуже уж не бывает.

В церкви, однако, Соня оплошала. Под венцом стояла белая, как мел, священнику согласие сказала — точно в подушку, никто и не слыхал, и, когда сняли венцы и священник приказал молодым поцеловаться, пошатнулась. После венчания справляли на новоселье свадебную вечеринку. Улучив минутку, старуха вызвала Соню в сени, и, пока она шептала обычные напутствия и наставления, какими награждают новобрачных посаженые матери, молодая билась у нее на плече, рыдая в истерическом припадке...

— Что я над собою сделала!.. что сделала!.. О, Боже! И вдруг все это — напрасно?!

— А я совсем потерялась. Не придумаю, что сказать, что делать. Топчусь возле нее, бормочу, что, мол, дело сделано — не разделывать стать; думала бы раньше, а снявши голову, по волосам не плачут; стерпится — слюбится... все эти наши, знаешь, бабьи присловья! А самой так на нее горько,— ну, вот точь-в-точь — когда сын в солдаты уходил...

Так кончилась жизнь Сони Следловской, потому что дальше началось уже житие.

Может быть, расчет Сони покорить Прохора своему нравственному влиянию, стать руководительницею и наставницею своей новой семьи, и удался бы. Прохор очень хорошо понимал ее превосходство и — в короткое свое жениховство — мало что совестился, даже побаивался невесты-барышни. Он сознавал, что судьба странно связывает его жизнь с существом особого, высшего порядка, с существом мудреным и хрупкиим, с которым и обращаться надо по-особенному, но как именно — он не знает: выходит, барышнино дело будет приказать и научить, а его — слушаться и делать, что велено. Следовательно, Прохор тоже шел под венец, как на послух своего рода, и — не вовсе еще пропив свое мужское самолюбие — втайне немножко смущался своею будущностью. Он размышлял: «Остепениться — что говорить? — хорошее дело: попито, погуляно, полежано на боку, нагоре-

вано и набедовано — в достаточности; пора остепениться — благо экий клад упал с неба... Только что-то сердце щемит — ровно я воли своей решаюсь... Сейчас я, хоть кабацкая затычка, живу сам себе голова; хоть жрать нечего, никому не уважаю. А барышня гнет на ту модель, чтобы меня — вроде как бы под начал. Как учнет она мною верховодить, да не стерплю я, растоскуюсь по прежней жизни...»

Будь Соня менее красива, не будь за нею тысячи рублей, Прохор, вероятно, поддался бы на старухины уговоры и сбежал бы от неравного брака, как новый Подколесин. Но пожива была слишком соблазнительна, и разыгравшиеся аппетиты заглушили в Тырине его слабые колебания...

«Эх! — решил он, — была не была! куда не вывозит кривая? Авось — Бог милостив — не вовсе взнуздает меня барышня... Да коли и взнуздает — говорю: хуже, чем сейчас мне, не может быть ни от какой перемены жизни.

Если бы Соня захотела поддержать в муже его конфуз и робость перед нею, сознание, что она, как некое полубожество, снизошла до него, чтобы его, недостойного, спасти и возвысить от образа свинского к образу человеческому, что он всегда и во всем должник жениной доброты и благодеяний, по гроб неоплатно ей обязанный, — игра ее была бы выиграна. Из Прохора мог бы выйти если не хороший муж и человек, то послушный и опасливый раб, который, в руках умной, честной и кроткой госпожи, и сам толков, трезв, честен и работящ. Но в натуре Сони не было ни капли властности. Всякое нравственное насилие претило ей, благая цель не оправдывала в ее глазах грубых средств. Она надеялась влиять на Прохора, не возвышаясь над ним, не господствуя, но мягким равенством отношений и полным к нему доверием. Доброжелавшая Соне дворничиха советовала ей придержать у себя остаток от тысячи рублей, после того, как — в виде Сонина приданого — устроилась мастерская, были куплены ремесленные права, приобретено все обзаведение для будущего домашнего хозяйства молодых.

— Пока ты с деньгами, он, пьяница, всегда будет у тебя под башмаком, — убеждала старуха.

Соне не понравился и этот совет. Она вообще не любила денег, считала их злом, и господствовать над мужем их властью показалось ей противно. Если она вверяла Прохору самое себя, какой смысл был не поверить ему и денег? разве деньги дороже самой себя? И перед тем, как отправить-

ся к венцу,— она передала жениху весь свой крошечный капитал.

Это была большая и наивная ошибка. Заполучив деньги, Прохор почувствовал себя на твердой почве и возомнил о себе чрезвычайно много. Для таких людей самостоятельность — опасное оружие. Они безобидны только, пока они под ярмом. Если они не рабы, они лезут в деспоты. Едва Сонины деньги перешли к Прохору, он заговорил и повел себя с невестою много развязнее.

Трусливое благоговение его перед Сонею значительно потускло: во-первых, главная основа благоговения, капитал, принадлежала теперь ему, а не Соне; во-вторых, Соня, на Прошкин взгляд, сделала глупость, и, стало быть, не так и мудра и властна, как он ее воображал... А в первые же дни брака Соня вторично проиграла игру — и уже окончательно и бесповоротно.

Как большинство очень чистых девушек, Соня имела явственный идеал брака, как союза духовного, но не имела никакого представления о браке, как семейном сожительстве. И когда выступила вперед эта сторона супружества, Соня потерялась и не выдержала характера,— не сумела скрыть брезгливого ужаса, физического отвращения к мужу. Прохор заметил; на отвращение он озлился, а ужасом воспользовался, чтобы овладеть положением. Как только он понял, что жена, которой он так конфузился и робел, еще больше боится его самого — Прохор сразу осмелел и обнаглел. Суеверный культ его к «барышне» растаял без следа: необыкновенная жена трясется перед мужем осиновым листом, как и всякая обыкновенная баба,— значит, такова она и есть! А на обыкновенную бабу и закон обыкновенный: жена да боится своего мужа! И первая же неделя супружества показала Соне, что она — жена-раба, в лапах мелкого, но властного деспотика.

Зажав в кулак покоренную, перепуганную женщину, Прохор был очень весел. А Соня стала как неживая,— исполнительная и покорная, она делала все, точно не своею волею и силою, но как машина, по заводу. Она имела вид спокойный, охотно и разумно разговаривала, но таилось в ней что-то новое, жуткое, от чего,— говорила старуха,— даже плакать хотелось: точно она закостенела в холодном ужасе.

— Покуда этот страх на ней лежал, я за нею, как тень, следила. Все боялась: не удавилась бы она. Ох, да и удавилась бы — чем бес не шутит? силен лукавый: долго ли до греха? Да пожалел ее Господь: вскорости отвел мысли на другое,— послал дитя понести. Ну, и ничего, Бог милостив, перешло. А уж так-то ли было жутко! так жутко!

Тайна самоотречения созрела, и Соня справилась с собою: ей стало легче. Старуха напророчила правду: дело у Прохора не пошло. Он действительно слишком изленился и избражничался. Притом же, зачем гнаться за работой, когда в кармане звенят деньги?

— Потружено, слава те Господи!— рассуждал он,— холода, голода, всего принято предостаточно. Дай же ты человеку дух перевести.

Мастерская работала слабо. Заказы были, но Прохор модничал, важничал, дорожился, затягивал работу. Заказчики шли к другим мастерам.

— И прекрасно! и сделайте ваше великое одолжение!— шумел Прохор, распивая чаи в заведении «Нахал-Кэпе», как перекрестил темный околоток «Ахал-Теке».— Чтобы цену сбивать, нам, друзья, нет таких расчетов. Делателю, брат, довлеет мзда по делам его: так-то выходит справедливость от Писания. Работа моя, прямо скажу, питерская работа. Стало быть, и денежки пожалуйте стоящие. А не угодно — не неволим. Но чтобы за грош на рожон... не-ет! мы, хвала Создателю, при собственном капитале, не нуждаемся.

Соня находила мужа не совсем неправым; в самом деле, ему, намаявшемуся в долгой собачьей жизни, не грешно легкою передышкою восстановить силы, измотанные голодным горем и пьянством с голодного горя. Кругом их мелкий кустарь задыхался в каторжном труде и кабале долгов, как много лет задыхался раньше Прошка... Им незачем лезть в каторгу и кабалу, незачем бросаться в хищную погоню за каждым куском наперебой, которая превращает жизнь соседей в сплошной кошмар ненавистной грызни за существование. Им незачем перехватывать заказы у этих горемык.

— Они своей нужды переждать не могут, а мы можем. Они понижают цены поневоле, потому что только этим и могут привлечь к себе заказчика, а мы, если понизим, значит, прямо с расчетом разорить их, поморить с голода...

По таким соображениям, Соня смущалась не столько без-

работицей, сколько копотностью, небрежностью, скукою, неаккуратностью мужа в работе, когда она перепадала. Она хотела помогать ему, но Прошка обругал ее:

— Слыханное ли дело, чтобы баба в мастерство лезла... этак ты и в солдаты полезешь... Знай свое дело у печки...

Да, правду сказать, этого дела у печки было по горло. Работницу Тырины держали только первые месяцы после свадьбы, пока Соня не втянулась в обиход своего хозяйства и не убедилась, что оно ей под силу и одной. Печь, корова, куры, нынче — хлебы, завтра — стирка, послезавтра — мытье полов, две девочки на руках, обшей их, обмой, учи грамоте, да сама — тяжелая. К вечеру Соня не чуяла под собой ног, и, когда куры садились на насест, слипались и ее глаза. Набирать еще работы — значило бы надрываться, а силы надо было беречь. Соня смутно чувствовала, что в одной своей надежде она уже обманулась — работником Прохор не будет, и, следовательно, когда приданые деньги выйдут, заработок их окажется ничтожным и дом упадет всею тяжестью на ее плечи.

Личные отношения супругов были ладны, на людской взгляд, и дурны на самом деле. Какие бы покоры ни взводили на русскую крестьянскую, мещанскую, мелкокупеческую, сельскую поповскую семью, сколько бы недостатков там ни было, однако жена в ней редко почти теряет свою нравственную личность. Часто она — прежде всего рабочая и страдающая сила, часто — производящая и кормящая детей самка, но она почти никогда не наложница, не тварь, введенная в обиход лишь ради чувственной утехи: заурядный брачный порок городского культурного круга. Народ даже не любит, когда муж с женой чересчур нежничают между собою. Вон, как Кабаниха обрывает Катерину: «Что на шею лезешь, бесстыдница? Не с любовником прощаешься». Да и в песнях, и в сказках, и в летописях наших, и у попа Сильвестра, страсть, сантиментальность, чувственность — все любовникам и любовницам; супругам же — «закон», «благополучное и мирное житие», «брак честен и ложе не скверно». Словом, цель русского простонародного брака: прямая — упорядоченное рождение детей, и косвенная — приобретение в семью работницы. Я сам знал баб, искренно несчастных тем, что мужья (из разбалованных питерщиков) любили их «не для детей» — и мужья эти коренным де-

ревенским людом считались пакостниками и развратниками, потому что:

— Коли ты затеял баловство, так ступай срамись по любовницам, а жены позорить не смей; она — навек, она — закон.

Такою несчастною бабой — не только для закона, но и для потехи — отчасти вышла Соня. Прохор был человечишка мстительный. Долгое пьяное вдовство, полное кабацкого тоскованья и кабацкого распутства, и обозлило его, и изгрязнило его. Он не забыл первого отвращения к нему Сони — под венцом; догадывался, что втайне он продолжает быть ей противен и презрителен, как ни искусно она притворяется; понимал, что иначе быть не может, не с чего быть иначе. За все это он мстил Соне именно преувеличенною, без уважения, грубо-повелительною нежностью напоказ:

— Любуйтесь, мол, добрые люди, какой у нас с бабой лад. А ты, барышня, знай хозяина. Потому что ты — мое: хочу — люблю, хочу — убью.

Советов Сони Прохор не хотел знать. В каждом желании подозревал:

— Баба норовит зажать меня под пяту.

Он предпочитал поступить глупо, невыгодно, лишь бы по своему, а не по бабьему разуму.

— Моя в доме воля!— тупо рубил он в ответ на все резоны и увещевания.

Слагался быт дикий, не одухотворенный ни любовью, ни дружбою, ни товариществом, ни взаимным уважением. Соне уважать Прохора было не за что. Для Прохора уважать — значило бояться. Когда Соня не сумела забрать его в руки и стать старшею в семье, он, в победном самодовольстве, запрезирал и жену, которую он так ловко скрутил, и положение, которое недавно их разделяло. Теперь он смотрел на Соню, как всякий серяк смотрит на свою бабу: существо небесполезное, но бесконечно низшее мужчины. Только в обыкновенном серяке этот взгляд прост и добродушен,— он не со зла, а «по старине». Прохор же, как маленький тиран, любил своею властностью оскорбить, огорчить, унизить.

Пока все это только проскальзывало, а не было общим правилом. Чувствовалось, но не въявь,— таилось. Таилось, пока Прошку связывали две силы: купленная на Сонину

тысячу рублей возможность работать спустя рукава и еще не приевшаяся красота Сони.

Деньги растаяли в три года. Тырин — опять лицом к лицу с повседневною работой или нищетой, на выбор. У него на руках трое малых детей, прижитых с Сонею, да еще две девчонки от первого брака, с которыми неустанно возится, точно со своими, жена, подурневшая, постаревшая на десять лет от чрезмерного труда и частой беременности. Он озлобился и выбрал, что больше подходило ему, развращенному то безработицею, то ненадобностью работы: пьяную и праздную нищету. Словно уверился:

— Куда ни кинь, все клин, одна каторга. Проклят я, и никакими силами прийти в благополучие мне нельзя.

Кабак победил. Дома не стало. Вместе с нищетою и пьянством пришли и побои. Соня нашла свое страдание и нашла его полностью... Если бы не она, если бы не ее сверхсильный и разнообразный труд, ребятам Прохора пришлось бы стучать под чужими окнами за куском хлеба Христа ради. Откуда только брала она энергию и как ее Бог выручал!

Провалившись в Орле с своим мастерством, Тырины перебрались в Москву. Здесь, в передней у одной барыньки-заказчицы, я встретил Софью Артамоновну уже такою, как ты ее видел сейчас. Только художнический глаз мог признать в ней былую «Мечту». Потом она призналась мне, что очень мне обрадовалась, а между тем встретила меня сухо, почти с испугом. Я для нее был человеком из чужого мира, вне ее подвига,— значит, не понимающим и враждебным.

С тех пор я уже не упускал Софью Артамоновну из вида. Говорил с нею, узнал ее каторгу во всех подробностях. А общее — вот оно: вечно пьяный лентяй-муж, каждый день побои, каждый год дети и — работа не в подъем, с утра до ночи,— от печи к игле, от иглы к прачечному корыту, от корыта к вязальным коклюшкам... чего-чего только она не работала!

— Бросьте вы все!— убеждал я ее,— ведь ясно что вы ошиблись, из вашей затеи ничего не вышло, и вы не на своем месте.

Она даже не поняла меня:

— Как бросить? Как не на месте?

И недоумевающий взор ее очей,— пожалуйста, не улы-

байся, потому что у нее именно очи, а не глаза,— стал строг и светел. А мне сделалось стыдно, что я ее уговариваю,— стало ясно, что счастье ее заключается именно в том, что я принимаю за ее несчастье. И я покраснел под ее взглядом, а она смягчилась и добро рассмеялась:

— Уйти, бросить... а куда же я дену свой муравейник? Тоже и его бросить? Ах, Василий Николаевич! как вы там — в своих умных кругах — легко и быстро думаете... У меня дети, голубчик, у меня муж — больной, слабый человек. А вы говорите — «я не на месте»! Что Бог соединил, человек не разлучает. Не на смех венчались.

— Полно, Софья Артамоновна, говорите, что хотите, только не это. Сами отлично знаете, что сгубили себя ни за что ни про что... какой уж Прохор муж для вас!

Она опять потемнела и нахмурилась:

— Каков бы он ни был — муж.

— Ну, Софья Артамоновна, с вашими строгими религиозными взглядами такое даже говорить стыдно... Брак без любви — не брак.

Она слегка покраснела, отвернулась и говорит, глядя в сторону:

— Без любви... без любви... да почему вы так уверены, что я не люблю Прохора?

— Софья Артамоновна! Хоть в этом-то будьте откровенны... Ну за что вам его любить, можно ли любить? Что же? скажете, пожалуй, что вы и вышли за него по любви?

— Нет, я не позволяю себе лгать. Тогда я его не любила. Он был мне страшен...

— А теперь, когда вы все его безобразия испытали на своей собственной коже, стали любить? С какой же это стати?

— С такой, что брак — таинство. Он приносит любовь.

— Мистицизм все это. Напускаете вы на себя.

Она рассердилась и еще гуще покраснела.

— Что же?— сказала она прерывающимся голосом,— вы правы в том, что Прохор Иванович дурно ведет себя и жить с ним не легко... А я, видите, десятый год живу... Захотела бы, так ушла.

— Сами же говорите: дети держат... ишь, их у вас действительно какой муравейник!

— Да ведь от него дети-то, Прохоровы... Что же? И это, стало быть, без любви? Что же вы меня — за животное считаете?

Я только руками развел.

— Ну, не понимаю я вас.

— Нет, вы любви не понимаете. По-вашему, любить — значит, наслаждаться да красоваться собою, а по-моему, любить — значит, жалеть. И если мне никого на свете не жаль больше, чем этого несчастного, безвольного, порочного человека,— ну, никого, никого!..— так неужели же не значит это, что я люблю его, и, стало быть, неспроста Божья воля отдала ему меня в жены?

Я никогда не мог уговорить ее взять от меня денег.

— Зачем? Нам хватает,— отнекивалась она.

И, действительно, я видел, что хватает: ребята были чисты, грамотны, сыты; кабы не пьянствовал Прохор да не так часто рожались дети, дом был бы полною чашей; и все это создавалось исключительно руками Сони, потому что непостоянный, капризный, лихорадочный заработок мужа целиком уходил в такой же лихорадочный загул.

Пробовал я облегчить Соне заработок — отбить ее от грубых форм труда, нашел ей заказы на шитье, вязанье, вышиванье. Не тут-то было. Дошла до заработка рублей в тридцать пять на месяц и остановилась.

— Это уж,— говорит,— милостыня. Отдавайте другим. Другие больше меня нуждаются. Мы имеем довольно, а лишнего не хотим,— нечестно брать, отнимать у других.

Насилу уговорил, чтобы она брала на комиссию и передавала работу своим знакомым женщинам...

Теперь ей, разумеется, легче: старшие девочки, падчерицы, подросли, помогают; умненькие и славненькие; светлоглазые такие; видно, что любят мачеху без памяти...

Вот тебе и вся история Сони Следловской. Когда я говорил о ней с умными людьми, мне обыкновенно указывали, что она, как юродивая, бесплодно загубила свою жизнь, тогда как могла бы быть полезна многим, многим. Но — бесплодно ли? Эти две девушки, из которых должны были выйти воровки и проститутки, а, благодаря мачехе, вышли честные и грамотные работницы, какую взять за себя в почет любому мастеру-жениху; ее собственные дети, из которых опять-таки выйдут хорошие и полезные люди, разве это не плоды?

— Ну, знаешь, это еще бабушка надвое говорила: дети алкоголика...

— Ах, оставь ты, сделай милость, эту ломброзовщину!

Видел я Сониных ребятишек: славные, давай Бог всякой матери. И иначе быть не может, потому что каков бы ни был их отец, а у такого мощного, благородного создания, как Софья Артамоновна, и дети должны быть мощные и благородные. Ее души, ее натуры не одолеет в них отцовская кровь, как и самое Соню не одолели мужнины безобразия...

Наконец, видел я и Прошку и убедился, что и этот кремешок сломило-таки железное упорство кроткой Сониной натуры, что он уже понимает свое скотство и ему стыдно жены. Побои, разврат давно прекратились. Не пить он не может — будет пить до смерти — и подохнет от водки, но я сам слышал, как он, пьяный, рыдал источным голосом:

— Святая! Святая!

И проклинал свое свинство. Стало быть, в звере зашевелился-таки человек, под щетиною заходила Божьею искрой живая душа... В конце концов, бесполезно погибла жизнь Сони Следловской... только для самой Сони Следловской. Да и то еще вопрос. Она глядит довольной и счастливой. Гораздо довольнее и счастливее, чем мы с тобою, чем вот эти разряженные люди, обгоняющие нас в своих ландо, как могла бы, если бы захотела, обогнать нас и Соня Следловская... И всякий раз, что я вижу ее ясные глаза, меня целый день преследует мысль: не лишнее ли все, чем мы добиваемся своего довольства и добиться не можем? не доступно ли оно лишь тому, кто постиг тайну самоотречения и смиренно идет по земле его тернистою тропой?

Враг

Сказка Иванова дня

1 мая 1893 года

Вот я и на родине! Хороша моя дорогая Волынь! Тишь, гладь и Божья благодать. Сейчас бродил по парку... Темь, глушь... дорожки густо заросли травою... Скитался, как в лесу: напролом, целиной, сквозь непроглядную заросль сирени, жимолости, розовых кустов, одичавших в шиповнике, барбариса, молодого орешника. Еле продираешься между ними, унося царапины на лице и прорехи на платье. Из-под ног скачут зайцы, над головою звенит тысячеголосый птичий хор. Войдешь в это певучее зеленое царство, и — точно отнят у остального мира. Ступил два шага от нашего ветхого палаца, и его уже закрыл зеленый лиственный полог. Кое-где в кустах попадаются обломки статуй — безносые головы, безрукие и безногие торсы. Гипс размок и почернел, мрамор оброс мхами; на плечах обезглавленной Цереры, из перегноя прелых листьев, поднялся бодрый малютка — дубок. Наш предок-магнат, вельможный пан грабя Петш Вавжинец Ботва Гичовский, полтораста лет тому назад превративший здановские рощи в парк, победил было лесную глушь. Но потомки зазевались — и глушь вырвалась из оков. Сперва она возвратила себе все, что люди у нее отняли, исправила по-своему все, чем мы ее — по-нашему — украсили, а по ее рассуждению, вероятно, обезобразили,— и теперь идет войною уже на самый палац. Ступени террасы, подоконники, карнизы, балконы, черепичная крыша зеле-

ны, как и самый сад; на них растут мхи, травы, молодые древесные побеги. В моем кабинете отворить окна — мешают ветви старой сирени. От нее темно в комнате. Надо будет ее срубить, но — прежде пусть отцветет: а теперь она вся, как невеста под венцом, в кистях белых благоуханных звездочек... вчера вечером на ней пел соловей...

3 мая

Дышу... молчу... слушаю деревенскую тишь и сам себе не верю: неужели я, всесветный бродяга и авантюрист,— наконец у пристани? В приюте тихом, прочном и долгом, откуда уже трудно убежать вдаль, опять на поиски нового, необыкновенного... Измаяли меня эти долгие поиски. Я начал их молодым, богатым, здоровым, а кончаю больным, полунищим,— хоть лет мне не так уж много — кто же назовет меня «еще молодым человеком»?

Прежде жажда новых ощущений увлекала меня в Южную Америку, в Среднюю Азию. Я видел пир людоедов в Африке и пускал бумеранг в казуара вместе с австралийскими дикарями. Теперь, если новому и необыкновенному угодно свести со мною знакомства, пусть оно само сюда пожалует: я не сделаю ни шага ему навстречу,— мне и здесь хорошо. Спасибо дяде, счастливому владельцу этих мест, что ему пришла в голову идея доверить мне управление Здановым,— идея довольно неосторожная, надо сознаться: в ней больше любви ко мне, чем практического благоразумия. Я ведь никогда ничем не управлял,— ничем, не исключая самого себя... Между тем я прослыл за человека с сильным характером.

Почему? Вероятно, потому что я — изволите ли видеть — стрелял львов в Африке и ходил один на один, с ножом и рогатиною, на медведя в Олонецкой губернии. Великие заслуги! — нечего сказать! Как часто принимают люди за характер отсутствие в натуре человека способности к физическому страху... Еще в детстве, читая у Гримма сказку об удальце, который бродил по свету, напрасно стараясь узнать, что такое страх,— я думал: «Вот я тоже такой! Всякая борьба дарила меня минутами высокого наслаждения; я не трусил никогда ни человека, ни зверя, ни черта. Я всегда делал только то, чего мне хотелось, и, чего мне хотелось, непре-

менно достигал. Но я никогда не мог заставить себя сделать то, что было надо сделать, никогда не насиловал себя к отказу от того, чего не следовало делать. Разве это характер? Нет, упрямое прихотничество, не больше. Характер — в повиновении долгу. Сам хвастаюсь храбростью, да и никто не скажет, что я трус... а между тем семнадцать лет тому назад я заставил дядю купить себе рекрутскую квитанцию, чтобы избавиться от воинской повинности. Мне приятно драться с медведем, мне приятно стоять на дуэли, под пулею бреттера, вот почему я без страха шел на медведя, принимал и сам делал вызовы на поединок. «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья, блаженства, может быть, залог!» Я замешался волонтером в чилийскую революцию — и показал себя храбрым солдатом. А от воинской повинности все-таки сбежал — затем, что тут я должен был стать солдатом не по своей воле, но по приказанию закона. А хоть я и не дурак, закон для меня, всю жизнь, был не писан. Удрал от солдатчины, чтобы сделать не по-людски, а по-своему. Где же тут характер?

8 мая

Четвертый день дождь... От скуки разбираю библиотеку... Все больше мистические книги — коллекция моего прадеда по матери, Никиты Афанасьевича Ладьина. Богач-вельможа XVIII века — и вольнодумец, и мистик: обычное смешение той эпохи!— он всю свою молодость возился с магами, заклинателями, дружил с Сен-Жерменом, Месмером, Калиостро, принадлежал к розенкрейцерской ложе. Потом пристрастился к путешествиям, изучил восточные языки, лет пятнадцать провел в скитаниях по азиатским землям и вернулся в Россию полуфакиром, человеком не от мира сего,— одаренный способностью ясновидения и редкою магнетическою силою. Он умер 22 марта 1832 года в один день и час с Гете, которому был приятелем, и, говорят, предсказал это совпадение за день до кончины.

Покуда в библиотеке нет ничего нового — по крайней мере, для меня... Есть, конечно, большие редкости, и я рад, что имею их под рукою, но все уже читано. Я ведь по духу прямой наследник прадеда Никиты Афанасьевича, даром что воспитался в строгой, рассудочной, положительной шко-

ле, в презрении к супернатурализму, в привычке считаться только с осязательными фактами. Кровь взяла свое. Мое материалистическое воспитание пригодилось мне лишь к тому, что, едва я стал самостоятельно думать, я интересовался исключительно явлениями, которые представляются нам выше материи, стараясь подогнать их под рамки своего знания. Твердо веруя, что на свете нет ничего сверхъестественного и все объяснимо логическим путем физики, химии и математики, что хоть иного мы еще и не умеем объяснить, не только не умеем, а не можем,— я, однако, исколесил весь земной шар в жадной погоне именно вот за тем, чего мы еще объяснить не умеем. Недаром же один французский журналист, после interview со мною, заключил свою статейку меткою фразою: «Это Фауст, сделавшийся авантюристом».

Двенадцать лет тому назад я, чтобы ознакомиться с средневековою демонологией, совершил путешествие в Париж и Рим... В Ватикане я изучал пергаментные фолианты, прикованные к полкам железными цепями: старинные суеверы воображали, что если на эти книги не надеть кандалов, то черти непременно унесут их, чтобы лишить людей возможности изучать формулы и знаки, посредством которых Соломон, Альберт Великий, Корнелий Агриппа, Парацельс и Фауст покоряли себе нечистую силу. Средство довольно благоразумное, если не против чертей, то против людей. Не знаю, сильно ли опасаются черти каббалистических сочинений, но между людьми, наверное, всегда найдется множество охотников стащить книгу, указывающую им дорогу к дьяволу.

Однако в библиотеке прадеда я нашел их без всяких цепей, и — ничего, целехоньки. Люди здешние не понимают библиографической ценности этих редкостей, а черти на Волыни — либо безграмотны, либо зазевались, по хохлацкому ротозейству, либо стали вольнодумцами и не нуждаются, по нынешнему времени, в магической литературе.

9 мая

Наконец любопытная находка — латинский in quarto[1], в телячьей коже, анонимный, печатан в Кельне, год изда-

---

[1] В четвертую долю листа, т. е. том большого формата *(лат.)*.

ния вырван... по печати и заставкам не старее первой половины XVII столетия. Название: «Natura Nutrix, aut Curiosa de Stellis, verbis, herbis, lapidibus, eorumque effectis et actionibus»[1]. Автор неизвестен... Мне еще не попадался в руки этот «физиолог», как звались подобные сочинения в средние века.

Читается трудно... варварская схоластическая латынь... И чушь страшная... Но меня занимает автор, а не книга. То-то был фанатик! Хоть бы одно слово сомнения в своих знаниях, недоверия к своим чудесам. У него нет гипотез — все аксиомы. Рубит прямо и повелительно: Misce, fac, divide![2] Произнеси такие-то и такие-то заклинания, и готово: совершится такое-то чудо, такой-то и такой-то черт покажется тебе в решете.

Курьеза ради я проделал один из рецептов, произнес заветную формулу — однако дьявол in persona[3] не соблаговолил ко мне пожаловать. Впрочем, может быть, ему помешали: как раз в эту минуту ко мне постучался мой старый Якуб, чтобы доложить, что приехал ко мне с визитом наш уездный врач. Зовут его Коронатом Вячеславовичем Паклевецким. Он из смоленских дворян. Веселый человек.

— Знаете,— говорит,— нас, смоляков, дразнят: кость-то шляхетная, да собачьим мясом обросла... Это русские. А поляки говорят про нас другое: пул пса, пул козы — недоврок Божий...

Образованный, живой, довольно остроумный. Брюхо Гаргантюа, губы младенца. Но мне он все-таки не понравился. Что-то уж очень много развязности... думается мне, что Паклевецкий совсем не такой душа человек, каким хочет казаться. Черненькие глазки его щурятся в постоянную улыбку, но взгляд остается холодным и сторожким... Точно доктор всегда за тобою следит, а самого его — нет, дудки! врасплох не поймаешь! А есть на душе у него что-то скверное, нечистое... есть! Впрочем, если только у него вообще есть душа, а не пар, как у кота Васьки.

---

[1] «Природа-кормилица, или Занимательные истории о звездах, словах, травах, камнях, производящих изменения и действия» *(лат.)*.

[2] Смешивай, удаляй, разделяй на части! *(лат.)*.

[3] Собственной персоной *(лат.)*.

10 мая

Солнце выглянуло... Тепло, свет и аромат... Я пробыл целый день в парке... Ушел только с закатом солнца.

Проходя домой, вижу вдали, между двумя кустами жимолости, розовое пятно. Подхожу ближе,— пятно оказывается дамою — и даже очень красивою. Надо полагать, страстная любительница природы: уставилась на закат и не сморгнет; а глаза огромные, прекрасные, голубые; волосы, как золото. Я поклонился. Дама оглядела меня с изумлением, отдала поклон и, сконфузясь, скрылась за деревьями так быстро, что я не успел ни слова ей сказать, ни последовать за нею. Только раза два мелькнуло в кустах розовое платье... Очаровательное создание! Я даже рад, что не удалось познакомиться. В этой немой мимолетной встрече было что-то поэтическое.

С «Natura Nutrix» наконец развязался. Любопытною показалась мне только следующая легенда: «В стране диких монголов, где берут свое начало пять рек, изливающихся в Индейское море, растет папоротник, называемый Огненный Цвет, добываемый туземцами с великими трудностями, потому что гнездится он в глубине диких ущелий, между снежными горами, на неприступных топях и трясинах. Но туземцы не боятся ни трудностей, ни лишений, презирают опасность самой жизни своей, лишь бы достать куст Огненного Цвета; владеющий же таким сокровищем не уступит его, ни даже если предложить золота в десять раз против его веса. Цвет этот имеет великую и чудесную силу. Кто владеет им, видит, как бы сквозь хрустальную стену, все золото в жилах и россыпях под землею. Месторождения же золота суть в то же время и месторождения жизни. Владея Огненным Цветом, легко достать из земли жизненные волокна, и тогда человеку тому не страшны угрозы смерти: он будет жив, пока сам не пожелает избавиться от тягостей земного бытия. Он может воскрешать мертвых, соединять в существа телесные атомы и элементы, рассеянные в воздушных пространствах, вызывать чувство и голос в бездушных предметах. Но достать Огненный Цвет удается едва ли одному человеку в столетие; ибо растение охраняется неусыпною ревностью злых духов, всегда враждебных человеку и закрывающих для него двери благополучия. Так как злые духи сами не могут, по божественному милосердию, касаться до Огненного Цве-

та — разящего их, как молнией, если он не был еще в руках человеческих,— то, когда искатель подступает к таинственному растению, бесовская сила окружает его со всех сторон и, допустив человека сорвать цветок, затем стращает его зрелищем всяких чудовищ, пока человек от ужаса не умрет или не выронит драгоценного цветка, пламенеющего в руке его».

Похоже на наши славянские поверья. Не удивительно: легенда идет с Тибета, а вся мистика — родом оттуда.

Спрашивал Якуба о розовой незнакомке.

Недоумевает:

— Нету у нас такой во всем околотке.

Я пошутил:

— Уж не русалка ли это была?

Он очень спокойно возразил:

— Нет, теперь у нас русалок нет.

— А прежде были?

— Эге!

— Отчего же они перевелись?

— А от пана грабего Ксавера Тадеуша, дедушки вашего.

— Как же он их повывел?

— Известно как: стал ловить, а которых поймает — пороть.

— Русалок-то?

— Эге!

— Да ты врешь, Якуб: как же можно русалку выпороть! Она — дух!

— Эге! Не знали вы, пане грабя, дедушки вашего.

11 мая

Заезжал доктор, привез целый ворох сплетен. У него по этой части талант замечательный. Я — в обмен — рассказал ему свою встречу в парке. Тоже руками развел.

— Гм... чудно... Кто бы такая?.. Надо разузнать... Этого даже мой гонор требует. Уездный врач должен быть всеведущим и вездесущим.

Он шутил, но острый колючий взгляд его был серьезнее обыкновенного. С чего бы? Уж нет ли у него поблизости зазнобы, не ее ли подозревает он в загадочной гостье моего парка? А он, надо думать, преревнивый и в ревности злой.

Такие толстяки, простодушные на вид и хитрые на самом деле, всегда злецы и тираны в своей домашней жизни.

Показал ему «Natura Nutrix». Заинтересовался страшно. Сперва издевался над невежеством средневековых естествоведов, хохотал, выхватывал из книги разные наивности и нелепости, а потом заговорил на тему: как удивительно, что самые простые идеи даются человечеству позже всего.

— Вот хоть бы эта «Natura Nutrix». Смотрите: какая тщательность работы, кропотливость изысканий. Прямо — дело целой жизни. И весь труд — впустую. Человек тысячу лет вертелся около химии, электричества, магнетизма, держал много раз в руках их идеи,— все-таки не мог их найти... Точно в жмурки играл с наукою, ловил ее с завязанными глазами... А найти было так просто: стоило только отказаться от идеи о сверхъестественных вмешательствах в жизни человека и природы, стоило только условиться, что все существует и движется само по себе, своею собственною силою,— и все нашлось: и химия Лавуазье и Бертоло, и электричество Гельмгольца и Эдиссона, и гипнотизм Шарко...

Он долго ораторствовал, нападая на мистику и, в особенности, на современные сатанические и теософические культы, с ожесточением — точно бедняга-сатана был его личный грозный враг. Мне стала смешна горячность его полемики с пустым местом.

Я сказал:

— Поздравляю вас: вы прекрасный оратор. Вы очень искусно разбили современную демономанию и вполне доказательно отрицаете дикости мистицизма. Но известно ли вам острое выражение одного француза-теолога? Он говорит: «Le chef d' oeuvre de Satan est de s'être fait nier par notre siècle...»

Паклевецкий насторожился, задумался — точно перевел про себя фразу и закатился громким и искренне веселым смехом:

— Но послушайте... ведь это — превосходно! Это — черт знает как метко и верно!.. «Шедевр сатаны в том, что он заставил наш век отрицать его существование...» Очень, очень замысловато. Молодец француз! Ловко потрафил, собака!

Он смеялся до самого отъезда... Но в экипаже — я видел из окна — нахмурился... Нехорошее у него лицо, когда он хмурится, и нехорошую душу оно обличает. Я вижу Пак-

левецкого насквозь и никогда не доверюсь ему ни на мизинец! И он меня не любит. Не знаю, за что, но я чувствую, что не любит.

12 мая

Тайна розовой дамы объяснилась. По произведенному Якубом следствию обнаружено, что розовое платье, подходящее к моему описанию, имеется только у панны Ольгуси, кузынки пана ксендза Августа Лапоциньского из соседнего Заборья, заведующей домом и хозяйством его велебности: «Une demoiselle pour faire tout»[1] — называют эту должность французы; и — что панна Ольгуся, сгорая Евиным любопытством видеть новоприезжего здановского графа, уже неоднократно делала в наш парк нашествия, вместе со своею покоювкою, якобы за ягодами, хотя до ягод еще — добрые две недели.

Приедет Паклевецкий, подразню его: всезнайка, а не догадался!

О панне Ольгусе Якуб говорит с самою коварною и злодейскою улыбкой, ясно намекая всею своею рожею старого, еще крепостного Лепорелло:

— Ежели пану графу угодно свести интрижку, пусть пан граф не зевает,— тут клюнет!

Однако черт возьми этого велебного Августа! Даже непозволительно обзаводиться для хозяйства такою хорошенькою кузиною...

14 мая

Отправился вчера кататься верхом, и Корабеля угораздило расковаться как раз у Заборья... В результате я провел вечер у пана ксендза Лапоциньского, получил от него два мата в шахматы, пил чай и ел варенец из белых ручек панны Ольгуси. Ольгуся очень красивый двуногий зверь. Не понимаю, как показалась мне только что не за фею эта сытая и здоровая деревенская красавица с формами Цереры и ши-

---

[1] Прислуга на все *(фр.)*.

роко раскрытыми васильковыми глазами? По первому впечатлению, я чуть было не усомнился:

— Да это не она... Совсем другая фигура, другое лицо...

Но потом лукавые улыбки и хитрые намеки панны Ольгуси убедили меня, что предо мною действительно моя незнакомка... Всю поэзию встречи надо, таким образом, поставить на счет зелени парка и красных лучей вечернего солнца...

15 мая

Опять задождило... Дробные, мелкие и частые, словно сквозь сито, капли барабанят с утра по оконным стеклам... Холодно и сыро на дворе, в доме неприветливо. Тоска!

Хоть бы доктор завернул, что ли...

Нашел в библиотеке записную книжку прадеда. Вся исписана рецептами, давно вышедшими из употребления... Средства все — возбуждающие жизнедеятельность: железные препараты, aphrodisiaca. Почти половина книжки занята тайнописью. Ключ к шифру найти не трудно, вероятно, да лень и, наверное, не стоит. Знаю я тайны российских мистиков XVIII века! Убьешь три дня на пробы и догадки, а в результате расшифруешь какой-нибудь необыкновенно важный секрет — вроде того, что касторовое масло имеет особенно сильное действие при новолунии, а в полнолуние лучше прибегать к ревеню...

16 мая

Отдали визит Лапоцинький с панной Ольгусей. В разговоре я назвал Ольгусю панной Лапоцинькой и ошибся: оказывается, она — Дубенич. Это литовская шляхетская фамилия, давно поселившаяся в нашем краю. У Дубеничей в гербе крыса, которая грызет золотой желудь. Панна Ольгуся толкует свой герб таким образом:

— Крыса — это я, последняя из Дубеничей, нищая, как костельная мышь; а желудь — единственная пища, которою могла бы я пробавляться, если бы его велебность не кормил меня хлебом.

Но сам ксендз Август — родовитый поляк с гонором, и насмешки Ольгуси над крысою и желудем, кажется, приходятся ему очень не по вкусу.

Кокетничала со мною Ольгуся весь вечер и на все лады — даже исторически.

— Мне, пан грабя,— говорит,— собственно, не знакомиться с вами, а бежать от вас следует.

— Это почему?

— Потому что вы мне опасны.

— Много чести, панна Ольгуся! уверяю вас, что я — самый смирный человек на свете...

— Не верю! Да хоть бы и так... Все же вы Гичовский, а я Дубенич...

— Так что же?

— Как? разве вы не знаете, что между Гичовскими и Дубеничами есть роковая связь?

— Неужели? Очень приятно слышать!

— Да уж там приятно ли, неприятно ли... Вы слыхали, конечно, про Зосю Здановку?

— Ну, еще бы не слыхать!

Зося Здановка — героиня нашей фамильной легенды. Она жила лет полтораста тому назад, была простая шляхтянка с фольварка под Здановым. Грабя Петш Вавжинец Ботва-Гичовский, коронный гетман, наш предок, влюбился в Зосю, увез ее. Несколько лет они жили счастливо. Потом Зося умерла скоропостижно, как говорят, отравленная родными графа, струсившими за наследство. Для Зоси был выстроен палац и разбит парк в Зданове. Говорят, будто граф Петш похоронил Зосю где-то в парке, насыпал над нею курган и поставил ей чудесный памятник со статуей — такою прекрасною, точно в нее вошла душа Зоси, такою схожею, точно Зося ожила в ней. Но наследники уничтожили статую и приказали сровнять с землею могилу, оскорблявшую их аристократическую гордость. В народе же верят, будто эта дикая выходка имела ту причину, что невинно загубленной Зосе не лежалось спокойно в могиле — ее статуя стонала и плакала по ночам, бродила по парку и смущала черную совесть убийц.

— Так вот,— с торжеством продолжала панна Ольгуся.— Эта Зося была из Дубеничей, и я происхожу от нее по прямой линии.

Прецедент нельзя сказать, чтобы неприятный. Признаюсь откровенно: я ничуть бы не прочь разыграть роль графа Петра при такой Зосе, как панна Дубенич.

У пана Августа, кроме шахматов, нашлась еще страстиш-

ка: он рьяный разбиратель ребусов, шарад, тайнописи и т. п. Очень рад: теперь я знаю, как занимать его и в то же время оставаться незанятым с ним самому. Я подсуну ему записную книжку дедушки Ладьина. В ней столько страниц написано шифром, что милейшему ксендзу хватит работы на месяц.

17 мая

Я очень смущен... Сегодня опять, на том же самом месте, в тот же самый час, я встретил в парке... нет: вернее сказать — не встретил, а только видел издали — розовую даму... и это не панна Ольгуся, хотя немножко похожа на нее. Вероятно, дама заметила меня, потому что видел я ее всего несколько секунд, а затем она — как и в прошлый раз — исчезла в зелени... Я пошел было за нею следом, но уже не догнал — и только слышал треск хвороста под ее ногами. Если бы не это, я принял бы всю встречу за галлюцинацию, за сон. Но сновидения не имеют тяжести, и хворост под ними хрустеть не может. Ну, погоди же — изловлю я тебя, прекрасная незнакомка! Не сегодня, так завтра... Благо ты повадилась в наши палестины!

18 мая

Ух, какую воробьиную ночь пережили мы, здановцы! С вечера было душно. Я рано лег спать и спал дурно, под кошмаром. Проснулся: дом трясется от грома, а в щели ставен сверкает синяя молния. Я люблю грозу. Разбудил Якуба и приказал ему отворить ставни в кабинете. Чудное было зрелище. Когда небо вспыхивало голубым пламенем, в парке виден был каждый лист, трепещущий под каплями дождя, совсем бриллиантового в этом грозном освещении... Буря кончилась таким могучим ударом грома, что я вскочил в испуге с подоконника: молния блеснула мне прямо в глаза, и вместе с нею все небо точно рухнуло на землю... Гроза уничтожила один из лучших старых дубов нашего парка. Но нет худа без добра: ливень размыл курган — неподалеку от того места, где имел я две встречи с розовою дамою, и в размыве нашлись обломки женской статуи замечательно

художественной работы... Налицо: нога с коленом, плечо, грудь и обе ручные кисти. Удивительный мрамор — я такого еще не видывал: нежно-палевый, точно чайная роза. Должно быть, из каких-нибудь восточных ломок. Пока что сложил обломки у себя в кабинете, а ручки поместил на письменном столе, как пресс-папье... прелестные ручки; большой скульптурный талант воплотился в эти две нежные кисти с тоненькими и длинными пальчиками.

19 мая

Паклевецкий решительно не может равнодушно видеть мало-мальски порядочной вещи; сейчас начинает клянчить: подари да подари... То просил отдать ему «Natura Nutrix», теперь влюбился в откопанные вчера ручки... А еще, говорят, бессребреник: не берет денег с больных, кроме самых богатых панов... Странно, что, несмотря на бескорыстие, его не любят в народе. Я разговаривал с хлопами. Говорят:

— Пан Паклевецкий — доктор — что греха на душу брать,— каких и в Киеве нет: захочет — мертвого из домовины поднимет. Только у него нехороший глаз и тяжелая рука. И всем, кого он лечил, потом не повезло; у Охрима Мокрогуза хата сгорела, у Панька дочка байструка родила, у кого злодей камору обчистил, у кого корова пала али коней свели... И бес его знает, какой он веры: не ходит ни в костел, ни в церковь, ни в жидовскую школу...

Я пересказал этот разговор Паклевецкому. Он хохочет по обыкновению.

— Ишь, хамы! Подметили-таки мои неудачи. В самом деле, меня преследует какой-то злой рок: со всеми моими больными приключаются самые неприятные сюрпризы и скандалы...

— Пока я еще не испытываю на себе вашего вредного влияния,— пошутил я,— и со мною ничего сюрпризного не случилось...

— Да ведь вы у меня еще и не лечились. А впрочем... ба-ба-ба!— Паклевецкий лукаво подмигнул.— Как же ничего не случилось? А разве вы еще не влюблены в панну Ольгусю?

Вот тебе раз! О, провинция, всевидящая, всезнающая, вездесущая! а — главное — всесплетничающая!

— Разумеется, нет... Да откуда вы знаете, что мы знакомы?

— Слухом земля полнится... Я даже знаю, что пан ксендз Август удостоился получить от вас в подарок какую-то старую рукопись и теперь по целым дням ломает над нею свою мудрую лысую голову...

А кстати отметим, благо к слову пришлось: ведь ксендз-то Август — в самом деле молодец, недаром хвастался своим мастерством по тайнописи! Разобрал-таки кусочек рукописи,— она оказалась французскою,— сегодня прислал мне перевод... Дикое что-то: «Цвел 23 июня 1823... цвел 23 июня 1830... оба раза не мог воспользоваться... глупо... страшно... больше не увижу... знаю, что скоро смерть — не дождусь... а мог бы... сын не верит... быть может, кто-нибудь из потомк...» — дальше тайнопись ведется, вероятно, на каком-нибудь языке восточного происхождения: подставляя по найденному ключу французские буквы, ксендз получал лишь неуклюжие слова почти из одних согласных... И только на одной странице, с краю, четко записан ряд цифр: 1823, 1830, 1837, 1844, 1851, 1858, 1865, 1872, 1879, 1886, 1893, 1900... Последовательная разница между цифрами — 7... По всей вероятности, прадед предсказывает какое-нибудь событие, должное повторяться каждые семь лет... «Цвел 23 июня 1823 года...» Кто цвел? Кактусы, помнится, бывают семилетние...

24 мая

Приходится не то хвастаться, не то каяться и разбираться в угрызениях совести. Поехал к Лапоциньским на три часа, а прогостил три дня. Панна Ольгуся — моя. Мы не объяснялись в любви, не назначали друг другу свиданий, но вышло как-то, что оба очутились, за полночь, в вишневом саду ксендза Августа, и — не успел я спросить: «Отчего вы не спите так поздно, панна Ольгуся?» — как она уже трепетала в моих объятьях, пряча на моем плече свое жаркое лицо, задыхаясь и лепеча бессвязные жалобы...

Мы разошлись, когда восток уж загорелся зарею. На расставанье Ольгуся вдруг вздрогнула в моих объятьях и тревожно прислушалась.

— Это что?

В воздухе дрожал долгий стонущий звук... Должно быть, выпь кричала или тритоны расстонались в болоте...

Возвратясь в свою комнату, я, пока не заснул, все время слышал этот протяжный стон, и моей, не совсем-то чистой, после неожиданного свидания, совести чудился в нем чей-то таинственный упрек: «Зачем? Зачем?»

«Отвяжись!— со злобою думал я,— что пристал? Чем я виноват? Я не ухаживал за нею, не заманивал ее... сама — без оглядки — бросилась мне на шею!»

Спал я, как убитый,— и поутру едва вспомнил, со сна, чего мы натворили вчера. Как водится, пришел в скверпейшее настроение духа и вышел к утреннему кофе злой-презлой — полный страха, что сейчас встречу заплаканное лицо, красные глаза, полные сентиментальной укоризны, услышу плаксивый голос, вздохи, жалобные намеки,— весь арсенал женского оружия на такой случай... Ничуть не бывало: панна Ольгуся улыбалась мне всеми ямочками своего розового лица, щебетала, как жаворонок, и ее синие глаза были полны такого веселого счастья, что у меня сразу камень с сердца долой, и даже завидно ей стало.

Ксендз Август был в костеле. Мы оставались одни все утро.

— Послушайте, Ольгуся,— сказал я,— вы знаете, что я не могу на вас жениться?

Она очень покраснела и — мы сидели рядом — прижалась ко мне.

— Я и не рассчитываю... Я просто люблю вас.

— Надолго?

— Пока вы будете меня любить.

— А потом?

— Не знаю...

Она засмеялась, глядя мне в глаза.

— Я никогда не знаю, что сделаю с собою. Вы думаете, я знала вчера, что приду ночью в сад? Бог весть, как это случилось... В меня иногда вселяется какое-то безумие, я теряю голову и живу иногда, сама себя не чувствуя... И делаю тогда не то, что надо, но только то, чего я хочу...

— А я всю жизнь так прожил, Ольгуся!

В глазах ее мелькнул огонек, она взяла мое лицо в обе ладони, мягкие и душистые, и приблизила к своему.

— Ты меня не жалей,— сердечно сказала она,— пропаду так пропаду... Должно быть, в самом деле уж такая судьба наша, Дубеничей, пропадать от вас, графов Гичов-

ских... Помнишь, мы говорили с тобою про Зосю Здановку?

— Еще бы не помнить!

— Ну, так ты — мой граф Петш, а я — твоя Зося!.. Кстати, говорят, будто я очень похожа на нее.

— Откуда же знать это? После Зоси не осталось портрета. Знаменитая статуя ее — если только существовала она, в самом деле, если она не украшение народной легенды...

— Конечно, существовала! — перебила меня Ольгуся.

— Скажите, какая уверенность! Почем ты знаешь?

— Потому, что я знала человека, который видел и статую, и как ее разбили.

— Олечка! Ты мне сказки рассказываешь.

— Да нет же! хоть дядю спроси!.. видишь ли, лет пять тому назад у нас на фольварке умер закрыстьян Алоизий...

— Неужели только пять лет тому назад? Я помню его отлично: когда я был совсем мальчишкою, ему считали уже много за сто лет.

— Дядя говорит, что ему было верных сто пятьдесят, если не больше... Когда дядя был совсем молодой, Алоизию еще не изменяла память, и он рассказывал дяде о гайдамаках, точно это вчера было. Железняк в Умани посадил его отца на кол. Я застала Алоизия уже совсем живым трупом... высох, как мумия... в чем только душа держалась! Он всегда лежал на солнышке, покрытый рогожею, и спал... Однажды иду мимо, он смотрит на меня своими мертвыми глазами — страшно так их вытаращил! точно я за чудовище ему показалась! И вдруг засуетился, силится встать...

«Лежите, лежите, Алоизий, — говорю я ему, — не беспокойте себя, вы человек старый, а мы с вами свои люди... обойдемся без церемоний!..» Он кивает головою, бормочет что-то... Вечером присылает парубка за дядею: «Напутствуйте меня, ваша велебность, я сегодня умру...» — «С чего ты взял, Алоизий?» — «Я сегодня видел привидение... Зося Здановка приходила за мною... как живая... говорила со мною...» — «Что же она тебе сказала?» — «Да ничего такого страшного: «Лежите, — говорит, — лежите, Алоизий!» — только и всего... А все-таки я помру, потому что, за кем приходит покойник, тому и самому за ним идти». А я уже рассказывала дяде, как видела Алоизия. Дядя рассмеялся: «Ах ты, старый, выдумал тоже! Какая же это Зося Здановка? Это моя племянница, панна Ольгуся Дубенич, — сейчас я покажу тебе ее». И велел меня позвать. Алоизий, пока гля-

дел на меня, только крестился: так я казалась ему чудна. Говорил, что я похожа на Зосю, как две капли воды,— голос в голос, волос в волос...

В таком случае романическое увлечение моего предка понятно для меня больше чем когда-нибудь. Ну, что же? будем играть в графа Петша и Зосю Здановку!.. Не знаю только — почему, пока Ольгуся вела свой рассказ, у меня странно ныло сердце каким-то суеверным, недобрым предчувствием, а в ушах снова болезненно зазвенело вчерашнее: «Зачем? Зачем?»

25 мая

Ругался и неистовствовал, как татарин. Уезжая к Лапоциньским, я запер свой кабинет, но ключ забыл в замочной скважине. Я запер — потому что спешил и не успел убрать своих бумаг, разбросанных на письменном столе. Разумеется, кто-то без меня похозяйничал в кабинете. Я очень хорошо помню, что ручки статуи лежали врозь, на двух концах стола, одна — на рукописи «Законы сновидений», которую я пишу уже пятнадцатый год: все желаю затмить старика Мори, да что-то не затмевается!— другая на связке моих печатных трудов... Между тем сейчас обе ручки лежат вместе, одна на другой, точно сомкнувшись в умоляющем жесте, на печатной связке, и связка перевернута. Прежде наверху была моя брошюрка «Спиритизм и дегенерация», теперь — хвост немецкой статьи из «Психологических анналов»: полемика с покойным Бутлеровым... Ненавижу, когда роются в моих бумагах, хотя и не имею никаких секретов. Прислуга клянется и божится, что она ни при чем: будто бы даже не входила в кабинет. Врут, конечно. А не врут — тем хуже. Уж лучше пусть безграмотные лакеи копаются в моей литературе, чем делать ее достоянием провинциального любопытства. Спрашиваю Якуба, кто был без меня. Говорит, будто, кроме пана Паклевецкого, никто не заезжал за мое отсутствие. Уж не он ли постарался? От этого и не то станет! Я уверен: имей он малейшую возможность,— мало, что перечитал бы все бумаги на столе, но заглянул бы и в ящики, и ключик бы подобрал, и замочек бы сломал... Но Якуб уверяет, будто он, узнав, что меня нет дома, выпил, не раздеваясь, в столовой рюмку водки, закусил пирожком и уехал...

27 мая

Я нехорошо засыпаю в последнее время — тяжело, смутно. Что-то душит за горло, подкатывает истерическим клубком к сердцу. В ушах, сквозь сон, чуть-чуть и уныло звенит, как далекий стон молодых лягушек, пока не убаюкает меня... Я уже сплю, уже сны вижу, а все-таки чувствую, будто кто-то реет надо мною, дышит на меня и все звенит: «Зачем? зачем? зачем?»

Не могу сказать, чтобы это ощущение чужого дыхания на коже доставляло мне удовольствие: оно похоже на эпилептическую ауру... Но мне уже тридцать семь лет. Падучая болезнь в эти годы не проявляется — разве у алкоголиков. Так ни я, никто другой из нашей семьи никогда пьяницами не были... Посоветовался с Паклевецким. Он насказал мне страстей. Спрашивает:

— У вас не бывало зрительных галлюцинаций?

— Нет... обманы зрения, иллюзорные явления, конечно, случались...

— И галлюцинации будут.

— Вот так обрадовали! На каких же основаниях вы пророчите мне этакую прелесть?

— На самых простых: вы слегла меланхолик; нервное расстройство пошло у вас по периферии, чувствительность всюду повышена, следовательно, передачи мозговых отправлений совершаются неправильно. То, что называется — психическая дистезия... Ну-с, при всех этих условиях, да еще при вашем фантастическом настроении, к переходу от иллюзорных явлений до галлюцинаций очень недолго...

— Откуда вы взяли, что у меня фантастическое настроение? Напротив!

— А вы все разную чушь читаете да разные дива видите.

— Никаких див я не видал... Бог с вами! А что до дедовских книг, то, полагаю, научный интерес к ним не имеет ничего общего с суеверием. Эта дрожь в воздухе, этот стонущий звук, это дыхание за моими плечами тревожат меня исключительно, как физическое явление — доказательство моего недомогания. Я знаю очень хорошо, что все это происходит во мне самом, а вовсе не вне меня. Я, пан Коронат, бывал в таких фантастических переделках, что, если уж тогда не сделался фантастом, то теперь и подавно не сделаюсь.

Нет, голубчик, лекарствица для тела вы мне пропишите, пожалуй, а души не касайтесь: по этой части я сам себе доктор.

Глаза Паклевецкого блеснули.

— Тем лучше, тем лучше!— сказал он, потирая ладони, и принялся убеждать, чтобы я не оставался один,— «сам с собою» — как можно больше развлекался и бывал в обществе...

— Покорнейше благодарю за совет! Но где я в нашей глуши найду общество?

Он ухмыльнулся, подмигивая.

— А хоть бы у Лапоциньских?.. Кстати, как здоровье вашей панны Ольгуси?

— Знаете, доктор,— строго заметил я,— деревенская свобода допускает много лишнего в речах, однако и ей бывают границы.

Он залился своим обычным неискренним хохотом — хохотом без смеха, при холодных и серьезных глазах:

— Ну, не буду, не буду!— слово гонору, в последний раз! Однако...— Он пристально посмотрел на меня.— При первом нашем разговоре о панне Ольгусе вы не рассердились, а теперь вот как вспыхнули... Э-ге-ге-е!

И он ударил себя ладонью по лбу: «Ах, мол, я телятина!»

Не уйми я его, он распространялся бы до бесконечности. Скалить зубы, кажется, он еще больший мастер, чем лечить. А относительно обмана зрения он прав: глаза мои работают неправильно. Сегодня, например, когда он подошел к моему письменному столу и оперся на него своими толстыми кривыми пальцами, я ясно видел, что мраморные ручки затрепетали, как живые, быстрою и сильною дрожью, точно от испуга...

1 июня

Давно ничего не записывал... Ольгуся меня совсем завертела. Вчера прилетела ко мне верхом — одна, уже под вечер... Чтобы проводить Ольгусю до дома, я велел оседлать Корабеля. Возвращаюсь с крыльца в столовую — Ольгуся сидит бледная, в глазах испуг, а сама хохочет.

— Что с тобою?

— Представь... вот глупость-то!..— перепугалась сейчас

до полусмерти... вот даже не могу успокоиться, так бьется сердце...

— Да чего же, чего?

— Я хотела поправить шляпу, прошла в гостиную... Там уже сумеречно... И вдруг вижу, будто мне навстречу идет женщина... Приглядываюсь: эта женщина — я же сама... я как взвизгну, да бежать назад в столовую... и только здесь, при свете, сообразила, что у тебя там трюмо во всю стену, и, стало быть, я струсила собственного своего отражения.

Ольгусе тоже очень нравятся «ручки», я подарю их ей в день рождения. Только надо обломанные места обделать в металл... Любопытно, что руки Ольгуси похожи на «ручки», как две капли воды, разве немного пухлее. А то даже окраска кожи напоминает палевый мягкий мрамор моей находки...

3 июня

Вот уже несколько дней я живу под гнетом странного беспокойства, которое охватывает человека, когда кто-нибудь сосредоточенно и страстно о нем думает. В это я верю, потому что много раз испытывал на себе. Магнетические токи между людьми — сила, ждущая своего Вольта, Гальвани, Гельмгольца, чтобы выяснить законы ее так же логически просто, как теперь выяснены законы электричеста. Телепсихоз ничуть не более невероятен, чем телеграф и телефон; а вот, говорят, теперь уже и телефоноскоп изобретен каким-то не то чехом, не то галичанином. Способность к нравственному общению человека с человеком на расстоянии свойственна, в большей или меньшей степени, всем нам; сейчас она — стихийная и, как все стихийное, проявляется лишь пассивно и случайно. Надо, чтобы из смутной, инстинктивной она сделалась определенною, произвольною... и для такого превращения и требуются Гельмгольцы и Гальвани. Любопытно, однако,— кто же это мучится — и где — участием ко мне и мучит меня вместе с собою?

Якуб клянется, что в мое отсутствие в кабинете происходят странные вещи: что-то двигается, шуршит бумагами; вчера он слышал из-за запертой двери три слабых аккорда, взятых на старинной гитаре, что висит на стене — как украшение — ради своей редкостной инкрустации. Мыши, конечно,— если только Якубу не приснилось. Сам старик уве-

рен, что это шалости какого-либо из челяди и грозит:

— Нехай поймаю бисовых хлопцев! Як начну терты та мяты, будут воны мене поминаты!

5 июня

Пью cali bromatum, обтираюсь холодною водою, а толку мало... Паклевецкий прав: мои иллюзорные ощущения начинают переходить в галлюцинации. Сегодня утром я работал фейерверк для дня рождения Ольгуси,— пан ксендз Лапоциньский собирается справлять праздник на весь свет,— и вдруг в уголке серебряного подноса, что лежал у меня на столе, заваленный всякою пиротехническою дрянью, я увидал, что сзади меня стоит, тихонько подкравшись, сама Ольгуся и смотрит, через плечо, на мою алхимию... Я, очень изумленный ее появлением в такую раннюю пору, оборачиваюсь с вопросом:

— Откуда ты? Какими судьбами?

Но, вместо Ольгуси, вижу лишь мутное розовое пятно, которое медленно расплывается кружками, как бывает, когда долго смотришь на солнце и потом отведешь глаза на темный предмет...

Ольгуся тоже недомогает сегодня. Всю ночь — жалуется — мучил ее тяжелый кошмар: мраморные ручки, лежащие на моем письменном столе, схватили будто бы ее за горло и душили, пока она, готовая задохнуться, не вскрикнула и не проснулась — на полу, свалившись с кровати. Сновидение было так живо, что, даже открыв уже глаза, она видела еще перед собою мелькание мраморных пальцев и слышала тихий голос:

— Отдай, отдай! Не смей брать мое!

Когда я сказал Ольгусе, что собирался подарить ей ручки, она даже перекрестилась:

— Чтобы я, после такого сна, взяла их к себе в комнату? Сохрани Боже! Да я ни одной ночи не усну спокойно...

Говорю ей:

— Это оттого, что ты много простокваши ешь на ночь.

— Что же мне, из-за твоих ручек от простокваши отказаться? Да когда я ее люблю!

Рассказал ей анекдот о Сведенборге, как, после плотного ужина, узрел он комнату, полную света, а в ней человека в сиянии, который вопиял к нему:

«Не ешь столь много!»

Но у женщин на все есть свои увертки. Говорит:

— А может быть, твой Сведенборг не простоквашей объелся?

И то резон.

6 июня

«...Qu'elle est belle! quelle douce prière luit dans ses yeux bleus qui me regardent à travers la brume mystique! Puissais-je ne pas remplir sa prière muette? Puissent les forces et le savoir me manquer pour briser sa prison de marbre? Non, je jure sur les roses... (стерто) ...ntes à tes joues, fantôme chèri... (стерто) ...la fleur fatale... (стерто)... à la vie, interrom (стерто) ...uellement».

«...Как она прекрасна! С какою нежною мольбою глядят на меня, сквозь мистический туман, ее синие глаза! Неужели я не исполню ее немой мольбы? Неужели у меня не хватит сил и знания разбить ее мраморную темницу? Нет, клянусь розами... на ланитах твоих, милый призрак... роковой цветок... к жизни, interrompue? прерванной... А что значит uellement? actuellement? cruellement? Вероятно, «interrompue cruellement — прерванной жестоко».

Этот странный отрывок, дешифрированный из книжки Никиты Афанасьевича Ладьина, доставил мне сегодня ксендз Лапоциньский.

О чем говорит он? Почему меня взволновали его темные, испорченные, безумные строки? Что за призрак с розами на щеках? Какой роковой цветок? Какая мраморная темница? Чья жизнь прервана жестоко?

Отчего — пока я, запершись в кабинете, читал записку ксендза — мне казалось, что я не один в этой огромной комнате, что кто-то, незримый, движется и трепещет в ее — как будто сгущенном — воздухе? Перед глазами точно сетка колеблется — сетка из mouches volantes...[1] И этот постоянный стонущий звон, молящий и вопросительный, что гонится за мною с той весенней ночи под вишнями... откуда он?

---

[1] летающих мушек *(фр.)*.

8 июня

Одно из двух: либо я схожу с ума, либо я, наконец, действительно охвачен тем необыкновенным миром сверхчувственного, доступа в который скептически, но страстно искал я всю жизнь свою и — потому что не находил его — думал, что его нет вовсе. Первое, конечно, правдоподобнее, но... с другой стороны...

Мой пульс, как твой, играет в стройном такте;
Его мелодия здорова, как в твоем.

Мы встретились — мы, то есть я и розовая незнакомка,— снова, среди ясного полдня, в вишневом садике Лапоцинького. Ольгуся сидела рядом со мною, смеялась, поила меня кофе и намазывала для меня на хлеб янтарное масло, о котором она так смешно говорит по-польски:

— То властне!

Ксендз, поодаль, полулежал на скамье, вытянув свои старые ноги, с записною книжкою моего прадедушки в руках: вчерашняя удача пришпорила неугомонного шарадомана опять приняться за расшифровку ее — и он без конца пробует над нею то один ключ, то другой. И в это время, когда, наклоняясь к уху Ольгуси, я шептал ей всевозможные нежные глупости и смешил ее до упаду,— в эту-то минуту из глубины вишневника выплыло розовое пятно, и предо мною встала другая Ольгуся — такая же прекрасная, как сидевшая рядом со мною, но лицо ее было худо и печально, а глаза смотрели прямо в лицо мне с тоскою, упреком, непонятною, но мучительною мольбою.

О, какое счастие, что я не трус и не фантаст.

«Вот оно! начинается!— молнией мелькнуло в моем уме,— обещанная Паклевецким галлюцинация!»

Я не вскрикнул, даже не изменился в лице. А она, вторая Ольгуся, оперлась на наш стол своими нежными палевыми ручками. Я сразу узнал их: они — те самые, что нашел я в размытом грозовым ливнем кургане...

По спокойным лицам панны Ольгуси — той живой Ольгуси — и ксендза Августа я видел, что они ничего не видят... А «она» все стояла и смотрела, пронизывая меня своим трогательным взором, чаруя и покоряя. И я поддавался силе галлюцинации,— она была так жива, настолько наглядна, что я бессознательно, невольно смотрел на это порождение

оптического обмана, на этот «пузырь земли», как на реальное существо...

Тогда губы ее дрогнули, воздух тоскливо зазвучал тем самым жалобным стоном, что неотвязно мучит меня по ночам.

— Кто вы? О чем вы просите? — невольно сорвалось с моих губ, — и в тот же момент она пропала, растаяла в воздухе... А живая Ольгуся расхохоталась.

— Я решительно ни о чем не прошу вас, граф! Что с вами! О ком вы замечтались? Вы бредите наяву...

Я промолчал о своей галлюцинации. Ольгуся суеверна. А видеть чей-либо двойник — есть поверье — нехорошо: к смерти — тому, кого видят. А что... если не галлюцинация? Если...

Прав Паклевецкий, тысячу раз прав: надо вытрясти из головы фантастический вздор! Черт знает, что лезет в мысли... Я становлюсь суеверен, как деревенская баба!

9 июня

Вчерашнее видение не дает мне покоя.

Возвратясь от Лапоциньских, я долго сидел перед своим письменным столом, рассматривая таинственные ручки... Я взвесил их на ладони и был поражен, как они легки сравнительно с материалом, из которого сделаны. И мне чудилось, что они становятся все легче и легче, дрожат и трепещут, и холодный мрамор нагревается в моих горячих руках... Не надо иллюзий! не поддамся новой галлюцинации!.. Призову на помощь весь свой скептицизм, буду анализировать трезво, холодно и спокойно...

Но анализ-то получается неутешительный!

Что я видел?

Я видел прекрасный призрак с розами на щеках, с синими глазами, полными грустной мольбы, — тот самый призрак, что описал, под шифром, прадеда Никита Афанасьевич. Что же? Внушил он мне эту галлюцинацию — из-за гроба, шестьдесят один год спустя после смерти, своею мистическою болтовнею? Или в самом деле у нас в доме есть свое родовое привидение, как белая дама — у Гогенцоллернов? и — за неимением другого богатства — оно именно и перешло мне в наследство? Так или иначе, но мы сошлись с пра-

дедом или на одной и той же галлюцинации, или на одном и том же призраке.

Допустим невозможное, т. е. призрак. Если призрак, то — чей? Он — двойник Ольгуси. Закрыстьян Алоизий свидетельствовал, умирая, что Ольгуся — живое воплощение Зоси Здановки. Прадед говорит что-то о la vie interrompue cruellement[1].

Смерть Зоси Здановки была насильственная. La prison de marbre...[2] не намек ли это на статую и монумент Зоси, уничтоженные, быть может, еще на памяти деда, наследниками графа Петра? Эти ручки, так похожие на руки Ольгуси...

Какой же я простак! Как было не догадаться сразу, что случай дал мне открыть забытую могилу Зоси Здановки и обломки ее знаменитой статуи — той самой таинственной статуи, что, если верить бредням хлопов, стонала, плакала и бродила по ночам, как будто приняла в себя часть жизни безвременно погибшей красавицы?

Бредни? Бредни? Однако я не знал, по крайней мере не помнил, об этих бреднях, когда встретил розовую незнакомку — как раз там, где они заставляли бродить мертвую Зосю, как раз там, где оказалась потом ее могила.

Странный розовый призрак мелькнул мне именно у кургана, откуда майский ливень добыл для меня вот этот странный розовый мрамор, так необычайно легкий, прозрачный и будто мягкий в руке...

Эти ручки — ручки Зоси Здановки, полтораста лет спящей в земле. Я сжимаю их и думаю о ней. Зачем приходила она к прадеду — такая же, как ходит теперь ко мне, с тем же выражением в лице, с тою же мукою в глазах?

Что должен был он сделать для нее? Чего не сумел сделать, чтобы успокоить ее страждущую тень? "Briser la prison de marbre"... разрушить темницу или освободить из темницы?.. Fantôme chéri... Fleur fatale... при чем тут fleur fatale? Она ли — роковой цветок, по поэтической метафоре прадеда, или... Ба! А первый отрывок, дешифрированный Августом? «Цвел 23 июня 1823... цвел 23 июня 1830... не мог воспользоваться... глупо... страшно...» Не об этом ли роковом цветке идет теперь речь? Что, если восстановить ис-

---

[1] Жизнь, прерванная жестоко *(фр.)*.
[2] Мраморная темница *(фр.)*.

порченный текст хотя бы в такой форме: «Je jure sur les roses, fleurissantes à tes joues, fantôme chéri, que je me procurerai la fleur fatale et je te rendrai à la vie, interrompue si cruellement»[1].

Клятва безумная, но разве не безумно все, что совершается теперь вокруг меня?

«Цвел 23 июня 1823... 1830...» и через семилетний промежуток намечен цвести периодически до конца столетия. Текущий 1893-й год в том числе. Таким образом, всего две недели отделяют меня от тайны de la fleur fatale[2]...

«Может быть, кому-нибудь из потомков удастся, что не удалось мне»,— пишет прадедушка, точно завещая мне, своему преемнику по мистической жажде, непонятную, но непременную миссию. Ах, Никита Афанасьевич! Бог тебе судья, заморочил ты мою голову!

10 июня

Нет больше сомнений!

Я знаю теперь, кого я видел в саду, кто заглянул ко мне через плечо, когда я мастерил фейерверк для Ольгуси, кого встретила Ольгуся в гостиной, когда была у меня,— это Зося Здановка.

Пишу это имя твердою рукою, потому что, если даже и помешан, то помешан на ней. Ее имя — та неподвижная идея, около которой вращаются мои мысли.

Вчера вечером — когда меня, одинокого, вновь окружил тот странный, густой, как будто полный незримой, но веской и тягучей материи воздух, что стал в последнее время неизменным спутником моих размышлений,— я вдруг, непостижимым экстазом, почувствовал, что какой-то могучий прилив небывалых сил словно выхватил меня из земной среды и возвысил меня над нею таинственною, сверхчеловеческою властью. Взор мой упал на мраморные ручки Зоси... Я машинально поднял их со стола, крепко сжимая мрамор, в бессознательном восторге.

---

[1] «Клянусь розами, цветущими на ланитах твоих, милый призрак, что я освобожу роковой цветок и верну тебя к жизни, прерванной так жестоко» *(фр.)*.

[2] Рокового цветка *(фр.)*.

Я чувствовал, что она, когда-то воплощенная в этом камне,— здесь, возле меня, что, стоит позвать ее, и она придет.

И я позвал ее...

Тогда от ручек пошли как будто лучи — бледные, белесовато-палевые... воздух пропитался тем мутным брожением, тою эфирною зыбью, которые до сих пор я считал обманом своего больного зрения... Казалось, предо мною происходила какая-то полузримая борьба: что-то рвалось ко мне и что-то другое не пускало... Я понял, что должен напрячь все силы своей воли — и я позвал Зосю: теперь я уже не сомневался, что это Зося!— еще... и еще...

И она явилась...

А! теперь я понимаю прадеда!

Она так несчастна! Когда я слышу ее стон, лицо ее искажается таким тяжелым и долгим страданием, что сердце мое разрывается на части, что я, вне себя, готов хоть в ад — лишь бы понять и прекратить ее горе... лишь бы возвратить ей счастье и покой, о которых она рыдает.

Зависит ли это от меня? О, да: иначе — зачем бы именно мне являлась она? Зачем я, а не любой из мужчин, любая из женщин околотка, стали жертвами ее грустного присутствия? Зависит. Я читаю это в ее голубых, отемненных слезами глазах. Она ищет в правнуке — чего не сумел дать ей прадед.

Так выскажись же, чего ты ждешь? чего тебе надо? Не мучь и себя, и меня... Или не можешь? Не вольна? Тень, достигшая материализации, но лишенная слова? Астральное тело, неосязаемое и беззвучное? Но — бесстрастное ли?

Вчера, когда она явилась, я задумался об ее удивительном сходстве с Ольгусею — и вдруг не узнал ее: так гневно вспыхнули ее глаза... Что значит этот гнев? Чем мешает ей Ольгуся? Любит она меня, что ли, ревнует? Да разве там есть любовь и ревность? А почему нет?— если вместе с телом не умирают другие человеческие страдания, почему должны умереть эти?

Чтобы разбить «фантастическое настроение», как выражается Паклевецкий, я схватил первую, попавшуюся под руку, книгу из библиотеки и стал читать, где открылась страница. Оказалось, Лермонтов. А что попалось — не угодно ли?!

Коснется ль чужое дыханье
Твоих ланит,

Моя душа, в немом страданьи,
Вся задрожит.
Случится ль, шепчешь, засыпая,
Ты о другом,
Твои слова текут, пылая,
По мне огнем.
Ты не должна любить другого,
Нет, не должна:
Ты мертвецу святыней слова
Обречена.

Словно загадал!.. Нечего сказать — утешительно!

17 июня

Дикий и страшный день!

Она чуть-чуть было не заговорила...

Но прежде чем с губ ее вырвался хоть один звук — вдруг лицо ее исказилось ужасом и отвращением, она потемнела, как земля, опрокинулась на спину, переломилась, как молодая березка, и расплылась серыми хлопьями, как дым в сырой осенний день. А я услыхал другой голос — противный и, уже несомненно, человеческий:

— Здравствуйте, граф... Что это за манипуляции вы здесь проделывали?

На пороге кабинета стоял Паклевецкий.

— Как вы взошли? Кто вас пустил?— крикнул я, будучи не в силах сдержать свое бешенство.

— Ого, как строго!— насмешливо сказал он, спокойно располагаясь в креслах.— Взошел через дверь — вольно же вам не запираться на ключ, когда заняты. А пустил меня к вам Якуб. Да вы не гневайтесь: я — гость не до такой степени некстати, как вы думаете.

— Сомневаюсь,— грубо крикнул я ему.

— Сомнение есть мать познания,— возразил он и вдруг подошел ко мне близко, близко...

— Так как же, граф?— зашептал он, наклоняясь к моему уху и пронизывая меня своими лукавыми черными глазами.— Так как же? Все Зося? А? все Зося?

Если бы потолок обрушился на меня, я был бы меньше удивлен и испуган. Я с ужасом смотрел на Паклевецкого и едва узнавал его: так было сурово и злобно его внезапно изменившееся, страшное, исхудалое лицо...

— Я не понимаю вас,— пролепетал я, стараясь отвернуться.

— Ну, что притворяться, ваше сиятельство?— холодно сказал Паклевецкий.— Будет нам играть втемную, откроем карты... Рыбак рыбака видит издалека!

— Кто вы такой?

— Как вам известно,— уездный врач Паклевецкий.

— Откуда же вы знаете?

— А вот — представьте себе: знаю. А каким образом — не все ли равно вам?

— Вы подслушали меня или прочитали мои записки?

— Ну, вот! зачем не предположить возможности, более благородной и лестной для моего самолюбия? Зачем не предположить, что я — ваш собрат по занятиям тайными науками, и, с гордостью могу сказать, собрат старший — хотя и менее вас откровенный — потому что ушел в них гораздо дальше вас и могу вам объяснить тайны, о каких не смеет даже грезить ваша мудрость.— Он важно взглянул на меня.— В том числе и тайну Зоси... Вы напрасно ломали голову над хитрою механикою этого ларчика, открывается он очень просто. И вы же сами открыли его, но позабыли, что открыли, и теперь ломитесь в дверь, не замечая, что она отворена настежь...

— Объяснитесь... я не понимаю...

— Очень просто. С помощью вашего друга, лысого ксендза Августа, вы разобрались в заглавной книжке Никиты Афанасьевича Ладьина и — отдаю вам справедливость — очень искусно комбинировали разобранное. Когда вы добрались до идеи о Зосе, я вам аплодировал из моего прекрасного далека — даю вам честное слово.

Я молчал, совершенно раздавленный его властными словами: он знал все, видел и слышал все...

— Но вы немного забывчивы,— продолжал он.— Вас сбил с толку la fleur fatale... Как же было не припомнить той странички из «Natura Nutrix», что вы даже выписали в свой дневник?

— Об Огненном Цвете?

— Ну да. О таинственном тибетском папоротнике, открывающем человеку тайну жизни. Именно он-то и есть la fleur fatale, которого искал ваш прадедушка, за которым ходила к нему Зося, а теперь ходит к вам...

— Но какое же отношение...

— Между Зосею и Огненным Цветом? Такое, что Зосю рано со света сжили, Зося жить хочет, в землю ей неохота,—

с неприятною улыбкою возразил он,— а Огненный Цвет — в ваших руках — может вернуть ее к жизни. Так ли, Зося?— спросил он вдруг, насмешливо глядя в угол кабинета. И я весь затрепетал, когда хорошо знакомый мне голос — тот самый, что так много дней уже звенел в ушах моих плакучею жалобою — отозвался тягучим — точно против воли — стоном:

— Та... а... ак!

— Вы слышали!— самодовольно засмеялся Паклевецкий, сделав рукою размашистый жест шарлатана, удачно показавшего новый фокус.

— А теперь, любезный граф, когда я, кажется, достаточно кредитовал себя в ваших глазах, как представитель практического оккультизма, позвольте немножко пуститься в теорию... Что есть жизнь, граф? Наука отвечает нам: жизнь есть сцепление частиц космических и органическое тело, смерть — распадение этих частиц. Кто владеет Огненным Цветом, властен, по своему желанию, поддерживать телесные частицы в постоянном сцеплении, вызывать такое сцепление, когда ему угодно,— то есть жить и позволять жить другим, пока не надоест, то есть вызывать к жизни мертвых в той плоти, как ходили они некогда по этой земле, воскрешать и воскресать.

— Почему это? Какою силою?

Паклевецкий пожал плечами.

— Почему разбросанные опилки железа прилипают кистью к куску магнита? Почему семь планет держатся в равновесии, притяжением солнечного шара? Разве мыслимо задавать подобные вопросы? Вы признаете ведь магнетические явления в животном мире?

— Да.

— Вы знаете, что есть на земном шаре точки, есть в природе условия, при которых магнетические явления бывают особенно ярки и выразительны?

— Да.

— Ну-с, так место, где растет Огненный Цвет,— именно такое место, и условия его цветения — наиболее благоприятное условие для проявления животного, то есть атомистического, магнетизма. Вот и все.

— Но почему?

— А почему в какой-нибудь смиреннейшей Курской губернии вдруг ни с того ни с сего дурит магнитная стрелка?

Почему искони держится морская легенда, может быть, и не вовсе нелепая, будто полюсы земли — колоссальные скалы сильнейшего магнита, притягивающие к себе все железные части кораблей, а потому и на веки вечные недоступные для мореплавателей? Огненный Цвет тянет к себе реющие в мировом пространстве жизненные атомы, как магнит — железные опилки. Воля мастера, что сделать из железных опилок. Воля магика, что вылепить из попадающих в его распоряжение атомов. Больше я ничего не могу вам сказать. Будь я шарлатан и сказочник, я бы мог вам сообщить, что Огненный Цвет есть не иное что, как выродившиеся отпрыски древа жизни, ушедшего в землю, когда Адам и Ева внесли грехом своим смерть в мир... и тому подобные средневековые бредни. Но я жрец науки, а потому откровенно говорю вам: не знаю. В лаборатории природы всегда остаются уголки, куда нашего брата, ни с каким, даже Соломоновым, ключом в руках, все-таки не пускают. Силу и закон Огненного Цвета я вам объяснил: довольствуйтесь этим для практики, без теоретических вопросов.

— Но почему я должен вам верить? Мало ли каких волшебных историй и обобщений из них может насоздать фантастически настроенный ум! А кажется, доктор,— вы, который еще так недавно упрекали меня в фантастическом настроении ума, много опередили меня в этом направлении. Конечно, если только все ваше поведение сейчас не мистификация, если вы не морочите меня.

— Нет, я вас не морочу. Да я и не требую, чтобы вы мне верили на слово. Проверьте своим опытом, посмотрите своими глазами, осязайте своими руками — тогда и поверите!..

— Ну, это мудрено,— сердито усмехнулся я,— ехать в Тибет мне далеко и не по средствам.

— Да и не надо. Зачем в Тибет? После теории позвольте немножко истории. Вы можете наблюдать тайну Огненного Цвета, не выходя из Здановского парка.

— Как? Вы бредите, доктор!

— Ничуть. Слушайте меня внимательно. Ваш прадед Никита Афанасьевич Ладьин был человек весьма крутой воли и весьма пылкого воображения. Он был пожалован Здановским маёнтком, когда память Зоси Здановки была еще совершенно свежа в околотке. Заинтересованный рассказами об ее красоте и несчастной судьбе, о таинственном остатке жизни, который сохраняла ее статуя, прежде чем уничто-

жили ее Гичовские, он влюбился в память Зоси со всею пылкостью, свойственной этому фантастическому суровому мистику... Влюбился, как Фауст в Елену. Он был человеком больших познаний и редкой магнетической силы. Властью науки, переданной ему азиатскими мудрецами, он вызвал к жизни внешнюю форму покойной Зоси, дал ей способность являться людям, но — лишь на короткие мгновения, как видите ее теперь и вы. Он не был в состоянии ни сделать ее призрак постоянным явлением, ни одухотворить его: для этого ему нужен был Огненный Цвет. Он отправился в Тибет. Опоздав к цветению Огненного Цвета на месте, он выкопал несколько кустов драгоценного папоротника и, с величайшими предосторожностями, перевез их в Россию, надеясь, через семилетний срок, овладеть цветом без новых трудов и испытаний.

Странная улыбка заиграла на губах Паклевецкого.

— Всю жизнь свою холил он это драгоценное растение. Он имел счастье дважды, в семилетние сроки, наблюдать цветение папоротника, но не сумел воспользоваться его чудесными свойствами и умер, не дождавшись третьего расцвета. По смерти его Зданов запустел, оранжерея разрушилась, а Огненный Цвет, по невежеству садовников, был выброшен в парк, как простой и никуда не годный папоротник. Но так как Огненный Цвет — неумирающее растение жизни, то он не пропал и... в полночь с 23 на 24 июня, как это было рассчитано вашим прадедом и недавно вам открыто ксендзом Августом, Огненный Цвет загорится в вашем Здановском саду.

— Не может быть.

— Если вы захотите видеть, если вы послушаетесь Зоси Здановки, то сами убедитесь, что может. Qui ne risque, ne gagne rien[1] — авось вам повезет больше, чем Никите Ладьину. Подумайте: одно движение, одна минута могут сделать вас самым богатым, самым могучим человеком на земном шаре! Ни один мудрец, ни один властитель в мире не в силах дать людям хоть крошечную долю счастия, которое вы получите: способность раздавать щедрою рукою восторги неисчерпаемых богатств и неумирающего бытия!

— Почему же прадед-то не воспользовался Огненным Цветом?

---

[1] Кто не рискует, тот ничего не выигрывает *(фр.)*.

— Потому что между ним и цветком становились могучие силы, столько же дорожащие Огненным Цветом и столько же ищущие обладания им, как и человек... Силы эти встретят и вас, когда вы пойдете искать Огненный Цвет, и предупреждаю вас: без моего участия, с вами случится то же самое, что с вашим прадедом: вы утонете в океане диких, чудовищных галлюцинаций, физический страх подавит вашу волю, и вы, ошеломленный, испуганный, бросите цветок на жертву силам, которые станут оспаривать его у вас.

— Вы требуете доли в моем будущем открытии?

— Да, но доли скромной: удовлетворения моего научного любопытства — и только. Видите ли, я имел бы право быть более требовательным, но не могу. Если я не покажу вам, где растет Огненный Цвет, вам все равно покажут его другие силы. Таким образом, я, как первый, заговоривший с вами откровенно об Огненном Цвете, просил бы у вас лишь двух милостей: одна — чтобы в поисках Огненного Цвета вы доверились одному мне и никому, никому другому... другая — чтобы вы позволили мне, первому, и — немедленно после того, как Огненный Цвет очутится в ваших руках,— произвести с ним несколько опытов...

— Почему вы лично не ищете Огненного Цвета?— спросил я по некотором размышлении.— Почему вы, зная, где это сокровище и имея возможность овладеть им нераздельно, уступаете его мне? Признаюсь, ваше великодушие для меня мало понятно... Я бы не поделился.

Паклевецкий нахмурился.

— И я бы не поделился, если бы был в силах взять его один. Потому что — я больше вас знаю, но не имею ни той духовной силы, ни той воли, какие требуются для этого дела. Вам, и только вам, можно докончить дело, начатое вашим прадедом... Согласны вы принять меня участником?

— Извольте...

— Честное слово?

— Хорошо, пожалуй, хоть и честное слово. К научным исследованиям я не ревнив, а если вы, повторяю, не мистифицируете меня и действительно Огненный Цвет обладает такими удивительными золотоискательными качествами, то — и к богатству ревновать нечего: хватит на обоих!

— Клянусь вам: со времен царя Хирама человек не имел в руках своих столько богатств, сколько получите вы!

23 июня

Сегодня ночью я буду обладать великою тайною жизни... если только тайна эта существует, если только мы оба, и я, и Паклевецкий, не сумасшедшие, странно пораженные одновременно одним и тем же бредом. Или — еще вероятнее— если он не шарлатан, не дурачит меня, как средневековый мистагог простака-неофита. Но я не позволю издеваться над собою. Если я замечу хоть тень мистификации, я его убью... Я сказал ему это. Он только рассмеялся. Значит, не боится, уверен в правде своего знания. Не о двух же он головах, чтобы шутить со мною! Кто я и каков я, ему слишком хорошо известно.

Меня смущает одно. Вот уже три дня, как мы условились с ним о поисках Огненного Цвета, и с тех пор я, кроме Якуба и Паклевецкого, не вижу никого — ни живых, ни мертвых. Он точно ограду вокруг меня поставил. Я окружен его атмосферою, как недавно был окружен атмосферою Зоси.

Я чувствую, что я весь под его влиянием; что я никогда уже не остаюсь один; что он всегда следит за мною издалека — через расстояние, сквозь двери запертые, сквозь каменные стены,— постоянно стережет меня напряженною и властною мыслью, точно боится, что я обману его, убегу, струшу, поссорюсь с ним... Это первое внушение, с которым я не в силах бороться.

Я потерял власть над духом Зоси. Я звал ее вчера, и она не пришла. Только где-то далеко-далеко раздался не то вздох, не то звон лопнувшей гитарной струны... скорбный... тяжелый... Она здесь, но не смеет показаться, точно запуганная. Отчего?.. Я чувствую в ней резкую антипатию к Паклевецкому, это он причиною, что она удаляется от меня. Откуда эта антипатия? Ведь без него я не знал бы, как помочь ей. Почему же она так печальна теперь, когда ее освобождение близко и непременно? Почему она так страшно переменилась в лице и исчезла, как дым, когда Паклевецкий застал ее в моем кабинете? Он принес мне секрет, как превратить ее из блуждающего призрака в материальное существо... он — ее благодетель, а между тем, вместо благодарности, сколько ужаса и отвращения высказал ее умирающий взгляд!

Не напрасно ли я дал ему свое слово? Не скрывается ли за помощью, им предложенной, какой-нибудь коварный умы-

сел? Не может быть! Если бы он затевал что против меня, какая выгода показывать мне цветок жизни? Паклевецкий бывает у меня каждый день... По его рецепту, я тренирую себя к поискам чудесного цветка серией магических обрядов, постом, размышлениями. Когда что-нибудь в этой серии кажется мне чересчур глупым, он неизменно повторяет мне одну и ту же фразу:

— Вспомните Фауста в кухне ведьмы. Что делать! Вы декламируете вздор, но без вздора этого нельзя! Должно быть, стихийные духи любят видеть людей дураками и в глупых положениях.

Вежлив он со мною, как никогда, до изысканности, услужлив до лакейства. А я, как нарочно, «в нервах» и то и дело говорю ему неприятные вещи. Он пропускает их мимо ушей с такою кроткою покорностью, что мне даже совестно становится, но я положительно не в силах владеть собою.

Присутствие этого человека для меня яд. Поскорее бы развязаться с ним и затем указать ему порог, чтобы не встречаться более никогда в жизни!

24 июня

Еще несколько минут, и я, быть может, буду сумасшедшим... Мозг мой горит,— я собираю последнее мужество, последние мысли, последнее присутствие духа, чтобы набросать эти строки... кто найдет... пусть верит или не верит, как хочет... мне все равно!.. Признания ли мистика, признания ли сумасшедшего — для невера немного разницы!

Да! Он существует! Я видел его, этот Огненный Цвет... он был в моей руке... и я не удержал его... не сумел, не смог удержать!

Мы с этим... с тем, кто назывался Паклевецким, чье имя теперь я не в силах произнести без трепета, проникли в парк, к тому самому размытому кургану, откуда добыта моя статуя... моя бедная, снова обездоленная, снова осужденная скитаться между жизнью и смертью Зося.

Когда на кусте бурого папоротника, как пламя, сверкнула золотая звездочка огненного цвета, я хотел протянуть к ней руку, но все члены моего тела стали, как свинцовые, ноги не хотели оторваться от земли, руки повисли, как плети.

— Что же вы?— слышал я гневный шепот над моим

ухом.— Рвите же! Рвите, пока не поздно. Ведь он и пяти секунд не цветет: сейчас осыплются листики, вы прозеваете свое счастье!

Я сделал над собою страшное усилие, но таинственные путы продолжали вязать меня по рукам и ногам! Мне чудился чей-то мрачный смех, какие-то безобразные рожи кивали мне из сумрака. Я не боялся их — я только сознавал, что это они враждебным магнетизмом своих глаз парализуют мою волю и что мне не одолеть их влияния,— оно сильнее человека.

Тогда Паклевецкий, топнув ногою, с яростью пробормотал несколько слов, и рожи исчезли; по ту сторону цветка, озаренная его отблеском,— выросла Зося... Ее взгляд, испуганный и ждущий, оживил меня... «Спаси! Дай мне жизнь! Не бойся никого и ничего! Ты господин этой минуты!» — прочел я в ее страдальческой улыбке. Я забыл страшные рожи, забыл Паклевецкого, недавняя свинцовая тяжесть свалилась с моих плеч. Я схватил цветок, земля затряслась под моими ногами, и я почувствовал вдруг, как некая непостижимая сверхъестественная сила льется в меня, и я расту, расту, и нет уже могучее меня никого на свете!.. Я видел светло, как днем, в глубокую полночь. Земля и все предметы на ней стали прозрачными, как хрусталь. Зося радостно протягивала мне руки, Зося звала. Я шагнул к ней... Паклевецкий схватил меня за руку.

— Стойте!— повелительно сказал он.— Прежде всего, исполните условие: вы дали слово уступить мне первый опыт над Огненным Цветом.

— Да, ваша правда,— сказал я и готов был уже передать ему цветок, когда взглянул нечаянно на Зосю: мгновение тому назад радостный взор ее был снова полон ужасом и отчаянием. Казалось, она предостерегала меня. Я пристально посмотрел в глаза Паклевецкого и прочел в них тревожное и злобное ожидание — взгляд хитрого коршуна, готового ринуться на добычу. Он вдруг стал мне ясен...

— Я не дам вам цветка,— сказал я, отступая от него.

— Что это значит? Вы с ума сошли?— глухо отозвался он, следуя за мною.

— Я не дам цветка, пока вы не объясните мне, зачем он вам и кто вы такой,— продолжал я.

Он все бормотал:

— Это бесчестно! Разве так держат честное слово? — и тянулся к цветку.

Я спокойно отстранил его левою рукою, а правою высоко поднял цветок над головою, так что пламенный отблеск его упал на злобное лицо доктора.

— Я понял вас,— сказал я.— Я не знаю, кто вы именно, но вы причастны к той злой силе, что оспаривает у человека власть над Огненным Цветом, власть над жизнью и смертью. Вы знали, что меня нельзя запугать никакими страхами, и потому решились вырвать у меня цветок обманом... Вы помогали мне, чтобы предать меня и отнять у меня мою добычу!

Он с хриплым криком ярости бросился на меня.

— Цветок! цветок! Отдай цветок!— рычал он,— вот уже сорок девять лет, как я стерегу этот цветок и не уступлю его тебе, мальчишке...

— Прочь, гадина!

Он лез на меня со свирепым лицом, в нем не было уже ничего человеческого. Но я не боялся. Я чувствовал себя сильнее этого безобразного существа, охватившего меня своими цепкими лапами... Он уже обессилевал... Я напрягся, чтобы последним усилием свалить его на землю...

И вдруг, в одно мгновение ока, он сделался в моих руках тонким и высоким, как шест. И когда, не встречая сопротивления в его теле, я споткнулся и, едва удержавшись на ногах, в изумлении неожиданности глянул вверх,— вместо знакомого лица моего врага на меня с шипением оскалились три змеиные головы с янтарными глазами...

Я позабыл о цветке, дрожащем в моих пальцах,— и думал только о самозащите. Я схватил чудовище за его длинную шею, и в это время золотая звездочка мелькнула перед моими глазами: это упал на землю Огненный Цвет и рассыпался кучею золотых лепестков, вновь поколебав землю точно вулканическим ударом.

И в тот же миг все пропало: и чудовище, и звездочка, и Зося... Парк был темен и пуст... Бурый папоротник уныло качался под ночным ветром... Мне чудились далекие стоны и грубый язвительный хохот... Я понял, что все потеряно... я не выдержал испытания. И вот — возвратясь, я сижу теперь один со своими мыслями и спешу занести их на бумагу, потому что стыд, гнев сводят меня с ума. И, кроме стыда и гнева, еще сомнение: не сном ли сплошным, не ря-

дом ли галлюцинаций была в последние дни моя жизнь. Я написал, что тороплюсь записать прежде, чем сойду с ума... а может быть, я уже сошел давно? Но так или иначе, было или не было все, что я, казалось мне, пережил,— я переживал это настолько ярко, что яркостью этою заслонилась вся моя прежняя жизнь... И через семь лет... через семь лет... он, таинственный Огненный Цвет, опять засияет в Здановском парке своими радужными красками, подобный падучей звезде, скатившейся в темную ночь... О, если я только не умру, если только безумие не прикует меня к одинокой келье, мы еще поборемся!.. и уже в другой раз я не останусь побежденным!.. Прости меня, Зося. Прости и жди!— не отчаивайся: будет и на нашей улице праздник!.. И верь мне: он недалек, недалек, недалек...

История одного сумасшествия

В маленьком красивом театре города Корфу ставили для открытия сезона Вагнерова «Лоэнгрина».

Торжество «премьеры» собрало на спектакль весь местный «свет» — корфиотов постоянных и временных, здоровых островитян и болеющих иностранцев. Впрочем, не все «болеющих». В первом ряду кресел, прямо позади капельмейстерского места, сидели два господина, столь цветущего вида, что на них в антрактах оперы с любопытством обращались бинокли почти из всех лож. Особенно нравился младший из двух — огромный, широкоплечий блондин, с пышными волнами волос, зачесанных назад, без пробора, над добродушным, открытым лицом, с которого застенчиво и близоруко смотрели добрые иссера-голубые глаза. Несмотря на длинную золотистую бороду английской стрижки, молодца этого даже по первому взгляду нельзя было принять ни за англичанина, ни за немца; сразу бросался в глаза мягкий и расплывчатый славянский тип. И действительно, гигант был русский, из Москвы, по имени, отчеству и фамилии Алексей Леонидович Дебрянский. Сосед его, тоже русский, темно-русый, в одних усах, без бороды, был пониже ростом и жиже сложением, зато брал верх над соотечественником смелою свободою и изяществом осанки, чего москвичу сильно не хватало. Загорелое, значительно помятое жизнью и уже не очень молодое лицо второго русского — скорее эффектное, чем красивое,—

оживлялось быстрыми карими глазами, умными и проницательными на редкость; видно было, что обладатель их — тертый калач, бывалый и на возу, и под возом, и мало чем на белом свете можно его смутить и удивить, а испугать — лучше и не браться. Наружность интересного господина соответствовала репутации, которая окружала его имя: это был граф Валерий Гичовский, знаменитый путешественник и всесветный искатель приключений, полуученый, полумистик, для одних — мудрец, для других — опасный фантазер, сомнительный авантюрист-бродяга.

Дебрянский всего лишь утром прибыл на Корфу с пароходом из Патраса, встретил графа в кафе на Эспланаде, познакомился, разговорился, счелся общими знакомыми — и даже чувствовалось, что они сдружатся. Дебрянский был очень счастлив, что случай послал ему навстречу такого опытного путешественника, как Гичовский. Вопреки своей богатырской внешности, Алексей Леонидович странствовал не совсем по доброй воле,— врачи предписали ему провести, по крайней мере, год под южным солнцем, не смея даже думать о возвращении в северные туманы. И вот теперь он приискивал себе уголок, где бы зазимовать удобно, весело и недорого. Человек он был не бедный, но сорить деньгами в качестве знатного иностранца и не хотел, и не мог.

Что он болен, Дебрянский, по выезде из Москвы, никому не признавался и сам желал о том позабыть, выдавая себя просто за туриста и ведя соответственно праздный образ жизни. Нервная болезнь, выгнавшая его с родины, была очень странного характера и развилась на весьма необыкновенной почве.

Незадолго перед тем, как Дебрянскому заболеть, сошел с ума короткий приятель его, присяжный поверенный Петров, веселый малый, один из самых беспардонных прожигателей жизни, какими столь бесконечно богата наша Первопрестольная. Психоз Петрова, возникнув на люэтической подготовке, вырастал медленно и незаметно. Решительным толчком к сумасшествию явился трагический случай, страшно потрясший расшатанные нервы больного. У него завязался любовный роман с одною опереточною певицею, настолько серьезный, что в Москве стали говорить о близкой женитьбе Петрова. Развеселый адвокат не опровергал слухов...

Однажды, возвратясь домой из суда, он не мог дозвониться у своего подъезда, чтобы ему отворили. Черный ход

оказался тоже заперт, а — покуда встревоженный Петров напрасно стучал и ломился — подоспели с улицы кухарка и лакей его. Они тоже очень изумились, что квартира закупорена наглухо, и рассказали, что уже с час тому назад молоденькая домоправительница Петрова, Анна Перфильевна, услала их из дому за разными покупками по хозяйству, а сама осталась одна в квартире. Тогда сломали двери и — в рабочем кабинете Петрова, на ковре — нашли Анну мертвою, с раздробленным черепом; она застрелилась из револьвера, который выкрала из письменного стола своего хозяина, сломав для того замок. Найдена была обычная записка: «Прошу в моей смерти никого не винить, умираю по своим неприятностям». Петров был поражен страшно. Еще года не прошло, как, во время одной блестящей своей защиты в провинции, он сманил эту несчастную — простую перемышльскую мещанку. Что самоубийство Анны было вызвано слухами о его женитьбе, Петров не мог сомневаться. В корзине для бумаг под письменным столом, у которого подняли мертвую Анну, он нашел скомканную записку ее к нему, начатую было — как видно — перед смертью, но неконченную. «Что ж? Женитесь, женитесь... а я вас не оставлю...» — писала покойная и — больше ничего, только перо, споткнувшись, разбросало кляксы.

Петрову не хотелось расставаться с квартирою, хотя и омраченною страшным происшествием: его связывал долгосрочный контракт, с крупною неустойкою. Однако он выдержал характер лишь две недели, а затем все-таки бросил деньги и переехал: жутко стало в комнатах, и прислуга не хотела жить. В день, как похоронили Анну, Петров, измученный впечатлениями и сильно выпив на помин грешной души покойной, задремал у себя в кабинете. И вот видит он во сне: вошла Анна, живая и здоровая,— только бледная очень и холодная, как лед,— села к нему на колени, как, бывало, при жизни, и говорит своим тихим, спокойным голосом:

— Вы, Василий Яковлевич, женитесь, женитесь... только я вас не оставлю, не оставлю...

И стала его целовать так, что у него дух занялся. Петров с удовольствием отвечал на ее бешеные ласки, как вдруг его ударила страшная мысль: «Что ж я делаю? Как же это может быть? Ведь она мертвая».

И тут он, охваченный неописуемым ужасом, заорал благим матом и проснулся — весь в поту, с головою тяжелою,

как свинец, от трудного похмелья, и в отвратительнейшем настроении духа.

На новой квартире он закутил так, что по всей Москве молва прошла. Потом вдруг заперся, стал пить в одиночку, никого не принимая, даже свою предполагаемую невесту, опереточную певицу. Потом также неожиданно явился к ней позднею ночью — дикий, безобразный, но не пьяный — и стал умолять, чтобы поторопиться свадьбою, которую сам же до сих пор оттягивал. Певица, конечно, согласилась, но поутру — суеверная, как большинство актрис,— поехала в Грузины, к знаменитой цыганке-гадалке, спросить насчет своей судьбы в будущем браке...

Вернулась в слезах...

— В чем дело? Что она вам сказала?— спрашивал невесту встревоженный жених.

Та долго отнекивалась, говорила, что «глупости», наконец призналась, что гадалка напрямик ей отрезала:

— Свадьбы не бывать. А если и станется, на горе твое. Он не твой. Промежду вас мертвым духом тянет.

Петров выслушал и не возразил ни слова. Он стоял страшно бледный, низко опустив голову. Потом поднял на невесту глаза, полные холодной, язвительной ненависти, дико улыбнулся и тихим, шипящим голосом произнес:

— Пронюхали...

Он прибавил непечатную фразу. Певица так от него и шарахнулась. Он взял шляпу, засмеялся и вышел. Больше невеста его никогда не видала.

В дворянском собрании был студенческий вечер. Битком полный зал благоговейно безмолвствовал: на эстраде стояла Мария Николаевна Ермолова — эта величайшая трагическая актриса русской сцены — и, со свойственною ей могучею экспрессией, читала «Коринфскую невесту» Гете, в переводе Алексея Толстого... Когда, величественно повысив свой мрачный голос, артистка медленно и значительно отчеканила роковое завещание мертвой невесты-вампира:

И, покончив с ним,
Я пойду к другим,
Я должна идти за жизнью вновь,—

за колоннами раздался захлебывающийся вопль ужаса, и здоровенный мужчина, шатаясь, как пьяный, сбивая с ног встречных, бросился бежать из зала, среди общих криков и

смятения. Это был Петров. У выхода полицейский остановил его. Он ударил полицейского и впал в бешеное буйство. Его связали и отправили в участок, а поутру безумие его выразилось столь ясно, что оставалось лишь сдать его в лечебницу для душевнобольных. Врачи определили прогрессивный паралич в опасном буйном периоде бреда преследования. Ему чудилось, что покойная Анна, его любовница-самоубийца, навещает его из-за гроба, и между ними продолжаются те же ласки, те же отношения, что при жизни, и он не в силах сбросить с себя иго страшной посмертной любви, а чувствует, что она его убивает. Вскоре буйство с Петрова сошло — и он стал умирать медленно и животно, как большинство прогрессивных паралитиков. Галлюцинации его не прекращались, но он стал принимать их совершенно спокойно, как нечто должное, что в порядке вещей.

Дебрянский, старый университетский товарищ Петрова, был свидетелем всего процесса его помешательства. В полную противоположность Петрову, он был человеком редкого равновесия физического и нравственного, отличного здоровья, безупречной наследственности. Звезд с неба не хватал, но и в недалеких умом не числился, в образцы добродетели не стремился, но и в пороки не вдавался,— словом, являлся примерным типом образованного московского буржуа, на холостом положении, завидного жениха и, впоследствии, конечно, прекрасного отца семейства. Когда Петров начал чудачить чересчур уже дико, большинство приятелей и собутыльников стали избегать его: что за охота сохранять близость с человеком, который вот-вот разразится скандалом? Наоборот, Дебрянский — вовсе не бывший с ним близок до того времени — теперь, чувствуя, что с этим одиноким нелепым существом творится что-то неладное, стал чаще навещать его. Продолжал свои посещения и впоследствии, в лечебнице. Петров его любил, легко узнавал и охотно с ним разговаривал. Дебрянский был человек любопытный и любознательный. «Настоящего сумасшедшего» он видел вблизи в первый раз и наблюдал с глубоким интересом.

— А не боитесь вы расстроить этими упражнениями свои собственные нервы?— спросил его ординатор лечебницы, Степан Кузьмич Прядильников, на чьем попечении находился Петров.

Дебрянский только рассмеялся в ответ:

— Ну, вот еще! Я — как себя помню — даже не чув-

ствовал ни разу, что у меня есть нервы; хоть бы узнать, что за нервы такие бывают.

В дополнение к своим визитам в лечебницу, Дебрянского угораздило еще попасть в кружок оккультистов, который, следуя парижской моде, учредила в Москве хорошенькая барынька-декадентка, жена Радолина, компаньона Дебрянского по торговому товариществу «Дебрянского сыновья, Радолин и К°». Над оккультизмом Алексей Леонидович смеялся, да и весь кружок был затеян для смеха, и приключалось в нем больше флирта, чем таинственностей. Но Дебрянского, как неофита, для первого же появления в кружке, нагрузили сочинениями Элифаса Леви и прочих мистологов XIX века, которые он, по добросовестной привычке к внимательному чтению, аккуратнейшим образом изучил от доски до доски, изрядно одурманив их чертовщиною свою память и расстроив воображение. Однажды он рассказал своим коллегам-оккультистам про сумасшествие Петрова.

— О! — возразил ему старик, важный сановник, считавший себя адептом тайных наук, убежденный в их действительности несколько более, чем другие. — О! Почему же сумасшедший? Сумасшествие? Хе-хе! Разве это новый случай? Он стар, как мир! Ваш друг не безумнее нас с вами, но он действительно болен ужасно, смертельно, безнадежно. Эта Анна — просто ламия, эмпуза, говоря языком древней демонологии... Вот и все! Прочтите Филострата: он описал, как Аполлоний Тианский, присутствуя на одной свадьбе, вдруг признал в невесте ламию, заклял ее, заставил исчезнуть и тем спас жениха от верной гибели... Вот! Ваш Петров во власти ламии, поверьте мне, а не безумный, нисколько не безумный...

Дебрянский слушал шамканье старика, смотрел на его дряблое, бабье лицо с бесцветными глазами и думал: «Посадить твое превосходительство с другом моим Васильем Яковлевичем в одну камеру — то-то вышли бы вы два сапога — пара!»

— Смотрите, Алексей Леонидович! — со смехом смешалась хозяйка дома, — берегитесь, чтобы эта ламия, или как ее там зовут, не набросилась на вас. Они ведь ненасытные!

— Если бы я была ламией, — перебила другая бойкая барынька, — я бы ни за что не стала ходить к Петрову, — он такой скверный, грубый, пьяный, уродливый!.. Нет, я полюбила бы какого-нибудь красивого-красивого.

— Да уж, разумеется, вести загробный роман с Петровым, когда тут же налицо le beau Debriansky[1],— это непростительно! У этой глупой ламии нет никакого вкуса!

Алексей Леонидович улыбался, но шутки эти почему-то не доставляли ему ни малейшего удовольствия, а напротив, шевелили где-то в глубоком уголке души — новое для него,— жуткое суеверное чувство.

Когда Петров принимался бесконечно повествовать о своей неразлучной мучительнице Анне, было и жаль, и тяжко, и смешно его слушать. Жаль и тяжко, потому что говорил он о галлюцинации ужасного, сверхъестественного характера, которую никто не в силах был представить себе без содрогания. А смешно — до опереточного смешно,— потому что тон его при этом был самый будничный, повседневный тон стареющего фата, которому до смерти надоела капризная содержанка, и он рад бы с нею разделаться, да не смеет или не может.

— Я поссорился вчера с Анною, начисто поссорился,— ораторствовал он, расхаживая по своей камере и стараясь заложить руки в халат без карманов тем же фатовским движением, каким когда-то клал их в карманы брюк, при открытой визитке.

— За что же, Василий Яковлевич?— спросил ординатор, подмигивая Дебрянскому.

— За то, что неряха! Знаете, эти русские наши Церлины,— сколько ни дрессируй, все от них деревенщиной отдает... Хоть в семи водах мой! Приходит вчера, шляпу сняла, проводим время честь честью, целуемся. Глядь, а у нее тут вот, за ухом, все — красное, красное... «Матушка! Что это у тебя?» — «Кровь...» — «Какая кровь?» — «Как какая? Разве ты позабыл? Ведь я же застрелилась...» Ну, тут я вышел из себя, и — ну, ее отчитывать!... «Всему,— говорю,— есть границы: какое мне дело, что ты застрелилась? Ты на свидание идешь, так можешь, кажется, и прибраться немножко! Я крови видеть не могу, а ты мне ее в глаза тычешь! Хорошо, что я нервами крепок, а другой бы ведь...» Словом, жучил ее, жучил — часа полтора! Ну, она молчит, знает, что виновата... Она ведь и живая-то была мо-ол-ча-ли-вая,— протянул он с внезапною тоскою.— Крикнешь на нее, бывало,— молчит... все молчит... все молчит...

---

[1] Прекрасный Дебрянский *(фр.)*.

— Вот тоже,— оживляясь, продолжал он,— сыростью от нее пахнет ужасно, холодом несет, плесенью какою-то... Каждый день говорю ей: «Что за безобразие?» Извиняется: «Это от земли, от могилы». Опять я скажу: «Какое мне дело до твоей могилы? В могиле можешь чем угодно пахнуть, но, раз ты живешь с порядочным человеком, разве так можно? Вытирайся одеколоном, духов возьми... опопонакс, корилопсис, есть хорошие запахи... поди в магазин, к Брокару там или Сиу какому-нибудь и купи». А она мне на это, дура этакая, представьте себе: «Да ведь меня, Василий Яковлевич, в магазин-то не пустят, мертвенькая ведь я...» Вот и толкуй с нею!

В другой раз Петров, когда Алексей Леонидович долго у него засиделся, бесцеремонно выгнал его от себя вместе с ординатором.

— Ну вас, господа, к черту! Посидели, и будет!— суетливо говорил он, кокетливо охорашиваясь пред воображаемым зеркалом,— она сейчас придет... не до вас нам теперь. Я уже чувствую: вот она... на крыльцо теперь вошла... ступайте, ступайте, милые гости! Хозяева вас не задерживают!

— Ну, bonne chance pour tout![1]— засмеялся ординатор,— вы хоть бы когда-нибудь показали нам ее, Василий Яковлевич? А?

— Да, дурака нашли,— серьезно отозвался Петров.— Нет, батюшка, я рогов носить не желаю. А впрочем,— переменил он тон,— вы, наверное, встретите ее в коридоре... Ха-ха-ха! Только не отбивать! Только не отбивать!

И он залился хохотом, грозя пальцем то тому, то другому.

На Дебрянского эта сцена произвела удручающее впечатление. В коридоре он шел следом за Прядильниковым, потупив голову, в глубоком раздумье... А ординатор ворчал, озабоченно нюхая воздух.

— Опять эти идолы, сторожа, открыли форточку во двор. Черт знает, что за двор! Малярийная отрава какая-то,— и холод его не берет... Чувствуете, какая миазматическая сырость?

В самом деле, Дебрянского пронизало до костей холодною, влажною струею затхлого воздуха, летевшего им навстречу. Степан Кузьмич, с ловкостью кошки, вскочил на высокий подоконник и собственноручно захлопнул преступ-

[1] Удачи во всем! *(фр.)*

ную форточку, с сердцем проклиная домохозяев вообще, а своего в особенности...

— Нечего сказать, в славном месте держим лечебницу.

Он крепко соскочил на пол и зашагал далее. В темном конце коридора, близко к выходу, он столкнулся лицом к лицу с дамою в черном платье. Она показалась Дебрянскому небольшого роста, худенькою, бледною, глаз ее было не видать под вуалем. Ординатор поменялся с нею поклоном, сказал: «Здравствуйте, голубушка!» — и прошел. Вдруг он перестал слышать позади себя шаги Дебрянского... Обернулся и увидал, что тот стоит — белый, как мел, бессильно прислонясь к стене, и держится рукою за сердце, дико глядя в спину только что прошедшей дамы.

— Вам дурно? Припадок?— бросился к нему врач.

— Э... э... это что же?— пролепетал Дебрянский, отделяясь от стены и тыча пальцем вслед незнакомке.

— Как что? Наша кастелянша, Софья Ивановна Круг.

Дебрянский сразу покраснел, как вареный рак, и даже плюнул от злости.

— Нет, доктор, вы правы: надо мне перестать бывать у вас в лечебнице. Тут нехотя с ума сойдешь... Этот Петров так меня настроил... Да нет! Я даже и говорить не хочу, что мне вообразилось.

Оберегая свои нервы, Дебрянский перестал бывать у Петрова и вернул Радолиной Элифаса Леви, Сара Пеладана и весь мистический бред, которым было отравился.

— Ну их! От них голова кругом идет.

— Ах, изменник!— засмеялась Радолина,— ну, а что ваш интересный друг и его прекрасная ламия? Влюблена она уже в вас или нет?

— Типун бы вам на язык!— с неожиданно искреннею досадою возразил Алексей Леонидович.

Недели две спустя докладывают ему в конторе, что его спрашивает солдат из лечебницы с запискою от главного врача. Последний настойчиво приглашал его к Петрову, так как у больного выпал светлый промежуток, которым он сам желал воспользоваться, чтобы дать Дебрянскому кое-какие распоряжения по делам. «Торопитесь,— писал врач,— это последняя вспышка, затем наступит полное отупение, он накануне смерти».

Дебрянский отправился в лечебницу пешком,— она отстояла недалеко,— захватив с собою посланного солдата. Это

был человек пожилой, угрюмого вида, но разговорчивый. По дороге он посвятил Дебрянского во все хозяйственные тайны странного, замкнутого мирка лечебницы, настоящею королевою которой — по интимным отношениям к попечителю учреждения — оказывалась кастелянша, та самая Софья Ивановна Круг, что встретилась недавно Дебрянскому с ординатором в коридоре, у камеры Петрова. По словам солдата, весь медицинский персонал был в открытой войне с этою особою. «Только супротив нее и сам господин главный врач ничего не могут поделать, потому что десять лет у его сиятельства в экономках прожила и до сих пор от них подарки получает». Солдат защищал врачей, ругал Софью Ивановну ругательски и сожалел князя-попечителя.

— И что он в ней, в немке, лестного для себя нашел? Никакой барственной деликатности! Рыжая, толстая — одно слово слон персидский!

Алексея Леонидовича словно ударили.

— Что-о-о? — протянул он, приостанавливаясь на ходу, — ты говоришь: она рыжая, толстая?

— Так точно-с. Гнедой масти — сущая кобыла ногайская.

У Дебрянского сердце замерло и холод по спине побежал: значит, они встретили тогда не Софью Ивановну Круг, а кого-то другую, совсем на нее не похожую, и ординатор солгал... Но зачем он солгал? Что за смысл был ему лгать?

Страшно смущенный и растерянный, он собрался с духом и спросил у солдата:

— Скажи, брат, пожалуйста, как у вас в лечебнице думают о болезни моего приятеля Петрова?

Солдат сконфузился:

— Что же нам думать? Мы не доктора.

— Да что доктора-то говорят, я знаю. А вот вы, служители, не приметили ли чего-нибудь особенного?

Солдат помолчал немного и потом, залпом, решительно выпалил:

— Я, ваше высокоблагородие, так полагаю, что им бы не доктора надо, а старца хорошего, чтобы по требнику отчитал.

И, почтительно приклоня рот свой к уху Дебрянского, зашептал:

— Доктора им, по учености своей, не верят, говорят «воображение», а только они, при всей болезни своей, правы: ходит-с она к ним.

— Кто ходит?— болезненно спросил Дебрянский, чувствуя, как сердце его теснее и теснее жмут чьи-то ледяные пальцы.

— Анна эта... ихняя, застреленная-с...

— Бог знает что!

Дебрянский зашагал быстрее.

— Ты видел?— отрывисто спросил он на ходу, после короткого молчания.

— Никак нет-с. Так чтобы фигурою — не случилось, а только имеем замечание, что ходит.

— Какое же замечание?

— Да вот хоть бы намедни, Карпов, товарищ мой, был дежурный по коридору. Дело к вечеру. Видит: лампы тускло горят. Стал заправлять — одну, другую... только вот откуда-то его так и пробирает холодом, сыростью так и обдает — ровно из погреба.

— Ну-ну...— лихорадочно торопил его Дебрянский.

— Пошел Карпов по коридору смотреть, где форточка открыта. Нет, все заперты. Только обернулся он и видит: у Петрова господина в номер дверь приотворилась и затворилась... и опять мимо Карпова холодом понесло... Карпову и взбрело на мысль: а ведь это не иначе, что больной стекло высадил да бежать хочет... Пошел к господину Петрову, а тот — без чувствия, еле жив лежит... Окно и все прочее цело... Ну, тут Карпов догадался, что это у них Анна ихняя в гостях была, и обуял его такой страх, такой страх... От службы пошел было отказываться, да господин главный врач на него как крикнет! Что, говорит, ты, мерзавец этакий, бредни врешь? Вот я самого тебя упрячу, чтобы тебе в глазах не мерещилось...

— Ему не мерещилось,— с внезапным убеждением сказал Дебрянский.

— Так точно, ваше высокоблагородие, человек трезвый, своими глазами видел. Да разве с господином главным врачом станешь спорить?

Петрова Алексей Леонидович застал в постели, крайне слабым, но вполне разумным. Говорил он тихим, упавшим голосом.

— Вот что, брат Алексей Леонидович,— шептал он, чувствую, что капут, разделка... ну и того... хотел проститься, сказать нечто...

— Э! Поживем еще!— бодро стал было утешать его Дебрянский, но больной отрицательно покачал головою.

— Нет, кончено, умираю. Съела она меня, съела... Вы не гримасничайте, Степан Кузьмич,— улыбнулся он в сторону ординатора,— это я про болезнь говорю: съела, а не про другое что...

Тот замахал руками:

— Да Бог с вами! Я и не думал!

— Так вот, любезный друг, Алексей Леонидович,— продолжал Петров,— во-первых, позволь тебя поблагодарить за все участие, которое ты мне оказал в недуге моем... Один ведь не бросил меня околевать, как собаку.

— Ну, что там... стоит ли?— пробормотал Дебрянский.

— Затем — уж будь благодетелем до конца. Болезнь эта так внезапно нахлынула, дела остались неразобранными, в хаосе... Ну, клиентурою-то совет распорядится, а вот по части личного моего благосостояния, просто уж и ума не приложу, что делать. Прямых наследников у меня, как ты знаешь, нету. Завещания не могу уже сделать: родственники оспаривать будут дееспособность и, конечно, выиграют... Между тем хотелось бы, чтобы деньги пошли на что-нибудь путное... Да... о чем бишь я?

Глаза его помутились было и утратили разумное выражение, но он справился с собою и продолжал:

— Так вот завещания-то я не могу сделать, а между тем мне бы хотелось и тебе что-нибудь оставить на память... на память, чтобы не забыл... Дрянь у меня родня, ничего не дадут... на память, чтобы не забыл... Анне-бедняжке памятник следовало бы... Мертвенькая она у меня... памятник, чтобы не забыл...

Он страшно слабел и путал слова. Ординатор заглянул ему в лицо и махнул рукою.

— Защелкнуло!— сказал он с досадою.— Теперь вы больше толку от него не добьетесь! Он уже опять бредит.

Больной тупо посмотрел на него.

— Ан не брежу!— хитро и глупо сказал он,— завещание! Вот что!.. Дебрянскому — чтобы не забыл! Что? Брежу? Только завещать — тю-тю! Нечего! Вот тебе и — чтобы не забыл. А вы — брежу! Как можно? Завещание Анна съела... хе-хе! глупа — ну, и съела! Ну, и шиш тебе, Алексей Леонидович! Шиш с маслом!

И он стал смеяться тихим, бессмысленным смехом. Потом,

как бы пораженный внезапною мыслью, уставился на Дебрянского и долго рассматривал его пристально и серьезно. Потом сказал медленно и важно:

— А знаешь что, Алексей Леонидович? Завещаю-ка я тебе свою Анну?

— Угостил!— улыбнулся ординатор, а Дебрянский так и встрепенулся, как подстреленная птица:

— Господи! Василий Яковлевич! Что ты только говоришь?

Больной снисходительно замахал руками:

— Не благодари, не благодари... не стоит! Анну — тебе, твоя Анна... ни-ни! Кончено! Бери, не отнекивайся!.. Твоя! Уступаю!.. Только ты с нею строго, строго, а то она — у-у-у какая! Меня съела и тебя съест. Бедовая! Чувства гасит, сердце высушивает, мозги помрачает, вытягивает кровь из жил. Когда я умру, вели меня анатомировать. Увидишь, что у меня вместо крови — одна вода и белые шарики... как бишь их там?.. Хоть под микроскоп! Ха-ха-ха! И с тобою то же будет, друг, Алексей Леонидович, и с тобой! Она, брат, молода: жить хочет, любить. Ей нужна жизнь многих, многих...

Дебрянский слушал этот хаос слов с каким-то глухим отчаянием.

— Да что вы!— шептал ему ординатор,— на вас лица нету... Опомнитесь! Ведь это же бред сумасшедшего...

А Петров лепетал:

— Я давно ее умоляю, чтобы она перестала меня истязать. Что, мол, тебе во мне? Ты меня всего иссушила. Я — выеденное яйцо, скорлупа без ореха. Дай мне хоть умереть спокойно, уйди. Она говорит: уйду, но дай мне, взамен себя, другого. Сказываю тебе: молода, не дожила свое и не долюбила. Ну что ж? Ты приятель мой, друг, я тебе благодарен... вот ты ее и возьми, приюти, пусть тебя любит... ты стоишь... возьми, возьми!

— Уйдем! Это слишком тяжело!— пробормотал Дебрянский, потянув ординатора за рукав.

— Да, невесело!— согласился тот. Они вышли.

И, покончив с ним,
Я пойду к другим,
Я должна, должна идти за жизнью вновь...—

летела им вслед безумная декламация и хохот Петрова.

Очутясь в коридоре, Дебрянский огляделся, как после тяжелого сна, и, вспомнив нечто, взял ординатора за руку.

— Степан Кузьмич!— сказал он дружеским и печальным голосом,— зачем вы мне тогда солгали?

Прядильников вытаращил на него глаза:

— Когда?!

— А помните, вот на этом самом месте мы встретили...

— Софью Ивановну Круг. Помню, потому что вам тогда что-то почудилось и вы чуть не упали в обморок.

— Это не Софья Ивановна была, Степан Кузьмич.

Ординатор пристально взглянул ему в лицо.

— Извините меня, голубчик, но вам нервочки подтянуть надобно!— мягко сказал он.— Как не Софья Ивановна? Да хотите, мы позовем ее сейчас, самое спросим.

И он толкнул Дебрянского в боковую дверь, за которою помещалась амбулаторная приемная.

— Софья Ивановна!— крикнул он, отворяя еще какую-то дверь,— благоволите пожаловать сюда.

— Gleich![1]

Выплыла огромная, казенного образца немка aus Riga[2], с молочно-голубыми глазами и двойным подбородком.

— Вот-с...— показал в ее сторону всей рукою ординатор,— Софья Ивановна! Голубушка! Вы помните, как, с неделю тому назад, встретили меня вот с этим господином возле нумера господина Петрова.

— Oh, ja![3]— протянула немка голосом сырым и сдобным.— Я ошень помниль. Потому что каспадин был ошень bleich[4], и я ошень себе много удивлений даваль, зашем такой braver Herr[5] есть так много ошень bleich...

— Ну-с? Вы слышали?— засмеялся ординатор, Дебрянский был поражен до исступления. Свидетельство немки непременно доказывало, что Степан Кузьмич его не морочил, а между тем он присягнуть был готов, что у встреченной тогда дамы был другой овал лица, другие стан, рост...

«Да не столковались же они, наконец, нарочно мистифицировать меня!— подумал он с тоскою,— когда им было, и зачем».

---

[1] Сейчас! *(нем.)*

[2] Из Риги *(нем.)*.

[3] О, да! *(нем.)*

[4] Бледный *(нем.)*.

[5] Бравый господин *(нем.)*.

И, вежливо улыбнувшись, он обратился к Софье Ивановне:

— Извините, пожалуйста. Я вот спорил со Степаном Кузьмичом. Мне тогда вы показались совсем не такою.

— О! Я из бань шел,— получил он прозаический и добродушный ответ.— Из бань шеловек hat immer[1] разный лизо, и я имел лизо весьма ошень разный...

Глупая немка, «с весьма очень разным лицом», своим комическим вмешательством в фантастическую трагедию жизни Петрова, так ошеломила и успокоила Дебрянского, что он вышел из лечебницы с легким сердцем, хохоча над своим легковерием, как ребенок. По пути из лечебницы он, пересекая Пречистенский бульвар, встретил сановника-оккультиста. Старичок совершал предобеденную прогулку и заглядывал под шляпки гувернанток и платочки молоденьких нянь, вечно гуляющих с детьми по этому бульвару, решительно без всякого опасения нарваться на какую-нибудь эмпузу или ламию. Дебрянский прошел вместе с ним всю бульварную линию.

— О!— сказал старый чудак, когда Дебрянский, смеясь, рассказал, какую штуку сыграли с ним расстроенные нервы.— О! Вы совершенно напрасно так легко разуверились. Меня эта история только убеждает в моем первом предположении — что вы имеете дело с ламией. Они ужасные бестии, эти ламии,— могут принимать какой угодно вид и форму, когда на них смотрят живые люди... Да! Так что вы, молодой друг мой, несомненно видели не эту толстомясую немку,— которая, впрочем, столь аппетитна, что, я надеюсь, вы не откажете сообщить мне ее адрес!— но ламию, самую настоящую ламию, в настоящем ее виде. А господину ординарцу она представилась немкою... еще раз очень прошу вас: дайте мне ее адрес.

На мгновение Дебрянского как бы ожгло.

«Глупости!— с досадою сказал он про себя,— довольно дурить! Пора взять себя в руки! Что я — семидесятилетний рамолик, что ли, выживший из ума?»

И, расхохотавшись, он завел с генералом фривольный разговор о ламиях, немках и встречаемых гуляющих дамах.

---

[1] Всегда имеет *(нем.)*.

В контору свою Дебрянский уже не пошел. Он очень весело провел день, был в театре, потом поужинал с знакомым в «Эрмитаже» и вернулся домой часу в третьем утра. Уютная холостая квартирка встретила его теплом и комфортом. В спальне, ласково грея, тлел камин. У Дебрянского была привычка — перед сном выкуривать папиросу около огонька. Он разделся и, в одном белье, сел в кресло у камина, подбросив в него еще два полена дров. Огонь вспыхнул, ярко озарил всю комнату красным шатающимся светом. Алексей Леонидович сидел, курил и чувствовал себя очень в духе... Он вспоминал только что виденную веселую оперетку, с примадонною, такою же толстою, как утром немка в лечебнице, с ее очень разным лицом, вспомнил, как глупо мешала она немецкие слова с русскими...

«Уж не умеешь говорить по-русски,— качаясь в кресле, рассуждал он незаметно засыпающим умом,— так говори по-иностранному... иностранные слова... Да!.. цивилизация, поэзия, абрикотин... Тьфу! Что это я?!» — опамятовался он и, встрепенувшись от дремы, подобрал выпавшую было изо рта на колени папиросу, но сейчас же уронил ее снова и заклевал носом.

«А многие есть и образованные,— продолжало качать его,— не знают говорить иностранные слова,— да... цивилизация, Стэнли, апельсин... иностранные... А поэзия это особо... Вавилов, музыкант, «дуэт» не может выговорить, все на первый слог ударяет... Образованный, иностранный, а не может... дует Глинки, дует Стэнли, апельсинизация... Дует, дует, откуда, зачем дует?.. В коридоре дует... ужасно скверно, когда дует...»

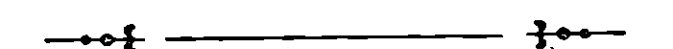
Дебрянский недовольно повернулся в кресле, потому что на него в самом деле потянуло холодком, и слева, откуда дуло, он услыхал, над самым своим ухом, будто кто-то греет руки: ладонь защуршала о ладонь... Он лениво взглянул в ту сторону. На ручке ближайшего кресла — чуть видная в багряном отблеске потухающего камина — сидела маленькая, худенькая женщина в черном и, покачиваясь, терла, будто с холоду, рука об руку.

«Это... та! Немка из лечебницы!— спокойно подумал Дебрянский,— ишь, как иззябла... да, дует, дует... иностранная немка, с весьма очень разным лицом».

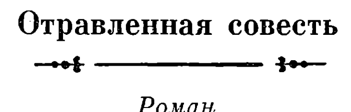
Черненькая женщина все грелась и мыла руки, не обращая на Алексея Леонидовича никакого внимания... На-

конец она повернула к нему лицо — бледное лицо, с огромными глазами, бездонными, как омут, темными, как ночь... И бледные губки ее дрогнули, и странно сверкнули в полумраке ровные, белые, как кипень, зубы... и раздался голос, тихий, ровный и низкий, точно из-за глухой стены:

— Анною звать-то меня... Аннушка я... мы перемышльские...



Отравленная совесть



Роман

I

Людмиле Александровне Верховской исполнилось тридцать шесть лет. Восемнадцать лет, как она замужем. Обе ее дочки — Лида и Леля — погодки, учатся в солидной частной гимназии; Леля идет классом ниже старшей сестры. Сын Митя, классик, только что перешел в седьмой класс. Людмила Александровна слывет очень нежною матерью; а в особенности любит сына. Она сознается:

— Пристрастна я к нему, сама знаю... но что же делать? Митя — мой Вениамин.

В московском обществе, не в самом большом, но, что называется, порядочном: среди не вовсе еще оскуделого дворянства Собачьей площадки, Арбатских и Пречистенских переулков, среди гоняющейся за ним и подражающей ему солидной буржуазии,— опять-таки только солидной, старинной, а не с шалыми миллионами, невесть откуда выросшими, чтобы вскоре и невесть куда исчезнуть,— Людмила Александровна пользуется завидным почетом. Ее ставят в образец светской женщины хорошего тона. Злополучнейший из московских мужей, Яков Асафович, или, как любит он, чтобы его звали Иаков Иосафович Ратисов, всякий раз, когда переполняется чаша его супружеских горестей, колет своей дражайшей, но легкомысленной половине глаза примером Людмилы Александровны:

— Олимпиада Алексеевна! побойтесь Бога! ведь у нас с

вами — не жизнь, а канареечное прыганье какое-то: с веточки на веточку, с жердочки на жердочку — порх, порх!.. Я не говорю вам: откажитесь от общества, от удовольствий, забудьте свет, превратитесь в матрону, дома сидящую и шерсть прядущую. Сделайте одолжение: вертитесь в вашем обществе, сколько вам угодно,— не препятствовал, не препятствую! и не могу, и не хочу препятствовать!.. Но всему же есть мера: даже птица, наконец, и та свое гнездо помнит. Вам же — дом, дети, я, слуга ваш покорнейший,— все трын-трава. Мы для вас — точно за тридевять земель живем, в Полинезии какой-нибудь. Если у вас не сердце, а камень, если вам не жаль нас — по крайней мере, посовеститесь людей!

— Каких же людей?— огрызалась Олимпиада Алексеевна — рыжеволосая, белотелая «король-баба», беспечности и беспутства которой не унимали ни порядочные уже годы, ни видное общественное положение мужа.

— Да хоть падчерицы вашей, Людмилы Александровны Верховской. Уж кажется, никто не скажет, что не светская женщина. И живет не монахиней: всюду бывает, все видит, со всеми знакома. А при всем том посмотрите: в доме у нее порядок, в семье — мир, тишина, согласие; муж — не вдовец при живой жене, дети — не сироты от живой матери...

— Нашли кем попрекать!— равнодушно возражала Олимпиада Алексеевна.— Людмилою!.. Вы бы еще статую какую-нибудь мраморную припомнили... Людмил разве много на свете? Она у нас одна в империи. Я и то удивляюсь, что ее еще держат на свободе, а не заперли в музей под стекло, в поучение потомству... Знаете, как Кузьма Прутков говорил: «Друг мой, удивляйся, но не подражай!..» Людмила уже и в институте была «парфеткою».

— Но ведь и вы же, сказывают,— сколько это ни невероятно — в институте были из парфеток? — язвил Ратисов.

— Была, да, слава Богу, вовремя опомнилась. А Милочка — так в парфетках на всю жизнь и застряла...

Между тем Людмила Александровна была замужем за человеком и старше ее на целых двадцать лет, и далеко не блестящим ни по уму, ни по внешности. Только сердце для Степана Ильича Верховского Господь Бог выковал из червонного золота, да честен он был — «возмутительно», как смеялись над ним товарищи по службе. Он обладал недурным состоянием, но далеко меньшим, чем оставил его жене по-

койный отец ее — известный «человек сороковых годов», Александр Григорьевич Рахманов, разделивший по завещанию все свое движимое и недвижимое пополам между единственною своею дочерью Людмилою Александровною и второю женою, Олимпиадою Алексеевною, урожденной Станищевою: о ней именно — во втором браке Ратисовой — только что шла речь. Капитал Людмилы Александровны считался неприкосновенным — «детским». Жили Верховские на довольно крупное жалованье Степана Ильича из солидного московского банка, где он искони директорствовал и справил уже двадцатипятилетний юбилей своего директорства.

За Людмилою Александровною, как за молодою женою пожилого мужа, много ухаживали. Однако Степану Ильичу не приходилось ревновать жену: она была верна ему безусловно. Эта женщина имела счастливый талант — как-то незаметно переделывать своих поклонников просто в друзей, полных самой горячей к ней привязанности, но чуждых любовного о ней помышления. Один из поклонников, возвращенных Людмилою Александровною — как сам он сострил — «с пути бессмысленных мечтаний на путь общественных добродетелей», двоюродный ее брат, судебный следователь Синев, спросил ее однажды:

— Скажите, кузина: как это вы — такая молодая, красивая, умная, живая — ухитряетесь оставаться верною человеку, которого не любите?

— Кто же вам сказал, что я не люблю Степана Ильича?

— Логика. Он немолод, некрасив; нельзя сказать, чтобы хватал звезды с неба...

— Лжет ваша логика. Если хотите знать правду, замуж я шла действительно не любя. Но я слишком уважала Степана Ильича, чтобы показать ему свое равнодушие в первые годы нашего брака. А там, за детьми — трое ведь у нас, да двое умерли!— я, право, до того свыклась со своим положением, что теперь даже и представить себе не могу, как бы я жила не в этом доме, не женою Степана Ильича, без Мити, Лиды и Лели...

— Неужели ни один мужчина не интересовал тебя за эти восемнадцать лет?— пытала Людмилу Александровну в интимной беседе Олимпиада Алексеевна Ратисова.

— После замужества? Ни один.

— Гм... Не очень-то я тебе верю. Сама за старым мужем

жила: ученая... А Сердецкий, Аркадий Николаевич? Его-то в каком качестве ты при себе консервируешь?

— Как тебе не стыдно, Липа?— вспыхивала Верховская.— Неужели если мужчина и женщина не любовники, то между ними уж и хороших отношений быть не может?

— Да я — ничего... Болтали про вас много в свое время... Ну, и предан он тебе, как пудель... Весь век прожил при семье вашей сбоку припекою, остался старым холостяком: Тургенев этакий при Полине Виардо... Собою почти красавец, а без романа живет... даже любовницы у него нет постоянной... я знаю... Спроста этак не бывает. До пятидесяти годов старым гимназистом вековать этакому человеку — легко ли? И под пару тебе: ты у нас образованная, читалка, а он литератор, философ... целовались бы да спорили о том, что было, когда ничего не было...

— Аркадий Николаевич был мне верным другом и остался. Между нами даже разговора никогда не было — такого, как ты намекаешь,— романического.

— Вам же хуже: чего время теряли? Сердецкий — и умница, и знаменитость... чего тебе еще надо? Ну да ваше дело: кто любит сухую клубнику, кто со сливками — зависит от вкуса... Итак, ни один?

— Ни один.

Ратисова разводила руками.

— Ну, тебе и книги в руки... А меня, грешную, кажется, только двое и не интересовали: покойный мой супруг — твой родитель...

— Очень приятно слышать дочери!

— Да уж приятно ли, нет ли, а не солгу. «Амикю Плятó, сед мажи амикю верита!»

— Господи! Что это? на каком языке?

— По-латыни. Значит: «Платон мне друг, но истина друг еще больше». Петька Синев обучил. Тебе, что ли, одной образованностью блистать?

— Зачем же ты латинские-то слова по-французски произносишь!

— Словно не все равно? На все языки произношения не напасешься!.. Но с отцом твоим хоть и скучненько жить было, все же на человека походил, уважать его можно было. А уж мой нынешний дурак... отдала бы знакомому черту, да совестно: назад приведет!

— Липа, не болтай же вздора!

— Не могу, это выше сил моих. Как вышла из института, распустила язык, так и до старости дожила, а сдержать его не умею. А впрочем, в самом деле, что это я завела — все о мужьях да о мужьях? Веселенький сюжетец, нечего сказать! Только что для фамилии нужны, и общество требует, а то — самая бесполезная на земле порода. Землю топчут, небо коптят, в винт играют, детей делают... тьфу! Еще и верности требуют, козлы рогатые... Как же! черта с два! Теперь в нашем кругу верных жен-то, пожалуй, на всю Москву ты одна осталась... в качестве запасной праведницы, на случай небесной ревизии, чтобы было кого показать Господу Богу в доказательство, что у нас еще не сплошь Содом. А знаешь, не думала я, что из тебя выйдет недотрога. В девках ты была огонь. Я ждала, что ты будешь — ой-ой-ой!

Три года тому назад, когда исполнилось пятнадцатилетие брака Людмилы Александровны и Степана Ильича, тетка и воспитательница ее, Елена Львовна Алимова — которой настоянием и сладилось когда-то это супружество,— говорила племяннице:

— Когда ты выходила замуж, я думала, что делаю тебе благодеяние, устроив тебя за Степана Ильича. Но потом... ты — молодая, он — старик... Признаюсь, я много раз упрекала себя, часто думала, что загубила твою жизнь, что не такого бы мужа надо тебе. А с другой стороны, ты всегда такая ровная, спокойная — как будто и довольна своим бытом... Признайся откровенно, по душе: не маска это? Действительно ты счастлива?

Людмила отвечала:

— Я спокойна, тетя.

Тетя подумала и сказала:

— Что же? И то не худо! в наше время это, пожалуй, почти то же, что счастлива. «На свете счастья нет, а есть покой и воля». Верь Пушкину, Людмила. Умный был поэт.

II

Зимний сезон 188* года был в разгаре. Верховские, пополам с Ратисовыми, имели абонемент в итальянской опере.

Олимпиада Алексеевна Ратисова принадлежала к числу тех страстных театралок, из хаоса которых развились впос-

ледствии мазинистки, фигнеристки, тартаковистки и прочие за- и предкулисные «истки», объединенные ходячим остроумием в общем типе и общей кличке «психопаток». Впрочем, ухаживание ее за артистами было гораздо менее платонического характера, чем влюбленные экстазы большинства ее компаньонок по оперному и драматическому беснованию. Все еще эффектная наружность и задорная бойкость обращения выгодно выделяли Ратисову из этой полоумной толпы, и не один итальянский тенор, не один трагик уезжал на родину, по уши влюбленный в московскую «Vénus rousse[1]», готовый для нее на тысячи глупостей, между тем как сама «Vénus rousse», проводив минутного друга горькими слезами, осушала глаза, едва исчезал из виду уносивший его вагон, и, покорствуя своему необузданному темпераменту, спешила завести новый роман: «глядя по сезону» — дразнил ее Синев.

— Вам бы, тетушка, в Риме жить, при Нероне или Коммоде,— трунил он.

— А что?— добродушно недоумевала Олимпиада Алексеевна.

— Да так: натура у вас уж очень римская.

— Ври еще!

— Клянусь вам.

— Не обманешь, брат. Я ведь тоже скиталась за границею по музеям-то нагляделась на этих римлянок: долгоносые какие-то, Бог с ними... и небось черномазые были, как сапог — а?

— Да я, тетушка, не о наружности: помилуйте!— «кто может сравниться с Матильдой моей?»! А настроение у вас подходящее... Там, видите ли, были дамы, которые считали своих мужей по консулам. Новое консульство — ну, и в отставку старого мужа, подавай нового... Хорошие были нравы! правда, тетушка?

— Дурак!— разражалась Олимпиада Алексеевна, и оба хохотали.

— Ведь вы, тетушка,— уверял Синев в другой раз,— знаете в жизни только три ремесла: любить, мечтать о любви и писать любовные письма.

— Верно,— соглашалась Олимпиада Алексеевна.— Обожаю эту корреспонденцию. Всю жизнь писала и теперь пишу.

---

[1] «Русская Венера» *(ит.)*.

— Вот как! Кому же, тетушка?

— Мазини, Хохлову, Тартакову,— всем, кто на горизонте...

— Это значит: «Звезда вечерняя моя, тебе привет шлю сердцем я!» Бей сороку и ворону — попадешь на ясного сокола. Логично, тетушка. И получаете ответы?

— Иностранцы отвечают: они, во-первых, вежливы, не чета русским неотёсам, а во-вторых, у них на этот предмет имеются специальные секретари.

— И все poste restante...[1] под псевдонимами?

— Разумеется.

— То-то, я думаю, вы почтамту надоели!

— Вот еще! а на что же он и учрежден? Пусть работает! небось правительство деньги платит.

Когда «на горизонте» не виднелось никакого театрального светила, Олимпиада Алексеевна обращала свою интересную корреспонденцию и в другие области. Так, она тянула года полтора романическую переписку с одним молодым беллетристом.

— Ведь вот,— удивлялась она, доверяя свою тайну Людмиле Александровне,— в институте, помнишь, я училась плохо, слыла тупицею... сколько раз ходила без передника — именно за литературу эту глупую... А тут, знаешь, откуда что берется: просто сама себя не постигаю.

— Специальность особого рода!

— Должно быть. Оно и точно: я замечала,— так, вообще, в делах, в разговоре, я не очень; а когда дело дойдет до любви, становлюсь преумная. Куда же до меня этой Надсоновой... как бишь ее?— графине Лиде, что ли? Мой сочинитель изумлялся: откуда, пишет, у вас, баронесса Клара,— я баронессой Кларой подписываюсь,— берется такая тонкость в анализе страстей? Анализ страстей! Недурно сказано? А?

— Чего же лучше? Но как смотрит на твои подвиги муж?

— Очень мне нужно, как он смотрит. Состояние мое и воля моя.

Зачем Олимпиада Алексеевна, едва отбыв траур по первом старом муже, поторопилась выйти за Ратисова, тоже уже немолодого и скучнейшего в мире холостяка, притом не чувствуя к нему ни любви, ни уважения (да и нельзя было их чувствовать к этой смешной фигуре, самою природою пред-

---

[1] До востребования *(фр.)*.

назначенной к роли Менелая),— она сама недоумевала.

— Бес попутал,— объясняла она.— Кто ж его знал, что он такой? С виду был как будто и порядочный человек, и мужчина, а на деле вышел размазня, тряпка, жеваная бумага, Мижуев противный...

— Я так полагаю, тетушка: вы это из предосторожности,— смеялся Синев.

— То есть из какой же, Петя?

— Из предосторожности, чтобы не выйти замуж за кого-нибудь еще хуже.

— А что ты думаешь? Ведь, пожалуй, правда!

— Разумеется, правда. Темперамент ваш мне хорошо известен. Не будь у вас премудрого Иакова, вы давно бы обвенчались с каким-нибудь синьором Аморозо.

— Меня и то один баритон уговаривал развестись с Иаковом.

— Вот видите. И обобрал бы вас, тетушка, этот баритон до последней копейки, и колотил бы он вас четырнадцать раз в неделю... ух, как эти шарманщики колотить умеют! Кулачищи у них — во какие! Народ музыкальный: бьют в такт, sforzando[1] и rinforzando[2]. А Иаков — человек безобидный. Ему лишь бы винт был, английский клуб, да печатали бы юмористические журналы его стишонки и шарады,— а затем хоть трава не расти. Я думаю, тетушка, он уже позабыл, как дверь открывается на вашу половину...

— А зачем ему шляться, куда его не спрашивают?

— Да-с, тетушка! вы мало цените своего Иакова. В мужья он, конечно, не годится, но презерватив великолепный.

— Что это — презерватив?

— Маленькая штучка в револьвере. Захлопнул ее — и щелкай курком, сколько хочешь: выстрела не будет. Так и вы, тетушка: при Иакове влюбляться в своих шарманщиков и «романсовать» — как выражаются поляки — можете с ними сколько угодно, но выпалить замужеством — ни-ни! презерватив не позволяет.

Между Людмилою Александровною и Олимпиадою Алексеевною — при всем несходстве их характеров и образа жизни — существовала нежнейшая дружба, еще с институтских времен. Впрочем, в институте обожание Липы Стани-

---

[1] Сильно выделяя *(ит.)*.
[2] Усиливаясь *(ит.)*.

щевой было чуть не повальною болезнью. Чем тянула она к себе подруг, ни она сама, ни они не понимали; но когда Олимпиада Алексеевна и Людмила Александровна, вдвоем, вспоминали ученические годы, их разбирал невольный смех: столько глупостей делал класс во имя своего кумира...

— Помнишь, как Нина Чаагадзе вытравила на плече твой вензель?

— А Ольга Худая клялась, что, если я не буду ей «отвечать», выпьет целую бутылку уксусу и наживет чахотку...

— А Юлинька Крахт вставала по ночам молиться за твои грехи.

— И Леопольдина Васильевна оставила ее за это на целый месяц «без родных».

По окончании курса Липа Станищева, прямо из института, вошла в семью Милочки Рахмановой: сперва полугостьею, полукомпаньонкой богатой подруги, а там — влюбила в себя самого Александра Григорьевича Рахманова, и семья оглянуться не успела, как в среде ее возликовал Исаия и в доме появилась новая хозяйка. Перемена эта ничуть не испортила отношений между молоденькими мачехою и падчерицею: разница в возрасте между ними была всего на три года. Напротив, они даже как будто еще больше сдружились,— к великому неудовольствию старой хозяйки дома, Елены Львовны Алимовой, пожилой, упорно-девственной тетки Людмилы Александровны. Привыкнув со смерти своей сестры, первой жены Рахманова, полновластно править и его имуществом, и воспитанием Милочки, Алимова крайне неохотно уступила Олимпиаде Алексеевне свое место и влияние.

— Чем очаровала Александра Григорьевича эта женщина?— изумлялась Алимова, жалуясь на свою судьбу приятельницам.— Поэт, эстетик, гегелианец, с Грановским был дружен, Фауста переводил, о Винкельмане сочинил что-то, и вдруг — с великой-то эстетики — женился на вульгарнейшей буржуазке... Это после сестры Лидии — после красавицы, которой Глинка посвящал романсы, которой умирающий Гейне целовал руки... И хоть бы эта мещаночка была хороша собою! А то просто roussote[1]. В любом уездном городе таких рыжих и толстощеких белянок — по четырнадцати на дюжину. Только они не щеголяют вортовскими платьями и шляпками из Парижа, а ходят в платочках и кацавейках...

[1] Русачка *(искаж. фр.)*.

Маленькая черная кошка пробежала между приятельницами лишь в год свадьбы Людмилы Александровны. Брак ее с Верховским был неожиданностью для общества. Москва единогласно прочила молодую девушку за некоего Андрея Яковлевича Ревизанова, изящнейшего молодого человека, весьма небогатого, но с вероятною большою карьерою. Ревизанов бывал у Рахмановых чуть не каждый день, показывался с ними в театре и на балах, как свой человек... Потом вдруг точно отрезало. Ревизанов уехал из Москвы на Урал управлять делами одной золотопромышленницы, и слух о нем пропал, а Людмила Александровна, даже с какою-то необычайною быстротой, вышла замуж за ближайшего друга своего отца — Степана Ильича Верховского. Молва обвиняла в разрыве молодых людей Олимпиаду Алексеевну, предполагая, что Ревизанов, имевший в Москве довольно определенную репутацию Дон-Жуана, обращал на свою будущую тещу больше внимания, чем могло понравиться Людмиле Александровне... Так или иначе, но года два молодые дамы оставались в натянутых отношениях. И только когда у Людмилы Александровны родилась дочь Лидия — второй ее ребенок,— Олимпиада Алексеевна внезапно приехала к бывшей подруге за примирением и назвалась в крестные матери. Произошло очень трогательное свидание и объяснение. Обе женщины много плакали, и дружба восстановилась. В обществе замечали только, что роли приятельниц в их дружеском союзе переменились: до ссоры главенствовала Олимпиада Алексеевна, а Людмила Александровна шла за нею «в хвосте»; после же ссоры перевес влияния и авторитета весьма чувствительно оказался за Людмилою Александровною... Олимпиада Алексеевна стала даже как будто побаиваться подруги.

III

В третье представление абонемента Верховских и Ратисовых давали «Риголетто». Пели Зембрих и Мазини. Театр был полон. В антракте Синев — он сидел в партере — зашел в ложу родных.

— Здравствуйте, тетушка, здравствуйте, кузина... Ну-с, что вы мне дадите, если я сейчас покажу вам самого интересного человека в Москве?

— Мы его и без тебя видим,— возразила Олимпиада Алексеевна.

— Кто же это, по-вашему?

— Разумеется, кто: он! божественный Мазини!.. Как поет-то сегодня? А? Не человек, а музыка! соловей, порхающий с ветки на ветку!

— Поет хорошо,— тем не менее, тетушка, вы ошибаетесь. Если вам будет угодно взять в руки бинокль и посмотреть в первый ряд — вон туда глядите: третье кресло от прохода,— вы увидите человека, пред которым ваш Мазини — мальчишка и щенок... не по голосу, но в смысле романической интересности, разумеется.

Дамы вооружились биноклями.

— Блондин?

— Да... длинная борода с проседью... смокинг... Да вы его сразу заметите: он выдается из целого ряда,— недюжинная фигура!..

— Гм... действительно хорош... и — знаешь, Милочка,— лицо как будто знакомое... не припомню, где я его видала?

Людмила Александровна не ответила. Стянутая черною перчаткою рука ее, с биноклем, крепко прижатым к глазам, заслоняла ее лицо: иначе Синев и Ратисова заметили бы, что Верховская сильно побледнела.

— Матушки!— вскрикнула Олимпиада Алексеевна так, что на нее оглянулись из соседней ложи,— Милочка... да ведь это он! неужели ты не узнаешь? это он!

— Кто?— глухо отозвалась Людмила Александровна, продолжая смотреть в бинокль.

— Ревизанов — вот кто!

— Совершенно верно, тетушка: он самый,— подтвердил удивленный Синев,— но откуда вы его знаете?

Олимпиада Алексеевна расхохоталась:

— Вот вопрос! кому же и знать Ревизанова, как не нам с Людмилою? Правда, Милочка?

Она хитро прищурилась.

— Он старый наш знакомый, Петр Дмитриевич,— тихо сказала Людмила Александровна, опуская бинокль,— мой отец вывел его в люди.

Синев покачал головою:

— Не думаю, чтобы благодарная Россия поставила вашему батюшке монумент за эту услугу.

— Да,— вмешалась Олимпиада Алексеевна,— и я слы-

хала что-то... говорят, из него вышел ужасный мерзавец.

— Это — как взглянуть, тетушка. Ежели судить по человечеству, хорошего в господине Ревизанове действительно мало. А если стать на общественную точку зрения — душа человек и преполезнейший деятель: такой, скажу вам, культуртрегер, что ой-ой-ой! Мне, когда я был прикомандирован к сенатору Лисицыну в его сибирской ревизии, рассказывали туземцы про подвиги этого барина: просто Фернандо Кортец какой-то. Где ступила нога Ревизанова — дикарю капут: цивилизация и кабак, кабак и цивилизация... Кто не обрусеет, тот сопьется и вымрет; кто не вымрет, сопьется, но обрусеет...

— Ты с чего же злишься-то?— насмешливо прервала Синева Олимпиада Алексеевна.

— Бог с вами, тетушка! не злюсь, а славословлю... Притом же Ревизанов этот, в некотором роде, Алкивиад новейшей формации: к публичности у него прямо болезненная страсть. Помилуйте! Давно ли он прибыл в Москву? А она уже полна шумом его побед и одолений. Кто скупил чуть ли не все акции Черепановской железной дороги? Ревизанов. Кто съел ученую свинью из цирка? Ревизанов. Кто пожертвовал пятьдесят тысяч рублей на голодающих черногорцев? Ревизанов. Чей рысак взял первый приз на бегах? Ревизанова. Чей миллионный процесс выиграл Плевако? Ревизановский. У кого на содержании наездница Léonie — самая шикарная в Москве кокотка? У Ревизанова. Он теперь всюду. Просто уши болят от вечного склонения со всех сторон: Ревизанов, Ревизанова, Ревизанову... Хорошо еще, что он не имеет множественного числа!.. Да, позвольте! вот вам вещественное доказательство его величия.

Синев вынул из кармана нумер юмористического журнала.

— Видите?— он сам. Большая голова на маленьких ножках, как водится, но, заметьте, лицо вырисовано не по-карикатурному: не дерзнули наши Ювеналы... а лести-то, лести-то в подписи!..

— Чем он, собственно, занимается?— спросила Людмила Александровна.

— Это, кузина, опять — как взглянуть. Для всех он — капиталист, миллионер, стоящий во главе дюжины самых разнообразных предприятий; а для меня, в качестве скромного представителя прокурорского надзора, он пока состоит в

звании интересного незнакомца, с которым очень хотелось бы познакомиться.

— А я было думала,— разочарованно сказала Олимпиада Алексеевна,— что ты с ним приятель...

— Нет, до приятельства далеко, а так встречаемся, шутим, раза два-три ужинали вместе... Он даже как будто благоволит ко мне. По крайней мере, всегда любезнее, чем с другими.

— А мне послышалось, будто ты сейчас сказал, что не знаком?

— Вы не поняли, тетушка: знаком, да не так, как мне надо...

— Ну, мне все равно как,— это твое дело. Но — раз знаком хоть как-нибудь — изволь его нам представить.

Людмила Александровна взглянула на Ратисову с изумлением и испугом.

— Что ты?— возразила на этот взгляд Олимпиада Александровна,— да отчего же нет?

Верховская пожала плечами и ничего не сказала.

— Ты — как хочешь,— продолжала Ратисова,— а я непременно возобновлю знакомство. Ишь Петя рассказывает — какой он стал интересный человек...

— Прямо герой романа, тетушка.

— Во вкусе Зола? Мопассана?

— Нет. Скорее в роде «Графа Монтекристо», а пожалуй, и «Рауля Синей Бороды» — только не того, тетушка, которого, к утешению вашему, изображает у Лентовского Саша Давыдов, а гораздо серьезнее...

— Ух, страсти какие!

— Да-с! с ядом, мертвыми телами и прочими судебно-медицинскими атрибутами.

Олимпиада Алексеевна перекрестилась под веером.

— Ты меня не пугай!— серьезно сказала она,— я твоей судебной медицины недолюбливаю...

— Вы, конечно, шутите?— спросила Верховская.

Синев пожал плечами:

— И да, и нет. Я хотел бы рассказать вам биографию Ревизанова, но у него нет биографии. Есть легенда. Но московские легенды всегда слишком близко граничат со сплетнею. Факты вот: Ревизанов был дважды женат на богатейших купчихах и, счастливо вдовея, получил в оба раза миллионные наследства. Вторая жена его — золотопромышленница Лабуш — умерла при подозрительных об-

стоятельствах, так что произведено было следствие. Однако Ревизанов вышел из воды не только сух, но даже с блеском — как бы заново полированный и лакированный... Сейчас он владелец богатейших золотых россыпей в Нерчинском и Алтайском округах. Он строил Северскую дорогу. Он директор-распорядитель, то есть, в сущности, бесконтрольный повелитель Северо-восточного банка. На Волге, Каме, Вятке у него свои пароходства. Вот и все. Затем — истории конец, и начинается легенда, то есть слухи недовольства и сплетни зависти. Прикажете сплетничать?..

— Нет, уж в другой раз,— перебила Ратисова.— Бевиньяни вышел в оркестр... Сейчас поднимут занавес. Не обидься, пожалуйста, но — «Ja donna é mobile» — когда поет Мазини — все-таки интереснее твоих рассказов...

Синев откланялся и ушел. Женщины обменялись многозначительным взором.

— Вот — что называется — сюрприз!— сказала Ратисова.

Людмила Александровна молчала.

— Мне не нравится, что ты взволновалась,— продолжала Олимпиада Алексеевна.— Неужели из тебя еще не выветрилась наша старина? Ведь восемнадцать лет, Людмила! Воды-то, воды что утекло!.. Веришь ли: что касается до меня,— я точно все то время во сне видела. И вот тебе крест: ведь предо мною он больше виноват, чем пред тобою... А между тем смотрю я на него и — ничего: нет во мне ни злобы, ни обиды... Все равно — как будто никогда и не знавала его: чужой человек... А на тебе лица нет. Неужели ты до сих пор помнишь и не простила?

Людмила Александровна сосредоточенно посмотрела в партер.

— Не то!— задумчиво возразила она.— А просто неожиданность. Я никогда не вспоминала этой проклятой старины и думала, что уже и вспоминать ее не придется... И вот, когда я совсем о ней позабыла, она тут как тут, нечаянная, негаданная... ужасно неприятно! Ты знаешь, я немножко верю предчувствиям: встреча эта не к добру.

— Вот глупости!

— Знаешь, Милочка,— начала Ратисова после продолжительного молчания,— я сегодня в первый раз перестала раскаиваться, что из-за меня когда-то расстроилась твоя свадьба с Ревизановым... Если хоть десятая доля того, что рассказывал Петька, правда — хорош он гусь, нечего ска-

зать... Да и тогда-то, в нашей-то суматохе, красиво вел себя мальчик, нечего сказать: хоть удавить, и то, пожалуй, не жалко. Хотя ты и злилась на меня в то время, зачем я стала между вами, а по-настоящему-то рассуждая, ты должна меня записать за то в поминание — о здравии рабы Божией Олимпиады. Не вскружи я тогда Андрею Яковлевичу голову, быть бы тебе за ним.

— Ах, да перестань же наконец, Липа!— почти прикрикнула Людмила Александровна.— Неужели так весело вспоминать, что когда-то мы были глупы и не имели никакого уважения к самим себе?

— Ну, ну, не злись: я ведь так только — для разговора...

Но, обводя биноклем публику, сбиравшуюся в партер после антракта, Олимпиада Алексеевна не утерпела и снова направила стекла на Ревизанова.

— А надо отдать ему справедливость,— вздохнула она,— до сих пор молодец... Даже как будто стал красивее, чем в молодости... А манеры-то, манеры!.. Всегда был джентльмен, но теперь — просто принц Уэльский!

В устах Олимпиады Алексеевны это была высшая похвала мужчине. Как-то раз, не то в Биаррице, не то в Монте-Карло, ей удалось быть представленною «первому джентльмену Европы», и принц навсегда покорил ее воображение до обожания — почти суеверного...

Дверь ложи скрипнула; вошли, возвращаясь из «курилки», мужья обеих дам.

— Представь, Милочка, кого я сейчас встретил,— радостно заговорил Степан Ильич, подсаживаясь к жене,— Ревизанова, Андрея Яковлевича... Вот уж сто лет, сто зим!.. Хоть он теперь и туз из тузов — рукою его не достанешь!— а все такой же милый, как был. Очень сожалел, что мы встретились лишь в последнем антракте и он уже не может зайти к нам в ложу поздороваться с тобою и с вами, Олимпиада Алексеевна... Я зазвал его к нам обедать — в воскресенье... Обещал непременно.

На лице Людмилы Александровны легла тень сильного неудовольствия.

Олимпиада Алексеевна, комически вздохнув, прошептала:

— Fatalité![1]

Запел Мазини.

---

[1] Судьба! *(фр.)*

IV

Ратисовы довезли Людмилу Александровну из театра домой в своей карете. Степану Ильичу надо было заехать в Купеческий клуб, где его ждал какой-то одесский коммерсант с партией пикета и деловым разговором между партией. Сменив вечерний туалет на блузу, Верховская прошла по дому хозяйским дозором. Дети уже спали. Людмила Александровна заглянула к ним в комнаты и перекрестила их, сонных, в постели. В столовой был накрытый холодный ужин, но Людмила Александровна приказала снимать со стола: она не хотела есть.

Она была очень не в духе. На гладком лбу ее, над тонкими бровями, легли две беспокойные морщины; омраченные глаза смотрели гневно и тревожно. Дом затих. До возвращения Степана Ильича из клуба было еще далеко. Людмила Александровна прошла в свой будуар и, присев к письменному столу, долго рылась в его ящиках, пока не нашла, чего искала: толстую тетрадь в тисненом красном сафьяне. Тетрадь была исписана мелким бисерным почерком. Чернила уже поблекли, бумага тоже пожелтела местами. Людмила Александровна углубилась в рукопись... Вот что она читала.

* * *

В 186* году мой отец, богатый калужский помещик, Александр Григорьевич Рахманов, вступил во второй брак с моею институтскою подругою, Олимпиадою Алексеевною Станищевой, и, по настоянию молодой жены, переехал на житье из деревни в Москву. То было самое счастливое и веселое время моей жизни; мне только что исполнилось семнадцать лет: два года тому назад я оставила институт, не кончив в нем курса, и теперь была свободна и беззаботна, как птица.

Сначала, в деревне, отец и Елена Львовна Алимова, сестра моей покойной матери, принялись было довершать мое воспитание; но я была слаба здоровьем и, пред тем как оставить институт, перенесла тяжкую нервную болезнь, после которой медленно и трудно поправлялась, так что мои воспитатели остерегались слишком утруждать меня умственною работой. Потом, когда ради моего развлечения тетя Елена выписала гостить к нам Липу Станищеву, Липа скоро влюбила в себя папа, и он, занятый сердечными делами,

первый стал небрежничать своими наставническими обязанностями. После началась предсвадебная суета; Липа была бедная, и все ее приданое было сделано в нашем доме, на счет папа. Тетя Елена вела занятия со мною, пока не заметила, что передала мне все, что знала сама. Да и ей стало не до меня. Очень не по сердцу пришелся ей поздний роман моего отца. Аристократка в слове, мысли и деле, строго нравственная, немного даже prude[1], искренно и сознательно религиозная, Елена Львовна являлась резкою противоположностью Липе — с ее умом, ленивым и взбалмошным, с ее сердцем, расположенным легко привыкать к людям, но еще легче отвыкать, любя их лишь до первой размолвки; охотно принимающим жертвы, но неспособным на них; напоказ — чувствительным, на деле — распущенно-себялюбивым, избалованным, эгоистическим. Липа была образована слабо, по-институтски, да забыла и то, что знала, через месяц после выпуска. В институте она была общею любимицею, слыла примерною скромницею, но едва вырвалась на свободу, как набралась какой-то цыганской удали, обзавелась развязною речью, смелыми взглядами, довольно вульгарными манерами, бывала весьма довольна, если при ней говорили двусмысленности, которых я еще не понимала, а тетя не выносила. В обществе всегда находили меня и красивее, и умнее Липы, да я и моложе ее на три года; однако мужчины интересовались ею гораздо более, чем мною. Между тем, со своими золотыми волосами, бело-розовой кожей и пухлым русским лицом, она была разве лишь недурна собою. Правда, она сложена, как статуя, и даже самый уродливый из покроев того времени — когда во главе моды стояла французская императрица Евгения, покровительница пресловутого кринолина — не мог скрыть роскошь ее тела. В каждом жесте Липы, всегда ленивом, медлительном, но сильном, было что-то дразнящее, сказывалась тайная чувственность, разлитая в ее молодой крови.

Тетя Елена инстинктивно невзлюбила Липу, когда та, по ее же зову, приехала ко мне в гости, и вступила с нею в упорную борьбу, когда Липа стала членом нашей семьи. И чем дальше шла эта мелочная борьба в косвенных нападках, едва понятных намеках, шпильках, преднамеренных обмолвках и «нечаянностях», тем непримиримее разгоралась вражда

[1] Недотрога *(фр.)*.

обеих женщин. Опираясь на защиту безоглядно влюбленного мужа, Липа, конечно, была сильнее тети и — странно — гораздо находчивее, искуснее и хитрее ее,— такой умной и развитой,— на то, чтобы сделать своей неприятельнице маленькую гадость, поставить ее в неловкое и смешное положение. Липа выжила бы тетю из дому, но весь порядок нашего житья-бытья, дававший комфорт каждому из членов семьи, был делом рук Елены Львовны: удалить ее — значило бы выдернуть главную пружину из хорошо заведенной и правильно идущей хозяйственной машины; для того же, чтобы заменить тетю, Липа была слишком ленива, а я — чересчур молода, да сверх того, всякое посягательство на права тети являлось в моих глазах чуть не святотатством. Однако должна сознаться: как ни ясно понимала я, что огорчаю тетю, которую всегда любила и уважала — как друга и наставницу, заменившую мне, ранней сироте, родную мать,— но молодость сильнее тянула меня к Липе; а чем теснее сближалась я с нею, тем дальше становилась от тети.

В Москве мы зажили открыто, на широкую ногу. У нас бывало много молодых людей. В одного из них, Андрея Яковлевича Ревизанова, я влюбилась, как только может влюбиться семнадцатилетняя девочка, ничего не видавшая, кроме деревни да институтских стен. Ревизанов обладал всеми данными, чтобы нравиться женщинам: был хорош собою, умен и ловок в обращении. Я стала его любовницею. Как это случилось, я и теперь не отдаю себе отчета. Было безумие, туман какой-то... Минута наглости с его стороны, минута страстного забытья с моей, полуобморочные объятия... После этой беды я очутилась совсем во власти Ревизанова; он повелевал мною, как рабынею; собака не может быть преданною своему господину вернее и беззаветнее, чем я была предана ему. Я не размышляла о том, что делаю, да и могла ли размышлять, влюбленная до безумия, занятая мечтами только о нем одном, моем герое, полубоге?— тем более когда не нынче-завтра Ревизанов должен был сделать мне официальное предложение и стать моим мужем? Я твердо верила в его обещания. Он и в самом деле не думал обмануть меня: брак со мною — дочерью богатого и уважаемого человека с большими связями — был для него, в то время почти нищего, золотым кладом. Случай открыл мне глаза и перевернул всю мою судьбу.

У меня была горничная Раиса — замечательно хорошень-

кая и почти еще девочка. Все мы в доме очень любили ее — я в особенности. Верила я ей, как самой себе. Раиса не знала, как далеко зашли мои отношения с Ревизановым, но знала, что я люблю его, что он ухаживает за мною и собирается на мне жениться. Случалось — довольно часто,— что она носила Ревизанову мои письма. С некоторого времени Раиса переменилась ко мне: стала мрачна, избегала смотреть мне в лицо; я часто замечала ее с наплаканными докрасна глазами... И вот однажды она бросилась мне в ноги и со слезами покаялась, что Андрей Яковлевич соблазнил ее, обещая взять к себе в дом, когда женится на барышне, т. е. на мне, и любить больше, чем жену; что все это говорит она, жалея меня, потому что «Андрей Яковлевич самый подлый человек на свете и мне не следует выходить за него замуж: у него только интерес на уме, а чувств ни к кому нету».

— Ты лжешь!

— Вот же ей-Богу, барышня! хоть икону снять! Горькая я, несчастная!— заголосила девушка, но взглянула на меня и умолкла. Должно быть, я страшно изменилась, потому что на лице Раисы отразился безумный испуг; она быстро поднялась на ноги и попятилась к дверям.

Оставшись одна, я была как в столбняке.

«Что же теперь делать?» — безостановочно кружилась мысль в моей голове, но мозг отказывался работать над нею, отвечая бессмысленною фразою: «Какое глупое положение!» Я хотела заплакать — не вышло; хотела засмеяться горьким смехом — горло не издавало звука; а в голове стучало, стучало: «Что же теперь делать? какое глупое положение!» И больно было мне от монотонного, как чиканье маятника, и ничего не разрешающего стука... Кое-как, наружно, я овладела собою и позвала Раису. Она пришла, заплаканная, трепещущая и хорошенькая больше чем когда-нибудь. Я видела ее красоту и — странно!— не чувствовала к ней ни малейшей ревности...

— Рассказывай мне все!

Всхлипывая и взвизгивая, она передала мне свою печальную историю. Слушая Раису, я краснела и бледнела — опять-таки не от ревности к своей счастливой сопернице, но от оскорбленной гордости, от стыда за сходство нашего позора: ее история была моею историей — историей слабовольной девчонки, ошалевшей в объятиях опытного, дерзкого, грубого Дон-Жуана.

— Зачем ты призналась мне?— прервала я Раису.— Ведь ты знаешь, какая я доверчивая; не скажи ты сама — я бы ничего не подозревала... Что тебя толкнуло?

Девушка хмуро смотрела в сторону:

— Да говорю же: жаль вас, барышня, стало...

— Только это?..

Раиса молчала. Потом махнула рукою и сверкнула глазами:

— Да что мне их миловать-то! Извольте, барышня, вот вам вся правда. Со злобы большой призналась. Потому что Андрей Яковлевич не одну вас — и меня тоже провел. Он теперь с молодою барынею связался.

— С какою молодою барынею?

— С нашею, с Олимпиадою Алексеевною.

Свет исчез из моих глаз... Моя мачеха, мой лучший друг, моя Липа!.. А Раиса шептала мне:

— Вот и сейчас она к нему поехала... Сказалась, будто в ряды; а я знаю, какие это ряды! Каждый день так-то видятся где-нибудь да потешаются над нами, дурами...

— Вон!— прохрипела я.

И опять — этот прежний тяжелый столбняк. Потом... я хорошо помню себя лишь с тех пор, как швейцар Василий распахнул предо мною двери подъезда и я очутилась на улице. Воздух освежил меня. Самосознание понемногу возвращалось. Как видно, женский инстинкт красоты работает, если даже все чувства поражены. В зеркальных окнах магазинов я видела себя, одетую тщательно, как всегда. Прохожие провожали меня, как хорошенькую нарядную барышню, обычными взглядами одобрения, не замечая во мне, по-видимому, никакой странности. Я улыбалась глазами, хотя чувствовала в горле приступы истерического удушья. Только мыслей по-прежнему не было в тяжелой, как свинцом налитой, голове, и явственно звенело в ушах моих нахальное щебетанье: «Какое глупое положение... какое глупое положение!»

— Апельсины хороши!— крикнул возле меня разносчик. Этот крик был первым внешним звуком, проникшим в летаргию моей мысли. До того я только видела улицу, но не слыхала ее. Я вздрогнула и остановилась.

— Купили бы, барышня!

Не знаю, как в руках моих очутился сверток с пятью апельсинами. Я очистила один, не снимая перчаток, и на ходу

начала жевать его, пластинку за пластинкой. Какая-то элегантная дама с удивлением оглядела меня; ее презрительная улыбка напомнила мне, что кто-нибудь из нашего общества может встретить меня с этими неприличными апельсинами, и мне стало стыдно и досадно. Я бросила их на мостовую.

— Извозчик! на Третью Мещанскую!— приказывал чей-то бас.

«Третья Мещанская! это где-то далеко!» — подумала я и тут вспомнила, что иду очень давно и должна была пройти большое расстояние. Я огляделась: мое бессознательное странствие завело меня с Пречистенки к Триумфальным воротам. Куда же теперь? И — я не успела еще ответить себе — как уже опять шла скорыми шагами, считая зачем-то плиты тротуара. Так я пришла к Ревизанову. Он жил на Бронной, занимая две небольшие комнаты в тихих студенческих нумерах. Дверь оказалась незапертою. Я вошла, встреченная криком испуга. Женщина в белой юбке, без корсета, спрыгнула с колен Ревизанова и повернулась ко мне спиною. Золотые волосы волною рассыпались до поясницы. Раиса не солгала: я узнала Липу! Ревизанов встал с места, бледный до синевы. Он ломал руки; я слышала, как хрустели его пальцы. Мы все трое молчали. Мне стало как-то легко, словно пусто, в груди. Точно позор Липы снял с меня тягость моего собственного позора. Мне даже любопытно было слышать, что скажет Ревизанов, как выпутается он из безобразного положения. Но этот самоуверенный, ловкий человек потерялся до жалости и то бледнел, то краснел пятнами да хрустел пальцами. Тогда дикий смех начал подниматься и клокотать в моей груди. Я засмеялась тихо, но явственно... потом мне захотелось плакать, и я вышла из номера.

Мне было очень дурно, но я уже совсем овладела собою и, чувствуя приближение истерики, понимала необходимость скрыть ее от своих домашних. Я взяла извозчика и приказала везти себя в Петровскую академию. Я сдерживалась, как могла, а все-таки возница не раз оглядывался на меня с большим беспокойством, когда нервный смех или рыдание, вопреки моим усилиям, вырывались из крепко стиснутых губ. В академии я прошла в глухую, безлюдную часть парка, что за прудом, и легла там на землю, в густой купе бузины и сирени. День был чудесный — тихий и ясный; парк благоухал цветами, звенел птичьими песнями, а я плакала, плака-

ла, плакала, уткнув лицо в молодую траву и царапая ногтями ладони в сжатых кулаках.

Я вернулась домой с тем спокойствием отчаяния, которое овладевает людьми после непоправимых потерь, когда уже истощены все громкие порывы горя. Дома я казалась спокойною, как всегда, а у меня была смерть в сердце. Мне было жаль не любви Ревизанова: я изнемогала от острой, почти физической боли презрения к нему и сознания, что я поругала сама себя, бросила свое сердце в помойную яму!

Липа уже несколько раз спрашивала обо мне и, едва я, после обеда, вошла в свою комнату — явилась для объяснений. Она успела возвратить себе обычную самоуверенность и напала на меня с упреками: она никак не ожидала, чтобы я была настолько низка — подсматривать за нею; мне, конечно, досадно предпочтение, оказанное ей Андреем Яковлевичем, но ревновать до решимости шпионить за молодым человеком, даже на его собственной квартире, гадко и безнравственно; без сомнения, я постараюсь отомстить, все расскажу папе; но это ничего не значит: Александр Григорьевич слишком ее любит, не поверит ни одному слову, и мне же достанется; к тому же у меня нет никаких доказательств. Я догадалась, что, опасаясь взбалмошного нрава Липы, Ревизанов не открыл ей ни раньше, ни теперь настоящей близости наших отношений, и подумала: «Хоть за это спасибо!» Я ничего не отвечала Липе. Она, поняв мое молчание в том смысле, будто уговорила меня и склонила на свою сторону, бросилась целовать меня и осыпать ласками. Мне были неприятны ее нежности, но я сознавала себя преступною больше Липы и не смела брезгать ею.

— Ревизанов делал тебе предложение?— шептала Липа.

— Делал.

— Что же, ты выйдешь за него?

Глупость ее вопроса болезненно отдалась в моем обиженном сердце. Я не могла удержаться от резкой фразы:

— Нет, Липа! зачем? Предоставляю тебе делить твоего любовника с Раисою.

Липа широко открыла глаза.

— Что такое? при чем тут Раиса?

Я передала Липе, как Раиса, признанием в своем несчастье, побудила меня идти к Ревизанову за отчетом в его отношениях ко мне. Жестокое побуждение — заставить и Липу перечувствовать все, что я выжила в этот тяжелый

день,— вызвало на мои уста короткий и тем более резкий и беспощадный рассказ. Она привыкла верить мне и теперь ни на минуту не усомнилась в справедливости моих слов; колыхаясь от рыданий, она шептала:

— Ах, подлец! подлец! С горничной!

При виде слез мое озлобление стихло. Я напоила Липу водою, и мало-помалу она утешилась и даже принялась обдумывать планы, как бы отмстить Ревизанову. Все, что она говорила, было нелепо, но, занятая своими скорбными мыслями, я не возражала.

— А я-то, дура, любила его!— словно сквозь сон слышала я,— помнишь, Милочка, ты спрашивала меня: отчего я не ношу своих бриллиантов?— я еще покраснела тогда... Ревизанову в то время надо было заказывать платье, а денег у него не случилось... Он спросил у меня. Я взяла и заложила свои бриллианты, а Александру Григорьевичу сказала, что отдала переделать оправу. Я Ревизанова и после много раз выручала.

Только этого недоставало в моем позоре! Быть любовницей негодяя, бравшего от другой женщины деньги, и считать его героем чести, идеалом мужской доблести... И этот человек был царем моего воображения, и этот человек полновластно распоряжался моим телом!

Липа собралась уходить от меня, но на пороге остановилась и, с некоторым колебанием, видимо, смутившись, произнесла:

— Милочка! я хочу предложить тебе один вопрос... глупый, лишний, конечно, а все-таки... Я знаю: ты такая нравственная, чистая, но... ты вот была сегодня у Ревизанова... Раньше — извини пожалуйста!— ты не бывала у него?

У меня потемнело в глазах, но хватило силы не выдать себя и выдержать пытливый взор Липы...

— Нет!

Липа оставила меня, совсем успокоенная и даже веселая.

V

Вечером у нас были гости; я сказалась нездоровою и не вышла к ним. Поздно, часов в одиннадцать ночи, в мою комнату вошла тетя Елена Львовна.

— Можно посидеть у тебя немного? Корицкие уже уехали, Александр Григорьевич заперся в кабинете, пишет что-то,

Липа легла спать, а мне не спится. Да и тебе, кажется, тоже? Я не помешаю тебе? Кстати, мне надо спросить тебя кое о чем...

Она присела на кровать, у моих ног.

— Скажи, пожалуйста: какие секреты завелись у тебя с Раисой? Я знаю — ты никогда прежде не допускала интимностей со своими фрейлинами, а тут вдруг запираешься с горничной на ключ, шепчешься, после разговора — ходишь сама не своя, пропадаешь на полдня неизвестно где, сказываешься больною!..

Я много любила тетю, и она меня много любила; обе мы сознавали теплоту этой любви и дорожили взаимным чувством. Что тетя осудит и будет презирать меня, мне было страшнее, чем если бы все близкие прокляли меня и навсегда отреклись от моего общества. Но еще страшнее было остаться вдвоем со своею уродливою тайною — в самоистязующем одиночестве, полным гневной обиды, оскорбительных воспоминаний, презрения к себе, ненависти ко всем им — отравителям моей молодой души... И я выдала себя тете. Пока я говорила, тетя стала совсем белая, а глаза ее, полные внезапно налетевшего ужаса, словно потеряли свой цвет и безумно смотрели на меня расширенными зрачками. Я кончила. Елена Львовна осторожными шагами подошла к двери, выглянула в коридор, послушала в темноте: мы были совсем одни. Тетя заперла дверь на ключ, задернула тяжелую портьеру и, прислонившись спиною к стене, простерла ко мне дрожащие руки. Не стон, не плач, не крик вырвался тогда из ее груди — то был странный вздох, всхлипывание бесслезного рыдания. Мне стало страшно. Я вскочила с кровати.

— Тетя! золотая моя, милая!

Я упала возле нее на колени и, в порыве жалости и любви, целовала ее руки и платье. Тетя почувствовала меня близ себя, склонилась ко мне и схватила мою голову в тесное объятие. Слезы ее полились горячим дождем на мою голову. Наконец она сделала попытку успокоиться, выпустила меня из своих рук, налила себе из графина воды, но расплескала половину стакана, прежде чем донесла до рта; она пила, а зубы ее стучали о стекло.

— Боже мой, Боже мой!— шептала она и вдруг, заметив, что я, босая и полуобнаженная, стою на холодном паркете, приказала голосом, уже старавшимся принять обычную строгую интонацию:

— Ты простудишься. Поди ляг.

Машинально, по привычке слушаться, я повиновалась ей. Тетя быстрыми шагами ходила по комнате.

— Погибла, поругана!— слышала я ее отрывистые фразы,— ох, я слепая, старая девка! Куда же я-то, я смотрела?! Я одна виновата! Что мог понимать этот бедный ребенок в своем падении? Я одна преступна, с моим эгоизмом, с моим равнодушием. Девочка моя, жизнь моя! простишь ли ты меня? Я должна была уберечь тебя, а не уберегла! Я отстранилась от тебя, потому что ты стала другом той... гадине! Мне казалось, ты любила ее больше, чем меня... А ее я ненавидела всей душою, ненавидела с той самой минуты, как решен был ее проклятый брак... Она сделалась госпожою в семье; я заключилась в своем углу. Меня забыли, меня не хотели знать. А я чувствовала, что она фальшивая. Больно было мне уступать ей. И я оскорбилась, сама не захотела никого знать, ушла в самое себя. И вот плоды! О, Господи! За что же послал Ты на меня ослепление? За что покарал Ты меня не на мне самой, а в этой несчастной... неразумной... Ах, голубка моя, голубка!

Елена Львовна села у кровати. Мы долго молчали.

— Что же теперь делать?— произнесла она.

— Папе ни слова... ради Бога! мне страшно... стыдно!

— Да, да! конечно! Зачем говорить ему? Только одним несчастным будет больше!.. Скрыть надо, от всех скрыть!.. Но как же? Что же делать?

И мы опять умолкли в мрачном недоумении.

«Умереть хорошо бы!» — прошла мысль в моей голове, и тетя едва ли не подумала того же: взгляд ее был угрюм и решителен. Но вот она встрепенулась, словно стряхнула с себя бремя назойливой думы, и прошептала быстро и отрывисто:

— Нет... нет... ни за что!

— Тетя!— воскликнула я, схватив ее руки,— тетя! помогите мне!.. Советуйте, приказывайте! распоряжайтесь мною, как вещью, только помогите, осветите мою душу! Мрак царит в моем сердце: все, что было там живого, взял и убил злой человек. Ожесточение только осталось. Ведь я вас любила, папу любила, весь мир, от звездочки до самой мелкой пылинки любила. А теперь мне стало все равно: и никто мне не дорог, и я сама себе не дорога. И про кого я сейчас думаю, что люблю их, тех люблю не душою, как вчера, как всегда, а словно по

обязанности, по привычке. Ушла от меня любовь, и вера ушла с нею... Пусто, холодно, темно вокруг меня! Дайте мне света, тетя!

— Света!.. Дитя! где же взять мне этого света? Много во мне любви к тебе, девочка; чуть не задушила она меня, когда поднялась навстречу твоему горю. Но, бедная, любовь моя сумеет только горевать с тобою; утешать она — боюсь — не может... Свет! Люди говорили в старину, будто свет — в покаянии, в искуплении вины.

— Как же, чем я искуплю ее? Я на все готова.

— Не знаю как, Милочка... Нет на это правил. Разным людям — разное и покаяние. Жди! — авось жизнь подскажет.

— А если нет, тетя?

— Тогда молись, Людмила, чтобы Бог дал тебе дождаться хоть забвения.

— Забвения не будет, тетя!

— Оно должно быть и будет. Жизнь все сглаживает. Теперь ты рада пойти босиком в Иерусалим, лишь бы заглушить свои нравственные страдания; через десять лет грех будет казаться тебе тяжелым сном. Ты выйдешь замуж...

— Я?! Никогда, тетя!

— Как же ты собираешься жить?

— Я не знаю, тетя. Но вы прожили же без замужества.

— Ах, Людмила! Нашла пример!

— Вы дали воспитание мне, я тоже посвящу себя детям... да, детям Липы! Она не занимается своим мальчиком, да и никогда не будет заниматься. Где ей!

— Молчи, дорогая! ты не знаешь, что говоришь! — остановила меня тетя. Она опять была в крайнем волнении, и я не могла понять, чем дала ей повод к новому взрыву отчаяния.

— Идти по моим следам! — посвятить себя воспитанию детей той женщины, которая отняла у тебя любимого человека! Остаться старою девою! Дитя мое, да понимаешь ли ты, что это за страшное слово: «старая дева»?!

— Я слов не боюсь, тетя.

— Нет, милая! надо бояться... Верь моему свидетельству — признанию старой девы, проклинающей свою участь! Страшное, тяжелое слово!

— Как, тетя? Вы? вы клянете свою судьбу? Вы — всегда такая спокойная, холодная, рассудительная, не знающая ни страстей, ни...

— Все знаю я, Людмила, все! И слушай: в моей молодости

был день, когда я колебалась, что мне делать — убить себя или осудить на вечное девство. Я выбрала второе... и худо выбрала!

— Но, тетя... вам много раз делали предложения; вы сами не хотели...

— Да, потому что не могла, не считала себя вправе, не считала себя свободною.

— Вы любили?

— Да, я любила твоего отца.

VI

Елене Львовне было шестнадцать лет, когда старшая сестра ее Лидия, яркая звезда петербургского большого света сороковых годов, вышла замуж за Александра Григорьевича Рахманова, молодого неслужащего дворянина с опасною репутацией «заграничного умника» и «красного». Так как мой отец пользовался своей репутацией не совсем незаслуженно, то, вскоре после свадьбы, ему пришлось надолго поселиться в деревне, на положении близком к ссылке. Из уездной глуши стали доходить к родным слухи о неладном житье молодых супругов. Моя мать, гордая, страстная женщина, кляла в своих письмах судьбу, связавшую ее неосмотрительным браком с неподходящим человеком. Она не уставала взводить на мужа разнообразные обвинения, и вот среди родни и друзей дома Алимовых начало слагаться представление об Александре Рахманове, как о чудовище вроде Рауля Синей Бороды: он терзает жену непомерной ревностью, держит ее взаперти, препятствует ей в самых невинных развлечениях и т. д. Поэтому, когда, года через три, Елена Львовна ехала гостить к сестре, она смотрела на свое путешествие, как на подвиг, мечтала облегчить своим приездом участь Лидии, доставить ей, в своем лице, подругу и наперсницу тяжелого семейного горя.

Но, вместо деспота-мужа, Елена Львовна, к крайнему своему удивлению, нашла в моем отце добродушного, кроткого, немного вялого человека, вполне покорного жене, глубоко несчастного в браке и все-таки не возроптавшего на свое несчастье. Вместо угнетенной жены — нашла капризную самовластную женщину, в которой трудно было узнать прежнюю живую, эксцентричную, вспыльчивую, но ласковую

Лидию Алимову. В доме и именье шла полная неурядица. «Не раздражать барыню!» — было единственным твердым правилом в быту Рахмановых, и барыню точно не раздражали, угождая ей с рабской покорностью во всех ее выдумках и затеях. А выдумки часто выходили за пределы всякого разума и приличия. Рахмановская усадьба была каким-то постоялым двором для губернской молодежи: гости не переводились в доме — дневали и ночевали, ели, пили, вели игру, ухаживали за красавицей-хозяйкой, которой, по-видимому, очень нравилось это бесшабашное житье. Странность семейного склада Рахмановых заставила Елену Львовну объясниться с зятем начистоту. Она была возмущена и сильно горячилась:

— Как вам не стыдно?! Как вы допускаете и терпите такую сумятицу в своем быту? Что это? равнодушие? — так нет же! Вы любите Лидию: по вашему лицу видно, как вы страдаете...

— Допускаю и терплю, потому что прекратить не в моей, да и не в ее воле! — возразил мой отец.

— Как?! Я вас не понимаю... Подумайте: чем же кончится все это?

— А вот чем: пройдет припадок разгула, и Лидия сама положит конец этому безобразию, впадет в покаянный стих, станет молиться по целым дням, плакать, истязать себя веригами... Какой припадок хуже — этот или покаянный — уж и не знаю! Судите сами.

— Боже мой! Значит, Лидия...

— Душевнобольная! К сожалению, это несомненно, Елена Львовна, — сознался отец и заплакал.

Елену Львовну как громом ударило. Она не могла не поверить: душевнобольные встречались почти в каждом поколении рода Алимовых, а Лидия была не без странностей уже в детстве. Александр Григорьевич рассказал, как мог, историю недуга жены, созревшего в невольном провинциальном уединении. Однообразие жизни возбудило в молодой женщине жажду новых ощущений, заставило броситься очертя голову в омут первых представившихся незатейливых развлечений; почти невольно она изменила мужу: раскаявшись, сама рассказала ему свой грех и молила о прощении, а прощенная, стала презирать мужа за великодушие, показавшееся ей либо отсутствием любви, либо неприличною для мужчины слабостью. Презирая мужа, ненавидя себя, она искала забвения то в разгульных пирушках, то в преувеличенно-усердной

молитве и чуть не аскетических подвигах. Сперва папа жестоко негодовал на жену, позорившую его имя, но мало-помалу убедился в полной непроизвольности ее поступков, примирился с роковым ударом, начал ее лечить... повез за границу, развлекал... О широкой жизни их в Париже ходили громкие легенды. В свои светлые промежутки мама блистала остроумием, образованием; о ней говорили, как о выдающейся звездочке среди парижских ésprits forts[1]; тогда-то и целовал ей руки Гейне, и — проездом — написал романс Глинка... Но светлые промежутки видели только посторонние, а весь ужас припадков неизлечимой болезни падал свинцовою тяжестью на моего отца. Он нес эту тяжесть втихомолку, один-одинешенек — и впервые не вытерпел, поделился ею с Еленою Львовною... И вот, вместе с ужасом пред его горьким признанием, в душе Елены Львовны зародилась первая искра любви к моему отцу. Ей стало жаль нежного, честного сердца, истерзанного поруганною любовью, своим позором, горькою смесью презрения и сострадания к виновнице своего несчастья, все еще страстно любимой, вопреки всему, и — главное — состоянием полной безвыходности положения.

Когда скончался мой дед, Лев Андреевич Алимов, папа назначен был опекуном Елены Львовны, и с тех пор она не расставалась с нашим домом. Мама немногим пережила дедушку. Отец, убитый потерею жены, словно обезумел и, равнодушный ко всему на свете, не жил, а вяло влачил едва сознательное существование.

Уходу и заботам Елены Львовны папа был обязан своим возрождением. Тетя полюбила моего отца, неся целебную помощь его больному сердцу; он полюбил ее, принимая ее сострадание. «Она его за муки полюбила, а он ее — за состраданье к ним». Они объяснились... Вдовец от одной сестры, папа не имел права жениться на другой. Тогда-то тетя Елена разбила свою жизнь коротким приговором: «Покоримся необходимости. Нельзя идти против Бога». Напрасно папа доказывал, что закон можно обойти. Елена Львовна стояла на своем.

— Что мне в том, если вы сделаете наш брак законным в глазах людей, когда он останется непризнанным церковью и нами самими?

---

[1] Ярких умов *(фр.)*.

— Но ведь церковь даст нам свое благословение. Я найду священника...

— Да я-то не приму благословения от священника, который способен обманывать свою церковь, подделывать ее обряды... Не возражайте, Александр Григорьевич: вы не поймете меня: вам все равно, верите ли вы в Бога и церковь, а для нас, Алимовых, наша вера — наша совесть. Раскаемся, Александр Григорьевич, и — прочь от греха! Я не могу быть вашею женою... а ничем другим не хочу быть: гордость не позволяет... Простите меня!

Папа отвечал упреками:

— Вы не любите меня и никогда не любили. Вы просто развлекались от скуки платоническим романом. Вы обманули меня!

Елена Львовна смертельно побледнела, но — слишком гордая для оправданий — повторила:

— Я виновата, Александр Григорьевич. Простите меня!

А в ночь после этого разговора, над прудом нашего деревенского сада, долго стояла темная женская фигура. И люди, и природа давно спали крепким сном, убаюканные теплою лаской светлой весенней ночи, а женщина, одинокая, неподвижная и безмолвная, все стояла, сурово глядя в темное ложе пруда, слушала порывистый стук сердца в своей груди и думала, что это сердце разбито и ей надо умереть. Но младенческий образ девочки-сиротки пролетел пред ее глазами и остановил ее в роковом шаге... тетя Елена посвятила свою жизнь мне. Никогда после не напоминала она Александру Григорьевичу о былой заглушенной страсти. Что касается самого отца, все его попытки вернуться к вопросу неудавшейся любви разбивались о холодное молчание Елены Львовны. Года через два папа уже не делал и попыток: он привык видеть в Елене Львовне только добрую родственницу и, махнув рукою на недавнее прошлое, был уверен, разумеется, что и тетя поступила так же.

VII

— Да, говорила тетя Елена,— волнение улеглось, страдание притупилось; любовь не забылась, но перелилась в дружбу... нет, дружба — это мало... во что-то теплее, участливее. Ах, не легко далось мне это, но все-таки далось!.. Моя привя-

занность к тебе все росла и помогала мне в моем грустном пути. Пытка старого девства началась уже много позже.

Александр Григорьевич — увлекающийся человек. Он любил меня; потом, не встречая явного сочувствия, стал холоднее. Случалось ему, на моих глазах, влюбляться в других женщин. Сперва он конфузился этих неожиданных «измен» мне — своей «вечной любви», как неосторожно поклялся он когда-то и сам было поверил невозможной клятве. Он совестился меня, страдал, скрывался, обманывал... но ты знаешь своего отца: он не в состоянии провести и ребенка,— где же ему обмануть любящую женщину? Потом, уверясь, что я если не знаю его «измен» в точности, то, однако, догадываюсь о них и все-таки не возмущаюсь, и он сделался откровеннее... Суди сама, легко ли было мне оставаться спокойною свидетельницею целого ряда мелких увлечений любимого человека. Ах, эти идеалисты! С ними женщине горе — не лучше, чем с развратниками. У них — вот какие большие глаза на нас. Всякая смазливая рожица, которая им улыбнется,— уже Психея; каждая не совсем глупая, не вовсе злая девчонка — уже небесная душа... Но, да что распространяться! Дело говорит лучше слов: уж если Александр Григорьевич умудрился идеализировать даже Липу,— Филину из «Вильгельма Мейстера» она ему напоминала, видишь ли... радость, нечего сказать!— ты понимаешь, сколько подобных идеализаций пришлось мне перестрадать, прежде чем Бог наказал нас этим проклятым браком... Но я не считала себя вправе возражать и вмешиваться в ход жизни Александра Григорьевича. Что же? Раз я отказалась от его любви,— он человек свободный, обязанностей ко мне у него нет. Я только отвела свое сердце от него,— такого, каков он есть,— и стала любить его вдвое больше таким, каким раньше создало его мое воображение, каким — по моему идеалу — следовало ему быть. А я тем сильнее любила свой идеал, чем больше исполнялась, про себя, ревнивою обидою к его носителю... обидою, может быть, недостойною и неправою: грешно требовать, чтобы человек, во имя одной неудавшейся любви, отказался воскресить свое сердце другою! Только эту — Липу — я была не в силах извинить ему, потому что она — животное, и кто любит ее, сам обращается в животное. Видеть же, как любимый человек оскотинивается и как торжествующая самка попирает его ногами... не дай Бог никому —

самой худшей женщине, даже Липе этой, не пожелаю я такого горя, Мила!

Итак, я стала одинокою. Никому не было дела до меня, ни мне ни до кого. Я заключилась в своем больном чувстве... да в тебе, чужая дочка, дитя мое милое! Не будь тебя, не по силам было бы мне помириться с отказом от брака. Я рождена быть матерью и воспитательницей! Да и есть ли женщина — нормальная телом и духом женщина,— которая искренно чувствовала бы себя рожденною для других задач и целей? Это — главное в женщине, это — вечное; все остальное — постороннее, временное, преходящее, как век мира сего. Бог создал нас, чтобы мы обновляли земные поколения. Женщина может забывать о том, отстранять от себя и брак, и материнство, может заглушать, маскировать и заслонять от себя истинное свое назначение другими человеческими целями; но уйти от него не может и никогда не уйдет: некуда. Ты изумилась, выслушав проклятие девству от меня, гордой, целомудренной Елены Алимовой... О, Боже мой! Когда бы ты знала эту, ужасную в своей бесцельной неправоте, борьбу духа с телом. Могла ли бы ты верить, что под моей маской бесстрастия поднимались порывы такой дикой чувственности, что временами мне казалось — лишь самоубийством я могу спасти себя от падения, позорного, унизительного падения без любви... падения ради падения? Поверишь ли ты в бессонные ночи, полные жгучей тоски полупонятных желаний, в страстные сны, откликавшиеся своими призраками на все, и духовное и плотское, что книги и воображение подсказывали мне в слове «любовь»? Оценишь ли ты горе видеть бесплодно отцветающим свое тело? Сказать ли тебе, что бывали дни, когда я ненавидела память покойной Лидии, от зависти, зачем ты — ее, а не моя родная дочь? А годы, когда я решилась сознаться, что напрасно исказнила себя? когда, в досадах на обидную действительность, стал меркнуть мой идеал? когда я со стыдом убедилась, что если Александр Григорьевич равнодушен ко мне, то время сделало свое дело и надо мною и моя любовь из упорства неудовлетворенной страсти обратилась в упорство самолюбия, оскорбленного ранним охлаждением взаимного чувства в любимом человеке?.. Холодность — там, самолюбие — здесь... казалось бы, все кончено. Но нет: а обида-то?— Во имя чего же я принесла свою бесплодную жертву, если она, еще недавно принимаемая мною за подвиг, теперь, простою силою давности, обратилась

в жестокую бессмыслицу в моем же собственном мнении? Трудно, Милочка, обвинять себя в своем же несчастье, да еще несчастье целой жизни. Кажется, вот и сердце, и ум согласились уже: «Ты сама отказалась от счастья и добровольно обрекла себя зачем-то на пытку. Себя и вини! Никто другой не становился тебе поперек пути, напротив, были добрые люди, еще указывали тебе дорогу к счастью!» А червь себялюбивый все-таки копошился в глубине души, и так и хочется подыскать источник своего зла во внешнем мире, оправдать себя насчет других... Тебя не поняли, тебя обидели; мир зол, глуп, отвратителен... Начинаешь понимать удовольствие сорвать зло, втягиваешься в эту жестокую самозабаву; временами является даже жажда быть оскорбленною, чтобы иметь право злиться: ведь если без повода-то бывает потом так совестно пред самою собою! Сколько друзей я представляла врагами себе, сколько дружб растеряла, сколько врагов нажила. Ты знаешь, я не глупа. Но я мало занималась своим «я»; в юности нас учили — Бог знает, к добру или к худу! — больше интересоваться своими отношениями к людям нашего общества, чем рыться в своей душе. Но горе углубляет человека в себя, и в моей девической трагикомедии не укрылась от моего разбора ни одна черта. Сколько дурного, темного — такого, за что мне делалось стыдно в следующее же мгновение,— передумала и перечувствовала я в эти годы! Сколько я завидовала, ненавидела, презирала, сколько терзалась и злобилась! Я достаточно честна, чтобы стыдиться таких движений больного духа, и достаточно сильна, чтобы скрывать их. Выдержка-то есть: на то я и Алимова. Мы, Алимовы, люди долга, а не прихотей. Все считали и считают меня живым опровержением на ходячее представление о старой деве. Ложь! Когда бы люди знали, каким египетским трудом выработана моя маска доброты, спокойствия! Я добра, потому что должна и могу заставить себя быть доброю, а не потому, что я хочу.

Теперь мне лучше. Сорок лет — бабий век. Женщина во мне умирает... тело вянет... дух стал свободнее, мысль чище... Но до этого!.. Боже мой!

Ах, Людмила, не ругайся над плотью! Она покоряется, но и в порабощении жестоко мстит за себя. Если ты любишь себя, если ты хочешь испытать в жизни хоть несколько мгновений чего-то похожего на счастье — будь женою и матерью! Выходи замуж. Ты заранее преступница пред своим будущим му-

жем, кто бы он ни был. Он уже обманут тобою, и ты заранее осуждена тянуть этот старый обман всю жизнь, до могилы. Стыдно это, подло, ужасно... тяжело и мучительно дастся оно тебе! Дурно, позорно с моей стороны убеждать тебя к этому,— да что мне теперь до позора! Мой позор со мною и останется; мой позор — мое и покаяние. Я так люблю тебя, я должна спасти тебя — спасти именно от того, чтобы ты не прошла сквозь унылые мытарства моей «завидной» жизни... Мне жаль, мне жаль тебя!.. Выходи замуж. Обманывай и страдай от обмана, но лучше десять обидных тайн, десять обманов на совести, чем тоска и каторга старого девства!

* * *

Дочитав рукопись до конца, Людмила Александровна откинулась в глубь кресла и, прижавшись затылком к холодной кожаной спинке, глубоко задумалась. В ровном матовом свете лампы, неподвижная, с бледным лицом и широко открытыми черными глазами, она казалась скорее картиною какого-нибудь меланхолического мечтателя-художника, чем живым человеком... Часы пробили два... Людмила Александровна встрепенулась, вздохнула, провела рукою по лбу и, придвинув к себе рукопись, взялась за перо... На последнем, оставшемся чистым в тетради, листке она написала следующее:

«Пятнадцать лет тому назад я, уже замужняя женщина, в минуту очень тяжелого настроения, полная угрызений совести пред мужем, неповинно мною обманутым, спросила моего друга, литератора Сердецкого:

«Аркадий Николаевич! что делать человеку, если у него на душе есть тайна, которую нельзя сказать людям, а между тем она душит его, сводит с ума, отравляет ему каждую мысль, каждый кусок хлеба?..»

«Парикмахер доблестного царя Мидаса,— шутливо отвечал Сердецкий,— в таком казусном положении доверил свой секрет ямке, вырытой в болоте. Но на болоте вырос тростник, и шепот его рассказал всему миру, что у царя Мидаса — ослиные уши. Тайна — если есть потребность ее рассказать — уже не тайна, Людмила Александровна».

«Но что сделали бы вы на месте такого человека?»

«Вероятно, заперся бы в своем кабинете, взял лист бумаги, написал на нем все, что меня давит, и потом запер бы написан-

ное в самый потайной ящик своего письменного стола... Бумага менее разговорчива, чем тростник в царстве Мидаса... Недаром же про нее говорят, будто она все терпит. А поделиться своею бедою, хоть с бумагою,— конечно, большое облегчение. «В минуты жизни трудные» я перечитывал бы свою рукопись, вносил бы в нее новые подробности, поправки, и, вероятно, в конце концов из нее вышла бы весьма недурная вещичка во вкусе входящих теперь в моду психологических этюдов».

Я приняла совет Сердецкого и написала тогда эту рукопись. Пятнадцать лет пролежала она в бюро, и ни разу не потянуло меня пересмотреть ее, ничто не вызывало меня снова пережить и перечувствовать ее содержание. Прочитала сейчас и вижу, что мне нечего добавить к своему рассказу, а что было после — уже не тайна и укладывается в два слова. Тетя Елена настояла, чтобы я вышла замуж за Степана Ильича Верховского. Он сумел сделать наше супружество счастливым и обратить в привязанность мое уважение к нему... Я употребила все усилия воли, чтобы быть достойною женою своего мужа — и, кажется, успела в этом. За восемнадцать лет брака мы не имели ни крупных ссор, ни обидных недоразумений и сомнений друг в друге. Дети наши — прекрасные дети. Тайна моего девичьего стыда умерла в этом браке. Тетя и Ревизанов были единственными свидетелями, которые знали все. Липа и Раиса могли лишь догадываться, но не смели обвинять с уверенностью. К тому же Липа — из тех, которые любят сами грешить, так и в других грех за беду не считают. Она — пустельга, но не доносчица. Да по ветрености своей опа уже и забыла все: подробности нашего столкновения бесследно выдохлись из ее памяти; я не раз убеждалась в этом. Раисы вскоре не стало в нашем доме: ее кто-то сманил... В семидесятых годах Аркадий Николаевич Сердецкий, возвратясь из Петербурга, со смехом рассказывал мне, что признал Раису в одной известной опереточной звезде... Выйдя в люди, не особенно охотно вспоминают о времени, когда были горничными, и не затевают историй, связанных с такими воспоминаниями. Итак — остаются только тетя и Ревизанов. Но не тете было предавать меня. А Ревизанов надолго исчез из Москвы, и лишь сегодня я опять видела его. К большой моей досаде, Степан Ильич пригласил его к нам обедать. Придется любезно встречаться с человеком, к которому — и хотела бы, а не могу относиться равнодушно: не

простила ему ничего, презираю и ненавижу, как восемнадцать лет тому назад. Мне не хотелось бы, чтобы он заметил это: слишком много чести! — а скрыть будет трудно. Сегодня в театре, увидав этого негодяя, я взволновалась, как не волновалась с тех проклятых дней. Надеюсь, что это было последнее мое волнение по этому поводу и что больше мне не придется ни перечитывать моей старой тетради, ни вносить в нее новых строк».

VIII

Воскресные обеды «своих» у Верховских были старым обычаем их дома. Собирались: Ратисовы, Синев и Елена Львовна Алимова, если бывала в Москве; из посторонних приглашалось не более двух-трех человек. Обедали в маленькой столовой, с обычным сервизом, без церемоний, по-родственному. Поэтому, приехавший первым в воскресенье, Синев, даже руками развел: настолько праздничным блеском отличались приготовления к обеду...

— Сестричка! — завопил он, — превращаюсь в статую восторга и изумления! Серебра-то, хрусталя-то... Господи Боже мой! «Богат и славен Кочубей, его луга необозримы!»

— Ради Бога, не так шумно, Петр Дмитриевич, — с досадой отозвалась Верховская. У нее с утра болела голова, и, не вмешиваясь в приготовления к обеду, она весь день пролежала на кушетке у себя в будуаре.

— Позвольте! Но чьи же сегодня именины?! Ваши? Лели? Лиды? Надо же мне знать, для кого посылать за конфетами.

— Пошлите для Ревизанова: он сегодня у нас обедает, и ради него Степан Ильич, как видите, поднял весь дом на ноги.

Лицо Синева омрачилось. Он смирно сел на стул возле Верховской.

— Людмила Александровна, — сказал он с укором в глазах, — зачем вы принимаете такую дрянь?

Верховская пожала плечами.

— Желание Степана Ильича! Вы знаете: у него благоговение к старинным знакомствам — недуг какой-то... Не видался с человеком двадцать лет, встретился — вот, на радостях, и фестиваль... Я очень спорила, но Степан Ильич даже немножко рассердился. Не ссориться же мне с мужем

из-за г. Ревизанова! Верьте, голубчик: появление этого человека в нашем доме мне неприятнее, чем кому-либо...

Она помолчала.

— Да еще, как нарочно, нездоровится. В висках кузница, а изволь его занимать...

— Вот еще! очень надо!— сердито воскликнул Синев,— охота церемониться! Подкиньте его неувядаемой Олимпиаде, вот и вся недолга. И она будет счастлива, и ему не будет скучно: он ведь ферлакур известный... Что вы морщитесь?

— Боже мой! говорю же вам: мигрень... Помнится, вы в театре собирались рассказать мне что-то о Ревизанове?..

— Виноват, кузина: не рассказать, а посплетничать. Рассказывать можно лишь то, в чем уверен. А будь я хоть капельку уверен хоть в одном эпизоде из московской Ревизаниады — хо-хо! не обедать бы ему у вас, а сидеть бы, другу милому, в Бутырской академии, на цепуре... Ведь я уже говорил вам, что в ревизановской легенде вы найдете все, что угодно: и убийство, и шантаж, и грабеж, и подделку документов.

— Славный гость для порядочного дома!— заметила Верховская с жестом отвращения.

— Э! кузина!— утешил ее на этот раз Синев,— таких ли господ приходится знать и подавать им руку... Общество неразборчиво... О Ревизанове мы, по крайней мере, ничего верного не знаем. А вон я ездил с сенатором Лисицыным в Сибирь на ревизию — так прямо диву давался: наши господа червонные валеты, сосланные за растраты, кражи, мошенничества, всюду — первые гости, если, конечно, они сберегли что-либо из украденного. А раз мы так добры, что не отказываем в любезном приеме даже шельмованным молодцам, какое нам дело до прошлого человека с какою угодно легендою? Особенно когда человек этот очаровательный мужчина и — главное — первоклассный капиталист? Кто старое помянет, тому глаз вон.

— Не философствуйте, а рассказывайте легенду.

— Э! однако я вас заинтересовал. Вот уверяют, например, будто обе жены Ревизанова,— и мануфактурщица Ахова, и золотопромышленница Лабуш,— умерли не своей смертью; будто приисковый врач Штерн, который пользовал Лабуш пред ее кончиной и которого молва считает тоже не без греха в этом деле, вскоре был уволен Ревизановым за какие-то дерзкие намеки, поехал в Екатеринбург и, не доехав, пропал,

по дороге, без вести в тайге... Ну, и еще десятки тому подобных сказок.

— Скажите откровенно: вы лично им верите хоть сколько-нибудь?

— Нет!— с некоторым колебанием ответил Синев,— нет! Что-нибудь есть за ним темное и скверное,— только не такое, а в другом роде. Видите ли, во-первых, подозрительные обстоятельства, при которых умерла вторая жена Ревизанова, вызвали — как я уже говорил вам — тайное дознание. Производил его человек в высшей степени добросовестный и самым тщательным образом. Однако он не открыл ни тени не то что преступления, но даже некорректных каких-либо поступков со стороны Ревизанова. Наоборот, сам Ревизанов скорее был в этом браке страдательным лицом, угнетенным несчастным мужем, потому что золотопромышленница его — как выражался Кузьма Прутков,— «следуя обычаям своей страны»,— пила мертвую чашу, допивалась до белой горячки и скандалила на весь Урал, пока благополучно не умерла от цирроза печени. Говорили, правда, что пить она стала с выучки и благословения возлюбленного супруга, но таких преступлений российские законы не предвидели и наказания за них не предусмотрели. Да и правда ли? Мало ли с чего вдруг возьмет да и сопьется русская купчиха: чему другому, а пьянству учить ихнюю сестру нечего,— горазда и без наставников. Во-вторых, трудно допустить в интеллигентном человеке возможность такого последовательно отрицательного характера. Цезари Борджиа исчезли во мраке веков. Нынче систематическими преступлениями занимаются только дегенераты, дикари цивилизации. И, наконец, в-третьих, преступление дело копотливое; своими отголосками оно отнимает у человека много времени, а Ревизанову — этому вечно, как в котле, кипящему дельцу — навязывают на шею такую пропасть вопиющей об отмщении уголовщины, что трех жизней мало, чтобы успевать играть в прятки с законом при столь стеснительной обстановке. Все обвинения на него, разумеется, раздуты, искажены, перевернуты с лица наизнанку. Тут и зависть, и довольно общая страстишка позлословить насчет выдающегося человека, и выдумки ненависти: у Ревизанова масса врагов — и за дело, и просто по антипатии... Ведь он очарователен, только когда хочет, а вообще, пренадменная скотина... Но с другой стороны, повторяю,— и дыма без огня не бывает: какая-нибудь искорка

правды сверкает и в этих рассказах; да вот — поди! поймай эту искорку!..

Он задумался.

— Что Ревизанов — человек огромной силы воли и не трус,— начал он снова,— я лично могу вам засвидетельствовать. Я — совсем юным кандидатом на судебные должности — был причислен к суду в Северске, как раз когда бунтовали рабочие на железной дороге, тогда еще только начатой. Я сам видел, как Ревизанов, один, без оружия, вошел в самую средину толпы, озлобленной справедливым негодованием — кормили их убийственно!— и водкою. Рабочие только что зашвыряли камнями станового и изувечили двух урядников. В воздухе висели крики: «Подавай нам самого Ревизанова! что на него смотреть? бей его, ребята!» Он осмотрелся, выглядел крикуна погорластее, собственноручно взял его за шиворот и приказал связать.

— И связали?

— Да. Уж очень хорошо приказал. У меня вчуже пошли по спине мурашки. Прикажи он мне так внушительно связать даже отца родного,— кажется, и я бы тоже оробел и машинально повиновался. А сознательно действовать на толпу — это, я вам скажу, не шутка. Тут много надо и характера, и презрения к человеку — уменья смотреть на него, как на скот, обязанный беспрекословно повиноваться. Люди, снабженные таким даром и уменьем, далеко не часто встречаются и обыкновенно сортируются по двум категориям: либо это великие народные вожди и деятели, либо большой руки канальи и хладнокровные, сознательные преступники... И так как Ревизанов не великий человек, да уже и выходит из лет, когда формируются великие люди, то я позволяю себе считать его во втором разряде «героев толпы» — то есть сопричислить его «со тати и разбойники».

Синев встал и прошелся по комнате: он соображал и припоминал.

— Вообще, бороться и враждовать с Ревизановым я не желал бы... Вы не слыхали про некоего Блюма?

— Нет. Кто это?

— Петербургский банкир, компаньон Ревизанова по постройке Северской дороги. Видите ли: известно, что Ревизанов ведет отчаянную биржевую игру, хотя лично он очень редкий гость на бирже и имеет странность притворяться совсем непричастным к ее жизни; нескольких завзятых

биржевиков — к слову сказать, господ с весьма сомнительным прошлым — считают его уполномоченным агентом. Весьма часто, при необъяснимых колебаниях русских частных бумаг, наши — в особенности петербургские — дельцы, опасливо придерживая карманы, восклицают: «Ох, не Ревизановым ли тут пахнет?» — и стараются сбыть с рук начавшую подозрительно танцевать бумагу. Но возвратимся к Блюму. Этот господин — зазнавшийся немец из тех, которые, наживаясь русским потом и кровью, памятуют твердо только одно: что русский — «свин», а у них есть «свой король в Германии». Однажды он сказал Ревизанову крупную дерзость, Ревизанов смолчал, но с этого дня на Блюма посыпались непонятные невзгоды: купит он какие-нибудь акции в повышении — глядь, назавтра курс на них падает до minimum'а; продаст что-либо в minimum'е — глядь, курс начинает подниматься; значит, покупай обратно с большим убытком... а завтра опять скачок вниз! Скоро прошли слухи, что Блюму приходится плохо и он ненадежен. Вкладчики его конторы единодушно потребовали свои деньги, и Блюм позорно крахнул. На бирже все соглашались, что Блюма убрал Ревизанов. Если это правда, то, ради мести, он позволил себе большую роскошь: биржевые скачки, погубившие Блюма, балансировали, по меньшей мере, на полумиллионе... Да и всем, кто ссорится с Ревизановым, начинает как-то не везти: одни разоряются, другие теряют службу, третьи, наконец, пропадают без вести, даже умирают.

— Что вы говорите?

— Да, право, так. По смерти Лабуш ее единственный родственник, известный сибирский делец Тотьмин, вздумал было оспаривать завещание, оставленное покойною в пользу мужа и... в одночасье умер от удара.

— Что же? в этой истории нет ничего неестественного.

— А я разве утверждаю противное? Я только привожу пример, что ревизановским врагам бабушка не ворожит.

Приехала Олимпиада Алексеевна с мужем, разодетая, как на раут, и — точно лейденская банка — заряженная кокетством.

— Фу-ты, ну-ты!— встретил ее Синев,— не женщина, а Святослав в юбке! «Иду на вы» — и шабаш! Держись теперь, Андрей Ревизанов!

— А тебе завидно?

— Куда уж мне завидовать! Где нам, дуракам, чай пить? Наше место — на заднем столе, с музыкантами.

Ратисова осмотрела туалет Людмилы Александровны.

— Ты не будешь переодеваться к обеду? так, вот в этом и останешься?

— Конечно,— с досадою возразила Верховская.— С какой стати мне рядиться? Не именины же у нас в самом деле, как уже посмеялся Петр Дмитриевич...

— Да нет, кузина, я ведь ничего...— сконфузился молодой человек.

— Пожалуйста, не оправдывайтесь: вы совершенно правы, и весь этот фестиваль по случаю знакомства,— как в афишах пишут — «в первый раз по возобновлении», ужасно глуп...

Ратисова продолжала критиковать ее взглядом.

— Впрочем,— сказала она,— черное удивительно идет к тебе... Испанка какая-то... Ты очень интересна сегодня.

Она расхохоталась и ударила Синева веером по плечу:

— Ну, ты, молокосос! признавайся: восхищен нами?

— Если бы вы еще не дрались!..— жалобно простонал Синев, почесывая плечо.

— Есть в вашем тщедушном поколении женщины, как мы? Ну — кто нам даст наши тридцать шесть лет?

Людмила Александровна невольно рассмеялась.

— Липа, побойся Бога! ты воруешь целых три года... Мне-то действительно тридцать шесть, а ведь ты старше меня.

— Да? Ну, значит, с нынешнего дня будет тебе тридцать три, потому что я больше тридцати шести иметь не желаю. А впрочем, не все ли равно? Э! тридцать шесть, тридцать девять — невелика разница. Разве года делают женщину? Лета — c'est moi[1]! Были бы душа и тело молоды!

— О теле не осведомлен,— уязвил Синев,— но уж души моложе вашей, кажется, и не бывает.

— Еще бы! Про меня сам Мазини сказал третьего дня, что я jolie personne...[2] Кто мне даст больше тридцати? А уж о тебе, Людмила, и речи нет. Помню тебя девочкой: красавица была; помню барышней — тоже хоть куда; вышла замуж, пошли дети — подурнела, стала так себе; а теперь опять —

---

[1] Это я! *(фр.)*

[2] Красавица *(фр.)*.

прелесть как расцвела,— давай-ка, душка, справлять вторую молодость?.. а?

Людмила Александровна и Синев смеялись, но рыжая красавица победительно потрясала кудрявою прическою своею.

— Совсем нечего зубы скалить,— я правду говорю. А если не веришь на слово, что мы еще можем постоять за себя,— вот тебе документ.

Она бросила Людмиле Александровне розовую бумажку.

— Что такое?

— Billet doux[2]. Так это называется. «Обожаемая Олимпиада Алексеевна! Давно скрываемое пламя любви»... и прочая и прочая. Сегодня получила. И ему всего двадцать два года. Нет, старая гвардия умирает, но не сдается!

Людмила Александровна прочитала, расхохоталась и передала записку Синеву.

— Глупо-то, глупо как!

Олимпиада Алексеевна возразила хладнокровно:

— Это тебе с непривычки. А мне ничего, даже очень аппетитно..

Синев прочитал и сказал язвительно:

— Слог «Собрания переводных романов». Должно быть, приказчик из Пассажа писал.

Олимпиада Алексеевна, с тем же непобедимым хладнокровием, отразила и этот удар:

— Это уж известно, что когда молодой человек читает письмо другого молодого человека, написанное к красивой женщине, то автор письма непременно оказывается либо приказчиком, либо военным писарем, либо еще того хуже.

— Получили?— улыбнулась Людмила Александровна.

— Тетушка! Вы неподражаемы.

— А ты не кусайся!

Подъехали Реде и Кларский — подчиненные Степана Ильича по банку, молодые люди, почтительные, тихие, незначащие и незаметные — в периоде делания карьеры... Не хватало лишь Ревизанова. Наконец задребезжал в передней и его звонок.

— А вот и сам великий маг Калиостро!— возгласил Синев.

[1] Любовная записка *(фр.)*.

IX

Сверх общего ожидания, обед прошел живо и весело. Казалось, Ревизанов чувствовал, что в доме есть враждебный ему лагерь, и, употребляя все средства, чтобы добиться от этого лагеря если не мира, то перемирия, был действительно очарователен. Сидеть ему пришлось между хозяином и Олимпиадою Алексеевною. К великому удовольствию Людмилы Александровны, к обеду приехал, давно уже не бывший у Верховских, Аркадий Николаевич Сердецкий; знаменитый литератор был гостем почетнее Ревизанова, и ему, по праву, досталось место рядом с хозяйкою. В своих серебряных кудрях вокруг далеко еще не старого лица, оживленного блестящими карими глазами, Сердецкий представлял собою фигуру внушительную и картинную.

— Ума не приложу, Аркадий Николаевич,— говорила ему Олимпиада Алексеевна,— как это мы пропустили с вами время влюбиться друг в друга?..

— Это, вероятно, оттого произошло, что я тогда слишком много писал, а вы слишком мало читали,— отшучивался литератор.

— А когда стала читать, то уже оказалась героинею не вашего романа?

— Все мы из героев вышли!— вздыхал Сердецкий.

Обыкновенно очень живой и разговорчивый, сегодня за обедом он приумолк и лишь все поглядывал яркими, внимательными глазами на Ревизанова, которого — между десертом и фруктами — Синев втянул в довольно обостренный спор. Дело шло о крахе некрупного коммерсанта — клиента банка, где директорствовал Верховский. Банкротство было явно злостное. Банкрот скрылся за границу, и поймать его было мало надежды...

— Да и какая польза ловить?— заметил Ревизанов.— Истратят чуть не столько же, сколько он украл, на поимку. В конце концов — один результат: обокраденным дан приятный — да еще и приятный ли?— спектакль: «Чужое добро в прок нейдет»... Удивительно целесообразное зрелище: на скамье подсудимых, между двумя жандармами с саблями наголо, сидит нищий, сумевший сделать нищими сотню людей глупее себя... Кому тут польза?

— Что же? значит, так и не ловить господ денежных воров?— задорно отозвался Синев,— так и оставлять их?

Грабьте, мол, милые люди, сколько душеньке угодно: своя рука владыка...

— Нет, отчего не ловить при случае? Ловите,— не без легкой насмешки возразил Ревизанов,— но только, прежде чем ловить вора, надо ловить похищенные им деньги. Потому что — верьте мне — вор сам по себе, без украденной им суммы, решительно никому не нужен — даже тем, кого он обездолил. Деньги — вещь деловая-с, и в денежных вопросах vendetta catalana[1] — вещь весьма редкая и второстепенная... Сами посудите, какая мне радость, что закон отмстит за меня и ушлет Ивана Ивановича в Сибирь, когда Иван Иванович перед этим до копейки проиграл мой капитал в Монте-Карло? Ну, Иван Иванович будет в Сибири, деньги в Монте-Карло, а я — в Москве и без денег, и без Ивана Ивановича, который, хотя и немножко — виноват, mesdames,— мазурик, но в общем милейший человек... Только и всего!

— Но как же это сделать — ловить украденные деньги? — вмешался Верховский.

— А уж это — вне моей компетенции. Это — по части Петра Дмитриевича. На то он и судебный следователь.

— Вы как будто не очень высокого мнения о нашем институте, Андрей Яковлевич? — спросил Синев.

— Сохрани Боже! Напротив, обожаю его... Помилуйте! Да не будь вашего брата на свете, никто бы и ночи одной не уснул спокойно, все бы думалось: нет ни правды, ни управы на зло в свете,— не зевай, значит, человече, а то зарежут. Ну, а когда вы, господа судейские, сошлете сотню-другую божьего народца в компанию к макаровым телятам,— все поспокойнее. Вот, дескать, одну миллионную долю мирового зла уже искоренили... всего девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять долей осталось... на приплод, вместо искорененной!

Синев закусил губу.

— Однако у вас статистика!

— Какая есть — практическая.

— Наша, научная, добрее: она не такая страшная.

— Зато и не такая точная: считает только пойманных.

— А не пойманный-то — не вор, говорит пословица,— закатился добродушным смехом Степан Ильич.

Ревизанов улыбнулся:

---

[1] Месть, расправа *(ит.)*.

— Я то же думаю, потому что иначе, если рассуждать по всей строгости законов,— даже мы с вами вряд ли ходили бы на воле.

— Ну-с, это уже парадокс,— возразил Синев,— и даже нельзя сказать, чтобы особенно новый...

— Вы совершенно правы. Еще Гамлет говорил что-то в этом роде... Вот Аркадий Николаевич должен помнить.

Сердецкий, тихо беседовавший в это время с Людмилою Александровною, поднял на Ревизанова смеющиеся глаза.

— Нет,— сказал он звонким, густым голосом,— Гамлет сказал не то. Гамлет сказал, что «если бы с каждым обращаться по достоинству, то немногие избавились бы от пощечины»... Это совсем другое... А вот покойник Монахов действительно певал с эстрады:

Или нет виноватых кругом,
Или все мы кругом виноваты.

Ревизанов почуял в невинном тоне литератора скрытую насмешку.

— Это довольно зло, Аркадий Николаевич,— рассмеялся он,— и, сверх того, несправедливо. Нет, все не виноваты. А просто: есть люди, которые бьют и которых бьют, волки и овцы, преступники и жертвы...

— Вы в какой же лагерь себя зачисляете?— спросил Синев.

Ревизанов посмотрел на него с удивлением: «Вот, мол, бессмысленный вопрос!» — и даже плечами пожал.

— Что за охота быть овцою?

— Любопытный типик!— тихо заметил хозяйке Сердецкий,— из новых... я еще не встречал таких откровенных...

— Он не противен вам?— отрывисто спросила Людмила Александровна.

— Мне? Бог с вами, душа моя! Люди давно перестали быть мне милы, противны, симпатичны, антипатичны... Для меня общество — лаборатория; новый знакомый — объект для наблюдений; новое слово — человеческий документ. И только. Затем — «не ведая ни жалости, ни гнева, спокойно зрю на правых и виновных, добру и злу внимая равнодушно»... Я, дорогая моя Людмила Александровна, в обществе держу себя — как приятель мой, зоолог Свешников, у себя на станции в Неаполе. Притащил ему рыбак какую-то слизь

морскую. Меня — passez le mot[1] — от одного вида ее с души воротит, а Свешников прыгает от радости: всего, видите ли, два раза в XIX столетии ученые наблюдали эту пакость!.. Как-то раз приезжает он ко мне в Москве, а у меня сидит профессор Косозраков,— знаете, дрянь, доносчик, чуть ли не шпионишка. Не помню, по какому случаю он сделал мне визит. Свешников — на дыбы: можно ли знаться с подобными господами? А я ему: а неополитанскую слизь помнишь? Она, брат, все же трижды в столетие показалась, а такие подлецы, как Косозраков, раз в три столетия родятся. Как же мне упустить случай наблюсти столь редкостный экземпляр?

X

К концу обеда у Людмилы Александровны действительно не на шутку разболелась голова. Воспользовавшись временем, пока мужчины отправились курить в кабинет Степана Ильича, она прилегла у себя в будуаре. Олимпиада Алексеевна повертелась возле нее несколько минут — и не вытерпела, убежала к мужчинам. Ревизанов решительно влюбил ее в себя, как говорится, «на старые дрожжи»... Сердецкий и Синев — некурящие — пошли по дому отыскивать хозяйку.

— Вы что же это уединились, кузина? да еще в потемках?

— Мне совсем нехорошо... от болтовни и смеха мигрень усилилась... голова — ну просто лопнуть хочет...

— Так мы не будем вам мешать; вы, может быть, уснете?

— Нет, оставайтесь, пожалуйста. Вы забываете, что я хозяйка и не имею права болеть...

— От какого, однако, смеха разболелась у вас голова, Людмила Александровна?— сказал Сердецкий,— я следил за вами: в течение всего обеда вы ни разу не улыбнулись... Я даже сложил это в сердце своем и собирался, по праву старой дружбы, спросить вас после обеда: не случилось ли чего неприятного, что вы так озабочены?

— Решительно ничего, милый Аркадий Николаевич... Мне стало хуже не от своего, а от чужого смеха: его было слишком много.

— Мы тут ни при чем,— жалобно возразил Синев,—

[1] Здесь: простите за выражение *(фр.)*.

благодарите Ревизанова... Сегодня он герой: без умолку ораторствовал и потешал почтеннейшую публику.

— Не за что благодарить: мигрень — не большое удовольствие... Что же, Аркадий Николаевич? какое впечатление произвел на вас, в конце концов, этот господин?

Литератор развел руками.

— Как вам сказать? Я вспоминаю его в молодости и должен сказать, что, конечно, он выработался в гораздо более интересный тип, чем можно было ожидать... Когда он был вхож в дом вашего покойного отца, признаюсь, я не думал, что из него выйдет что-либо больше смазливого мужа богатой жены или — как впоследствии стали выражаться — альфонсика.

— У господина Ревизанова,— прервал Синев,— надо полагать, имеется приворотный корень. Мы с вами, Людмила Александровна, одни в открытой оппозиции. Вы слышали, что сказал Аркадий Николаевич? Как хитрый Талейран, он объявляет себя в нейтралитете. А Степан Ильич, Кларский, Реде, даже этот болван Иаков — прямо влюблены: глядят в глаза, поддакивают, льстят, хохочут на каждое слово... черт знает что такое! Об Олимпиаде Великолепной я уж не говорю: сия Vénus rousse[1] прямо потопила Ревизанова волнами своей симпатии... Только напрасно! дудки! этот не клюнет, не по носу табак, как говорят мои клиенты...

— Какие клиенты?

Синев засмеялся:

— У меня клиенты — народ хороший: все эдак лет на двенадцать рудников.

Сердецкий тонко посмотрел на судебного следователя и погрозил ему пальцем.

— Вы смеетесь над другими, а сами, кажется, больше всех заинтересованы своим таинственным незнакомцем, как вы его называете.

Синев засмеялся:

— Мое дело особое.

— Почему же?

— Потому что есть пословица: сколько вору ни воровать, а острога не миновать. У меня — смейтесь надо мной, если хотите,— но есть предчувствие, что мне еще придется со временем возиться с г. Ревизановым в следственной камере. Знаете, зачем я сейчас ушел из кабинета? Не стерпел: ру-

[1] Русская Венера *(ит.)*.

гаться захотелось. Он там свои убеждения развивал... Ну, ну! Не желал бы я попасть в его лапы!

— Что же?— слабо спросила Людмила Александровна.

— Хорошие убеждения. У него, как у Ивана Карамазова: все позволено. Только Ивану Карамазову «все позволено» жутко довелось: черт пригрезился и капут-кранкен пришел, а г. Ревизанов чувствует себя в своих принципах, как рыба в воде. Да что слова? Слова можно взводить и клепать на себя. Вы посмотрите на его физиономию: маска! Нежность, скромность, благообразие — не лицо, а «руководство хорошего тона». Губы с улыбкой, точно у опереточной примадонны, а в глазах — сталь... не зевай, мол, человече, слопаю!

Явилась Олимпиада Алексеевна и увела за собою всех к обществу. В зале были уже раскрыты карточные столы, но мужчины еще не спешили к ним, разгоряченные общим разговором.

— Как угодно, Андрей Яковлевич,— кричал Степан Ильич,— а все это софизмы!

— Как для кого,— возражал Ревизанов.

— Вы меня в свою веру не обратите.

— Я и не пытаюсь. Помилуйте.

— Больше того: я даже позволю себе думать, что это и не ваша вера.

— Напрасно. Почему же?— возражал Ревизанов со снисходительной улыбкой.

— Потому что вера без дел мертва, а у вас слова гораздо хуже ваших дел.

— Спасибо за лестное мнение.

— На словах вы мизантроп и властолюбец.

Ревизанов, в знак согласия, наклонил голову:

— Я действительно люблю власть и — в огромном большинстве — не уважаю людей.

— Однако вы постоянно делаете им добро?

— Людям?— как бы с удивлением воскликнул Ревизанов.— Нет!

— Как нет? Вы строите больницы, учреждаете училища, тратите десятки тысяч рублей на разные общеполезные заведения... Если это не добро, то что же по-вашему?

Ревизанов пожал плечами:

— Кто вам сказал, что я делаю все это для людей и что делаю с удовольствием?

— Но...

— Мало ли что приходится делать, чего не хочешь, чтобы получить за это право делать, что хочешь! Жизнь взяток требует. Только и всего. Теория теорией, а практика практикой.

— Вы клевещете на себя, Андрей Яковлевич!— сказал Верховский, дружески хлопая Ревизанова по плечу.— Вы делаете добро инстинктивно. Вы хотите, сами того не сознавая, отслужить свой долг пред обществом, которое вас возвысило...

Ревизанов двинул бровями, как бы смеясь над легковерием собеседника и в то же время жалея его.

— Долг!.. отслужить!..

— Вы смеетесь?— слегка краснея, изумился Верховский.

— О, нет. Над чем же тут смеяться? Я только нахожу эти слова неестественными. Зачем человек будет служить обществу, если он в состоянии заставить общество служить на себя? К чему обязываться чувством долга, имея достаточно смелости, чтобы покоряться лишь голосу своей господствующей страсти, и достаточно силы, чтобы исполнять волю этого голоса?

Наступила минута молчания. Степан Ильич бормотал что-то, смущенно разводя руками.

— Сколько вам лет, Андрей Яковлевич?— простите нескромный вопрос!— спросил он наконец.

— Сорок четыре.

— Странно! Мне пятьдесят шесть; разница не так уж велика. Я ближе к вам по годам, чем вон та молодежь... мой Митя, даже Петя Синев... а — извините меня!— не понимаю вас: мы словно говорим на разных языках.

— Да так оно и есть. Я говорю на языке природы, а вы на языке культуры. Вы толкуете о господстве долга, а я — о господстве страсти. Вы стоите на исторической, условной точке зрения, а я — на зоологической, абсолютной истине. Вам нравится, чтобы ваша личность исчезла в обществе, чтобы ваша частная воля покорялась воле общественной; я же измышляю всякие средства и напрягаю все свои силы, чтобы, наоборот, поставить свою волю выше общей.

— Вот как!— отозвался Синев из дальнего угла, откуда он, вместе с Людмилою Александровною и Сердецким, прислушивался к спору.

— Вы что-то сказали?

Ревизанов вежливо обратился в его сторону. Синев подошел ближе.

— Простите, пожалуйста, но вы мне напомнили... впрочем, неудобно рассказывать: не совсем ловкое сближение...

— Не стесняйтесь!— Ревизанов сделал бровью чуть уловимое движение надменного безразличия, которое взбесило Синева.

— Я слышал,— очень зло сказал Петр Дмитриевич,— вашу фразу на допросе одного интеллигентного... убийцы. Мы философствовали немножко, и он, между прочим, тоже определял преступление, как попытку выделить свою личную волю из воли общей, поставить свое «я» выше общества.

Ревизанов одобрительно кивнул головою:

— Да, в сознательном преступлении, несомненно, есть этот оттенок.

— И преступление — обычная дорога к вашему излюбленному царству страсти!— горячо воскликнул Верховский.

Ревизанов равнодушно пожал плечами:

— Бывает.

— Хорошая дорога, скажете?

— По крайней мере, хоть куда-нибудь приводит.

— Да всякая дорога ведет куда-нибудь!

— Ну нет. Перейти, например, с тропинки на проселок, а с проселка на большак — еще не значит прийти куда-нибудь... Вы пришли — когда вы на месте, куда шли; раньше вы только бродите.

— Знаете ли, Андрей Яковлевич?— перебил его Синев,— ваша теория — золотая для Жаков Лантье, Карамазовых...

Ревизанов опять, в знак согласия, склонил голову.

— И Наполеонов,— спокойно добавил он.

— Ого!— вырвалось у молчавшего до тех пор Сердецкого.

Все попримолкли.

— Помилуйте!— даже каким-то плачущим звуком возвысил голос Степан Ильич,— такая компания пожрет друг друга!

Ревизанов рассмеялся откровенным смехом мистификатора, которому надоело морочить свою публику:

— Так что же? горе побежденным.

XI

Провожая Ревизанова до подъезда, Степан Ильич хвалился:

— Теперь вы к нам зачастите. У нас уж дом такой: кто узнал к нам дорожку, наш будет.

Однако пророчество его не оправдалось. Правда, Ревизанов, на другой же день после обеда у Верховских, сделал визиты, т. е. забросил карточки и Людмиле Александровне, и Ратисовой, но заехал к обеим в такое раннее время, что — видимое дело — рассчитывал не быть принятым. А затем, недели три, о нем не было и помину.

Он объявился к Людмиле Александровне в одно «после завтрака», прямо с какого-то заседания, где, как сейчас же похвалился, одержал крупную победу. Победа была, должно быть, действительно очень крупная, потому что Ревизанов был заметно возбужден, и в синих глазах его еще не угасли огоньки, зажженные удовольствием борьбы и злорадством успеха. Он был и зол, и весел, и очень красив. Холеное лицо его разгорелось, ноздри вздувались...

— Простите, что я приехал к вам немножко сумасшедший,— воскликнул он, входя,— но это было презанимательно... я спорил и увлекался, как мальчишка...

Людмила Александровна оставалась дома совершенно одна. Дети были в гимназиях, Степан Ильич — в банке. Когда звякнул звонок, Верховской и в голову не пришло, что это Ревизанов, и она разрешила принимать... Увидав, какого гостя послала ей судьба для разговора tête-á-tête[1], Людмила Александровна растерялась. Она сидела пред Ревизановым, как в воду опущенная, упорно смотрела на ковер и почти не находила ему ответов. Ревизанов сидел недолго. Прощаясь, он, как бы в рассеянности, задержал руку Верховской в своей руке и посмотрел ей в глаза странным взором... Людмила Александровна почувствовала, что кровь бросилась ей в голову. Оставшись одна, она поспешила к зеркалу. Стекло показало ей лицо, сплошь залитое румянцем...

— Какой нахал!— шептала она, покрывая пудрою разгоревшиеся щеки.

Опять звякнул звонок. Людмила Александровна поспешила в гостиную навстречу новому гостю — и широко открыла

[1] Наедине *(фр.)*.

глаза от изумления и негодования: пред нею стоял только что уехавший и Бог весть зачем возвратившийся Ревизанов. Он не дал хозяйке высказать свое удивление.

— Простите, Людмила Александровна,— озабоченно и быстро заговорил он,— я прихожу вторично надоедать вам... Но — изволите ли видеть — сейчас на улице я сообразил, что в другой раз вряд ли мне выпадет такой счастливый случай говорить с вами наедине, как сегодня. А поговорить нам решительно необходимо. Э! думаю — была не была! пойду напролом...

— О чем нам говорить?— пробормотала смущенная Верховская,— я, право, не понимаю... Между нами нет ничего общего.

— Вы позволите мне сесть?— перебил Ревизанов.

— Разве разговор будет длинный?— возразила Людмила Александровна.

— Глядя по обстоятельствам,— невозмутимо сказал Ревизанов.

— Нет ничего общего,— начал он,— вы правы, может быть; по крайней мере, правы за себя... Но ведь было же общее, Людмила Александровна,— было! против этого вы спорить не станете... Нет, нет! не вставайте с места и не делайте жестов негодования: выгнать меня вы всегда успеете,— так сперва выслушайте, а потом уже гоните... Ей-Богу, так будет лучше — для вас же. Да — когда будет надо — я и сам уйду. Вы позволите мне курить?

— Если вам непременно нужно какое-то дикое объяснение,— гневно сказала Верховская,— то, по крайней мере, нельзя ли поскорее к делу?

Ревизанов покачал головой.

— Как вы спешите! какой резкий тон!— заметил он с любезною улыбкою,— знаете ли, это даже нехорошо в отношении старого приятеля. Тем более что приятель приходит к вам с самыми дружескими чувствами, полный искреннейшего расположения и раскаяния.

Людмила Александровна презрительно усмехнулась:

— К чему слова? Мы старые приятели? Ваше расположение? ваше раскаяние? Смешно слушать!

— Почему же?— спросил Ревизанов, сделав удивленные глаза.

— Да помилуйте! Ведь это же курьез: повинная человека в грехе восемнадцатилетней давности! Уж очень вы опоздали,

Андрей Яковлевич. Вам следовало затеять этот разговор, по крайней мере, лет пятнадцать назад. Тогда было другое дело: я могла поверить вашему раскаянию и обрадоваться ему. Могла не поверить и проклинать вас за новое коварство, за новую ложь. Теперь же... да это оперетка! это пародия! Неужели вы не понимаете, что теперь странно было бы даже взять труд задуматься над вашим нежданным объяснением?

— Это — презрение?— спросил Ревизанов, слегка меняясь в лице.

— Нет... просто действие давности.

— Есть, Людмила Александровна, слова и дела, не знающие давности,— значительно возразил Ревизанов.

Верховская взглянула ему прямо в глаза.

— Вот что я вам скажу, Андрей Яковлевич. Если вы в самом деле затеяли этот разговор под вдохновением какого-то раскаяния и нуждаетесь в моем прощении, то — будьте спокойны: вы его давно имеете. Я забыла о вас и вашем дурном поступке со мною. Вы мне чужой, как будто я вас никогда и не встречала. Людмила Рахманова, которую вы когда-то знали и оскорбили, умерла. Людмила Верховская судит ее, как судила бы любую из своих знакомых девочек, случись с ней такое же несчастье. Мне жаль ее, но нет до нее дела.

— Очень приятно слышать,— улыбнулся Ревизанов,— это дает мне надежду...

Людмила Александровна прервала его голосом, дрожащим от волнения:

— Но если мне не надо вашего раскаяния, это, конечно, еще не значит, что я не презираю вас. Мое общество — не для людей, запятнанных подлостью. А с Людмилой Рахмановой вы поступили подло!

Она умолкла. Ревизанов был покоен.

— Ваша гневная речь,— начал он,— меня не удивляет: я ждал ее. Но, признаюсь, она звучит немного странно после панегирика благодетельному действию времени: настолько странно, что я даже не особенно убедился в целительной силе давности, которую вы так одобряете... Позволите вам предложить один вопрос — конечно, совершенно теоретический?..

В игривом тоне речи Ревизанова, в его учтивой полуулыбке, в почтительном, но самоуверенном взоре, в изысканно-вежливой позе — Верховская прочла, под красиво разыгрываемою ролью, серьезную угрозу.

— Раз я допустила этот ненужный и неосторожный разговор, вы вольны спрашивать, что вам угодно.

— Благодарю вас. Итак, у нас имеется praesumptio[1]: Людмила Верховская и Людмила Рахманова — два разные лица. Людмиле Верховской до похождений Людмилы Рахмановой и пятнышек на жизни этой милой девочки — нет никакого дела. Хорошо-с. Теперь ответьте мне по чистой совести: если бы кто-нибудь взял да рассказал всему свету историю любви Людмилы Рахмановой и Андрея Ревизанова, как отнесется к этому Людмила Верховская?

— Что это? шантаж?

Людмила Александровна смело взглянула в лицо Ревизанову. Он более не улыбался: щеки его были бледны, взор сверкал сталью.

— Шантаж! — угрюмо произнес он,— обидное слово... но пусть будет даже шантаж! Зовите, как хотите, я не боюсь слов. Ах, Людмила Александровна, пустые речи говорили вы мне о давности, о лечении старых ран благодетельным временем. Полно вам притворяться! Прошлое — власть, и горе тому, кто чувствует ее над собою, чье прошлое — тайная угроза, да еще и в чужих руках.

— Вы хотите показать мне свою власть надо мною?

— Я не говорил пока ничего подобного.

— Слишком ясно и без слов!

— Хорошо, допустим.

— Я не верю в вашу силу.

— Не обманывайте себя: верите!

— Нет и нет. Что можете вы сделать мне? Рассказать наш забытый роман свету? — кто же вам поверит? Да если и поверят, кто придаст значение такой старой истории? Вы даже не испортите мне моего семейного счастья; мой муж слепо верит в меня.

— Тем грустнее было бы ему узнать, что верить не следует, что вы обманули его еще до свадьбы, и — надо отдать вам справедливость — с поразительным искусством продолжали обман целые восемнадцать лет... Верьте мне: чем дольше человек был дураком,— простите за резкое слово,— тем неприятнее ему убедиться в своей... скажем хоть, недогадливости. Что касается света,— конечно, вы правы: девический грешок не будет в состоянии совершенно уничтожить ваше

[1] Предположение *(лат.)*

положение в обществе. Много-много, если посмеются задним числом, подивятся, как это холодная целомудренная Людмила Верховская умела отыскивать в своей душе страстные звуки, когда писала к Андрею Ревизанову.

— Ах, эти письма!

— Они все целы, Людмила Александровна,— холодно и веско сказал Ревизанов.— И — раз уже в нашем откровенном разговоре скользнуло такое милое словцо, как шантаж,— то быть по сему: я предлагаю вам выкупить их у меня.

Людмила Александровна широко открыла глаза.

— Я очень рада вашему предложению...— медленно вымолвила она, смягчая голос.— Но чего вы хотите от меня за них?

— Много.

— Не денег же?— вы неизмеримо богаче меня.

— Конечно, не денег. Нет: любви.

— Как?!

XII

Верховская, ошеломленная изумлением, даже привстала с места. Ревизанов продолжал тихим и ровным голосом:

— Сядьте, успокойтесь... Да, я прошу вашей любви, я влюблен в вас — и самым глупейшим образом, как мальчишка. Послушайте, Людмила...

— Как вы смеете!— вспыхнула она.

— Виноват: Людмила Александровна. Я часто бываю в Москве, но все проездом: у меня дела больше за границею и в Петербурге. Удивляюсь все-таки, как мы с вами не встретились до сих пор. Я много слышал о вас, и все хорошее. Верховская — красавица, Верховская — умница, Верховская — воплощенная добродетель. И признаюсь: каждый раз, как слышал, что-то щипало меня за сердце. Красавица, да не твоя! Умница, да ты ее потерял, как дурак, бросил, как петух — жемчужину! Добродетель, да ты надругался над нею,— и она тебя ненавидит и презирает. Наконец я увидел вас в опере, в ложе с Ратисовою. Вы сильно переменились, и я не сразу узнал вас, но влюбился еще прежде, чем узнал. Увидел и тогда же решил в уме своем: эта женщина должна быть снова моею, или я возненавижу ее и сделаю ей все зло, какое только может сделать человек человеку. Это у меня всег-

да так: кого я очень сильно люблю, того и ненавижу. Ха-ха! что-то мужицкое: кого люблю, того и бью.

Людмила Александровна слушала и терялась, что думать, чего еще ждать, как отвечать. Дело приняло совсем необыкновенный оборот; странность положения была бы почти смешною, если бы не чересчур страстный и сильный тон слов Ревизанова.

— Это бред какой-то... Вы с ума сошли! — воскликнула она.— Вот уж всего я ждала, только не этого!

— Да? — Ревизанов засмеялся,— значит, так и запишем в книжку: Андрей Ревизанов объяснился в любви Людмиле Верховской, а она прогнала его прочь. Но я не послушаю вас и не пойду прочь, потому что вы прогнали меня необдуманно и в конце концов полюбите меня.

— Никогда!

— Переменим выражение: будете принадлежать мне.

— А!.. негодяй! — вырвалось у Верховской. Она дрожала от бешенства. Лицо ее пылало красными пятнами. Глаза метали молнии.

Ревизанова передернуло, но он совладел с собою.

— Опять резкое слово. Ну, хорошо, негодяй! Так что же? И негодяй может быть влюбленным. Скажу даже больше: влюбленный негодяй зверь весьма интересный, Людмила Александровна,— займитесь изучением: я познакомлю вас с этим типом. Влюбленный негодяй, например, просит любви только один раз, но, отвергнутый, не отступает, а требует ее, берет хитростью, силой, покупает, наконец...

— И вы зовете это любовью?

— Что же делать, Людмила? Будь я не негодяй, как вы обозвали меня, может быть, и любовь моя была бы иною, но я — негодяй — значит, мне и не к лицу любить иначе. Ваша честь в моей власти. Если хотите, я продам вам вашу честь.

— Боже мой! есть ли в вас стыд, Ревизанов?!

— Одно свидание, один час у меня, наедине со мною, по-старому, как восемнадцать лет назад,— и вы получите все ваши письма. А без этой улики я бессилен против вас: бездоказательное обвинение разобьется о вашу репутацию. Меня примут либо за подлейшего из клеветников, либо за сумасшедшего... Один час, один только час... Что же?

Людмила Александровна глядела на него безумными, почти суеверно-испуганными глазами.

— Дьявол вы или человек? — прошептала она,— я не

знаю... мужчина не решился бы предлагать такую отвратительную подлость женщине, которую любил когда-то...

— Когда-то я не любил вас, Людмила, но лишь забавлялся вами; а вот теперь люблю! Да, люблю... Вот! вот! — взгляните на меня еще раз таким мрачным взглядом!.. Люблю вас за это гневное лицо оскорбленной Юноны, за этот огненный презрительный взгляд, за это тело, рожденное для сладострастия и не знающее его, за вашу ненависть ко мне. Конечно, я не Тогенбург, я не стану вздыхать под вашими окнами или писать вам стихи... Платонизм — не по моей части, да и вы не девочка, чтобы верить в их фальшь. Но я никогда не верил в силу мечты, а теперь познаю ее. Мои думы, мои сны полны вами. Вы ненавидите меня, а мне приятно быть с вами; каждое ваше слово — дерзость, а для меня оно — музыка. Но полно распространяться о любви: каким соловьем я ни пой, вы уже не влюбитесь в меня, а принадлежать мне вы и без того будете!..

По щекам Людмилы Александровны давно катились горькие слезы. С тех пор как она сознала себя беззащитною в руках Ревизанова, гнев на оскорбление исчез: его сменили стыд, страх и беспомощная обида.

— Сжальтесь надо мною! — прервала она Ревизанова, задушив рыдания, — я с трудом сдерживаю себя; если вы продолжите свои объяснения, я кончу истерикой. Неужели это также входит в ваши расчеты?

Ревизанов встал:

— О, нет, никак! Я не смею задерживать вас. Но надо же выяснить наши отношения. Последний вопрос — отвечайте на него без лишних слов и оскорблений: согласны ли вы быть моею?

— Нет!

— Это окончательный ответ? Подумайте!

— Нет, нет и нет!

— Тогда выслушайте и мое последнее слово. Я даю вам неделю срока. Сегодня воскресенье, — если в следующую субботу я не увижу вас у себя, то ваши письма получат огласку.

Людмила Александровна взялась за голову: смертельная тоска схватила в клещи ее сердце...

— В какую пропасть я попала! — стонала она.

Ревизанов продолжал холодно и беспощадно:

— Сперва над этими письмами посмеется кружок веселой

золотой молодежи, потом они дойдут до Степана Ильича. Хотя он и верует в вас, как в Бога, но вещественным доказательствам — вашим письмам, чувствительным надписям вашею рукою на фотографических карточках он тоже поверит. Пусть простит он вам ваш обман. Я знаю вашего мужа: он мягок, слишком мягок... Но вряд ли уверенность, что вы надругались над его именем, прежде чем получили право носить это имя, будет способствовать продолжению вашего супружеского счастья.

— Да, вы сильны, вы очень сильны,— шептала Верховская, бессмысленно смотря перед собою окаменелыми глазами,— я вас боюсь...

— Затем: у вас есть сын. Родился он в половине года, следующего за тем, как мы расстались столь драматически... Что, если я явлюсь с вашими письмами к вашему сыну и скажу ему: «Я твой отец»? Пусть я не докажу своих слов, но ведь и вам нечем опровергнуть мое обвинение до полной доказательности. Значит, сомнение-то я все-таки брошу в вашу семью: и отец, и сын должны будут одинаково прислушаться к моему голосу... Говорят, у вас в семье рай земной. Ну, тогда, конечно, раю конец: ад начнется! Ах, Людмила Александровна! остерегитесь! пожалейте мальчика! поверьте мне: словцо «незаконнорожденный» достаточно длинно, чтобы одним подозрением отравить человеку целую жизнь.

— Я вас боюсь, я вас боюсь...— шептала она.

— Так как же?— тихо спросил он, после долгого молчания.

Она смотрела, точно только что проснувшись.

— Не знаю... я совсем сбилась с толку... право, не знаю, что вам отвечать...

— Я буду считать ваши слова за согласие,— холодно сказал Ревизанов.

— Нет! нет!— с ужасом воскликнула Верховская,— ради Бога, нет... Я должна подумать... Не отнимайте у меня хоть этого права.

— Как угодно. Неделя срока — в вашем распоряжении. В субботу я буду ждать до двенадцати часов ночи. Карточку с моим адресом позвольте вам вручить... До свидания...

Он поклонился и вышел.

XIII

Если человеку завязать глаза, ввести его в темную комнату и, покрутив его вокруг себя за руки, потом снять с него повязку, он, хотя бы комната была его собственным кабинетом, теряет представление об ее пространстве и, думая идти к письменному столу, упирается в зеркало; воображая переступить порог, больно ушибает колено о книжный шкаф и т. п. Тьма одуряет его, сбивает с толку. В такую сбивчивую, полную ошибочных представлений и досадных призраков тьму поверг Людмилу Александровну разговор с Ревизановым. В уме ее быстрым потоком бежали мысли самозащиты, но все пугливые, неясные, спутанные, и на сердце лежал камень.

— Этот человек — точно колдун,— думала она с содроганием,— он вынул у меня что-то из головы, и все пошло в ней кругом, без порядка, без самоотчета...

Главное, она никак не могла разобраться: насколько действительно и опасно обвинение, повисшее над ее головою. То казалось, что она совсем пропала, безвыходно и безнадежно, то — что и бояться нечего, и опасности никакой нет и не было, и угрозы Ревизанова — не более как дерзкое хвастовство нахального человека, рассчитанное на впечатлительные женские нервы.

— Я женщина,— соображала она,— Ревизанов запугал меня,— вот воображение и разгулялось, и пошло строить Бог весть какие мрачные воздушные замки, а на самом деле они — карточные домики!.. Чего бояться?.. Как искусно ни представит Ревизанов обществу свой гадкий план, он все-таки остается шантажом. Шантаж — орудие страшное, но обоюдоострое. Общественное презрение клеймит шантажиста еще глубже, чем его жертву. Есть ли расчет Ревизанову, в его блестящем, видном положении, замарать вместе с моим и свое имя? Ведь не думает же он, что — доведенная до позора и отчаяния, когда мне нечего будет терять — я все-таки пощажу его и не обличу в свою очередь в глазах света всей его подлости, всех его наглых вымогательств?!

Во вторник Иаков Иосафович Ратисов справлял день своего рождения. Верховская чувствовала себя совсем нездоровою, однако надо было ехать к Ратисовым и встретиться у них с Ревизановым,— как знала Людмила Александровна,— приглашенным Олимпиадою Алексеевною к обеду.

«Непременно приедет! — злобно соображала Верховская, — не пощадит... С тем и приедет, чтобы посмотреть, в каком я настроении, — вовсе покорена или еще сопротивляюсь?»

Ревизанов действительно обедал у Ратисовых и остался на вечер. Однако Людмила Александровна ошиблась: на этот раз он не хотел ее мучить — раскланялся и затем мало что не замечал ее весь вечер, но даже сам как будто уклонялся попадаться ей на глаза, старался как можно меньше утомлять собою ее внимание. У Ратисовых было очень шумно. Синев был в духе и все дразнил юношу-сына Людмилы Александровны. Митя переваливал из подростков в молодые люди, — и комическая смесь в этом хорошеньком мальчике детской наивности и уже мужских манер смешила до упаду Петра Дмитриевича и Олимпиаду Алексеевну, которую Митя втайне обожал, как только может обожать семнадцатилетний мальчик красивую родственницу бальзаковских лет.

— Знаешь ли, Митя, что я тебе, в некотором роде, бабушка? — изумлялась сама на себя Ратисова.

Синев комически запел:

Жил-был у бабушки
Серенький козлик...
Остались у козлика
Рожки да ножки!

— К чему это ты?!

— К просвещению юношества, — трунил Синев, — надо же предостеречь молодого человека, что бывает с козликами, у которых есть такая бабушка!

Митя конфузился и краснел: юное воображение, давно уже и сильно занятое великолепною Олимпиадою, привело его в последние дни к тому трагикомическому переходному состоянию влюбленности, что знакомо только совсем зеленым мальчикам, — когда не знаешь: не то уж очень любишь женщину, не то терпеть ее не можешь, мечтаешь о ней и дичишься ее, видишь ее каждую ночь во сне, а наяву, завидев ее издали, переходишь на другую сторону улицы, чтобы только не раскланяться с нею... Синев видел состояние юноши и — по страсти к зубоскальству, которым был хронически одержим, — издевался над ним неистово, когда мог рассчитывать, что Людмила Александровна не услышит. Она не любила, ес-

ли Митю дразнили вообще, а уж в особенности на любовные темы.

— Вбиваете Бог знает что в голову семнадцатилетнему мальчику! Ему рано и думать о таких пошлостях,— сердилась она.— Вам с Липою смешки, а он волнуется... Я вот перестану его пускать к Ратисовым! Я заметила: как он побывает у Липы — на другой день обязательно принесет двойку из гимназии... И, главное, кто бы дразнил!.. Сами-то вы, Петенька, давно ли обсушили молоко на губах? Я еще не забыла, как вы воровали у меня ленты на память... да и у Липы тоже!

— Было!— сокрушенно восклицал Синев и оставлял Митю в покое, до первого нового искушения.

Олимпиада Алексеевна была уже в том возрасте, когда подобное полудетское ухаживание особенно льстит и нравится.

— Тетушка,— шептал ей Синев,— Митяй смотрит на вас исподтишка. Ну-ка, поддайте ему жару!.. Метните парфянскую стрелу!..

— Ах, какой ты дурак!— смеялась Олимпиада Алексеевна, но тем не менее бросала на юношу такой томный взгляд, что Митя не знал, куда ему деваться, и искренно жалел, что паркет не разверзается под его ногами и не поглощает его, как оперного Демона.

А Синев хохотал:

— Тетушка! Вы не Олимпиада! Вы Иродиада!

— Это почему?

— Младенцев избивать стали!

— Да отстань же ты от меня!— кричал Митя на своего мучителя, доведенный до полного исступления,— все твои выдумки и насмешки! Я и знать-то ее не хочу, и совсем она мне не нравится... Ты все врешь на меня! врешь! врешь! врешь!

Синев с невозмутимостью поучал:

— Во-первых, ты невежлив со своим добрым, старым дядею,— замечаешь ли ты это, о школьник? А во-вторых, врешь-то ты, а не я. Нас, брат, на мякине не проведешь: мы старые воробьи. И от судьбы своей также не уйдешь. И верь мне, как турка Магомету: никто другой, как Липа, и есть твоя судьба. Вы, молокососы, самой природой устроены и предназначены для развлечения таких сорокалетних пожирательниц мужчин, в промежутке, когда у них день

прошел, а вечер не наступил. Поэтому советую приготовиться к капитуляции: пиши в честь ее стихи, воруй ее ленты и носовые платки, выпроси на память прядь ее золотых... гм, гм! с серебрецом кудрей и прочая и прочая, и да будет над тобою благословение любящего тебя дяди!

Сегодня мальчик что-то хмурился, и Синев пристал к нему, уверяя, будто он не в духе оттого, что Олимпиада Алексеевна слишком ухаживает за Ревизановым...

— А на тебя, Митька,— нуль внимания...

— Ну и отлично! ну и очень рад! и оставь меня...— бормотал юноша,— тебе только бы дразниться!

— Однако сознайся, ты не в духе.

— Хотя бы и не в духе!

— Отчего?

— Что тебе за дело?

— Не отстану, пока не скажешь...

— Ах, Господи! да просто так!

Синев с важною грустью качал головою:

— Мне «так» мало. Это не ответ, но абракадабра. В твои годы слово т а к переводится на русский язык двояко: или кол за Цицерона, или огорчение в нежных чувствах. Ну! кто виноват: Марк Туллий или тетя Липа?

— Ах, дядя!— вырвалось у Мити,— как можно надо всем смеяться? есть же, наконец, чувства...

— Ага, уже е с т ь ч у в с т в а! Браво, Митя! мне только того и надо было... Тетушка, пожалуйте сюда: у Мити завелись чувства, которые он желает вам изъяснить...

— Дядя Петя! Я тебя убью!

— Не стоит, Митяй. Убивать, так уж кого-нибудь другого. Замечаешь? Я зову, а она даже не слышит. Прицепилась репейником к своему Ревизанову...

— И что она в нем нашла?— горестно вздыхал Митя.— Только что капиталист.

— Да. А ты — только что гимназист. В том, главным образом, между вами и разница. И вот что скверно: замечено учеными, что женщины гораздо чаще предпочитают капиталистов гимназистам, чем наоборот. Знаешь что? Вызовем-ка его на дуэль?

Митя смотрел маленьким Наполеоном и отвечал:

— А ты думаешь, я не способен?

Втайне Синев находил, что — вполне способен. Мальчик был романтический и яркий. Еще в третьем классе гимназии

он убежал было из дома в Америку, к индейцам. Ушел недалеко: нагнали и сцапали его, раба Божия, за Тверской заставою, но он встретил погоню как врага, защищался, как тигренок, и даже пустил было в ход оружие: пырнул товарища, выдавшего план бегства, перочинным ножом.

— Вот ты все надо мной смеешься,— изъяснял он както раз Синеву, в дружескую минуту, когда тот был в кротком настроении духа и не очень травил его.— А я... я даже Добролюбова читал. Ей-Богу. И все понял. Хоть весь класс спроси. Уж я — такой. Я могу понимать: у меня серьезное направление ума. Ты дразнишь меня, что я влюблен там и прочие глупости. А я — такой: любовь для меня величайшая надежда и сила. Я не умею шутить любовью. У меня чувства. Я не понимаю легких отношений к женщине.

— То-то ты смотришь на тетушку Липу таким сконфуженным быком.

Но Митя не слушал, задумчиво смотрел в пространство и твердил:

— Я ведь в маму родился... Люблю папу, но я не в него, а в маму... Я, коли что,— на всю жизнь. У меня это просто. Весь класс знает...

— Ты что же, Олимпиаду-то на необитаемый остров увлечь, что ли, собрался? Так не поедет, поди... А любопытно бы посмотреть тебя Робинзоном, а ее Пятницею. Впрочем, какая же она Пятница — целая Суббота!

Юноша горько улыбался, презрительно пожимал плечами и декламировал из «Горя от ума»:

— «Шутить и век шутить — как вас на это станет?»

Другою постоянною жертвою, отданною на произвол Синева, являлся супруг Олимпиады Алексеевны — Иаков Иоасафович, с его почти маниакальною страстью к истинно стенобитным каламбурам, шарадам, юмористическим стихам...

— Поедемте, Иаков Иоасафович, пообедать в новый ресторан: говорят, хорошо кормят,— приглашает Ратисова приятель, а Иаков Иоасафович ошеломляет его в ответ:

— Почему же в ре-сто-ран, а не в до-двести-язв?!

Однажды Синев, заспорив о чем-то с Олимпиадою Алексеевною, воскликнул:

— Бог с вами, тетушка! «Переклюкала ты меня, премудрая Ольга», как говорил, попав впросак, один греческий царь... Я уступаю и отступаю...

Он попятился и отдавил ногу стоявшему прямо за ним Ратисову.

— Ох,— застонал этот,— если это называется у вас отступать, то каково же вы наступаете?

— Виноват, дядюшка.

— Бог простит,— со снисходительным величием извинил добряк и таинственно подмигнул:— А каламбурчик заметили?

— Прелесть!— восторженно воскликнул Синев,— вы всегда такие родите или только когда вам наступают на мозоль?

— У меня юмор брызжет!

— Вы бы в юмористические журналы писали? а?

Ратисов замигал еще таинственнее:

— Пишу.

— Ой ли?— восхитился Петр Дмитриевич,— и ничего, печатают?

Иаков Иоасафович самодовольно подбоченился:

— С благодарностью.

— Скажите!

— Ценят. Вы, говорят, ваше превосходительство, юморист pur sang, а нравственности у вас — что у весталки. Вы не какой-нибудь борзописец с улицы, а патриций-с, аристократ сатиры. Эдакого чего-нибудь резкого, с густыми красками, слишком смешного, не семейного у вас — ни-ни!

— Под псевдонимцем качаете?

— Разумеется. «Действительный юморист» — это я. Я было хотел подписываться: действительный статский юморист, эдак слегка намекнуть публике, что я не кто-нибудь, не праздношатающий бумагомаратель, но цензура воспретила, оставила меня без статского... Знаете: детей оставляют без сладкого, а меня без статского... Мысль! позвольте карандашик: запишу, чтобы не забыть, и разработаю на досуге.

Синев, конечно, не замедлил разболтать этот разговор Олимпиаде Алексеевне, и с тех пор бедному каламбуристу не было житья от жены: она походя дразнила его то действительным статским юмористом, то действительною статскою весталкою.

XIV

Степан Ильич Верховский принадлежал к числу тех добрых, но ограниченных людей, кому, если западет в ум какая-нибудь идея — хорошая, дурная ли,— то становится истинным их несчастием: они никак не могут выбить ее из головы и носятся с нею, как курица с яйцом. Ревизанов очень нравился Степану Ильичу, и в то же время, по честности и доброте своей, старик был возмущен до глубины души убеждениями, высказанными блистательным капиталистом в разговоре их на обеде у Верховских. Разговор этот не давал покоя Степану Ильичу, и он не раз с тех пор возвращался к этим темам в своем семейном кружке.

— Нет-с, каков век! каковы стали субъекты появляться!— воскликнул он,— симпатичный, порядочный человек, корректный общественный деятель, благодетель громадного рабочего округа,— и совершенно разбойничьи убеждения!.. Царство страсти! Страсть — главный императив человеческого существования! Да ведь это — хаос, это — конец цивилизации-с... Ци-ви-ли-за-ции!!! Митька! если ты когда-нибудь заразишься подобными взглядами, я... я лучше в могилу сойду, чтобы глаза мои тебя не видали! Долга не признавать, общественных начал не чувствовать... Господи, да как же жить-то без этого?.. В отчаяние прийти можно: неужели мы жили, работали, идеальничали для того лишь, чтобы народились на свет такие страшные люди и принесли в мир такое звериное учение?

Когда Ревизанов остался у Ратисовых на вечер, Верховский так в него и вцепился. Андрей Яковлевич защищал свое «царство страсти» шутя и, по обыкновению, немножко свысока... Синев вмешался. Он с начала вечера косился на Ревизанова.

— Все это прекрасно, Андрей Яковлевич,— протяжно сказал он,— теории можно разводить всякие, и, на мой взгляд, Степан Ильич напрасно столько горячится из-за ваших шуток...

Ревизанов поднял брови.

— Шуток?— возразил он.

— Разумеется, шуток. В *ваших* устах анархические теории звучат шуткою больше, чем в чьих-либо других.

— Ах, вы вот куда метите!— Ревизанов засмеялся,— а

знаете ли, Петр Дмитриевич, я уже не раз задумывался над этим странным для вас совпадением взглядов.

— И?

— И пришел к убеждению, что оно вовсе не странно. Взгляды совпадают, потому что совпадают цели. Только средства разные, а в сущности, и капиталист, как я, и анархисты заняты одним и тем же делом: разрушают ваше общество и уничтожают вашу цивилизацию.

— Ого!

— Да, да! Анархист работает во имя отвлеченных идеалов уравнения человечества; капиталист работает на свой собственный карман, а толк-то один и тот же. Если не в идейных целях,— это я вам уступаю,— то в практических конечных результатах. Они же выражаются в короткой теореме: «Чтобы сравнять общество, надо уничтожить его современный строй, возвратить его к первобытным образцам». Затем, разница лишь в способах доказательства теоремы: в средствах. Анархист хочет уравнять всех, опрокинув мир к первобытной дикой свободе. А на взгляд капиталиста, удобнее уравнять людей, возвращая их понемногу в первобытное же состояние рабства. И так как полной свободы и равенства никогда нигде нет, не было и не будет, то всегда тот, кто будет равнять общество, будет и его повелителем. Если он станет на первое, повелевающее место во имя анархических теорий свободы — он повелитель-обманщик; если он равняет общество, порабощая его для себя, он лишь последовательный деспот. Вот и все.

— Софизмы! софизмы! и слушать не хочу: изношенные софизмы!— закричал Степан Ильич.

Синев молчал.

— Пока ваше царство страсти,— начал он,— остается в мире теории, еще куда ни шло, нам, обыкновенным смертным, можно с грехом пополам жить на свете. Но скверно, что из этой теоретической области то и дело проскальзывают фантомы в действительную жизнь...

— А вы их ловите и отправляйте в места не столь и столь отдаленные,— возразил Ревизанов.— Это ваше право.

— Сами вы говорили давеча, что всех не переловишь.

— А не поддаваться — это их право.

— Иного и схватишь,— нет, скользок, как угорь, вывернется, уйдет в мутную воду. Закон — дело рук человеческих, а преступление, как изволите вы совершенно правильно выра-

жаться, дело природы. Закон имеет, следовательно, рамки, а преступление нет. Закон гонится за преступлением, да не всегда его догоняет.

Он задумался и бросил на Ревизанова странный взгляд.

— Да вот вам пример: вчера я слышал одну историю... попробуйте-ка преследовать ее героя по закону.

— Если что-нибудь страшное,— крикнула через комнату Олимпиада Алексеевна, отрываясь от разговора с Митей,— не рассказывай: я покойников боюсь.

— Дело на Урале,— начал Синев.

— Знакомые места,— отозвался Ревизанов.

— Герой — местный Крез, скучающий, хотя и благополучный россиянин... из любимого вами, Андрей Яковлевич, типа людей страсти и личного произвола.

— Проще сказать: самодур,— вставил Верховский.

— Только образованный, заметьте,— поправил Петр Дмитриевич.

Ревизанов насмешливо смотрел на них обоих.

— Есть там такие. Ну-с?

— Скучал этот Крез, скучал, да и надумался, развлечения ради, влюбиться в некоторую барыньку,— заметьте! жену довольно влиятельного в тех местах лица... Барынька оказалась не из податливых. Крез поклялся, что возьмет ее во что бы то ни стало, и начал орудовать,— да ведь как! Супруг упрямой красавицы до тех пор отлично шел по службе, а теперь вдруг, ни с того ни с сего, запутался в каких-то «упущениях», попал под суд и вылетел в отставку с запачканным формуляром; в обществе пошли гадкие слухи о поведении молодой женщины, и, что всего страннее, произошло несколько случаев, подтасовавших как бы некоторое подтверждение грязным толкам. Репутация несчастной была убита, семейная жизнь ее превратилась в ад, знакомые от нее отвернулись, муж вколачивал жену в гроб несправедливой ревностью, родные дети презирали мать, как развратную тварь...

— Ах!— раздалось болезненным стоном от полутемного — за трельяжем — угла, где в качалке приютилась Людмила Александровна.

— А?.. что?..— встрепенулся Синев,— это вы, кузина?

Людмилу Александровну окружили. Но она, почти с досадою, что сделалась предметом общего внимания, просила оставить ее в покое.

— Это ничего... не обращайте на меня внимания: так... приступ мигрени... мигрени...

— Ну, а конец-то?— торопила Синева Олимпиада Алексеева,— конец-то твоего романа? Начало — хоть бы Габорио.

— А конец, тетушка, хоть бы Зола. В один прекрасный вечер, горемычная барынька, после ужасной семейной сцены, ушла, в чем была, из дома и постучалась-таки... к Крезу!

— Что и требовалось доказать,— вполголоса закончил Ревизанов, как бы и с дружелюбною даже насмешкой.

Прошла полоса молчания.

— Вот видите, Андрей Яковлевич...— поучительно и торжествуя, заговорил Степан Ильич.

Ревизанов перебил его:

— Виноват. Позвольте, господа! чего вы от меня хотите? Чтоб я осудил этот поступок? Осуждаю... Но ведь я и не утверждал, что люди страсти — хорошие люди. Я только говорил, что это люди, которые хотят быть счастливыми, умеют брать с бою свое счастье и ради его на все готовы...

— На все?

Людмила Александровна поднялась с места с болезненным и растерянным видом, точно хотела заговорить и не решалась.

— Я раньше слыхал вашу историю, Петр Дмитриевич,— продолжал спокойно Ревизанов, бросая впервые за весь вечер внимательный взор на Верховскую,— и хорошо знаю ее не названного вами героя...

— Медный лоб!— прошептал Синев, против воли опуская глаза.

— Это действительно упрямый и страстный человек... Виноват! вы что-то хотели сказать, Людмила Александровна, и я помешал вам?

— Я хотела спросить,— слабо сказала она,— а совесть?.. совесть упрекает его хоть когда-нибудь?..

Ревизанов задумался; потом, отразив ее печальный и ему одному понятно моливший о пощаде взгляд блестящим и решительным взглядом, коротко ответил:

— Не думаю.

Всем было не по себе. Все чувствовали, что нельзя продолжать разговора. Атмосфера насыщена электричеством, почва общих рассуждений и примеров истощена, назревает экзамен личностей, стычка, злоба и ссора. Олимпиада Алексеевна, золотой человек в таких трудных случаях, выручила.

— Скучная твоя история, Петя,— воскликнула она.—

Я думала, он ее убьет, или она его, или муж их обоих.

Синев отозвался:

— Да вы же покойников боитесь?

— Я только утопленников, да и то, если в воде долго пробыл, а когда револьвером — ничего, даже интересно.

— Жест красив?

— Вот именно!

Мужчины подхватили, и буря разошлась без молнии и грома — сперва безразличною болтовнею, потом винтом.

XV

Если бы Петр Дмитриевич знал, что он делает своими рассказами! Весь панический ужас, с таким трудом вытесненный было Людмилою Александровною из своего сердца, теперь возвратился и стал за ее плечами грозным и повелительным призраком.

«В чьих я руках! в чьих руках!— думала она,— кончено! я побеждена заранее — прежде чем начать борьбу!»

Ревизанов вырос в ее воображении, как грозный, почти фантастический колос с житейского зла, пред которым сама она казалась себе маленькой и бессильною, как карлица. «Повиноваться! повиноваться, не рассуждая!» — стучало в ее мозгу, когда, возвратясь от Ратисовых, она осталась одна и, с пылающим лбом и ледяными руками, ходила взад и вперед по своей темной спальне,— а рядом с нею как будто ходил невидимый образ ее врага и тихо шептал ей:

— Выбирай: повиновение и вечная тайна или моя беспощадная месть! Ты слышала, как я говорил: теперь ты знаешь, как я действую. Хочешь ты испытать, как разгневанный муж в бешенстве отталкивает развратную жену; а она, обнимая его колени, напрасно плачет и молит о пощаде? Хочешь ты услыхать позорную брань из уст твоих же собственных детей? Они придут к тебе и, негодуя, спросят: «Чьи мы дети?» — Что ты им скажешь? чем их разуверишь? Твоя правда будет ложью для них... и они проклянут тебя. Дома честных и воображающих себя честными людей закроются для тебя, и тогда — все равно: у тебя не будет прибежища, кроме смерти или моей спальни!

— Дети мои!.. Я так вас любила!— шептала Верховская, ломая руки.

В ее уже немолодые годы у нее почти не оставалось ни забот, ни интересов вне детской жизни. Им принадлежали все ее мысли, все время. По всей Москве говорили:

— Вот Людмила Александровна Верховская — это мать. Умела вырастить деток. Прелесть что за молодежь: здоровые, красивые, умные, честные...

Она с гордостью могла сказать, что действительно воспитанием своим дети обязаны исключительно ей, неразрывно проживающей с ними душа в душу каждый день их — от самой колыбели. Она торжествовала, наблюдая, как ее влияние постепенно отражалось на их характерах. И теперь бросить этих детей на полдороге? И как бросить!— показав им, что та, кто учила их добру, чести, истине и долгу, сама была лицемеркою и прятала под искусною личиною живое противоречие своим громким красивым словам! Она учила добру и не делала, как учила. Значит, она лгала. Если лгала учительница, разве не покажется детям ложью и самое учение? Разберут ли они, что у правого божества может быть грешный служитель?

Мать лицемерка и лгунья!— какая отрава вливается в детское воображение этими четырьмя словами! Нет порока, более противного детям, чем лицемерие. Людмила Александровна вспомнила, как Лида и Леля негодовали недавно на Олимпиаду Алексеевну, когда она, встретясь у Верховских с Еленою Львовною Алимовой, осыпала последнюю лестью, ласками и поцелуями, между тем как накануне честила ее за глаза и «ханжой», и «злюкой» и уверяла, будто при жизни покойного Александра Григорьевича Рахманова Елена Львовна заедала ее век. Вспомнила сверкающие глаза и гневный голос Мити, когда он, возвратясь из гимназии, рассказывает о какой-нибудь несправедливости инспектора или классного наставника, о фискалах-товарищах, о подлизах к начальству. Вспомнила, как его — хорошего ученика — чуть не исключили за то, что — при одном гонении на курильщиков, он, сам некурящий, отказался назвать, кто курил.

— Но, Верховский, берегись!— пригрозил инспектор,— я уверен, что вы знаете, кто курил! Ведь знаете: говорите правду!

— Знаю,— откровенно отвечал мальчик.— Знаю, да не скажу.

Пошел в карцер, добыл сбавку балла за поведение, но — «знал, да не сказал!».

Кто так храбро и самоотверженно ненавидит ложь и обман,— наученный этой ненависти тайною лгуньею и обманщицей,— какое страшное разочарование ждет его, когда она снимет маску!.. Как должен он будет разувериться в правде света, как станет презирать и ненавидеть наставницу-фарисейку... презирать и ненавидеть родную мать!

— Нет! я должна спасти себя от презрения детей!— размышляла Людмила Александровна под невыносимую стукотню своих висков.— Должна спасти их от ненависти ко мне. Если человеку противна родная мать, что же уважать остается ему на свете?!

— Я повинуюсь Ревизанову. Пусть я стану еще порочнее и хуже, но зато лишь пред самой собой. Моя семья останется приютом явной добродетели и семейного счастья, а за мои тайные грехи ответит моя душа. Будь что будет! Пусть хоть убьет меня мой стыд, лишь бы втихомолку, чтобы не вырвалось ни жалобы, ни даже одного подозрительного слова, чтобы я ушла от людей чистою, как слыла между ними, чтобы дети мои поминали мое имя с гордостью, а не с отвращением. Мною держится мой домашний очаг. Он дает тепло и свет слишком многим. Я не имею права его разрушать. Я повинуюсь.

XVI

Андрей Яковлевич Ревизанов получил по городской почте письмо — на тонкой голубой бумаге, без подписи, но почерк, хотя измененный годами, был ему знаком. Едва взглянув на конверт, он радостно изменился в лице...

— От кого это голубое письмо?— ревниво спросила сидевшая с ним за завтраком красивая черноволосая женщина.

— Деловое, Леони,— небрежно бросил ей Ревизанов.

— Да? Покажи!

Она протянула руку. Ревизанов слегка ударил ее бумагою по пальцам и спрятал голубое письмо в карман. Леони залилась румянцем.

— Ах, извините! Я не знала...

— Так знай.

— Буду знать.

Ревизанов взглянул на часы.

— Тебе не пора ли в цирк?

— Я тебе мешаю?— возразила Леони ревнивым вопросом вместо ответа.

— Нисколько... Я рассчитывал провести с тобою часок-другой после завтрака, потому что совершенно свободен. Могли бы прокатиться в Парк, что ли, или в Сокольники. Погода чудная. Путь — как скатерть, снег — серебро. Но ты сама говоришь, что у тебя дневное представление. Что тебе за охота — баловать своего директора, соглашаться на два номера в сутки? Довольно с этого итальяшки и вечеров...

— Сборы плохи. Я все-таки привлекаю немножко публику, а без меня — совсем швах.

Ревизанов презрительно улыбнулся:

— Правило товарищества?

— Да, знаешь, мы, цирковые, дружный народ.

— Ну и платись за дружбу: половина второго... Даже кофе не успеешь напиться.

— Нет, ничего. Я скачу в третьем отделении, предпоследним номером... Имею, по крайней мере, двадцать минут в запасе.

— Как знаешь.

— А ведь я было думала,— начала Леони с заискивающей и фальшивой улыбкой усмиренной ревности,— ты гонишь меня потому, что это голубое письмо назначает тебе свидание с какою-нибудь дамой.

— Очень мне надо знать все глупости, которые ты думаешь!— пробормотал Ревизанов.

Она продолжала:

— Этот деловой документ необыкновенно похож на письмо от женщины.

— Ты находишь?

— От кого эта записка?

— Это не твое дело, Leonie!— коротко отрезал Ревизанов.

Наездница вспыхнула и прикусила губу.

— Знаете, мой милый,— насмешливо протянула она,— вы становитесь не слишком-то любезны в последнее время.

— Может быть!— последовал равнодушный ответ.

Под матовою кожею Леони гневно заиграли мускулы.

— Я не знаю, чем это милое настроение вызывается у вас,— сдерживаясь, продолжала она тем же насмешливым тоном,— может быть, у вас дела нехороши, может быть, вы влюблены неудачно... Но, во всяком случае, я не желаю быть

предметом, на котором срывают дурное расположение духа. Я к этому не привыкла.

Ревизанов зевнул с холодною скукою:

— Не трещи... надоела!

Леони вскочила, сверкая глазами:

— Я запрещаю вам говорить со мною в таком тоне! Леони никто еще не говорил, что она надоела.

— Ну, а я говорю.

Наездница топнула ногою, хотела разразиться градом брани и, вместо того, залилась слезами.

— Это гнусно, гнусно так обращаться в женщиной! — рыдала она.

— Да полно, пожалуйста! что за трагедия? Я никак с тобою не обращаюсь: ты беснуешься и ругаешься, а я нахожу, что это скучно,— вот и все.

— Если вам скучно со мною,— вспыхивала Leonie,— отпустите меня, разойдемся... Не вы один любите меня, я найду свое счастье с другим...

— С другими, Leonie, с другими,— надо быть точнее в выражениях,— засмеялся Ревизанов.

Leonie горько покачала головою:

— Вы никогда не любили меня, если можете шутить со мною так обидно!

— Разумеется, никогда, Леони. Кажется, у нас, когда мы сходились, и разговора об этом не было... И не могло быть: откуда? А ты разве любила меня и любишь? Вот была бы новость!..

Наездница все качала головою.

— Нет, нет, нет... этой новости вы не услышите,— говорила она, с гневною иронией смертельной обиды,— я вас, конечно, и не люблю, и не уважаю... вы для меня просто денежный мешок, откуда можно брать горстями золото... не так ли?

Ревизанов пожал плечами:

— Не знаю, как по-твоему; по-моему, так. Да я ни на что больше и претензий не имею. Какая там любовь? Зачем? Я плачу и не жалуюсь. Ты очень красивая и занимательная женщина...

— А главное, в моде,— насмешливо перебила Леони.— Так приятно ведь, чтобы обе столицы русские кричали о вас: вот Ревизанов, который отбил знаменитую Леони у князя Носатова...

— Не скрываю: и это не без приятности,— согласился Ревизанов.

Леони злобно засмеялась:

— Вот этой-то славы у вас и не будет больше! и не будет! как не будет самой Леони... Кусайте себе тогда локти!.. и утешайтесь вон с этою, которая пишет вам письма... виновата, деловые документы — на голубой бумаге.

Ревизанов устремил на нее ленивый взгляд.

— Будет другая слава,— сказал он,— и гораздо более пикантная... Станут говорить: вот Ревизанов — знаете, тот самый, который выгнал от себя знаменитую Леони...

Наездница выпрямилась, как стрела, готовая сорваться с тетивы.

— Lâche!..[1]— крикнула она.

— Пошла вон!..— раздался тихий ответ, и синие глаза Андрея Яковлевича приняли такое выражение, что Леони попятилась, как львица от укротителя. Она, бормоча невнятные угрозы, вышла в спальню Ревизанова, но скоро возвратилась, уже одетая к выходу, в шапочке, с хлыстом в руке. У дверей она обернулась — с искаженным темным лицом, на котором, как два яркие пятна, сверкали глаза и оскаленные зубы...

— Вас следовало бы вот этим!— сказала она, грозя Ревизанову хлыстом. Андрей Яковлевич поднялся с места и шагнул к Леони. Она струсила и съежилась, ожидая удара... Но он не бил, а только смотрел на нее с презрительным любопытством, как будто говорил взглядом: «Ах, дура, дура!»

Леони поняла этот взгляд — и страшно ей было, и бешенство брало ее. Нерешительно, как не смеющий напасть зверь, она топталась на пороге,— потом вдруг швырнула в Ревизанова своим хлыстом, не попала и быстрее молнии выскользнула за дверь.

— Идиотка!— уже громко послал ей вслед Андрей Яковлевич.

Он поднял хлыст, осмотрел его, подавил пружинку: ручка — серебряная головка левретки — отскочила, вытянув за собою тонкое трехгранное лезвие блестящей темно-синей стали.

«Изящная вещичка,— подумал он.— Сохраним ее на память об освобождении от иноплеменницы».

[1] Пусти!.. *(фр.)*

Он отнес хлыст в свою спальню и положил на туалетный столик. Потом позвонил.

— Иоган,— приказал он явившемуся слуге,— заметили вы эту даму, которая от меня вышла?

— Мадам Леони?

— Да. Меня для нее никогда нет дома. Передайте это швейцару.

— Слушаю-с.

XVII

Оставшись один, Ревизанов долго и внимательно читал полученное письмо:

«Очень может быть, что письмом этим я делаю новую ошибку и даю вам новое оружие против меня. Но все равно. У вас столько оружий, что одним больше, одним меньше не сделает разницы. Если вы хотите меня погубить, то погубите и без этих жалких строк. Я в последний раз пытаюсь умилостивить вас, смягчить ваше сердце. Сжальтесь надо мною, оставьте меня в покое. Что вам во мне? на что я вам? Мало ли женщин красивее меня! Я уже немолода, я мать семейства, у меня взрослые дети. Пощадите мою совесть... как я буду смотреть им в глаза? Отпустите меня на волю! Клянусь: я буду благодарна вам, как благодетелю. Вместо врага, вы приобретете друга, верного и преданного, какого у вас еще не бывало».

Ревизанов долго думал. По лицу его ходили тени. Он сел к письменному столу, несколько раз брался за перо и снова опускал его... Ему — против воли — стало жаль женщины, писавшей это робкое, униженное письмо.

— Да... но отказаться от нее — невозможно,— размышлял он.— Она зацепила меня слишком крепко если я отпущу ее, это отравит мне жизнь, будет грызть меня целые годы... «Немолода»... «есть красивее меня»... странные эти женщины!.. живут, живут — доживают до конца бабьего века — и все еще думают, что любят их за молодость, за красоту... Любят — потому что любится; любят не женщину, но свою прихоть к ней.

Он еще раз перечитал письмо, хмурясь все больше и больше... Память уносила его к далекому, но не забытому времени, когда он, смущенный, растерянный, уничтоженный,

стоял пред этою самою женщиною, которая теперь ползает у его ног с мольбами о пощаде, и не знал, что ответить на ее негодующий взгляд, обличавший его лицемерие,— взгляд ангела в день судный... И как тогда, он теперь снова то краснел, то бледнел под этим воображаемым взглядом...

— Как я был тогда побежден! как раздавлен!— думал он,— о, больше уж никто, никогда в жизни не одерживал надо мною такой победы... Нет, нам надо поквитаться. Есть моменты, которые остаются жить в сердце навсегда, как зудящие кровоточивые ранки.

Этот момент, когда она застала нас с Олимпиадою,— из таких. Мне стыдно себя в ту минуту, стыдно... вот чего я ей не прощу, вот ради чего она мне нужна теперь! Я хотел бы забыть, что она была сильнее меня, и тогда легко отпустил бы ее на свободу... Но над памятью своею никто не властен... я все помню и ничего не простил... Может быть, я и люблю-то ее потому, что она — одна из всех женщин, каких бросала судьба в мои объятья,— сумела однажды смутить меня и унизить, умеет теперь презирать и ненавидеть; потому что с нею надо бороться, надо покорить ее, завоевать... Уступить ей сейчас — значит, быть побежденным ею во второй раз... Ни за что!

И на полученном письме Андрей Яковлевич написал решительным и твердым почерком:

«У меня, суббота, 12 часов ночи».

Он запечатал письмо в конверт со своим вензелем и, часом позже, проезжая мимо квартиры Верховских, сам отдал его горничной для передачи Людмиле Александровне.

— Не потеряй, милая,— предупредил он,— здесь билет в театр.

— Теперь я уверен, что моя взяла!— улыбался Андрей Яковлевич, летя в своих санках по Пречистенке,— и надеюсь, что, возвратив письмо, я поступил, хотя настойчиво, но по-рыцарски... Никогда не надо натягивать струну до последнего: оставь свободным хоть один колок. А в этой скрипке струны натянуты уже сильно, очень сильно.

Утром в субботу Ревизанов встретил на улице Синева и зазвал его к себе завтракать. Странно: молодой следователь ему нравился. Может быть даже, что нравился именно тою скрытою антипатиею, тем задором, какие он неизменно встречал и чувствовал в Петре Дмитриевиче. Синев, всегда обласканный при встрече с Ревизановым, не знал, чему это приписать. Он не уклонялся от Ревизанова, потому что слиш-

ком интересовался им, но — в глубине души — ощущал некоторое угрызение совести: «Вот, мол, человек ко мне — всею душою, всегда внимателен, ласков, любезен, а я против него все на дыбы да на дыбы...»

На этот раз он не выдержал и в конце завтрака откровенно спросил:

— Скажите, Андрей Яковлевич: зачем вы затащили меня к себе?

— Разве вам было скучно?— удивился Ревизанов.

— Нет. Помилуйте! Вы отлично кормите, еще лучше поите, у вас несравненные сигары, и болтать с вами занимательно.

— На что же вы жалуетесь?— как говорится в какой-то оперетке.

— Я и не думаю жаловаться,— напротив, счастлив и благодарен. Вам-то что за охота со мною возиться?

Ревизанов сделал комический поклон.

— Всегда рад вам, Петр Дмитриевич, душевно рад.

— Вот этого именно я не понимаю: с чего вам радоваться-то? Что я для вас представляю? Так, грубиян-мальчишка, моська — знать, она сильна, что лает на слона!

Ревизанов засмеялся:

— Батюшки! Что за унижение паче гордости? Кажется, всего лишь третью бутылку клико пьем, а уже...

— Покаянный стих?— подхватил Синев.— Ничего. Так и надо. Он мною в отношении вас уже с третьего дня владеет... Эта правда, что я слышал: будто вы за всех наших студентов недостаточных, к исключению предназначенных, плату в университет внесли?

— Предположим, что правда,— нехотя протянул Ревизанов.— Так что же?

Синев встал и поклонился в пояс:

— Великолепно, батенька! Поклон вам! Поклон до земли!

Но Ревизанов возразил даже как бы с некоторой досадой:

— Что тут великолепного? Вы же знаете мой взгляд на благотворительность. Еще одна неизбежная взятка обществу. Только и всего.

Но Синев грозил ему пальцем.

— Э, батенька! дудки! Теперь не обморочите. Знаем мы, как вас понимать надо, притворщик вы. Руку вам жму за студентов наших... благородно поступлено... руку жму!

— Что ж на сухую-то жать?

Ревизанов позвонил и приказал подать еще вина. Синев, уже несколько грузный, ужаснулся было, но Ревизанов усадил его, смеясь:

— Уж позвольте вас немножко подпоить. Задобриваю вас, мой друг. Помните наши пылкие дебаты у Верховских?

— Это о непойманных преступниках-то?

— Да. Вы следователь. Почем знать? Может быть, вы — моя судьба. Следовательские инстинкты не разыгрываются у вас в моем присутствии? а?

Синев ответил на шутку довольно натянутым смехом:

— Тогда бы я не сидел с вами за одним столом.

— Напрасно. Следователю не резон быть пуристом. Якшайтесь с преступником, если хотите добиться от него толка.

— А скажите серьезно, Андрей Яковлевич,— сказал Синев,— как вы сами относитесь к этой вечной диффамации вас, из-за угла?

Ревизанов усмехнулся.

— Точно так же, как если меня ругают в открытую... вроде вас, например.

— Ме-е-ня?!— Синев даже руками развел.

— Довольно невинно спрошено. А историйку об уральском Крезе забыли?

— Это у Ратисовой-то?

— Именно у Ратисовой.

Синев сконфузился.

— Андрей Яковлевич... Фу! какое это было мальчишество!.. Послушайте, Андрей Яковлевич...

— Да нет: вы не беспокойтесь и не трудитесь извиняться,— остановил его Ревизанов,— я на вас не сержусь.

Синев мялся, красный, как мак.

— Меня стоило за уши выдрать, а вы великодушно промолчали.

— Я в таких случаях всегда молчу.

— Всегда?

— Обязательно.

— Опасная система, Андрей Яковлевич.

— Почему?

— Молчание могут принять за знак согласия.

Ревизанов презрительно повел губами.

— А мне какое дело? пусть принимают.

Синев смотрел на него с любопытством, почти жалостливым.

— Андрей Яковлевич, да ведь нехорошо... И как только в вас совмещается все это... ну, ведь сознаете же вы... Ну, признайтесь, поймите, скажите вслух, громко, что было нехорошо?

Ревизанов ответил ему без улыбки, с серьезным, почти угрюмым взглядом:

— Хорошо или не хорошо, а не переменишь, если было. Хвалиться нечем, а отрекаться — горд.

— Смелый же вы человек!— вздохнул Петр Дмитриевич, глядя на него с любопытством.

— Да, робеть и труса праздновать не в моих правилах.

— Дело в том, Петр Дмитриевич,— продолжал он, подумав,— что, если человек сам сознает в себе преступника и не боится им остаться, так трусить посторонней пустопорожней болтовни и считаться с нею — ему нечего.

— Послушайте! это...— начал было смущенный Синев.

Ревизанов захохотал:

— Нет, вы погодите хватать меня за шиворот. Я не дамся: я если и преступник, то на легальных основаниях.

Синев покраснел.

— Черт знает что такое!— проворчал он.— С вами разговаривать — что по канату ходить.

— Лет пять тому назад,— медленно говорил Ревизанов,— я поссорился с одним банкиром... Блюмом его звали...

— Я знаю эту историю.

— Он меня оскорбил, а я его уничтожил. Сперва подразнил и помучил на биржевых качелях: de la baisse, á hausse[1]— а потом, просто-напросто, взял из его конторы свой вклад, крупный таки куш, в минуту самых трудных платежей. Что называется, взорвал банкира на воздух. Блюм лопнул и бежал. Теперь где-то в Америке околачивается. То ли фокусы белой магии показывает, то ли сапоги на улицах чистит. Десятки семейств разорились, были случаи и самоубийств, и сумасшествий...

— Что же из этого следует?

— Позвольте!.. Далее: недавно я сыграл на понижение черепановских акций и в неделю заработал,— если только подходит сюда такое слово,— пятьсот тысяч рублей; но в ре-

[1] Вверх, вниз *(фр.)*.

зультате этой операции опять десятки семейств должны были пойти по миру и, конечно, пошли. Не идиот же я, чтобы не предвидеть трагического конца, когда начинал Блюмову кампанию, когда ввязался в черепановскую игру,— однако и в игру ввязался и кампанию начал... На вашем юридическом языке это, кажется, называется — «по предварительно обдуманному намерению»? Так, что ли?

Он смотрел на следователя с горькою и холодною насмешкою.

— Ну, что же... конечно...— бормотал сбитый с толку Петр Дмитриевич, не зная, что отвечать.— Но это уже — в области морали, вне нашей компетенции... а так — по общежитию то есть и юридическому смыслу — вы действовали в пределах своего права.

Ревизанов строго возразил:

— Если вы считаете меня вправе убить сотню человек крахом банка, почему мне не убить одного человека ударом ножа или известною дозою мышьяку?

Синев махнул рукою:

— Отвечу вам любимыми словами милейшего Степана Ильича Верховского: «Софизмы, батюшка, старые софизмы!» — да еще с прескверным ароматом вдобавок: Сибирью пахнут.

Ревизанов возразил отрицательным движением руки, полным самоуверенного сознания своей силы:

— «Что Сибирь! далеко Сибирь!» Шпекин и не подозревал, голубчик, какую гениальную фразу он сказал. Сибирь — учреждение для дураков и нищих. Ну, вообразите-ка, для примера, преступником меня, вашего покорнейшего слугу? Неужели я буду так глуп — дамся вам отправить меня в Сибирь?

— Вот тебе на! отчего же нет?

— Оттого, что между мною и Сибирью,— принимая Сибирь как общий образ уголовного наказания,— всегда останутся три барьера: ловкость, смелость и богатство.

— Деньгами от уголовщины не отвертитесь!

— Будто?

— Замять уголовное дело? да ни за сто тысяч!

— За иные дела платят и больше,— подразнивал Андрей Яковлевич.

— Порядочному человеку это безразлично.

— Порядочному...— протянул Ревизанов.— А вы имели когда-нибудь в своем распоряжении сто тысяч?

— Конечно, нет.

— Хорошая сумма. Круглая.

— Какая бы ни была!

Ревизанов мелодраматически склонил пред ним свою голову:

— Вы бескорыстны. Это делает вам честь!

— Подкуп!— размышлял Петр Дмитриевич.— Ну хорошо: сегодня вы откупитесь, завтра, послезавтра... но не монетный же вы двор, чтобы постоянно выбрасывать из кармана по сто тысяч...

— Да ведь и не каторга же я воплощенная, чтобы постоянно нуждаться в подкупе.

Прощаясь с Синевым, Ревизанов звал его на завтра обедать.

— Не могу, Андрей Яковлевич, простите. Завтра воскресенье: я искони абонирован Верховскими.

— Ага! тогда в понедельник. Кланяйтесь Верховским.

— Верховскому solo,— поправил Синев.— Людмила Александровна уехала.

— Да?— удивился Ревизанов, глядя в сторону.— Куда это она?

— В деревню, к тетке... помните Алимову, Елену Львовну?

— Еще бы! Почтенная старушка. Когда же?..

— Сегодня рано утром. Я провожал. Она вчера сразу надумала и собралась поехать.

— Елена Львовна!— меланхолически произнес Ревизанов.— Сколько лет я ее не видал!.. друзьями были... Скажите: давно она стала помещицею? Я что-то не помню, чтобы у нее было именье...

— Помилуйте! Родовое, чудное именье в Рязанской губернии.

— А! там земли вздорожали с тех пор, как прошла железная дорога. Я приценялся в прошлом году: приступа нет.

— В таком случае, именье Елены Львовны — Эльдорадо. Ее земля в двух верстах от Осиновки. Знаете — большой буфет?

— Как же, езжал...

— Лекок тоже!— рассмеялся Ревизанов, проводив Петра Дмитриевича.— Хочет читать в сердцах, а из самого качай

вести, как воду из колодца... Итак — уехала! Гм... признаюсь, это довольно неожиданно... Придет или не придет? Что означает этот отъезд? Бегство или лишь, так сказать, антисемейный маневр?

Он взял с этажерки красный томик Фрума.

«Рязанская дорога... Осиновка... так, так... Ха-ха-ха! а встречный-то поезд в Малиновых зорях? Я и забыл!»...

XVIII

Ревизанов ждал. Стол был накрыт на двоих, сверкал серебром и хрусталем, благоухал цветами и дорогими фруктами. Слугу, который сервировал стол, Андрей Яковлевич давно отослал с наказом:

— Иоган, я жду даму. Предупредите швейцара; не надо, чтобы ее видели; пусть проведет как-нибудь поосторожнее. Завтра вы разбудите меня в одиннадцать. Если разбудите позже, прибью; если разбудите раньше, убью! Впрочем, вы знаете мои привычки: не впервой... вас учить нечего.

Андрей Яковлевич не стыдился сознаться, наедине с самим собою, что он волнуется.

— Что, если этот отъезд не маневр, не маска,— думал он, стоя у каминных часов и пристально следя за движением стрелок по циферблату,— но бегство? самое настоящее бегство... заячье, опрометью, куда глаза глядят — лишь бы спрятаться, как страус прячет в песок голову и воображает, будто спрятал все тело? Да нет, быть не может... не посмеет!.. Но если? Берегись тогда, красавица! и посильнее тебя людей скручивал я в бараний рог!.. Странно, однако, как крепко она меня зацепила... Подумаешь,— жду первого свидания!.. Вон — даже руки дрожат... Нервы — что струны в расстроенном фортепьяно.

Не раз, чуя легкий шорох за дверью, он выглядывал в коридор и уверялся, что обманут слухом... Наконец, вслед за коротким порывистым стуком, дверь распахнулась, и на пороге выросла стройная фигура Верховской. Ревизанов даже схватился рукою за сердце: так быстро — до боли — и радостно заколотилось оно.

— А! наконец-то...

Он помог Людмиле Александровне снять шубку.

— Бог мой! черный вуаль, черное платье,— по ком вы в трауре?

Из-под густого вуаля Людмилы Александровны отозвался голос, который — будто весь остался за зубами, оттолкнутый и задохнувшийся встречным воздухом, как подушкою.

— Виноват... не понял... что? — внимательно, хмурясь, переспросил Ревизанов.

Голос повторил:

— Я сказала: по своей совести.

Ревизанов сделал гримасу.

— Как громко и... как печально! Неужели и личико ваше сегодня такое же траурное? Откройте его, дорогая, дайте полюбоваться.

Верховская откинула вуаль. Ревизанов взглянул ей в лицо и отступил в изумлении.

— Ах, хороша! — тихо сказал он, — что вы сегодня сделали с собою, Людмила? Вы богиней смотрите! Говорят, страсть делает женщин красивыми. Уж не влюбились ли вы в меня за эти дни?

— Ненависть — тоже страсть, — возразила она, глядя в лицо Ревизанову.

— А вы ненавидите меня? — спокойно спросил он.

Она отвечала без гнева, просто, точно он ее о погоде спросил:

— Да... я вас ненавижу!

— Честное слово?

Верховская пожала плечами. Ревизанов отвернулся — не то гнев, не то тоска отразилась на его красивом лице. Несколько секунд длилось молчание. Потом он быстро подошел к столу и выпил, один за другим, два стакана шампанского.

— Ха-ха-ха! Это любопытно! — воскликнул он с деланным смехом, — третьего дня утром я выгнал из этой комнаты мою Леони, женщину, страстно влюбленную в меня, за то лишь, что надоела она мне своею любовью до отвращения. И вот быстрое возмездие: сегодня я сам, такой же страстно влюбленный, принимаю на том же месте другую женщину, и эта женщина меня ненавидит до отвращения. Долг платежом красен. Странные контрасты случаются в жизни.

— И страшные!.. — отозвалась Верховская.

— Да, и страшные... Но, sacristi[1], зачем же вы так мрачны? Ненавидьте меня, сколько хотите, пожалуй даже, в за-

[1] Черт возьми *(ит.)*.

ключение вечера, попробуем разыграть сцену из «Лукреции Борджиа». Разрешаю вам подсыпать мне яду в шампанское и отправить меня ad patre[1]: надо же умирать когда-нибудь, а приятнее умереть от вашей руки и в такой жизнерадостной обстановке, чем «скончаться посреди детей, плаксивых баб и лекарей»! Но до тех пор уговор: ради Бога, не портите мне минуты долгожданного счастья унылым лицом, печальными взглядами. Сядем к столу. Вы любите мандарины? дюшесы? Выпейте стакан вина и не горюйте: что горевать! Жизнь хорошая штука, я добрый малый,— гораздо добрее, чем вы думаете,— и вы не будете в убытке, повинуясь мне... За ваше здоровье! Пейте и вы,— я хочу этого... я прошу вас...

Ревизанов выпил еще стакан, потом встал с места и зашагал по комнате. Он остановился. Верховская чувствовала его дыхание на своей шее, но не отстранялась... Он поцеловал ее около уха. Она не пошевелилась.

— Вы оскорбились?— спросил Ревизанов, помолчав.

— Я пришла сюда продаться... я ваша невольница... вы властны распоряжаться мною...

Он нервно потряс спинку стула и отошел прочь.

— Проклятье!— сказал он,— что вы мне напомнили? зачем?! Купить вас? Отнестить к вам, как к какой-нибудь Леони, как к любой из продажных самок общества? А если я не способен на это? если я вас слишком уважаю? если мне больно владеть вами и быть вам ненавистным? если я люблю вас?

Людмила Александровна молчала, опустив голову.

— Если я люблю вас?— вскриком повторил он.

Людмила Александровна скользнула беглым взглядом по его возбужденному лицу.

— Я не могу вам запретить говорить о любви,— сказала она,— не могу и запретить любить меня, если вы не лжете. Но если вы меня действительно любите, вы выбрали дурной и позорный путь искать взаимности.

Ревизанов повернулся к ней, озадаченный, с любопытством.

— Вот?.. Как же я должен был поступить?

Она возразила, угрюмая, с нетерпеливым презрением гордой пленницы, беззащитно оскорбляемой дикарем:

— Не мне учить вас, я не даю уроков любви.

---

[1] К праотцам *(лат.)*.

— Однако?— хмуро настаивал Ревизанов.

Тем же равнодушным голосом, которым она призналась ему в своей ненависти, она сказала и теперь спокойно, будто отвечая урок:

— Нельзя порабощать, кого любишь.

Лицо Ревизанова дрогнуло оскорблением и насмешкою.

— Ага! вот что!— промычал он.

— Сперва дайте мне свободу, а потом говорите о любви. Вы держите меня в застенке, на дыбе — и клянетесь: это от любви, от страстной любви... Стыдно, Ревизанов!

— Дать вам свободу?

Взоры их встретились. Ревизанов не опустил своих глаз и упорно рассматривал Людмилу Александровну,— словно впервые видел,— с восторгом, удивлением. Смутная надежда на спасение, зарожденная было в душе Верховской его последними словами, растаяла под этим алчным взглядом...

— Дать вам свободу?

Она отвернулась. Ревизанов заговорил медленно и четко:

— Нет, я не дам вам свободы!

— Ваша воля.

— Да, не дам... ха-ха-ха!.. Отпустить вас домой, возвратить вам письма? Знаете ли: пожалуй, это было бы даже не глупо! Держу пари: вы были бы способны — и в самом деле — почувствовать ко мне, как вы пишете,— некоторое расположение, вздумай я разыграть с вами комедию столь рыцарского свойства. Но, во-первых, я не люблю повторений, а читал уже про подобное великодушие в каком-то романе. А во-вторых, я вообще не охотник до комедий. Если я негодяй, как вы меня зовете и почитаете, то, по крайней мере, не лицемерный негодяй и не ловлю ни любви, ни дружбы на приманку поддельного благородства. Вот — я, каков есть. Таким и возьмите меня со всем моим негодяйством, таким и любите, с таким и дружите, если можете. А любви к вымышленному Ревизанову, Ревизанову благородному, мне и не надо! Что в ней? Полюби нас черненькими — беленькими-то нас всякий полюбит.

Он выпил.

— А мы могли бы сойтись! Мало того: нам следовало бы сойтись... Дайте мне вашу руку!.. Белая, мягкая ручка, а ведь и крупная, и сильная... Ах, моя красавица! мое божество!.. И неужели мы с вами, раз столкнувшись, разойдемся и не оценим друг друга?

— Разошлись уже однажды... давно... и, кажется, взаимная оценка была сделана справедливо, по заслугам.

— Тогда! Да кто были мы тогда?! Вы — сантиментальная девочка, я — человек без положения, дрянь, трус, как всякий, кто висит между небом и землею! ха-ха-ха! Помните, как это у Гете:

С богами
Меряться смертный
Да не дерзнет.
Если подымется он и коснется
Теменем звезд,
Негде тогда опереться
Шатким подошвам,
И им играют
Тучи и ветер!

Видите: вы сделали меня поэтом; я припоминаю заученные в гимназии стихи и декламирую... правда, недурно декламирую?.. Теперь вы — чуть не царица своего общества; я же... полагаю, вы слыхали про мое положение, про мою деятельность?

— Мало хорошего!

— Да, меня сильно бранят. Но не в брани и похвалах дело: дураки хвалят, трусы и лицемеры ругают,— а в том, что оба мы авторитеты для своего общества, для своего круга...

— Говорите за себя, Ревизанов, что за параллели!

— Извольте. Но мне-то уж позвольте немного пооткровенничать: я не боюсь заявить свою авторитетность в глазах, по меньшей мере, десятков тысяч людей, потому что знаю, а еще больше чувствую ее за собою. Я теперь в таком положении, что скажу глупость — ее найдут необыкновенно умною и оригинальною мыслью; сделаю мерзость — меня оправдают необычайно широким размахом гениальной натуры, непостижимым для обыкновенных смертных. Шире дорогу, туз идет! Настежь ворота перед финансовым гением! Да! Деньги и твердая воля делают человека гением. Я имею деньги и неуклонно тверд в своих целях. Я — авторитет, потому что я капиталист; я — капиталист, потому что за каждым шагом моим неизменно идет удача; удача — моя постоянная спутница, потому что я всегда знаю, чего хочу, в деталях, и всегда хочу одного и того же в общем. Власть — мой идеал, и много ее у меня, и будет еще больше! Я не

знал ни иных страстей, ни иных увлечений. Женщины любили меня,— я сделал из них орудие своих целей, и много раз их нежные руки подымали меня от ступени к ступени, а то и через ступень, вверх по качающимся лестницам общественных положений. У меня бывали друзья, приятели; но если друг мешал мне или загораживал мне дорогу, я хватал его за горло, как врага. Я даже денег не люблю: они для меня только средство, я никогда не жалел их терять. Так я иду и буду идти все выше и выше, пока смерть не остановит меня, не сшибет с земли, как бойца с арены. Но Людмила! в последнее время со мной творится что-то недоброе. Чувство неудовлетворения прокралось в мою душу и отравило ее. Я полон им, я весь — недовольство; скучно мне одному и властвовать, и стремиться к власти. Я полюбил вас, и любовь победила упорство моей воли, она стала выше моих стремлений. Вы мне дороже, желаннее. Я люблю вас! я хочу теперь не властвовать, а принадлежать, моя душа ищет вашей души...

— Довольно, Ревизанов.

Он не слушал.

— О, нет! оставьте меня пьянеть от вина и любви и высказываться; я еще никогда никому не высказывался... А! если бы вы захотели идти рука в руку со мною! А! как бы могучи вы были! Смотрите — вот бумажник: тысячи людей зажаты в нем. Выкладываю я из него — радость, смех, ликование тысячам; кладу в него — у десятков тысяч слезы льются. Разожму ладонь — дыши, толпа! согну кулак — задыхайся, кровью исходи!.. Хотите — я подниму рубль на берлинской бирже? Хотите — уроню его? Я все могу, а передавая в ваши руки самого себя, делаю вас госпожой и над своей властью. Лев будет у ваших ног! Не думайте, Людмила, чтобы я рисовался или обманывался в своем могуществе. Я не дутый истукан и стою не на глиняных ногах; мой пьедестал — мешки с золотом. Вы скажете: много людей богаче меня. Да, но миллион в руках человека, как я, без иного закона, кроме своей воли, деятельнее и победоноснее миллиарда в распоряжении узаконенной добродетели. Да у добродетели и вовсе нет денег. Люди богаче меня — Ротшильды, Вандербильты, Гульды, Макеи — моего поля ягоды, только — тех же щей, да пожиже влей. Как, извините, мужики говорят: кишка тонка и рылом не вышли. В руках их больше денег, больше средств быть властными, чем у меня, но они хотят быть не властными, а богатыми. Для них деньги не средство,

а цель, и потому им нужна охрана закона; а кому необходима дружба с человеческими постановлениями, тот уже обязан общепринятой нравственностью, тот уже связан страхом общества. Кто нуждается в том, чтобы его сторожили, тот уже сам слуга сторожа, который ему служит. А я свободен. Они — номинальные властелины — в сущности, рабы своих капиталов; я — неограниченный повелитель своего; потому что в то время, как все действуют, чтобы иметь деньги, я имею деньги, чтобы действовать. Капиталы Вандербильтов — благоустроенные лены, тесно связанные взаимным благополучием и охранением со своими баронами; мой — беспощадная и не ждущая пощады кочевая орда, дикая шайка кондотьеров, пущенная искусным вождем в ход на «пан или пропал». Чего Сфорца искал железом, Ревизанов ищет золотом. Ста миллионов рублей достаточно умному человеку, чтобы стать счастьем или горем своей страны; обладатель миллиарда отражает свое влияние на всех частях света. Я уже считаюсь одним из крупных капиталистов, но я много богаче, чем обо мне думают. Через три года у меня будет сто миллионов, через пять — триста, через десять — миллиард! А тогда...

XIX

Верховская, против воли, была заинтересована безумным красноречием Ревизанова, и он заметил это.

— Ну ведь вам хочется спросить: что тогда? Отчего же вы не спрашиваете?

— Я вижу и без вашего ответа, что вы мечтаете о какой-то необъятной тирании... серьезно или шутя — Бог вас знает.

— Серьезно, Людмила, совершенно серьезно!— в восторге завопил он.— Вы отлично сказали: «необъятная тирания». Современная власть меня не удовлетворяет: она слаба и мягка. Я не хотел бы родиться договорным государем; мой идеал — царь не подданных, но рабов, царь бича и крови, царь гнева, царь-бог, Навуходоносор, Камбиз, Ксеркс! Нам выставляют, как что-то необычайно смешное, что Ксеркс велел высечь Геллеспонт... а я так думаю, что никогда его бесчисленные рати не верили в величие своего деспота сильнее, чем в тот момент, когда он выдрал морское божество, как провинившегося школьника! Вот это власть! Родись я в древ-

ние, даже в средние века, я не успокоился бы, пока не добыл бы ее для себя. Я опоздал, ужасно опоздал родиться... Слушайте! Я не мечтатель, но есть фантастические образы, опьяняющие мое воображение. Вы, конечно, слыхали про Стэнли? Это высокоталантливый, героический человек, с железною бесповоротною волею, с холодным прямолинейным умом, с неистощимым запасом сознательной энергии, человек плана, путешествующий Бисмарк в приспособления к африканским пустыням: жестокий, бессовестный, ничего не боящийся, выше всего на свете ставящий себя самого и свои цели. Я глубоко уважаю Стэнли, как голову и характер, хотя и презираю его деятельность. Теперь он — не более как старший брат разных Беккеров, Фогелей, Юнкеров и им подобных ученых бродяг, именующих себя пионерами цивилизации... очень там нужна их цивилизация!.. а ведь он мог бы поставить на реальную почву «Воздушные замки» Альнаскара. Представьте этого Стэнли не агентом «New-York Herald'a» или Леопольда бельгийского на посылках за какими-нибудь Ливингстонами и Эмин-беями, но самостоятельным агитатором — властолюбцем, богатым, как я, и, подобно мне же, презирающим свое богатство вне той власти, какую оно ему дает. Представьте его ренегатом, магометанином... Стэнли-махди! Вы только вникните, что это за колоссальный образ! Шайка ничтожных феллахов, без денег и оружия, оказалась в состоянии, силою своего энтузиазма, потрясти авторитет могущественнейшей европейской державы, от востока до запада африканского материка. А Стэнли-махди! — богатый, вооруженный митральезами и динамитом, с миллионами фанатиков под знаменем священной войны, с миллионами солдат, лучших солдат в свете, потому что им все равно, жить или умереть. Фаталисты, живущие экстазами, они сами обрекли себя, как пушечное мясо, на смерть во славу пророка и погибают без ропота, покоряясь смерти, как желанной и должной, а если битва щадит их, принимают это лишь как отсрочку, временное помилование до следующего случая. В миллионной рати махди нет даже тени недовольства; она творит святое дело истребления неверных, сытая, обутая, одетая; махди экзальтирует ее своими вещими снами, указаниями с неба, творит чудеса именем Магомета и силою современного естествознания. Это — воздушные замки, это — жюль-верновская сказка, но это власть. Вот вам еще другой соблазнительно-властный образ: царя анархии, вождя всемирной

смуты. О, не думайте, что я сочувствую ее идеям! Они — озленный, озверенный, но все-таки детский бред, не больше. Но — какое орудие! какое орудие! Она — нищая эта смута — и должна быть нищею. Сейчас это стадо — злое и нелепое, но бессильное,— кроме как на мелкие пакости, вроде убийства женщины из-за угла и трусливого швыряния бомб по кафе и церквам в беззащитную, ничем не повинную толпу. Почему? Потому что пастухи стада — тоже злые и нелепые нищие, творящие свои дикие преступления по инстинкту нищей злобы, по философии голода и голодной ненависти к сытым. Их преступления — стихийные: без средств и без фантазии. А вообразите себе пастухом стада полузверей, полудемонов человека — с фантазией хоть Нерона, что ли; то есть — виртуоза истребления, и со средствами, позволяющими ему эту виртуозность носить не только в своей голове, но и проявлять на деле... Фраза о ста миллионах голов станет делом, старец Горы с его ассасинами воскреснет в апофеозе и воцарится над новою великою державою убийц, тем более ужасною, что она будет державою в державах. Да. Державою в державах, государством в государствах — вот как теперь антисемиты воображают и обвиняют «жидов». Только — сдуру. Куда же им. Еврей — семейная сила. Позади у него традиция на три тысячи лет — род отцов его до Авраама, Исаака и Иакова, впереди идеал — продолжение рода, неистощимое семя Израиля. На таких прочных привязках в анархию не ускачешь: где еврей торговец, там он либеральный буржуа, где еврей рабочий, там он социалист. А я социалистов ненавижу. Социализм — это мне нож острый, камень под ноги. Он строить собирается, а надо ломать. С миллиардом, превращенным в динамит, можно сломать все, что наслоилось на земле веками истории человеческой. Цивилизация дрогнет, два света потрясутся в основах, государства перевернутся вверх дном и застынут в хаосе: внизу будет перепуганное, трепещущее человечество, вверху — торжествующая шайка бандитов, выше всего — их атаман!

— Боже мой, что говорите вы?! Каким ядом надо отравить свою душу, чтоб выносить в ней бред таких чудовищных идеалов — еще, к счастью, неисполнимый бред!

— Неисполнимый? Вы так думаете? Напрасно! И старец Горы, и махди — не мифы! Не мифы — Кази-Мулла, Иоанн Лейденский, Мазаньэлло, два Наполеона. Вы скажете: то были гении. А почему бы мне не считать себя гением? Вы ска-

жете: то были энтузиасты. И я энтузиаст. Только безумная дерзость и увенчивалась историческим успехом. Гений безумец... Царь Сиона — трактирщик. Мазаньэлло — рыбак. Наполеон — артиллерийский поручик, Лжедмитрий — монастырский служка. Эти ли люди не сделали безумных скачков из одного положения к другому?! Ну, хорошо, пусть будет по-вашему! Все это было, да прошло; говорю же вам — я опоздал родиться; и, пока мы стоим на реальной почве, мои идеалы, конечно, неисполнимы. Но и в этом сознании меня уже удовлетворяет гордая мысль, что лишь подобная перемена декорации может поставить меня еще выше положения, в каком я уже стою теперь,— обыкновенно гордый и повелевающий, а нынче коленопреклоненный и молящий: Людмила, жизнь моя, счастье мое! раздели мою власть, прими мою любовь!

— Не надо мне ни вашей грязной любви, ни вашей безумной власти.

Он отвернулся с тоскою и возразил глухо, раздумчиво:

— Да, не надо... Я не понимаю, как может быть этого не надо, но знаю,— слишком я чувствую это,— что тебе действительно не надо. И оттого-то так страдаю в эти минуты мнимого торжества над вами... Ваша добродетель, ваша репутация в моих руках; захочу я — и богиня станет простою самкой. Но я не хочу. Мой Бог! как унизить вас? унизить ту, кого я поставил в своих мечтах выше себя, выше своих задач и надежд?.. Не хочу, не хочу!

— Тогда отпустите меня, будьте честны хоть раз в жизни,— сурово сказала Верховская, поднимаясь с места.

— Оскорбляет, опять оскорбляет!— крикнул Ревизанов и уронил голову на грудь; он был заметно и сильно пьян.— Всегда, всегда только оскорбляет!

— Послушай!— начал он после минутного размышления,— послушай... не сердись, что я говорю тебе «ты»... Я очень люблю тебя, и мне больно, что мы враги. Я не хотел бы сделать тебе зло... Я очень несчастен, что не умею взять любовь твою... Да, очень... Пожалей же и ты меня. Если ты уже не в силах полюбить меня, то, по крайней мере, не мучь меня беспощадной правдою, не показывай мне своего отвращения! Это мальчишество, это глупо, это пошло, но — пусть будет так!— солги мне, обмани меня сегодня, что ты можешь полюбить меня... И Бог с тобой! Иди, куда хочешь; я отдам тебе твои письма.

— Нет, Андрей Яковлевич; я не стану лгать.

— Людмила! пользуйся, пользуйся случаем! Я пьян; сегодня вино что-то слишком быстро ошеломило меня; я размяк... Солги, обмани меня скорее! Завтра я будут снова трезв, холоден и жесток. Мысль возьмет верх над страстью. Я уже не захочу обманываться; я буду я, и самое воспоминание о нынешнем унижении моем покажется мне смешною сплетнею о каком-то чужом чудаке. Теперь я жажду сделать тебя своею госпожою, завтра рассудок велит мне унизить тебя, как рабыню. Людмила, пользуйся случаем!

Покрасневшее лицо Ревизанова было и страстно, и грозно вместе. Под градом его унизительных просьб Людмила Александровна дрожала, как в лихорадке. Она ненавидела его в каждом звуке его голоса, в каждом жесте! Он был так противен ей, что ложь не могла сойти с ее языка. Даже самая мысль, выгодная мысль солгать, на которую он сам усердно наталкивал ее, не нашла отзыва в ее уме; злобное отвращение к этому человеку слишком переполнило ее душу, чтобы ум повиновался иным побуждениям, кроме ненависти. В это мгновение даже грядущий позор представлялся ей и легче, и достойнее, чем предлагаемая ей ложь в два слова, ни к чему не обязывающая, как заведомый обман.

— Я ненавижу вас!— почти крикнула она в ответ,— слышите вы это? Владейте моим телом и будьте прокляты!.. подлец! вы можете унизить меня, растоптать, обесславить, но не заставите меня покривить моим чувством. Это одно у меня осталось, остальное все ваше! Владейте, пользуйтесь, но этого-то не отнимете: останется мое! Владейте моим телом; тем ненавистнее вы будете мне. Кончим этот фарс! Вы требовали, чтобы я пришла. Я здесь. Где мои письма!

Голос ее захрипел и оборвался! Ревизанов выливал остатки шампанского из бутылки в стакан и невнятно бормотал:

— Да, ты... вы правы. Кончим! Время кончить... Ха-ха. Ну, не хотите, так и не надо... тем лучше... или тем хуже — не разберешь. К черту любовь! к черту! к черту!

Он допил вино и бросил стакан в камин. Потом взглянул на Людмилу воспаленными, злыми глазами... Лицо его дергали судороги, губы дрожали... Ей показалось, что вот-вот он бросится и убьет ее, и она была рада этому...

— Я совершенно пьян,— заключил он с внезапным спокойствием.— Тем лучше... Идем!

XX

Зимнее утро проглядывало узкими полосками бледного света сквозь тяжелые занавеси окон. Людмила Александровна сидела на кровати, угрюмая, как привидение, неподвижная, как статуя. Она смотрела широко раскрытыми глазами на все ярче и ярче белевшие просветы утра, не отрываясь от них, точно околдованная их нарастающим сиянием.

«И вот я выйду на этот свет, и он увидит меня, и я увижу его...» — бессмысленно думала она, чувствуя, что в груди ее залег, точно кусок льда, какой-то удушающий холод... Ревизанов коснулся ее плеча. Она вздрогнула и перевела на него тот же тяжелый, не мигающий взгляд — без гнева, без отвращения, полный страшной усталости, молящий лишь о физической пощаде.

— Я хочу уйти... отпустите меня...— прошептала она.

Мимолетное выражение участия, налетевшее было на лицо Ревизанова, сразу померкло.

— Идите, я вас не задерживаю,— сказал он с гневом в голосе.

Людмила Александровна встала и, тяжело волоча ноги, направилась к своему платью...

— Письма мои?— сказала она, вполоборота протягивая руку Ревизанову.

Андрей Яковлевич прошел к письменному столу и вынул из ящика тонкую пачку листков, перевязанных пестрою лентою.

— Вот они...— протяжно молвил он, окидывая стоявшую перед ним женщину задумчивым, странным взглядом.

— Дайте же!..

Она все протягивала руку. Ревизанов улыбнулся. Вчерашнее нервное настроение сошло с него вместе с хмелем; он сделался спокоен, как всегда.

— А... если я не отдам вам писем?— услыхала Людмила Александровна ровный металлический голос и по глазам Ревизанова увидала, что слова его не шутка.

— Как не отдадите?— пробормотала она.

— Так, просто — возьму да не отдам!— и он спрятал руку с письмами за спину.

Мысли Верховской помутились; пред глазами запрыгали огоньки...

— Что это? что это?— бессильно лепетала она, схватясь за ручку кресла...

А Ревизанов продолжал:

— Если я отдам вам письма, придете ли вы ко мне в другой раз по доброй воле?.. Нет? Вот видите: какой же мне расчет выпускать их из своих рук? Не беспокойтесь: я сдержу обещание и не оглашу их; они у меня — как в могиле; но останутся у меня.

— Ох, был ли обман подлее этого?— горьким стоном вырвалось у Людмилы Александровны.

«Господи! что же это?— полетели в ее голове мысли.— Убить в себе навеки уважение к себе самой, обречь себя, как жертву, на тайный позор, на ласки ненавистного человека, лишь бы вырваться у него на волю, продаться за обещанную свободу, и все-таки остаться рабою?!»

Полились упреки, горькие слова, проклятия... Ревизанов был неумолим и все твердил:

— Нет, нет!

Потом прибавил:

— Вы напрасно говорите, будто я обманул вас. Я предупреждал вас. Вчера я был в ваших руках,— вы не воспользовались случаем. Сегодня снова вы в моих, и я своего не упущу. Самому дороже, Людмила Александровна, самому дороже... Я, дорогая моя, купец, и дело мое купеческое.

Он шутил, а она упала на колени и молила его, целовала его руки. Он, присев на край письменного стола, смотрел на валяющуюся у ног его женщину, и во взоре его Верховская не читала ничего, кроме наслаждения торжествующим произволом да любопытства, чем она кончит. Она еще молила, но бешенство уже кипело в ее груди... И вот из уст его раздалось оскорбление, лишившее ее последней капли самообладания:

— Вы слишком красивая женщина, чтобы лишиться вас после одного свидания...

Ревизанов не кончил: Людмила Александровна прыгнула к нему, как кошка, и ухватила его за горло. Красный туман вступил ей в глаза. Но Ревизанов был силен; через мгновение она уже лежала на ковре, отброшенная далеко от врага своего, а в ушах ее звенел его тихий, язвительный смех. Она встала, шатаясь. Возле нее стоял туалетный столик, заваленный безделушками. Она схватила с него что-то блестящее

и, одним скачком перепрыгнув разделявшее их пространство, два раза ударила Ревизанова.

Он упал без слова, без крика, а она с проклятием плюнула в лицо, и ей стало легко; камень свалился с ее сердца, как будто она исполнила свой долг, как будто то, что свершилось, так и должно было свершиться, как будто зло ее жизни превратилось в добро с тех пор, как он, орудие зла, лег трупом к ее ногам.

Но вслед за тем силы оставили ее. Счастье мести исчезло. Сознание прояснилось, но лишь настолько, чтобы подыскать название происшедшему, грозным словом «убийство» осветить совершенное дело и, наполнив душу ужасом, снова оставить ее, как в потемках, испуганную, потрясенную. То не был страх самосохранения: ни возможность заслуженного наказания, ни даже представление о наказании еще не успели прийти Людмиле Александровне на память, а она уже была вне себя от мысли, что ею совершена смерть, что она осмелилась и смогла вырвать своей рукой из жизни разумное, мощное, полное гордых надежд существо, что у ног ее — труп.

Обманываясь тщетною надеждою, она несколько раз наклонялась к Ревизанову; но он был мертв. Он лежал навзничь, упав головою под стол; рука его замерла в судорожном движении к сердцу, куда она нанесла свой первый удар. Лицо убитого не успело окоченеть в маску спокойствия, свойственную большинству внезапно умерших. Смерть положила на него выражение странного недоумения. Казалось, Ревизанов не узнал смерти, когда она, неожиданная, мгновенная, схватила его. «Что это?.. неужели?..» — вспыхнул вопрос в его уме, и на вопросе он перестал мыслить, не успев ни ответить себе ужасом, ни отразить свой ужас на лице.

Где-то далеко пробили часы... Раздался электрический звонок... Гостиница пробуждалась и словно предостерегала убийцу первыми звуками своего бодрствования о скором открытии преступления, о приближающемся отмщении за пролитую кровь. Мысль бежать тупо прошла в уме Людмилы Александровны и сперва не нашла в нем отзыва: самосуд над собою, свершившийся в ее душе, еще заглушал в ней представление людей и боязнь их суда; ей казалось, что хуже, чем случилось, не может уже ничего случиться над нею, и не от чего больше спасаться, некуда уже уйти.

Но звонки повторялись, и, с каждым из них, голос само-

сохранения говорил все громче и громче,— и вот ее отвращение к трупу перешло в стремление уйти прочь от него, в боязнь быть схваченной на месте преступления.

Глядя на полуодетого мертвеца, она вспомнила о беспорядке в своей одежде и приблизилась к кровати, чтобы взять свое платье, валявшееся на полу, вперемежку с платьем Ревизанова. Что-то звякнуло под ее каблуком. То был потайной стилет Леони с серебряною головкой левретки вместо ручки... Сталь облипла кровью. Людмила Александровна с отвращением оттолкнула ее ногою.

— Стоит мне уйти незамеченною, и не останется ни одной прямой улики на меня,— бродила в уме ее напряженная мысль.— Письма в моих руках, он уже ничего не расскажет, остается только самой быть осторожною и не оставить по себе никаких следов.

В каких-нибудь пять минут она оделась и, окутав лицо вуалем, как пришла черным призраком, так и вышла. Она заперла за собою дверь и положила ключ в карман. В коридорах она не встретила никого до самого подъезда. Швейцар на подъезде молча окинул ее безразличным взглядом: он помнил, что это — «ревизановская дама», а какая — ему было все равно: мало ли их бывало у Андрея Яковлевича! Людмила сунула швейцару рублевую бумажку. Он поблагодарил и с поклоном отворил дверь.

XXI

Елена Львовна Алимова нисколько не удивилась внезапному приезду Верховской: племянница гостила у нее раза по два, по три в год, оставаясь обыкновенно по неделе и больше.

— Отлично сделала, что приехала!— хвалила она Людмилу Александровну,— по крайней мере, отдохнешь на деревенском приволье. У тебя глаза что-то нехороши и, вообще, усталый вид. Должно быть, сезон-то выдался из веселых? запрыгалась? завертелась?

— Слишком, тетя!

— Значит, надоели люди, захотелось посидеть одной в уголке, монастыркою, и помолчать? Что же? Бог с тобою! Я не буду мешать тебе: по себе знаю, как это нужно и хорошо иной раз. Жизнь-то стала бестолковая, мысли быстрые,

непоследовательные, спутанные,— вот и надо время от времени сказать своим мозгам: тпру!— упорядочить весь этот головной шум, разобраться в нем, ограничить его в систему. А уж лучше, чем у меня, заниматься таким делом нигде нельзя. Тихо. Ты посмотри в окно: какие ковры!.. «Снега белые, пушистые, вы покрыли поле все!..» Скучно станет — возьми бинокль: вон там на опушке по утрам зайцы скачут; лисица, случается, сверкнет красная, а то и серого волка Бог пошлет для развлечения. Они у нас тут, как собаки, бегают — просто беда. Еще вчера — среди белого дня — увели свинью у мужика. Презабавно! особенно пока не привыкла, по новости впечатления,— никакого балета не захочешь!.. Ну, вот тебе комната, вода, весь туалетный прибор... мойся, переодевайся и приходи обедать: стол накрыт. Ведь у нас рано едят: в полдень, по-деревенскому. Удобно и полезно. Всем бы советовала. Ах вообще, отдать бы тебя на месяц-другой опять в мои руки,— как бы я тебя выправила! Ты посмотри на меня, какой я здоровяк. А мне, Милочка, скоро шестьдесят. И еще говорят, что старые девки быстро дряхлеют!.. вот оно — что значит деревня-то — мои снега да зайцы...

Она удалилась, напевая на ходу:

Снега белые, пушистые,
Вы покрыли поле все...

Одного лишь не покрыли вы
Горя черного мого... —

зазвенело в ответ в памяти Людмилы Александровны продолжение старинных стихов, и она пугливо отмахнулась от грустной их мелодии, точно от опасного пророчества. Проходил день за днем. Застывшая, тяжелая унылость Верховской сильно тревожила Елену Львовну.

— Что с тобой? Здорова ли ты?

— Благодарю вас, тетя, не беспокойтесь, я совершенно здорова...

— Беда, что ли, какая-нибудь в доме? Зачем скрываешь?

— Все благополучно.

— Ах, Боже мой! здорова, все благополучно, а лицо — краше в гроб кладут. Нельзя так хандрить. Состаришься прежде времени. Я вот вчера у тебя на виске седой волос заметила. Посмотри в зеркало: на что похожа? желтая, вок-

руг глаз синева, pattes d'oie[1]... Когда это с тобою бывало?

— Годы, тетя.

— А! не говори глупостей... какие твои годы! Просто распустилась и сама себя старишь.

— Не для кого молодиться-то...

— Для самой себя надо. Распустившая себя женщина никуда не годится. Красота — это женское здоровье. А ты знаешь: «здоровая душа в здоровом теле». Если женщина запустила без ухода свою красоту, у нее скоро и душа будет запущена...

— Мораль: если хочешь быть образцом добродетели, не отходи по целым дням от зеркала!— улыбнулась Людмила Александровна.

— Ну, вот хоть засмеялась,— и за то спасибо. А то я сама, глядя на тебя, чуть было не захандрила. Ты хоть на зайцев, в самом деле, смотрела бы: авось развеселят...

— Ох, тетя! «не милы мне ваши зайцы»,— насильственно отшучивалась Людмила Александровна.

Втайне вопросы Елены Львовны заставляли ее трепетать.

Она размышляла:

— Если я даже от тети, в ее уединении, свободная от всяких подозрений, не в состоянии скрыть своего волнения, что же будет со мною в Москве? среди общества, возбужденного убийством одного из самых видных своих членов, страстно толкующего о подробностях преступления, жадно ожидающего поимки убийцы? Тетя, слепо преданная мне и менее всех способная предположить на моей совести черное дело, и та замечает, что я не такая, как прежде! Моя вина написана у меня на лице, и каждый прочтет ее. Должен прочесть, не может не прочесть!

Так, мало-помалу, она дошла до боязни, что бегство ее было напрасно, что ей все равно не спастись от гибели, потому что она — хочет не хочет — выдаст себя, выдаст непременно... чем хитрее будет прятаться, тем легче попадется. Вот появится подозрение у кого-либо из знакомых, вот оно распространится в обществе, дойдет до следователя; вот сыщики шаг за шагом раскроют ее alibi... вот полиция придет к ней в дом, застанет ее среди семьи, возьмет, увезет... Позор! Позор!

[1] Морщинки у глаз *(фр.)*.

Воображая подобные картины, Людмила Александровна чувствовала себя близко к сумасшествию. Говорят, будто убийц преследуют призраки погибших жертв, будто им слышится предсмертное хрипение, чудится кровь, текущая из свежих ран. С Людмилою не было так... Было проще и хуже. Она не испытала галлюцинаций, не видела и не слышала никаких пугающих чудес. Ее воображение не было расстроено. Голова работала нормально, рассудок не изменял. Но убийство Ревизанова стало теперь для Людмилы Александровны главным событием жизни, целиком заполнило и навсегда отравило ее память. Словно непроницаемая стена поднялась между нею и прошлым; что ни делала Людмила Александровна, что ни думала она, преступление неизбежно стояло рядом, на все бросая свою грозную тень — ядовитую тень анчара. Когда Верховская искала в прошлом каких-либо давних событий, слов, мыслей — воспоминание давало желанные образы не прежде, чем мимоходом, заново осветив пред нею, как молниею, картину убийства. И только эта картина жила в ее памяти безвыходно и прочно. Все остальные лишь гостили в ней — скользили, пролетали и исчезали; а эта держалась и жила, ясная, назойливая, суровая, как проклятие, черная, как тюрьма. И когда уже не надо было вспоминать, когда все воскресшие было образы опять уходили в даль, бледнели и угасали — одно лишь воспоминание... одно, ненужное, незваное, ненавистное чудовище — образ преступления — все не выходило из головы. Точно неумолимый ангел незримого мщения обвевал убийцу ледяными крылами, точно мертвый Ревизанов, невидимкою, неотступно следил за нею и, глядя прямо в ее душу, тихо, но внятно и беспрерывно звал ее к ответу... И Людмила Александровна, внимая беспощадно настойчивому зову, бледнела, путалась в мыслях и словах. А едва ей удавалось совладать с собою, являлась новая потребность воспоминания,— и вот опять блуждай в области недавнего ужаса, опять сталкивайся с роковою стеной, опять — в тысячный раз — переживай в одном мгновении все проклятие той ночи отчаяния!

«Так жить нельзя! это не жизнь и не смерть... Я умерла заживо и уже терплю загробные муки. Это чистилище какое-то!— терзалась Людмила Александровна в одиночестве своем, ломая холодные руки.— А между тем придется жить так, да, именно так, долго, долго... Зачем же затягивать срок

невыносимой пытки, зачем не прекратить ее в самом начале? Стоит ли мне теперь жить? Человек, вздернутый палачом на дыбу, уже не думает о счастье жизни; его счастье — умереть, перестать чувствовать жизнь, потому что это значит перестать чувствовать боль. Ну вот и я на дыбе, и останусь висеть на ней, пока жива, пока сознаю себя... И ни в жизни, ни в самосознании мне больше нет просвета; самоистязание, боязнь самой себя, стыд, вечный трепет, вечная ложь — вот вся моя будущность. Стоит ли, стоит ли жить ради подобного существования, задыхаться и метаться в такой агонии? Не лучше ли, не проще ли, вместо долгого, медленного умирания по частям, изо дня в день, сразу убрать себя со света и, прежде чем заморит меня нравственная каторга стыда и страха, в какую теперь превратилось мое существование, умереть по своей воле?»...

Убить себя?.. Но слишком страшно было недавнее зрелище насильственной смерти, слишком тяжелою раною запечатлелось оно в сердце Людмилы Александровны: раньше ей не случалось видеть близко, как умирают, и процесс смерти исполнил ее ужасом, когда она убедилась на деле, как легко осуществляется, как близко стоит смерть к человеку, точно выжидая у судьбы дозволения и сигнала на него наброситься. Взмах руки, и нет живого существа, остается труп... И все кончено!

Кончено ли?.. А там... дальше? Темно там. Что будет в грозной темноте? Пустота? Уничтожение? Ни движения, ни мысли?.. А если нет? Если и точно — Бог? в самом деле — суд и новая жизнь души, без тела, но с земною памятью, со всеми, успевшими отразиться в ней, земными страхами и впечатлениями, жизнь проклятой среди проклятых, жизнь призрака среди призраков, в обществе того — убитого ею и отверженного, как она? Людмила Александровна — всегда верующая — в первый раз, однако, поняла вполне, всею душою, насколько сильна в ней вера в Бога, теперь — когда вообразила себя перед Его судом и ужаснулась его.

И жить страшно, и страшно умереть. Смерть кажется то избавлением от страданий, забвением земли, то, наоборот, лишь первым шагом к истинным мукам, лишь началом наказания за прожитое земное, не более как порогом настоящего, высшего возмездия,— а теперь еще, здесь, по сю сторону порога, тянется пока подготовка к нему, здесь только преддверие... И если так мучительно стоять в этом преддве-

рии, каких же грозных тайн ждать, когда откроются пред нею самые двери?

Колеблясь в волнениях — то готовая и счастливая умереть, то боясь смерти, как непостижимого прожорливого чудовища с черною, широко разверстою в жадном ожидании пастью, Людмила Александровна сама не знала, вставая утром с постели, будет ли она жива к вечеру; ложилась в постель ввечеру, не уверенная, что «одр не станет ей гробом». Жажда смерти подсказывала ей десятки планов, как легче, хитрее, искуснее убить себя, а жажда жизни горячо и насмешливо оспаривала все планы, доказывая их нелепую прозрачность: как все догадаются, из-за чего она покончила с собою, как выяснится связь между смертью ее и Ревизанова, и будет опозорена ее память, и на семью ее все-таки ляжет то самое пятно, от которого с таким самоотвержением защищала ее Людмила Александровна, чтобы избежать которого она и убила Ревизанова... И все-таки чем дальше длилась борьба, тем чаще и яснее победа оставалась за приманкою смерти. Так в зверинце кролик, брошенный в клетку боа, цепенеет под его взглядом и — любя жизнь — против воли тянется, однако, весь дрожащий, к чарующему его змею, упирается, но идет к нему — с отчаянием, шаг за шагом, пока не исчезает в его голодной пасти. Из всех планов воображение Людмилы Александровны приковалось сильнее всего к одному: возвращаясь в Москву, она постарается, на ходу поезда, упасть под колеса так, чтобы все приняли ее падение за несчастный случай, чтобы не возникло никаких толков о самоубийстве. До отъезда оставалось двое суток. Страх смерти не смягчался в сердце Верховской: оно было стеснено, словно совсем перестало разжиматься. Но решимость умереть держалась твердо. Загробная бездна и пугала, и манила — но уже больше манила, чем пугала...

XXII

Поздно вечером, в канун отъезда Людмилы Александровны из деревни, Елена Львовна получила залежавшиеся на станции московские газеты.

— Ах, какой ужас! Чем кончил! Чем кончил!— воскликнула она, едва развернув «Русские ведомости» и просматривая первую же заметку московской хроники.

— В чем ужас? Кто кончил? — хрипло отозвалась Верховская, едва шевеля побелевшими губами: она поняла, что тетка нашла что-нибудь о смерти Ревизанова... Елена Львовна прочла вслух довольно подробный отчет... У Верховской застучало в висках: отчет показался ей — подробно знающей, как в действительности было дело, — вдвое обстоятельнее, чем составил его репортер. Преступление считалось несомненно преднамеренным — газета называла его «тонко обдуманным делом ума и рук, закаленных в привычке к преступлению».

«Я пропала! Как много они уже знают! столько нитей оставлено, чтобы узнать все остальное!» — думала Верховская, страдальчески хмуря темные, мрачно сведенные одна к другой брови.

— Как ты бледна! — заметила Елена Львовна, передавая племяннице газету, — да и как не побледнеть?! Словно призрак из старого, забытого прошлого пронесся перед глазами. И в какой обстановке! Это страшно, Людмила! Дурной он был человек, а все же жаль... Упокой Господь его грешную душу! А земле он больше ничего не должен: за все расплатился своею кровью...

Верховская не слушала, приковавшись глазами к rostscriptum'у отчета.

«Подозрение лиц, близких покойному, предугадывает виновницу этого, небывалого по дерзости, убийства в особе, довольно известной кругу наших спортсменов, как звездочке, одновременно освещающей горизонты местного цирка и demi mond'a[1]... Особа эта пользовалась до последнего времени благосклонностью покойного, но за несколько дней до убийства между ними произошла крупная ссора, завершившаяся полным разрывом. Таким образом, мы, по-видимому, имеем в перспективе дело с интересною романической подкладкой. Подозреваемая узнана швейцаром отеля и уже арестована».

Итак, за нее может ответить другая женщина? Стоит ей промолчать, и эта... кто она? Верховская даже имени не знала, кого судьба бросает, вместо нее, под меч закона! — и эта незнакомка займет ее место на скамье подсудимых. Как все удобно и хорошо слагается! И снова, впервые после ночи убийства, — несчастной, безумной, преступной жен-

[1] Полусвета *(фр.)*.

щине вздохнулось широко и легко, точно волна в нее хлынула!.. Но вздохнула — и задохнулась вздохом... Молчать? Но ведь теперь молчать будет новым преступлением и хуже, в тысячу раз хуже первого. Ревизанова она убила по праву... нет, не по праву: права убивать ближнего нет у человека... Но если не по праву, то по естественному инстинкту — в отмщение за злую вину — и какую! Больше чем он, не может быть виноват мужчина перед женщиною.

«Он нападал — я защищалась. Он сулил сделать мне всякое зло, на какое способна любовь, обратившаяся в ненависть, и сделал. Он осквернил меня, поработил, оторвал от семьи, от детей... Его стоило убить, да и то я убила, лишь выведенная из себя до последнего, лишенная всякого самообладания, не помня себя, в отчаянии, потеряв самосознание, почти озверенная... А тут... сознательно предать на суд, позор и, может быть, осуждение невинную! Я даже не знаю, я никогда не видала ее, я даже имени, имени ее не знаю! Послать на страдание первую встречную — хладнокровно, без всякой вражды и злобы... Только потому, что пусть лучше другая страдает, чем я... Какая гадость! Какой жестокий звериный эгоизм!»

И то стыд делался в ней сильнее страха, то страх сильнее стыда. Она, как герой скандинавской сказки, стояла в бессильном раздумье, слушая, как две птицы — черная и белая — поют ей песни: одна злую, другая добрую; одна — учит самосохранению, другая — долгу и человеколюбию. Черная птица ей пела:

— Завтра ты умрешь... Страшнее смерти нет ничего на свете, но и у нее есть доброе качество: она все заглаживает и искупает. Кто умер, тот прав. Ты умрешь и тоже будешь права: ты расплатилась за себя. Неужели ты думаешь — твоя смерть недостаточная цена для выкупа и прежнего и нового позора? Ведь не убьют же ее, эту незнакомку: ну, накажут, сошлют, да и то еще объяснят убийство ревностью, аффектом, смягчат приговор, пожалуй, еще совсем оправдают... Да если и осудят, все-таки жизнь-то, жизнь ей останется, жизнь, что всего дороже; а ведь ты умрешь. Неужели этого мало? Полно! это самоискушение! это бред!

Белая птица возражала:

— Все так. Но зачем же ты сама-то предпочитаешь даже смерть той жизни, какая ждет эту несчастную? Зачем тогда умирать: живи, как придется жить ей, и наслаждайся этою

жизнью. Или, по твоему суждению, жизнь бесчестная для тебя — годится для нее? Ведь она — пишут газеты — падшая: камелия, самка, тварь... И вот ты, счастливая преступница, ты умрешь «от случая», оплакиваемая, уважаемая, тебя похоронят с честью, незаслуженные похвалы и лесть раздадутся над могилой. А вся грязь, весь позор и ужас твоего дела, должные поразить тебя и только неправым счастьем, случайной, фальшивой подтасовкой обстоятельств отвлеченные от твоей головы, обрушатся на ту невинную? Ну что же? спасай себя и убивай ее! ей ведь все равно — не привыкать к позору. Она камелия, самка, тварь — что ей? уж заодно пусть идет и в каторгу... так ведь? не правда ли? И ты еще судишь! ты, продажная, как и она! ты... убийца.

XXIII

Людмила Александровна изменила свой план. Она села в вагон с твердым решением: «Я убью себя, но сперва объявлю свое преступление».

«Куда же идти мне?— размышляла Верховская, стоя в ожидании своих вещей, попавших в руки довольно неповоротливого артельщика, на платформе московского вокзала.— К судебному следователю. Кто он и где он живет?»

Она не знала.

Просто взять и подойти к первому городовому или вот хоть к этому бравому жандарму в медалях, который так важно и сурово расхаживает по платформе, и объявить ему: я убийца. Он, конечно, отведет ее в участок, но прежде поднимется шум, сберется народ.

Каин сказал Богу: «От имени Твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». В Людмиле Александровне проснулось наследие Каина: родился обычный недуг преступников — страх людей. Она живо вообразила: народ, при слове «убийца», озлобится, бросится на нее, станет бить — как знать,— пожалуй, истерзает, разорвет на куски... А то другое: ни городовой, ни народ не поверят ей, сочтут ее пьяною или сумасшедшею, будут глумиться, хохотать. Нет! все, кроме уличной сцены; все, кроме толпы-свидетельницы! Еще она боялась, что, если ей не поверят по первому призна-

нию, у нее недостанет духа повторить его еще раз,— кроме личного признания, у нее нет улик на себя, и ее отпустят со срамом и советами лечиться. Ведь каждый раз, когда оглашается громкое преступление, находится столько мнимых преступников, воображающих, будто именно они-то его и совершили. Затем: если ей поверят и арестуют ее, как избегнуть суда? Как исполнить задуманное самоубийство? Ее посадят в одиночную, под караул: там не добыть ни ножа, ни револьвера, ни яду, ни веревки. Голодом разве покончить с собою? А хватит ли энергии на такую пытку? Эта желанная смерть так грозна: мигом, закрыв глаза, очертя голову, можно — хоть и с отчаянием в сердце — броситься в ее объятия. Но смотреть ей в лицо день за днем, из часа в час, из минуты в минуту... нет, недостанет сил!

Артельщик привел Верховской извозчика. Она нерешительно села в сани и задумалась.

— Куда прикажете ехать?— нетерпеливо спросил извозчик.

Людмила Александровна сообразила, что он спрашивает ее уже не в первый раз, а она, в рассеянности, не отвечает, сконфузилась и заторопилась,— с губ ее сорвался адрес ее квартиры.

Дома никого не было, кроме прислуги. Степан Ильич еще не приходил из банка, дети учились.

Верховская одиноко бродила по пустой квартире, и все страшнее и страшнее становилась ей судьба ее, и жалость утратить дар жизни кралась в ее сердце тоскующею и ласковою змейкою. Она вошла в детскую; здесь каждая вещь наводила ее на воспоминания. Вот эту чернильницу подарила она Лиде, когда та перешла из седьмого класса, эту куклу — Леле, на именины. Как девочка была рада! Забыла, что уже хочет казаться взрослою барышней,— ей тогда исполнилось тринадцать лет,— кричала, прыгала, как коза...

Кабинет мужа, изящная, уютная комната... Восемнадцать лет тому назад Людмила Александровна, войдя в дом молодою хозяйкою, сама распорядилась здесь размещением мебели, книжных полок, картин, и Степану Ильичу так понравились устроенные женою уют и порядок, что ни одна вещь в этом красивом гнездышке не переменила своего места с того времени; что ветшало — поправлялось или заменялось новым, но порядок оставался тот же. Все те же декорации счастья, а самое счастье разбито; все то же тело,

все те же формы домашнего кумира, хотя одушевлявшая его добрая сила угасла и померкла, ласковый гений любви и покоя отлетел.

Привычная атмосфера семейной тишины, довольства и мира охватила Верховскую и своею мягкою прелестью гнала из души суровую решимость.

«Восемнадцать лет создавать себе счастье, создать и самой разрушить его! Ужасно!.. Ужасно!.. За что?!»

Часы указали Людмиле Александровне близость возвращения мужа и детей.

«Господи! Вот они вбегут в комнаты... обрадуются, зашумят, а я первым словом в ответ на их ласки: прости меня, Степан! простите, дети! Я опозорила вас, я — убийца Ревизанова!.. Побледнеют розовые личики детей, умолкнет резвый смех. «Мама! мама! Что ты с собою, что ты с нами сделала?!» И опять — за что? за что?»

Закрыв глаза, она все-таки продолжала мысленными очами видеть перед собою их — свою семью; они разбежались от нее, прижались по углам, и она стоит одна, среди кабинета, бессильная, покинутая, жалкая.

«Но ведь будет всего один миг страдания: выстрел вот из этого револьвера, что лежит на столе у Степана Ильича, и я еще не успею оценить своего несчастья и сиротства, а пуля уже пробьет мое сердце: я не промахнусь...

А если промахнусь? Если затем последует не смерть, а только болезнь? Преступная и больная! Разбитая душа в разбитом теле... Отравленная совесть в израненной груди! Нет, лучше покончить теперь, без детей; спокойно, не торопясь, написать записку Степану Ильичу и...»

Она взялась за перо и снова оставила его, обуянная новым сомнением. Сомнения нарождались так быстро, в такой частой смене, и овладевали ею так повелительно, что она терялась — которое из них слушать. Едва нарастало одно, как из-за него уже выдвигалось черною тучею другое — и закрывало первое, заставляя забыть о нем своею новою внушительною важностью.

«А если они не поверят мне? У меня нет доказательств на себя. Теперь в ходу объяснять всякую странность аффектом, внезапным острым помешательством. Наконец, если и поверят, кто поручится мне — даст ли Степан Ильич ход записке, захочет ли он принять позор на свое имя? Он человек гуманный, честный, но — разве я не скрыла бы его

преступления, будь он на моем месте? А ведь и про меня говорили, что я гуманная и честная!.. Уничтожить клочок бумаги недолго и нетрудно, и тогда та несчастная...»

Дети пришли.

Они ворвались, как и ожидала Людмила Александровна, шумно, радостно. Леля кричала: «Мама! Мама! Милая! солнышко!» — и висла у матери на шее. И мать инстинктивно прижимала ее к своему сердцу.

«Я мараю ее своим прикосновением! — скользнула ядовитая мысль в ее уме, но другая ответила: — Ну и пусть мараю, но я слишком ее люблю, я не властна не ласкать ее».

И она не оттолкнула девочку от себя и, осыпая ее ласками, одно мгновение ничего не помнила, кроме этих детей и долгого счастья, какое до сих пор давали они ей, а она им. А когда она опомнилась от восторгов первой встречи, было уже поздно. Она снова испытала на одну минуту, чем сладка жизнь, и радость семьи заглушила в ней голос справедливости. Долг смерти ушел куда-то далеко — во мрак, его породивший. Жизнь победила.

XXIV

Леони доказала свое alibi, и ее оставили в покое. Это отчасти умиротворило совесть Людмилы Александровны. Оставалось жить.

Жить — для семейного счастья, едва не ускользнувшего от нее. Она успела удержаться за край его — успела ценою малодушия, подлости, едва не перешедшей в новое преступление. Теперь надо было сберечь его. Оно могло рухнуть только с раскрытием тайны убийства. В относительно спокойные, рассудочные минуты, взвешивая свое положение, Верховская обстоятельно доказывала себе, что, если она сама не выдаст себя, убийство Ревизанова останется навсегда загадкою. А между тем тайная боязнь быть выслеженною всегда жила в ней, и охранение себя от этой опасности стало господствующею идеею всей ее жизни. Не судили люди — она судила себя сама. Не уличал суд — сама себя уличала и казнила. Кто-то сказал: если человек хочет сделать свою жизнь постылою, пусть наполнит ее, вместо всякого другого содержания, трепетом за свое существование и заботами самосохранения. Людмила Алек-

сандровна тяжелым опытом проверяла справедливость этой мысли.

Подобно тому, как раньше преступление отравило ее прошлое и лишило ее воспоминаний, теперь оно мстило ей уже и в настоящем, просочившись незримым ядом в каждую подробность ее жизни. Вначале она ни словом не заикалась об убийстве, ставшем надолго и прочно предметом толков всей столицы; но когда она бралась за газету, она думала: «Нет ли новых известий по моему делу?» Когда спрашивала гостя: «Что нового?» — она и боялась, и ждала слышать новый акт или хоть явление следственной драмы. И если ей удавалось разузнать что-либо, ее воображение начинало работать над дальнейшими шагами следствия, вкрадчиво лепя сцену за сценой, подробность за подробностью. Так как она знала весь ход дела с начала до конца, то инстинктивно подсказывала себе эти шаги и терялась при сознании кажущейся легкости, с какою, по-видимому, раскрывалось преступление. Она забывала, что следователь, если даже попадет на прямой путь, как она сама вела розыск в своем воображении, все-таки будет идти по нем с закрытыми глазами, на ощупь, и — сто шансов против одного, что ничего не добьется.

Она почти не спала. «Макбет зарезал сон, души отраду, но с этих пор не спать уже Гламису, не спать убийце». Целые ночи пролеживала она навзничь, с широко открытыми во тьме глазами, и перед нею мелькали то призраки кровавого прошлого, то неутешительные образы будущего. К утру она доходила до такого возбуждения, что, проснись Степан Ильич и спроси жену: «Отчего ты не спишь»?— Людмила Александровна рассказала бы ему все. Но он не спрашивал, а только жалел ее за бессонницу да советовал лечиться.

Она начала интересоваться чужими преступлениями, потому что хотела знать, как вели себя другие в ее положении. Она перечитала десятки уголовных процессов. Везде и всегда убийцы запутывали свои следы, как могли и умели, и все-таки их выслеживали, судили, карали. Она читала дела, обставленные настолько ловко, что ее преступление казалось детски простым в сравнении с ними, и все-таки герои этих дел шли на эшафот, на галеры, в каторгу — и чем больше читала, тем более уверялась она, что и ее рано или поздно откроют.

Елена Львовна, в бытность Людмилы Александровны в

деревне, заметила своим материнским оком, что с племянницею творится что-то недоброе. Замечали это и домашние. В письмах от Верховских Елена Львовна читала неясное недовольство чем-то — словно все смущенно скрывают нечто непривычное и неприятное.

— Перессорились они там, что ли, все? да из-за чего им?— недоумевала старуха,— или, сохрани Бог, не худо ли пошли дела у Степана Ильича?

Не желая мучиться беспокойством за близких и любимых людей, она собралась — кстати, надо было и по делам — в Москву.

Дом Верховских она застала действительно в полном расстройстве — точно обезматочивший улей. Поведение Людмилы Александровны в последние дни было настолько необычно, слова ее и действия носили неизменный отпечаток такой раздражительной и беспричинной нервности, что муж и дети начали подозревать в ней серьезную, если не психическую, то нервную, болезнь.

— И давно, Лидочка, началось это?— пытала Елена Львовна старшую дочку Верховской.

— С того самого дня, как мама вернулась от вас, бабушка. Она приехала с вокзала и никого не застала дома: мы с Лелей были в гимназии, Митя тоже, папа на службе, в банке. Приходим,— обрадовались, стали ее целовать, обнимать, тормошить, и она тоже рада, целует нас, а потом бух!.. упала на ковер: истерика! хохочет, плачет, говорит бессвязно... Больше двух часов не приходила в себя.... Раньше этого никогда не было.

— В детстве случалось,— задумчиво заметила Елена Львовна, очень удивленная тем, что слышала: так мало было это в характере Верховской. Ей случалось много раз видать Людмилу Александровну в трудные и печальные минуты ее жизни: когда опасно болели дети, когда, после одного колебания бумаг на бирже, Степан Ильич едва не потерял всего состояния, и всегда она поражалась самообладанием племянницы.

— Ты, Людмила, прелесть, когда беда над головою,— говорила она Верховской,— молодец-женщина. У тебя не нервы, а веревки! Жаль, что женщинам не дают орденов, а то уж выхлопотала бы я тебе «георгия» за храбрость.

Лида продолжала:

— Вот с этого дня и нашло на маму. Ничем не можем

угодить на нее: такая стала непостоянная. Приласкаешься к ней — недовольна: оставь, не надоедай; ты меня утомляешь! Оставишь ее в покое — обижается: ты меня не любишь, ты неблагодарная!.. Вы все неблагодарные! Если бы вы понимали все, что я для вас делаю... Неблагодарностью она всего чаще нас попрекает,— а разве мы неблагодарные? Мы на маму только что не молимся... Истерики у мамы каждый день... Но уж вчера было хуже всех дней: досталось от мамы и нам, и папе... И ведь из-за каких пустяков! Митя без спросу ушел в гости к Петру Дмитриевичу. Ах! разлюбила мама, совсем разлюбила Петра Дмитриевича! И в чем только он мог провиниться — не понимаю!.. Встречает его холодно, молчит при нем, едва отвечает на вопросы. А нам без него скучно: он веселый, смешной, добрый...

Митя жаловался:

— Намедни, на именины, Петр Дмитриевич подарил мне револьвер,— тоже что было шума!

Елена Львовна улыбнулась:

— Ну, револьвер-то тебе и в самом деле лишний. Еще застрелишь себя нечаянно.

— Помилуйте, бабушка! Маленький я, что ли? Да я в тире пулю на пулю сажаю... Весь класс спросите. И маме известно. Совсем не потому!

— Раньше мама сама обещала ему подарить,— вставила Лида.

Митя подхватил:

— А тут рассердилась, что от Петра Дмитриевича, и отняла.

— В стол к себе заперла,— пояснила Лида.— Тоже говорит, что он себя застрелит.

— А я пулю на пулю... Вы, бабушка, попросите, чтобы отдала. А то я всему классу рассказал, что у меня револьвер... дразнить станут, что хвастаю. Да, наконец, не век мне быть гимназистом... Какой же я буду студент, если без револьвера?

XXV

Антипатия Людмилы Александровны к Синеву развилась с того дня, как умер следователь по особо важным делам, который первоначально вел дело об убийстве Ревизанова, и

оно перешло к веселому родственнику Верховских. Он взялся за следствие горячо и рьяно, но вскоре — бесполезно прогулявшись по нескольким ложным следам — впал в уныние.

— Иссушило меня это проклятое следствие!— жаловался он у Верховских.— Скажу вам: просто фантастическое дело! Ничего с ним не поделаешь: глупо, просто и, именно благодаря простоте и глупости, непроницаемо. Когда убийца хитрит и мудрит, он хоть какие-нибудь следы оставит, хоть в чем-нибудь прорвется. А тут — ничего! какая-то mademoiselle X. Y. Z. пришла, переночевала, воткнула человеку нож между ребер и затем преспокойно ушла. Не только не пряталась, но еще остановилась — дала рубль серебра швейцару. Нашли извозчика, с которым она уехала из гостиницы. И швейцар, и извозчик одинаково описывают ее наружность: Леони, вылитая Леони... И, однако, это была не она! Кто же? Черт знает что такое! Какой-то сатана в юбке или — чтобы быть вежливым с дамами, так как она хоть и прирезала Ревизанова, а все же дама,— скажем: Азраил, ангел смерти, в модной шляпке под вуалем...

— И вы точно потеряли всякую надежду открыть убийцу?

— Решительно. А славный бы случай отличиться. Выслужился бы!

Слова эти больно укололи Людмилу Александровну.

— Выслужиться чужою гибелью, чужим позором! Я считала вас добрее, Петр Дмитриевич!— сказала она, а думала про себя: «Не чужою — моею гибелью, не чужим — моим позором собираешься ты выслуживаться, мальчишка!»

Синев оправдывался:

— Что же мне прикажете делать, если мое рукомесло такое — чтобы «тащшить и не пушшать»... Да где там? не выслужишься! это дело — такая путаница, что сам Вельзевул ногу сломит. Вы поймите: ушла она из гостиницы...

Людмила Александровна гневно остановила его:

— Петр Дмитриевич! вы уже двадцать раз терзали мои нервы этою трагедией... пощадите от двадцать первого...

— Вот! слышите, тетушка, как она меня пиявит?— пожаловался следователь Елене Львовне, сконфуженно разводя руками. Старуха вступилась за Петра Дмитриевича.

— Милочка! потерпи, сделай милость: пусть расскажет... я-то ведь еще ничего не слыхала, мне интересно.

Синев весело вскочил с места.

— Людмила Александровна! высшая инстанция разрешает: я начинаю. Итак, mesdames, сообразите: ушла она из гостиницы...

Но Людмила Александровна с гневом встала с места.

— Как вы скучны!— И, резко двинув стулом, порывисто вышла из комнаты.

— Теперь уж, тетушка, не я, а вы виноваты...— пробормотал, смущенный этою выходкою, следователь. Но Елена Львовна заставила его продолжать рассказ.

— Да!.. Ну-с, так вот: ушла она из гостиницы,— точно стакан воды выпила, села в сани — и поминай как звали! Извозчика мы замучили допросами, а толку нет. Довез, говорит, барышню до дома Лазарика на Петровке. Вошла в ворота — и как в воду канула! Двор-то проходной, в нем тысячи три народа живет, и народ все неважный: пролетарии, проститутки. Извозчик так и объясняет. Мы его спрашивали: не показалась ли, мол, тебе эта барышня странною — испуганною, взволнованною, что ли? «Нет, говорит, ничего, я — как дело было по-раннему то есть времени — так полагал, что гулящая... домой от полюбовника едет». Черт знает! иной раз мне становится досадно, что мы так легко отпустили эту Леони. Положим, она-то лично невиновна, но, может быть, есть за нею все-таки хоть какая-нибудь ниточка прикосновенности — малюсенькая, малюсенькая... А мне только бы за что-нибудь уцепиться.

— Леони... Вы часто поминаете это имя... это кто же такая?

— Француженка, содержанка покойного. Он сам говорил мне в тот вечер, что ждет ее ужинать tête-à-tête... «Мы, говорит, в ссоре, надо помириться»... Вот тебе и помирились!

— В чем же вы затрудняетесь? Ваши подозрения...

— Гроша медного не стоят. Леони, как дважды два — четыре, доказала свое alibi. Она и не думала быть у Ревизанова,— он тут наврал что-то. Леони кутила всю ночь напролет в Стрельне с развеселой компанией — пальмы рубили, зеркала били, лошадей шампанским поили — все, как водится. Потом... ну, да, одним словом, мне известен весь ее curriculum vitae[1] до двенадцати часов утра шестого октября, когда Ревизанова нашли... готовым...

[1] Жизненный путь *(лат.)*, здесь: распорядок дня.

— Шестого? Это когда Людмила ко мне приехала? — раздумчиво спросила Алимова.

Петр Дмитриевич поправил:

— Виноват: она приехала к вам накануне — пятого.

— Шестого, Петр Дмитриевич! я отлично помню.

— Уверяю вас: ошибаетесь! Я сам провожал Людмилу Александровну на вокзал, оттуда поехал в «Эрмитаж», встретил Ревизанова и запутался с ним на целый вечер... А ночью вся эта штука и случилась!

Елена Львовна долго молчала. Она отлично знала, что права, но природная осторожность инстинктивно удержала ее от спора.

— Может быть... — согласилась она. — Да, да! конечно, вы правы. Память иногда мне изменяет. Старость — не радость.

А сама думала:

«Никогда мне не изменяет память, и Людмила приехала ко мне шестого, а не пятого... Странно, странно!.. Надо выяснить, что это значит и где — если не у меня — могла она быть? Неужели у нее — бес вступил в ребро, и Людмила, моя Людмила, стала пошаливать от старого мужа? Не может быть... А впрочем — что мудреного? Женщина еще молодая, здоровая... Да еще Липка вечно при ней вертится... хороший пример для замужней женщины, нечего сказать. Ох, эта Липка! Много крови испортила она мне в моей жизни...

XXVI

Встречи с Синевым сделались для Людмилы Александровны тяжелою пыткою. Она и ненавидела его, и тянуло ее к разговорам с ним. Так тянет человека ходить по краю пропасти, хотя оборваться в нее для него страшнее всего на свете. И между ними лежала действительно пропасть, хотя знала о ее существовании одна Людмила Александровна, а Синеву и в голову не приходило ее подозревать. Уже при одном виде, при первом появлении Петра Дмитриевича в ее гостиной, бешенство загоралось где-то в глубине сердца Людмилы Александровны. Ей стоило больших усилий сдерживать себя и улыбаться Синеву, между тем как она вся пылала желанием броситься, вцепиться ногтями в его лицо и крикнуть:

— Выслуживайся, негодяй! Это я, я убила твоего Ревизанова.

И чем больше она замечала, что ненавидит Петра Дмитриевича несправедливо, чем больше стыдилась своей несправедливости, тем грознее разрасталось в ней, вопреки собственному ее желанию, чувство обиды и неприязни, инстинктивная антипатия преследуемой к преследующему, волка к гончей. Синев ничего не замечал. Честный малый по-прежнему дружески относился к кузине, и они не раз еще беседовали, в числе других эпизодов его службы, и о ревизановском деле. Верховская выслушивала предположения Синева, и все они представлялись ей нелепыми, натянутыми, потому что она слишком хорошо знала истину. Однажды ее охватила безумная дерзость. Она сказала Синеву:

— Вы, Петр Дмитриевич, говорите, будто это дело трудно именно потому, что просто и глупо. А вы попробуйте взглянуть на него, как не на вовсе дурацкое и случайное.

— То есть ввести в дело фантастического убийцу чуть не по профессии, bravo[1] в юбке, Спарафучиле женского пола? Мой предшественник уже потерпел фиаско на этом предположении. Нет, нет. Вообще, я чем больше вглядываюсь в обстоятельства убийства, тем дальше отстраняю от себя предположение преднамеренности, которого держался раньше. Это убийство внезапное, случайное — из ревности, из мести, по самозащите... ведь — извините! — свинья был покойник, не тем будь помянут!..— но не подготовленное. Не знаю, зачем шла эта дама к Ревизанову — для свидания или для разрыва,— но несомненно не с тем, чтобы убивать, и убила неожиданно для себя. Она и оружия-то с собою не принесла. Заколола его стилетом, который забыла в его спальне Леони.

— Я с вами согласна,— глухо отозвалась Людмила Александровна, потупив глаза, чтобы не выдать себя их диким блеском,— мне тоже кажется, что убийство это было делом, скорее, случая... может быть, необходимого, фатального, но все же случая, а не злого намерения... У вас, Петр Дмитриевич, нет твердой почвы под ногами,— вам все равно приходится бродить в тумане предположений. Хотите — вместе? Хотите, я расскажу вам, как я предполагаю это убийство?

— Сделайте одолжение... это очень интересно...

[1] Наемный убийца *(фр.)*.

— Тогда слушайте. Вы знаете, что за человек был Ревизанов,— сами сейчас сказали. Знаете, как оскорблял и унижал он людей — и больше всех именно женщин... он относился к ним, как к рабыням, как к самкам, как укротитель к своему зверинцу,— опять же вы сами это говорите. Представьте теперь, что одна из его жертв бунтует. Она переутомлена изысканностью его издевательств, довольно их с нее. Но он неумолим,— именно потому, что она бунтует, что она смеет бороться против его власти. И он — не по любви... о нет! а просто по скверному чувству: ты моя раба, я твой царь и Бог,— гнет ее к земле, душит, отравляет ей каждую минуту жизни, держит ее под постоянным страхом... ну, хоть своих разоблачений, что ли. Представьте себе, что она — женщина семейная, уважаемая... и вот ей приходится при этом негодяе быть наложницею... хуже уличной женщины... ненавидеть и принадлежать... поймите, оцените это! И она хитрит с ним, покоряется ему, назначает свидание... и на свидании чаша ее терпения переполняется... и она убила его, а обстоятельства помогли ей скрыться. Что же, по-вашему,— когда вы знаете Ревизанова,— не могло так быть? не могла убить Ревизанова такая женщина?— женщина хотя бы вроде той несчастной, о которой когда-то вы сами рассказывали нам — при самом же Ревизанове — подобную же печальную историю?

Необычайно страстный тон Людмилы Александровны заинтересовал Синева.

«Что с нею?— подумал он и сам же себе ответил:— Эка развинтила себе нервы барыня! Ни о чем не может говорить спокойно».

— Что же?— настаивала Людмила Александровна.

Синев пожал плечами:

— Это невозможно!

— Почему же?

— Да потому, что это французский роман... Какой же убийца — не профессиональный, конечно...

Верховская улыбнулась с сомнением:

— Как будто есть профессиональные убийцы!

— Есть, Людмила Александровна, в этом вы не сомневайтесь... Редко, но есть. Свет, голубушка, винегрет, составленный из весьма разнообразной гадости. Какой же убийца сумеет так хладнокровно рассуждать и действовать в виду своей окровавленной жертвы? Эх, Людмила Алек-

сандровна! злодейства легки только у Ксавье де Монтепена, а на самом деле — вы понимаете: я могу быть судьей по этой части, у меня в переделке ух какие соколы бывали! — а на самом деле редкий злодей, свершив убийство, не теряется хоть на несколько мгновений до панического страха. Мне многие признавались, что первое побуждение после убийства — бежать. Бежать без оглядки, без смысла, без цели, лишь бы бежать! И с этим побуждением приходится серьезно считаться, даже бороться.

Верховская устремила на Петра Дмитриевича загадочный взгляд.

— Ну, а Раскольников?— сказала она.— Думаю, что Достоевский не хуже вас знал душу преступника... Что же? преступление Раскольникова, по-вашему, было дурно задумано и исполнено? и... и скрыто?

— А чем же хорошо-то, если человек в конце концов сам пришел с повинною и, заметьте, не по доброй воле, а загнанный, как волк, по пятам — хорошим следователем-психологом? Нет, Людмила Александровна! Русские интеллигентные убийцы еще умеют иногда обдумать и ловко исполнить преступление, но укрыватели они совсем плохие. Совестливы уж очень. Следствие их не съест — сами себя съедят.

Людмила Александровна уже не слушала его. Она думала:

«А я скрыла... ловко, рассудочно, расчетливо скрыла... и ни за что никогда себя не выдам... Ищи, ищи! за то тебе жалованье платят, чтобы ловить ветер в поле».

Но рядом с этою — торжествующею — ее томила другая, болезненная мысль:

«Да что же значит это мое проклятое или благословенное — уж сама не знаю — самообладание? Как? неужели он прав? неужели я холоднее — значит, хуже, безнравственнее, подлее всех убийц? Я? А!..»

И взгляд ее делался все острее и холоднее. И, презрительно усмехаясь, она прервала следователя язвительными словами:

— У вас мало фантазии; в вашем деле это большой порок. Вы никогда не выслужитесь, Петр Дмитриевич.

— Боюсь, что так,— печально сказал он.

XXVII

У Верховских были гости. В числе их Сердецкий. Писательским чутьем своим он угадал напряженную нервную атмосферу, сгустившуюся в их отравленном тайным ядом доме, и ему стало душно, как всегда душно здоровому, беспечальному человеку среди больных — жертв эпидемии, все равно: телесной или душевной. Он печально приглядывался своими орлиными глазами к хозяйке дома: давно знакомое, милое лицо Людмилы Александровны казалось ему новым, словно он впервые ее видел.

«Как ее перевернуло! — думал он,— что с нею? о, сколько в ней горя и обиды! И откуда взялось оно? кажется, все в порядке... а между тем — Боже мой, ведь это живая покойница. И это она, именно она — никто другой — очаг заразы уныния, которую я чувствую здесь в воздухе...»

— Здорова ли мама? — шепотом спросил он проходившего мимо Митю, притягивая его к себе за руку.

— Кажется, здорова...— возразил мальчик нерешительно.

— Да? А по-моему, дружок, нет и даже очень нет.

Митя замялся:

— Да и мы так думаем, Аркадий Николаевич,— шепнул он,— только ничего не можем поделать с мамою. Она и слышать не хочет, что больна. До того дошло, что — спросишь: здорова ты? — сердится, вся вспыхнет... Вчера даже прикрикнула на меня: «Нечего мною заниматься! умру — успеете похоронить»... Эх!.. меня так и перевернуло: второй день забыть не могу...

Сердецкий выпустил руку юноши и обратился к женскому обществу, привлеченный частым упоминанием его имени.

— Ты не читала последнего романа Аркадия Николаевича? — удивлялась Олимпиада Алексеевна.— О, чудное чудо! о, дивное диво! Как же это сделалось? Прежде ты знала все его произведения еще в корректуре... за полчаса до пожара, что называется. Уж на что я лентяйка, а как только увидала в газетах имя Аркадия Николаевича, сейчас же послала в библиотеку за журналом.

— Не успела,— защищалась Людмила Александровна,— я в последнее время почти ничего не читаю... времени нет.

— Помилуй! — уличила ее Ратисова,— в твоем будуаре целые горы книг. И знаешь ли? Я удивляюсь твоему вкусу. Дело Ласенера, дело Тропмана, Ландсберга, Сарры Беккер —

что тебе за охота волновать свое воображение такими ужасами? Брр... брр... брр... меня бы все эти покойники по ночам кусать приходили!

— Вот начитаетесь всяких страстей, а потом и не спите по ночам,— нравоучительно вставил Синев.

Верховская резко обернулась к нему:

— Кто вам сказал, что я не сплю по ночам?

— Степан Ильич, конечно.

Людмила Александровна закусила губу; щеки ее разгорелись, глаза забегали...

— Степан Ильич сам не знает, что говорит. Ему нравится воображать меня больной и в своих заботах о моем здоровье он так скучен, так надоедлив...

— Но зачем же горячиться, Милочка?— остановила ее Елена Львовна.

Синев, который нахмурился было, расправил брови, махнул рукою и засмеялся.

— Вот-с, не угодно ли вам полюбоваться?— пожаловался он полушепотом Сердецкому,— теперь она со мною всегда этак-то, в таком милом тоне.

Людмила Александровна услыхала и подошла к ним.

— Что вы сочиняете?— искусственно удивилась она.

Синев даже руками всплеснул:

— Сочиняю? Нет извините. Жаловаться так жаловаться. Мне от вас житья нет. Вы на меня смотрите, как строфокамил на мышь пустыни: ам!— и нет меня!.. Главное, ума не приложу: за что?.. Ведь я невинен, как новорожденный кролик! Думал сперва: за Митю. Каюсь, Аркадий Николаевич,— виноват: поддразнивал Вениамина Людмилы Александровны. Липочка вздумала, видите ли, строить ему глазки... ну, как же было мне не распустить язык по такому соблазнительному случаю?

Людмила Александровна обрадовалась, что он сам подсказывает ей путь, как выйти из затруднения.

— А мне было неприятно,— мальчик впечатлительный, с мягким сердцем, увлекающийся...— уже кротче заметила она.— Зачем портить его? волновать его воображение, вбивать в голову Бог знает что...

— Кузина! Вы имеете резон. Но я вам давным-давно принес публичное покаяние по этой части и вот уже два месяца, как держу свой язык на привязи. Больше того: сам же усовещевал Липу, чтобы она не совращала юношу с тро-

пы классического благоразумия... Олимпиада Алексеевна! неувядаемая тетушка! — вскричал он, — пожалуйте сюда. Засвидетельствуйте, какими филиппиками громил я вас в последний раз, за завтраком...

— И сколько красного вина при этом выпил! ужас! — откликнулась Ратисова.

— Ага! Вы слышали, афиняне?! Помилуйте! До того ли мне теперь? Что мне Гекуба и что я Гекубе? Ревизановское дело поглотило меня целиком, как кит Иону.

Олимпиада Алексеевна зажала уши:

— Ах, ради Бога, не надо об этом деле... его слишком, слишком много в этом доме.

Людмила Александровна ответила ей мертвым, потерянным взглядом:

— Что ты хочешь этим сказать?

— Олимпиада Алексеевна права, — вмешалась Елена Львовна. — Я вполне понимаю, что смерть человека, издавна знакомого, да еще такая внезапная — ведь кажется, он еще накануне обедал у вас, господа? — может на некоторое время выбить круг его друзей и знакомых из обычной колеи. Но всякому интересу бывает предел; иначе он переходит уже в болезненную нервность...

— И ее-то вы находите во мне? — засмеялась Верховская, — успокойтесь: дело меня интересует, но не до такой степени, как вы воображаете.

— Ну, это — как тебе сказать? — усомнилась Ратисова. — Оглянись: твой дом полон этим делом; я видела твои газеты; ты отметила в них красным карандашом все, что касается ревизановского убийства. Знакомые приезжают к вам словно для того только, чтобы говорить о Ревизанове; о чем бы ни начался разговор, ты в конце концов сводишь его к этой ужасной теме.

Людмила Александровна спокойно возразила:

— Однако сейчас свела его ты, а не я. А интересом к этому делу меня заразил Петр Дмитриевич. Сам же он, на первых шагах, все советовался со мною.

— Что правда, то правда, — слегка смутился Синев.

«Эта толстая Олимпиада, в сущности, права, — размышлял Сердецкий, едучи от Верховских к себе на Девичье поле. — Ревизановского убийства слишком много в доме моих славных Верховских. Не знаю, какое отношение могут они иметь к этому грустному событию, но какое-то есть. Так подробно

и постоянно не интересуются совершенно чужим делом. Людмила Александровна как будто что-то знает и скрывает... Что же, однако?»

И Сердецкий, наедине с самим собою, расхохотался:

— Уж не она ли, эта таинственная незнакомка, этот bravo в юбке, как пишут в газетах?.. Ха-ха-ха!.. Вот была бы история!.. и — главное — как это на нее, прелестную мою, похоже! Придет же в голову такая нелепость... хотя бы даже и в шутку. Но что-то она прячет в себе — прячет от всех, даже... даже от меня. И что-то тяжелое, скверное, ядовитое... Жаль ее, бедную, жаль!.. Эх, судьба, судьба!.. В подобные минуты мне как-то особенно грустно, что она развела нас с такою обидною бестолковостью. Как-то кажется: вот была бы Людмила моею,— ничего бы дурного и грустного и не было... А ведь — как знать? Может быть, и еще хуже было бы. Самоуверенничать-то нечего... Молчи, старик, притихни!.. Эх-эх-эх! когда же я, старый черт, любить-то ее перестану?

XXVIII

Дни бежали. Елена Львовна уехала обратно в деревню, не добившись толку от племянницы и простясь с нею за это довольно холодно. Людмила Александровна чувствовала за собою вину — видела, что тетка ждет от нее откровенности, но правды открыть, конечно, не могла, а солгать не умела.

— Что мне выдумать на себя? что ей сказать?— металась она.— Любовь, что ли, какую-нибудь сочинить... Да ведь не выйдет ничего: она всю жизнь читала в моей душе, как в книге,— сразу заметит, что я обманываю.

Провожая Елену Львовну на вокзал, Верховская все как будто порывалась заговорить с нею о чем-то, но всякий раз смущенно осекалась на первом же слове, так что старуха, утомленная ее нервною суетливостью, под конец прикрикнула на нее:

— Да будет тебе корчиться, как береста на огне! Ну — не удостоена твоим доверием, прячешь от меня что-то, и не надо мне твоих секретов. Молчи! и — главное — не терзайся, пожалуйста, из-за этого угрызениями совести... Этакая мнительная женщина: просто смотреть досадно!

— Да нет, я ничего, я ничего...— забормотала Верховская.

— Только смотри, Людмила!— строго продолжала Елена Львовна,— в тайны твои лезть я не хочу — секретничай, пожалуй. Но — раз ты прячешь их от меня, нехороши, должно быть, твои тайны! Так помни: если я, помимо тебя, узнаю что-нибудь темное, нехорошее — помни, не прощу. Ты что-то дуришь! Опомнись, возьми себя в руки,— не для себя ведь живешь... уже не молоденькая... уже у тебя муж, дети.

Верховская отвечала тетке какою-то жалкою улыбкою.

— Да, да... муж, дети... не беспокойтесь за меня, тетя: это я помню хорошо, всегда помню. А что вы думаете, будто я не откровенна с вами,— не стану спорить: может быть, сознаюсь, есть немножко... Но теперь еще рано, а когда будет можно, я вам все сама скажу — как в детстве... помните?

«Так и есть: любовник и собирается расходиться с мужем»,— мелькнуло в голове Елены Львовны. Взгляд ее стал еще строже. Она пожевала губами и сухо сказала:

— Хорошо, я буду ждать. Что же? Ведь не в последний раз видимся...

«Нет, нет,— думала Людмила Александровна, возвращаясь домой.— Мы именно в последний раз виделись. Веревка лопнула — ее не связать без узла. Прощай, моя дорогая тетя! Я тебя потеряла... и так, человека за человеком, растеряю всех, всех...»

Когда Аркадию Николаевичу Сердецкому хотелось хорошо и много работать, он уезжал из Москвы к кому-либо из своих деревенских друзей и там — «вдали от шума городского и от вседневной суеты» — писал по целым дням, пока не сходил с него трудовой стих. Теперь ему оказывала гостеприимство старуха Алимова. Он жил в ее имении уже третью неделю. Первый вопрос его возвратившейся хозяйке был о Людмиле Александровне. Алимова только рукою махнула. Аркадий Николаевич омрачился.

— И по-прежнему этот неестественный интерес к ревизановскому делу?

— Представьте, да.

— Раздражение против Петра Дмитриевича, ссоры с детьми и мужем?

— Да, да, да.

— Гм...

Аркадий Николаевич долго ходил по комнате, теребя свои густые седины. А Елена Львовна говорила:

— Уж позвольте быть с вами откровенною. Покаюсь вам: никогда я не имела о Людмиле дурных мыслей, а сейчас начинаю подозревать,— не закружил ли ее какой-нибудь франт? Знаете; седина в голову — бес в ребро.

Сердецкий молчал.

— Только — при чем тут ревизановское дело?— продолжала Алимова,— ума не приложу. А есть у нее какой-то осадок в душе от этой проклятой истории — это вы правы: есть. И много тут странностей. Представьте вы себе: когда она гостила у меня в деревне — хоть бы словом обмолвилась, что Ревизанов возобновил с ними знакомство, обедал у них и у Ратисовой... Затем... не следовало бы рассказывать,— ну, да вы свой человек, вы, после меня, любите Милочку больше всех... Так уж я вам все, как попу на духу... Синев Петя уверяет, будто Людмила выехала ко мне пятого числа, то есть накануне дня, как был убит тот несчастный; между тем у меня в календаре приезд ее записан под шестым... я отлично помню.

— Все врут календари!— насильственно улыбнулся Сердецкий.

Совпадение этого обстоятельства с его подозрениями озадачило его. Старуха энергически потрясла головою:

— Нет, мой не врет. Вы знаете, как я аккуратна.

— Но в таком случае... Людмила Александровна либо почему-то ехала к вам, вместо четырех часов, целые сутки, либо провела эти сутки неизвестно где?

— Выходит, что так....

— Вы не пробовали спрашивать ее об этом?

— Нет.

— Почему?

Елена Львовна опустила глаза.

— Страшно, Аркадий Николаевич,— сказала же я вам. А вдруг она ответит что-нибудь такое... Каково будет слушать мне, старухе? Ведь она мне не чужая.

Сердецкий вздохнул и почесал себе переносье.

— В делах, подобных ревизановскому,— начал он,— мне всегда страшно одно: судебная ошибка... чтобы не пострадал невинный человек. Эта Леони... камелия эта, арестованная сначала... какой опасности она подвергалась!

Елена Львовна зорко смотрела на него.

— Но ведь ее выпустили,— сухо сказала она,— что же ее жалеть?

— Дело не кончено. Не Леони, так другую заподозрят...

— Аркадий Николаевич! Да ведь надо же найти наконец, кто виноват?!

Сердецкий долго молчал и наконец, глядя в другую сторону, отозвался глухим голосом:

— Да, Елена Львовна! надо найти, кто виноват! И меня изумляет и огорчает: зачем Людмила Александровна не хочет помочь этим поискам?

Елена Львовна шумно поднялась с места.

— Людмила?!

— Да, да, Людмила, десять, сто, тысячу раз Людмила,— раздраженно заторопился Сердецкий.

— Вы... вы думаете...

— Я ничего не думаю,— остановил ее литератор,— я только пробую разные предположения, строю хоть сколько-нибудь возможные системы... Ревизанов когда-то считался женихом Людмилы Александровны... Скажите, Елена Львовна, не обижаясь напросно за нашу общую любимицу: вы не думаете, что старая любовь не ржавеет? и что... тьфу, черт! как трудно говорить о подобных вещах, когда дело касается близкого человека...

— Я понимаю вас, Аркадий Николаевич,— печально сказала Елена Львовна.— Но — нет! Ревизанов был слишком противен Людмиле, она его ненавидела...

— Вот именно, как вы изволили выразиться, он был ей уж как-то с л и ш к о м противен, точно напоказ... Под такою откровенною ненавистью очень часто таится скрытая влюбленность... А ведь покойный был — надо же признаться — мужчина обаятельный и, кроме того, нахал великий: обстоятельство весьма важное. Дон-Жуаны его типа видят женщину насквозь и показных ненавистей не боятся. Они умеют ловить момент. Сейчас — негодяй! мерзавец! презренный! А через минуту — случится чувственный порыв да подвернулись своевременно мужские объятия, дерзкие, безудержные,— глядь, вот тебе на! и уже не негодяй, а милый, хороший, прекрасный...

— Следовательно, по вашему мнению...

— По моему мнению, Ревизанов увлек Людмилу Александровну; между ними, вероятно, были свидания; и... и тогда объясняется, где провела она свои таинственные

сутки, когда ее не было ни дома, ни у вас в деревне...

Елена Львовна сурово молчала.

— Не похоже все это на Людмилу,— сказала она наконец тихо, с сомнением в голосе.

Литератор пожал плечами:

— А между тем все данные говорят за мое предположение. И ее таинственное исчезновение, и этот посмертный интерес к человеку, которого она будто бы ненавидела, и удрученное состояние, небывалая замкнутость в самой себе, очень похожая на раскаяние, на поздние угрызения совести...

Елена Львовна вздрогнула.

— В чем? — быстро вскрикнула она, бледнея.

Сердецкий, не глядя, ответил странным, протяжным голосом:

— Как в чем? Да разве может легко отозваться падение на такой женщине, как Людмила Александровна?

У Елены Львовны отлегло от сердца, и краска возвратилась на лицо ее.

— Да... вы вот о чем,— пролепетала она.

А он говорил, делая вид, что не замечает ее волнения.

— Сдается мне, что они — Ревизанов и Людмила Александровна — виделись в ночь пред тем, как этот несчастный был зарезан...

— Но ведь в таком случае...— вскричала Елена Львовна.

— Что? — холодно спросил Сердецкий.

— В таком случае,— пролепетала Алимова,— ее могут... тоже... подозревать...

Длилось долгое молчание, прежде чем Сердецкий заговорил снова.

— Подозревать Людмилу Александровну в убийстве Ревизанова,— сказал он решительно,— конечно, бессмысленно. Я думаю проще. В вечер перед убийством она имела с ним свидание...

— Когда? Официант Иоган служил ему, и он был один еще в двенадцатом часу ночи.

— Разве не приезжают на свидания и позже двенадцати часов? Они расстались, Людмила поехала в деревню к вам, а Ревизанов был тою же ночью зарезан.

— Кем, Аркадий Николаевич? кем? Ведь уже установлено, что убийца — дама!

— Господи помилуй! Установлено... Да кто же это устано-

вил? Непогрешимые какие!.. Потому что дама была у Ревизанова в ночь его смерти,— так дама и зарезала его непременно? А если дама эта ушла, да не затворила за собой дверей, да, вместо нее, вошел первый попавшийся лакей или жилец гостиницы и покончил с Андреем Яковлевичем?.. Ведь даже трудно установить, был он ограблен или нет... Почем знать, сколько было у него денег с собою?.. А разве уж обязательно: если убийство с грабежом, то вор должен обобрать с жертвы все деньги, часы, цепочку, перстни? Зачем? Цапнул из бумажника несколько пачек кредиток — и готово: обеспечен на всю жизнь, только беги да не попадайся. Нет, что Людмила Александровна причастна к смерти Ревизанова,— этому я не верю и этого не предполагаю. Но что она была с ним в близких отношениях и могла бы лучше, чем кто-либо, одна она могла бы дать сведения о его предсмертных часах и, таким образом, бросить хоть слабый луч света на это темное дело — вот в чем я, наоборот, почти уверен.

Елена Львовна сидела, нерешительно разводя руками.

— Не могу поверить, не могу вообразить... Связь, возобновленная после восемнадцати лет... и если бы вы знали, как резко была она порвана, при каких тяжелых обстоятельствах! Если Людмила когда-либо кого ненавидела, так это именно покойного, и имела основание: он стоил ненависти, потому что поступил с нею очень гнусно...

— «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей»... Забыли?

— Да и ему-то что за неволя была за нею гоняться? Он — избалованный Дон-Жуан, а она уже не первой молодости...

— А прихоть? Да и что вы говорите: избалованный... не первой молодости. Людмила до сих пор красавица — на какой угодно избалованный вкус. А этих пресыщенных прихотников я знаю. Подобный господин способен преследовать женщину даже без всякой любви, а просто потому, что вот оригинально: потому, что она Верховская, что у нее чудная репутация, прекрасные взрослые дети, что она не имеет и никогда не имела любовника, и есть свинское блаженство осквернить все это, растоптать, залить грязью...

— Не верю, Аркадий Николаевич... Представить себе не могу.

Оба замолчали.

— А впрочем,— тяжело вздохнула Алимова,— все бы-

вает... все! враг горами качает. У меня-то, пожалуй, больше, чем у всех других, оснований поверить вашему объяснению. Может быть, и так в самом деле: и впрямь согрешила, а теперь казнится... Эх, горе, горе, горе — слабость наша женская!

XXIX

Олимпиада Александровна Ратисова сильно закружилась в зимнем сезоне. Судьба ниспослала веселой грешнице в дар какого-то необыкновенно лохматого пианиста, одаренного, как говорили знатоки, великим музыкальным талантом, но еще большим — пить шампанское, по востребованию, когда и сколько угодно, оставаясь, что называется, ни в одном глазу. Как ни вынослив был злополучный Иосаф, однако на этот раз не выдержал: супруга афишировала свой новый роман уж слишком откровенно. Он сделал Олимпиаде Алексеевне страшную сцену, на которую в ответ, кроме хохота, ничего получить не удостоился — и уехал в самарское имение дуться на жену... По отъезде мужа Олимпиада совсем сорвалась с цепи: к пианисту она скоро охладела, но его заменил скрипач; скрипача — присяжный поверенный; поверенного — молодой, входящий в моду, женский врач...

— Как хотите, тетушка, а это уж слишком! — возмущался ее подвигами Синев, с которым она откровенничала по-прежнему.— Ну, пошалили,— и будет! Надо же когда-нибудь и честь знать.

Ратисова лукаво смотрела на него:

— А зачем?

— Как зачем?..

— Да так: вот ответь мне, пожалуйста, прямо и определенно: зачем мне твою честь знать?

— Да не мою, а вашу — свою собственную!

— Эва! А ты слыхал Пашу-цыганку?

— Ну-с?

— Так у нее песенка была:

> Кому какое дело,
> Что с кумом я сидела?
> Ну, кому какое дело
> До чужого тела?!

— Но, помилуйте... ведь про вас весь город кричит...

— И пусть кричит. Если кричит, значит, у него есть голос. Ему же лучше.

— Да ведь Мессалиною вас ругают.

— «Лавры Мессалины не давали ей спать!» — комически декламировала Олимпиада Алексеевна.

— Черт знает что такое,— рассердился Синев,— эдакого прямолинейного беспутства я и не видывал!

— А ты моралист, моралист, моралист!— хохотала Ратисова,— и это идет к тебе, как к корове седло... Пей-ка лучше вино да благодари своего ангела, что я тебя еще не запутала, аскет ты лицемерный, самозваный святой!

— Ну, уж это вы — ах, оставьте! Я не из вашей оперы...

— Ой ли?

— Верно-с.

— Ах, Петька, Петька!..

— Нечего дразнить. Не воображайте себя всемирною победительницею.

— Ишь самомненьище-то какое! думает, что надо быть всемирною победительницею, чтобы увлечь его — великого и остроумнейшего в мире следователя Синева. Ну, а вот такую другую руку ты видел когда-нибудь?

— Ммм...

— Хороша?

— Сами знаете, что хороша,— лучше не бывает. Чего же спрашивать?

— Ага! А у меня, по милости Божией, их две!.. И красивее их — ты верно говоришь — нет во всей Москве. И — вот, если придет мне фантазия, да сейчас, на этом самом месте, я брошусь тебе на шею и обойму тебя этими руками,— что же, ты Иосифа прекрасного будешь разыгрывать?..

— Ммм...

— То-то «ммм»... Помычи, помычи! это иногда у вас, мужчин, выходит умнее и выразительнее, чем все ваше мудрые речи... Следовательно, не смей читать мне нотации и молись всем угодникам, чтобы в меня не влюбиться... Si tu ne m'aimes ras, je t'aite; mais si je t'aime, prends gardeá toi![1] Так и знай: влюбишься — измучу!

Людмила Александровна тоже пробовала выговаривать

[1] Даже если ты меня не любишь, тебя люблю я, и, если я люблю тебя, берегись! *(фр.)*

разнуздавшейся красавице, но Олимпиада Алексеевна с умоляющим видом сложила руки:

— Милочка! Не суди, да не судима будешь...

Верховская вздрогнула, а Олимпиада продолжала:

— Ну — что? Кому надо? Ведь это последнее племя: доживаю свой век. Доживу — и кончено. Уйду в благотворительность, что ли, стану дамою-патронессою, в монастыри буду вклады делать, возду́хи вышивать. Такое лицемерие на себя напущу — чертям тошно будет. Знаешь поговорку: «Когда черт стареет, он идет в монахи». Так и я. И — среди святой жизни — много-много, что припасу себе где-нибудь за границею какого-нибудь тореадора! Одного — всего одного! Экономического по состоянию: тогда ведь это будет уже денег стоить...

После столь бесплодного разговора, к общему удивлению, Людмила Александровна, обыкновенно крайне строгая к похождениям своей подруги, теперь, когда похождения эти превысили последнюю меру терпимости, не осуждала ее ни одним словом и даже останавливала, когда на Ратисову принимались негодовать Синев или Степан Ильич.

— Оставьте Липу в покое. Ведь не переделаете вы ее. Не врождено ей быть — как это у Пушкина-то? — «мужу верною супругою и добродетельною матерью». А раз не врождено — не научите. Против натуры не пойдешь.

— Милочка! да ведь безобразно, скверно, бессовестно... Совесть в ней, совесть пробудить надо! — волновался Степан Ильич.

— Совесть? — тоскливо возразила Людмила Александровна.— А какая польза будет, если в ней проснется совесть? Теперь она весела, счастлива, довольна, а тогда — одною унылою и печальною Магдалиною будет больше в Москве — только и всего...

— Людмила Александровна! — воскликнул удивленный Синев,— что это вы? с подобными парадоксами можно, извините меня, черт знает, куда уйти... Если сегодня хорошо, чтобы совесть спала, то завтра, пожалуй, покажется еще лучше, чтобы ее вовсе не было.

Людмила Александровна гневно оборвала его:

— Не мне отрицать совесть, Петр Дмитриевич. Я всю жизнь прожила по совести. Вы приписываете мне мысли, которых я не имела. Я сказала только, что когда у кого совесть не чиста, то счастлив он, если ее не чувствует.

Вот что. И если совесть грызет душу, я... не знаю... мне кажется... можно пуститься на что хотите — на пьянство, на разврат, только бы не слыхать ее, только бы забыться. Липа — счастливица. Она грешит, даже не подозревая, что она грешница. Ну, и оставьте ее. Это ей надо для ее счастья,— пусть будет счастлива...

— Помилуйте, Людмила Александровна. По вашей логике — другому понадобится для того, чтобы чувствовать себя счастливым, людей убивать... что же? пусть убивает?

Людмила Александровна, с гневною морщинкою на лбу, сделала резкое движение.

— Убивать, убивать — все убивать!..— пренебрежительно сказала она,— как вы скучны с вашими убийствами, Петр Дмитриевич!.. Вы не умеете спорить иначе, как ударяясь в крайности, на которые сразу не найдешься, что отвечать...

XXX

Аркадий Николаевич, у себя в домике на Девичьем поле, читал присланную ему из типографии корректуру... Было уже около полуночи, когда ему послышался звонок. Он отворил дверь кабинета:

— Телеграмма?

И отступил в удивлении: пред ним стояла Людмила Александровна.

— Простите... я на минутку...— отрывисто сказала она,— я... не буду мешать... сейчас уйду...

— Бог с вами, Людмила Александровна! — вскричал Сердецкий,— как вы можете мне мешать?! Я Бог знает как рад, что вам пришло в голову навестить меня, отшельника. Я только не ждал вас в такую позднюю пору — оттого, может быть, и сделал большие глаза... Присаживайтесь к столику, я угощу вас чаем... Ну-с? как ребята, Степан Ильич? все благополучно?

Людмила Александровна не отвечала. Она глядела на Сердецкого в упор, но как будто не на него, а дальше его, сквозь него. На ней лица не было. Сердецкий пригляделся к ней и замолк. Сердце у него екнуло: он понял, что Людмила Александровна пришла к нему неспроста... И оба они молчали — одна бессильная начать речь, другой и выжидая, и боясь: что-то она ему скажет?

И вот Людмила Александровна решительно подняла голову и — уставясь в Сердецкого блестящими глазами, ярко засверкавшими на белом, как мел, лице,— произнесла тихо, ясно и отчетливо:

— Я пришла к вам, потому что мне больше не к кому было идти, а оставаться одной стало не под силу. Поискала кругом: всех либо ненавижу, либо боюсь... Всех растеряла, все — далеки. И Степан, и дети, и тетя Елена — все... Вы один остались как-то не чужой мне... Вот и пришла... Послушайте...

Она задохнулась и долго боролась с удушьем, стиснувшим ей горло. Потом, с новым усилием, выговорила:

— Послушайте... это я убила Ревизанова... тогда... в ночь с пятого на шестое... Да... Дайте мне воды!.. ради Бога, скорее!..

Расплескивая воду, она поднесла стакан к губам. Сердецкий, побледнев больше ее самой, скорбно стоял перед нею, сложив руки, точно на молитву, тряся своею серебряною сединою.

— Я знал это,— шептал он.— Я чувствовал, предполагал что-нибудь в этом роде... Ах, несчастная, несчастная!

Верховская продолжала:

— Он... мучил меня... издевался надо мною... грозил мне нашею прошлою любовью. Ведь я, Аркадий Николаевич, была его, совсем его!.. Помните, как я спрашивала вас, что делать человеку, когда заведется у него мучительная тайна?.. Вот какая моя тайна была!.. Он хотел, чтобы я его опять любила... была рабой... он Ми... Митю своим сыном хотел объ... объявить... у него письма были... доказательства. Я не стерпела... вот... убила... вот... вот... и... и не знаю, что теперь делать с собою?

— Несчастная, несчастная!— полусознательно повторил Аркадий Николаевич.

— Не знаю, что делать, не знаю... Думаю и ничего не могу придумать... Ах! — она схватилась за голову.— Что тут выдумаешь, когда, рядом с каждой мыслью, поднимаются образы этой ночи... Там... красная комната, а он на ковре, бледный, холодный, а на лице — вопрос... Не узнал смерти... не понял, что умирает... О, подлец, подлец! Как он меня позорил!

Испуганный ее безумным взором, Сердецкий порывисто взял ее за руки и усадил в кресло.

— Не смотрите так, Людмила. Что вы видите? Что вам чудится?

— Нет, вы не бойтесь,— искусственно улыбнулась она, и страшна вышла ее улыбка: — я не галлюцинатка... до этого еще не дошла,— Бог милует... У меня только мысль больная, память больная... Помнится, думается,— ни на минуту не отпускает меня...

— Чуяло мое сердце недоброе,— сказал Аркадий Николаевич голосом, в котором трепетали слезы,— ждал я беды, только все же не такой!.. Господи! Что же это? гром на голову! с ясного неба гром... Милочка! Милочка! что вы, бедная, с собою сделали?!

Она его не слушала. Порыв долго замкнутого чувства не знал удержу и выливался в быстрой, отрывистой речи, как река, сломавшая плотину.

— Я убить себя хотела... Хотела пойти к Синеву, во всем признаться... жалко! детей жалко... я их от позора спасти хотела, а вместо того вдвое опозорила! Дети убийцы!.. Когда я стояла там — у трупа... О, друг мой... последний друг! Если бы я могла ценой своей жизни возвратить жизнь ему... моему врагу... я не отступила бы перед жертвой. Страшен был позор, но лучше бы мне перенести десять новых посмеяний, лишь бы не убивать: вы — художник, писатель — вы даже не подозреваете, как это ужасно — убить человека. Я поняла проклятие Каина, я несу его на себе... я... я всех людей боюсь, Аркадий Николаевич! Я... даже вас боюсь в эту минуту.— И она бросилась к нему, хватая его за руки.— Друг мой! я вам все сказала честно, как брату... Помните же! Я вам верю — и вы будьте мне верны до конца. Не выдавайте меня!

Она металась, как плотица на крючке, выброшенная на береговой песок.

— Бог с вами, несчастная! — успокаивал Сердецкий, тронутый, расстроенный, силясь снова усадить ее,— мне ли выдавать вас — мое дитя, мое сокровище?.. мою единую, единую любимую за всю жизнь? Ох, горько, страшно горько мне, Людмила!

— Этот Синев...— шептала Людмила Александровна,— вы замечаете? он недаром так много разговаривает со мною о ревизановском деле, он что-нибудь пронюхал... ищейка... Я его ненавижу, Аркадий Николаевич!

— Ничего он не знает и не узнает... вы вне подозрений, Людмила! Кроме совести и Бога, у вас не будет судей...

— Я его ненавижу,— решительно возразила она.— Он слишком близок к этому делу. Я знаю, что он ничем не виноват предо мною, но он — моя судьба, слепая, неумолимая, и я его ненавижу. Когда он бывает умен, красноречив, я холодею от ужаса перед ним: он кажется мне слишком светлою головою, чтобы не разобраться в моем деле. Порою, особенно если он заводит речь о своих следственных хитростях, он падает в моих глазах, представляется мне близоруким, тупым, пошлым, смешно самоуверенным человеком, и я презираю его, а все-таки боюсь!

— Вы, как вошли, сейчас же сказали мне,— начал Аркадий Николаевич после долгого размышления,— что все вам чужие, всех вы либо ненавидите, либо боитесь, то есть, значит, опять-таки ненавидите... Господи! как это развилось у вас, прежде такой многолюбивой? когда успело? откуда взялось?!

— Откуда? — Людмила Александровна болезненно улыбнулась, точно на детский вопрос.

— Относительно Синева — куда ни шло, я, пожалуй, еще понимаю ваши чувства. Он, хоть и невольно, и слепо, все же держит в своих руках вашу судьбу... Но ваши домашние? дети? Неужели и к ним у вас то же печальное отношение? Они все жалуются, что вы страшно изменились к ним.

— Дети...— горько отозвалась Верховская,— дети! Ах, Аркадий Николаевич! дети — горе мое. Для них я все это сделала. Хотела оставить им чистое, как хрусталь, имя... а теперь, после этого дела... я разлюбила детей, друг мой!

— Разлюбила детей? да как же? за что?

— Ах, друг мой! больно мне... Ведь я для них больше чем кусок живого мяса из груди вырезала, я всю себя, как ножом, испластала. Душа болит, сердце болит, тело болит... мочи нет терпеть!.. Тоска, страх, боль эта — свет мне застят. Я вижу то, чего нет, а того, что есть, не вижу... Перестала удовлетворять меня семья; жалко найденное в ней счастье. А ведь, спасая это мизерное счастье, я и погубила себя... Стоило, нечего сказать!

— Вы несправедливы к семье, Людмила.

— Может быть. Они здоровы, я больная... Когда же больные бывают справедливы к здоровым? Я завидую им, завидую Степану Ильичу, завидую Синеву, вам... Счастливые, спокойные люди с чистой совестью! Вы хорошо спите ночью, вы не подозреваете врага в каждом человеке, не ищете полицейских крючков в каждом вопросе... Злюсь — говорят:

«У тебя характер испортился... ты несносна»... Да, и злюсь, и испортился характер, и несносна! Но ведь... если бы они знали и поняли мою жертву — они бы должны были ноги целовать у меня!..

— А вы решились бы сказать им? — холодно и строго спросил Аркадий Николаевич. Она поспешно и испуганно вскрикнула:

— Никогда!

— На что же вы жалуетесь, в таком случае?

— Я знаю, что не имею права жаловаться,— но разве измученный человек заботится о правах? Одна я, Аркадий Николаевич,— одна, в то время как мне много любви надо, чтобы хоть как-нибудь жить,— одна я пропаду без любви. Я привыкла много любить и быть любимой; в том и жизнь свою полагала. А вот теперь, когда мне нужна любовь, я одна... Тяжко, горько, обидно!

XXXI

Она поникла головою; потом встрепенулась и снова заговорила:

— Слушайте!.. может быть, ужасно, что мне так тяжелы люди, но ведь я начала ненавидеть свою не с них, а с себя самой. Я возненавидела себя уже пред убийством, потому что пошла на сделку с Ревизановым — все равно что стала продажною женщиной; возненавидела еще больше после убийства, потому стала подлою: струсила, не решилась понести за свой грех заслуженную кару, личным благополучием заплатить за свое искупление. Под этим двойным упреком я невыносимо страдала. Бывали минуты, когда мои нравственные терзания — казалось мне — превышали меру заслуженного возмездия, и мне становилось жаль себя, и моя ненависть к себе незаметно переходила на других. Первым ее предметом — вы знаете почему — оказался Синев. Мало-помалу я стала так же враждебно относиться почти ко всем. Помимо моей все возраставшей подозрительности, мне сделалось уже недостаточным мое «семейное счастье». Лишь во имя его я совершила грех и приняла на себя казнь. Раз оно — вся награда моих страданий, оно должно быть полною наградой. Каждый недочет в семейных отношениях, которого прежде я и не заметила бы, теперь ножом вонзается в мое сердце. Если

муж приходит домой не в духе, дети менее ласковы, чем обыкновенно,— моя болезненная чувствительность подсказывает мне в таких случаях крайне тонкие, иной раз, может быть, и небывалые оттенки,— меня осаждают беспокойные мысли: что же это? Как все скучно, грязно, неблагодарно... И такою-то я должна принимать жизнь? и это-то я предпочла всеискупляющей смерти? Нечего сказать, стоило! Сперва я сдерживалась. Потом стала высказываться. Но... я не смею выяснить вслух общую причину моего раздражения, поводы же, конечно, всегда пустяковые — какие подскажет хозяйство, неудачная отметка в балльнике Мити или дочерей... Гнев по домашним поводам — всегда гнев из-за придирок. Я вам расскажу... Неделю тому назад — я сделала дома сцену... самую резкую из всех, какие были. Началось по ничтожному случаю: Митя без спросу налил себе стакан вина за ужином и довольно резко ответил мне,— когда я ему заметила это,— что он уж, видите ли, не маленький. Синев у нас ужинал, стал заступаться за Митю... Я вспыхнула... чего я не наговорила, чего не накричала?.. Ужас, отвратительно!

Она закрыла лицо руками.

— Ну, да что уж... Горькие слова, сказанные мною Синеву, мужу и детям, до сих пор в моей памяти. Обыкновенно, после каждой вспышки, мною овладевал стыд за свое поведение. В этот же раз — нет; озлобление не улеглось. С ним легла я в постель, с ним проснулась на другой день, с ним, как с тяжелым камнем на сердце, прожила целую неделю. Сегодня вечером Синев рассматривал, от нечего делать, альбом с нашими семейными фотографиями. «Славная эта ваша группа с детками!» — заметил он. Я взглянула, сказала «да» — и вдруг... в то самое время, Аркадий Николаевич, в то самое время, как я с материнской нежностью в глазах, с ласковой улыбкою на губах,— любящею мамашею напоказ,— произнесла это «да»,— в то время, как в соседней комнате раздавались смех и говор детей, которые улыбались мне с портрета,— в душе моей вихрем пронеслась мысль: «А! они счастливы, неблагодарные! они болтают, смеются, они — чужие мукам моей совести... А за них-то я и осудила себя на муки, для них и живу хуже, чем в каторге. Неблагодарные! будь они прокляты!» И, вслед за этим позорным проклятием моим, у меня оборвалось сердце. Я поняла, что для меня все кончено, что я изжила свою жизнь. Раз я узнала ненависть

даже к детям,— к ним, которые недавно были мне неизмеримо дороже самой себя,— незачем и бременить собою землю. Надо уйти с нее... А умирать не хочется, Аркадий Николаевич! Жизнь, хоть жизнь раздавленного червяка, все же лучше могильного мрака... О, как темно там, холодно, страшно... полно неизвестности!

Она умолкла. Потом пристально, с вызовом, взглянула на Сердецкого:

— Теперь вы знаете все... судите меня... кляните!..

— Полно вам, Людмила Александровна,— грустно отозвался Сердецкий,— где мне судить, за что клясть? Дело ваше ужасно, но судьею вашим я быть не могу. Я вас слишком давно и слишком крепко люблю! Жалеть да молчать — вот что мне осталось.

— А мне?

Он молчал, безнадежно разводя руками.

— Да не умирать же мне... не умирать же, в самом деле!— раздирающим криком вырвалось у нее.

Он молчал. Верховская с горечью отвернулась от него.

— Я пришла к вам... к другу, сердцеведу, писателю, потому что сама не знаю, что мне с собою сделать. Я на вас надеялась, что вы мне подскажете... А вы...— Она гневно закусила губу.

— Молитесь! — глухо сказал Сердецкий. Людмила Александровна отчаянно мотнула головою.

— А! молилась я!.. Еще страшнее стало... «Не убий!» — забыли вы, Аркадий Николаевич?

Она опустила вуаль — потом опять ее подняла и подошла к Сердецкому:

— Больше вы ничего мне не скажете?

— Ах, Людмила!..

— Послушайте...— глаза ее чудно блистали,— пускай я буду гадкая, ужасная, но ведь имела я, имела право убить его? ведь...

Аркадий Николаевич прямо взглянул ей в глаза и твердо ответил:

— Да, имели.

Она — как под внезапною волною счастья — пошатнулась, выпрямилась, согнулась, выпрямилась, вертела пред собою беспорядочными руками, красная лицом, сверкающая восторгом нечаянной радости:

— А... Благодарю вас... благодарю...

Сердецкий шептал:

— Одним вы виноваты предо мною: зачем молчали? Об одном жалею, что вы это сделали, а не я за вас.

Она приблизилась к нему — грустная, робкая, нежная, стыдливая.

— Я, может быть, противна вам?.. А, не перебивайте, я понимаю это... Это не от вас зависит, это инстинктивно бывает... ведь кровь на мне... Но вы не презираете меня — нет? не правда ли?

Он просто ответил:

— Я вас люблю, как любил всю жизнь.

Людмила Александровна печально усмехнулась:

— Да, всю жизнь... А знаете ли? ведь и я вас любила когда-то... Да!.. О, глупая, глупая! Может быть — если бы... а! что толковать! Снявши голову, по волосам не плачут. Она взяла Сердецкого за голову и поцеловала его в губы.

— Это в первый и последний раз между нами, голубчик,— сказала она и смеясь, и плача.— Прощайте. Это вам — от покойницы. И больше меня не любите: не сто́ю!

Встревоженный Сердецкий бросился вслед за Людмилой Александровной.

— Что вы хотите сделать с собою?

Она остановилась:

— Не бойтесь за меня. Говорят вам: я не хочу умирать — боюсь. Я буду цепляться за жизнь, пока можно... А какими средствами? — не все ли равно, не все ли равно?

XXXII

Степан Ильич Верховский просто не знал, что думать о своей жене. Его всегдашняя антипатия к Олимпиаде Алексеевне Ратисовой выросла более чем когда-либо. Между тем Людмила Александровна, словно назло, сходилась с нею — день ото дня — все теснее и теснее. Точно повторялись детские годы, когда Липа Станищева безраздельно командовала Милочкой Рахмановой. Степан Ильич хмурился, дулся, готовился вмешаться, однако его останавливало пока одно обстоятельство: в постоянном обществе жизнерадостной грешницы Людмила Александровна как будто ожила и повеселела... Стоило ей нахмуриться, Липа тормошила ее:

— «Что так задумчива, что так печальна»? Опять кис-

нешь? Жаль. Право, мне тебя жаль. Годы наши не девичьи, летят быстро. Чуточку еще — и старость. А ты теряешь золотое время на хандру... есть ли смысл? С самого утра хоть бы разок улыбнулась! Что это? Кого собираешься хоронить?

— Себя, Липа,— мрачно возразила Верховская.

Олимпиада Алексеевна залилась хохотом:

— Ой, как страшно! Что же? тебе в нощи видение было? Это случается.

Верховская вздохнула:

— Да, видение... тяжелый, ужасный сон...

— Объелась на ночь, вот и все,— практически решила Ратисова.— Я тяжелые сны только на маслянице вижу, после блинов, а то все веселые. Будто я Перикола, а Пикилло — Мазини. Будто в меня Пушкинский монумент влюблен,— что-нибудь эдакое. Тебя проветрить надо. Ты дома засиделась. Я из тебя живо вытрясу хандру. Ты на жизнь-то полегче гляди. Что серьезиться? Все трын-трава.

— Трын-трава? — качая головою, улыбалась Людмила Александровна.

— Уж поверь мне. Видала ты меня печальною? Никогда. Злая бываю, а грустить — была охота! С какой стати? Разве у нас какие-нибудь Удольфские тайны на душе, змеи за сердце сосут?

— А если бы... тайны и змеи?

— Я бы их — под сюркуп. Я бы так закружилась, чтобы и подумать о них было некогда. Мало ли веселого дела на свете? Утром — к Мюру и Мерелизу: раз! Потом смотри в афишу: есть в манеже гулянье? На гулянье! Нет? — к Ноеву на каток. За обедом часа три просидела в веселом обществе — глядь, восемь часов! пора в оперетку, либо в оперу. Оттуда на тройке ужинать в Стрельну. Вернулась домой: какие тут тайны и змеи? устала до смерти, стоя спишь, только бы добраться до подушки; от шампанского в голове шумит... Если бы и это не помогло, я бы нового любовника завела, за границу бы поехала с милым дружком — да! Змеи подождали бы, подождали, пока я дамся им на съедение, а потом плюнули бы на меня и уползли...

— Оставив тебя оплеванной? — горько усмехнулась Людмила Александровна.

— Ах, матушка! На всякое чихание не наздравствуешься. Либо жить человеком, либо самоедом... вот как ты теперь на себя напустила. Я уж и то смеялась давеча Петьке Синеву:

что он ищет рукавицы, когда они за пазухой? Приглядись, говорю, к Людмиле: какой тебе еще надо убийцы? Лицо — точно она вот-вот сейчас в семи душах повинится...

Людмила Александровна остановила ее с побелевшим лицом:

— Не шути этим! не шути! не смей шутить!

— Э! от слова не станется! — захохотала веселая дама, но та твердила, как дурочка:

— Не шути! Это... это страшно... Ты не знаешь!

Посмотрела на нее Олимпиада Алексеевна — только головой покачала.

— Эка трагедию ты на себя напустила! Даже по Москве разговор о тебе пошел. Намедни встречаю княгиню Настю Латвину... ну, знаешь ее язычок! Бритва! А что, спрашивает, Липочка: правда это, что ваша приятельница Верховская была влюблена в покойного Ревизанова и теперь облеклась по нем в траур?

Людмилу Александровну так и шатнуло. Искры закружились пред глазами. В ушах зазвенело.

— Я в него? — крикнула она, так что отзвякнули хрустальные подвески на люстре и канделябрах.— В этого... изверга?.. Да как она смела?! Как ты смеешь?!

— Пожалуйста, не кричи,— обиделась Ратисова.— Во-первых, я ничего не смею, а во-вторых... я все смею! не закажешь! Княгине я за тебя отпела, конечно. Ну, а влюбиться в Ревизанова — что тут особенного? Да мне о нем Леони такое порассказала... ну-ну! Я чуть не растаяла — честное слово. И этакого-то милого человека укокошила какая-то дура!.. Не понимаю я этих романических убийств! За что? кому какая корысть? Мужчины хоть и подлецы немножко, а народ хороший. Не будь их на свете, я бы, пожалуй, в монастырь пошла.

XXXIII

На Святках Олимпиада Алексеевна пригласила гостить к себе в подмосковную всю семью Верховских и Синева — в последнее время неразлучного своего спутника.

— Отчего это у Петра Дмитриевича такой сконфуженный вид? — тревожно расспрашивала Людмила Александровна Олимпиаду Алексеевну, летя с нею в быстрых санках

по укатанной дороге от железнодорожной станции к имению Ратисовых.

— А что?

— Да он почему-то сторонится от меня, смотрит как-то смущенно: не то дуется, не то боится.

— И впрямь боится,— весело возразила Олимпиада Алексеевна.— Я тебе скажу, в чем дело. Откровенно говоря, я его, глупого, завертела — вот до сих пор. Он и сторонится от тебя,— боится, что ты догадаешься и намылишь ему хорошенько голову. Уж он просил меня — просил: «Главное, осторожнее с Людмилою Александровною! главное, она не догадалась бы! Если она узнает — другие мне безразличны — но если она — я сгорю от стыда на месте»... А я ему в ответ чувствительную реплику из «Отелло»,— Баттистини:

О, ангел Дездемона,
Любовь мы нашу скроем...

Бесится. «Вам все шутки и смешки, а для меня уважение этой женщины — все равно что собственная совесть».— «Ах, милый друг,— говорю,— все это прекрасно, уважай ее, сколько хочешь, но зачем же от нее — в знак уважения — под куст-то прятаться?»

— Боже мой! И бедный Петя туда же. Да это эпидемия какая-то! — невольно рассмеялась Верховская.— Ты не женщина, Липа, а любовная зараза.

— Поголовная мобилизация, душенька! Пожалуйте, господа мужчины, к отправлению воинской повинности! — самодовольно возразила Ратисова.

— Бедный, бедный Петя! Зачем он тебе понадобился, Липа?

— А так — здорово живешь. Главное: в наказание. Уж очень любит мораль читать... Вот и пусть теперь — что ругал, тому и поработает!.. Знаем мы этих моралистов! Вчера весь вечер валялся в ногах — умолял сказать, что у меня к нему: каприз или страсть до гроба... Ну, как не до гроба! Если бы всех до гроба любить, я уж и не знаю, сколько мне гробов понадобится.

— И весело тебе с ним?

— Когда же мне бывает скучно? Он — ничего, довольно забавный! Хотя ведь это ненадолго: скоро скиснет — чересчур серьезно берет... Удивительный народ русские мужчины! совсем не умеют поддерживать легких отношений. Чуть

интрига затянулась на две недели, уже и бесконечная любовь, и унылое лицо, и ревность, и револьверные разговоры...

— Счастливица ты, Липа!

— А тебе кто мешает быть счастливою? Живи, как я,— и будешь, как я.

— И снов не буду видеть?

— Уж это, матушка, не от нас зависит. Кому как дано.

— А если я именно от снов бегу? Именно снов не хочу больше? То-то вот и есть, Липа... Молчишь? Снов только мертвые не видят.

— Не к ночи будь сказано,— недовольно кивнула ей подруга.— Охота тебе.

— Чем дольше я живу,— рассуждала Людмила Александровна,— тем больше убеждаюсь, что люди клевещут на смерть, когда представляют ее ужасною, жестокою, врагом человека. Жизнь страшна, жизнь свирепа, а смерть — ласковый ангел. Она исцеляет раны и болезни... Она защищает от жизни... Жизнь обвиняет, а она придет — обнимет и простит...

— Ну что уж! — вздохнула Олимпиада.— Известное дело: мертвым телом хоть забор подпирай. Да все-таки что радости? Брось, пожалуйста! Терпеть не могу! Для меня все эти философии в одну песенку укладываются:

Мы пить будем,
Мы гулять будем,
Когда смерть придет,
Помирать будем!

Гуляем, Людмила!

Людмила Александровна засмеялась. Липа зорко взглянула на нее.

— Нечего смеяться. Говорю тебе: вся хандра от черной думы и, стало быть, надо жить так, чтобы времени не было ни для черной, ни для белой думы — и будешь спокойна и довольна... Я не знаю, что с тобою делается, но ты мне не нравишься. Будь моя воля, я бы взяла тебя в руки, смахнула бы с тебя дурь.

— По твоей программе? да, Липа? — перебила Людмила Александровна.— Вечный праздник? — оперетка, Стрельна...

— Да хоть и Стрельна... Вечный праздник, милая, занятнее вечных похорон.

— Электричество, пальмы, цыгане... Ха-ха-ха! С кем же мы будем исполнять твою программу? не вдвоем же, Липа?

— Мало ли знакомых... Петька вон есть налицо... Олина прихватим. Знаешь, приват-доцента этого. Он ведь только притворяется ученым и серьезным, а в душе — ух какой вивер... и ты ему — между нами будь сказано — очень нравишься. А у него есть вкус, у черта. Его три недели Отеро любила.

— Польщена и благодарю. Значит, пожалуй, и роман завести? да, Липа?

— Отчего и романа не завести? При старом муже... разве это грех?

Людмила Александровна перебила ее, все смеясь:

— И за границу уехать с любовником? на воды... или уже прямо в Монте-Карло, к игорному столу? Там впечатления как будто острее — правда?

Олимпиада Алексеевна подозрительно покосилась на нее:

— То есть — убей ты меня, а я ничего не понимаю, что с тобой творится. Так всю и дергает.

Людмила Александровна продолжала с диким экстазом:

— И все забудется? да, Липа? Все? Как водой смоет?

— Чему забываться-то?

— Уж там чему бы ни было!

— Разумеется, забудется. Средство верное, испробованное.

— Ха-ха-ха! Тогда о чем же рассуждать? Руку, Липа! Я твоя по гроб! — как требует от тебя Петя Синев.

— Дуришь ты, Мила. Впрочем, на здоровье: все же лучше дурить, чем киснуть.

Сани летели.

— Липа! — окликнула Людмила Александровна подругу — странным изменившимся голосом.

— Что?

— Тебе никогда не приходило в голову, что все это мерзость?

— Что?

— Что ты мне советуешь.

— Нет... зачем? — искренно удивилась Ратисова.

— Что, может быть, смерть — и та лучше такого забвения?

— Очень мне нужно расстраивать себя пустяками! Мне свое спокойствие и здоровье всего дороже.

— Правда, правда, Липа!.. не думая, лучше... Ха-ха-ха!

Людмила Александровна смеялась всю дорогу, но Олимпиада Алексеевна не вторила ей. Она думала:

«Скажите, как развеселилась! жаль только, веселье-то твое на истерику похоже... Чудновато что-то! Ох уж эти мне нервные натуры! Напустят на себя неопределенность чувств и казнятся. Зачем? Кому надо? Терпеть не могу!»

И вдруг, внезапным вдохновением, осенила ее бабья догадка.

— Мила!

— Ну?

— Ты, может быть, в самом деле, уже... того?

— Что?

— Что! Что! Известно что! Спуталась, что ли, с кем? Так скажи, чем в одиночку казниться-то...

Людмила Александровна долго смотрела на нее, не понимая и стараясь понять, а та говорила:

— Слава Богу, подруги... Ты скажи! Я и посоветую, и помогу. Дело женское... Если и ребенок...

Людмила Александровна наконец поняла ее и захохотала в лицо ей звуком, который смутил бы всякого человека, хоть немного более чуткого, чем Олимпиада: так пусто и дико звенел этот бессознательный, лишенный разума смех.

— Этого еще недоставало! — вырвалось у нее.— Ах, ничтожество!

Олимпиада же самодовольно твердила:

— Все будет шито и крыто. Двух своих мужей водила за нос и чужого могу. Я на секреты не женщина — могила.

Хохот Людмилы Александровны переходил в истерику. Она душила его, уткнувшись в муфту. И сквозь дикие, как икота, вскрики, скользили безумные слова:

— Нет, Липа... Ох, насмешила!.. Нет... Нет... Нет... Спасибо!.. Ты — могила не для меня... Я найду себе другую!.. Ох!.. другую!

В деревне было весело всем, кроме Людмилы Александровны, но она показывала вид, будто ей веселее всех. Много деревенских развлечений перепробовали гости, наконец устроили катанье на коньках. Река Пахра, на которой стоит именье Ратисовых, благодаря запруде, довольно широка и глубока в этом месте. Катались в прекрасный солнечный день. Накануне сильный ветер сдул сухой мелкий снег с поверхности реки, и на далекое пространство легла блестящая ледяная скатерть между белых берегов.

— Направо не забирайте, господа,— там есть полынья! — предупредила Липа,— видите? елочки поставлены.

Саженях в десяти от господ, стояла, опершись на коромысло, худая подщипанная бабенка в синей кофте. Набрав воды в железные ведра, она, с унылым любопытством, глазела на барскую потеху.

— Где это — полынья? там, где баба с ведрами? — спросил кто-то.

— Нет, то прорубь.

И вот Людмила Александровна летит по катку. Давно уже опередила она всю свою компанию, далеко за ней слышатся крики и смех безуспешно догоняющих ее друзей. Ей хорошо... В уме нет ни воспоминаний, ни иных представлений, кроме впечатлений минуты: сухой морозный воздух, блеск солнца и сияние льда, захватывающая быстрота бега.

— Людмила Александровна! Людмила Александровна!— долетел к ней тревожный оклик Синева, и она увидала у своих ног черную дыру, осененную тощей еловой веткой. На секунду она остановилась... осела, покачнулась назад. Потом словно невидимая сила толкнула ее вперед... Глупое от испуга бабье лицо мелькнуло в ее глазах, руки в синих штопаных рукавах замахали в воздухе, кто-то взвизгнул... Серебряный всплеск ледяной воды, страшный холод — как обжог во всем теле...

Но сильные мужские руки уже схватили ее за плечи и выхватили в обмороке из проруби.

К вечеру у нее открылось воспаление в легких.

XXXIV

Firenze, Fiesole[1],
188* апрель

«Милый, дорогой, хороший Аркадий Николаевич! Дорогой, последний, единственный друг — единственный, с кем тянет меня поговорить в мои предсмертные часы.

Да, милый, умираю. И — скоро, скоро. Доктор утешает и ободряет — но я по глазам его вижу, что он лжет. А — глав-

---

[1] Флоренция, Фьезоле *(фр.)*

ное — сама чувствую, что выкашляла свои легкие. Я почти не кашляю уже — я как будто здорова. Я знаю, что это значит: это здоровье смерти. Умру одна... далеко от своих, от родины, на чужой стороне.

Вокруг меня — юг, прекрасный, цветущий, всеисцеляющий юг. Все здесь дышит жизнью: убогие поправляются, больные выздоравливают, здоровые еще более расцветают. Я одна слабею с каждым днем... Моя хозяйка, добрая синьора Лючия, уже перестала и спрашивать меня о здоровье: видно, боится встретиться со словом «смерть» и вчуже испугаться. Они такие жизнелюбивые, эти тосканки! Умираю... а за окном весна: солнце блещет, магнолии цветут, песни слышатся, мандолины бренчат... Ах, тяжко!

Но все же — спасибо ему, спасибо югу! Он вырвал мою душу из грозного, ожесточенного одиночества и поставил меня лицом к лицу с дивным собеседником — своею могучею природою. И силой, и миром наполняют мою душу ее немые речи, и призраки мрачного прошлого бледнеют в присутствии ее вечной красоты. Я полюбила юг, и с тех пор, как у меня снова есть что любить, мне легче. Я по-прежнему презираю себя, по-прежнему боюсь людей — лишь в твоих объятиях мне не обидно за себя и не страшно никого, о святая, всепримиряющая мать-природа! Ты — великая, ты — бесстрастная; пред тобою нет ни дурного, ни хорошего! Зло и добро ты одинаково спокойно высылаешь в мир из своих таинственных недр и равнодушно принимаешь их, слепо исполнивших задачу своего бытия, обратно. Я твоя! прими же меня, отжившую!

Из окон моей виллы я вижу гору. Высоко поднимается по террасам ее, словно с неба упавший, городок Fiesole, но гора, в могучем порыве к небу, обгоняет его веселые строения и, отдав людским жилищам свои уступы, царит над ними зеленою вершиною. Темные кипарисные рощи и белые полосы тропинок испестрили ее скаты. На крутом гребне горы добрый человек поставил каменную скамью и начертал на ней: «Путник англичанин — братьям-путникам всех стран». Сколько раз я отдыхала на этой скамье, задумчиво вглядываясь в широкую даль. Небо синее, спокойное, глубоко-прозрачное — надо мною и вокруг меня. Горы Каррары, Пизы, белая полоса ливорнского побережья неясными намеками рисуются, сквозь голубоватый туман, на далеком горизонте, а внизу почти у моих ног кипит жизнью Флорен-

ция, тянется, изрезанная мостами, зеленая лента Арно; красные лучи заходящего солнца играют на гигантском куполе Cattedrale[1], кладут золото и румяна на его черную тучу. Там я бываю наедине с небом — наедине с Богом. Ave Maria...[2] звон колокольчика и рокот органа в нагорной обители францисканцев... Я чувствую близость Бога и трепещу, но не страшусь ее: суди меня, Всесильный! — меня, много грешившую и много терпевшую! Я готова и спокойна... Жизнь изжита; пора — хочу смерти! И там — на этой заоблачной вышке, где мне бывало так хорошо — там желала бы я уснуть навеки!

Прощайте, голубчик, Аркадий Николаевич! Спасибо вам — за все, за все! Если на том свете встретимся, нам не в чем упрекнуть друг друга... не о многих я могу сказать то же самое, не многие и обо мне это скажут, когда и для них — как завтра или послезавтра для меня — смерть сделает явным все тайное. Обо мне будут плакать... Бедный Степан! бедные дети!.. Но мне не надо слез: не стою. За детей я не боюсь и не страдаю: они остаются в лучших руках, чем были бы для них мои — такой, как я стала. Бедные, бедные! стыдно мне: много они из-за меня натерпелись. Да, слез мне не надо... и вы не плачьте обо мне — вы, знавший меня лучше всех людей! Все к лучшему на свете. Человек приходит в мир и уходит из мира, слепо исполняя темное предопределение, и все, что творит он между рождением и смертью, решено и сотворено раньше его.

Опять звон, опять орган... может быть, я слышу их в последний раз... последние земные звуки... Ave Maria, gratiae, plena![3] радуйся, Милосердная!— милосердная Мать — Мать-природа. Радуйся, Мария, Благодать Земли боготворимая... Я люблю Тебя — я верую в любовь... Прекрасна земля, прекрасны люди, прекрасно небо надо мною... Все люблю — во все верую — верую — и умираю... Прощайте, дорогой друг, прощайте!»

---

[1] Кафедральный собор *(ит.)*.
[2] Радуйся, Мария... *(лат.)*
[3] Радуйся, благодатная Мария! *(лат.)*

Примечания

СЫЩИК

В предисловии к сб. «Святочная книжка» А. В. Амфитеатров сообщал: «Рассказ «Сыщик» был издан ранее, в приспособлении для народа, известною фирмою «Посредник» <...> и, в том же виде, был перепечатан в сборнике моем «Сон и явь». Здесь я помещаю его в первоначальной редакции, как появился он когда-то в тифлисском «Новом обозрении» Н. Я. Николадзе». В сб. «Сон и явь» (М., 1893) входил в раздел «Святой вечер», был включен также в сб. «Случайные рассказы» (Спб., 1890).

Печатается по изд.: Амфитеатров А. Святочная книжка. Спб., 1902.

Рассказ посвящен А. П. Чехову, с которым Амфитеатров работал в юмористическом журнале «Будильник» в начале 1880-х гг.

Талейран Шарль Морис (1754—1838) — французский дипломат и государственный деятель, один из выдающихся представителей «классической дипломатии».

Меттерних Клеменс Менуель Лотар (1773—1859) — австрийский государственный деятель и дипломат.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ГИПНОТИЗМ

Рассказ написан в 1897 г., в сб. «Мифы жизни» помещен в разделе «Русь».

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Мифы жизни/Собр. соч.: Спб., 1911. Т. 10.

Навуходоносор (605—562 до н. э.) — вавилонский царь, который по воле Бога был отлучен от людей и семь лет питался травою.

Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен (1815—1898) — германский государственный деятель; Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия), созданный по его инициативе в 1882 г., был направлен против Франции и России.

Кроме добродетели, и в рубище почтенной...— измененная цитата («И в рубище почтенна добродетель!») из драмы А. Н. Островского «Гроза» (слова Кулигина).

...везли в Москву из Таганрога тело императора Александра Павловича.— Император Александр I неожиданно скончался в Таганроге 19 ноября 1825 г.

Калеб сира Эдгарда Равенсвуда...— калеб — слуга; имеется в виду персонаж романа В. Скотта «Ламмермурская невеста» (1819, рус. пер. 1827).

«Сорочинская ярмарка» — произведение Н. В. Гоголя, входящее в цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831—1832).

Санкюлоты — революционеры периода Великой французской революции; слово произошло от насмешливого названия городской бедноты, не носившей, в отличие от знати, коротких штанов из дорогой ткани.

Исаия возликует...— «Исаия, ликуй!» — литургический гимн, исполняемый при обряде бракосочетания.

«Цыганский барон» — оперетта И. Штрауса (1885).

Бурже Поль Шарль Жозеф (1852—1935) — французский писатель, известный романами из светской жизни.

Из-за Гекубы!!!— цитата из трагедии В. Шекспира «Гамлет» (1601).

Чуден вид Левантины...— иронический парафраз знаменитого описания Днепра в «Страшной мести» Н. В. Гоголя.

«Вражья сила» — опера А. Н. Серова, либретто по драме А. Н. Островского «Не так живи, как хочется».

...Валентин своей собственной Маргариты...— намек на героев трагедии Гете «Фауст» (1831).

Но слушай...— цитата из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1820).

А. П. Ленский (1847—1908), *Н. К. Милославский* (1811—1882), *В. В. Самойлов* (1812—1887), *И. В. Самарин* (1807—1885), *Н. Х. Рыбаков* (1811—1876) — известные драматические актеры, игравшие на столичной и провинциальной сцене.

Я царь, я раб...— цитата из оды Г. Р. Державина «Бог» (1784).

Я глупостей не чтец...— цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824).

...у Щедрина...— имеется в виду сатирическая сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина «Баран-непомнящий».

Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ, один из основоположников иррационалистической линии в западноевропейской философии. «Мир как воля и представление» — его основной философский труд.

Киник — последователь философской школы, основанной в 4 в. до н. э. в Афинах. Киники отвергали общепринятые нравственные нормы и при-

зывали к аскетизму, простоте, считая это средством достижения духовной свободы.

Байрон Джордж Гордон Ноэл (1788—1824) — английский поэт-романтик, участник национально-освободительной борьбы греческого народа против турецкого ига.

Шекспир Уильям (1564—1616) — английский драматург и поэт.

...найден был на могиле осиновый кол... — по народным поверьям, осиновый кол вбивается в могилу колдуна, чтобы он не мог встать.

ТАТЬ В НОЩИ

В сб. «Мифы жизни» помещен в разделе «Русь».

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Мифы жизни//Собр. соч.: Спб., 1911. Т. 10.

Сераль — в странах Востока — дворец, его внутренние покои, а также женская половина во дворце, здесь: гарем.

Венера Медицейская — знаменитая статуя Венеры в музее Уффици во Флоренции.

Бахус (римск. мифол.) — бог вина и веселья.

ПРОКОПИЙ

Рассказ написан в 1890 г., включен в сб. «Сон и явь» (раздел «Святой вечер»), «Мифы жизни» (раздел «Русь»).

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Мифы жизни//Собр. соч.: Спб., 1911. Т. 10.

В основе рассказа — некоторые эпизоды жития св. Прокопия Устюжского (ум. в 1303 г.). Сын богатых родителей, прибыв в Новгород по торговым делам, пленился красотою храмов, постригся в иноки Хутыня монастыря и стал юродствовать; зимой, без одежды, претерпевая издевательства, дошел до Устюга Великого, где поселился в убогой хижине и стал обличать пороки, угрожая гневом Божьим.

Андрей Критский (ок. 660—740) — византийский церковный поэт, создатель жанра гимнографии — канона.

Аналой — в церкви специальная подставка, на которую кладутся богослужебные книги.

Святая София — главный собор в Новгороде (1045—1050).

Аксамит (уст.) — бархат, дорогая шелковая ткань.

Басурманское Низовье — имеется в виду Астраханское ханство, расположенное в нижнем течении Волги.

Мстислав — речь идет о Мстиславе Мстиславовиче Торопецком, прозванном Удалым, ставшем новгородским князем в 1210 г.

НАПОЛЕОНДЕР

Рассказ написан в 1901 г., включен в сб. «Сказочные были», «Мифы жизни» (раздел «Русь»).

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Мифы жизни//Собр. соч.: Спб., 1911. Т. 10.

Содом и Гоморра — города в древней Палестине, разрушенные за грехи их жителей огненным дождем и землетрясением (Бытие, 19, 24—25).

Аред (Иаред) — библейский патриарх.

Ирод-царь — в Евангелии — царь Иудеи, отдавший приказ об «избиении младенцев»; синоним тирана, изверга.

Александр-царь — имеется в виду Александр Македонский.

Иван-царь — Иван IV Грозный, взявший Казань, столицу Казанского ханства, которое было присоединено к Русскому государству (1552).

Петр-царь — Петр I.

Анико-воин (Аника-воин) — персонаж русского фольклора, богатырь, отличавшийся огромной силой; в ряде духовных стихов представлен нечестивцем, разоряющим города и церкви.

Александр Благословенный — император Александр I (1777—1825).

Александровская колонна — памятник Александру I, сооруженный на Дворцовой площади в Петербурге французским архитектором О. Монферраном в 1834 г. Колонна увенчана фигурой ангела с крестом.

Означает же слово Бонапартий — шестьсот шестьдесят шесть, число звериное.— Распространенное поверье о том, что в Наполеоне воплотился апокалиптический Зверь; это подтверждалось подсчетами (число «666»).

Куликово поле — Куликовская битва произошла в 1380 г., когда русский князь Дмитрий Иванович одержал победу над войсками монголо-татарского хана.

Киево-Печерская лавра и остров Валаам — святые обители русской церкви.

Икона Смоленской Божьей Матери — Смоленская Божья Матерь считалась покровительницей русского войска в Бородинской битве.

СКИТАЛЕЦ

Рассказ был включен в сб. «Сон и явь» (раздел «Пассанаур»), «Красивые сказки» (раздел «Закавказье»), «Мифы жизни» (раздел «Горные письма»).

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Мифы жизни//Собр. соч.: Спб., 1911 . Т. 10.

Пржевальский Н. М. (1839—1888) — русский путешественник, исследователь Центральной Азии, похоронен недалеко от озера Иссык-Куль.

Яик — старое название реки Урал.

...с царевичем Иосафом по «прекрасной матери-пустыне»... — имеются в виду духовные стихи, особенно широко распространенные в среде раскольников.

...«бродя за кибиткой кочевой». — Искаженная цитата из «Песни цыганки» («Мой костер в тумане светит...») Я. П. Полонского, ставшей популярным романсом.

ОБ ОДНОМ УЩЕЛЬЕ И ГРУЗИНСКОЙ УНДИНЕ

Рассказ был включен в сб. «Сон и явь» (раздел «Пассанаур»), «Красивые сказки» (раздел «Закавказье»), «Мифы жизни» (раздел «Горные письма»).

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Мифы жизни//Собр. соч.: Спб., 1911. Т. 10.

Ундина — дух воды в образе женщины; русалка.

Панглосс — герой повести Вольтера «Кандид» (1767).

Собакевич — персонаж романа Н. В. Гоголя «Мертвые души» (1842).

Дионисий Сиракузский (ок. 432—367 до н. э.) — тиран, при котором Сиракузы достигли наивысшего расцвета.

ЛЕТАВИЦА

Рассказ был включен в сб. «Сон и явь» (раздел «В Малороссии»), «Красивые сказки» (раздел «Малороссия»), «Мифы жизни» (раздел «Украина»).

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Мифы жизни//Собр. соч.: Спб., 1911. Т. 10.

Летавица — в украинском фольклоре — злой дух, в виде падающей звезды спускающийся на землю, принимающий человеческий образ и чарующий волшебными прелестями.

...царь Микола замирял венгерца... — имеется в виду буржуазно-демократическая революция 1848—1849 гг. в Венгрии, в подавлении которой принимали участие русские войска.

...Каин Авеля на вилы подымает... — Согласно Библии Каин, сын Адама и Евы, убил своего брата Авеля, совершив первое убийство на земле.

ЧЕРТ

Рассказ написан в 1897 г., в сб. «Мифы жизни» входил в раздел «Украина».

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Мифы жизни//Собр. соч.: Спб., 1911. Т. 10.

Ликантропический — здесь: похожий на волка. Ликантропия — психическое заболевание, при котором больной отождествляет себя с волком.

Альбов М. Н. (1851—1911), *Баранцевич* К. С. (1851—1927), *Станюкович* К. М. (1843—1903), *Потапенко* И. Н. (1856—1929), *Мамин-Сибиряк* Д. Н. (1852—1912) — русские писатели, произведения которых были популярны у массового читателя в конце XIX — начале XX в.

Декаденты, символисты — имеются в виду символисты 1890-х гг., творчество которых было отмечено чертами декадентства — настроениями крайнего индивидуализма, неприятия жизни, нравственного релятивизма, мистицизма.

...наскучив тьмами низких истин... — реминисценция стихотворения А. С. Пушкина «Герой» (1830): «Тьмы низких истин мне дороже//Нас возвышающий обман».

Теософический — теософия — религиозно-мистическое учение, ставящее целью выработку «универсальной религии» путем синтеза элементов различных религиозных верований.

Спиритический — спиритизм — вера в возможность общения с духами умерших при помощи различных приемов и через посредство медиумов.

Блаватская Е. П. (1831—1891) — автор религиозно-мистических сочинений, в 1875 г. основала в Нью-Йорке теософское общество, издавала теософские журналы.

Пеладан Жозефен (1859—1918) — французский писатель и художественный критик, называл себя «сар» (вавилонский владыка) и претендовал на роль духовного вождя человечества. Проявлял интерес к восточной мистике и оккультизму, что нашло отражение в его творчестве. Автор многотомного сочинения «Амфитеатр мертвых наук» (1892—1911).

Росетти Данте Габриэль (1828—1882) — английский художник и поэт, один из основателей «Братства прерафаэлитов» (1848), его творчество отмечено интересом к искусству средневековья и Раннего Возрождения, окрашено мистицизмом и спиритуализмом.

Прерафаэлиты — английские художники и писатели второй половины XIX в., возрождавшие в своем творчестве «наивную» религиозность средневекового и раннеренессансного искусства («до Рафаэля»). Повлияли на развитие символизма и утверждение стиля «модерн» в изобразительном искусстве.

Траппист — член монашеского ордена, предписывавшего строгие аскетические правила.

Брокенский шабаш — по народным поверьям, на горе Брокен (близ Магдебурга) обитала нечистая сила, справлявшая там свои празднества.

Пигмалион (греч. мифол.) — ваятель, влюбленный в творение своих рук — статую Галатеи — и силой чувства ожививший ее.

Захер-Мазох Леопольд фон (1836—1895) — австрийский писатель, автор романтических новелл («Галицийские рассказы», «Еврейские рассказы») и эротических романов, окрашенных патологическими мотивами (отсюда термин — «мазохизм»).

Францоз Карл Эмиль (1848—1904) — немецкий писатель, разрабатывавший мистико-патологические мотивы.

Сатана Байрона и Мильтона — имеются в виду герои драмы Байрона «Каин» (1821) и поэмы Мильтона «Потерянный рай» (1667).

Фольварк — небольшая усадьба, хутор.

Униатский — униаты — последователи церковной унии (1596 г.), объединившей ряд православных церквей с католической церковью под властью папы римского.

Андромеда (греч. мифол.) — красавица, предназначенная в жертву чудовищу и спасенная Персеем.

КАЗНЬ

Рассказ написан в 1885 г., включался в сб. «Случайные рассказы», «Психопаты», «Мифы жизни» (раздел «Украина»).

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Мифы жизни//Собр. соч.: Спб., 1911. Т. 10.

Дальтонизм — врожденное нарушение зрения, при котором утрачивается способность различать некоторые цвета.

КАТАКОМБЫ

Рассказ входил в сб. «Святочная книжка», в сб. «Мифы жизни» открывал раздел «Италия».

Печатается по изд.: **Амфитеатров** А. В. Мифы жизни//Собр. соч.: Спб., 1911. Т. 10.

Св. Цецилия — одна из первых мучениц христианства.

Ариадна (греч. мифол.) — дочь критского царя, вручившая Тезею клубок нити, с помощью которого он смог выбраться из лабиринта.

МЕРТВЫЕ БОГИ

Рассказ включался в сб. «Грезы и тени», «Красивые сказки» (открывал раздел «Италия»), «Мифы жизни» (в разделе «Италия»).

Печатается по изд.: **Амфитеатров** А. В. Мифы жизни//Собр. соч.: Спб., 1911. Т. 10.

Хвостатая звезда — комета, появление которой, по народным представлениям, сулило бедствия.

Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова — одна из книг Нового Завета, содержащая пророчества о конце света и пришествии Антихриста.

Буллы — послания, издаваемые римским папой.

...времени уже не будет... — выражение из Апокалипсиса.

Судная труба архангела — знак пришествия мессии, который будет судить грешников.

Сфорца, Медичи — представители древнейших итальянских родов.

Гипербореи (греч. мифол.) — мифический народ, по представлениям древних греков, обитавший на Крайнем Севере.

Лебединые девы, рудокопы-гномы — персонажи древнегерманской мифологии и фольклора.

Диана (римск. мифол.) — богиня-дева, сестра-близнец Аполлона, покровительница диких животных, ее культ получил широкое распространение.

Капуцины — члены католического монашеского ордена, основанного в XVI в. в Италии.

ИЗМЕНА

Рассказ входил в сб. «Грезы и тени», «Красивые сказки» (раздел «Италия»).

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Мифы жизни//Собр. соч.: Спб., 1911. Т. 10.

В основе рассказа — библейская легенда о сотворении мира и низвержении Сатаны.

И был свет.— Цитата из Ветхого Завета: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Бытие, 1, 3).

Азраил — ангел смерти.

СТРЕЛКИ В ТОСКАНЕ

Рассказ написан в 1888 г., включался в сб. «Случайные рассказы» (под заглавием «Праздник стрелков»), «Сон и явь» (раздел «В Италии»), «Мифы жизни» (раздел «Италия»).

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Мифы жизни//Собр. соч.: Спб., 1911. Т. 10.

Подеста — городской голова.

Гарибальдийское движение — национально-освободительное движение в Италии за ее объединение под руководством Джузеппе Гарибальди.

Виктор Эммануил — король объединенной Италии в 1861—1878 гг.

Капеллан — помощник католического приходского священника.

Сакристьян — хранитель ризницы в католической церкви.

«Pater noster», «Credo» — католические молитвы «Отче наш» и «Верую».

ЧЕРТОВО ГУМНО

Разделу «Фламандский фольклор» в сб. «Красивые сказки», куда была включена легенда 1390 г., предпослано авторское вступление, объясняющее происхождение и поэтику фламандских легенд: «Мне попался у букиниста сборник фламандских легенд <...> давно уже ставших библиографической редкостью. Средневековая Фландрия — страна чудес по преимуществу, чудес мрачных и жестоких. На ее сказаниях отразились ее туманная атмосфера, ее холодный и суровый пейзаж <...> Человек

здесь закостенел в бою с природою, которая вознаграждает его труд только после упорной борьбы <...> Как все северные католики, он любит сказки с ужасами и населил ими все урочища своей страны <...> Главный герой фламандской легенды — черт, угрюмый католический черт, который дал столько хлопот инквизиторам Спренглеру и Бодэну. Им полны фламандские туманы <...> Они — как будто его дыхание. Он стережет фламандца повсюду, во всякий час, следит за ним, невидимый, но зоркий, и когда пробьет «злой час» — он уже тут как тут, со своими ужасными вилами».

Печатается по изд.: Амфитеатров А. Красивые сказки. Спб., 1908.

ДОМАШНИЕ НОВОСТИ

Рассказ написан в 1890 г., по словам автора, «под впечатлением одного частного случая». Входил в сб. «Фантастические правды».

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Бабы и дамы: (Междусословные пары). 2-е изд. Спб., 1911.

Джон-були и янки — шутливые олицетворения англичан и американцев.

...к Пафнутию в Боровск... — т. е. на поклонение мощам преподобного Пафнутия Боровского.

ПОБЕГ ЛИЗЫ БАСОВОЙ

Как отметил автор в предисловии ко 2-му изданию сборника «Бабы и дамы», рассказ был записан им в Париже, «со слов лица, непосредственно участвовавшего в этом приключении». Входил в сб. «Фантастические правды».

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Бабы и дамы: (Междусословные пары). Спб., 1911.

Куропаткин А. Н. (1848—1925) — русский военный деятель, в 1898—1909 гг.— военный министр.

Желябов А. И. (1851—1881) — русский революционер-народник.

Покров — праздник Покрова Пресвятой Богородицы приходился на 10 октября — время окончания сельскохозяйственных работ, к которому приурочивалось празднование свадеб.

«Оргиазм» — теория, распространенная в среде художественной интеллигенции на рубеже XIX—XX вв., согласно которой для полной реализации творческих способностей человека необходимо раскрепощение его внутренних, стихийных сил.

Ганнибал (247—183 гг. до н. э.) — карфагенский полководец и государственный деятель.

Астарта — азиатская богиня любви и плодородия, культ которой включал в себя «священную проституцию».

Жозефина Богарне (1753—1814) — супруга императора Наполеона.

Канкан, кэк-уок и матчиш — модные в конце XIX — начале XX в. танцы, вначале воспринимавшиеся как непристойные.

Олеарий, Петр Петрей, Корб — известные путешественники XVII в., составившие описания своих путешествий в Россию.

Чичероне (итал.) — провожатый.

Девятый круг Дантова ада — в «Божественной комедии» Данте последний круг ада, в котором караются предатели (Ад, песнь 32, 33).

Мирмидон (греч. мифол.) — представитель ахейского племени, которое сражалось под Троей, выполняя все повеления своего вождя Ахилла («Илиада»); иносказательно — человек, неукоснительно выполняющий полученные им указания.

КЕЛЬНЕРША

Рассказ написан в 1895 г. Входил в сб. «Фантастические правды».

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Бабы и дамы: (Междусословные пары). Спб., 1911.

Вы как-то раз напечатали рассказ... — речь идет о рассказе Амфитеатрова «Домашние новости», помещенном в настоящее издание.

«Горелова, Неелова, Неурожайки то ж» — цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (1863—1877).

«Птичка Божия не знала ни заботы, ни труда» — неточная цитата из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы» (1824).

Тартюфы — Тартюф — герой одноименной комедии Мольера (1669), ханжа и лицемер, имя которого стало нарицательным.

Мария Башкирцева (1860—1884) — художница, автор «Дневника», близкого по духу и умонастроению эпохе «конца века» (вышел отдельным изданием на русском языке в 1893 г.).

Глеб Успенский (1843—1902) — русский писатель, близкий к народническим кругам.

...«красой ногтей»... — искаженная цитата из романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: «Быть можно дельным человеком//И думать о красе ногтей».

Микула Селянинович — герой русских былин, олицетворение силы и прочности связи с землей.

КУРОРТНЫЙ МУЖ

Рассказ написан в 1893 г.

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Бабы и дамы: (Между сословные пары). Спб., 1911.

Поццуоли — курорт на берегу Неаполитанского залива.

«Новое время», «Новости» — названия русских газет.

Иския, Капри — острова в Средиземном море, видные в хорошую погоду с берега.

Нирвана — в буддизме — состояние высшего блаженства, отрешенности от жизненных забот и полного слияния с божеством.

...«Авзонии прекрасной»... — поэтическое наименование Италии.

Тартаков И. В. (1860—1923) — русский певец и режиссер, *Яковлев* Л. Г. (1858—1919) — русский оперный певец.

Капитолий — холм в Риме, на котором расположены дворцы, музеи, государственные учреждения.

Тацит Публий Корнелий (ок. 55 — ок. 120) — римский историк.

Нестор — монах Киево-Печерского монастыря, автор «Повести временных лет» — первого изложения истории Руси.

Нибур Бартольд Георг (1776—1831) — знаменитый немецкий историк

Костомаров Н. И. (1817—1885) — русско-украинский историк, критик, писатель.

Казанова Джованни Джакомо (1725—1798) — писатель и мемуарист, известный своими авантюрными похождениями; занимался магией, каббалистикой и алхимией.

Арман Сильвестр (р. 1837—?) — французский писатель и поэт, автор рассказов фривольного содержания.

Боккаччо Джованни (1313—1375) — итальянский писатель эпохи Возрождения.

Поль де Кок (1793—1871) — французский писатель, романы которого пользовались популярностью среди буржуазной публики вплоть до 90-х гг. XIX в.

...любезному сыну беспутной Пазифаи... — имеется в виду Минотавр (греч. мифол.), чудовище с туловищем человека и головой быка.

...потолковать об Ювенале, в конце письма поставить vale — цитата из романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

Молчалин — персонаж комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», тип угодливого карьериста.

Обломов — герой одноименного романа И. А. Гончарова, тип бездеятельного мечтателя.

Гейне Генрих (1797—1856) — немецкий поэт, публицист, критик.

...«собачки дворника»... — цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Фалалей (уст.) — простак, простофиля.

...«народ безмолвствовал»... — заключительная ремарка («Народ безмолвствует») трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» (1824—1825).

Монумент Екатерины Великой — памятник Екатерине II в Петербурге, открытый в 1873 г. (сооружен по проекту М. О. Микешина при участии А. М. Опекушина).

Офелия — героиня трагедии Шекспира «Гамлет».

Гретхен — героиня трагедии Гете «Фауст».

Текла — героиня драматической поэмы Ф. Шиллера «Валленштейн» (1797—1799).

Лаура — женщина, воспетая итальянским поэтом Франческо Петраркой (1304—1374).

Менелай (греч. мифол.) — царь Спарты, муж Елены, похищенной Парисом; иносказательно — обманутый муж.

«Все промелькнули перед нами, все побывали тут!» — цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино» (1837).

Анабазис Ксенофонта — произведение древнегреческого писателя, описывающее поход 401 г. до н. э. Кира младшего в Месопотамию является одним из первых мемуарных произведений европейской литературы.

Отелло — герой одноименной трагедии Шекспира, образ безудержного ревнивца.

Капитан Андрэ — Андре Саломон Август (1854—1897), шведский инженер, в 1897 г. на воздушном шаре «Орел» с двумя спутниками вылетел со Шпицбергена к Северному полюсу; все участники экспедиции погибли.

...«муж — мальчик, муж — слуга»... — цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Жан Вальжан — герой романа В. Гюго «Отверженные» (1862), бывший каторжник.

Венера (рим. мифол.) — богиня весны и любви, рожденная, согласно мифу, из морской пены.

Мессалина — жена римского императора Клавдия; синоним женщины развратного поведения.

Клеопатра — царица Египта, пленившая своей красотой Юлия Цезаря.

Нинон — героиня романа в письмах «Опасные связи» (1782) французского писателя Шадерло де Лакло, тип доверчивой и самоотверженной любовницы.

Пентефрий, или Потифар (библ.) — египетский царедворец, которому был продан в рабство Иосиф. Жена Потифара пыталась соблазнить Иосифа. (Бытие).

ПИТЕРСКИЕ КОНТРАБАНДИСТКИ

Рассказ написан в 1898 г.

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Бабы и дамы: (Междусословные пары). Спб., 1911.

Расплюев — герой драматической трилогии А. В. Сухово-Кобылина («Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина», 1855—1869).

НА ЗАРЕ

Рассказ написан в 1889 г., был включен в сб. «Случайные рассказы», «На заре и другие рассказы» (Берлин, 1922).

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Бабы и дамы: (Междусословные пары). Спб., 1911.

Гелиос (греч. мифол.) — бог солнца.

МЕЧТА

Рассказ написан в 1893 г. В предисловии ко 2-му изданию сборника «Бабы и дамы» Амфитеатров писал: «Сюжет «Мечты»,— посвященный мною Льву Николаевичу Толстому, потому что он был заинтересован рассказом, узнав в героине девушку, ему знакомую,— сообщен мне известным народовольцем, болгарином Гавриилом Беламезовым. Справедливость требует отметить, что, по словам Льва Николаевича Толстого, Беламезов слишком идеализировал «Мечту», и в действительности ею двигали мотивы хотя и не дурные, но гораздо менее «не от мира сего», чем изображено в моем рассказе».

Входил в сб. «Фантастические правды».

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Бабы и дамы: (Междусословные пары). СПб., 1911.

«Стой! Какою я теперь тебя вижу...».— Цитата из стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Стой!» (1879).

«...гласу Бога внемлет и поет себе, поет»...— неточная цитата из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы».

Св. Екатерина — христианская великомученица нач. 4 в.

Пафнутий Боровский (ум. 1478) — основатель монастыря в Боровске, где покоятся его мощи, причислен к лику святых в 1540 г. При жизни отличался милосердием к бедным.

«Юлиан Милостивый» — имеется в виду «Легенда о святом Юлиане Страннoприимце» французского писателя Г. Флобера, в переводе И. С. Тургенева — «Католическая легенда о Юлиане Милостивом» (1877).

...Глеб Иванович Успенский написал Растеряеву улицу.— Имеется в виду цикл очерков Г. И. Успенского «Нравы Растеряевой улицы» (1866).

Подколесин — персонаж комедии Н. В. Гоголя «Женитьба» (1842).

Сильвестр (?— ок. 1566) — священник московского Благовещенского собора, автор одной из редакций «Домостроя».

Ломброзо Чезаре (1835—1909) — итальянский судебный психиатр и криминалист, родоначальник антропологической школы уголовного права, которая уделяет основное внимание биопсихологическим факторам преступности.

ВРАГ. СКАЗКА ИВАНОВА ДНЯ

Этюд к фантастическому роману «Жар-цвет» (1895), публиковался в газете «Одесский листок», журнале «Север».

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Святочная книжка. Спб., 1902.

Церера (рим. мифол.) — богиня земледелия, хлебных злаков.

«Все, все, что гибелью грозит...» — цитата из трагедии А. С. Пушкина «Пир во время чумы» (1830).

Волонтер — лицо, добровольно поступившее на военную службу.

Чилийская революция — имеется в виду война чилийцев (вместе с Перу и Боливией) против усиления испанского господства в Латинской Америке (60-е гг. XIX в.).

Сен-Жермен — мистик и алхимик XVIII в., был близок к французскому королевскому двору.

Месмер (1734—1815) — австрийский врач, выдвинувший теорию «животного магнетизма».

Калиостро (1743—1791), наст. имя Иосиф Бальзамо — итальянский гипнотизер, выдававший себя за мага, был связан с масонами.

Розенкрейцерская ложа — тайное религиозно-мистическое общество, возникшее в XVII в., эмблемой которого были роза и крест.

Гете Иоганн Вольфган (1749—1832) — немецкий писатель, мыслитель, естествоиспытатель.

Супернатурализм — учение, согласно которому существует сверхчувственный мир, постигаемый интуицией и «тайным знанием».

Фауст — герой одноименной трагедии Гете, чернокнижник и алхимик.

Соломон — иудейский царь, часто фигурирующий как маг, ему приписывается книга «Ключ Соломона», содержащая магические заклинания.

Альберт Великий (1193—1280) — немецкий теолог, философ, монах-доминиканец, глава схоластической науки своего времени, ему приписывались апокрифические сочинения типа «Книги работ Альберта Великого о некоторых свойствах трав, камней и животных», что создало ему репутацию чернокнижника.

Корнелий Агриппа Неттесгеймский (1486—1535) — богослов, натурфилософ и врач, автор книги «Об оккультной философии», в которой он защищал «естественную магию» — результат проникновения в тайны природы и овладения ими.

Парацельс (наст. имя Филипп Аурел Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм) (1493—1541) — философ, естествоиспытатель, врач, обосновывавший возможность магического воздействия на природу с помощью тайных средств.

Каббалистические сочинения — например, «Книга творения», «Книга сияния, или Зогар», содержащие аллегорическое толкование библейских текстов и предлагающие свою картину мироздания.

«Физиолог» — средневековый сборник, содержащий рассказы о свойствах реальных и фантастических животных, растений и камней и сопровождающийся аллегорическими назидательными толкованиями в христианском духе.

Misce, fac, divide! (лат.) — «Смешивай, удаляй, разделяй на части!» — формула, содержащая основные принципы алхимического эксперимента.

Гаргантюа — герой романа французского писателя Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1533—1552), обладавший сверхъестественными размерами и неистощимой жизненной силой.

Похоже на наши славянские поверья.— Имеется в виду легенда о цветке папоротника, распускающемся в Иванову ночь и охраняемом нечистой силой; человек, получивший цветок, обретает дар провидения.

Лавуазье Антуан Лоран (1743—1794), *Бертоло* Клод Луи (Бертолле) (1748—1822) — французские химики.

Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд (1821—1894) — немецкий физик, математик, физиолог и психолог.

Эдиссон Томас Алва (1847—1931) — американский изобретатель-электротехник.

Шарко Жан Мартен (1825—1893) — французский врач, один из основоположников невропатологии и психотерапии, впервые применил гипноз как метод лечения.

Мори Альфред (1817—1892) — французский ученый, автор книги «Сон и сновидения», включенной Амфитеатровым в список источников, к которым он обращался во время работы над романом «Жар-цвет».

Бутлеров А. М. (1828—1886) — русский химик, с конца 1860-х гг. проявлял интерес к медиумизму и спиритизму.

Вольт (Вольта) Алессандро (1745—1827) — итальянский физик и физиолог, продолжил опытное исследование «живого электричества», открытого Гальвани.

Гальвани Луиджи (1737—1798) — итальянский анатом и физиолог, основатель электрофизиологии.

Сведенборг Эммануэль (1688—1772) — шведский теософ-мистик, духовидец, в своем учении обосновал принцип «соответствий» явлений земных и потусторонних (фрагмент в русск. переводе: «О небесах, мире духов и об аде», 1863).

«Пузырь земли» — имеется в виду образ «пузырей земли» из трагедии Шекспира «Макбет» (1606), олицетворяющий стихийные природные силы.

Гогенцоллерны — династия германских императоров.

Влюбился, как Фауст в Елену.— В трагедии Гете «Фауст» Елена олицетворяет гармоническое сочетание красоты и высокой духовности.

«Коснется ль чужое дыханье...» — неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Любовь мертвеца» (1841).

Царь Хирам — царь Тирский, содействовал постройке Соломонова храма.

Вспомните Фауста в кухне ведьмы.— Имеется в виду сцена «Кухня ведьмы» в трагедии Гете «Фауст», где изображается возвращение Фаусту молодости путем колдовства.

ИСТОРИЯ ОДНОГО СУМАСШЕСТВИЯ

Этюд к фантастическому роману «Жар-цвет» (1895).

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Сказочные были: Старое в новом. Спб., 1904.

Корфу — остров в Ионическом море.

«Лоэнгрин» — опера немецкого композитора Р. Вагнера (1848).

Люэтическая — от слова «люэс» — сифилис.

Ермолова М. Н. (1853—1928) — великая драматическая актриса.

Кружок оккультистов.— Оккультизм — учение, признающее существование скрытых сил в человеке и космосе, доступных для людей, проведших определенную психическую подготовку и овладевших «тайным знанием». В конце XIX в. в России оккультизм привлекал внимание художественной интеллигенции; им интересовались, в частности, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин.

Элифас Леви — французский оккультист, автор книги «История магии» и других трудов по «тайным наукам».

Ламия (греч. мифол.) — коварная женщина-вампир.

Эмпуза (греч. мифол.) — ночной демон; часто являлся в виде прекрасной женщины и душил своих возлюбленных.

Филострат (вт. пол. III в.) — автор религиозно-философского романа «Жизнь Аполлония Тианского», посвященного знаменитому чудотворцу I в. неопифагорейцу Аполлонию.

Сар Пеладан — см. примеч. к рассказу «Черт».

«Эрмитаж» — знаменитый московский ресторан.

ОТРАВЛЕННАЯ СОВЕСТЬ

Начало работы над романом относится к 1882—1883 гг., завершен в 1890 г. Отдельные этюды печатались под заглавием «Алимовская кровь» (1884), «Людмила Верховская» (1889). На этот же сюжет была написана одноименная драма.

Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Собр. соч. СПб., 1911. Т. 3.

Вениамин — младший сын библейского патриарха Иакова, особенно им любимый.

«На свете счастья нет, а есть покой и воля...» — неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» (1834).

Мазинистки, фигнеристки, тартаковистки — поклонницы известных оперных певцов Анджело Мазини (1844—1926), Н. Н. Фигнера (1857—1918), И. В. Тартакова (1860—1923).

Нерон Клавдий Тиберий (37—68) — римский император, прославившийся как жестокий и развратный тиран.

Коммод (161—192) — римский император, в поисках популярности в массах принял эпитет «Римский Геркулес» и выступал в цирке как гладиатор.

«Кто может сравниться с Матильдой моей...» — начало арии Робера из оперы П. И. Чайковского «Иоланта» (1891).

...Надсоновой... графине Лиде...— После смерти С. Я. Надсона (1862—1887) друзьями поэта опубликована его переписка с молодой аристократкой, скрывшей свое настоящее имя и подписывавшейся «графиня Лида». Мистификация была раскрыта через несколько лет, автором письма оказалась Л. В. Фадеева-Волгина.

Мижуев — персонаж романа Н. В. Гоголя «Мертвые души».

Грановский Т. Н. (1813—1855) — русский историк и общественный деятель.

Винкельман Иоганн Иоахим (1717—1768) — немецкий ученый-просветитель, эстетик.

«Риголетто» — опера итальянского композитора Дж. Верди (1851).

Зембрих Марчелла (1858—1935) — артистка оперы (колоратурное сопрано), гастролировала в России в 1880—1898 гг.

Алкивиад (ок. 450—404 до н. э.) — афинский политический деятель и полководец.

Ювенал Децим Юний (ок. 60— ок. 127) — римский поэт-сатирик.

«Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним» — цитата из трагедии Шекспира «Отелло».

Филина — в романе Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера», актриса, изящная кокетка.

«Богат и славен Кочубей...» — цитата из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1828).

Цезарь (Чезаре) *Борджиа* — представитель аристократического рода, игравшего значительную роль в истории Италии в XV — начале XVI в.; преследуя свои цели, не останавливался перед преступлением.

Монахов И. И. (1842—1877) — известный русский актер.

...«не ведая ни жалости, ни гнева...» — цитата из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов».

Юнона (римск. мифол.) — жена Юпитера, верховного бога римского пантеона.

Тогенбург — герой баллады Ф. Шиллера «Рыцарь Тогенбург», переведенной В. А. Жуковским.

Габорио Эмиль (1832—1873) — французский писатель, один из родоначальников детективного жанра.

«Лукреция Борджиа» — опера Г. Доницетти (1833).

Лекок — герой одноименного романа Габорио (1869, рус. пер. 1870).

«...скончался посреди детей...» — цитата из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

лены — в средневековой Германии земельные владения, пожалованные какому-либо лицу на условии выполнения военной или административной службы.

кондотьер — предводитель наемного военного отряда в XIV—XVI вв. в Илалии.

махди́ — мусульманский мессия. Махди Суданский, Мухаммед Ахмед возглавил освободительное движение Восточного Судана против английских колонизаторов (1881—1898).

ассасины — члены тайного ордена, известные безжалостными убийствами, возникшего в Иране в конце XI в. в результате раскола в исмаилизме.

Кази-Мулла (Гази-Магомед, 1795—1832) — первый имам Дагестана и Чечни.

Иоанн Лейденский (Ян Бокельзон, ок. 1509—1536) — один из активных деятелей Реформации в Нидерландах, глава Мюнстерской коммуны.

Мазаньэлло (сокращ. от Томаз Аньелло, 1620—1647) — итальянский рыбак, вождь народного восстания в Неаполе в 1647 г., направленного против испанского господства.

два Наполеона — имеются в виду Наполеон I, Бонапарт (1769—1821) — первый консул Французской республики, узурпировавший власть и провозгласивший себя императором (1804—14 и 1815), и Наполеон III, Шарль Луи Наполеон Бонапарт (1808—1873) — в результате контрреволюционного

переворота 1851 г. был провозглашен императором Франции (1852—1870).

Ксавье де Монтепен (1823—1902) — французский писатель, автор эротических и уголовных романов, в конце XIX в. в России было издано более 60 переводов его романов.

Дело Ласенера... — упомянуты нашумевшие уголовные процессы XIX в.

Все врут календари! — цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Иона — библейский пророк, проведший во чреве кита три дня и три ночи (Иона, 2).

Чем меньше женщину мы любим...» — неточная цитата (у Пушкина — «легче») из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

Воздýхи — в церкви — покровы на сосуды со Св. Дарами.

Магдалина — раскаявшаяся грешница *(библ.)*.

Перикола, Пикалло — персонажи оперетты Ж. Оффенбаха.

Мюр и Мерилиз — универсальный магазин в Москве.

Баттистини Маттиа (1857—1928) — итальянский оперный артист, в 1893 г. впервые гастролировал в России.

Францисканцы — монахи католического нищенствующего ордена, основанного Франциском Ассизским в 1207—1209 гг.

Содержание

Литературно-художественное издание

АМФИТЕАТРОВ
Александр Валентинович

МЕРТВЫЕ БОГИ

Рассказы. Роман

Редактор
Е. А. Маркова

Художник
Б. А. Лавров

Художественный редактор
Г. Г. Саленков

Технические редакторы
Л. Б. Демьянова, Н. В. Ганина

Корректоры
И. И. Попова, Т. Г. Люборец

ИБ № 5817

Сдано в набор 5.09.89. Подписано к печати 11.07.90. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Гарнитура обыкн. нов. Печать высокая. Бумага кн.-журн. финская. Усл. краск.-отт. 28,67. Усл. печ. л. 28,67. Уч.-изд. л. 30,31. Тираж 100 000 экз. Заказ 407. Цена 2 р. 80 к.

Издательство «Современник» Министерства печати и массовой информации РСФСР и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62.

Книжная фабрика № 1 Министерства печати и массовой информации РСФСР. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.